ВОСПОМИНАНИЯ БЕСТУЖЕВЫХ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



ВОСПОМИНАНИЯ БЕСТУЖЕВЫХ



РЕДАКЦИЯ, СТАТЬЯ
И
КОММЕНТАРИИ
М. К. АЗАДОВСКОГО



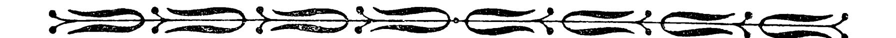
ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
1951

Под общей редакцией Комиссии Академии Наук СССР
по изданию научно-популярной литературы
и серии «Итоги и проблемы современной науки»

Председатель Комиссии Академии Наук СССР
академик *С. И. ВАВИЛОВ*

Зам. председателя член-корреспондент Академии Наук СССР
П. Ф. ЮДИН

НИКОЛАЙ БЕСТУЖЕВ



ВОСПОМИНАНИЕ О РЫЛЕЕВЕ [1]

«Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа —
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной:
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Я жребий свой благословляю».

«Исповедь Наливайки»[2]

Когда Рылеев писал исповедь Наливайки, у него жил больной брат мой Михаил Бестужев. Однажды он сидел в своей комнате и читал, Рылеев работал в кабинете и оканчивал эти стихи. Дописав, он принес их брату и прочел. Пророческий дух отрывка невольно поразил Михаила.

— Знаешь ли, — сказал он, — какое предсказание написал ты самому себе и нам с тобою. Ты, как будто, хочешь указать на будущий свой жребий в этих стихах.

— Неужели ты думаешь, что я сомневался хоть минуту в своем назначении, — сказал Рылеев. — Верь мне, что каждый день убеждает меня в необходимости моих действий, в будущей погибели, которою мы должны купить нашу первую попытку для свободы России, и вместе с тем в необходимости примера для пробуждения спящих россиян.

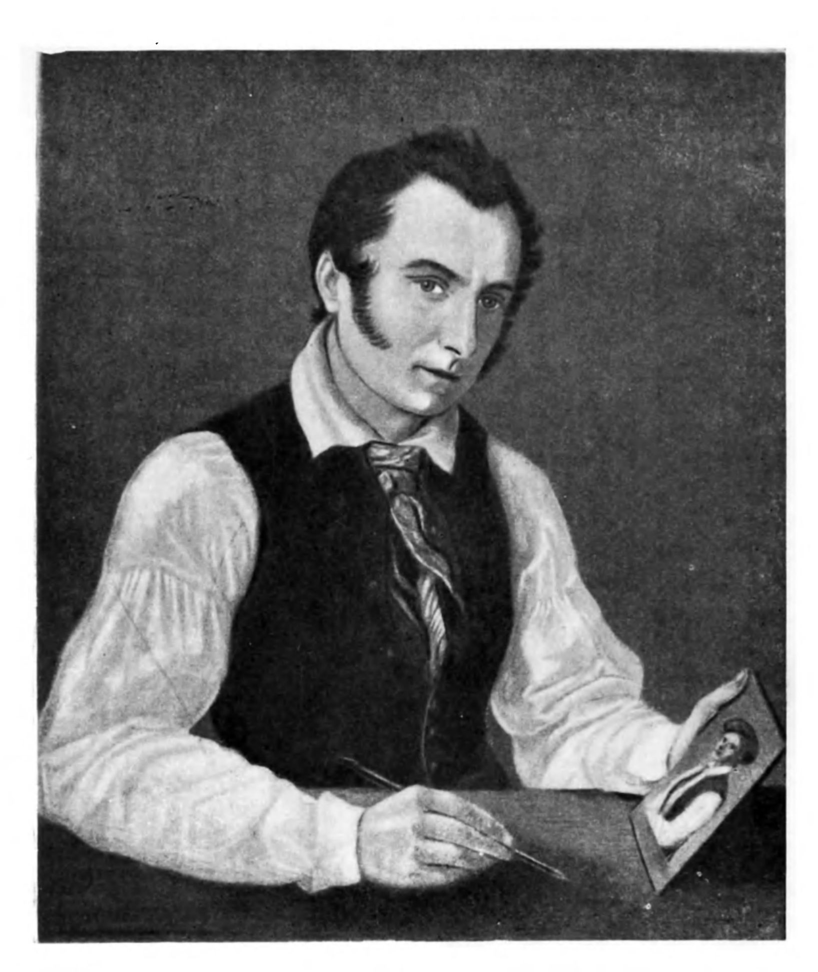
Почти в каждом сочинении Рылеева выливается из его души подобное предвещание. Мысль быть орудием или жертвою начатков свободы наполняла все его существование, составляла единственную цель его жизни. Освобождение отечества или мученичество за свободу для примера будущих поколений были ежеминутным его помышлением; это самоотвержение не было вдохновением одной минуты, подобно решимости древнего Курция или новейшего Винкельрида, но постоянно возрастало вместе с любовью к отечеству, которая, наконец, перешла в страсть — в высокое восторженное чувствование...

Он не скрывал своих предчувствий от друзей и родных. Я был свидетелем <его> прощанья с матерью, нежно его любившею и отъезжавшею в деревню. Она была очень грустна; ее тревожила мысль, что не увидит более сына, которого, казалось ей, оставляет обреченного на какую-то гибельную судьбу. Со всею материнскою нежностью просила, чтобы он дал ей спокойно закрыть глаза, что она хочет видеть его счастливым и желает умереть с тою же мыслью, что он остается счастлив и после нее.

— Побереги себя, — говорила она, — ты неосторожен в словах и поступках; правительство подозрительно; шпионы его везде подслушивают, а ты как будто поставляешь славой вызывать их внимание.

— Вы напрасно думаете, любезная матушка, — отвечал Рылеев, — что я везде таков же, как перед вами. Моя цель выше того, чтобы только дразнить правительство и доставлять работу его наемникам. Напротив, я скрытен с чужими; мне надобно, чтобы меня оставляли спокойно действовать. Если же я откровенно говорю с друзьями — мы работаем вместе; ежели я не скрываюсь от вас, это от того, что вы более или менее разделяете мои чувствования.

— Милый Кондратий, эта откровенность и убивает меня; она и показывает, что у тебя есть важные замыслы, которые ведут за собою важные последствия. С горестью предвижу,



Н. А. БЕСТУЖЕВ.
Автопортрет 1830-е годы.

что ты вызываешься умереть не своею смертью, зачем ты открываешь эту ужасную тайну матери?

Глаза ее были полны слез, когда она говорила последние слова:

— Он не любит меня, — сказала она, обратясь ко мне и взяв меня за руку, — вы друг его, пользуетесь его расположением — убедите его — может быть, он вам поверит, что он убьет меня, ежели с ним что-нибудь случится... Конечно, бог волен взять его у меня каждую минуту... но накликать беду самому...

Она не могла продолжать.

Я говорил к ее успокоению, что мог только придумать, она слушала и качала головой с недоверчивостью. Рылеев взял ее за другую руку и начал:

— Матушка, до сих пор я видел, что вы говорили только об образе моих мыслей, и не таил их от вас, но не хотел тревожить. открываясь в цели всей моей жизни, всех моих помышлений. Теперь вижу — вы угадываете, чего я ищу, чего хочу... Мне д о л ж н о сказать вам, что я член тайного общества, которое хочет ниспровержения деспотизма, счастья России и свободы всех ее детей...

Мать Рылеева побледнела, рука ее охолодела в моей, он продолжал:

— Не пугайтесь, милая матушка, выслушайте, и вы успокоитесь. Да, намерение наше страшно для того, кто смотрит на него со стороны и, не вникая в него, не видя прекрасной его цели, примечает одни только ужасы, грозящие каждому из нас; но вы мне мать — вы можете, вы должны ближе рассматривать своего сына. Ежели вы отдали меня в военную службу на жертву всем ее трудностям, опасностям, самой смерти, могшей меня постичь на каждом шагу, — для чего вы жертвовали мной? Вы хотели, чтобы я служил отечеству, чтоб я исполнил долг мой, а между тем материнское сердце, разделяясь между страхом и надеждой, втайне желало, чтобы я отличался, возвышался между другими, — мог ли я искать

того и другого, не встречая беспрестанно смерти? Нет, но вы тогда столько не боялись, как теперь; неужели отличия могли уменьшить страх вашей потери? Ежели нет, то я скажу вам, для чего вы можете достойнее пожертвовать мною. Я служил отечеству, пока оно нуждалось в службе своих граждан, и не хотел продолжать ее, когда увидел, что буду служить только для прихотей самовластного деспота; я желал лучше служить человечеству, избрал звание судьи, и вы благословили меня. Что меня ожидало в военной службе? Может быть, военная слава, может быть, безвестная смерть; но в наше время свет уже утомился от военных подвигов и славы героев, приобретаемой не за благородное дело помощи страждущему человечеству, но для его угнетения. Суворов был великий полководец, но слава его бледнеет, когда вспомним, что он был орудием деспотизма и побеждал для искоренения расцветавшей свободы Европы. Должен ли был я, получив эти понятия, оставаться в военной службе? Нет, матушка, ныне наступил век гражданского мужества, я чувствую, что мое призвание выше, — я буду лить кровь свою, но за свободу отечества, за счастие соотчичей, для исторжения из рук самовластия железного скипетра, для приобретения законных прав угнетенному человечеству — вот будут мои дела. Если я успею, вы не можете сомневаться в награде за них: счастие россиян будет лучшим для меня отличием. Если же паду в борьбе законного права со властью, ежели современники не будут уметь понять и оценить меня — вы будете знать чистоту и святость моих намерений; может быть, потомство отдаст мне справедливость, а история запишет имя мое вместе с именами великих людей, погибших за человечество. В ней имя Брута стоит выше Цезарева — итак, благословите меня!

Я никогда не видал Рылеева столь красноречивым: глаза его сверкали, лицо горело каким-то необыкновенным для него румянцем.

Мать его, которой он сообщил свой энтузиазм, улыбалась, но слезы ее не переставали катиться. Она наклонила его го-

лову — благословила; горесть и чувство внутреннего удовольствия смешивались на лице ее, наконец первая взяла верх — она залилась слезами и сказала:

— Все так, но я не переживу тебя...

Все действия жизни Рылеева ознаменованы были печатью любви к отечеству; она появлялась в разных видах: сперва сыновнею привязанностью к родине, потом негодованием к злоупотреблениям и, наконец, развернулась совершенно в желании ему свободы. В «Думах» его мы видим жаркое желание внушить в других ту же любовь к своей земле, ко всему народному; привязать внимание к деяниям старины, показать, что и Россия богата примерами для подражания, что сии примеры могут равняться с великими образцами древности.

В «Сатире на временщика» [1] открывается все презрение к почестям и власти человека, который прихотям деспота жертвует счастием своих сограждан. В том положении, в каком была и есть Россия, никто еще не достигал столь высокой степени силы и власти, как Аракчеев, не имея другого определенного звания, кроме принятого им титла верного царского слуги; этот приближенный вельможа под личиной скромности, устраняя всякую власть, один, незримый никем, без всякой явной должности, в тайне кабинета, вращал всею тягостью дел государственных, и злобная, подозрительная его политика лазутчески вкрадывалась во все отрасли правления.

Не было министерства, звания, дела, которое не зависело бы или оставалось бы неизвестно сему невидимому Протею — министру, политику, царедворцу; не было места, куда бы не проник его хитрый подсмотр; не было происшествия, которое бы не отозвалось в этом Дионисиевом ухе. Где деспотизм управляет, там утеснение — закон: малые угнетаются средними, средние большими, сии еще высшими; но над теми и другими притеснителями, равно как и над притесненными, была одна гроза: временщик. Одни карались за угнетения, другие за жалобы. Все государство трепетало под железною рукою любимца-правителя. Никто не смел жаловаться: едва возни-

кал малейший ропот — и навечно исчезал в пустынях Сибири или в смрадных склепах крепостей.

В таком положении была Россия, когда Рылеев громко и всенародно вызвал временщика на суд истины; когда назвал его деяния, определил им цену и смело предал проклятию потомства слепую или умышленную покорность вельможи для подавления отечества.

Нельзя представить изумления, ужаса, даже можно сказать оцепенения, каким поражены были жители столицы при сих неслыханных звуках правды и укоризны, при сей борьбе младенца с великаном. Все думали, что кары грянут, истребят и дерзновенного поэта, и тех, которые внимали ему; но изображение было слишком верно, очень близко, чтобы обиженному вельможе осмелиться узнать себя в сатире.

Он постыдился признаться явно, туча пронеслась мимо; оковы оцепенения пали, мало-помалу расторглись, и глухой шопот одобрения был наградою юного правдивого стихотворца. Это был первый удар, нанесенный Рылеевым самовластию.

Многие не видят нравственных последствий его сатиры, но она научила и показала, что можно говорить истину, не опасаясь; можно судить о действиях власти и вызывать сильных на суд народный.

С этого стихотворения началось политическое поприще Рылеева. Пылкость юношеской души, порыв благородного негодования и меткие удары сатиры, безбоязненно нанесенные такому сопернику, обратили общее внимание.

Уже в России начинали чувствовать тягость деспотизма, видеть бедствия, угнетающие отечество, и помышлять о средствах для введения нового, лучшего порядка вещей.

Тайное Общество, составленное из нескольких друзей человечества, существовало, и Рылеев, взысканный общим уважением за свои заслуги перед человечеством, увенчанный заслуженными похвалами за поэтические дарования, с полною доверенностию к его характеру и мнениям был принят в это Общество. Здесь порывы его души, болезнь сердца о несча-

стиях родины и неясные понятия о желании лучшего получили надлежащее направление. Отсюда мы видим уже в нем новый порядок идей, другие действия, иные поступки. Пылкий юноша созрел постоянным и осторожным мужем; раздраженный смельчак переменился в скрытного и предприимчивого заговорщика; дерзновенный поэт — в обдуманного стихотворца, который уже не гремел проклятиями на площадях против эфемерных любимцев, но в сочинениях своих желал направлять умы соотчичей к единственной цели, к благородной свободе народов.

Служив в артиллерии, женясь и взяв отставку, он жил в своей деревне. Его качества заставили соседей избрать его заседателем в уголовный суд по Петербургской губернии.[1]

Сострадание к человечеству, нелицеприятие, пылкая справедливость, неутомимое защищение истины сделало его известным в столице. Между простым народом имя и честность его вошли в пословицу. Однажды по важному подозрению схвачен был какой-то мещанин и представлен бывшему тогда военному губернатору Милорадовичу. Сделали ему допрос; но как степень виновности могла только объясниться собственным признанием, то Милорадович грозил ему всеми наказаниями, ежели он не сознается. Мещанин был невинен и не хотел брать на себя напрасно преступления; тогда Милорадович, соскуча запирательствами, объявил, что отдает его под уголовный суд, зная, как неохотно русские простолюдины вверяются судам. Он думал, что этот человек от страха суда скажет ему истину, но мещанин вместо того упал ему в ноги и с горячими слезами благодарил за милость.

— Какую же милость оказал я тебе? — спросил губернатор.

— Вы меня отдали под суд, — отвечал мещанин, — и теперь я знаю, что избавлюсь от всех мук и привязок, знаю, что буду оправдан: там есть Рылеев, он не дает погибать невинным!

Это происшествие более всех похвал дает понятие о действиях сего человека. Я не скажу ничего о известном деле разумовских крестьян:[2] мнение Рылеева о сих

несчастных было написано с силою чувствований, защищавших невинное дело. Император, вельможи, власти, судьи, угождающие силе, — все было против, один Рылеев взял сторону угнетенных, и это его мнение будет служить вечным памятником истины — свидетелем, с какой смелостью Рылеев говорил правду.

Кроме высоких чувствований, любви к отечеству и истине, душа его и сердце были доступны всякому благородному впечатлению. Любовь и дружба сопутствовали ему на всем поприще жизни. Я был свидетелем его домашнего быта, много раз слышал, как он повторял мне о своем счастье, пересчитывал качества своей супруги и описывал любовь свою к ней. Здесь я считаю священным долгом сказать то, что я знаю о его привязанности к супруге и семейству, потому что были люди, которые сомневались в его к ней верности — подозревали, что он ее оставлял для других; я несколько раз должен был защищать его публично; но тогда не мог я сего сделать так, как могу теперь. Он был жив, с меня взято было обещание не говорить ничего, могшего служить в его оправдание. Поступки его в отношении к супруге могли казаться двусмысленными и не могли быть объяснены, но теперь, когда смерть запечатлела его уста, мои должны говорить. Светские отношения и связи теперь прерваны, я могу говорить, как из-за пределов гроба.

Несколько раз случалось, что меня как коротко знакомого Рылееву спрашивали в обществе, любит ли он свою жену, и на мой утвердительный ответ всегда показывали сомнение; всегда говорили, что он не живет дома, что он часы своих досугов посвящает не супруге, а другим. В других местах говорили яснее, называя по имени ту женщину, о которой предполагали, что она завладела его сердцем.[1]

Такие обвинения повторялись часто и доказывали, что клевета успела далеко пустить свои отрасли. Я защищал его, как умел, потому что не мог тогда оправдать ни его частых отсутствий из дома, ни его ложной неверности.

Против первого обвинения теперь достаточно, ежели скажу, что в последние два года своей жизни Рылеев, которого единственная цель, одно помышление — был переворот, должен был действовать для Тайного Общества. Он обязан был многих посещать, совещаться со многими членами. Мысль о перемене в отечестве не оставляла его ни на минуту, не давала ему покоя ни днем, ни ночью. Для нее забывал он собственное семейное счастие.

Часто ему нельзя было явно делать своих посещений; тайна оных распространилась, но чужое любопытство не постигло ее, а клевета дала ей другое направление.

Вот что я должен сказать о другом обвинении. При всей моей короткости я не был другом Рылеева; дружбою и доверенностию пользовался брат мой Александр; но когда с ним случались обстоятельства, требовавшие холодного размышления, он всегда прибегал ко мне; в этом случае он делал мне честь предпочтения, не доверяя, как говорил он, ни собственной пылкости, ни Александровой опрометчивости. Я несколько раз говорил ему об оскорбительных подозрениях, о слухах в обществе, которые носились на его счет, и несколько раз получал в ответ просьбу повременить объяснением и не стараться защищать его, потому что он не признает других судей, кроме своей совести, которая не упрекает его ни в чем. Итак, я с ним молчал, но не переставал защищать его, сколько было моих сил и способностей.

Однажды я написал повесть, в которой изобразил мучения влюбленного человека, томление страсти, отчаяние неразделенной любви, и изобразил это довольно живо. Насчет литературных занятий Рылеев и мы с братом составляли нечто целое. Ни один из нас не делал плана, не кончал сочинения, не показав другому. При первом моем свидании с Рылеевым он спросил меня, кончил ли я начатую мною повесть, и на утвердительный мой ответ просил ее прочесть. Я начал с описания веселых происшествий, перешел к завязке, принимая мало-помалу выражение грусти, которую хотел изобразить;

дошел до того места, где любовь, где совесть, разделяя сердце героя повести, лишают его совершенно спокойствия, ведут его постепенно к отчаянию; наконец, когда дошел до описания всех ужасов бессонницы, самозабвения и покушения на самоубийство, Рылеев вдруг остановил меня:

— Довольно, довольно, — вскричал он дрожащим голосом.

Я взглянул на него и увидел, что слезы катились у него градом. Это меня удивило, хотя я и знал его чувствительность; мне не раз случалось видеть, как слезы выступали у него при рассказе о благородном поступке, при высокой мысли, даже при чтении хорошо написанной повести; но это внутреннее движение слишком было сильно для обыкновенного впечатления.

— Что с тобою сделалось? — спросил я.

— Дай мне оправиться, и я расскажу тебе все, — отвечал он; встал и после нескольких оборотов по комнате снова сел подле меня и начал:

«Ты спрашиваешь меня о причине моего поведения, которым меня упрекают в свете, — теперь я должен объяснить тебе это. Несколько времени тому назад приехала сюда в Петербург г-жа К. по важному уголовному делу о ее муже. Несколько человек моих знакомых, многие важные люди просили меня заняться этим делом, уговаривали познакомиться с нею. За первое я взялся по обязанности, второго старался всячески избегать, потому что не люблю знакомиться с теми, чьи дела на моих руках, и по свойственной мне неловкости и застенчивости с женщинами.

«Но я к тому был вынужден как усиленными просьбами, так и необходимостью узнать некоторые обстоятельства лично, потому что дело тянулось давно, было спутано нижними инстанциями, и бумаг было очень много, писанных на польском языке, мне не совершенно знакомом. Одним словом, меня привезли к ней. Я увидел женщину во всем блеске молодости и красоты, ловкую, умную, со всеми очарованиями слез и пламенного красноречия, вдыхаемого ее несчастным положением.

Мое обыкновенное замешательство увеличилось еще более неожиданностью моих впечатлений, видя в первый раз в жизни столько привлекательного в этой необыкновенной женщине.

«Однако же, после первого посещения, я не унес с собою никакого постороннего чувствования, кроме желания ей помочь, если это можно.

«В последовавших за сим свиданиях слезы прекрасной моей клиентки мало-помалу осушились, на место их заступила заманчивая томность, милая рассеянность, которая перерывалась одним только вниманием ко мне. Это внимание перешло, наконец, в угождение. Моим советом она желала руководствоваться, мое мнение было всегда самое справедливое, мой образ мыслей — самый благородный. Довольно было упомянуть о какой-нибудь вещи или книге, то и другое являлось у нее на столе. Сообразно с моим вкусом она читала и восхищалась тем, что нравилось мне; но все это делалось с такою деликатностью и осторожностью, с такою ловкостью противоставлялись иногда и противоречия, что самая бдительная щекотливость не могла тревожиться. Никогда не было прямого намека в глаза: всё это я слыхал от других, и все, как будто нарочно, старались наперерыв передавать ее слова и мнения на мой счет.

«Я начал находить удовольствие в ее обществе, дикость моя понемногу исчезла, я не замечал за собой, предавался вполне и без опасения тем впечатлениям, которые эта женщина на меня производила, и, наконец, к стыду моему, я должен тебе сказать, я стал к ней неравнодушен ... Вот моя повесть, вот что лежит у меня на совести».

Он остановился. Я никак не ожидал этого признания и с внутренним беспокойством спросил его:

— Но все это, может быть, с ее стороны одно только желание быть любезною, желание, свойственное всем женщинам и в особливости полькам. Может быть, и ты слишком строг к себе и обманываешься в своих чувствованиях, и желание

пользоваться обществом приятной женщины принимаешь за другое?..

— Нет, как я ни неопытен, но умею различать и то и другое. Я вижу, каким огнем горят ее глаза, когда разговор наш касается чувствований; мне нельзя не видеть, нельзя скрыть от самого себя того предпочтения, которое она, зная мою застенчивость, самыми ловкими оборотами и так искусно умеет дать мне перед другими. Если она одна только со мною, она задумчива, рассеяна, разговор наш прерывается, я теряюсь, берусь за шляпу, хочу уйти, и один взгляд ее приковывает меня к стулу. Одним словом, она дает мне знать о состоянии своего сердца и, конечно, давно знает, что происходит в моем...

— Все это мне слишком странно именно потому, что случилось с тобою. Ни ты хорош, ни ловок, ни любезен с женщинами. Твоего поэтического дарования недостаточно для женщины, чтобы влюбиться. Узнав тебя короче, верю, что можно полюбить и любить очень; но такая быстрая победа над светской женщиной с первого раза невероятна. Для этого надобны блестящие, очаровательные качества. Стихи, добродетель, правдивость, прямодушие любят, но не влюбляются в них — и если это с ее стороны кокетство, которым она старается закупить своего судью, то...

— Нет, она не кокетка, — прервал он с чувством, — нет ничего естественнее слов ее, движений, действий. Все в ней так просто и так мило!..

— И тем опаснее!

Восклицание Рылеева, которым он прервал мои слова, дало мне понятие о степени его чувствований. Чтобы вернее испытать его, я принял обыкновенный, веселый вид и сказал ему, улыбаясь:

— В таком случае я дивлюсь, почему ты не воспользуешься такими обстоятельствами, таким случаем, какого многие или, лучше сказать, никто не поставил бы в зазор совести?

— Боже меня от этого сохрани! Оставя то, что я обожаю свою жену и не понимаю, как другое чувство могло закрасться

в мое сердце; оставя все нравственные приличия семейственного человека, я не сделаю этого, как честный человек, потому что не хочу воспользоваться ее слабостью и вовлечь ее в преступление. Сверх того, не сделаю как судья. Ежели дело ее справедливо, на совесть мою ляжет, что я, пользуясь ее несчастным положением, взял такую преступную взятку; ежели несправедливо — мне или надобно будет решить его против совести, или, решив его прямодушно, обмануть ее надежды.

— Странный человек! Чего же ты хочешь? Ты не желаешь пользоваться благосклонностью женщины, намерен оставаться верным своим правилам и продолжаешь свои посещения, тогда как еще один шаг по этой дороге может разрушить все твои укрепления чести и совести. Ты думаешь, что можешь противиться влечению склонности, и позволяешь этой женщине читать в твоем сердце; хочешь быть верен жене, подвергаясь беспрестанно искушению. Видно, — прибавил я, смягчая шутливым выражением суровость упрека, — видно, ты за тем и не велишь приезжать сюда жене своей, чтобы продолжить время твоего заблуждения!

— Твой выговор жесток, но ты имеешь право так думать, — нет, не для продолжения, не для свободы моих дурачеств удерживаю в деревне жену мою, но для того, чтобы не дать ей видеть моего положения, не сделать ее свидетельницей моих страданий, моей борьбы с совестью. Это ее убьет. Ты не поверишь, какие мучительные часы провожу я иногда; не знаешь, до какой степени мучит меня бессонница, как часто говорю вслух с самим собой, вскакиваю с постели, как безумный, плачу и страдаю. Вот почему повесть твоя стрелой вошла в мое сердце, вот почему я открылся перед тобою.

Мы говорили долго об этом предмете. Рылеев сказал, что писал уже к своей жене, чтобы она приехала, обещал мне, что не скроет от меня ни малейшего поступка, а я, с своей стороны, дал ему слово разведать со всем старанием об этой женщине.

С сей минуты я знал всякий день ощущения Рылеева. Приехала его жена. Сказал ли он ей о своей слабости, сказали ли ей о том другие? Этого мне не известно; знаю, что поведение его с нею было примерно, и хотя он решился оставить дом К., но ему не удалось. Казалось, что все были против него в заговоре: ему не позволяли исполнить своего намерения, и если он не бывал там несколько дней, его брали и насильно туда увозили. Не менее того он сделался осторожнее против самого себя и ни одним словом, ни одним взглядом не показывал состояния своей души, которое было еще хуже прежнего, потому что принуждение давало новую силу чувствам.

Быть героем, не иметь недостатков и слабостей, не сделать ни одного неосторожного шага в жизни очень славно, но, по моему мнению, человек с недостатками и слабостями достоин большей похвалы, ежели он может владеть ими. В первом случае я вижу одну только силу, которой нет препятствий; во втором мне представляется борьба и победа, и чем бой опаснее, тем победа славнее.

Как бы то ни было, такое состояние дел продолжалось: я видел страдание и силу души достойного моего друга; но это не мешало ему работать в пользу Тайного Общества со всею горячностию человека, обрекшего себя на жертву для счастья отечества. Эта обязанность, которую мы на себя возложили, заставляла нас знакомиться с такими людьми, собирать такие сведения, о которых прежде и не помышляли. Нам нужно было следить за намерениями правительства, открывать его тайны — и однажды, при разведываниях наших, мы нечаянно узнали, что г-жа К. была ... шпион правительства.[1]

Для меня объяснилась вся загадка. Давно уже Рылеева подозревали как вольнодума; его достоинства, вес между молодыми людьми давали повод думать, что мнения его разделяются другими. Рылеев не хотел знакомиться со властями, избегал всех больших обществ; обыкновенные средства для него не годились, он говорил публично то, что говорили мно-

гие; образ его мыслей был известен, но надобно было проникнуть глубже, в его душу и сердце.

Можно себе представить всю силу негодования пылкого Рылеева, когда вероломство женщины, которую считал он образцом своего пола, представилось ему в настоящем виде. Он хотел в ту же минуту ехать к ней, высказать все презрение к той роли, которую она приняла с ним; осыпать ее упреками, представить всю подлость ее положения и оставить ее навсегда. Мы с братом Александром успокоили его, и после согласился он с нами, что такой поступок всего скорее обнаружит то, что всего менее ему надобно было показывать. Такая ссора обнаружила бы и слабость его сердца, и негодование подозреваемого человека.

Мы положили, чтобы он никак не показывал того, что ему было известно, и напротив, старался дать более свободы своему обращению, чтобы робость,[1] происходившая прежде от внутренней борьбы с собою, не могла быть принята за боязнь человека, скрывающего тайну.

Рылеев сказал и сделал. Данный урок излечил его от слабости, и когда возвращенное спокойствие позволило ему хладнокровнее наблюдать за этой женщиной, он ясно увидел ее намерения. По мере той, как он делался свободнее и показывал ей более внимания, она более и более устремлялась к своей цели. Томность ее чувствований заменилась выражением пламенной любви к отечеству; все ее разговоры клонились к одному предмету: к несчастиям России, к деспотизму правительства, к злоупотреблениям доверенных лиц, к надеждам свободы народов и т. п. Рылеев мог бы обмануться сими поступками: его открытое сердце и жаркая душа только и искали сих ощущений. Но он был предостережен, и уже никакие очарования, никакие обольщения не выманили бы из груди тайны, сокровища, которые он становил дороже всего на свете, и обманщица в свою очередь осталась обманутою.

В дружбе Рылеев был чрезвычайно пылок. При самом простом, даже детском обращении с друзьями, в душе его заклю-

чались самые высокие к ним чувствования. Жертва, даже самопожертвование для дружбы ему ничего не стоили; честь друга для него была выше всяких соображений. Ни приличие, ни рассудок не сильны были удержать его при первом порыве, ежели друг его был обижен. Один из его друзей, имев неприятную историю, требовал удовлетворения и не получил его; искал своего соперника и нигде не мог встретить. Рылеев был счастливее: он встретил его дважды и в первый раз, при отказе на вызов, наплевал ему в лицо, в другой раз забылся до того, что, вырвав у своего противника хлыст, выстегал его публично, но ни тем, ни другим не мог убедить его на удовлетворение, которого тот хотел искать в полиции.[1]

Всякая несправедливость, ложь, а тем более клевета, находили в нем жестокого противника; в сих случаях никакие уважения не могли остановить его негодования. Часто раскаивался он, видя, что резкою защитою невинности наносил более вреда, нежели пользы; но при новом случае те же явления, та же неукротимая ненависть против несправедливости повторялись. Это была его слабость, которая огорчала его самого, друзей и приближенных. Я называл его мучеником правды.

К сему присовокуплялся другой, еще важнейший, недостаток: сердце его было слишком открыто, слишком доверчиво. Он во всяком человеке видел благонамеренность, не подозревал обмана и, обманутый, не переставал верить. Опытность ни к чему для него не служила. Он все видел в радужные очки своей прекрасной души. Одна только скромность и застенчивость спасала его.

Если человек не доволен был правительством или злословил власти, Рылеев думал, что этот человек либерал и хочет блага отечества. Это было причиною многих его ошибок на политическом поприще.*

---

* «NB. Спор мой с ним об эгоизме у человека за 30 лет». [Заметка на поле подлинной рукописи].[2]

Я упомянул о таких его слабостях, которые всякому другому человеку сделали бы честь, но в Рылееве, как в лице политическом, они были важным недостатком. Должно ли



К. Ф. РЫЛЕЕВ
Рисунок Н. А. Бестужева. 1830-е годы.

присовокупить и то, что он слишком был к себе недоверчив, слишком мало чувствовал силу своей души над другими?

Рылеев был не красноречив и овладевал другими не тонкостями риторики или силою силлогизма, но жаром простого и иногда несвязного разговора, который в отрывистых выра-

жениях изображал всю силу мысли, всегда прекрасной, всегда правдивой, всегда привлекательной. Всего красноречивее было его лицо, на котором являлось прежде слов все то, что он хотел выразить, точно, как говорил Мур о Байроне, что он похож на гипсовую вазу, снаружи которой нет никаких украшений, но как скоро в ней загорится огонь, то изображения, изваянные внутри хитрою рукою художника, обнаруживаются сами собой. Истина всегда красноречива, и Рылеев, ее любимец, окруженный ее обаянием и ею вдохновенный, часто убеждал в таких предположениях, которых ни он детским лепетанием своим не мог еще объяснить, ни других довольно вразумить, но он провидел их и заставлял провидеть других.

Все, что я знал о характере и свойствах Рылеева, я сказал. Обратимся к его поэзии: многие находят, что он не поэт и что стихи его принадлежат более к области ума, нежели воображения. У всякого свой образ мыслей, свой образ воззрения на предметы. Я согласен, что стихи Рылеева с механической стороны не могут назваться образцовыми, но, чтобы согласиться с последним, должно наперед сказать, что̀ я почитаю поэзиею, и потом дать свое мнение о творениях этого человека.

По-моему, всякий благородный поступок, каждая высокая мысль, каждое нежное ощущение и все, что выходит из обыкновенного ряда наших обыкновенных действий, есть поэзия. Все, что может трогать сердце, наполнять и возвышать душу, есть поэзия. Любовь, гнев, ненависть суть страсти, но и религия, но и любовь к отечеству — также страсти, и ежели стихи заставляют трепетать ту струну нашего сердца, которую сочинитель намеревался тронуть, в таком случае, каков бы ни был наружный вид стихов, они — поэзия. Я пойду далее. Часто случается, что вещи, простые сами по себе, в применении к случаю и обстоятельствам делаются поэтическими; так, например, известная швейцарская ария горных пастухов, не заключающая в себе ничего особенного, музыкального и слышимая ежедневно швейцарами в их родине, не производит на них никакого впечатления, но если тот же швейцар слышит ее вдалеке

от своего отечества, тогда она становится для него совершенно поэтическою. Мне случилось быть свидетелем восторга моих соотчичей, когда однажды, посетив Гибралтар и осматривая исполинские подвиги англичан, пробивших эту поднебесную гору галлереями во всю ее высоту, мы под облаками, на отдаленнейшем краю Европы, вдали от родины, вдруг услыхали голос и слова русской песни. Нельзя изъяснить этого чувствования.[1] Теперь обратимся к стихам Рылеева.

Единственная мысль, постоянная его идея была пробудить в душах своих соотечественников чувствования любви к отечеству, зажечь желание свободы. Такое намерение уже само по себе носит отпечаток поэзии, где бы оно ни было приведено в исполнение, но становится совершенно поэтическим, когда, окруженные шпионами деспотизма, посреди рабских похвал, посреди боязливой лести и трусливого подобострастия, посреди целой империи, стенящей под игом тяжкого самоуправства, мы вдруг внимаем голосу поэта, возвещающего нам высокие истины, впервые нами слышимые, но знакомые нашему сердцу. Сама природа влагает в нас понятие о свободе, и это понятие, этот слух сердца так верны, что, как бы ни заглушали их, они отзовутся при первом воззвании. В чем же другом заключается поэзия, как не в побуждении отголоска на песни ее в нашем сердце?[2]

Я говорил о мысли, теперь скажу о исполнении. Вообще Рылеев там везде хорош, везде высок, где он говорит от чувства, но вообще описания его слабы, драматическая часть также. Доказательством тому служить может, что многие описания суть подражания, а драма часто взята целиком из других авторов. Несмотря на это, поэма «Войнаровский», как важнейшее оконченное сочинение, по соображению и ходу стоит выше всех поэм Пушкина, оригинального только в «Цыганах», хотя по стихосложению никак не может равняться ни с самыми слабыми произведениями сего поэта. Обаяние Пушкина заключается в его стихах, которые, как сказал один рецензент, катятся жемчугом по бархату. Достоинство Рылеева

состоит в силе чувствований, в жаре душевном. Переведите сочинения обоих поэтов на иностранный язык и увидите, что Пушкин станет ниже Рылеева. Мыслей последнего нельзя утратить в переводе, — прелесть слога и очаровательная гармония стихов первого потеряются. Мне кажется, что Пушкин сам не постиг применения своего таланта и употребляет его не там, где бы надлежало. Он ищет верных, красивых, разительных описаний, ловкости оборотов, гармонии, ласкающей ухо, и проходит мимо высокого ощущения, глубокой мысли. Даже в других ему более нравится то же.[1] Когда Рылеев напечатал «Войнаровского» и послал Пушкину экземпляр, прося сказать о нем свое мнение, Пушкин прислал ему назад со сделанными на полях замечаниями и противу стихов, истинно поэтических, истинно прекрасных, как, например, когда после рассказа пленного казака:

Мазепа горько улыбнулся,
Прилег безмолвный на траву
И в плащ широкий завернулся.

Или когда Мазепа говорит племяннику:

Но чувств твоих я не унижу,
Сказав, что родину мою
Я более, чем ты, люблю.
Как должно юному герою,
Любя страну своих отцов,
Женой, детями и собою
Ты ей пожертвовать готов.
Но я — но я, пылая местью,
Ее спасая от оков:
Я жертвовать готов ей честью.

После сих и многих других прекрасных мест, или вовсе незамеченных, или едва отмеченных, мнение Пушкина выражено слабо, тогда как при изображении палача, где Рылеев сказал:

Вот засучил он рукава...

Пушкин вымарал это место и написал на поле: «Продай мне этот стих!».

Новые сочинения, начатые Рылеевым, носили на себе печать зрелейшего таланта. Можно было надеяться, что опытность на литературном поприще, очищенные понятия и большая разборчивость подарили бы нас произведениями совершеннейшими. Жалею, что слабая моя память не может представить ясного тому доказательства из начатков Мазепы и Хмельницкого. Из первого некоторые отрывки напечатаны, другой еще был, так сказать, в пеленах, но уже рождение его обещало впереди возмужалость таланта. Во всех публично изданных сочинениях, как то: «Думах», «Войнаровском», «Гражданском мужестве» и других, цель Рылеева обнаруживается в приноровлении, которое может сделать сам читатель, но его другие сочинения, писанные для ходу в рукописи, слишком явны и сколь ни бездельны кажутся в литературном отношении с первого взгляда (особенно песни, составленные им с Александром Бестужевым на голос народных подблюдных припевов), но намерение, с которым писаны, и влияние, ими произведенное в короткое время, слишком значительны. Хотя правительство всеми мерами старалось истребить сии песни, где только могли находить их, но они были сделаны в простонародном духе, были слишком близки к его состоянию, чтобы можно было вытеснить их из памяти простолюдинов, которые видели в них верное изображение своего настоящего положения и возможность улучшения в будущем. С другой стороны, одного преследования, без всякого внутреннего достоинства, достаточно было для заманчивости сих легких творений, чтобы образованные люди пожелали сохранить их. Рабство народа, тяжесть притеснения, несчастная солдатская жизнь изображались в них простыми словами, но верными красками.[1]

Удаленным от света нельзя положительно сказать, что они теперь в ходу, но, зная людей, зная, что однажды приобретенные ими понятия, подобно дереву, которому садовник, желая

сообщить произвольную форму, как ни сгибает сучья, как ни обстригает ветви, но оно следует природному порядку и пускает вверх свои отрасли, кажется, трудно поверить, чтобы этот катехизис простого народа не распространялся более и более.* В самый тот день, когда исполнена была над нами сентенция и нас, морских офицеров, возили для того в Кронштадт, бывший с нами унтер-офицер морской артиллерии сказывал нам наизусть все запрещенные стихи и песни Рылеева, прибавя, что у них нет канонира, который, умея грамоте, не имел бы переписанных этого рода сочинений и особенно песен Рылеева.[1]

Мне пришла теперь на память одна мало известная пиэса, написанная Рылеевым в последнее время для юношества высшего сословия русского; вот она:

Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян.
Нет, не способен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.
Пусть юноши, не разгадав судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенье века
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека.
Пусть с хладнокровием бросают хладный взор
На бедствия страдающей отчизны
И не читают в них грядущий свой позор
И справедливые потомков укоризны.
Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги
И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риэги.[2]

* «Об оде на рождение Алекс. Ник.». [Заметка на поле подлинной рукописи].[3]

В этих стихах лучше всего изображаются все достоинства и недостатки поэзии Рылеева. Со всем тем, кто не скажет, что это стихотворение может стать на ряду с лучшими ирландскими мелодиями Мура? [1]

Приступим теперь к важнейшей эпохе жизни Рылеева. Разделяемый между литературою, занятиями по Обществу и домашними попечениями, он тихо проводил жизнь свою, уважаемый общим мнением, любимый домашними и друзьями и подозреваемый правительством, которое, повидимому, в последнее время было очень слабо в своем полицейском надзоре. Мало-помалу тайные дела для приготовления Общества отвлекли его от других занятий; он совершенно посвятил себя одной только заботе.

Не знаю, был ли он обманут сам, или желал другим представлять дела Общества в лучшем виде, только из его пламенных разговоров о распространении числа членов, принадлежащих к союзу благомыслящих людей, я и другие заключали, что Общество наше многочисленно и что значащие люди участвуют в оном. В сем положении дел застигла нас нечаянная смерть Александра. Более года прежде сего в разговорах наших я привык слышать от Рылеева, что смерть императора была назначена Обществом эпохою для начатия действий оного, и когда я узнал о съезде во дворце по случаю нечаянной кончины царя, о замешательстве наследников престола, о назначении присяги Константину, тотчас бросился к Рылееву. Ко мне присоединился Торсон. Происшествие было неожиданно; весть о нем пришла совсем не оттуда, откуда ожидал я, и вместо начатия действий я увидел, что Рылеев совершенно не знал об этом. Встревоженный и волнуемый духом, видя благоприятную минуту пропущенною, не видя Общества, не видя никакого начала к действию, я горько стал выговаривать Рылееву, что он поступил с нами иначе, нежели было должно.

— Где же Общество, — говорил я, — о котором столько рассказывал ты? Где же действователи, которым настала

минута показаться? Где они соберутся, что предпримут, где силы их, какие их планы? Почему это Общество, ежели оно сильно, не знало о болезни царя, тогда как во дворце более недели получаются бюллетени об опасном его положении? Ежели есть какие намерения, скажи их нам, и мы приступим к исполнению — говори!

Рылеев долго молчал, облокотясь на колени и положив голову между рук. Он был поражен нечаянностью случая и, наконец, сказал:

— Это обстоятельство явно дает нам понятие о нашем бессилии. Я обманулся сам; мы не имеем установленного плана, никакие меры не приняты, число наличных членов в Петербурге невелико, но, несмотря на это, мы соберемся опять сегодня ввечеру; между тем, я поеду собрать сведения, а вы, ежели можете, узнайте расположение умов в городе и в войске.

Батенков и брат Александр явились в эту минуту, и первое начало происшествий, ознаменовавших период междуцарствия, началось бедным собранием пяти человек.

С сей минуты дом Рылеева сделался сборным местом наших совещаний, а он — душою оных. Ввечеру мы сообщили друг другу собранные сведения, они были неблагоприятны. Войско присягнуло Константину холодно, однако без изъявления неудовольствия. В городе еще не знали, отречется ли Константин, тайна его прежнего отречения в пользу Николая еще не распространилась. В Варшаву поскакали курьеры, и все были уверены, что дела останутся в том же положении.

Когда мы остались трое: Рылеев, брат мой Александр и я, то, после многих намерений, положили было писать прокламации к войску и тайно разбросать их по казармам; но после, признав это неудобным, изорвали несколько написанных уже листов и решились все трое итти ночью по городу, останавливать каждого солдата, останавливаться у каждого часового и передавать им словесно, что их обманули, не показав заве-

щания покойного царя, в котором дана свобода крестьянам и убавлена до 15 лет солдатская служба.

Это положено было рассказывать, чтобы приготовить дух войска для всякого случая, могшего представиться впоследствии. Я для того упоминаю об этом намерении, что оно было началом действий наших и осталось неизвестным Комитету.[1]

Нельзя представить жадности, с какою слушали нас солдаты, нельзя изъяснить быстроты, с какой разнеслись наши слова по войскам; на другой день такой же обход по городу удостоверил нас в этом.

Два дни сильного беспокойства, две бессонные ночи в ходьбе по городу и огорчение сильно подействовали на Рылеева. У него сделалось воспаление горла, он слег в постель, воспаление перешло в жабу, он едва мог переводить дыхание, но не переставал принимать участия в делах Общества. Мало-помалу число наше увеличилось, члены съезжались отовсюду, и болезнь Рылеева была предлогом беспрестанных собраний в его доме.

Мне прискорбно теперь припоминать предсказание, сделанное мною больному, и тогда было оно шуткою, но вскоре исполнилось ужасною истиною. Ему поставили на шею мушку, и когда она подействовала, надобно было сделать перевязку. Очищая больное место и прикладывая новый пластырь, я зацепил неосторожно за рану. Рылеев вскрикнул.

— Как не стыдно тебе быть так малодушным, — сказал я шутя, — и кричать от одного прикосновения, когда ты знаешь свою участь, знаешь, к чему тебе должно приучать свою шею.

Между тем, сомнения насчет наследства престола возрастали. Нам открывался новый случай воспользоваться новою присягою. Мы работали усерднее, приготовляли гвардию, питали и возбуждали дух неприязни к Николаю, существовавший между солдатами. Рылеев выздоравливал и не переставал быть источником и главною пружиною всех действий Общества.

Но, несмотря на успехи наши, невзирая на то, что новые члены прибывали, что за многие полки сделаны были обещания, мы мало уверены были в наших силах; никто не мог ручаться за полный полк, ротные командиры, участвовавшие в заговоре, могли отвечать только за свои роты, и то при некоторых благоприятных обстоятельствах. Часто в разговорах наших сомнение насчет успеха выражалось очень положительно. Не менее того, мы видели необходимость действовать, чувствовали надобность пробудить Россию. Рылеев всегда говаривал:

— Предвижу, что не будет успеха, но потрясение необходимо, тактика революций заключается в одном слове: д е р з а й, и ежели это будет несчастливо, мы своей неудачей научим других.

Наконец, 12-го числа декабря, в субботу, явился у меня Рылеев. Вид его был беспокойный, он сообщил мне, что Оболенский выведал от Ростовцева, что сей последний имел разговор с Николаем, в котором объявил ему об умышляемом заговоре, о намерениях воспользоваться расположением солдат, и упрашивал его, для отвращения кровопролития, или отказаться от престола, или подождать цесаревича для формального и всенародного отказа. Оболенский заставил Ростовцева написать как письмо, писанное им до свидания, так и разговор с Николаем.

— Вот черновое изложение того и другого, — продолжал Рылеев, — собственной руки Ростовцева, прочти и скажи, что ты об этом думаешь?

Я прочитал. Там не было ничего упомянуто о существовании Общества, не названо ни одного лица, но говорилось о намерении воспротивиться вступлению на престол Николая, о могущем произойти кровопролитии. В справедливости же своего показания Ростовцев заверял головою, просил, чтобы его посадили с сей же минуты в крепость и не выпускали оттуда, ежели предсказываемое не случится.[1]

— Уверен ли ты, — сказал я Рылееву, — что все, писан-

ное в этом письме, и разговор совершенно согласны с правдою и что в них ничего не убавлено против изустного показания Ростовцева?

— Оболенский ручается за правдивость этой бумаги: он говорит, что Ростовцев почти добровольно объявил ему все это.

— По доброй душе своей Оболенский готов ему верить; но я думаю, что Ростовцев хочет ставить свечу богу и сатане. Николаю он открывает заговор, пред нами умывает руки признанием, в котором, говорит он, нет ничего личного. Не менее того в этом признании он мог написать, что ему угодно, и скрыть то, что ему не надобно нам сказывать. Но пусть будет так, что Ростовцев, движимый сожалением, совестью, раскаянием, сказал и написал не более и не менее, однакож у него сказано об умысле, и ежели у Николая теперь так много хлопот, что некогда расспросить об нем доносчика, или боязнь и политика мешают приняться за розыск, как бы надобно, то, конечно, эти причины не будут существовать в первый день по вступлении на престол, и Ростовцева заставят сказать что-нибудь поболее о том, о чем он говорит теперь с такою скромностью.

— Но если бы сказано было что-нибудь более, нас, конечно, тайная полиция прибрала бы к рукам.

— Я тебе повторю, что Николай боится сделать это. Опорная точка нашего заговора есть верность присяге Константину и нежелание присягать Николаю. Это намерение существует в войске, и, конечно, тайная полиция о том известила Николая, но как он сам еще не уверен, точно ли откажется от престола брат его, следовательно, арест людей, которые хотели остаться верными первой присяге, может показаться с дурной стороны Константину, ежели он вздумает принять корону.

— Итак, ты думаешь, что мы уже заявлены?

— Непременно, и будем взяты, ежели не теперь, то после присяги.

— Что же, ты полагаешь, — нужно делать?

— Не показывать этого письма никому и действовать. Лучше быть взятыми на площади, нежели на постели. Пусть лучше узнают, за что мы погибнем, нежели будут удивляться, когда мы тайком исчезнем из общества, и никто не будет знать, где мы и за что пропали.

Рылеев бросился ко мне на шею.

— Я уверен был, — сказал он с сильным движением, — что это будет твое мнение. Итак, с богом! Судьба наша решена! К сомнениям нашим теперь, конечно, прибавятся все препятствия. Но мы начнем. Я уверен, что погибнем, но пример останется. Принесем собою жертву для будущей свободы отечества!

Мы поехали вместе с ним к полковнику Финляндского полка Моллеру, члену Общества, чтобы спросить его решительного ответа, и не застали дома. Рылеев поручил мне непременно узнать о его намерениях. Я был у Моллера опять ввечеру и нашел его в наилучшем расположении — с этим я отправился к Рылееву. В этот же вечер приехала ко мне из деревни мать с сестрами, и потому мне нельзя было оставаться на совещании. Рылеев обещал известить меня обо всем.

На другой день, поутру, передав мне некоторые слабые надежды, Рылеев поехал со мною опять к Моллеру и опять не застал его дома. Обещав приехать ко мне обедать, он поручил мне сыскать Моллера, чтобы, узнав его мысли, принять решительные меры.

Я отправился к Торсону, и там узнали мы, что Моллер у дяди своего, министра. Послали за ним. Он явился, но был уже не тот, с которым я говорил накануне. При первом вопросе о его намерениях он вспыхнул; сказал, что не намерен служить орудием и игрушкой других в таком деле, где голова нетвердо держится на плечах, и, не слушая наших убеждений, ушел.

Я сообщил Рылееву за обедом нашу неудачу.

— Нам надобно что-нибудь узнать о Финляндском полку, — сказал он, — поедем к Репину.

Мы поехали, насилу отыскали его, привезли ко мне, и вот его слова о состоянии Финляндского полка.

— Моллер и Тулубьев, который еще сегодня поутру с энтузиазмом дал свое слово, оба отказываются: Моллер по своим расчетам, Тулубьев — следуя ему.[1] Я не могу ручаться ни за одного солдата; моей роты здесь нет, она с батальоном стоит в деревне, и притом я сказываюсь больным, подавши в отставку. Во всем полку один только Розен отвечает за себя, но я не знаю, что он будет в состоянии сделать.

Рылеев уехал, дав слово возвратиться ввечеру и известить нас об окончательных намерениях к завтрашним действиям.

Мы остались с Репиным. Общество наше увеличилось Торсоном и Батенковым. В 10 часов приехал Рылеев с Пущиным и объявил нам о положенном на совещании, что в завтрашний день, при принятии присяги, должно поднимать войска, на которые есть надежда, и, как бы ни были малы силы, с которыми выйдут на площадь, итти с ними немедленно во дворец.

— Надобно нанесть первый удар, — сказал он, — а там замешательство даст новый случай к действию; итак, брат ли твой Михаил с своею ротою, или Арбузов, или Сутгоф — первый, кто придет на площадь, отправится тотчас ко дворцу.

Здесь Репин заметил Рылееву, что дворец слишком велик и выходов в нем множество, чтобы занять его одною ротою, что, наконец, Преображенский баталион, помещенный возле дворца, может в ту же минуту быть введен туда через Эрмитаж и что отважившаяся рота будет в слишком опасном положении, тогда как и без сего успех неверен, чтобы воспрепятствовать уходу царской фамилии.

— Ежели же, — прибавил он, — это необходимо, то недурно бы достать план дворца и по оному расположить действия, чтобы воспользоваться с выгодою малым числом.

— Мы не думаем, — сказал Рылеев, — чтобы могли кончить все действия одним занятием дворца, но довольно того,

ежели Николай и царская фамилия уедут оттуда и замешательство оставит его партию без головы. Тогда вся гвардия пристанет к нам, и самые нерешительные должны будут склониться на нашу сторону. Повторяю, что успех революций заключается в одном слове: д е р з а й т е.

Таким образом кончился канун происшествия 14-го числа. Многие из товарищей, бывших на совещании 13-го числа, утверждают, что там никогда не было принято подобного намерения. Не быв на сем совещании, я этого не знаю и передаю только то, что говорил Рылеев Репину и мне ввечеру 13-го числа после сего совещания, и как я в сем случае пишу не историю Общества, но действия Рылеева, то я должен их передавать так, как я собственно их видел и слышал.

Рано поутру 14-го числа я был уже у Рылеева, он собирался ехать со двора.

— Я дожидал тебя, — сказал он, — что ты намерен делать?

— Ехать, по условию, в гвардейский экипаж, может быть, там мое присутствие будет к чему-нибудь годно.

— Это хорошо. Сейчас был у меня Каховский и дал нам с твоим братом Александром слово об исполнении своего обещания, а мы сказали ему, на всякий случай, что с сей поры мы его не знаем, и он нас не знает, и чтобы он делал свое дело, как умеет.[1] Я же, с своей стороны, еду в Финляндский и лейб-гренадерский полки, и если кто-либо выйдет на площадь, я стану в ряды солдат с сумою через плечо и с ружьем в руках.

— Как, во фраке?

— Да, а может быть, надену русский кафтан, чтобы сроднить солдата с поселянином в первом действии их взаимной свободы.

— Я тебе этого не советую. Русский солдат не понимает этих тонкостей патриотизма, и ты скорее подвергнешься опасности от удара прикладом, нежели сочувствию к твоему благородному, но неуместному поступку. К чему этот маскарад? Время национальной гвардии еще не настало.[2]

Рылеев задумался.

— В самом деле, это слишком романтически — сказал он, — итак, просто, без излишеств, без затей. Может быть, — продолжал он, — может быть мечты наши сбудутся, но нет, вернее, гораздо вернее, что мы погибнем.

Он вздохнул, крепко обнял меня, мы простились и пошли.

Но здесь ожидала нас трудная сцена. Жена его выбежала к нам навстречу, и когда я хотел с нею поздороваться, она схватила мою руку и, заливаясь слезами, едва могла выговорить:

— Оставьте мне моего мужа, не уводите его — я знаю, что он идет на погибель.

Кто из моих товарищей испытал чувствования, одушевлявшие каждого из нас в эти незабвенные дни, тот может представить, что напряженная душа готова была ко всем пожертвованиям, и потому я уговаривал ее такими словами, как будто супруга и мать должна была понимать мои чувствования, но это было холодно для ее сердца. Рылеев, подобно мне, старался успокоить ее, что он возвратится скоро, что в намерениях его нет ничего опасного. Она не слушала нас, но в это время дикий, горестный и испытующий взгляд больших черных ее глаз попеременно устремлялся на обоих — я не мог вынести этого взгляда и смутился. Рылеев приметно был в замешательстве, вдруг она отчаянным голосом вскрикнула:

— Настенька, проси отца за себя и за меня!

Маленькая девочка выбежала, рыдая, обняла колени отца, а мать почти без чувств упала к нему на грудь. Рылеев положил ее на диван, вырвался из ее и дочерних объятий и убежал.

Здесь мы расстались.

Когда я пришел на площадь с гвардейским экипажем, уже было поздно. Рылеев приветствовал меня первым целованием свободы и после некоторых объяснений отвел меня на сторону и сказал:

— Предсказание наше сбывается, последние минуты наши близки, но это минуты нашей свободы: мы дышали ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою.

Это были последние слова Рылеева, которые мне были сказаны. Остальная развязка нашей политической драмы всем известна...

Мы сидели в крепости, в Алексеевском равелине; в 14 № был брат мой Михаил, в 15 — я, в 16 — кн. Одоевский, в 17 и в последнем Рылеев. Мало-помалу мы с братом восстановили сношения посредством выдуманной им азбуки звуками в стену; мы объяснялись свободно. Я хотел переговорить с Рылеевым, но все мои попытки дать понятие о нашей азбуке Одоевскому, между нами сидевшему, были безуспешны. Итак, все сношения между нами были очень коротки и неверны — через старого ефрейтора, словесно, и, почти перед самою сентенциею, записками. Это препятствие много повредило нашему делу.

Вот поведение Рылеева по Комитету, сколько я мог судить из дела и его показаний, которые до меня доходили. Но здесь я говорю собственное мнение, одно заключение, то, что мне казалось, не основываясь ни на каких положительных доказательствах.

Рылеев старался перед Комитетом выставить Общество и дела оного гораздо важнее, нежели они были в самом деле. Он хотел придать весу всем нашим поступкам и для того часто делал такие показания, о таких вещах, которые никогда не существовали. Согласно с нашею мыслью, чтобы знали, чего хотело наше Общество, он открыл многие вещи, которые открывать бы не надлежало. Со всем тем, это не были ни ложные показания на лица, ни какие-нибудь уловки для своего оправдания; напротив, он, принимая все на свой счет, выставлял себя причиною всего, в чем могли упрекнуть Общество.[1] Сверх того, Комитет употреблял все непозволительные средства: вначале обещали прощение; впоследствии, когда все было открыто и когда не для чего было щадить подсудимых, присовокупились угрозы, даже стращали пыткою. Комитет налагал дань на родственные связи, на дружбу; все хитрости и подлоги были употреблены. Я знал через старого солдата, что Рылееву

было обещано от государя прощение, ежели он признается в своих намерениях; жене его сказано было то же; позволены были свидания, переписка, все было употреблено, чтобы заставить раскрыться Рылеева. Сверх того, зная нашу с ним дружбу, нас спрашивали часто от его имени о таких вещах, о которых нам прежде и на мысль не приходило. Я, признаюсь, обманутый сам обещанием царским, зная, за какую цену оно обещано Рылееву, и зная его намерение представлять в важнейшем виде вещи, думал действовать в том же смысле, чтобы не повредить ему и не выставить его лжецом, отрицаясь от показаний, сделанных будто от его имени, особенно в начале дела, когда я еще не разгадал этой хитрости Комитета; но после я узнал это, и мы с братом взяли свои меры.[1] Что же касается до Рылеева, он не изменил своей всегдашней доверчивости и до конца убежден был, что дело окончится для нас благополучно. Это было видно из его записки, посланной ко всем нам в равелине, когда он узнал о действиях Верховного Уголовного Суда; она начиналась следующими словами: «красные кафтаны (т. е. сенаторы) горячатся и присудили нам смертную казнь, но за нас бог, государь[2] и благомыслящие люди», — окончания не помню.

Через 7 месяцев судьба привела нам еще видеться с ним. В безмолвном кладбище нашем, равелине, был маленький садик, куда нас водили по очереди гулять; очередь Рылеева была всегда во время ужина. Однажды ефрейтор, вынося от меня столовую посуду, отворил дверь в ту самую минуту, когда Рылеев проходил мимо; мы увидели друг друга, этого довольно было, чтоб вытолкнуть ефрейтора, броситься друг другу на шею и поцеловаться после столь долгой разлуки. Такой случай был эпохою в Алексеевском равелине, где тайна и молчание, где подслушиванье и надзор не отступают ни на минуту от несчастных жертв, заживо туда похороненных...

Что мне теперь прибавить? С этой минуты я не видал его более. Я узнал о нем от священника, уже после казни; узнал,

с каким мужеством и смирением принял он двукратную смерть от руки палача. — «Положите мне руку на сердце и посмотрите скорее ли оно бьется», — сказал он священнику. Они все пятеро поцеловались, оборотились так, чтоб можно было пожать им связанным друг другу руки, и приговор был исполнен. По неловкости палача, Рылеев, Каховский и Муравьев должны были вытерпеть эту казнь в другой раз, и Рылеев с таким же равнодушием, как прежде, сказал: «Им мало нашей казни — им надобно еще тиранство!».[3]





14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА [1]

Сабля моя давно была вложена, и я стоял в интервале между Московским каре и колонною Гвардейского экипажа, нахлобуча шляпу и поджав руки, повторяя себе слова Рылеева, что мы дышим свободою. — Я с горестью видел, что это дыхание стеснялось. Наша свобода и крики солдат походили более на стенания, на хрип умирающего. В самом деле: мы были окружены со всех сторон; бездействие поразило оцепенением умы; дух упал, ибо тот, кто в начатом поприще раз остановился, уже побежден вполовину. Сверх того, пронзительный ветер леденил кровь в жилах солдат и офицеров, стоявших так долго на открытом месте. Атаки на нас и стрельба наша прекратились; ура солдат становилось реже и слабее. День смеркался. Вдруг мы увидели, что полки, стоявшие против нас, расступились на две стороны, и батарея артиллерии стала между ними с разверстыми зевами, тускло освещаемая серым мерцанием сумерек.

Митрополит, посланный для нашего увещания, возвратился без успеха;[2] Сухозанету, который, подъехав, показал нам артиллерию, громогласно прокричали подлеца — и это были последние порывы, последние усилия нашей независимости.

Первая пушка грянула, картечь рассыпалась; одни пули ударили в мостовую и подняли рикошетами снег и пыль столбами, другие вырвали несколько рядов из фрунта, третьи

с визгом пронеслись над головами и нашли своих жертв в народе, лепившемся между колонн сенатского дома и на крышах соседних домов. Разбитые оконницы [?] зазвенели, падая на землю, но люди, слетевшие вслед за ними, растянулись безмолвно и недвижимо. С первого выстрела семь человек около меня упали: я не слышал ни одного вздоха, не приметил ни одного судорожного движения — столь жестоко поражала картечь на этом расстоянии. Совершенная тишина царствовала между живыми и мертвыми. Другой и третий выстрелы повалили кучу солдат и черни, которая толпами собралась около нашего места. Я стоял точно в том же положении, смотрел печально в глаза смерти и ждал рокового удара; в эту минуту существование было так горько, что гибель казалась мне благополучием. Однако судьбе угодно было иначе.

С пятым или шестым выстрелом колонна дрогнула, и когда я оглянулся — между мною и бегущими была уже целая площадь и сотни скошенных картечью жертв свободы. Я должен был следовать общему движению и с каким-то мертвым чувством в душе пробирался между убитых; тут не было ни движения, ни крика, ни стенания, только в промежутках выстрелов можно было слышать, как кипящая кровь струилась по мостовой, растопляя снег, потом сама, алея, замерзала.

За нами двинули эскадрон конной гвардии, и когда при входе в узкую Галерную улицу бегущие столпились вместе, я достиг до лейб-гренадеров, следовавших сзади, и сошелся с братом Александром; здесь мы остановили несколько десятков человек, чтобы, в случае натиска конницы, сделать отпор и защитить отступление, но император предпочел продолжать стрельбу по длинной и узкой улице.

Картечи догоняли лучше, нежели лошади, и составленный нами взвод рассеялся. Мертвые тела солдат и народа валялись и валились на каждом шагу; солдаты забегали в домы, стучались в ворота, старались спрятаться между выступами цоколей, но картечи прыгали от стены в стену и не щадили ни одного закоулка. Таким образом, толпы достигли до первого

перекрестка и здесь были встречены новым огнем Павловского гренадерского полка.

Не видав, куда исчез брат мой, я поворотил в полуотворенные ворота направо и сошелся с самим хозяином дома; двое порядочно одетых людей бросились также в ворота, и в ту минуту, как первый пригласил нас войти, картечь поразила одного из последних, и он, упав, загородил нам дорогу.

Прежде, нежели я успел нагнуться, чтобы приподнять его, он закрыл глаза навеки, кровь брызгала в обе стороны из груди и спины, пуля пробила его насквозь.

— Боже мой! Нельзя ли ему помочь! — воскликнул хозяин.

Шинель молодого человека свалилась с плеч при падении.

Я безмолвно указал ему на рану, которая начиналась немного ниже левого соска и оканчивалась против самого хребта.

— Да будет воля божия! — сказал хозяин. — Пойдемте ко мне, иначе еще кто-нибудь из нас убудет.

Итак, мы трое, перешед двор, остановились на крыльце; хозяин постучался в дверь; громкий лай собаки, раздавшийся, как гром, в пустых покоях, ответствовал ему.

О росте собаки можно было судить по необыкновенному ее голосу.

— Позвольте мне теперь спросить, господа, кого я имею честь у себя принимать, — говорил хозяин, пока послышался голос слуги, начавшего унимать собаку, отпирать дверь и отодвигать запоры.

Я распахнул шинель, и как полная форма мундира, штаб-офицерские эполеты и крест могли служить достаточным ответом, хозяин учтиво мне поклонился.

— А вы?..

Молодой человек очень приятной физиономии сказал ему свою фамилию и место службы — я жалею, что не помню ни того ни другого.

В эту минуту замок, запор и несколько задвижек были отодвинуты, дверь приотворилась и слуга высунул голову.

— Я не один, подержи собаку, пока мы пройдем,— сказал хозяин и, подав нам обоим руки, пригласил войти в дом; предосторожность его была необходима, потому что датская собака чудовищной величины рвалась из рук слуги, едва могшего удерживать ее за ошейник.

Мы вошли в комнату нижнего этажа, и когда подали свечу, хозяин приказал запереть снова двери, закрыть ставни на набережную и на двор и не сказывать его дома.

Пушечные выстрелы гремели по улице и на Неве, ружейная пальба не переставала по обе стороны дома; все, что я сказал, едва ли продолжалось десять минут, потом пушки замолкли, ружейные выстрелы слышались изредка, наконец, и те перестали.

Подали чай без сливок, потому что хозяин постился. Разговор наш, хотя и относился до ужасных происшествий сего дня, был сух и холоден. Все трое были незнакомы друг другу, недоверчивость связывала каждому язык, принуждение каждого светилось сквозь светскую учтивость, когда мы остались друг с другом.

Тут я рассмотрел хозяина: он был с меня ростом и по виду лет 45 мужчина, но с цветущим здоровьем, с приятным и красивым лицом. Постоянные черные глаза ручались за твердость его характера, в черных волосах не было ни одной седины, которая бы обнаружила излишество внутреннего огня. На сером фраке, шитом столько по моде, чтоб не отстать от ней и не походить на бульварных щеголей, надета была неаполитанская звезда.

Наконец, на обеих сторонах дома все утихло; слуга, выходивший несколько раз за ворота, сказывал, что по улицам и набережной разъезжают одни патрули.

Тогда молодой человек встал, поблагодарил хозяина за гостеприимство, повторил свою фамилию и был выпущен слугою на безлюдную набережную. Пределы приличия не позволяли



Н. А. БЕСТУЖЕВ.
Акварель неизвестного художника
конца 1810-х годов.

мне оставаться долее; но я считал еще опасным выйти на улицу и, когда хозяин, проводя своего гостя, подошел ко мне с таким видом, будто желал и моего ухода, я ему сказал:

— Вы сделали великодушное дело, укрыв нас от картечей, и теперь, когда их нечего бояться, молодой мой товарищ ушел; по законам учтивости должно бы уйти и мне, но ваши поступки внушают мне доверенность: я должен сказать причину, почему прошу у вас гостеприимства еще на час или на два, — я один из приведших на площадь войска, не присягнувшие Николаю.

Хозяин мой побледнел, сомнение выразилось на его лице.

— Теперь дело сделано, — продолжал я, заметив перемену, — вы властны располагать мною: или выдать, как бунтовщика, или укрыть, как преследуемого несчастливца.

Он протянул руку.

— Вы остаетесь у меня, сколько нужно для вашей безопасности, — сказал он.

— Рассудите, на что вы решаетесь: сверх мною сказанного, вы обязаны объявить, кого вы укрываете ... я ...

— Не нужно ... мне довольно одного вашего несчастия, — сказал он, торопливо взяв меня за руку и сажая с участием на стул.

— Вы великодушный человек, — отвечал я, — в таком случае я не употреблю во зло вашего снисхождения, за которое да заплатит вам бог.

— Мы начнем с того, что перейдем отсюдова в другую комнату, потому что я занимаю обыкновенно эту, а ко мне может кто-нибудь зайти, увидя сквозь ставни огонь.[1]

Сказав это, он вывел меня в комнату, похожую на кабинет, но заставленную разными мебелями.

— Жена моя в деревне, — продолжал он, — я собираюсь также на днях ехать, и потому весь дом пуст, кроме моих двух комнат и третьей, где живет мой сын, служащий адъютантом у***.

Мы сели, и разговор наш сделался откровеннее. Речь была о расположении войск. Хозяин мой был любопытным свиде-

телем на площади и видел, желали ли нового государя, и когда по сцеплению мыслей мы дошли до того, кто привел неприсягнувшие полки, я упомянул свою фамилию.

Хозяин мой остановил меня.

— Не сын ли вы Александра Бестужева, бывшего капитаном в инженерном кадетском корпусе?

Я отвечал утвердительно.

— В таком случае рад, — продолжал он, — что могу оказать услугу сыну моего благотворителя. Я воспитывался под его начальством, а потом, могу сказать, был его другом, пока обстоятельства не разлучили нас.

Здесь он рассказал мне свою жизнь, не богатую занимательными происшествиями; самое замечательное было то, что он коротко был известен покойному императору, переписывался с ним и имел несколько от него поручений в чужих краях, будучи употребляем также и как корреспондент ученого артиллерийского комитета; рассказывая свои сношения с Александром и любовь к нему, он дал волю чувствам и, когда кончил похвалы, вынул висевший на груди его портрет государя, поцеловал его с благоговейными слезами и прибавил, что это был подарок самого государя, потому данный, что он не хотел принять никогда никакую награду.

Ласки моего хозяина, которого я узнал имя и фамилию, обворожили меня; я не замечал, как проходило время; было уже около 8 часов вечера, вдруг собака залаяла, у дверей поднялся страшный стук, наконец, разговоры в комнатах, хозяин немного смутился, но когда он увидел вошедшего к нам молодого человека в адъютантском мундире, он мне шепнул, что это — его сын.

Красивый молодой человек лет двадцати двух, среднего роста, рассказал отцу, что он едва мог урваться из дворца, чтобы переодеться, и что должен немедля опять ехать туда же.

Молодой человек столько был занят происшествиями этого дня, что почти вовсе не заметил меня, не спрашивал отца

Н. А. Бестужев. Черновой автограф воспоминаний о 14 декабря 1825 г.

о том, что с ним случилось, и с жаром рассказывал о действиях государя, войск и артиллерии.

— Чем же все это кончилось? — сказал мой хозяин. — Я ушел с площади, только что начали стрелять, и потому не знаю остального.

— Одним словом, батюшка, эту толпу мерзавцев разогнали, несколько человек офицеров, с ними бывших, захватили; теперь открывается, что зачинщики всего — братья Бестужевы; их тут без счету, и ни одного из этих подлецов не могли поймать.[1]

Я сжал руки и стиснул зубы, но здесь не место было вступаться за свою обиженную честь. Хозяин мой вздрогнул, взглянув при сих словах на меня, и начал:

— Не брани, любезный друг, так легкомысленно людей, не рассудив хорошенько о их поступках. Ты смотришь на них с одной стороны, видишь их глазами придворного, но если бы ты, подобно мне, был на площади между ними, тогда бы ты согласился, что требования их были очень справедливы.

Здесь хозяин рассказал, на чем основывалось недоверие солдат, сколько могло быть законно отречение Константина, не известное никому и которому не дано было никакого последствия, и как можно было положиться на новую записку его, писанную из Варшавы. Одним словом, говорил благоразумно, так что молодой человек должен был с ним согласиться и с сим убеждением уехал.

— Вы видите, — продолжал хозяин, — что вам небезопасно оставаться в моем доме, имея сына моего с сими мыслями отъявленным неприятелем вашим.

— Я и не намерен оставаться долее, — сказал я, — и хочу, поблагодаря вас, проститься.

— Нет, еще рано, мы поужинаем, дадим еще успокоиться городу и потом расстанемся...[2]



МИХАИЛ БЕСТУЖЕВ



‹МОИ ТЮРЬМЫ›

Очерки и ответы 1869 года[1]

I

БРАТЬЯ БЕСТУЖЕВЫ

(14 декабря. Дни предшествуемые. Быт в эти дни и место жительства?)

Нас было пять братьев, и все пятеро погибли в водовороте 14 декабря. Посвятим несколько строк для каждого из них для того, чтобы, хотя неудовлетворительно, ответить на Ваши вопросы.

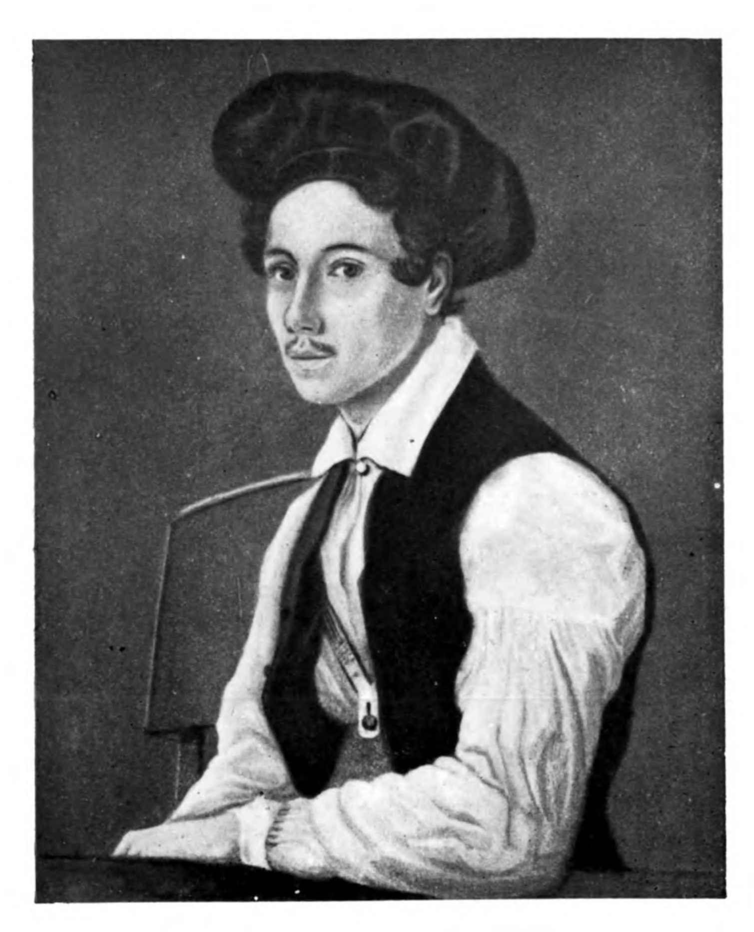
Старший брат, Николай, последнее время своей службы в Кронштадте жил вместе со мною и младшим братом Петром на казенной квартире, в доме, который впоследствии переделан для главного командира кронштадтского порта. Рядом с нами занимал комнаты капитан-лейтенант Павел Афанасьевич Дохтуров, а над нами была квартира Катерины Петровны Абросимовой, вдовы штурманского офицера. Я упоминаю о этих личностях потому, что первый играл незавидную роль при арестовании брата Николая на квартире второй личности, т. е. Абросимовой. Около этого времени генерал Леонтий Васильевич Спафарьев предложил брату принять должность помощника его, как директора всех маяков в Финском заливе. Брат изъявил согласие и должен был переехать в Петербург.[2]

4*

Тут он поселился вместе с матушкою и сестрами, где и проживал до 14 декабря. Дом этот находился в 7-й линии Васильевского острова и принадлежал купцу Гурьеву. Из окон дома слева видна была церковь Андрея Первозванного, а напротив лабазы Андреевского рынка.[1]

Наконец, наскучив возиться с устройством маячных ламп, рефлекторов, машин для вертящихся огней маяков, а главное со взбалмошным своим начальником, — он бросил эту должность и поступил историографом русского флота и начальником морского музеума, находившегося в Адмиралтействе. Тут открылось обширное поприще для его умственной и технической деятельности, и надо сказать, что требовалось много энергии и силы воли, чтобы начать с пользою действовать в том хаосе, какой царил в архивах и модельных залах. В грудах, покрытых пылью и плесенью, лежали драгоценные манускрипты; в тетрадях, сшитых на живую нитку, автографов Петра Великого и прочих его деятелей недоставало многих листов, они были вырезаны, а чаще просто выдраны; в залах моделей, между дорогими и замечательными по отделке моделями, находились какие-то кораблики-игрушки и предметы совершенно чуждые флоту. Все это составлено, свалено, скомкано без всякого толку. Двенадцать человек мастеровых занимались более деланием сундучков и баульчиков, чем моделями. Можно себе представить, как много и бесполезно было потеряно времени для этой черной работы, тогда как он обязан был, по званию историографа, представить на суд общества результаты своих исторических исследований. И я был свидетелем его моральной пытки, когда он несколько раз, исписав много листов, с досадой рвал их или по недостатку потерянных фактов, или после находки новых, изменявших сущность написанного им.

Он увидел себя в безвыходном положении... Ему оставался единственный выход — привести в порядок хаос архива, и он принялся за этот подвиг Геркулеса, очистившего конюшни царя Авгия от навоза, со всей энергией безотрадного положе-



М. А. БЕСТУЖЕВ.
Портрет работы Н. А. Бестужева. 1830-е годы.

ния. Он буквально проводил целые дни в пыльной атмосфере архива и выходил подышать свежим воздухом или в модельную залу, где водворялся порядок систематическою расстановкою в хронологическом порядке моделей, или в мастерскую, где пополнялись пробелы моделей мастеровыми, требовавшими его указаний.

По временам я его встречал у Рылеева, на обычных «русских завтраках», которые были постоянно около второго или третьего часа пополудни и на которые обыкновенно собирались многие литераторы и члены нашего Общества. Завтрак неизменно состоял: из графина очищенного русского вина, нескольких кочней кислой капусты и ржаного хлеба. Да не покажется Вам странным такая спартанская обстановка завтрака, ежели взять в соображение, во-первых, потребность натуры брата Александра, требующей кислой пищи, на лишение коей так часто жаловался он на Кавказе, а во-вторых, что эта потребность гармонировала со всегдашнею наклонностию Рылеева — налагать печать руссицизма на свою жизнь.[1]

Брат Александр, по обязанности адъютанта герцога Виртембергского, каждое утро должен был являться к нему, а через день оставаться там до вечера по обязанности дежурного адъютанта. Жил он с Рылеевым в доме, занимаемом директором Американской компании Прокофьевым, на Мойке, недалеко от Синего моста.[2]

Иногда герцог увольнял его от своих обедов, и тогда он спешил на свои любимые «русские завтраки». Я тоже очень любил эти з а в т р а к и и, как только была возможность, я спешил отдохнуть там душою и сердцем, в дружной семье литераторов и поэтов, от убийственной шагистики, поглощавшей все мое утро до вечера.

Особенно врезался у меня в памяти один из них, на котором, в числе многих писателей, были Дельвиг, Ф. Глинка, Гнедич, Грибоедов и другие. Тут же присутствовал брат А. Пушкина, Лёв, которого брат Александр в насмешку называл «Блёв», намекая на его неумеренное употребление бахусовой

влаги. Помню, что он говорил наизусть много стихов своего брата, еще не напечатанных: прочитал превосходный разговор Тани с нянею, приведший в восторг слушателей.

Помню, как тут же брат Александр и Рылеев просили Льва Пушкина передать брату, не согласится ли он продать им каждый стих этого эпизода по пяти рублей для предполагаемой «Полярной Звездочки», что впоследствии было утверждено с согласия А. Пушкина.

Помню, как зашла речь о Жуковском и как многие жалели, что лавры на его челе начинают блекнуть в придворной атмосфере, как от сожаления, неприметно, перешли к шуткам на его счет. Ходя взад и вперед с сигарами, закусывая пластовой капустой, то там, то сям вырывались стихи с оттенками эпиграммы или сарказма, и наконец брат Александр, при шуме возгласов и хохота, редижировал известную эпиграмму, приписанную впоследствии А. Пушкину:

Из савана оделся он в ливрею,
На пудру променял свой лавровый венец,
С указкой втерся во дворец;
И там, пред знатными сгибая шею,
Он руку жмет камер-лакею...
«Бедный певец!..».[1]

Брат Петр был нрава кроткого, флегматического и любивший до страсти чтение сурьезных сочинений; постоянно молчаливый, был красноречив, когда удавалось его расшевелить, и тогда он говорил сжато, красно и логично.

Он был адъютантом главного командира кронштадтского порта вице-адмирала Федора Васильевича Моллера и жил, до последнего времени, на квартире, которую занимал брат Николай.

В последнее время мы с ним редко виделись. Обязанности по службе и отсутствие матушки и сестер в Петербурге были тому причиною.

За пять дней до 14 декабря он приехал в Петербург, сопровождая жену Михаила Гавриловича Степового — Любовь Ива-

новну, и уехал обратно в Кронштадт, по нашему настоянию, за день до рокового дня.

Каково же было мое удивление, когда 13 декабря, быв на совещании у Рылеева, я, забежав навестить Ореста Сомова, больного и жившего в одном доме с Рылеевым, неожиданно увидел брата Петра у него. Он бросился ко мне на шею и умолял не говорить о своем возвращении старшим братьям.

— Они меня заставят снова уехать, — говорил он взволнованным голосом, — и я буду лишен завидной участи разделять опасность вашего славного предприятия.

Что было делать? Я согласился молчать, — и он явился на площади, только что я привел Московский полк.

Осужденный служить на Кавказе солдатом, он под ранцем выстрадал всю персидскую и турецкую кампанию, был ранен в левую руку при штурме Ахалцыха и потом сведен с ума в одной из кавказских крепостей, попав под начальство начальника этого укрепления — непроходимого бурбона, т. е. офицера из нижних чинов. Это вот как случилось... Генерал Раевский, бывший член нашего Общества и прощенный государем за чистосердечное раскаяние, проживая, как начальник отряда, в Тифлисе, наполнил свой штаб большею частию из декабристов и ссыльных офицеров. Прочих, не бывших в его штабе, он ласково принимал в своем доме. Отставной флотский офицер фон-Дезин, муж премиленькой жены своей, воспитанницы Смольного монастыря и подружки одной из моих сестер, вышедшей с нею в тот же год, приревновал брата Александра и вместо того, чтобы рассчитаться с братом, наговорил матушке при выходе из церкви дерзостей. Брат вызвал его на дуэль — он отказался.

Рылеев встретил его случайно на улице и, в ответ на его дерзости, исхлестал его глупую рожу кравашем, бывшим в его руке.

Этот-то субъект был назначен на Кавказ как чиновник-провиантмейстер и как-то, попав на вечер к Раевскому, увидел себя посреди декабристов. В паническом страхе за свою

жизнь он на другой же день уехал без разрешения в Петербург, а там, чтоб как-нибудь оправдать свое безрассудство, подал государю донос, в котором представлял Раевского как изменника.

Гневный царь прислал строжайший выговор Раевскому, а главнокомандующему на Кавказе приказ: разослать всех окружающих Раевского и находящихся в Тифлисе декабристов по разным крепостям, с тем, чтобы их подвергнуть доскональной шагистике.[1]

Несчастная судьба Петра бросила его в лапы одного из тех животных, которые носят название «бурбонов». В кавказские жары, в полной амуниции, под ружьем в раненой руке, он его в три месяца доконал. Все усилия братьев Александра и Павла возвратить ему рассудок остались тщетны. Попытки матушки, испрашивавшей милостивого разрешения о позволении взять его к себе и лечить, пока это было возможно, остались без ответа, и, наконец, его прислали к ней в деревню в окончательном сумасшествии, которым он мучил и мать и сестер целые семь лет. Болезнь доросла до ужасающих симптомов. Опасение за его, за собственную их жизнь, опасение сгореть в пожаре дома, что повторялось несколько раз, — заставило мать обратиться к начальнику штаба жандармов Бенкендорфу с покорнейшею просьбою: поместить брата Петра в заведение умалишенных герцога, бывшее на 5-й версте от столицы по петергофской дороге. Бенкендорф доложил об этом царю. И если бы это не был факт — поверит ли будущее поколение, чтобы властитель семидесяти миллионов дал такого рода резолюцию: «в просьбе отказать, так как это заведение очень близко от столицы». Впоследствии подведомственные агенты правительства, устыдясь бессмысленности такой резолюции, дали позволение матери поместить брата Петра в это заведение. Он был там помещен и через три месяца умер.

Брат Павел воспитывался в артиллерийском училище. В последнее время он был в офицерском классе и готовился, по выдержании экзамена, поступить в гвардейскую конную

артиллерию. На другой день 14 числа великий князь Михаил во время парадного выхода обнял его, поцеловал ‹и› сказал:

— Для меня — ты не брат бунтовщиков. Я тебя знаю как хорошего офицера и постараюсь забыть, что ты называешься Бестужевым.

Это было лобзание Иуды... Присутствие брата Бестужевых посреди лихорадочно потрясенной 14-м декабря молодежи было опасно. Великий князь понимал, что эта закваска рано или поздно приведет все тесто в брожение, и он изыскивал все средства выбросить эту закваску. Случай представился к его услугам. В день коронации столица была иллюминована, были различные транспаранты, и перед одним из них, дышащим верноподданническим выражением чувств, собралась толпа, и из среды ее послышались едкие эпиграммы. Произошел скандал. Нашлись благожелатели, которые донесли, что начинщиком о н о г о был П. Бестужев, во главе офицерского класса артиллерийского училища. Назначено строжайшее следствие, и оказалось, что брат был непричастен этому делу. На этот раз гроза его миновала, но ненадолго.

Несколько месяцев спустя великий князь Михаил Павлович, пробегая по офицерским дортуарам, увидел развернутую книгу на одном из столиков, помещавшихся между двумя кроватями. Он схватывает книгу — то была «Полярная Звезда». Смотрит, на чем она была развернута, — это была «Исповедь Наливайки».

— Кто здесь спит? — спросил он гневно, указав на одну из кроватей.

— Бестужев, ваше высочество! — отвечали ему.

— Арестовать его!..

И началось новое следствие, и несмотря на то, что и в этом казусе он был совершенно не виноват, потому что по следствию оказалось, что книга принадлежала и была читана товарищем его, спавшим на кровати по другую сторону стола. Но ясно было видно намерение правительства так или сяк удалить брата из училища. Эту скрытую идею, облеченную мраком

формальностей суда, брат Павел вывел на свежую воду в своем ответе великому князю Михаилу, когда тот убеждал его сознаться в виновности.

— Ваше высочество, я сознаюсь! я кругом виноват, я должен быть наказан, потому что я — брат моих братьев.[1]

Матушка написала к государю просьбу и умоляла не лишать ее последней подпоры в старости. Илья Бибиков приехал к ней от великого князя для ее успокоения и передачи слов государя: что сыну ее будет легкое отеческое наказание, после которого он будет попрежнему служить.

— Со своей стороны, полковник, и я прошу вас передать государю мои слова: за что сын мой должен быть наказан по делу, в котором он непричастен? Да, наконец, если бы суд и нашел и уличил, что он читал «Полярную Звезду», то можно ли наказывать человека за чтение книги, одобренной цензурою и за которую издатели получили от августейшего семейства царские подарки? Вы, полковник, дадите мне слово передать это государю.

— Будьте уверены, я исполню вашу просьбу, — отвечал благородный, прямой Бибиков.

И он точно это исполнил, а бедный брат все-таки обречен был искупить роковое имя Бестужевых. Он просидел около года в Бобруйской крепости и потом, точно по словам милосердного царя, был выпущен на службу, но спросите — куда?.. На Кавказ в ‹Бобруйск›,[2] где гарнизон постоянно вымирал, в трехлетнюю службу, и куда Ермолов ссылал тех офицеров, которые по суду должны были итти или в Сибирь, или под солдатскую лямку. Тут он нахлебался всех кавказских наслаждений в виде лихорадок, завалов желудка, расстройства печени и проч. и проч. и, протаскавшись с этими подругами его боевой жизни обе кампании, персидскую и турецкую, он вышел в отставку с аннинским крестом вместо просимых им денег за изобретение прицела к пушкам, который введен был во всей артиллерии под названием: «Бестужевского прицела».[2]

В Петербурге великий князь почувствовал, вероятно, некое угрызение совести и предложил брату, через Ростовцева, должность старшего адъютанта при главном управлении военно-учебных заведений. Брат принял предложение, прослужил там года три и снова вышел в отставку, поехал в Москву и там женился на богатой наследнице, единственной дочери владимирского помещика Евграфа Васильевича Трегубова, старосветского русского барина, с замашками аристократа и со страстию к рифмоплетству, похожею на хвостовскую. К его кавказским гостинцам присоединились тяжелые труды по устройству расстроенного имения. Он заболел и умер через шесть недель после смерти матушки, последовавшей 27 октября 1846 г., схоронив до своей кончины единственного своего сына Александра.

Отец его жены умер несколько месяцев после, а жена его через три или четыре года вышла замуж за артиллерийского офицера Мыльникова, имела от него трех малюток и вскоре умерла.[1]

Теперь очередь дошла до меня.

Но что я могу прибавить после того, что я писал Вам и изустно беседовал о себе? Постараюсь пополнить пробелы, ускользнувшие из моей памяти.

Видя воочию совершавшееся систематическое разрушение нашего флота под управлением французского министра (маркиза де-Траверсе), а потом немецкого (Антона Васильевича Моллера) и будучи лично оскорблен вопиющею несправедливостью в деле проекта К. П. Торсона о преобразовании флота, я невольно проникся чувством омерзения к морской службе и, заглушив мою страсть к морю, искал случая сокрыть свою голову где бы то ни было.[2] Дела нашего Общества близились к окончательным результатам. Брат Александр, которому я исповедал состояние моей души, предложил мне перейти на службу в гвардию, объяснив мне, что мое присутствие в полках гвардии может быть будет полезно для нашего дела,— я согласился.[3] Он, будучи в дружеских отношениях с Ильею

Гавриловичем Бибиковым, членом нашего Общества, адъютантом великого князя Михаила, который его уважал и любил, — взялся за перевод.[1] Великий князь, ценя его ходатайство, захотел ознаменовать свое к нему расположение особенною милостию и перевел меня в Московский полк, коего он был шефом. Приказ о моем переводе был получен мною накануне представления ‹в Кронштадте› комедии Коцебу: «Пажеские шутки», в которой роль колченогого солдата играл я. Вы в праве спросить меня: какой это театр. Этот театр был устроен и управляем братом Петром и в шутку названный Петрозаводским. Он, следуя за примером брата Николая, устроившего во время его кронштадтской службы прекрасный театр, где он был и директор, и костюмист, и режиссер, и главный актер,[2] и за примером вашего покорнейшего слуги, устроившего точно в тех же условиях театр в Архангельске, — брат Петр, говорю я, аранжировал премиленький театр, и представления шли с блестящим успехом. Он, зная мои сценические таланты, упросил взять вышеупомянутую роль, и когда комедия выдержала все репетиции и была назначена к представлению, я должен был ехать в Петербург. Всем, включая и себя, нам было крайне это неприятно, но что ж делать?.. Я написал ко всему лику актеров следующую эпистолу: «С прискорбием извещая о постигшей кончине моего сценического поприща, по случаю перевода моего в гвардию, прошу почтить последние минуты моего отъезда и с бокалом в руке пожелать мне на том свете быть столь же счастливым, как я был с вами на этом».

В полку меня встретили неприязненно все те, которым я, как первый поручик, сел на голову; зато со старшими я жил в ладах, сблизившись с ними у Александра П. Корнилова задолго до моего перевода. Захватив сильную простуду на ученье в манеже, я переехал от матушки к Рылееву и брату Александру и там проболел месяца четыре.

В пароксизмах лихорадки мне, как в калейдоскопе, являлись и исчезали лица литераторов и поэтов, поодиночке и группами, говорящих, смеющихся, спорящих или читающих стихи

или прозу, как это обыкновенно происходило на «русских завтраках» или за вечерним чаем. О политике редко заходила речь; о делах нашего Общества — никогда. Об этом предмете мы толковали поздними вечерами, когда оставались только члены нашего Общества.

По принятии мною роты от капитана Мартьянова я должен был переехать на казенную квартиру в Московские казармы, где и оставался до 14 декабря.[1]

В начале с ротою мне было немало хлопот. Мой предместник, — славный фрунтовик и до костей пропитанный тогдашнею системою командования, — был жесток с солдатами и даже на учении их бил шомполами. Желая поставить роту на иных принципах, я с первого же дня уничтожил употребление не только шомполов, но даже палок и розог. Вы сами служили и знаете натуру русского солдата. Они меня не поняли и приняли мое гуманное с ними обращение за слабость. Но, слава богу, после нескольких случаев недоумения все обошлось как нельзя к лучшему, я заслужил их любовь и доверенность. Судились и наказывались они своим судом, и <в> штрафную книгу ни одного солдата не было записано, — так что я даже имел удовольствие заслужить строгий выговор от великого князя за потворство к подчиненным. Не в похвальбу себе я вам пишу от этом, а чтобы объяснить: каким образом я имел возможность через преданных мне душою солдат приготовить полк к восстанию, когда ни один из ротных офицеров не были членами и когда солдаты всех полков были под аргусовыми очами лазутчиков и шпионов.[2]

<11 декабря>. В последние дни перед 14 декабря все остававшееся от ротных учений время было поглощено приготовлением солдат и беседе с ротными командирами, так что я только урывками мог забегать к Рылееву и брату Александру, чтоб сообщить им результаты своих действий.

В пятницу, т. е. 11 декабря, наш батальон вступил в караулы по 1 отделению, и я с ротою был назначен на главную гауптвахту в Зимний дворец.

При смене караульный капитан передал мне секретное приказание великого князя Николая Павловича: «начиная от вечерней зари до утренней приводить часовых к покоям его высочества лично самому капитану». Во втором часу ночи, прошедши с часовым длинный темный коридор, освещенный одною только лампою, я остановился пред дверьми спальни его высочества, — часовые, один, сходя с круглого матика, а другой, вступая на него, впотьмах нечаянно скрестились ружьями, и железо курков резко звякнуло. Почти в то же мгновение полуотворилась дверь и в отверстие показалось бледное, испуганное лицо великого князя.

— Что это значит? Что случилось? Кто тут? — спрашивал он дрожащим голосом.

— Караульный капитан, ваше высочество, — отвечал я.

— А, это ты, Бестужев! Что ж там такое?

— Ничего, ваше высочество, часовые при смене сцепились ружьями...

— И только?.. Ну, если что случится, то ты дай мне тотчас знать, — и он скрылся.

Это, повидимому, ничтожное обстоятельство глубоко врезалось в его душу, что можно было заметить при личных его допросах, когда он несколько раз обращался ко мне с желчными упреками и когда вскоре после 14 он составил дворцовую роту для охранения его особы более надежною стражею.

‹12 декабря›. В субботу матушка и сестры приехали из деревни. Только поздним вечером мне удалось обнять их. Матушка просила меня заехать к брату Александру и сказать ему, чтоб приезжал в воскресенье к ним обедать, так как все братья налицо в Петербурге и она хочет видеть всех. У него я застал многих из нашего Общества и пробыл тут далеко за полночь.

13 ‹декабря›. На другой день я был назначен дежурным по караулам второго отделения, но, несмотря на это, я приехал к обеду, и мы все пятеро сели за стол с тремя сестрами и матушкою посредине. Старушка со слезами на глазах благо-

дарила бога за его неизреченную милость, даровавшую благо свидеться после долгой разлуки со всеми ее сыновьями и видеть всех нас вступившими на блестящий путь будущности. С мрачными думами сидели мы, опустив головы, и, украдкою перебрасываясь взглядами, старались улыбаться, когда она, любуясь нами, осыпала нас своими материнскими ласками.

Несчастная мать!.. Могла ли она предвидеть, что не пройдет и суток, как ее золотые сны сменятся горестною действительностью!..

Мне должно было уехать для осмотра караулов. Я простился с матушкою и сестрами, не зная, увижусь ли я когда с ними.

Заключив объезд теми караулами, которые занимала одна из рот нашего полка, во-первых, чтобы узнать, не воротился ли Михаил Павлович, а во-вторых, чтоб сообщить караульным офицерам распоряжение, вследствие которого они должны были по смене с караула — если уже полка не найдут в казармах — вести солдат прямо на Сенатскую площадь, я, будучи близко от дома вице-адмирала М‹ихайловского›, заехал тоже навсегда проститься с хозяевами, а главное со старшею дочерью, которая мне очень нравилась и которая страстно меня любила. У них я нашел многочисленное общество; молодежь танцовала под фортепиано. Хозяева играли в карты, дочка танцовала. Я решился уехать потихоньку и для того вышел в столовую, где оставил шарф и кивер. Когда я в лихорадочном волнении тщетно старался застегнуть крючки шарфа, Анета подкралась и застегнула крючки. Я обнял ее, поцеловал в лоб и промолвил: «прощай, мой друг!..».

Но, видно, и голос и лицо мое говорили то, что она давно предчувствовала и что ей сообщили другие гвардейские офицеры, как слухи о предполагаемом бунте.

Она затряслась всем телом, побледнела, как полотно, и упала к ногам моим без чувств. Поднять ее, положить на диван и сдать на руки ее няне было дело одной минуты. Я спешил, чтобы не быть свидетелем суматохи, поднявшейся в доме..

Несчастная девушка! она отгадала, что я прощался с нею навеки...[1]

Заехав в полк, я взял с собою князя Щепина-Ростовского и поспешил к Рылееву. Ночь я провел с ним, укрощая его лихорадочно-напряженное состояние и боясь оставить его одного из опасения, чтоб он не наделал чего-либо преждевременно.

Что было после, я когда-нибудь сообщу вам, если вы пожелаете, а теперь, ответив на ваш вопрос, перейду к другим.

II

14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА [2]

Перемещение мое из казарм Московского полка в Петропавловскую крепость было последнее.

Шумно и бурливо совещание накануне 14, в квартире Рылеева. Многолюдное собрание было в каком-то лихорадочно-высоконастроенном состоянии. Тут слышались отчаянные фразы, неудобоисполнимые предложения и распоряжения, слова без дел, за которые многие дорого поплатились, не будучи виноваты ни в чем, ни перед кем. Чаще других слышались хвастливые возгласы Якубовича и Щепина-Ростовского. Первый был храбрый офицер, но хвастун и сам трубил о своих подвигах на Кавказе. Но недаром сказано: кто про свои дела твердит всем без умолку — в том мало очень толку, и это он доказал 14 декабря на Сенатской площади. Храбрость солдата и храбрость заговорщика не одно и то же. В первом случае — даже при неудаче — его ждет почесть и награды, тогда как в последнем при удаче ему предстоит туманная будущность, а при проигрыше дела — верный позор и бесславная смерть. Щепина-Ростовского, хотя он не был членом Общества, я нарочно привел на это совещание, чтобы посмотреть, не попятится ли он. Будучи наэлектризован мною, может быть чрез меру, и чувствуя непреодолимую силу, влеку-



П. М. БЕСТУЖЕВА
Миниатюра Н. А. Бестужева 1827—1830 гг.

щую его в водоворот, — бил руками и ногами и старался как бы заглушить и отуманить рассудок всплеском воды и брызгами.

Зато, как прекрасен был в этот вечер Рылеев! Он был нехорош собою, говорил просто, но не гладко; но когда он попадал на свою любимую тему — на любовь к родине, — физиогномия его оживлялась, черные, как смоль, глаза озарялись неземным светом, речь текла плавно, как огненная лава, и тогда, бывало, не устанешь любоваться им.*

Так и в этот роковой вечер, решавший туманный вопрос: «To be or not to be»,** его лик, как луна бледный, но озаренный каким-то сверхъестественным светом, то появлялся, то исчезал в бурных волнах этого моря, кипящего различными страстями и побуждениями. Я любовался им, сидя в стороне, подле Сутгофа, с которым мы беседовали, поверяя друг другу свои заветные мысли. К нам подошел Рылеев и, взяв обеими своими руками руку каждого из нас, сказал:

— Мир вам, люди дела, а не слова! Вы не беснуетесь, как Щепин или Якубович, но уверен, что сделаете свое дело. Мы...

Я прервал его:

— Мне крайне подозрительны эти бравады и хвастливые выходки, особенно Якубовича. Вы поручили ему поднять артиллеристов и Измайловский полк, притти с ними ко мне и тогда уже вести всех на площадь к Сенату — поверь мне,

* И этого-то человека сумели загрязнить трусостью?! В записках декабристов помещено описание 14 декабря И. И. Пущина. Этот небольшой отрывочек, вероятно, прошел через руки какого-нибудь верноподданного, прежде нежели он был напечатан Герценом, и, вероятно, эта фраза вставная (стр. 148). То же можно сказать и об отзыве про брата Александра и про Сутгофа и Панова (стр. 155). Точно так же показано ложно о Трубецком, будто бы находившемся на площади в свите императора (стр. 159). Промахи ли они, или умышленные вставки, — не знаю. Опровергать их я не намерен, но они будут опровергнуты моим правдивым описанием.[1]

** Быть иль не быть. (Цитата из «Гамлета» Шекспира). Подстрочные примечания принадлежат Бестужевым, за исключением переводов с иностранного текста, сделанных редакцией.

он этого не исполнит, а ежели и исполнит, то промедление в то время, когда энтузиазм солдат возбужден, может повредить успеху или совсем его испортить.

— Как можно предполагать, чтобы храбрый кавказец?..

— Но храбрость солдата не то, что храбрость заговорщика, а он достаточно умен, чтоб понять это различие.[1] Одним словом, я приведу полк, постараюсь не допустить его до присяги, а другие полки пусть присоединяются со мною на площади.

— Солдаты твоей роты, я знаю, пойдут за тобою в огонь и в воду, но прочие роты? — спросил, немного подумав, Рылеев.

— В последние два дни солдаты мои усердно работали в других ротах, а ротные командиры дали мне честное слово не останавливать своих солдат, ежели они пойдут с моими. Ротных командиров я убедил не итти на площадь и не увеличивать понапрасну число жертв.

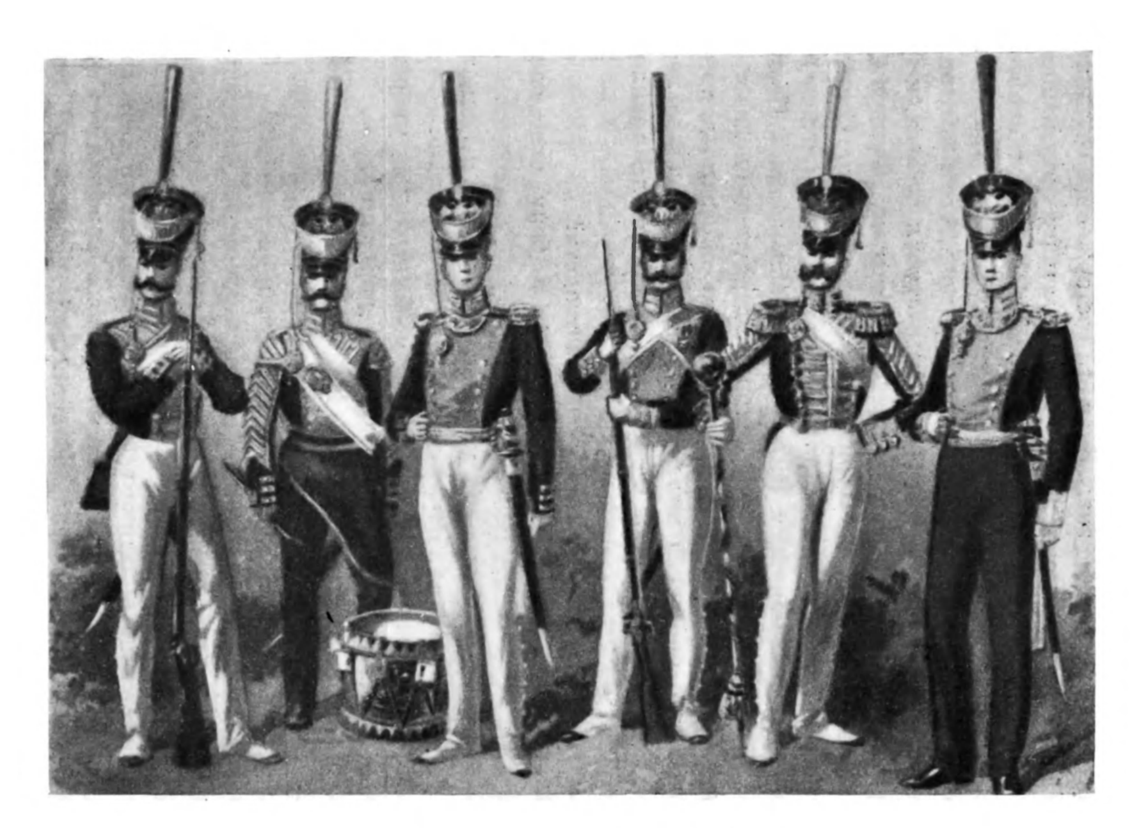
— А что скажете вы, — сказал Рылеев, обратившись к Сутгофу.

— Повторю то же, что вам сказал Бестужев, — отвечал Сутгоф. — Я приведу ‹свою роту› на площадь, когда соберется туда хоть часть войска.[2]

— А прочие роты? — спросил Рылеев.

— Может быть и прочие последуют за моею, но за них я не могу ручаться.

Это были последние слова, которыми мы обменялись на этом свете с Рылеевым. Было близко полуночи, когда мы его оставили, и я спешил домой, чтобы быть готовому к роковому завтрашнему дню и подкрепить ослабшие от напряженной деятельности силы хоть несколькими часами сна. Но вышло не так. Вечно без толку кипятящаяся натура Щепина вдруг окунулась в сферу ей неведомую, бурливое волнение которой еще более ее вскипятило. Не понимая, что дело шло совсем не о том, чтобы иметь царем Константина или Николая, — он за Константина выкрикивал самые отчаянные фразы и следственною комиссиею был помещен в число самых отчаянных



Московцы. С акварели В. А. Табурина

членов нашего Общества, тогда как даже о существовании Общества он ничего не знал. Видя его восторженное состояние, я раскаялся, что напустил чересчур много пару в эту машину, и, страшась, чтобы не лопнул паровик, решился провести ночь у него, наблюдая по временам открывать предохранительные клапаны. Не стану описывать эту ночь, его беснования и мои усилия укротить их. Наконец, наступил рассвет, и нас потребовали к полковому командиру генералу Фридриксу, где мы нашли капитана Корнилова (старшего брата Севастопольского героя). Когда Фридрикс прочитал нам отречение Константина и манифест Николая, я, наблюдавший Корнилова, приметил, что его пунцовое лицо подернулось бледностью. Неожиданное отречение Константина его поразило до такой степени, что он вышел шатаясь от генерала. Сходя по лестнице, ведущей в бельэтаж Фридрикса, я остановил Корнилова и спросил:

— Ну! как теперь ты намерен действовать?

— Я не могу действовать с вами и беру свое слово назад.

— Но ты позабыл одно условие, — возразил я, показав ему ручку пистолета, спрятанного в рукаве шинели.

— Ну, что ж — убей меня! Я лучше соглашусь умереть, нежели участвовать в беззаконном предприятии!

— Нет, для чего же умирать, живи, но не мешай солдатам твоей роты итти с моими, ежели они пойдут на площадь.

— Обещаю, — заключил он, и сдержал свое слово.[1]

Чтоб прояснить темноту вышеприведенного разговора, скажу несколько слов. Корнилов был отличный человек во всех отношениях: образованный, добрый и славный товарищ, но помешался на политике и считал непреложными свои глубоко-непреложные соображения. По этим соображениям он считал немыслимым отречение Константина, когда вся Россия ему присягнула. Он охотно согласился действовать вместе со мною, и когда я ему заметил:

— Ну, а ежели Константин откажется?

— Тогда я позволю тебе застрелить меня, но не присягну другому.

Глубокий политик попался, как кур во щи.

Пришедши к себе на квартиру, я нашел там брата Александра, с нетерпением дожидавшего меня.

— Где же Якубович? — спросил я.

— Якубович остался на своей квартире обдумывать, как бы похрабрее изменить нам. На все мои убеждения ехать к артиллеристам и измайловцам он упорно повторял:

— Вы затеяли дело несбыточное — вы не знаете русского солдата, как знаю я.

— Итак, надежда на артиллерию и прочие полки исчезла, — сказал я чуть не со слезами на глазах. — Ну, видно богу так угодно. Медлить нечего, пойдем в полк — я поведу его на площадь.

— Погодим, — сказал брат. — Вчера Рылеев крепко сомневался в хвастливых выходках Якубовича и обещал мне поехать к артиллеристам, измайловцам, семеновпам и егерям и привести их сюда.

— Нет, брат, — промедление погубит дело. Пойдем и уведем полк до присяги.

Брат послушался меня — мы пошли. Брат говорил солдатам, что он адъютант императора Константина, что его задержали на дороге в Петербург и хотят заставить гвардию присягнуть Николаю и пр. и пр. Солдаты отвечали в один голос:

— Не хотим Николая — ура, Константин!!

Брат пошел в другие роты, а я, раздав боевые патроны, выстроил свою роту на дворе и, разослав своих надежных агентов в другие роты, чтобы брали с собою боевые патроны, выходили и присоединялись к нам, с барабанным боем вышел на главный двор, куда выносили уже налой для присяги. Знамена уже были принесены, и знаменные ряды солдат ожидали нашего появления на большом дворе, чтоб со знаменами примкнуть к идущим на площадь ротам. Щепин выстроил свою роту позади моей; позади нас образовалась нестройная толпа

солдат, выбегающих из своих рот. Не было никакой возможности построить их даже в густую колонну, к тому же мы боялись терять время, и я двинулся вперед со своею ротою. Когда мы подходили к своду ворот, где находился выход из учебной залы, куда принесены были знамена, — они показались в сопровождении знаменных рядов. Знамя моего батальона примкнуло к голове моей роты, а другое пронесли далее, чтобы примкнуть к ротам, принадлежащим их батальону. Это обстоятельство было причиною беспорядочной свалки, которая остановила движение полка и чуть не вовсе испортила дело, так хорошо начавшееся. Нестройная толпа солдат прочих рот, полагая, что знамя несли к налою, около которого строились уже московцы, не согласившиеся итти с нами, бросилась на знаменный ряд с намерением отнять у них знамя. Началась борьба, беспутная свалка разрасталась от недоумения; каждая сторона думала видеть в другой своего врага, тогда как обе стороны были наши.

Вышедши из казарм, я уже переходил по мосту Фонтанку, как ко мне подбежал унтер-офицер роты Щепина.

— Ваше высокоблагородие, — говорил он, задыхаясь от изнеможения, — ради бога воротитесь, уймите, уймите свалку...

— Да где же ваша рота? Где князь? — спрашивал я, остановя своих солдат.

— Где, ваше высокоблагородие? Вестимо там, на дворе.

— Да что ж они там делают?

— Да, бестолковые, дерутся за знамя.

— А князь-то ваш, что ж он не уймет их?

— Да что князь... рубит направо и налево чужих и своих. Ефрейтора Федорова, своей роты — поранил руку.[1]

— Правое плечо вперед, — скомандовал я, — марш! Пойдемте ребята, помирим их...

Мы вошли на двор другими воротами, немного позади волнующейся толпы, залившей почти весь двор. Знамя то исчезало, то снова всплывало над колеблющимися султанами и штыками солдат. Казалось, не было никакой возможности,

окунувшись в это ярящееся море, добраться до знамени, до причины раздора.

Но так или иначе, а действовать было надо.

— Ребята, сомкни ряды, — закричал я своим, — держись плотно один к другому.

Слитые как бы в одну массу, мои солдаты врезались в середину толпы и подвигались безостановочно вперед, разбрызгивая по сторонам отдельно волнующиеся массы солдат.

— Смирно, — скомандовал я, достигши знамени.

Разгоряченные солдаты затихли, опустив ружья к ноге. Я подошел к Щепину ‹и› взял знамя из рук знаменосца.

— Князь — вот ваше знамя, ведите солдат на площадь.

— Ребята, за мной, — завопил неистово Щепин, и вся эта за минуту бурливая масса, готовая резать друг друга, как один человек двинулась за ворота казарм и затопила Гороховую улицу во всю ширину.

При нашем выходе из казарм мы увидели брата Александра. Он стоял подле генерала Фридрикса и убеждал его удалиться. Видя, что его убеждения тщетны, он распахнул шинель и показал ему пистолет. Фридрикс отскочил влево и наткнулся на Щепина, который так ловко рубнул его своею острою саблею, что он упал на землю. Подходя к своду выхода, Щепин подбежал к генералу бригадному Шеншину, уговаривавшему отдельную кучку непокорных, и обработал его подобно Фридриксу. Под сводом выхода полковник Хвощинский стоял с поднятыми вверх руками, крича солдатам воротиться. Щепин замахнулся на него саблею, Хвощинский побежал прочь, согнувшись в дугу от страха, и Щепин имел только возможность вытянуть ему вдоль спины сильный удар саблею плашмя. Хвощинский отчаянным голосом кричал, убегая:

— Умираю! умираю!

Солдаты помирали со смеху.

Проходя по Гороховой улице, мимо квартиры, занимаемой Якубовичем, мы увидели его, сбегающего торопливо по лестнице на улицу к нам.

— Что бы это значило? — проговорил брат Александр. — Впрочем, надо испытать его...

Якубович, с саблею наголо, на острие которой красовалась его шляпа с белым пером, пошел впереди нас с восторженными криками:

— Ура! — Константин!

— По праву храброго кавказца, прими начальство над войсками.

— Да для чего эти церемонии, — сказал он в смущении. Потом, подумавши немного, прибавил:

— Ну, хорошо, я согласен.

Вышедши на Сенатскую площадь, мы ее нашли совершенно пустою.

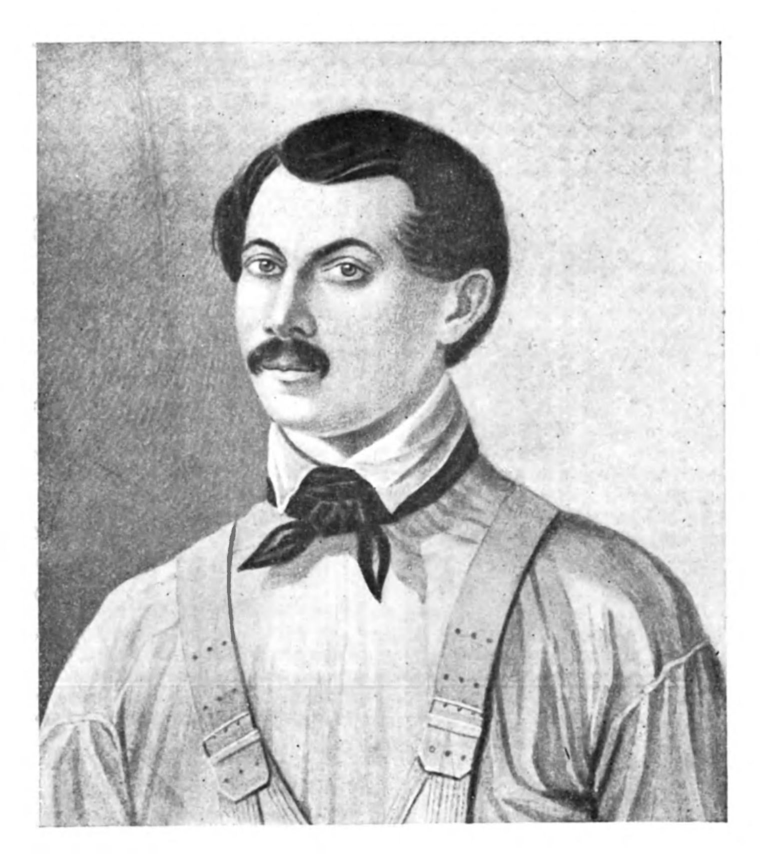
— Что? имею ли я теперь право повторить тебе, что вы затеяли дело неудобоисполнимое. Видишь, не один я так думал, — говорил Якубович.

— Ты бы не мог сказать этого, если бы сдержал данное тобою слово и привел сюда прежде нас или артиллерию, или измайловцев, — возразил брат.

Мы со Щепиным поспешили рассчитать солдат и построить их в каре. Моя рота, с рядовыми из прочих, заняла 2 фаса: один, обращенный к Сенату, другой — к монументу Петра I. Рота Щепина, с рядовыми других рот, заняла фасы, обращенные к Исаакию и к Адмиралтейству.

Было уже около 9 часов.

Мы стояли более 2 часов, а против нас не показывалось никакое войско. Первые, кого мы увидели, были конно-гвардейцы, которые справа по три тихо приближались, держась близко к Адмиралтейскому бульвару, и, повернув направо, выстроились тылом к Адмиралтейству и правым флангом к Неве. Потом показались преображенцы, подвигавшиеся от Дворцовой площади, с артиллериею впереди, для которой позабыли или не успели взять зарядов, и за ними было послано. Заряды привезли уже к вечеру. Первый батальон преображенцев, прошед позади конногвардейцев, замкнул выезд с Исаакиев-



А. А. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ.
Акварель Н. А. Бестужева. 1828 г.

ского моста, коннопионеры, прошедши тем же путем, замкнули выход к Английской набережной. Павловский полк стал тылом к дому Лобанова-Ростовского, Семеновский — вдоль Конногвардейского манежа, Измайловский был остановлен на улице, образовавшейся после постройки дома Лобанова. Прочие полки были размещены по главным улицам, идущим к площадям: Дворцовой, Исаакиевской и Петровской. Прибытие и размещение войск не было одновременно, но сопровождалось большими паузами и суматохою. Так, измайловцев, отказавшихся решительно от присяги Николаю, избивших Ростовцева, вздумавшего их уговаривать, вывели против войск, с которыми они ждали с минуты на минуту удобного случая, чтоб соединиться. Новый император, будучи шефом этого полка, на троекратное приветствие: «Здорово, ребята!», не получил даже казенного ответа и удалился в смущении. И этот полк оставили стоять до вечера против нас. Преображенцев, поставленных против нас у Исаакиевского моста, оставили тоже до вечера, хотя они, по убеждению Чевкина, решительно отказались присягнуть Николаю. Конногвардейцев, посылаемых трижды в атаку против нас и только в третий раз успевших проскакать до Сената и выстроиться тылом к нему, тоже оставили там до вечера, а этот полк настолько был приготовлен находившимися в нем членами нашего общества, что при движении нашего полка они наверное соединились бы с нами. Они, равно как и преображенцы, через народ, окружающий каре, передавали нам свое намерение.

Окончив трудную работу — постройку каре из обрывков разных рот, около которого собрались уже многие из наших членов, и не видя Якубовича, я спросил о причине его отсутствия.

— Он сказал мне, — ответил брат, — что, по причине страшной головной боли, он удаляется с площади. Но посмотри на него, — продолжал он, указывая на свиту государя, — вероятно, атмосфера нового царя живительно подействовала на его чувствительные нервы.

И брат не ошибся в своем предположении. Якубович, в избытке своих верноподданнических чувств, подошел к государю и просил позволения обратить нас на путь законности. Государь согласился. Он, привязав белый платок на свою саблю, быстро приблизился к каре и, сказав вполголоса Кюхельбекеру (Михайле):

— Держитесь, вас крепко боятся, — удалился.

Вскоре эскадрон конногвардейцев отделился из строя и помчался на нас. Его встретил народ градом каменьев из мостовой и разобранных дров, находившихся за забором подле Исаакиевской церкви. Всадники, неохотно и вяло нападавшие, в беспорядке воротились за свой фронт. Вторую и третью атаку московское каре уже без содействия народа выдержало с хладнокровною стойкостью. После отражения третьей атаки конногвардейцы проскакали к Сенату, и, когда начали выстраиваться во фронт, солдаты моего фаса, полагая, что они хотят атаковать с этой стороны, мгновенно приложились и хотели дать залп, который, вероятно, положил бы всех без исключения. Я, забывая опасность, выбежал перед фас и скомандовал:

— Отставь!

Солдаты опустили ружья, но несколько пуль просвистело мимо моих ушей и несколько конногвардейцев упали с коней. Коннопионеры немного спустя помчались, бог весть по чьему приказанию, мимо моего фаса и конногвардейцев. Мои солдаты пустили по них беглый огонь и заставили воротиться назад. Я был на другом фасе и не мог предупредить или остановить. Как ни прискорбны эти два случая, но они породили счастливые для нас результаты. Выстрелы были услышаны в гвардейских казармах, и к нам они поспешили на помощь. Чтоб не повторять того, что так хорошо написано в записках о 14 декабря Пущиным, я приведу его слова.[1]

Почти в одно время с происшествием в лейб-гренадерских казармах, происходило подобное в гвардейском экипаже. «Генерал Шипов, полковой командир Семеновского полка и начальник бригады, в состав которой входил гвардейский

экипаж, был в их казармах. Шипов, незадолго перед тем ревностный член тайного общества и человек, совершенно преданный Пестелю, нашел в эту минуту для себя удобным разыграть роль посредника перед офицерами гвардейского экипажа, не желавшими присягать. Он им ничего не приказывал, как их начальник, но умолял не сгубить себя и доброе дело, уверял, что безрассудным своим предприятием они отсрочивают на неопределенное время исполнение того, чего можно было ожидать от императора Николая Павловича. Все его убеждения остались тщетными; офицеры сказали ему решительно, что они не присягнут, и сошли к солдатам, их ожидавшим. Между тем Н. Бестужев уговаривал солдат не присягать Николаю, когда вдруг послышались выстрелы. „Ребята, наших бьют", — закричал Кюхельбекер, и весь экипаж, как одна душа, двинулся за братом Николаем, который и привел его на площадь.

«На площади экипаж выстроился направо от Московского полка и выслал своих стрелков, под начальством лейтенанта Михаила Кюхельбекера. С гвардейским экипажем, кроме ротных командиров: Кюхельбекера, Арбузова, Пушкина, пришло: два брата Беляевы, Бодиско, Дивов и капитан-лейтенант Николай Бестужев, родной брат Александра и Михаила Бестужевых; он не принадлежал к гвардейскому экипажу».[1] Лейб-гренадеры поднялись, по правдивому рассказу того же Пущина, так: «...между тем, Коновницын, конно-артиллерист, освободившийся как-то из-под ареста, скакал верхом к Сенату и встретил Одоевского, который недавно сменился с внутреннего караула и ехал к лейб-гренадерам с известием, что Московский полк давно на площади. Коновницын поехал с ним вместе. Приехавши в казармы и узнавши, что лейб-гренадеры присягнули Николаю Павловичу и люди были распущены обедать, они пришли к Сутгофу с упреком, что он не привел свою роту на сборное место, тогда как Московский полк давно уже был там. Сутгоф, прежде про это ничего не знавший, без дальних слов отправился в свою роту и приказал людям надеть пере-

вязи и портупеи и взять ружья; люди повиновались, патроны были тут же розданы, и вся рота, беспрепятственно вышедши из казарм, отправилась к Сенату. В это время случившийся тут батальонный адъютант Панов бросился в остальные семь рот и убеждал солдат не отставать от роты Сутгофа; все семь рот, как по волшебному мановению, схватили ружья, разобрали патроны и хлынули из казарм. Панова, который был небольшого роста, люди вынесли на руках. Угрозы, а потом увещания полкового командира Стюрлера не произвели никакого действия на солдат. Панов повел их через крепость, в это время он мог бы овладеть ею, и, вышедши на Дворцовую набережную, повернул было во дворец, но тут кто-то сказал ему, что товарищи его не здесь, а у Сената, и что во дворце стоит саперный баталион. Панов пошел далее по набережной, потом повернул налево и, вышедши на Дворцовую площадь, прошел мимо стоявших тут орудий, которые, как говорили после, он мог бы захватить. В продолжение всего этого времени Стюрлер шел с своим полком и не переставал уговаривать солдат вернуться в казармы. Когда лейб-гренадеры поровнялись с Московским полком, Каховский выстрелил в Стюрлера и смертельно его ранил. Стюрлер был природный швейцарец. В 11-м году Лагарп прислал его в Россию и письменно просил у царственного своего воспитанника, императора Александра, покровительствовать своему земляку. Стюрлер был определен поручиком в Семеновский полк. Человек он был неглупый и замечательно храбрый, но, впрочем, истый кондотьери. По-русски говорил он плохо и был невыносимый педант по службе: ни офицеры, ни солдаты не любили его; зато он сам страстно любил деньги. На Сенатской площади лейб-гренадеры построились налево и несколько вперед от Московского полка. Одоевский присоединился к товарищам незадолго до прибытия лейб-гренадер».

Нам готовилась вовсе неожиданная помощь. Я проходил фас моего каре, обращенный к Неве, и вижу приближающихся кадет Морского и 1-го Кадетского корпуса.

— Мы присланы депутатами от наших корпусов для того, чтобы испросить позволения притти на площадь и сражаться в рядах ваших, — говорил, запыхавшись, один из них. Я невольно улыбнулся, и на мгновение мысль: дать им позволение — промелькнула в уме. Присутствие этих юных птенцов на площади, стоящих рядом с усатыми гренадерами, поистине, оригинально окрасило бы наше восстание. Участие детей в бунте — единственный, небывалый факт в летописях истории. Но я удержался от искушения при мысли — подвергнуть опасности жизнь и будущность этих ребят-героев.

— Благодарите своих товарищей за благородное намерение и поберегите себя для будущих подвигов, — ответил я им сурьезно, и они удалились.*

Пропуская все другие подробности происшествий 14 декабря, я упомяну только об оплеухе, которою наградил Оболенский Ростовцева, встретившись с ним на возвратном пути от конно-артиллеристов на площадь, а Ростовцев — из Измайловского полка, где его порядочно помяли солдаты, когда он вздумал ораторствовать за Николая, — во дворец.

День был сумрачный — ветер дул холодный. Солдаты, затянутые в парадную форму с 5 часов утра, стояли на площади уже более 7 часов. Со всех сторон мы были окружены войсками — без главного начальства (потому что диктатор Трубецкой не являлся), без артиллерии,** без кавалерии, словом, лишенные всех моральных и физических опор для поддержания

---

* При первом посещении государем этих двух корпусов кадеты 1-го корпуса на его приветствие: «Здорово, дети» — отвечали глубоким молчанием, а моряки поставили в коридоре, через который он проходил, миниатюрную виселицу с пятью повешенными мышами.

** Пешая гвардейская артиллерия не соединилась с нами потому, что князь Алек. Голицын и прочие члены Общества, по малодушию, позволили полковнику Сумарокову себя арестовать. Гвардейские конно-артиллеристы тоже были арестованы полковником Пистолем-Корсом. Они ушли из-под ареста и явились на площадь. — «Что нам в вас без пушек», — сказали мы им. Они возвратились в казармы и на этот раз были арестованы покрепче.

храбрости солдат. Они с необычайною энергиею оставались неколебимы и, дрожа от холода, стояли в рядах, как на параде. Чтобы пощупать состояние их духа, я подошел к Любимову, ефрейтору, молодцу и красавцу из всей моей роты, женившемуся только три дня тому назад и которого я благословлял, когда он шел под венец.

— Что, Любимов, призадумался, аль мечтаешь о своей молодой жене? — сказал я, потрепав его по плечу.

— До жены ли теперь, ваше высокоблагородие. Я развожу умом, для чего мы стоим на одном месте: посмотрите — солнце на закате, ноги отерпли от стоянки, руки закоченели от холода, а мы стоим.

— Погоди, Любимов, пойдем! И ты разомнешь и руки, и ноги.

С сокрушенным сердцем я удалился от него. Кюхельбекер и Пущин уговаривали народ очистить площадь, потому что готовились стрелять в нас. Я присоединился к ним, но на все мои убеждения был один ответ: умрем вместе с вами. К нам подскакал Сухозанет и передал последнюю волю царя: чтобы мы положили оружие, или в нас будут стрелять.

— Отправляйтесь назад, — вскрикнули мы, а Пущин прибавил:

— И пришлите кого-нибудь почище вас.

На возвратном скаку к батарее он вынул из шляпы султан, что было условлено, как сигнал к пальбе, и выстрел грянул. Картечь была направлена выше голов. Толпа народа не шелохнулась. Другим выстрелом — в самую середину массы — повалило много безвинных, остальные распрыснулись во все стороны. Я побежал к своему фасу к Неве. Последовал третий выстрел. Много солдат моей роты упали и стонали, катаясь по земле в предсмертном мучении. Прочие побежали к Неве. Любимов очутился подле меня.

— Всяко может быть, ваше высокоблагородие, я не покину вас, — говорил он с братским участием и вдруг упал к моим ногам, пораженный картечью в грудь. Кровь брызнула из глу-

бокой раны. Я дал ему свой платок. Он прижал его к груди, а меня увлекла толпа бегущих солдат.[1] Я забежал вперед.

— За мной, ребята! — крикнул я московцам и спустился на реку. Посредине ее я остановил солдат и с помощью моих славных унтер-офицеров начал строить густую колонну, с намерением итти по льду Невы до самой Петропавловской крепости и занять ее. Если бы это удалось, мы бы имели прекрасное point d'appui,* куда бы могли собраться все наши и откуда мы бы могли с Николаем начать переговоры, при пушках, обращенных на дворец. Я уже успел выстроить три взвода, как завизжало ядро, ударившись в лед и прыгая рикошетами вдоль реки. Я оборотился назад, чтобы посмотреть, откуда палят, и по дыму из орудий увидел батарею, поставленную около середины Исаакиевского моста. Я продолжал строить колонну, хотя ядра вырывали из нее то ряд справа, то слева. Солдаты не унывали, и даже старики подсмеивались над молодыми, говоря им, когда они наклонялись при визге ядер:

— Что раскланиваешься? Аль оно тебе знакомо?

Уж достраивался хвост колонны, как вдруг раздался крик:

— Тонем!

Я ‹увидел› огромную полынью, в которой барахтались и тонули солдаты. Лед, под тяжестью собравшихся людей и разбиваемый ядрами, не выдержал и провалился. Солдаты бросились к берегу и вышли к самой Академии Художеств.

— Куда же мы теперь? — спросил меня знаменоносец. Я взглянул в отворенные ворота Академии и увидел круглый двор, столь для меня памятный. Вспомнил залы античных статуй, живописи и проч., окружающие двор, и — мгновенная мысль, что, заняв их, мы можем долго защищаться, — вскричал: «Сюда ребята». Передовая кучка солдат пробежала в ворота мимо оторопевшего швейцара, который, впрочем, оправившись от страха, спустил гири ворот, и они захлопнулись перед

* Точку опоры.

нашим носом. Я приказал взять бревно из днища барки, разломанной на реке, чтоб им сбить с петель ворота. Молодцы дружно принялись за дело: ворота уже потрескивали под их ударами, но мы увидели эскадрон кавалергардов, во весь карьер мчавшихся на нас. У солдат опустились руки. Можно ли было думать о сопротивлении при такой суматохе, когда все столпились в одну нестройную кучу?

— Спасайтесь, ребята, кто как может! — и солдаты разбежались в разные стороны. Я подошел к знаменщику, обнял его, промолвив:

— Скажи своим товарищам московцам, что я, в лице твоем, прощаюсь навсегда с ними. Ты же отнеси и вручи знамя вот этому офицеру, который скачет впереди; этим ты оградишь себя от наказания.

Я еще постоял некоторое время, видел, как на половине площади Румянцева знаменщик подошел к офицеру, отдавая знамя, и как тот рубнул его с плеча. Знаменщик упал, и у меня чуть слезы не брызнули. Я забыл фамилию этого презренного героя, но помнится, что она начиналась с частички фон и что он, повергая к ногам императора отбитое им с боя знамя, получил Владимира с бантом за храбрость!!..[1]

Медленно перебираясь по переулкам к мирному жилищу сестер, я чувствовал, как лихорадочное волнение постепенно утихало во мне и от души отлегала какая-то тягость, давившая меня. Мне как-то легко дышалось, совесть была спокойна. Я знал, что исполнил свой долг безупречно, и даже находил удовольствие выдумывать себе самые страшные и самые унизительные казни. Здоровый организм вступал в свои права: проведши 3 дня почти без сна и пищи, я почувствовал голод и желание уснуть. Сестры встретили меня со слезами и расспросами.

— Теперь не время, mes soeurs,* вздыхать, плакать и болтать, время дорого. Дайте мне чего-нибудь закусить и

* Сестры.

отдохнуть немного, и я, на вечную разлуку с вами, постараюсь удовлетворить ваше любопытство.

Наскоро закусив, я поспешил уснуть, попросив сестер приготовить матушку, когда она проснется. Долго ли я спал, не знаю, но когда проснулся, было совершенно темно. Пока никто не мешает, надо было подумать о будущем, бежать или без хлопот самому явиться под арест. Попробуем сперва первое, а при неудаче употребим второй способ. Я нарядился в старый флотский вицмундир брата Николая, надел его енотовую шубу и в таком маскарадном костюме явился к матушке и, став на колени, просил ее благословения.

— Да благословит тебя бог, — сказала она, перекрестив меня, — и да вооружит он тебя терпением для перенесения всех страданий, тебя ожидающих.

Я обнял сестер, выбежал за ворота и бросился на первого извозчика, приказав ему ехать на Исаакиевскую площадь, чтобы пробраться, ежели возможно, к Торсону.

— Да пустят ли нас, барин, к Исаакию. Там идет мытье да катанье, кругом стоят пушки и солдаты.

— О каком ты мытье говоришь? — спросил я.

— Вестимо дело, замывают кровь, посыпают новым снегом и укатывают.

— А что, разве много было крови? — спросил я его.

— Ну, на порядке, значит, много было, то есть убитых.

— Вот смотри, — прибавил он, указывая на воз, прикрытый рогожами, — ведь это все покойнички, — дай бог им царство небесное. Ведь все они то есть настоящие праведники — стояли за правое дело, а теперь их пихают под лед без христианского погребения...

— Да что же тут приключилось, расскажи пожалуйста.

— Вишь, расскажи — одним словом, страх...

Нас остановил жандарм. Я заплатил извозчику и начал с другого конца Исаакиевской площади зигзагами и обходами пробираться к Галерной улице, где жил Торсон. Странно оживленную картину представляла площадь эта. Она была

местами освещена пылающими кострами, у которых грелись артиллеристы и солдаты. Сквозь дым и мерцание пламени то показывались, то скрывались блестящие жерла пушек, поставленных на всех выходах главных улиц на площадь. Фитили мерцающими звездочками курились при каждом орудии. Внутри этого заветного круга, где за несколько часов решилась участь царя и России, рабочий люд деятельно хлопотал смыть и уничтожить все следы беззаконной попытки неразумных людей, мечтавших хоть немного облегчить тяжесть их горькой судьбины. Одни скоблили красный снег, другие посыпали вымытые и выскобленные места белым снегом, остальные убирали тела убитых и свозили их на реку. С большим трудом, почти прокравшись, я достиг Галерной улицы и почти бегом достиг до середины, где остановлен был пикетом Павловского полка, и мне приказано было ждать, пока офицер выйдет и опросит меня. «Вот и попался», — подумал я. Я назвал себя шкипером 8-го экипажа, а ежели офицер знает меня, — я инстинктивно прислонился к фонарному столбу, чтобы свет не падал мне на лицо. По другую сторону столба стояла небольшая кучка лейб-гренадер, московцев и матросов гвардейского экипажа. Их разыскивали по домам, окаймляющим Галерную улицу, и приводили к пикету, чтобы препроводить в сборное место. Измайловцы привели новых арестантов.

— Что, опять наловили мышей, — сказал, смеясь, один из павловцев — шутник и балагур, занимавший всю честную компанию пресмешными выходками.

— А, чай, тебе трудно было сгибаться над каждой дыркой да норкой? Вишь, какой вырос — как этот фонарный столб.

— Послали бы тебя, и ты то же бы делал, что мы, — возразил измайловец.

— Нет, брат, погоди, ты чистую чушь несешь. Первóе, нас бы и не послали — мы не кобенясь присягнули вашему шефу. Наши ребята сказали: кто ни поп, тот батька, и кто бы ни выдергал усы, как вам выдергивали, — все равно: тот или другой. А вы? смотри-ка, не хотим изменять присяге!

Приколотили Ростовцева, не хотели здороваться с новым царем, посылали сказать московцам, что готовы итти с ними, а теперь ловите их, чтобы предать распятию. Нет, брат, — говорил он, выступив вперед, подбоченясь и выставя ногу вперед, — у меня хоть медяной налобник, но лоб-то не медный. Если б я сказал: пойду — так и пошел бы...

— И мы бы пошли, — прервал его измайловец.

— А что же вы не шли к нам, — вставил вопрос один из московцев.

— А что же вы стояли на одном месте, как будто примерзли к мостовой?

— Мы... — Появление офицера прервало эту интересную сцену. Он подошел ко мне.

— Кто вы? и куда идете?

Мой ответ был:

— Я шкипер 8 флотского экипажа. По обязанности службы я был в Галерной гавани и теперь возвращаюсь к семейству.

— Хорошо, мы это узнаем, я велю вас проводить к семейству. Эй!

— Ваше благородие! — вытянувшись, рапортовал старший унтер-офицер пикета, — привели опять новых арестантов.

— Да когда же этому будет конец, — запальчиво вскричал офицер. — Ну, отправь их на сборное место. Да назначь когонибудь проводить до дому этого господина.

— Помилуйте, ваше благородие, кого я назначу? Конвой прежней партии еще не вернулся назад, а для этой толпы мало будет и остальных пикетов.

— Ну, чорт с ним, пусть идет куда хочет, а ты отправляй арестантов.

Меня пропустили, и я, хотя в сообществе с чортом, несказанно был рад, вырвавшись из когтей этого блаженного. Почти бегом я достиг казарм 8-го флотского экипажа, где жил Торсон, и, запыхавшись, вошел в комнаты без всякого доклада. В зале, сумрачно освещенной одною свечей, за круглым дубовым столом сидела почтенная старушка, мать его, в памятном мне

белом чепце, с чулком в руках и с книгою, которую она читала, не обращая внимания на вязанье. Напротив нее, раскладывая гран-пасьянс, сидела умница, красавица, его сестра, и, подпершись локотком, так задумалась, что не слыхала даже довольно шумного моего появления. Громкий задушевный смех ее матери пробудил ее. Она ахнула, увидя меня в таком маскарадном костюме, вскочила со стула и, подбежав ко мне, спрашивала, всхлипывая:

— Итак, все кончено, — где брат, где брат мой?

— Вы раненько начали святки... — говорила простодушная старушка, заливаясь веселым смехом. — Скажите-ка, по какому поводу вы так нарядились?..

— Ради бога успокойтесь, Катерина Петровна, ваш брат на площади не был. Успокойтесь, сядьте, — ваша матушка наблюдает нас.

— Она глуха, ничего не слышит, что говорим мы.

— Но она умна и опытна и может прочитать на вашем лице несчастие, которое мы от нее скрываем.

— Да поведаете ли вы, наконец, причину вашего маскарада, — повторила старушка, взглядывая попеременно то на меня, то на дочь свою.

— Причина самая простая. Я ехал к сестрам, неловкий извозчик опрокинул меня на Неве у взвоза в лужу. Пока просушивают мой мундир, я нарядился в этот костюм брата Николая и приехал к вашему сыну, чтоб поговорить о деле, не терпящем отлагательства.

Я прокричал ей на ухо эту приготовленную ложь и поместился между ними, чувствуя сам необыкновенную слабость от волнения и испытываемых ощущений.

Если бы я владел пером Шиллера или Гете или кистью Брюллова, какую высоко драматическую сцену, какую поразительно эффектную картину написал бы я, изображая нашу беседу при мерцающем свете нагоревшей свечи — беседу в группе трех лиц, случайно и так эффективно поставленных один против другого. Старушка, совершенно глухая, сосредо-

точила все свои чувства во взоре. Ощущение неведомой душевной тревоги тучками набегало на ее невозмутимо-ангельское чело, когда кроткий взор ее с видимым беспокойством переносился с моего лица на лицо своей дочери, глотавшей слезы и старающейся всхлипывания плача заглушить или прикрыть принужденным смехом. Мое положение было не лучше. Зная, что Константин Петрович был кумир, боготворимый ими; зная, что с его потерею они лишаются и блага душевного и материальных средств своего существования, я должен был сестру его успокаивать, когда погибель его была непреложна. Чтоб сколько-нибудь замаскировать, что происходило в душе моей, я взял перочинный ножичек, лежавший на столе, и стал чертить и вырезывать на дубовом столе. Не знаю, как и почему, — у меня вырезался якорь, веретено и шток, которого я превратил в крест, и явился символ христиан: надежда и вера.

— Вот что должно быть вашею путеводною звездою в вашей будущей жизни, — заключил я, заслышав шаги входящего К. П. Торсона. Впоследствии, когда и сестра, и старушка мать приехали в Сибирь, чтобы усладить жизнь изгнанника, Катерина Петровна часто вспоминала этот роковой вечер и повторяла, что вырезанный мной символ веры и надежды сохранился в том же виде до последнего дня их пребывания в Петербурге и что, часто упадая духом под гнетом страданий, достаточно было взглянуть на него, чтоб почувствовать новые силы для перенесения новых треволнений.

Так кончился достопамятный для нас день 14 декабря.

‹15 декабря›. Светало, а мы с Торсоном не прерывали еще беседы. Зная, что нас ожидает в будущности, как умирающие, имели потребность передать свои заветные мысли, свои предсмертные завещания.

— Итак, ты думаешь бежать за границу? Но какими путями, как? Ты знаешь, как это трудно исполнить в России и притом зимою?

— Согласен с тобою — трудно, но не совсем невозможно. Главное я уже обдумал, а о подробностях подумаю после.

Слушай: я переоденусь в костюм русского мужика и буду играть роль приказчика, которому вверяют обоз, каждогодно приходящий из Архангельска в Питер. Мне этот приказчик знаком и сделает для меня все, чтобы спасти меня. В бытность мою в Архангельске я это испытал. Он меня возьмет как помощника. Надо только достать паспорт. Ну, да об этом похлопочет Борецкий, к которому я теперь отправлюсь. Делопроизводитель в квартале у него в руках.

— Но кто таковой этот Борецкий и как ты так смело вверяешься первому встречному?

— Борецкий, как тебе известно, актер по страсти. Настоящая его фамилия Пустошкин. Он новогородский дворянин и наш дальний родственник; человек простой, но безупречно честный. Любит он наше семейство более, нежели театр, для которого он променял будущность военного офицера на славу: со временем сделаться Яковлевым, — его идолом. Он же достанет мне бороду, парик и прочие принадлежности костюма.[1]

— Ну, хорошо, а потом что?

— Лишь бы мне выбраться за заставу, а тогда я безопасно достигну Архангельска. Там до открытия навигации буду скрываться на островах между лоцманами, между которыми есть задушевные мои приятели, которые помогут мне на английском или французском корабле высадиться в Англию или во Францию.

— Дай бог, чтобы твои предположения сбылись. А я что-то крепко сомневаюсь.

— Ну, как бы то ни было, — закончил я, — а действовать надо. Удастся — хорошо; не удастся — меня отведут в квартал, т. е. во дворец. Пойдем, уж Петербург проснулся. Ведь ты меня проводишь?

— Хорошо, тем более, что я зайду по дороге к швецу-староверу. У него ты найдешь, если он только согласится, самый безопасный приют.

Мы вышли. По улицам разъезжали конные патрули. Мы их счастливо миновали, хотя некоторые нас опрашивали. На

Козьем Болоте Торсон зашел к портному. Я его ожидал, прохаживаясь, как журавль по болоту. Наконец, он соединился со мной и поведал неудачу своей попытки. Портной говорил: если бы вы пришли вчера, хотя бы поздно вечером, дело можно бы уладить. А в эту ночь полиция переписывала у всех мастеров наличных работников, наказав строго-настрого впредь не принимать новых без разрешения полиции. Ну, делать было нечего, мы отправились к Борецкому. Проводив меня до ворот, он простился со мной до свидания — в Сибири...

Я вошел в переднюю; там никого не было, некому было доложить обо мне. Чрез отворенные двери в залу и в спальню до меня доходили голоса оживленного разговора, под шумок которого я вошел в спальню его, не будучи им замечен. Он, еще неодетый, сидя на кровати, рассказывал жене своей, стоящей перед ним в утреннем пеньюаре, разные страшные сказки вчерашнего дня, как очевидец. Рассказывал, как Александр Бестужев и Рылеев, укрывшись в Сенат, отражали атаки чуть ли не всей гвардии. Как Бестужев Николай также храбро защищался, заняв Адмиралтейство. А кровь-то, кровь... а убитых и счету нет.

— Да что же ты мне ничего не скажешь о Михайле Александровиче? — спросила его жена.

— Да, что, матушка, говорить о мертвых.

— Как, он убит! — всплеснув руками, вскричала жена.

— Убит.

— И ты сам его видел мертвым?

— Видел, матушка, собственными своими глазами, — говорил простак Борецкий, не желая повредить эффекту, произведенному на жену его рассказом.

— Ах, бедный, бедный! — всхлипывая, произносила эта добрая женщина, любившая меня не как родственника, а как родно́го своего сына.

— Здравия желаю!! — произнес я громко, тихо подошедши к ней сзади...

— Ах! Ох! — вскрикнули муж и жена, — с нами сила крестная!

— Да что же это, наяву иль мне мерещится? Иван Петрович, да скажи, жив он или мертв?

— Жив, матушка, жив, слава богу.

— Да ведь ты видел его мертвым?

— Это мне померещилось. Вот и все... Ах ты, боже мой!.. Да неужели ты и взаправду жив, — восклицал он, вскочив с постели, целуя в обе щеки и душа меня в своих объятиях. — Да как же это?.. Ведь тебя изрубили и бросили в Неву?

— О, неверный Фома! Да ты ощупай мои раны и удостоверься, что они уже зажили... Впрочем, ты с такою настойчивою уверенностью убеждаешь меня в моей смерти, что я, наконец, начинаю сомневаться: и в самом деле — жив ли я. Ну, верный поклонник Мельпомены, становись в обычную тебе позу Терамена — и начинай: «Едва оставили мы грустные Трезены...». Поведай — с достодолжным ли я достоинством греческого героя отправился в Елисейские поля? Ведь ты жене говорил, что на глазах твоих меня изрубили.

— Ну, братец ты мой, я это жене приврал. Всяк человек есть ложь. Да как же и не поверить, когда все об этом одинаково повторяли. Ну, признаться, с некоторыми вариантами.

— Ну, пожалуйста, расскажи, как я умирал. Ведь это до меня довольно близко касается.

— Надо тебе, братец ты мой, откровенно признаться, что я решительно ничего не знал, что происходило в Петербурге вчера. Поутру я собрался в театр на репетицию, увидел на улице кучки народа, оживленные каким-то жарким говором. Я спросил у дворника о причине этого сходбища, и он мне поведал, что народ со всех концов города спешит на Сенатскую площадь, что туда пришли солдаты с криком: «Ура, Константин», а великий князь Николай Павлович вывел против них остальную гвардию и хочет их всех истребить. Разумеется, братец ты мой, что я о репетиции забыл, вмешался в толпу и прибежал на площадь. Боже ты мой, господи, что там происходило!.. Народ

как есть вплотную запрудил всю площадь и волновался, как бурное море. В волнах этого моря виднелся небольшой островок — это был ваш каре. В противоположность урагану, крутящемуся около него, он стоял недвижим, спокойно и безмолвно. Только ветр колыхал иногда высокие султаны их киверов, и временные проблески света на небе — прыскали искры на окружавшую его толпу, отражаясь на гранях штыков их. — Да, братец ты мой, это была поразительно прелестная картина!.. Я видел царя, окруженного своим штабом и уговаривающего народ: «разойтись по домам», слышал, как беснующаяся толпа кричала ему в ответ: «Вишь, какой мягонький стал. Не пойдем! Умрем с ними вместе»; видел, как полки, словно грозные тучи, облегали ваш маленький островок; видел, как понеслась на вас кавалерия, как плавно склонились штыки, как опрокидывались кони со всадниками, наткнувшись на эту стальную щетину, и с каким диким остервенением толпы народа отразили второй натиск поленьями дров; признаюсь, и я, грешный человек, метнул одно полено в бок кавалеристу: бедняга, склонясь на луку, повернул лошадь и исчез. Видел я, братец ты мой, и тебя, как ты при третьей атаке появился перед фасом каре, стал против солдат, готовых дать залп, от которого вся эта кавалерия, обскакавшая каре, легла бы лоском, — как ты скомандовал «отставь»; одним словом, я смотрел на быстро сменяющиеся картины. Я видел непрерывный ряд сцен, присутствуя на площади, как зритель и как актер. Я находился в каком-то чаду, в каком-то моральном опьянении, поочередно увлекая толпу и увлекаясь ею. Я находил какое-то безотчетное удовольствие отдаваться на произвол этой сумятице, которая бросала меня от одного конца площади на другой, от одного полка окружавших вас гвардейцев к другому; повсюду я замечал на мрачных лицах солдат общее недовольство; везде слышалось громкое сетование на ваше бездействие. «Пусть они двинутся, — говорили они, — и мы пойдем вместе с ними». Я видел, как пришли к вам матросы гвардейского экипажа, потом лейб-гренадеры; видел смерть

их полкового командира, видел торжественное шествие митрополита во всем облачении, великого князя Михаила, уговаривавшего московцев положить оружие, видел, как смертельно раненый Милорадович, шатаясь на седле, поскакал прочь от непокорных солдат, и, наконец, услышал роковой выстрел из пушки, положивший конец этой страшной фантасмагории. Толпа вздрогнула, смолкла, но не двигалась с места. Второй выстрел повалил множество из передовых. Народ прыснул во все стороны. Третий выстрел был направлен на открытый каре. Повалило много, — но он не покидал своего места. При четвертом, пятом выстреле каре дрогнуло, и солдаты побежали по Галерной улице, а московцы к Неве. Я спустился на реку у Исаакиевского моста со стороны Адмиралтейства.

— Да зачем же тебя нелегкая понесла на Васильевский остров, — спросил я восторженного рассказчика.

— Ах, братец ты мой, как же ты меня не понимаешь? Я спешил навестить твою матушку и сестриц, чтобы успокоить их и рассказать все, что я видел. К тому же, я видел, что ты с московцами идешь тоже к Васильевскому острову, и думал сойтись с тобою и итти вместе. Не тут-то было... Смотрю — ты остановил солдат, начал строить колонну по мере того, как они подбегали. А между тем, братец ты мой, смотрю я — по Исаакиевскому мосту летит батарея, остановилась посредине моста и открыла огонь из четырех орудий. «Ах, бедный Мишель, — думаю я, — пропал ты»... А ядра-то так и свищут, так и ломают лед кругом колонны, так и вырывают из нее целые ряды. Гренадеры стоят, как вкопанные, только где инде наклонялись черные султаны, как бы кланяясь летящим над головами ядрам. Ты, обратясь спиной к мосту, говорил что-то солдатам, а между тем уже седьмой взвод колонны пристраивался, — как внезапно раздался крик: тонем, спасите, тонем!.. Разбитый ядрами лед не выдержал, средина колонны погрузилась в воду, прочие бросились на берег и столпились на взвозе против Академии Художеств. У меня, братец ты мой, сердце расплылось, как вода, голова пошла кругом, в глазах

помутилось, и я закрыл их руками, чтобы ничего не видеть. Долго ли я был в этом положении, не могу дать себе отчета, но когда я опамятовался, я увидел себя окруженным толпою народа.

— Ведь я тебе говорил, что он оживет, — восклицал какой-то фабричный в тиковом халате, подпоясанный ремнем. Он без умолка болтал, прерывая неудержимый поток болтовни только, когда его рот был полон водою, которую он хлебал из кожаного картуза, чтоб вспрыскивать мое лицо, с усердием размазывая по нем ручьями текущую воду своею грязною рукою.

— Да где же Бестужев? Где его солдаты? — спрашивал я у кругом стоящей толпы, как будто толпа могла знать тебя.

— Это ты о Бестужине-то говоришь? — спросил меня тот же болтливый субъект. — Э! приятель, да ведь их на площади было целых четверо. Ну уж что это за отпетые головы! — Тут он мне, едва переводя дыхание, с присвистом от выбитого переднего зуба и энергически размахивая руками, рассказывал геройские подвиги Бестужиных после ретирады войска с площади. Как один из них, моряк, заперся в Адмиралтействе, другой в Сенате, а третий в Академии Художеств. Как ты, со знаменем в руке и с небольшою частью солдат, бесстрашно встретил атаку кавалерийского баталиона и как ты был тут же изрублен и брошен в Неву.

— И ты все это видел собственными своими глазами? — спросил я его.

— Ну, не то, чтоб собственными, а как бы тебе сказать, мне досконально все это рассказал Назар, наш уставщик по башмачному делу.

— Ну, хорошо! А как же ты, ничего этого не видавши, уверял жену и рассказывал о наших подвигах, как очевидец. Назар мог видеть, как моего знаменосца изрубили, и мог смешать мое лицо с этим несчастным, но ведь ты...

— Ах, братец ты мой, что ты привязываешься с пустяками. Сказано: что всяк человек есть ложь — ну вот и раз-

гадка моим словам, а что я поверил ему на слово, так это потому, что я слышал повторение этого рассказа в двадцати уголках и закоулках города, по которому я шлялся чуть не всю ночь, не имея сил итти к твоей матушке и рассказать все, что я видел и слышал. Тебе известно, как я любил все ваше семейство... ты знаешь, как я тебя любил, ты это видел, проживая у меня по твоем переводе в гвардию. Ну, слава богу!.. ты жив. Дай мне еще раз тебя расцеловать... — и он целовал меня, обрызгивая каплями слез.

Прекраснейший человек был этот Борецкий, в прозаической оболочке вмещавший поэтическую душу. Он весь был соткан из доброты и простоты. Отец мой определил его в Горный корпус за несколько годов прежде определения брата Александра. Но его душа не симпатизировала с подземною мрачною жизнью рудокопа, — его увлекла сценическая слава знаменитых в то время жрецов Мельпомены: Дмитревского, Яковлева, Самойлова и других, и он предался этой богине душой и телом. Употребляя различные хитрости, он в классное время убегал без спроса в театр, пренебрегая опасностью быть выключенным из корпуса за подобные проделки, и, подкупив капельдинера райка, просиживал часто в темноте и голодал чуть ли не с полудня до времени начала представления, чтобы насладиться лицедейством своего кумира Яковлева. В двенадцатом году он воспользовался послаблением начальства, допускавшего молодых людей в ряды защитников отечества, перешел в военную службу, по окончании кампании вышел в отставку и, переменив фамилию Пустошкина на кличку Борецкого, дебютировал на сцене довольно удачно в роли Эдипа Озерова и потом погряз в счастливой посредственности второстепенных актеров.

— Ну, полно, полно, — сказал я, невольно растроганный его нелицемерными чувствами. — Теперь не время нежничать, а надо действовать. Поговорим ладком, — продолжал я, садясь на край его постели. — Ты, переменив меч Марса на котурны Мельпомены, вероятно, нашел в гардеробе этой госпожи

обильный запас различных нарядов. Я пришел просить тебя достать мне наряд русского мужичка с париком и бородою. Скажи, можешь ли ты это для меня сделать?..

— Почему ж? Очень можно, но ты скажи в свою очередь: для чего тебе он понадобился?..

Я рассказал ему о своем намерении выйти из Петербурга и итти с обозом в Архангельск.

— Хорошо придумано, но трудновато исполнить, — сказал он, немного подумав. — Чтоб выйти за заставу и итти с обозом, надо иметь вид, а у тебя ведь нет его?

— Нет, но похлопочи! Нельзя ли достать его?

— Ежели б можно было, я бы не задумался ценою жизни купить тебе паспорт. Но во всяком случае, попробуем...

Он начал одеваться, я — раздеваться и, сбросив лишнюю одежду, растянулся на его постели. Сон морил меня. Бессонные ночи и неустанные движения изнурили меня, а жгучие впечатления недавних событий сильно волновали мою душу. Я заснул сном праведника.

Уже смеркалось, когда я проснулся. Долго я не мог дать себе отчета: где я. Во сне мне все мерещились сцены 14-го, и я мечтал, что нахожусь на площади. Чу!! глухой звук пушечного выстрела. Я приподнялся с постели и, подперевшись на локоть, стал прислушиваться. Ничем невозмутимая тишина длилась несколько минут, потом опять выстрел... Я вскочил с кровати, набросил на себя верхнюю одежду и намеревался бежать туда, откуда слышалась канонада. Выбегая из спальни, я встретил хозяйку. Она загородила мне дверь в переднюю и повлекла в столовую, где накрыт был стол для обеда.

— На что это похоже, — лепетала словоохотливая хлебосолка, — с раннего утра чуть не до поздней ночи вы крошки хлеба в рот не брали и голодный бежите невесть куда. А я для дорогого гостя приготовила ваши любимые кушанья. Ну полно упрямиться — пойдемте обедать...

— Время ли думать об обеде, когда... Вы слышите, опять выстрел?..

— Что это, бог с вами, какие выстрелы? Я ничего не слышу, да и не слыхала во время вашего сна.

Ее слова дышали такою простодушною уверенностью, что я поверил, приписывая слышанные мною звуки постоянному шуму в больной моей голове. Мы сели за стол.

Я ничего не мог есть. Но, уступая упрекам и сетованиям добродушной хозяйки, отведав несколько из блюд моих любимых кушаньев, объявил положительно, что обед кончен.

— Мы нехорошо сделали,—сказал я обиженной хлебосолке,—что не подождали вашего мужа. Он, вероятно, скоро воротится и привезет мне костюм.

— Да ведь он давно его привез; а я, глупая, заболтавшись, и позабыла вам сказать об этом. Вот он, примеряйте и посмотрите, впору ль он вам.

Я схватил все маскарадные принадлежности и удалился в спальную, чтоб примерить их, и вышел в столовую, преобразясь в русского мужика. Все было как будто по мне сшито. Только парик и борода неплотно прилегали ко лбу и подбородку, и я спросил у хозяйки иголку и черного шелку, чтобы немного поосадить парик и бороду.

Пока я занимался копотливою моею работою, словоохотливая моя хозяйка болтала без умолку, повторяя мне все закулисные сплетни и интрижки театральных львиц, во всех подробностях ей известных, как давнишней швее при театре. Она была в восторге, что нашла такого молчаливого и внимательного слушателя, тогда как я почти ничего не слышал из ее рассказов, мысленно пробегая прошедшее и будущее, а в настоящем конвульсивно прислушиваясь к звукам, изредка раздававшимся, как пушечные выстрелы.

— ...И, наконец, вероломный, он ее покинул! — заключила она свой патетический рассказ, склонив голову и тяжко вздыхая.

— Еще! — воскликнул я, встав и с беспокойством прислушиваясь.

— Да что еще вам сказать? Что она была неутешна, вы можете это отгадать, если судить по тому сердечному участию и вниманию, с которым вы слушали мой рассказ.

— Опять!.. Нет, я не в силах более оставаться. Прощайте!

Подвязав наскоро парик и бороду и нахлобучив шапку, я побежал с лестницы, скача через две, три ступеньки и провожаемый восторженными похвалами моему чувствительному сердцу.

Я выбежал на улицу в настежь растворенные ворота и направил свой бег на Сенатскую площадь, где я предполагал найти возобновление вчерашней борьбы, но приубранная и прикатанная площадь была пуста, артиллерия с пехотными прикрытиями исчезла, народ и экипажи совершали мирно свое обычное движение, и только небольшие кучки там и сям столпившихся прохожих виднелись на ней, как черные пятна на листе белой бумаги. Эти кучки уж не были так велики и густы, как накануне, когда я пробивался кругом площади на Галерную улицу; их разредило время протекших суток. Интерес ослабевал, но зато в обратной пропорции росли, словно снежные комья, нелепые рассказы о происшедших событиях.

Обходя площадь, чтобы заглянуть в каждую улицу, выходящую на нее, я услышал явственно произнесенную мою фамилию и из любопытства подошел и вмешался в группу слушателей, безмолвно стоявших около оратора. По двум полоскам красного сукна, пришитым к длинному воротнику его шинели, не трудно было догадаться, что он принадлежал к сословию денщиков, а по наглому бесстыдству выдавать за правду пошлые вымыслы — к разряду тех лиц, которые, нанюхавшись воздуху, вдыхаемого их патронами, и посидев украдкою на тех стульях, на которых господа их рассуждали или беседовали, — мечтают, что они имеют право настолько презирать среду, из коей они вышли, чтобы навязывать ей небылицы, как несомненные истины.

— Так вот, господа, — продолжал ливрейный оратор, с гордостью озирая толпу и с важностью засунув большой палец правой руки между пуговиц своей наглухо застегнутой шинели, — этот-то Бестужин, значит, моряк, который привел гвардейский экипаж, бросился с ними в мирательство и завладел одним большим кораблем. Его, значит, и окружила со всех сторон гвардейская пехота и кавалерия... Сдавайся! — кричат ему, а он в ответ: пиф-паф из пушек!..

— Да как же это, любезный господин, — возразил один из предстоящих слушателей, вероятно, сиделец из лабаза, судя по толстому слою муки, покрывавшему его тулуп, — любезный человек, откуда взял он пушки? У новостроящихся кораблей их нету-ка.

— Откуда?.. Ах, умная ты голова! Да разве в мирательстве мало всякого оружия? На то оно, значит, мирательство. — Вот, так сказать, снова кричат ему: эй, сдайся — плохо, значит, тебе будет! — Я взорву, так сказать, корабль, а живой не сдамся, — отвечал он, и показался, так сказать, дым. Пехота и кавалерия отретировались, значит, подальше, а корабль тем временем и пошел в Неву...

— Да как же?.. любезный господин, а лед-то?

— Что лед этакой, значит, махине, как стопушечный корабль! Он, можно сказать, изломал его, как тонкое стекло, и пошел, значит, прямо в Кронштадт, где теперь Бестужин, значит, и находится.

— Ну, а мы пойдем-ка, брат, домой, — сказал маловерный лабазник своему соседу, — любезный человек, кажется, заехал в завирательные палестины.

И я поспешил тоже домой.

Спустившись с Адмиралтейского бульвара, чтобы перейти на Невский проспект, я увидел толпу любопытных, сопровождавших какого-то флигель-адъютанта. Всмотревшись попристальнее, я узнал... боже мой! — я не верил глазам своим — Торсона... «Какими путями и так скоро успели до тебя добраться?» — подумал я. Они довольно близко проходили мимо

меня, и я мог довольно хорошо рассмотреть всю группу. Впереди шел с самодовольным видом (как мне показалось) Алексей Лазарев, гордо подняв голову и не понимая унизительной роли сыщика. За ним шел Торсон, поступью твердою, с лицом спокойным и со связанными назад руками. Его вели в Преторию на суд Пилата. За что? Чем он провинился? Он не бунтовал, на площади не был, так неужели он тем виновен пред человеками, что пламенно желал им блага? И неужели этот благородный человек, как Иисус Христос, будет распят, тогда как легионы Варрав останутся нетронутыми. А Варрава бе разбойник!!

Я как остановился, так и простоял, как вкопанный, несколько минут, погруженный в грустные, горькие думы: «Нет, Учителю!! Я, подобно Петру, не отрекусь от тебя», — подумал я. И не малодушие ли бежать, бог знает куда, когда я могу с чистою совестью разделить с тобою твою горькую участь. Я докажу, что свято храню твое учение и горжусь честью быть членом того священного Общества, в которое ты принял меня, где каждый член должен полагать душу свою для блага отчизны... Я решился добровольно предать себя Пилату.

Почти у самой квартиры Борецкого я встретил хозяина, возвращающегося домой в глубокой задумчивости. Подошедши к нему, я сказал:

— Ваше почтение! Я к вам...

— А ты, верно, от Злобина? — вопросительно отвечал мне Борецкий, как бы просыпаясь от сна.

— Точно так, — отвечал я, изменив голос.

— Ну, так вот что: отнеси ты к нему назад этот паспорт и скажи, что теперь его, дескать, не надо. Пусть с богом отправляется в путь-дорогу.

— Так, значит, я в Архангельск-то не поеду, — сказал я своим голосом, снимая с головы шапку вместе с париком.

— Ах, какой же ты шутник, братец ты мой. Ведь не признал... Как есть, не признал. Ну! хотя ты, братец ты мой,

в совершенстве играешь свою роль, а все-таки ехать со Злобиным тебе невозможно.

— Да я и сам никуда ехать не хочу... Не хочу долее скрываться и завтра отдамся добровольно правительству.

— Нет — зачем же? Мы подумаем, да поразведем умом. Не так, то удастся, может быть, другим способом.

Тут он мне подробно рассказал все свои хлопоты, чтобы уладить дело.

— Условившись со Злобиным, с которым ты хорошо был знаком в Архангельске, взяв от него паспорт одного из его спутников, незадолго умершего в больнице, условившись, как и когда ты к нему придешь, чтобы отправиться в далекий путь, я, — продолжал Борецкий, — проехал на заставу, чтобы разузнать: не будет ли препятствия при проезде из города. И хорошо сделал. Ты бы тут попался, как кур во щи. Караульный офицер мне сообщил, что получено приказание не пропускать ни пешего, ни конного без особенной записки от коменданта Башуцкого. Прежде, нежели он даст пропуск, он лично каждого и опрашивает, и осматривает. Как видишь, дело-то вышло дрянь. Не зная, как долго продолжится запрещение, я поехал к твоей матушке, чтобы успокоить ее насчет твоей участи и уверить, что ты будешь безопасен в моем убежище. Но я ее не видел. Подъезжая, я заметил, что дом окружен был шпионами и сыщиками тайной полиции. Рисковать было опасно. Я повернул домой и, приметив за собой сани, неотступно следящие за мной, отпустил извозчика, вошел в дом со сквозным проходом, вышел в другую улицу и таким образом, тихо пешествуя, встретился с тобою. Ну, братец ты мой, пойдем домой. Мы порядком истомились. Отдохнем и телом и душою, а главное — поужинаем: я голоден, как волк...

Мне послышался очень явственно глухой звук выстрела.

— Ты слышал выстрел из пушки? — спросил я, его останавливая.

— Какой выстрел? Я никакого выстрела не слышал.

— Прислушайся хорошенько!

Мы остановились и слушали.

— Ну, вот опять. Неужто и теперь не слышишь?.. Где и кто это палит?

— Ха! ха! ха! — заливался добродушным смехом мой хозяин...

— Где и кто палит? Да ты посмотри где, — продолжал он, всхлипывая от смеху и указывая на ворота своей квартиры, — а палит-то кто? Наш дворник. Смотри, он теперь идет в калитку, и берегись, чтоб он не застрелил тебя выстрелом, который сию секунду последует.

И в самом деле — едва дворник захлопнул калитку, как раздался звук глухого выстрела. Тут только понял я, в чем дело. Ворота на двор были вделаны в свод, прорезающий насквозь здание. Калитка в этих воротах дубовая, толстая, запиралась со стуком, эхо которого, по случайному акустическому устройству свода, повторялось несколько раз при входе или выходе посетителя.

Я в свою очередь не мог не расхохотаться такому прозаическому исходу всех моих восторженных надежд и волнений.

Пока накрывали стол для ужина, я сообщил ему свое твердое намерение добровольно предаться в руки правительства. Поведал свое затруднительное положение добыть свою воинскую сбрую от матушки, где я ее оставил, променяв на костюм флотского шкипера, в котором невозможно мне явиться во дворец.

— Ну! так прощай. Я снова отправлюсь в путь... — говорил он, надевая шапку и направляясь к дверям.

— Ах, ты, сумасшедший! Да поужинай прежде. Ведь ты с самого утра ничего не ел...

— Поем когда-нибудь, — кричал он с конца уже лестницы.

Мир праху твоему, добрейший из смертных! Безгранична твоя привязанность ко всему нашему семейству и расположение, в особенности, ко мне, воспоминание коих всякий раз извлекает из сердца невольный вздох, а из души — теплую молитву, чтоб господь, хотя там, дал тебе успокоение, кото-

рого ты был лишен здесь. Семейные огорчения довели его до умопомешательства и рановременно свели в могилу...

Измученный, иззябший и голодный возвратился он уже поздно ночью и рассказал, с каким затруднением и опасностью он проник в дом к матушке, обманув бдительность соглядатаев. Он рассеял мрак неизвестности касательно моей участи, по возможности успокоил моих родных и сообщил им мое намерение явиться во дворец и передал просьбу: прислать с ним мою военную сбрую. Он рассказал мне, каким страхом и ужасом он был объят при посещении полицмейстера, как он, скрываясь за дверью сопредельной с залом комнаты, услышал требование именем правительства у родных моих сведений об укрывательстве лейб-гвардии Московского полка Михаила Бестужева и при отрицательном ответе уехал, проходя мимо той комнаты, где чистили и приготовляли амуницию этого дезертира, куда если б потрудился заглянуть через дверь, чуть не настежь растворенную, он бы нашел конец нити того клубка, который он с таким старанием тщетно распутывал. С самодовольством рассказал свою ухарскую проделку с сыщиками, неутомимо следившими за всеми входящими и выходящими из нашего дома. Как он, связав в узел мою амуницию, велел растворить настежь ворота и мгновенно вылетел из них на лихаче извозчике и, несмотря на погоню, счастливо избавился от преследования, околесив чуть не полгорода, чтоб скрыть даже след от погони.

Немногие оставшиеся часы ночи показались мне вечностью. Я не мог заснуть; я только болезненно забывался, и тогда в горячечно-лихорадочном волнении мне чудилось, как наяву,— эшафот, виселица, палач или столб, врытый на краю могилы, куда бросят мои бренные останки. Я открывал глаза и ясно видел двенадцать стволов, уставленных на мою грудь, — я царапал лицо, силясь сдернуть повязку с глаз своих. Но все эти ужасы поглощались сценами, заставлявшими меня содрогаться от омерзения. Мне чудилось, что на пути в императорскую Преторию я узнан, арестован и меня, в полном одеянии

гвардейского офицера, посреди любопытной толпы праздного народа, посреди улицы, вяжут веревками и за конвоем ведут, как ночного вора, в дворцовый квартал.

— Нет! — думал я, вскакивая с постели, где я вместо успокоения и подкрепления сил для предстоящей бури нашел только мучение. — Нет! Я постараюсь избегнуть этого унижения. — Ну! во дворец!.. Будь, что будет!..

Сомнительный рассвет утра едва начал брезжить сквозь грязно-пепельную атмосферу северной Пальмиры, как я уже облекся в полную форму. За чайным столом, уставленным различными яствами, меня уже ждала хозяйка, никак не хотевшая отпустить меня без того, чтоб я не отведал ее пирожков, нарочно для меня приготовленных. Скоро к нам явился добродушный полусонный хозяин, зевая. Так как было еще очень рано, то несколько бесконечных часов я должен был сидеть за чайным столом, уступая чуть не слезным мольбам добродушной хозяйки, волею-неволею пить и есть, тогда как каждый глоток ее душистого чая и каждый кусок ее вкусных пирожков останавливался в пересохшем моем горле и душил меня. Небольшой чайный столик разделял два противоположных мира: с одной — мир мучительных волнений и страшная будущность, с другой — мир отрадного спокойствия, семейного быта и уверенность невозбранно вкушать блага настоящего; с одной — человека, безмолвно погруженного в свои мрачные думы, с другой стороны — неистощимое красноречие добродушной хозяйки, чтобы занять и угостить дорогого гостя, и для полноты картины должно прибавить фигуру моего хозяина, который, умаявшись хлопотами предшествующего дня и не доспав, в спокойном шлафроке и туфлях, вкусив достаточное количество земных благ, состоявших из полдюжины стаканов чая и дюжины вкусных пирожков, сидя, уснул сном праведника. Часы пробили девять. Время наступило ехать.

Безотвязная мысль: быть узнанным и подвергнуться аресту на улице — заставила меня вместо форменной шинели надеть енотовую шубу; под нею я спрятал кивер, а на голову

надел простую фуражку. Шпагу я не взял, предупреждая заранее неминуемый арест. Наскоро простясь с моей доброю хозяйкою, которая со слезами на глазах крестила и благословляла меня; поцеловав осторожно ‹хозяина›, чтобы не прервать сладкого сна его, я выбежал на улицу и бросился на первого попавшегося на глаза извозчика.

Погода была сумрачная, на душе было мрачно. Ни один луч надежды не мог озарить этого мрака, который раздирался только мгновенными молниями при воспоминании отдельных фактов моей виновности перед правительством, сгруппировавшихся в одну плотную массу моего преступления, не прощаемого преступления: быть виновником всех смут 14 декабря. В самом деле — если бы меня не было в этот день в полку, он канул бы в вечность без шуму, может быть с некоторыми волнениями, как это было в других полках гвардии, — и войска присягнули бы новому императору; об народе нечего было заботиться, а об заговорщиках — тем менее... Нас бы без огласки, втихомолку, по одиночке перехватала тайная полиция, и мы бы безвестно сгнили в сырых подвалах тюрьмы. А теперь — иное дело. Острое шило, в виде штыка, брошенное мною в правительственный мешок, утаить было невозможно. И власти, даже отечески снисходительные, из милости только заменили бы позор или мучения казни расстрелянием. С ясным познанием своей участи, не падая духом, бодро я приближался с тяжелым бременем креста к Голгофе, которая виднелась в серых громадах Зимнего дворца. Мысленно целуя крест, на котором будут распинать меня, я в душе поклялся тем же крестом — символом любви к ближнему — умереть, не погубив ни единого из соучастников наших замыслов. Эта клятва обрекала меня на роль незавидную: отпираться и отрицать даже то, что происходило перед моими глазами; роль пошлая, заставлявшая меня часто краснеть от стыда, но роль благородная, когда, оборотясь, я с гордостью в душе и с отрадным чувством в сердце могу перечислить не один десяток товарищей избавленных, мною от лямки, тюрьмы или Сибири.

Я сошел с саней у комендантского подъезда и машинально, по привычке, спросил у Ваньки, сколько ему надобно? «Да что, барин, гривенничек-то уж надо бы». Сунув руку в карман, я узнал, что мелкие деньги я позабыл на спальном столике. В руку попалась пятирублевая бумажка. Я ее бросил в шапку Ваньки. Он разинул рот от удивления — и мгновенно чувство сомнения, не фальшивая ли это ассигнация, изобразилось на его сиявшем от удовольствия челе. «Барин! а, барин!» — кричал он мне, растягивая и разглаживая бумажку на коленях. Когда я уже поднимался по лестнице, до меня долетали его возгласы: «Воротись, барин! Да впрямь... что ж это такое!»...

Эти возгласы, эта неуместная щедрость, ошеломившая бедного крестьянина, который вместо гривны получил их 50, были весьма естественны; я не обратил на них внимания и худо сделал. Неутешный Ванька, вздыхая и охая, носился со своею бумажкою и, растянув ее обеими руками, совал под нос каждому входящему и выходящему из дворца, наконец, наткнулся на плац (или флигель)-адъютанта, который, успокоив его насчет законности его бумажки, пожелал узнать, кого и откуда он привез. Ванька мог только ответить на второй вопрос, и этого было достаточно, чтобы отыскать дом, через дворника узнать, у кого я скрывался два дня, и в конце концов притянуть Борецкого к ответу чуть ли не в уголовном преступлении. К счастию его, допрос снимал с него генерал-адъютант Левашев, из всех допросчиков самый добросовестный. Вся беззаботная, спокойная личность подсудимого, все ответы — дышали такой безмятежной невинностью, что его отпустили с миром домой, снабдив душеспасительным наставлением: прятать родственные чувства в карман, когда должно руководиться единственно чувствами верноподданности.

Когда через несколько часов после, чрез ржавые и запыленные стекла двери, отделявшие меня от залы дворцовой гауптвахты, я увидел приведенного к допросу Борецкого, я недоумевал, какими путями и так скоро могли дознаться, что он был укрывателем меня в продолжение целых суток. Что я был

у него, я этого не показал на допросе. Как же могли узнать, что Борецкий меня скрывал целые сутки?

Проследив в памяти все малейшие обстоятельства минувших суток, я невольно остановился на Ваньке как на единственном существе, могшем указать дом, откуда он меня привез во дворец, в чем я и убедился из рассказов Борецкого, сообщенных мне впоследствии.

Итак, ничтожный случай, самый невинный акт христианской любви к ближнему, едва не погубил самого невиннейшего из смертных, а в отношении ко мне он лишил меня с первого шага при допросах ‹веры› в искренность моих показаний. И в самом деле: можно ли было дать веру моим показаниям, когда при самом начале допроса, произнося с благоговением стереотипную фразу, что единственный путь к милосердию государя есть чистосердечное признание во всем, он начал допрос вопросом: у кого вы скрывались вчерашний день, — я с спокойной наивностью отвечал: в Галерной гавани, тогда как дворник показал даже ранний час утра, в который я переступил порог их дома. После этого я увидел необходимость опуститься, как улитка, на самое дно раковины безусловного отрицания и, утопая, лишним словом не топить других.*[1]

Сбросив шубу и фуражку, с кивером в руках, я пошел во внутренние покои дворца. Проходя залу, смежную с комнатою, обыкновенно назначенною для караульного офицера кавалергардов, кирасиров и конногвардейцев, всегда постоянно занимавших внутренние караулы, я увидел в этой зале караул Преображенского полка, смененный и выстроившийся в три шеренги. «Здорово, ребята!» — сказал я им, проходя. «Здравия желаем, ваше высокоблагородие!» — отвечали

---

* Мне помнится, что я вам из Селенгинска отослал тетрадку, писанную В. И. Штейнгейлем со слов Фаленберга. Там вы ясно увидели, как гибельна была система откровенности. На эту удочку он попался, не будучи ни в чем виноват, не облегчив ни на иоту свою участь, а напротив, — добившись своею откровенностью до каторжной работы. Я бы мог привести много таких примеров, например Дивова и других.[2]

преображенцы, узнав меня. Я прошел в комнату кавалергардского офицера. Он сидел, развалившись в креслах, погруженный в чтение французского романа, и при громком возгласе преображенцев, ожидая видеть генерала, приподнялся, чтобы видеть пред собою начальника, но увидел меня, требовавшего: доложить государю, что я хочу его видеть. «Как доложить об вас?» — спросил он... «Скажите, что штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка Бестужев желает говорить с ним», — отвечал я...

— Бестужев, — произнес он невнятно, опускаясь в свое кресло.

— Да... Бестужев, — отвечал я, — что же тут удивительного?

А между тем по всему дворцу поднялась суматоха и беготня. Флигель-адъютанты, камер-лакеи и гоф-фурьеры бегали, и шопотом произносимое имя «Бестужев» слышалось со всех сторон.

Прошло несколько минут в моих настоятельных требованиях видеть государя и в несвязных ответах караульного офицера, когда позади себя я услышал голос преображенского полковника (помнится мне, Микулина):

— Господин штабс-капитан Бестужев! Я вас арестую — пожалуйте свою шпагу.

— Извините, полковник, — отвечал я, — что лишаю вас этого удовольствия. Я уже арестован.

— Кто вас арестовал?

— Я арестовал сам себя, и вы видите, что шпаги при мне нет.

— Все это очень хорошо, — продолжал он, идя со мною рядом на главную гауптвахту в сопровождении двух конвойных, — но нехорошо то, что вы явились не на главную гауптвахту, а прошли во внутренние покои государя.

— Что же вы тут находите нехорошего? — спросил я.

— А то, что ваше похвальное намерение: добровольно отдаться в руки правительства — может быть истолковано не в вашу выгоду, и вы можете за это пострадать.

— Но вы, полковник, своим свидетельством можете уничтожить такое обидное подозрение. Вы видите, что шпаги при мне нет, и увидите, что нет при мне ни кинжала, ни пистолета.

— Все это так, но лучше, если б вы явились на главную гауптвахту, как сделал ваш брат Александр Александрович.[1]

Меня привели на дворцовую гауптвахту и, не снимая мундира, связали руки назад толстою веревкою...

III

АЗБУКА

Мне было невыносимо грустно, до боли тяжело на душе с той минуты, как посетил меня смиренный пастырь душ, этот седовласый священник, это смешное, жалкое орудие деспотизма...

Я не мог сомневаться в участи, мне назначенной, и ждал смерти спокойно, даже с нетерпением, и в самом деле, мог ли я ожидать пощады?.. Мог ли ожидать пощады человек, взбунтовавший полк, шефом которого был брат будущего императора, где не было ни одного члена нашего Общества, где самое приготовление к бунту сопряжено было с неимоверною осторожностию, потому что подозрительное правительство осетило все гвардейские полки мириадами шпионов, где даже Щепин-Ростовский, так решительно действовавший 14 декабря, не только не был членом, не имел ни малейшего понятия о цели, намерении, даже о существовании Общества, человек, приведший полтора батальона* Московского полка на площадь первым, невзирая на измену Якубовича.** И впослед-

* Не надо забывать, что третьи батальоны квартировали по деревням, а рота графа Ливена и несколько десятков солдат из других рот не пошли за нами на площадь.

** Накануне 14 декабря было положено, и сам Якубович вызвался исполнить следующее распоряжение. Он должен был сперва явиться в полк гвардейских егерей и потом с ними зайти в Семеновский полк и, взяв его, уже прийти в полк московцев. Мы с братом Александром долго его ждали, и, наконец, не дождавшись, я повел свою роту. Первым

ствии, на третьи сутки, я, добровольно явившийся во дворец на суд моих врагов, был арестован в полном гвардейском мундире, связан веревками, как последний уличный забияка, проведший в таком положении двое суток без сна, почти без пищи на дворцовой гауптвахте, где, чуть не через час, как микстуру, я должен был глотать приемы унижения и ругательств. Когда, наконец, при третьем ночном допросе, я, чтобы не впутать других, постоянно отвечал: «Ничего не знаю и ведать не ведаю» — гневный деспот, выбежав из кабинета и оторвав клочок бумаги, написал: «В крепость его — в железа!» и когда комендант Сукин, исполняя высочайшую волю, заковал меня и похоронил в одном из гробов Алексеевского равелина — после всего этого, — повторю, — мог ли я чего-либо ожидать, кроме смерти? [1]

И я ее ждал каждую минуту и призывал, как единственную спасительницу от томительной неизвестности. Я находился в экзальтированном настроении христиан-мучеников в эпоху гонений. Я совершенно отрешился от всего земного и только страшился, чтобы не упасть духом, не оказать малодушия при страдании земной моей плоти, если смерть будет сопровождаться истязаниями.

В одну из таких минут отворяются двери моей тюрьмы. Лучи ясного зимнего солнца ярко упали на седовласого старика в священническом облачении, на лице которого я увидел кротость и смирение. Спокойно, даже радостно, я пошел к нему навстречу — принять благословение, и, принимая его, мне казалось, что я уже переступил порог вечности, что я уже не во власти этого мира и мысленно уже уносился в небо!

я вышел из казарм, первым пришел на Сенатскую площадь, в сопровождении полка, следовавшего за моею ротою. Когда мы проходили по Гороховой улице, мимо квартиры Якубовича, он вышел к нам навстречу и присоединился к нам. Последующие его унизительные поступки вам хорошо известны. — Гвардейский экипаж, предводимый братом Николаем, и два баталиона лейб-гренадер с Сутгофом и Пановым пришли гораздо позже, заслышав выстрелы московского каре против атаки конногвардейцев.

Он сел на стул подле стола, указывая место на кровати. Я не понял его жеста и стоял перед ним на коленях, готовый принести чистосердечное покаяние на исповеди, перед смертью.

— Ну, любезный сын мой, — проговорил он дрожащим от волнения голосом, вынимая из-под рясы бумагу и карандаш, — при допросах ты не хотел ничего говорить; я открываю тебе путь к сердцу милосердного царя. Этот путь есть чистосердечное признание...

С высоты неба я снова упал в грязь житейских дрязг...

В служителе алтаря я должен был признать не посредника между земною и небесною жизнию, не путеводителя, на руку которого опираясь, я надеялся твердо переступить порог вечности, но презренное орудие деспотизма, сыщика в рясе! Я не помню, не могу отдать верного отчета, что сталось со мною. Я поднялся с колен и с презрением сказал:

— Постыдитесь, святой отец! что вы, несмотря на ваши седые волосы, вы, служитель христовой истины, решились принять на себя обязанность презренного шпиона?

— Я сожалею о тебе, — отвечал он в смущении и вышел.[1]

Как подстреленный сокол, из поднебесья упал я на землю и стал озираться. Угар экзальтации начал испаряться, и прозаическая действительность, волею или неволею, начала вступать в свои права — я начал осматривать свой гроб, где мне предназначено испытать муки, гораздо тягостнее самой смерти. Моя тюрьма была комната довольно пространная, в восемь шагов длины и шесть шириною. Большое окно за толстою решеткою из толстых полос железа было сплошь замазано известью, и ко мне проникал какой-то таинственный полумрак. Против окна дверь в коридор, где ходил безответный часовой, обутый в мягкие туфли, чтоб его шаги были неслышны и чтоб он мог незаметно для слуха узника подойти к двери и наблюдать каждое его движение в четырехугольное отверстие, прорезанное в двери и закрытое темного цвета занавескою. Направо от входа деревянная кровать с жидким, грязным

матрасом, покрытым простынею из грубого холста, с перяною подушкою и одеялом из серого солдатского сукна. Подле кровати деревянный стол и такой же табурет. Печь выходила углом в комнату, налево от входа. Стены, выбеленные известью, были все исчерчены надписями, иероглифами, силуэтами и прочими досужими занятиями живых мертвецов.

Ревнивая осторожность тюремщиков тщательно их соскабливала, и нельзя было не пожалеть об этом. Какую бы страшно замогильную хронику можно было прочитать в сжатых фразах, в рисунках страдальцев! Какое бы назидательное занятие, какой урок терпения мог бы почерпать нововступивший мертвец, читая на стенах их свою будущую участь! — Я старался разбирать некоторые, частию уцелевшие от скрябка; читал, рассматривал с настойчивостью человека, у которого так много часов, давящих душу его, как свинец. Но, увы!.. все напрасно... У некоторых фраз уцелели только несколько начальных букв, у других обратно, у иных уцелели средние буквы. Силуэты и портреты, по большей части женские, и два изображения стариков, вероятно, пощаженные потому, что не могли говорить. Но сколько любви, сколько потерянного счастья можно было прочитать в их изображении!!.. Под одним портретом молодой девушки, дышащим какой-то неземною любовию, я долго старался разбирать по уцелевшим буквам четверостишие. Я читал и соображал так:

Ты на . . . . . бы. . м. . бог
Но т. уж в . . . .
Моли. . . . там . . . прекр. . . . .
Чт. . я ско. . . . . . т. . . уви. . . . . . .

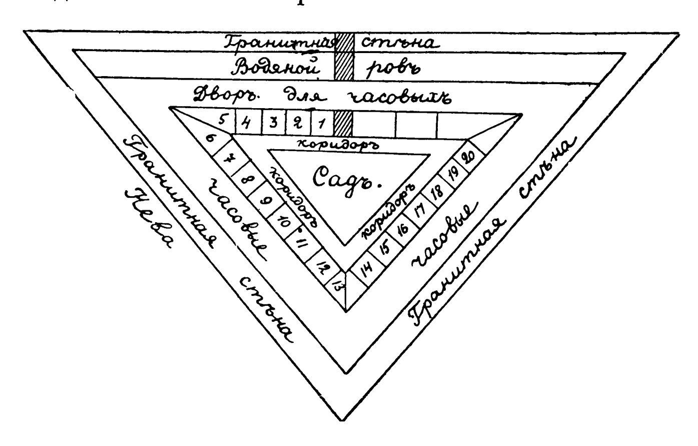
Я этот иероглиф понял так:

Ты на земле была мой бог,
Но ты уж в вечность перешла,
Молись же там. . . прекрасная,
Чтоб я скорее там тебя увидеть мог.

Под мужским портретом я разобрал: «...ат я ...ешил.. на самоу...», как я понял: «Брат, я решился на самоубийство».

Около портрета молодой женщины я с трудом прочитал: «Прощай, maman, навеки». Какие назидательные нравоучения для нового постояльца гробовой квартиры. Под гнетом таких впечатлений, я долго бродил по моей клетке, осматривая каждый ничтожный предмет, прислушиваясь к каждому звуку. Слух изострился от постоянного напряжения до невероятной чуткости. Я даже мог сосчитать неслышные шаги часового от моего № до конца коридора. Я сосчитал двадцать восемь шагов. Значит от моего № вправо, вычитая по два шага на толстоту стен, было еще три нумера.

Впоследствии, когда нас водили в тайное судилище или, при наступившей весне, в сад, закрывая голову колпаком, я насчитал от моего № влево до выхода еще 16 №№, следовательно всех №№ было, с моим, 20. Гуляя в саду, я заметил, что выход в сад, соответствующий входу в тюремное здание Алексеевского равелина, находился посредине фаса одной из сторон треугольника, внутри которого и был разведен маленький наш садик, и что другая половина фаса, налево от входа, была занята кухнею и помещением секретной команды, оберегавшей узников. Это я заключил по дыму из труб летом, когда печки у нас уже не топились, и по людскому говору, чего не было слышно в наших могилах. В плане это человеколюбивое заведение можно изобразить так:



Я дико по тюрьме бродил,
Но в ней какой-то холод был;
И веял от стены сырой
Какой-то холод гробовой.

Толстый железный прут наручников сжимал до онемения мои руки. Гробовая тишина давила мою душу... Я захотел узнать: есть ли хоть живая душа в моем соседстве. Начал стучать железами в одну из стен — нет ответа... В другую... — мне ответили едва слышными звуками слабого стука. «А что, если мой брат в соседстве?» — подумал я и засвистал мотив арии, только известный брату Николаю. Слышу, он повторяет этот мотив. Явившийся ефрейтор тайной стражи объявил мне, «что ежели я вперед повторю такую выходку, то меня посадят в такое место, где уже мне не захочется свистать». Я извинился незнанием их тюремного порядка и дал обещание себе не злоупотреблять их терпением.

В промежуток между совершенною тьмою и тем временем, когда вносили ночник в мой номер, я садился в угол и тихо стучал пальцами в стену. В ответ на мой стук я получал такой же ответ от моего брата. Каждый день начинался взаимным стуком полного похода, что означало: «здравствуй, здоров ли?». Когда же надлежало прекратить стук, мы били отбой.

Так прошло несколько дней, томительно скучных дней, ложившихся свинцовым бременем на мою душу, тем более, что меня уж начали мучить вопросными пунктами, в которых нас, как собак, уськали и травили друг на друга. Заставляя оправдываться в небылицах, ловили каждое необдуманное слово, всякое необдуманное выражение и, ухватясь за него, путали, как в тенета, новую жертву. Преимущественно эта травля была направлена против Рылеева и брата Александра, с которым я жил в последнее время на одной квартире, и против брата Николая, с которым я виделся почти каждый день, так как он жил в доме у нашей матери.

«Как бы хорошо, — думал я, — если бы можно было теперь говорить через стену с братом». Эта мысль глубоко

запала в мою душу, и я начал обдумывать способ сообщения. Каждые сумерки я употреблял на стучание в стену ногтями азбуки по порядку букв, но брат меня не понимал. Он отвечал каким-то продолжительным стуком по длине стены, останавливаясь постоянно на одном и том же месте. В свою очередь, я тут вовсе ничего не мог понять...

Однажды утром как-то принесли снадобье для умывания; обряд весьма несложный в обыденной жизни, но в моем положении это было довольно затруднительно. Вообразите человека, которого руки разъединены толстым железным болтом... Мне уже нельзя было сказать: рука руку моет. Мне поочередно должен был мыть их прислужник, и потом я одною рукою мыл лицо. Предоставляю судить, каково-то мне было упражняться по письменной части в таких браслетах. В это утро умывальный прибор внес ко мне низенький солдатик, с выражением на лице неизъяснимой доброты. По обыкновению, я поставил табурет против двери, а он поставил на него большую муравленую чашку, взял со стола оловянную кружку с водою, назначенною мне с куском черного хлеба для пищи, и, снимая с плеч тиковый мой халат, наброшенный в накидку, — тихонько посоветовал мне поставить табурет у печки, говоря, что там будет теплее. Не понимая степени его участия, я приставил табурет к печке, он передвинул его в угол, куда взор бдительного часового не мог достигнуть, потому что угол выходящей печки заслонял нас совершенно.

— Посмотрите на себя, на что вы похожи, ваше высокоблагородие, — начал он едва слышным шопотом, намыливая мне левую руку. — Вам скучно... Попросите книг...

— Да разве можно?

— Другие читают, почему ж вам не можно?..

— Кто подле меня сидит?.. — решился я его спросить.

— Бестужев, — отвечал он.

— А подле него и далее?

— Одоевский и Рылеев.

— Не можешь ли ты отнести записки к брату?

— Пожалуй можно. Но за это нашего брата гоняют сквозь строй...

Я содрогнулся преступной мысли... Что за бесценный русский народ!.. Я готов был упасть на колени перед таким нравственным величием одного из ничтожных существ русского доброго элемента, даже не развращенного тюремным воспитанием. Из записок Сильвио Пеллико я знал, как тюремщик, простодушный австриец, нежный отец семейства, не хотел принять срочной работы шерстяного чулка без нескольких недовязанных рядов и на замечание Сильвио Пеллико, что он может ослепнуть, ежели его заставят довязывать чулок впотемках, тот со слезами на глазах, вздыхая, возражал: «Да!.. это очень может случиться, но вы должны исполнить заданный урок... а я — свою обязанность...».[1] Как высоко стоял над ним этот необразованный солдатик, который в простой фразе «пожалуй — можно» совместил все учение Христа. Я не решился воспользоваться добротою, бескорыстною в полном смысле, потому что я ничем не мог заплатить ему за услугу, когда он рисковал, может быть, жизнью. Когда привезли поляков, они его не пощадили... Пойманный, он был жестоко наказан и умер в госпитале.[2]

На другой день после нашего таинственного разговора с солдатиком, при обычном утреннем посещении начальника нашей тюрьмы майора немца Лилиенанкера, высокого, сухого, седовласого, одетого всегда в форменный сюртук с красным воротником и в сопровождении его неразлучного аколита, начальника тюремной стражи, — я обратился с просьбой к первому и просил какой-нибудь книжки для чтения.

— Я доложу-с... — был ответ... Даже эта казенная фраза меня удивила, после того, как на все мои вопросы и просьбы я постоянно получал ответ: «не знаю-с...», а от тюремщиков-солдат: «не могу знать». Иногда, чтоб испытать степень их тюремной скромности, я спрашивал при ясном сиянии солнца: — что, ясно или сумрачно на дворе?

— Не могу знать, — был постоянный их ответ.

Ежели мы, временные жильцы этого монархического заведения, должны были прозябать под гнетом такой таинственности, что же испытывали погребенные заживо на всю жизнь... Я это испытал в подобном императорском приюте — Шлиссельбурге!..

Через три дня мне принесли для чтения 9-й том «Истории Государства Российского» Карамзина. Странная случайность!.. Почему именно 9-й том попал ко мне? Не для того ли, что судьба заранее хотела познакомить меня с тонкими причудами деспотизма и приготовить к тому, что меня ожидало? Хотя мне очень хорошо была известна эпоха зверского царствования Иоанна, но я предался чтению с каким-то лихорадочным чувством любопытства.[1] Было ли это удовольствие — вкусить духовную пищу после томительной голодовки, или смутное желание взглянуть поближе в глаза смерти, меня ожидающей, я не знаю... Но я читал... перечитывал — и читал снова каждую страницу.

— Как твое имя? — спросил я однажды моего доброго, божественного солдатика, когда он подавал мне мыться в углу за печкою.

— Зачем, ваше высокоблагородие, вам знать мое имя. Я человек мертвый!..

И точно, как я узнал после, это мертвецы, которые ухаживают за мертвецами. Никто из них не преступает никогда роковой Ponte di Sospiri,* отделяющий крепость от равелина, из опасения, чтобы не выносили сору из избы. Даже начальники этой страшной избы не иначе, как с позволения коменданта Петропавловской крепости, могут временно выходить на божий свет, и то с большими затруднениями. Закупщик провизии для узников — унтер-офицер, каждодневно выходящий для закупок, до нитки осматривается при выходе и возвращении и отстранен от всякого сношения с прочими тюремщиками. Все приспособлено так, чтобы могила была безответною.

* Мост Вздохов.

— Что, Рылеев здоров? — спросил я его в другой раз.

— Здоров... Но грустит... такой бледный...

— Видно его кормят, как меня, — хлебом черным да водою?

— Что вы, ваше высокоблагородие! Четыре-пять блюд и вино виноградное...

— Да? Отчего же он грустен?

— Да уж больно бумагами мучат...

— А кто сидит справа от меня?..

— Не знаю... Какой-то больной. К нему лекарь ходит, и посменно у него... часовые безвыходно...

— Не при тебе ли был этот английский жентлемент, — спросил я, указывая на сохранившуюся английскую фразу в том углу, где я умывался. — Ты этого не поймешь. Тут написано God damn your eyes.[1] Верно это был англичанин?

— При мне... Он умер спячкою... Он почти целые сутки спал... верно от скуки.

— Почему же ты ему не посоветывал, как мне, попросить книг?

— Такой оказии до вас у нас никогда не бывало. Да и теперь, если бы не плац-майорская барышня, никаких бы вам книг не давали.

Разговор, едва слышным шопотом, длился уже довольно долго. Продолжать его — значило подвергать страшной ответственности моего доброго солдатика. После я узнал, что больной мой сосед был Сергей Муравьев, раненый при восстании Черниговского полка.

Но кто была благодетельная фея узников, снабжающая их книгами, я узнал только уже в Чите, когда привезен был к нам в читинский каземат Корнилович. Он, с особенно ему свойственным комизмом, поведал нам, как перезрелая дева, дочь плац-майора Подушкина, вспылала к нему неугасимым пламенем любви, увидав его в первый раз у окна его тюрьмы, кажется, Невской куртины.[2] Вход в квартиру плац-майора был подле его окна, и она, изыскивая тысячи случаев его видеть, услаждала горесть его заключения серенадами, сопро-

вождаемыми звуками гитары, как, например, из известного водевиля:

Он, сидя в башне за стенами,
Лишен там бедненький всего,
Жалеть бы стали вы и сами,
Когда б увидели его, и т. д.

Наконец, решилась писать к нему. Корнилович, жалуясь на скуку, просил прислать книг.

Какие могут быть книги у необразованной женщины?.. Чтоб по возможности удовлетворить желание своего любезного, как практически умная женщина она нашла верную дорогу: она обратилась к родным осужденных — облегчить их участь присылкою книг для чтения, которые лучше всех конфект и булок могут облегчить тяжесть заключения их родственников. Пожертвования не замедлили завалить все ее комнаты обширною библиотекою. Чтобы замаскировать свою слабость к единственному предмету, для которого она все это делала, она заставила отца выпросить позволение рассылать книги и для других. И вот прозаический результат большей части мировых событий! Сентиментальная страсть перезрелой девы предотвратила, может быть, сотни положительных умов от сумасшествия в мертвящей тюремной жизни.

А между тем дни за днями тянулись бесконечною канителью; мое сумеречное стучание азбуки сопровождалось тем же непонятным ответом брата, и я приходил в отчаяние. В один из таких вечеров меня внезапно посетила светлая мысль: «не от того ли брат меня не понимает, что стук азбуки единообразным стуком по порядку букв — причиною его недоразумения?»... Соображая затруднения изъясняться посредством такой азбуки, где, например, буква «я» должна стучаться 32 раза, я вскочил из своего заветного угла и менее, нежели в полчаса, составил другую азбуку, совершенно на новых основаниях.

Принимая в соображение, что к р а т к о с т ь есть основание сообщений, я должен был составить мою азбуку на осно-

вании кратковременности. Так как брат мой был моряк и потому должен быть знаком со звоном часов на корабле, где часы или склянки бьют двойным, кратковременным звоном, то я распределил мою азбуку так:

	¦•	‖•|	‖•¦•	‖•¦•|	•|•¦•		•	••	•••	••••
	Б.	В.	Г.	Д.	Ж.		А.	Е.	И.	О.
‖•	З.	К.	Л.	М.	Н.	¦—	У.	Ы.	Ю.	Я.
¦• ‖|•	П.	Р.	С.	Т.	Ф.					
¦•‖•|•	Х.	Ц.	Ч.	Ш.	Щ.					

Согласные Гласные

Эти иероглифы я начертил обожженным прутиком из веника, случайно выпавшим, когда подметали мою комнату. Я их начертил на одной из страниц примечаний к 9-му тому Росс. Истории Карамзина. Как любопытно было бы узнать, что мог заключить собственник этой книги, когда она была ему возвращена, увидев эти непонятные начертания?.. Мог ли он предполагать, что они заключают в себе источник неизреченных, невыразимых наслаждений живых мертвецов, что это есть язык, которым говорили обреченные на томительную смерть люди в Citta dolente.*

Чтоб познакомить вас ближе с моею азбукою, я должен обратить Ваше внимание преимущественно на то, что в ней согласные буквы были явственно разделены от гласных особенным стуком, что отличало ее от всех способов сообщения других наших соузников. Эта особенность давала возможность в разговоре, ежели вы и не дослышали две, даже три согласные

* Город скорби.

буквы, то ясный стук одной или двух гласных букв давал вам возможность восстановить целое слово, не требуя повторения.

Кроме того, все согласные буквы, доходившие до вашего слуха в одном и том же однообразном порядке или, лучше сказать, в одном и том же образе или виде двойных учащенных звуков, не далее шестой цифры — но только предшествуемые однократным или двукратным стуком, не напрягали вашего внимания считать число ударов. Вы без всякого счета только следили за двойными ударами, предшествуемыми тройным ускоренным стуком. Так, например: в утреннем нашем приветствии: *здорово*, я стучал тройку скоро и потом двойку, как бьют на корабле две склянки (... || .), и это будет означать букву *з*. Потом двойку, двойку и один раз (|| . || . |), это буква *д*. Потом четыре раздельных звуков (. . . .), т. е. букву *о*. Потом на конце, расслышав явственно *в* и *о*, пропустив средний слог, мне не трудно будет догадаться, что это слово *зд-оро-во*. Практичность этой системы мы вполне изведали в шлюссельбургских могилах. Там я, разъединенный с братом Николаем шестью нумерами казематов, мог переговариваться с ним, при растворенных окнах, через весь двор, постукивая обожженною палочкою в железную решотку. Когда случалось, что звуки согласных букв поглощались или говором часовых, или криком птиц, — изловив две, три гласные, я легко восстановлял целое слово, и это тем легче, что внимательнее следил за излагаемою мыслью.

Азбука брата Александра, придуманная им для разговора с соседями, была составлена им тоже на основании — сократить, по возможности, бесконечное стучание букв. Тридцать букв он разделил на т р и десятка, каждому десятку предшествовал свой опознательный стук. Недостаток ее состоял именно в том, что гласные и согласные стучались одинаково медлительным стуком, который все-таки надо было считать, что утомляло и ухо, и голову, и где слушающий, беспрестанно смешивая гласные с согласными, заставлял повторять фразу, что было тяжелою пыткою для стучащего.

Снова началась моя прежняя процедура неутомимого стучания, но только по новой моей методе, и снова я должен был каждый день слышать разочарование моим надеждам. Как мог не истощиться запас моего терпения при таких неудачах, понять может только тот, кто, быв погребен заживо в могилу, хочет достучаться человеческого сочувствия, хотя стучась головою в стену своего гроба... И я, наконец, достучался до этого счастия.

Не помню хорошенько когда, но, кажется, на вербной неделе, я услышал мерные шаги моих приставов; дверь отворилась, и предо мною предстал седовласый Лилиенанкер, в сопровождении своего неразлучного аколита. Он вручил мне письмо от матери, поклонился и вышел. Я слышал, как дверь брата Николая тоже отворилась, и через минуту они удалились. Следовательно, и брату передано такое же письмо. Я прочитал свое. В нем, как бы под диктовку какого-нибудь генерал-адъютанта, мать слезно меня умоляет верить в милосердие государя, которое будет соразмерно с моим чистосердечным признанием, и вместе с тем уведомляет, что государь назначил ей, а по ее смерти дочерям ее, 500 рублей ассигнациями годовой пенсии.

В эту минуту у меня блеснула счастливая мысль. Попытаюсь в последний раз дать знать моему брату, что я хочу объясняться с ним через стену, как наша мать объясняется с нами через бумагу. Я подошел к стене и начал шаркать письмом и услышал то же от брата. Тогда я начал стучать в стену азбуку уже не пальцами, а болтом моих браслетов. Слышу, брат отодвигает свою кровать от стены и что-то чертит по ней; я повторил азбуку пальцами. Слышу, брат записывает на стене. Слава богу! — он понял, в чем дело!

В промежуток этой операции я удостоился особого визита от ефрейтора, который любопытствовал узнать причину моих неистовых восторгов. Я объяснил, что письмо матери и милость государя меня совершенно свели с ума и я в восторге верноподданнической благодарности сам не знал, что делал. Мне

заметили, что даже и верноподданнические чувства здесь не выражаются шумливо и что ежели они другой раз перейдут границы заведенного порядка, то мне будет очень худо. Я дал обещание быть вперед скромно-верноподданным, и меня оставили...

С замиранием сердца снова сел я в свой угол, когда наступили сумерки, и ожидал, что скажет брат...

— Здорово!.. — простучал он мне.

— Здравствуй, — отвечал я.

— Здоров ли ты?

— Здоров, но я закован в железа!..

— Я плачу, — был ответ, и больше ничего...

Я блаженствовал. Я был счастлив, вполне уверившись, что подле меня был точно мой брат, которого я так любил, с которым теперь я могу говорить и уверить его в моих неизменных чувствах, кроме того — я могу его разуверить в том, что все показания, которыми старались нас вооружить друг против друга, была уловка секретной комиссии, чтоб уловить нас. Одним словом, я находился в положении ожившего в гробу мертвеца, который, почуяв веянье атмосферного воздуха, хочет пожить еще настолько, насколько дозволяет могила.

Наступила ночь...

Ни я, ни брат глаз не смыкали. Я — от невыразимо приятного волнения, брат — от желания поскорей освоиться с азбукою. Едва начал брезжить рассвет, как он уже довольно бойко простучал обычное приветствие:

— Здорово!

— Ты получил письмо от матушки? — спросил я.

— Получил.

— Уведомляет она тебя о пенсии?

— Да!..

— Умоляет об искренности показаний?

— Да!..

— Ну, значит, это дубликат с моего. Мы все, пять братьев, куплены по сту рублей за голову, но это корки хлеба для

матери. Обещание помилования ценою откровенности есть ловушка, довольно пошлая.[1]

— Я сам то же думаю.

— Не знаю, как ты ведешь свои ответы, а я не изменю своей системы: знать не знаю, ведать не ведаю, и потому не верь, когда тебе будут сплетничать на меня.

Этот монолог, который можно прочитать в полминуты, длился почти до полудня, по причине перерывов и беспрестанных опасений. Тем более, что и брат, выучивши наизусть азбуку, но не свыкшись достаточно со звуками, принужден был, прерывая меня, бегать вдоль стены, справляясь с своим царапаньем.

Впоследствии мы до того усовершенствовали нашу азбуку и так скоро и свободно говорили, что наш разговор немногим длиннее был изустного. Для доказательства я приведу пример.

Вопросные пункты нам обыкновенно приносил Лилиенанкер и спрашивал: «Сколько вам нужно листов для ответов?». Я объявлял число листов по соображению, и он удалялся за письменным прибором. Тогда этого промежутка времени было довольно, чтобы сообщить брату кратко сущность вопроса и мой ответ. С своей стороны он делал так же. А иногда мы получали оба одновременные вопросные пункты, и как мы тогда смеялись, сообщая друг другу сплетни, придуманные нашими друзьями-инквизиторами.

Правда, много протекло скучно-томительных дней, употребленных нами на усовершенствование наших сношений, на способы скорее передавать буквы, на знаки препинания и предостережения, на сигналы для вызова к разговору и прочие изменения, каким подвергалась вседневно наша азбука, — и этим опытам мы обрекали себя, когда душа рвалась к задушевной беседе.

К числу главных усовершенствований нашей азбуки должно упомянуть нашу геройскую решимость: выкинуть из согласных 10 букв, а из гласных 4, так что азбука приняла такой вид:

<table>
<tr><td></td><td>||•</td><td>||•|•</td><td>||•||•</td><td>||•||•|•</td><td>||•||•||</td><td>•</td><td>••</td><td>•••</td><td>••••</td></tr>
<tr><td></td><td>Б.</td><td>В.</td><td>Г.</td><td>К.</td><td>М.</td><td>А.</td><td>И.</td><td>О.</td><td>У.</td></tr>
<tr><td>|•|•|•</td><td>Н.</td><td>Р.</td><td>С.</td><td>Т.</td><td>Ш.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Всякому покажется непонятным, каким образом мы могли понимать друг друга с таким ограниченным числом звуков. Я скажу в ответ, что все зависит от привычки. Вам, вероятно, случалось встречать в своей жизни множество косноязычных, и Вы их понимали, употребляя некоторое умственное усилие. Вы встречали картавых, шепелявящих, Вы встречали многих и из разных концов нашей матушки-Руси, где сплошь да рядом заменяют одни согласные другими и с гласными поступают так же. Ну, теперь вообразите субъекта, который в одном лице совместил все эти недостатки, и он ведет с вами речь!.. Не спорю — Вы будете в большом затруднении сначала понять его, но если речь Вас интересует, Вы, наконец, ее поймете — а меня с братом интересовало каждое слово. Теперь Вам будет понятна наша азбука.[1]

Для Вас будет и скучно и утомительно читать подробное исчисление всех тонкостей наших сношений. Сигналы, предостережения, сокращения, а главное знак, что я понял фразу, хотя бы она только начиналась одной буквой. Этот знак способствовал быстрой текучести речи, а часто весь разговор состоял из начальных букв фразы, беспрестанно прерываемой знаком, что «я п о н и м а ю». К довершению полного изображения картины, я должен упомянуть об обожженной палочке из веника, случайно выроненной, когда подметали мой каземат. Эта обожженная палочка заменила мне пальцы, распухшие от беспрестанного стучания, и ногти от невыносимой боли. При этом не могу не улыбнуться при воспоминании — когда нам, по прочтении сентенции, позволено было видеться с родными и когда я, в присутствии коменданта Сукина, передал

эту палочку одной из сестер, сказав ей тихо: «prenez, c'est ma langue»,* — разрешение их недоумений длилось долго — до их прибытия в Селенгинск, куда они приехали, чтоб разделить тяжкую участь братьев.

Мне остается объяснить, от чего происходило такое продолжительное недоумение брата, когда я пытался передать ему мою азбуку. Он, так же как и я, чувствовал неодолимую потребность беседовать со мною. К его несчастью, постукивая стену в различных местах, он напал на такое место, где толстая стена, более аршина толщиною, была пробита сквозным четыреугольным отверстием, заложенным только одним рядом кирпичей. По звукам в пустом пространстве он заключил, что и с моей стороны отверстие было заложено только одним рядом кирпичей, и он возымел намерение просверлить этот ряд и потом, заставив меня сделать то же с моей стороны, сообщаться изустно. Просверлить... Это так легко сказать, но исполнить — это другое дело... Как и чем мог он исполнить свое намерение — составляет эпизод самый занимательный нашей тюремной жизни и доказывает, как настойчивая воля берет верх над всеми затруднениями. Он начал с того, что, выломив одно крыло из жестяной перпетюэльки, это крыло, в продолжение двух недель, вострил и точил на кирпиче печи, куда глаз часового не достигал. Потом этим инструментом, ночью, отщепил длинную лучину от ножки своей кровати. Для соединения этого ножика с лучиною он употребил нитки, вырванные из одеяла. Таким-то снарядом он дошел до того, что слой кирпичей с его стороны был пробуравлен. Он ожидал такого же результата с моей стороны. Но увы!.. я продолжал настойчиво стучать свою азбуку, а он, под влиянием своей постоянной идеи, давал мне знать, что я совсем не в том месте буравлю стену. Так длилось время до вышеупомянутого обстоятельства, положившего конец нашим мучениям и начало нашего счастия.

---

* Возьми, это мой язык.

Когда мы наговорились досыта, нам захотелось распространить далее наше сношение с соседями, и преимущественно с Рылеевым, который сидел только через один номер от брата. Но, к несчастью, в этом номере сидел Одоевский, молодой, пылкий человек и поэт в душе. Мысли его витали в областях фантазии, а спустившись на землю, он не знал, как угомонить потребность деятельности его кипучей жизни. Он бегал, как запертый львенок в своей клетке, скакал через кровать или стул, говорил громко стихи и пел романсы. Одним словом, творил такие чудеса, от которых у наших тюремщиков волосы подымались дыбом. Что ему ни говорили, как ни стращали — все напрасно. Он продолжал свое, и кончилось тем, что его оставили. Этот-то пыл физической деятельности и был причиною, что даже терпение брата Николая разбилось при попытках передать ему нашу азбуку. Выждав тихую минуту в его каземате, едва брат начинал стучать ему азбуку, он тотчас отвечал таким неистовым набатом, колотя руками и ногами в стену, что брат в страхе отскакивал, чтоб не обнаружить нашего намерения. После долгих упорных попыток, когда, наконец, он понял, в чем дело, и когда брат уже трубил победу и мы рисовали в своем воображении удовольствие и пользу в сношениях с Рылеевым, надо же случиться на беду нашу, что самая ничтожная безделица разбила в прах наши мечты... Одоевский не знал азбуки по порядку...





ЗАПИСКИ М. А. БЕСТУЖЕВА В ВИДЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ М. И. СЕМЕВСКОГО 1860—1861 гг.[1]

I

<АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАВЕЛИН>

(Время заточения, переводов из одного места на другое и проч.)

Этот простой, короткий вопрос — для ответа вызывает длинную эпопею тех страданий человеческих, которые пишутся кровью, разбавленною желчью душевных мук.

Эту картину я изображу в общих очерках.

Когда Незабвенный увидел бесполезность мирных переговоров с бунтовщиками чрез Якубовича, когда военное красноречие Милорадовича для убеждения непокорных кончилось его смертью и когда даже архипастырская проповедь была встречена общим смехом — он заставил говорить: ultima ratio regis.[2] Картечь, навалив груды невинного народа, не хотевшего очистить пространство между нами и батареей, добралась и до наших кареев. Солдаты дрогнули и побежали. Мои московцы бросились направо к Английской набережной, гренадеры и гвардейский экипаж — в Большую Морскую.

«Когда продольные выстрелы батареи устилали мостовую трупами, — говорил брат Николай, — бегущие тщетно старались укрываться под воротами домов, потому что устрашен-

ные дворники торопились запирать входы, и люди гибли, перебегая от одного дома к другому. Я успел войти в ворота совершенно мне незнакомого дома и по освещенной лестнице поднялся наверх. Двери комнат были настежь, прислуга, в каком-то угаре панического ужаса, бегала взад и вперед, не обращая на меня никакого внимания. Я прошел ряд комнат и в боковой, вероятно кабинете, увидел седого старика, почтенной наружности, сидящего в креслах. Это был сам хозяин, как обозначилось после. Его спокойно-кроткое лицо до того сияло выражением благородства, что я на вопрос его: ,,кто вы?'' — с какой-то безотчетною доверенностью объявил имя свое и просил убежища на несколько часов.

«— Садитесь, вы безопасны в моем доме, — отвечал он кратко, опустив голову на руки, и начал со мною беседу, как будто мы были давнишние друзья, свидевшиеся после долгой разлуки. Мне казалось, что я вижу в нем собрата по Обществу, столько было горечи в его речи, и, казалось, он был рад вылить накипевшее негодование против правительства, вызвавшего наш отчаянный поступок, который он называл: выражением народного негодования. Прошел час, может быть два — я не помню, — явились два его сына в гражданском костюме и, рассказывая подробности происшествия, прибавили, что делаются распоряжения, чтобы оцепить площади и замкнуть улицы караулами. Я поспешил проститься. Старик встал, взял со стола эмалевый образок спасителя, благословил им и, поцеловав в голову, сказал: ,,Да благословит тебя бог и даст силы для предстоящих испытаний. Проводите его, — прибавил он сыновьям, — и поберегите, как своего брата''».

Брат еще во-время успел пробраться на набережную, спустился на Неву и с рассветом уже приближался к петербургскому выезду из Кронштадта. Оставляю воображению вашему представить, чтó он вытерпел дорогою: от холода и голода он едва передвигал ноги, изъязвленные острыми льдинами и почти обнаженные, потому что тонкие сапоги не выдержали и полупути.

Несмотря, что холод леденил его члены, а голод отнимал последние силы, он удержался от гибельного искушения зайти в гостиницу, обыкновенно устраиваемую на полдороге к Кронштадту, чтоб обогреться и подкрепить свои исчезающие силы. Он чуял за собою погоню, и это могло навести на след его. Но физические страдания были заглушены еще бо́льшими предстоящими опасностями при виде Кронштадта, куда ему надо было проникнуть.

Он знал, что у ворот караульные опрашивают каждого приезжающего и проходящего, и решился поставить свою участь на ставку смелою выходкою. Он подошел к часовому, стоящему у ворот, и спокойно спросил: «Давно ли проехала кибитка?». — «Мы никакой кибитки не видали, ваше благородие», — отвечал часовой. — «Так верно лошади куда-нибудь занесли несчастного ямщика, — продолжал брат, — они взбесились, выбросили меня из повозки и заставили прогуляться чуть ли не 10 верст. Когда кибитка приедет, удержи ее, пожалуйста, у ворот, а я пришлю за нею». — «Слушаю, ваше благородие», — отвечал часовой, — и брат прошел.

Вдова штурмана Катерина Петровна Абросимова занимала квартиру в казенном доме, впоследствии переделанном для помещения главного командира Кронштадтского порта. Ее комнаты были над комнатами, некогда занимаемыми нами с братом Николаем. Туда-то прошел он, в твердой уверенности, что его никто не видал; но он ошибся. Не прошло нескольких часов, как явились два лица, всего менее им ожидаемые. Первое — был директор штурманского училища Михаил Гаврилович Степовой, другое — Михаил Афанасьевич Дохтуров — старший адъютант и зять главного командира Моллера. Первый был личный враг брата, другой — давнишний его друг, товарищ по выпуску и постоянный сосед в нашей бывшей квартире. Они объявили приказ арестовать его. — «Исполняйте вашу обязанность, — сказал брат Степовому, — судьба дарит вас благоприятным случаем для отмщения». — По грустному выражению лица М. Г. Степового можно было видеть вну-

треннюю борьбу долга с состраданием. «Как вы думаете, Михаил Афанасьевич?» — спросил он, обратившись к Дохтурову. «Мы должны исполнить приказание начальства», — отвечал тот. «Мы не получили положительного приказания взять его», — возразил Степовой: «нас просили узнать, не здесь ли он, и я ничего не нашел. Пойдемте».

Они вышли, и за дверями было слышно, как Дохтуров упрекал его в слабости и приказывал поставить часового в коридоре, ведшем на улицу. Брат не потерял подаренных ему минут: сбрил бакенбарды, подкрасил бороду, прищурил один глаз, надел нагольный тулуп, шапку, взял салазки и прошел мимо часового, поставленного именно для него...

Не стану вам описывать дальнейшие его похождения, не менее интересные, но которые меня отдалили б от цели: исполнить как можно скорее ваше желание. Следовательно, я должен по возможности воздерживаться лишних подробностей.[1]

Из Кронштадта его привезли к морскому министру А. В. Моллеру, от коего выслушав приличное случаю стереотипно-начальническое поучение, ему связали руки веревкою и во всей форме, с крестом на груди, повели во дворец. Там он имел оригинальное свидание с Незабвенным, которое началось с того, что брат сказал ему: [1] «Ежели вы, ваше величество, хотите развязать язык мой, развяжите мне руки и дайте мне есть: я уже два дня ничего не ел и голоден». Его желание было исполнено. Ему, и едва ли не ему единственно, развязали руки и подали обед с шампанским. По окончании допроса и беседы с отцом отечества его отправили в Алексеевский равелин и поместили в 15-м №.[2]

К тому же Алексеевскому равелину я шел путем несколько различным. Когда мои московцы, валясь под картечью, начали бросать ружья и перепрыгивать через каменный барьер набережной на Неву, я стал с пистолетом в руках и сказал решительно, что я застрелю, кто будет бросать ружье и не пойдет на съезд. Угроза подействовала. Вся масса полка спустилась на Неву, и когда мы добежали до середины ее, я остановил

солдат и начал строить их в колонну. Вы спросите: для чего? — Мне очень ясно обозначилась моя будущая участь, я себя не убаюкивал надеждами и решился умереть с оружием в руках. Как и где бы я погиб — это решила бы удача, а этого-то и не было, потому что когда я уже достраивал колонну под выстрелами батареи, поставленной на средине Исаакиевского моста, вдруг мои московцы, доселе молодцами стоящие под убийственным огнем, с криком: «тонем, ваше высокоблагородие», распрыснулись по реке. Лед не выдержал и провалился. Тут уже было не до спасения утопающих. Большая часть бросилась за мною в Академию Художеств, и у меня тотчас блеснула мысль защищаться внутри здания. Я очень хорошо был знаком с расположением, мне знаком был круглый двор его, и там-то, заняв коридоры, я хотел найти спасительную гавань. «Сюда, ребята!» — закричал я солдатам, пропуская передних в ворота. Но ворота, как бы волшебством, с шумом захлопнулись, и солдаты столпились перед ними. «Ломай их!» — крикнул я, и сотни рук уже тащили с замерзшей барки бревна для исполнения моего приказания, как из-за угла 1-го кадетского корпуса показался эскадрон кавалергардов, скачущих на нас. Защищаться не было возможности с нестройною кучею солдат: это была бы бесполезная трата людей, и я сказал солдатам, чтобы они спасались, куда кто может. Я обнял знаменщика и приказал ему итти навстречу кавалеристам и сдать знамя офицеру. «Ты этим заслужишь прощение», — прибавил я. Я видел, как он подошел к офицеру, как тот рубнул его со всего плеча палашом, как знаменщик повалился... Чувство негодования к этому унизительному поступку выжало у меня слезы. Я отвернулся и пошел домой к матушке, занимавшей квартиру в 7-й улице против Андреевского рынка. Я узнал впоследствии, что грудь этого мерзавца украсилась Владимиром с бантом и в приказе по гвардии он выставлен как самый храбрый офицер императора.

С приходом моим под родной кров я точно как бы переродился. Тревожное, лихорадочное состояние, постоянно дер-

жавшее меня в продолжение последней недели, исчезло. Я почувствовал какое-то успокоение, веселость моя возвратилась, и я был в состоянии человека, добросовестно исполнившего свою обязанность. Я почувствовал аппетит, чего давно уже со мною не было, закусил и лег преспокойно спать. Подкрепив свои силы, я весело простился с сестрами и матушкой, снял гвардейский мундир, надел старый флотский вицмундир брата Николая, спорол погоны и, нарядившись шкипером, вышел из дому. Мне хотелось увидеться с Торсоном, чтобы посоветоваться с ним о дальнейших намерениях. Но добраться до него было не так легко. Исаакиевская площадь была обставлена войском и артиллерией, Морская улица была перехвачена в нескольких местах пикетами, у которых собирали пойманных бунтовщиков, и мне надо было пробраться чрез все эти преграды, чтоб достичь квартиры Торсона, находившейся в морских казармах. Но делать было нечего — надо было решаться. Два пикета прошел я благополучно, выдавая себя за штурмана, на 3-м меня остановили и сказали, что без офицера пропустить невозможно. Пикет был Измайловского полка. Тут же стояла кучка солдат моего полка и гвардейского экипажа под крепким караулом. К счастью, тут же был фонарный столб, и я укрылся в мраке его лучей, прижавшись как можно к нему ближе. Очень интересен был разговор измайловцев с арестантами. Они негодовали на себя за нерешительность свою — присоединиться к нам на площади. «Уж ежели погибать, так погибать молодцами, как московцы и гарнадеры, а то погибнем-то мы и без того, да где-нибудь под палками. Ведь не простят же нам, что не хотели ни присягать ему, ни здороваться с ним... Мы ведь знаем его шефские милости — не приведи бог!». Каково было мое положение в присутствии даже солдат моей роты, я предоставляю вам судить. Но мое мучительное положение кончилось счастливо. Офицер поленился выйти и приказал шкипера к жене пропустить.

Торсона дома не было — он, по обязанности старшего адъютанта у министра, был при нем, а там дела было не мало.

Я застал его сестру и мать его, старушку, совершенно глухую. Сестре, очень умной девушке, были известны дела Общества, но мать ничего не знала. Я не берусь вам описать трагикомической сцены, где я должен был с веселым лицом рассказывать ужасные дела, а она улыбаться, когда ее душили рыдания, и все это для того, чтоб скрыть убийственную истину от глухой старушки, следящей за нашею мимикою... Одним словом, ужасно.

Далеко за полночь возвратился Торсон. После краткого совещания я решился уйти к очень хорошему нашему знакомому актеру Борецкому, по страсти посвятившему себя драматическому поприщу и променявшему дворянство на весьма посредственный сценический талант. Я пришел к нему, когда он едва проснувшейся жене рассказывал происшествия вчерашнего дня, а главное, с подробностью и жалобно описывал мою смерть. «Здравия желаем», — закричал я ему под самое ухо и горько раскаялся ‹в› своей шутке, потому что чуть их обоих не уморил со страха. Рассказывать долго, как и что мы гадали и предпринимали с ним; в результате я решился лучше явиться сам лично во дворец, нежели ожидать, чтобы меня арестовали у него, за что он мог бы пострадать. С большим трудом этот добрый и благородный человек добыл мне гвардейскую форму из дома матушки, который был уже оцеплен караулом.

Я оделся, сел на извозчика и явился во дворец. О, какая там поднялась суматоха, когда я прошел во внутренние комнаты и потребовал свидания с государем. Кончилось, чем и должно было кончиться: меня окружили, взяли под арест и отвели на дворцовую гауптвахту. Я был посажен за перегородку, разделявшую большую входную комнату гауптвахты на две неравные половины.

Узкое пространство, куда меня поместили, было темно и грязно. Там стоял только один ветхий стул. Через стеклянную дверь я невидимо присутствовал на этом *базаре житейской суеты*. Я был зрителем таких возмутительных сцен, что я невольно себя спрашивал: неужели это люди?

Блестящая толпа гвардейцев превратилась в наглую дворню буяна-хозяина и в подражание ему, и заслуживая его милостивое внимание, и ему в угоду безнаказанно глумилась над связанными их собратами по мундиру. Тут я увидел, как тлетворен воздух дворцов... Я тут видел, как самые священные связи дружбы, любви и даже родства служили только поводом, чтоб рельефнее выказать свою душевную низость и лакейскую преданность... Ужасно... [1]

Но и до меня дошла очередь.

Избавьте меня от описаний сцен с великим князем Михаилом Павловичем — их даже было бы совестно описывать. Я кончу в двух словах. С меня оборвали мундир и сожгли в дворцовых сенях, и это миниатюрное auto da fe послужило, вероятно, впоследствии программой громадно-буфонского всесожжения мундиров при сентенции. Мне стянули руки веревкою так, что я из гордости только не кричал. Сторож, старый солдат, накинул на меня из жалости мою шубу. Равнодушие к жизни, презрение к людям мною овладело до такой степени, что я желал в ту минуту как можно скорее умереть, мне хотелось этого добиться каким бы то ни было путем.

Когда бурный поток высочайшего бешенства уже выходил из берегов, я спокойно опустился на стул и задумался. «Как смеешь ты садиться в моем присутствии», — зарычал Лев. «Я устал слушать», — был мой ответ. «Встань, мерзавец!» — и он протянул руку, вероятно с намерением приподнять меня. Руки мои судорожно рванулись. Он отскочил назад. «Хорошо ли связан?» — спросил он у дежурного по караулам полковника Микулина. И когда тот отвечал, что даже очень хорошо, он снова подскочил и продолжал неистовствовать, но я сидел и не обращал никакого внимания на слова его.

Двое суток меня держали и мучили днем и ночью допросами, на которые я решился ничего не отвечать. Я не увлекся, как многие, льстивыми обещаниями и уверениями, что единственный путь ко спасению — это чистосердечное сознание.

Я очень хорошо понимал, что человеку, приведшему первым полк и взятому с оружием в руках, нет спасения, знал, как одно незначительное слово может погубить других, и притом мне доставляло какое-то наслаждение бесить их. В первый раз, когда меня привели к личному допросу самого Незабвенного, он вбежал в кабинет и, обратившись к Чернышеву, произнес с расстановкой, указывая на меня: «Видишь, как молод, а уж совершенный злодей. Без него такой каши не заварилось бы! Но что всего лучше, он меня караулил перед бунтом. Понимаешь... Он меня караулил!..».

Чтоб пояснить эти его слова, должно сказать, в каком страхе находилась вся царская фамилия в продолжение всего периода рокового ожидания депешей из Варшавы, особенно после доноса Ростовцева. Переехав в Зимний дворец, Незабвенный приказал ставить на ночь часовых у своей спальни и водить на смену самому караульному капитану. Двенадцатого числа декабря я стоял со своей ротою в карауле и вследствие приказа повел часовых на смену. В коридоре было довольно темно. Часовые, сменяясь, сцепились ружьями; железо звякнуло довольно громко. Через несколько минут в полуотворенных дверях появилась бледная, вытянутая фигура Незабвенного. — «Что такое? Кто тут? — спросил он торопливо. — А, это ты, Бестужев, — что случилось?..». — Когда я объяснил причину шума: — «Ничего больше? Ну, хорошо... Ступайте».

Эта мысль, что подобные телохранители оберегали его накануне бунта, так его занимала, что он успокоился только тогда, как издал указ о сформировании роты дворцовых гренадеров.

В последнем ночном свидании моем с ним мы расстались довольно холодно. Я, по обыкновению, молчал. Он тоже не разговорчив был. Наконец, посмотрел на меня исподлобья, оторвал клочок бумаги и карандашом написал: «В железа!». Левашев принял клочок, запечатал, и меня отвезли в крепость.[1] Было за полночь. Комендант Сукин спал.

Я, завернутый в енотовую шубу и крепко стиснутый между двух рослых конногвардейцев, держащих меня под руки, — я задыхался в жарко натопленной комнате. На мои просьбы, чтоб они освободили мои руки, по крайней мере хоть бы дали напиться, они отвечали: «не приказано-с». Мне оставалось терпеть. Я понемногу начал их втягивать на болтовню, и когда дошло до того, что они узнали во мне того офицера, который спас их эскадрон, бросившись впереди приложившегося фаса целого карея и остановившего залп почти в упор, они опустили руки мои, посадили на стул, сняли шубу и принесли воды. «Простите, ваше высокоблагородие, — повторяли добряки, — мы не знали, что это вы». — Как это наивно мило. Сукин встал. Зевая с полупросонья, распечатал куверт, поднес с изумлением лоскуток к свече, долго не мог разобрать написанного карандашом, наконец понял, подошел ко мне и сказал: «Жалею вас, вас приказано заковать в железа».

Меня привели в Алексеевский равелин. Двери 14-го № распахнулись, чтоб принять свою жертву. Мне показалось роковым совпадение 14-го № моего гроба с 14-м числом декабря... Меня раздели до нитки и облекли в казенную форму затворников. При мерцающем свете тусклого ночника тюремщики суетились около меня, как тени подземного царства смерти: ни малейшего шороха от их шагов, ни звука голоса, они говорили взорами и непонятным для меня языком едва приметных знаков. Казалось, это был похоронный обряд погребения, когда покойника наряжают, чтоб уложить в гроб. И точно, они скоро меня уложили на кровать и покрыли одеялом, потому что скованные мои руки и ноги отказывались мне служить.

Дверь, как крышка гроба, тихо затворилась, и двойной поворот ключа скрипом своим напомнил мне о гвоздях, заколачиваемых в последнее домовище усопшего...

Три бессонные ночи и душевная тревога, истомившая меня, погрузили меня в глубокий сон праведника, который продолжался почти до полудня следующего дня. Проснувшись, я

долго не мог сообразить, где я. Но скоро звук цепей на ногах моих навел меня на терновую тропину существенности. Я силился приподняться и не мог. Онемевший мой организм от неподвижного положения и оков, казалось, потерял всю энергию; я лежал без ясного сознания — жив ли я, или умер. Наконец, тихий поворот, вероятно уже смазанного, ключа привлек мое внимание. Я взглянул на дверь — в нее входил седовласый священник. «Наконец-то, — подумал я, — и хорошо — чем скорее, тем лучше». Священник подошел к кровати и долго смотрел на меня. «Начинайте, батюшка, я готов!» — сказал я ему, приготовляясь исповедать земные грехи свои перед смертью и силясь тщетно приподняться. «Не беспокойтесь, лежите, — сказал он, садясь подле кровати и вынимая бумагу и карандаш. — Вам будет покойнее так отвечать на вопросные пункты». Вспышка негодования приподняла меня. «Выйдите, батюшка, оставьте меня, — сказал я. — Как вы решились унизиться до такой постыдной роли?». — «Итак, вы не хотите мне отвечать?». — «Не хочу, да и не могу, меня уже и без вас допрашивали». — «Жалею о тебе, сын мой, — продолжал он, вставая и покачивая своею седою головою, — жалею». — «Пожалуйста, оставьте меня без сожаления», — заключил я, отвернувшись от него. Он ушел. Тяжкие думы налегли мне на душу. Я уже начал смутно догадываться о существовании другого рода смерти, которая убивает не вдруг, а понемногу, всякий день перемежая свои приступы мучениями тела и души, и так всю жизнь, до последнего издыхания. Неужели на такие муки нас обрекают?.. Страшно думать.

Ради бога, извините меня, что я утомляю терпение Ваше такими отступлениями и беспрестанно забываю, что для Вас как для историографа нужны одни факты. Но что же станете делать... Расшевеливая старые раны, невольно перечувствуются старые болезненные ощущения. К тому же я полагаю, что для биографа подобные сведения нелишни. Но как бы то ни было, даю слово быть по возможности кратким.

Гробовая эта жизнь тянулась однообразно до 12 июля 1826 г., перемежаясь допросами, очными ставками и сладкою беседою с братом Николаем через стену. Как я дошел до того, чтобы передать ему этот язык богов для узников, и какую он нам принес пользу касательно нашего дела, я не стану описывать — это целая история.

По выслушании сентенции нас рассадили на новоселья: меня в Невскую куртину, его — право не помню, но только не в Алексеевский равелин. Тут в одном отделении со мною был Тютчев и Фролов. Строгость присмотра поослабла, и мы болтали и смеялись целый день и даже ночью, хотя все были разделены толстыми переборками. В особенности нас смешило посещение медика, пришедшего наведаться, не нужна ли нам его помощь после слушания сентенции. Мы ему объявили, что чувствуем себя гораздо лучше прежнего и потому благодарим за внимание. На другой день, немного спустя после полуночи, в потемках, нас собрали в общий двор, окруженный кареем из солдат, чтоб вести на экзекуцию. Какой веселый говор, какая радость! Сколько жарких объятий и радостных слез при свидании. Сколько острот и смеху. Потом разделили нас по небольшим кучкам для того, чтоб каждой гвардейской бригаде доставить особое удовольствие зрелища. Потом шествие на гласис перед войско. Потом чтение сентенции; потом обрывание мундиров и орденов; потом ломание шпаг над головою; потом auto da fe военной амуниции, и, наконец, возвращение по казематам в затрапезных халатах и форменных шляпах с перьями, касках, военных фуражках и в чикчирах и шпорах. Этот буфонско-маскарадный кортеж проходил в виду пяти виселиц,[1] где в судорогах смерти покачивались злополучные жертвы тирании!.. И смешно-ужасен был этот адский карнавал.

Тогда как нас заставляли плясать в этом маскараде, брат Николай со всеми моряками, приплыв в Кронштадт, испытывали ту же операцию на адмиральском корабле эскадры, назначенной для крейсерства. Они возвратились поздно ночью,

их хотели выгрузить на Английской набережной, чтоб сразу отправить по канату в Сибирь; но огромные толпы собравшегося на набережной народа заставили катера возвратиться в Петропавловскую крепость, и их разместили по казематам.[1]

II

ПРЕБЫВАНИЕ В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ И ПЕРЕЕЗД В СИБИРЬ

В сентябре нас с братом повезли в Шлиссельбург: там мы пробыли до октября следующего года в заведении, подобном человеколюбивому заведению Алексеевского равелина, ухудшенному отдаленностью от столицы и 30-летним управлением генерал-майора П л у т а л о в а, обратившего, наконец, это заведение в род аренды для себя и своих тюремщиков на счет желудков несчастных затворников, получавших едва гривну медью на дневной харч, когда положено было выдавать по 50 коп. ассигнациями. Этот Плуталов в свое 30-летнее управление до такой степени одеревенел к страданиям затворников, что со своими затверженными фразами сострадания походил скорее на автомата, чем на человека, сотворенного богом. Когда я его просил купить на остальные мои деньги каких-либо книг, он мне отказал, ссылаясь на строгое запрещение. Я просил его купить по крайней мере французскую, итальянскую и латинскую библию. Он все обещал подарить мне собственную французскую библию в знак памяти и умер, не прислав ее, хотя я всякий день напоминал ему через тюремщиков и каждую неделю лично ему, когда он являлся с пошлыми утешениями. С братом Николаем он где-то в Петербурге познакомился, и когда Плуталов стал его приглашать к себе в Шлиссельбург, то брат, смеючись, отвечал, что «непременно приедет, а ежели вздумает не приехать, то привезут»... Этот намек, пропущенный им без внимания, Плуталов припомнил при нашем ему представлении.

Я был помещен в маленькую комнатку в 4 квадратных шага, из коего надо вычесть печь, выступающую в комнату, место для кровати, стола и табурета. Это была та самая комната, где содержался в железной клетке Иван Антонович Ульрих, где и был убит при замыслах Мировича. Комната стояла отдельно, не в ряду с другими нумерами, где помещались брат Николай, Иван Пущин, Пестов, Дивов и другие; те комнаты были просторны и светлы и имели ту выгоду, что, будучи расположены рядом, по одному фасу здания, доставляли заключенникам ‹возможность› сообщаться посредством мною изобретенной азбуки, а летом, при растворенных окнах, даже разговаривать в общей беседе. Когда Плуталов умер у ног Незабвенного, пораженный апоплексическим ударом при подаче еженедельного рапорта, назначен был генерал Фритберг для исправления всех упущений, вкравшихся в 30-летнее управление прежнего коменданта. Мы вздохнули свободнее. Он дал нам все по положению: халаты, белье, тюфяки, постельное белье, и устроил общее приготовление пищи, что дало нам возможность иметь табак и даже чай. Комнаты начали поправлять и белить. Меня временно перевели в одну из комнат общего фаса, просторную, светлую и чистую. Погода стояла теплая, окно — открыто. Я подошел к нему и оцепенел от восторга, услышав в едва слышимых постукиваниях, подобно скрипу червячка, точащего дерево, вопрос (как я узнал после) Пущина, который спрашивал Пестова: «узнай, кто новый гость в твоем соседстве?..». Не помня себя, позабыв обычную осторожность, я бросился к окну, начал стучать и тем чуть не испортил дела. Меня во-время остановили, и я, узнав все законы их воздушной корреспонденции, часто разговаривал даже с братом Николаем, сидевшим в самом крайнем нумере, так что между нами находилось шесть комнат.

Около половины сентября нас четверых: Барятинского, Горбачевского, меня и брата свели вместе, заковали в ножные железа и с фельдъегерем отправили в Сибирь.

Радость наша, когда мы увидели свет божий и могли свободно говорить, была так велика, что мы превратились в ребят: мы болтали без умолку, обнимались, смеялись и готовы были делать разные глупости. Это состояние духа не оставляло долго нас в дороге, так что те, кто нас видел, почитали сумасшедшими, и это мнимое наше несчастье было передано нашим товарищам, ехавшим вслед за нами.

Фельдъегерь, везший нас (Чернов), был существо гнусное, который из корыстолюбия, чтоб не отдавать прогонов, где их у него требовали или где он подозревал, что их потребуют, загонял лошадей,[1] — а вы знаете, загнать курьерских лошадей нелегко, — и для этого он гнал и в хвост и в голову, и часто наша жизнь висела на волоске.[2] Припомните, что мы отправились в самую распутицу, по сквернейшей ярославской дороге, мощеной бревнами, истомленные тюремною жизнью и едва держась на тряской тележке, и притом закованные. Кормил он нас одним молоком и простоквашей, нигде не останавливался для отдыха, так что мы, наконец, потребовали от него, чтоб он нам показал инструкцию, и ежели в ней нет ему положительного приказания убить нас, то мы будем на него жаловаться в первом городе. Он приусмирел, дал нам временный отдых, тем более, что у некоторых из нас, особенно у меня, не имеющего и доселе способности спать дорогой, начали показываться признаки белой горячки. Но его кротость продолжалась недолго: снова он начал неистовствовать и трижды чуть не раздробил нас вдребезги.

Не доезжая до Тобольска, не помню, в каком городке, нас ожидал сенатор Куракин, имеющий (по его словам) приятное поручение от государя узнать о наших нуждах, не имеем ли жалоб, не желаем ли о чем просить его. Когда мы объявили, что ни в чем не нуждаемся, ни на кого не жалуемся, ничего не хотим просить у него, — я объявил просто, без всякой просьбы, что кузнец в Шлиссельбурге второпях заковал мои ноги в переверт, что железа растерли мне ноги и я не могу ходить.

— Чего же вы хотите? — спросил он с удивлением.

— Как чего, ваше сиятельство? чтобы вы приказали меня заковать, как следует: это должен бы сделать наш фельдъегерь, но он не хотел.

— Извините, я этого сделать не могу, — ответил он, вежливо кланяясь...[1]

Какова отеческая заботливость!.. Все делалось, чтобы морочить публику громкими фразами и милостивыми манифестами.

Мы прискакали в Тобольск в 12-й день, грязные, разбитые и едва не убитые на Суксунском спуске в Томской губернии.[2] Наш фельдъегерь, по обычаю, саблею наголо до того избил ефесом ямщика, что когда лошади подскакали к спуску в 1½ слишком версты и он, в ужасе ухватившись за ямщика, закричал: «держи!», ямщик, бросив ему возжи, ответил: «Ну, барин, ваше благородие, теперь держи сам!». Фельдъегерь схватил возжи, направил коней на первую к нему повозку Барятинского, спускавшуюся шагом. Брат Николай, сидевший с ним, тщетно кричал ему, что он всех погубит: фельдъегерь, как утопающий, хватался за соломинку. Вся тройка буквально вскочила в тележку Барятинского, который едва успел броситься на свою коренную и тем едва спасся от неминуемой смерти. Вся масса шести сцепившихся коней, бесясь и обрывая упряжь, спускалась тучею на телегу Горбачевского, кони которого в испуге шарахнулись, понесли под гору и, задев за мою телегу, опрокинули ее. Я, падая, повис своими железами на задней оси, а кони, испуганные падением телеги, понесли в свою очередь и повлекли меня, как Гектора за колесницей Ахиллеса. Спасением от неминуемой смерти я обязан был только тому, что упавший ямщик, переломив правую руку в двух местах, не мог уже ее высвободить от запутавшихся около нее возжей и, тащась под колесом, затянул левую возжу коренной так сильно, что, притянув ее голову к самой оглобле, принудил ее заворотить поперек дороги и упереться в скалу, где пролегала дорога. Изнемогая от боли, я не мог шевель-

нуться, а между тем с ужасом видел, как масса сцепившихся лошадей повозок брата Николая и Барятинского катится на меня. И эта масса точно на меня надвинулась: поперек дороги стоявшая моя повозка их остановила, и взбешенные кони неистово били надо мною. Три раза острые шипы подков коренной задевали мою голову, но только один раз пробили череп: два удара я получил вскользь и только сорвало кожу. Брат Николай бросился и, с опасностью быть смятым в свою очередь, кое-как меня вытащил из-под копыт лошадей. Повозка же Горбачевского мчалась с такою быстротою, что на повороте, встретив воз с сеном, быстро повернув, выбросила далеко в сторону его, двух сидевших с ним жандармов и ямщика. Горбачевский страшно разбил все лицо, ямщик переломил руку, а один из двух жандармов, переломив крестец, умер на дороге.[1]

Пешком, изломанные и окровавленные, мы кое-как добрались до деревни, где, благодаря брату Николаю, уцелевшему в этой катастрофе, все раненые получили первую помощь, какую возможно было получить при содействии сострадательных поселян. Наш фельдъегерь, под влиянием недавнего ужаса, поклялся нам перед образом, что будет смирнее, — и точно, сдержал свое слово... целые два дня, а потом началось повторение тех же сцен. По приезде в Тобольск, когда он проведал, что губернатор лично опрашивает проезжающих государственных преступников: не имеют ли они претензий? — этот презренный опричник не постыдился на коленях выпрашивать нашего прощения — и мы простили ему.

В Тобольске, как в мирной пристани, мы надеялись хоть отдохнуть от мучительной дороги, а главное, надеялись сходить в баню, чтобы переменить грязное белье, которое мы не имели времени переменять дорогой, а нижнее — не имея возможности по причине наглухо заклепанных желез. Нам вышло милостивое разрешение. Мы собрались — и вдруг, неожиданно, нас посадили на тележки и отправили далее. Наши блестящие мечты рассыпались прахом. Попрежнему,

грязные, изможденные, мы отправились в бесконечную даль, и даже мне, умоляющему, чтоб по крайней мере меня п е р е к о в а л и, отказали в просьбе и обрекли на нестерпимые мучения. Что же было причиною такого неожиданно-скорого отправления? — прибытие следующей партии наших товарищей в Тобольск и страх, чтоб следующая за нами партия нас не опередила!!! О, бюрократическая Россия! тебя готовы загнать, погубить администраторы, только бы не нарушить нумерацию: 1, 2, 3, 4 и так далее...

До Иркутска был назначен в наши провожатые квартальный офицер О р е л и два жандарма, уцелевшие от роковой катастрофы. Этот Орел был мокрая курица, человек добрый и ленивый, личность, совершенно противоположная фельдъегерю Чернову. Мы ехали, как хотели м ы; останавливались там, где м ы хотели и сколько хотели м ы. В этот переезд мы несколько отдохнули и поправились здоровьем.

По прибытии нас поместили в острог, обширное каменное здание. Губернатор Цейдлер,[1] человек благородный, нас посетил и постарался не словом, а делом исполнять все наши просьбы. Нас расковали, сводили в баню и доставили случай даже прочитать некоторые газеты. После претерпенных лишений это было истинное наслаждение. Но то наслаждение, которое он, по своей доброте, доставил нам с братом Николаем, я никогда не забуду. Ввечеру, в последний день нашего отправления из Иркутска, он пришел к нам и объявил по секрету, что брата Александра привезли и что он дозволяет эту последнюю ночь провести вместе с ним. О, какая ночь! Мы увидели его с Матвеем Муравьевым. Их везли из Шлюссельбурга, куда поместили временно до собрания полной партии. Брат описывал нам свою жизнь в крепости Фортславе. Им было не худо потому только, что там не было такого богоугодного заведения, вроде Алексеевского равелина или Шлюссельбурга, почему они все могли быть вместе и делить горе вместе. О Шлюссельбурге он вспоминал с ужасом, проведши там только

два дня, и когда мы ему рассказали все ужасы нашего положения, то он, перекрестившись, сказал: «Благодарю тебя, создатель, что ты меня избавил от этого: я бы с своим характером непременно сошел с ума». Перед рассветом мы простились. Он выпросил у меня на память немецкую библию, а мне дал «Parnasso italiano».* Прощальный поцелуй был последним в этом мире.

Был декабрь — Ангара катила страшную шугу. Сообщение через Байкал было невозможно, и нас отправили в Читу кругоморскою дорогою, верхом. Провожатым нашим был квартальный офицер Петров, прекурьезное существо. Это была олицетворенная доброта в рамке непроходимой глупости. Ежели прибавить, что эту рамку обвивал хмель в самых затейливых узорах, вы будете иметь схожий портрет с оригиналом. Много нам было с ним и смеху и горя.

III

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ЧИТЕ И ПЕТРОВСКЕ

Накануне 14-го числа мы прибыли в Читу. Нас поместили в небольшой домик, отдельно стоящий от главного каземата. Этот домик с другим, далеко от него стоящим, который назывался «Дьячковским казематом», оба служили как бы лазаретом, — и куда удалялись из большого каземата, чтоб уединиться и несколько отдохнуть от шуму и гаму, вечно царствующего в общем каземате. В нем мы нашли Волконского, Вадковского, Вольфа, Абрамова и других и здесь же свиделись с К. П. Торсоном, нашим другом. Он познакомил нас (т. е. меня с братом) с тюремными законами, образом жизни, с отличительными лицами заключенных, а главное с их замыслами, и таким образом приуготовил нас к принятию крещения

---

* «Итальянский Парнасс».

и принятию на рамена свои креста. Коменданта, генерал-майора Лепарского, в Чите не было: он ездил в Нерчинские заводы производить следствие и расстреливать Сухинова[1] (члена тайного Южного Общества) и его сообщников по делу затеянного бунта; за его отсутствием временно управлял поручик Розенберг и капитан инвалидной роты, нас караулившей, П. И. Степанов.[2]

Высочайший выбор в тюремщики человека, вполне по его мнению надежного и который буквально всегда исполнит его волю, одним словом, самого верноподданного, — этот выбор, говорю я, оправдался в лице Лепарского. Государь знал его потому только, что он когда-то в польскую войну сумел огромную партию конфедератов, его соотчичей, довести до места заключения под весьма малым конвоем. Это обстоятельство дало большую цену в глазах Незабвенного; но мудрое предвидение ошиблось в одном: под генеральскою звездою билось благородное сердце. Этою ошибкой он (Николай, — *Ред.*) остался в потере, потому что мы остались живы, а мы выиграли, приобретя доброго, умного, снисходительного тюремщика, а что еще важнее — законника, сумевшего в продолжение своего долгого управления помирить букву закона, т. е. бестолково-строгой инструкции, с обязанностью честного и доброго человека.[1]

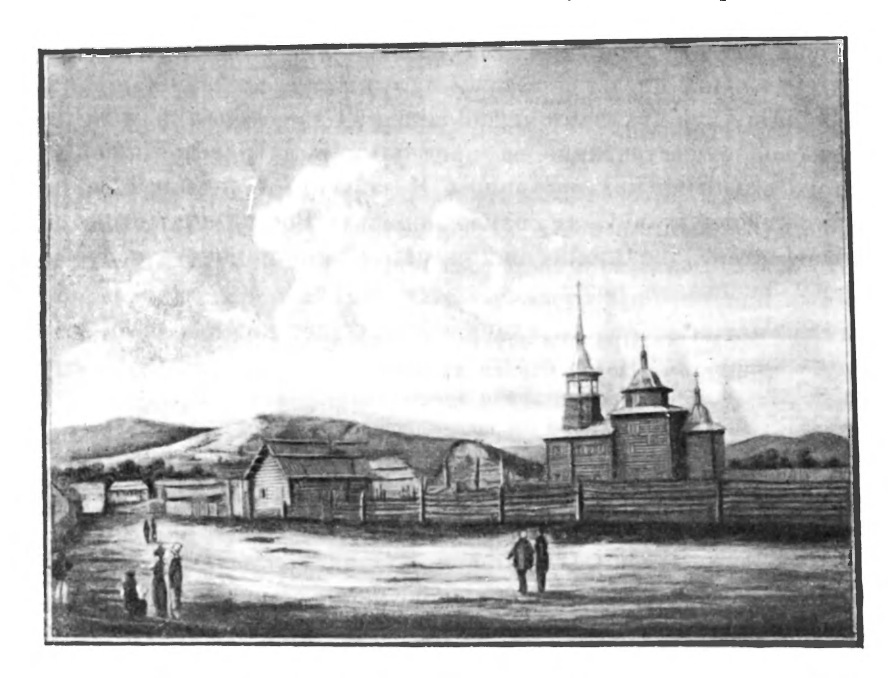
Вам, вероятно, кажется странным: для чего лицам, осужденным по законам в каторжную работу, следовательно, долженствующим быть разосланным по заводам, — этим лицам строят казематы, назначают коменданта, его огромный штат канцелярии и проч. и проч. Да, это странным покажется всякому, не посвященному в таинства нашей администрации. Ларчик открывался просто: боялись общего бунта всей Восточной Сибири. Когда генерал-губернатор Лавинский был в Петербурге, — а это было как раз по окончании нашего дела, — то государь спросил его: ручается ли он за безопасность края, когда нас разместят по заводам.

— Я не могу ручаться, ваше величество, — отвечал Лавин-

ский, — когда каждый завод разъединен от других и каждый имеет отдельное управление.

— Так как же ты полагаешь?

— Я полагаю, ваше величество, лучше их всех соединить вместе: тогда над ними можно иметь лучше надзор.



Чита. Церковь и улица. Акварель Н. П. Репина и П. И. Фаленберга. 1828—1830 гг.

Эта-то конференция и была зародышем той мысли, которая выразилась казематом, комендантом и проч. и проч. Но тут невидимо был перст божий, внушивший Лавинскому подобный совет. Если бы мы были разосланы по заводам, как гласил закон и как уже было поступлено с семью из наших товарищей, то не прошло бы и десяти лет, как мы бы все наверное погибли, как Сухинов, или пали бы морально под гнетом нужд и лишений, погибли бы под гнетом мук, коих история уже

начиналась с нашими первыми семью нерчинскими мучениками, или, наконец, сошли с ума от скуки и мучений. Каземат нас соединил вместе, дал нам опору друг в друге и, наконец, через наших ангелов-спасителей, дам, соединил нас с тем миром, от которого навсегда мы были оторваны политической смертью, соединил нас с родными, дал нам охоту жить, чтобы не убивать любящих нас и любимых нами, наконец, дал нам материальные средства к существованию и доставил моральную пищу для духовной нашей жизни. Каземат дал нам политическое существование за пределами политической смерти. Этого никак не мог предвидеть Незабвенный, который, удивляясь нашей живучести, начал морочить Россию милостивыми манифестами, не приносящими нам ровно никакого облегчения, как сказал поэт:

При нем случилось возмущенье,
Но он явился на коне,
Провозглашая всепрощенье.
И слово он свое сдержал,
Как сохранилося в преданьи:
Лет сорок сряду все прощал,
Пока все умерли в изгнаньи.[1]

Чтоб познакомить Вас с тем, что нас ожидало в заводах, я вам скажу два слова о горькой участи семи первых наших товарищей, отправленных в Нерчинские заводы. Это были: Волконский, Трубецкой, Оболенский, Артамон Муравьев, Якубович и двое братьев Борисовых.

Бурнашев, начальник Нерчинских заводов, истый заплечный мастер, назначил их в ближайший завод от своей резиденции с повелением: содержать их наистрожайшим образом. Подчиненные знали своего владыку и постарались угодить ему. Всех семерых заперли в темную, грязную, вонючую конуру, где они не только не могли двигаться, но даже должны были спать в три яруса, от недостатка помещения. Постоянные жильцы всех тюрем в нашей матушке России, эти три рода

насекомых, питающихся кровью и плотью несчастных заключенников, буквально покрывали их с головы до ног, мучили их днем и ночью, лишали сна, лишали сил, необходимых для тяжелой работы в глубоких рудниках, так что они, промыслив скипидару, натирали им все тело, и несмотря на то, что их тело горело, как в огне, что их кожа сходила лоскутками, — голодные тунеядцы не оставляли своих жертв. О их пище, о их жизни, о грубом, унизительном обращении с ними — я уже не говорю: вы должны отгадать, что все было в совершенной гармонии.

В заключение приведу только сетование этого заплечного мастера Бурнашева: «Чорт побери! — повторял он, — какие глупые инструкции дают нашему брату: содержать строго и беречь их здоровье! Без этого смешного прибавления я бы выполнил, как должно, инструкцию и в полгода вывел бы их всех в расход!».

Лепарский, объезжая заводы, чтобы выбрать местность для постройки главного каземата, был их ангелом-избавителем: он их присоединил к читинским собратам, и они прибыли туда за несколько недель перед нашим приездом.

Еще до прибытия Лепарского горное ведомство, вероятно по указанию Бурнашева, выбрало уже эту местность в Акатуевском заводе, и начались постройки; но комендант не согласился строить каземат в таком страшном и нездоровом месте. Это была глубокая яма, окруженная со всех сторон горами. Там только достроили небольшое помещение, где умер впоследствии Лунин за письма к сестре и, окончательно, за брошюру на английском языке, напечатанную в Tyme‹s›.[1] Лепарский выбрал Петровский завод, и в выборе его много участвовало его доброе сердце. Местоположение хорошее, и самая позиция его на трактовых путях уже много сделала для нас пользы. Жаль, что он, осматривая местность с горы, где потом просил похоронить себя, обманулся привлекательною зеленью луга: тут велел строить, а этот предательский луг оказался болотом.

Через несколько дней нас перевели в большой каземат, и вскоре собрались из разных крепостей, где мы все содержались — в ожидании помещения — в Чите, все назначенные сентенциею в каторжную работу. Вам, может быть, будет интересно узнать список всех осужденных, из коих помещенных в каземате я отмечу крестиком.[1]

Северного Общества:

1. Рылеев
2. Кн. Трубецкой +
3. Кн. Оболенский +
4. Ник. Муравьев +
5. Каховский
6. Кн. Щепин-Ростовский +
7. Алекс. Бестужев
8. Мих. Бестужев +
9. Арбузов +
10. Ник. Бестужев +
11. Панов +
12. Сутгоф +
13. М. Кюхельбекер 2-й +
14. Ив. Пущин +
15. Кн. Одоевский +
16. Якубович +
17. Цебриков
18. Репин +
19. Алек. Муравьев +
20. Якушкин +
21. Фон-Визин +
22. Кн. Шаховской
23. Лунин +
24. Муханов +
25. Митьков +
26. Завалишин 1-й +
27. Батенков
28. Бар. Штейнгейль +
29. Торсон +
30. Кн. Голицын
31. Беляев 1-й +
32. Беляев 2-й +
33. Дивов
34. Петр Бестужев
35. Свистунов +
36. Анненков +
37. Кривцов +
38. Алек. Муравьев 2-й +
39. Нарышкин +
40. Фон-дер-Бриген +
41. Пущин (пионер)
42. Бодиско 1-й
43. Кюхельбекер 1-й Вильгельм
44. Мусин-Пушкин
45. Акулов
46. Вишневский
47. Бодиско 2-й
48. Горский
49. Граф Коновницын
50. Оржицкий
51. Кожевников

52. Фок
53. Лаппа
54. Назимов
55. Бар. Розен +
56. Глебов +
57. Андреев
58. Толстой
59. Граф Чернышев +
60. Чижов
61. Ник. Тургенев

Южного Общества:

1. Пестель
2. Серг. Муравьев-Апостол
3. Мих. Бестужев-Рюмин
4. Мат. И. Муравьев-Апостол
5. Кн. Серг. Волконский +
6. Давыдов +
7. Кн. Барятинский +
8. Алек. Поджио +
9. Артам. Муравьев +
10. Повало-Швейковский +
11. Вадковский +
12. Тизенгаузен +
13. Браницкий
14. Крюков 1-й +
15. Фаленберг +
16. Лорер +
17. Краснокутский +
18. Лихарев +
19. Вольф +
20. Крюков 2-й +
21. ‹Иос.› Поджио +
22. Аврамов +
23. Норов
24. Янтальцев +
25. Ивашев +
26. Басаргин +
27. Корнилович +
28. Бобрищев-Пушкин 1-й +
29. Бобрищев-Пушкин 2-й +
30. Заикин
31. Абрамов 2-й +
32. Загорецкий +
33. Поливанов
34. Барон Черкасов +
35. Фохт
36. Граф Булгари
37. А. П. Юшневский +

Общества Соединенных Славян:

1. Борисов 1-й +
2. Борисов 2-й +
3. Спиридов +
4. Горбачевский +
5. Бечаснов +
6. Пестов +
7. Андреевич 2-й +
8. Люблинский +
9. Тютчев +
10. Громницкий +

11. Киреев +
12. Фурман
13. Ведяняпин 1-й +
14. Шимков +
15. Мозган +
16. Иванов +
17. Фролов +
18. Мозалевский +
19. Лисовский +
20. Выгодовский +
21. Берстель +
22. Шахирев +

Игельстром и Вигелин — пионерные офицеры 1-й армии, осужденные за бунт при присяге, и поляк Рукевич, близкий их знакомый. Они шли по канату и прибыли, когда мы еще были в Чите.

Потом после привезенные:

Барон Соловьев — после смерти Сухинова из Нерчинска.

Завалишин 2-й — после его каверз в Нерчинских заводах, по просьбе старшего брата.

Колесников, Таптиков, Дружинин — после доноса Завалишина 2-го.

Кучевский — по каким-то соображениям Лепарского.

Поляк Сосинович — слепец — после бунта 1830 г.[1] Итого восемьдесят два живые существа, втиснутые в небольшом деревянном здании, разделенном на четыре неравные отделения, потому что во внутренности была отделена довольно большая часть для коридора и так называемой столовой, где мы обедали.

Наше отделение было самое маленькое, а в нем все-таки затискивались 8 человек: я с братом, Юшневский, Трубецкой, Якубович, двое Борисовых и Давыдов. Но как, — боже ты мой, — как прочие могли разместиться? Я теперь, припоминая прошедшее, часто думаю, что это был какой-то бестолковый сон, кошемар... Читать или чем бы то ни было заниматься не было никакой возможности, особенно нам с братом или тем, кто провел годину в гробовом безмолвии богоугодных заведений: постоянный грохот цепей, топот снующих взад и вперед существ, споры, прения, рассказы о заключении,

о допросах, обвинения и объяснения, — одним словом, кипучий водоворот, клокочущий неумолчно и мечущий брызгами жизни.[1] Да и читать первое время было нечего: из малой толики тогда существующих периодических газет и журналов комендантом Лепарским получался только «Телеграф» и «Инвалид», которые он, под большим секретом, давал нам через доверенных офицеров; но и те перестал сообщать после того № «Инвалида», в котором помещено было стихотворение Жуковского на смерть Марии Феодоровны, и где каждая строфа кончалась известным повторением:

Благодарим, благодарим и проч.

и которую мы пропели и повторяли общим хором:

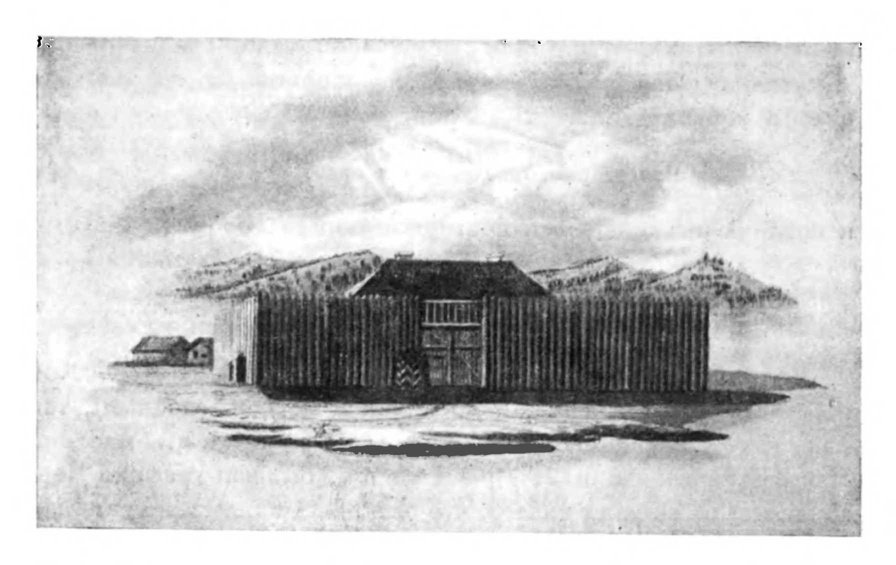
Благодарим, благодарим,
Что ты отправилась к своим (ad patres).[2]

Ели мы прескверно — не потому, чтоб не имели способов иметь хороший стол (т. е., по крайней мере, съедобный), так как три наши дамы: княгиня Трубецкая, княгиня Волконская и Муравьева, бывшая графиня Чернышева,* не щадили ничего, что было в их силах и в границах возможности, но потому, что негде и некому было приготовить нам пищу. От казны кормовых мы получали по 3 коп. ассигнациями и муку — 2 п. в месяц на каждого, т. е. законное положение каторжников. По положению, варить и печь мы должны были сами, а кухни еще не выстроили, и потому кушанье варилось по подряду у горного начальника Читы Смолянинова (на дочери которого впоследствии женился Дмитрий Завалишин), варилось, где и как ни попало, не потому, чтоб ‹он› этого хотел, но потому, что не мог лучше делать по неимению средств в такой бедной, ничтожной деревушке, как Чита,

* Елизавета Петровна Нарышкина и после прибывшая m-me Annenkoff.

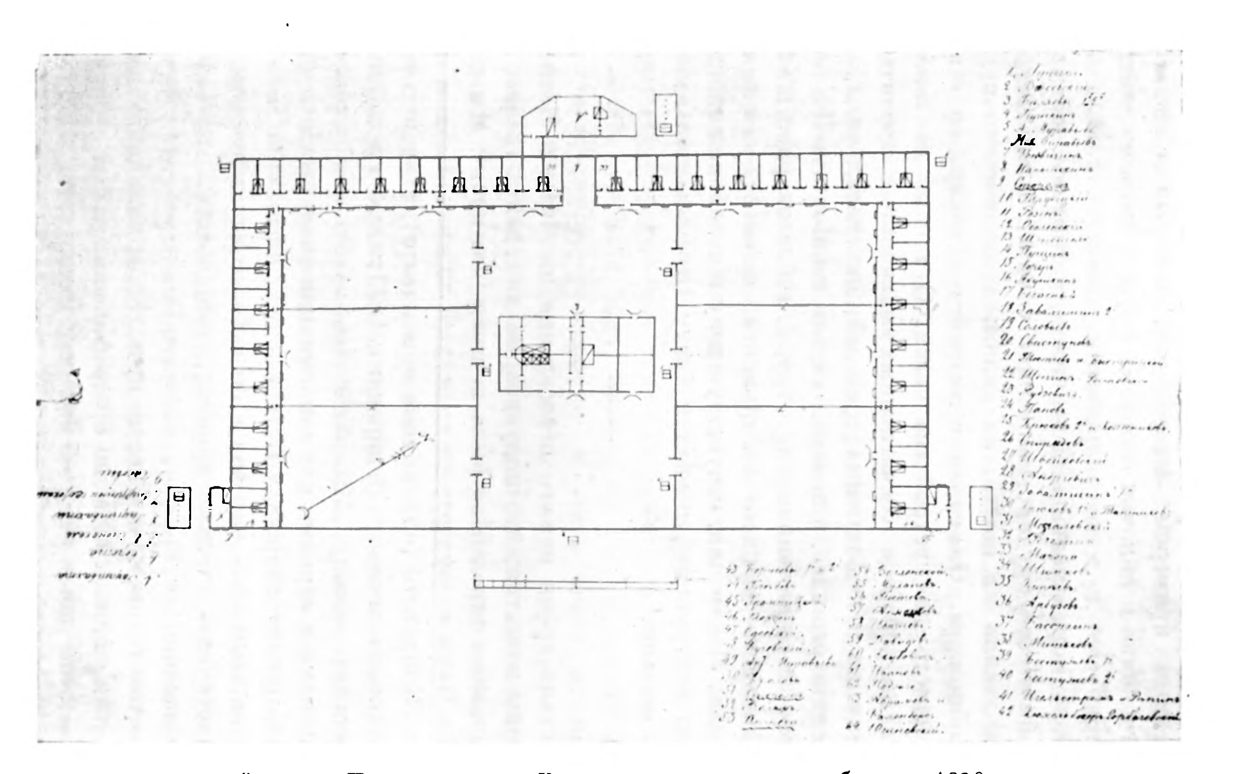
а главное, по неимению посуды и удобного помещения. Зато мы утоляли голод чаем, чего у нас было в изобилии, потому что это зависело единственно от денег.

В этот период нашего хаотического существования брата Николая занимала задушевная его мысль, запавшая в его душу с тех пор, как он посвятил себя морю. Эта заветная мысль,



Чита. Ворота острога. Рисунок неизвестного художника-декабриста. 1827—1830 гг.

преследовавшая его до последней минуты жизни, была — упрощение хронометров. Следя за развитием мореплавания, он с прискорбием видел, что год от году крушение кораблей умножается, и главною причиною крушений была, почти всегда, неверность определения пункта корабля в критический момент крушения от неимения хронометра, который, по дороговизне, был доступен только богачам. Он замыслил упростить его и сделать всем доступным. Светская жизнь и служебные обязанности отвлекали его от опытов осуществить свою идею. Теперь время было вдоволь, но недоставало средств.



Петровский завод. План каземата. Чертеж неизвестного декабриста. 1830-е годы.

Ободренный примером Загорецкого, который с помощью одного ножика и пилочки соорудил стенные часы из кастрюль и картона еще до нашего прибытия, добыл всякими неправдами тоже нож и маленький подпилок, потому что нам запрещены были все орудия, наносящие смерть, вследствие чего нам не давали ни ножей, ни вилок; даже кончики щипцов были обломаны. Он начал с устройства токарного станка, необходимого для устройства часов. С такими ничтожными средствами, посреди бесчисленных лишений и препятствий от праздных и любопытных зрителей, он сделал часы, соответственные его идее, и подарил их à m-me Mouravieff в благодарность за ее внимание к его труду, в благодарность за выписку полного часового инструмента, даже без его ведома. Комендант Лепарский, сочувствуя делу и ослабляя постепенно строгую инструкцию, позволил брату Николаю пользоваться инструментами.[1]

Настало время нашего переселения из Читы в Петровск. Получены известия, что полуказарма уже почти готова; другая половина определена была под сад (см. план). Мы выступили из Читы в двух отрядах: первый под начальством плац-майора Лепарского (племянника коменданта), второй под личным начальством самого Лепарского, 1830 года августа 7 числа, в ненастную погоду. Мы запаслись записными книжками, карандашами и перьями для записывания впечатлений — и все книги и бумаги пришли в Петровск безукоризненно чистыми. Делая каждый день переход в 30 и более верст пешком, нам оставалось едва столько времени, чтоб поесть, отдохнуть и, полюбовавшись природою, спешить поскорее уснуть, чтоб с рассветом готовиться в новый путь. Я бы хотел, чтоб рецензенты, так строго судившие брата Александра, — не в наказание, а хотя для того, чтоб быть справедливыми в их суждениях, — хотел бы, чтобы они сами испытали, как брат Александр ‹мог› писать после 40-верстного перехода, с голодным

желудком, в дождь, на бивуаке, под буркою, как ему часто приводилось.

M-mes Розен и Юшневская обрадовали мужей своим прибытием почти на полдороге. Наконец, после 46 дней, проведенных в пути, в 21-й переход мы прибыли в Петровск. Нас ввели на обширный двор. Мы побежали осмотреть будущие наши жилища и возвратились назад с грустью в душе. В Чите нам было жутко: мы жили там, как селедки в боченке, но все-таки по-человечески; здесь нас обрекали, как скотов, жить в мрачных стойлах. Из приложенного рисунка вы увидите расположение номеров нашего каземата, состоявшего из 12 отделений по 5 и 6 отдельных комнат и общего коридора, из которого проникал какой-то мрачный полусвет чрез небольшое окно над дверью. Наши дамы подняли в письмах такую тревогу в Петербурге, что, наконец, разрешено прорубить окна на улицу в каждом номере. Но какие это были окна! Многие из нас, в том числе и ваш покорный слуга, расстроили и чуть вовсе не потеряли зрение.[1]

Я позабыл Вам сказать, что, за несколько месяцев до отправления в Читу, милостивым манифестом с нас сняли железа,[2] т. е. нас избавили от телесного наказания, на которое, по закону, не имели права осуждать.[3]

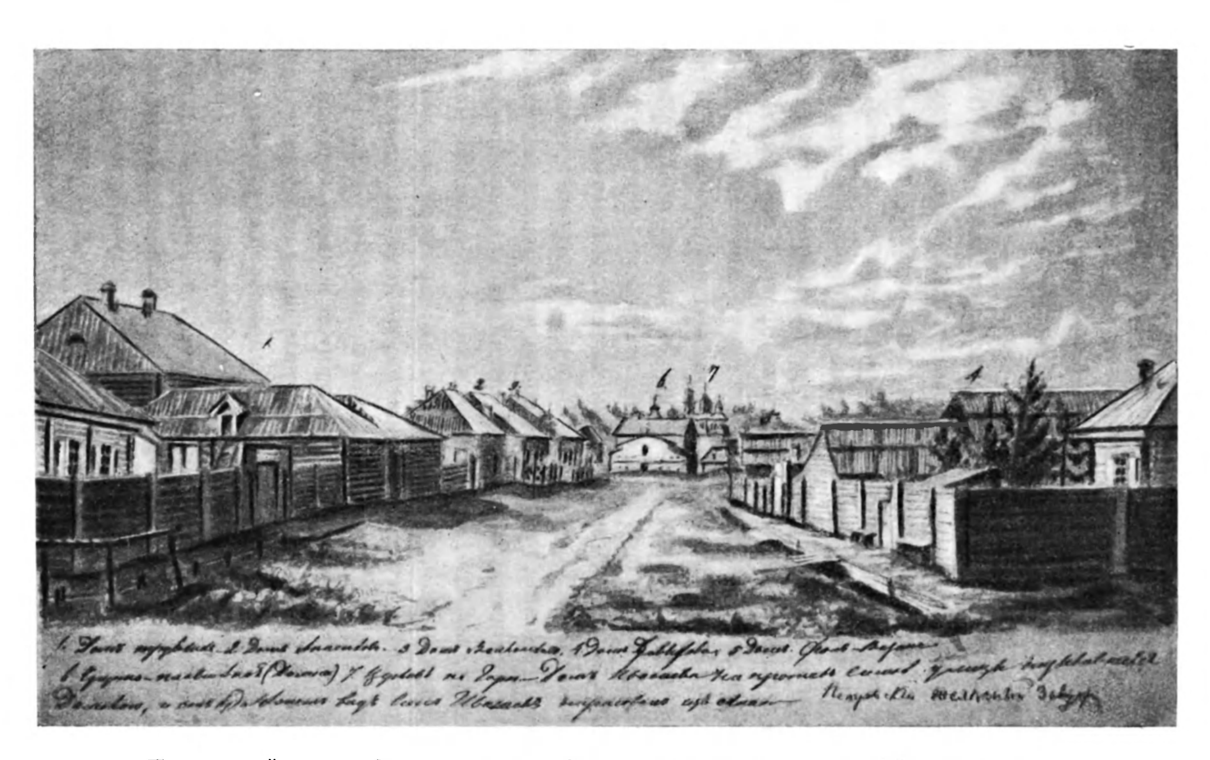
Манифест (тоже милостивый) при чтении сентенции был еще курьезнее: там вечная ссылка в каторжную работу уменьшалась на 20 лет, когда простых ссыльных более как на 20 лет никогда не осуждали: после 20-летней работы они поступали на поселение. Нам с братом особенно посчастливилось: мы помещены были во второй раз с головы, т. е. на 20 лет; милостивый манифест в Чите убавлял двум разрядам по 5 лет работы; нас (за отличие вероятно) произвели в 1 разряд и поставили с конца последними, т. е. перенесли грань разрядов только на две строки, и за эту милость мы просидели вместо десяти — пятнадцать тяжких годов. Не правда ли, оригинальная милость?..

Нас разместили по нумерам — где по одному, где по два человека. Эта неизбежная мера, по недостатку помещения, не менее того была причиною некоторого рода негодования на коменданта. Всем хотелось иметь особый уголок: так всем надоела казарменная общая жизнь, лишающая возможности заниматься. Все осыпали коменданта упреками, иногда очень жестокими, и он, с обычной добротою, снисходил вспыльчивой щекотливости затворников. «Grondez-moi, messieurs, faites-moi vos réprimandes en francais, puisque, voyez-vous, les sentinelles peuvent entendre et faire le dénoncement».* Или иногда говорил: «Позвольте, мне теперь некогда: приходите лучше ко мне: мы затворим двери, и тогда браните меня сколько вам угодно». Добрый старикашка! Мы его звали: не могу, потому что все ответы его на просьбы начинались этою фразою, но почти всегда кончались тем, что он соглашался. Но согласие он давал после долгой комбинации[1] (его фраза) с инструкцией или с законами, которые он расправлял и прилаживал на ложе Прокруста.

По мере того, как разъезжались наши товарищи, осужденные на меньшие сроки, нам становилось просторнее: все бросились на занятия, соответствующие склонностям каждого. Строгие меры мало-помалу ослаблялись: тюремщики наши убедились, что мы их бережем для собственной же выгоды, и смотрели сквозь пальцы на все émencipens,** которые росли довольно быстро, хотя в строгой последовательности. У нас завелись перья, чернила, бумага; книг уже было вдоволь, журналов и газет даже слишком. Завелись литературные вечера, ученые лекции и диспуты. Дамам еще не позволено было жить в своих домах, да и домы не у всех были выстроены, следовательно, они жили с мужьями в общем с нами каземате и оживляли своим присутствием однообразие нашей тюремной

* Браните меня, упрекайте меня, но только по-французски, потому что, видите ли, служащие могут услышать и донести.

** Вольности.



Петровский завод. Дамская улица. Рисунок В. П. Ивашева. 1831—1835 гг.

жизни. Явилась мода читать в их присутствии, при собрании близкого кружка, образовавшегося около каждого женатого семейства, литературные произведения не слишком сурьезного содержания, и то была самая цветущая эпоха стихотворений, повестей, рассказов и мемуаров. Тогда были написаны те повести, которые недавно напечатаны с именем брата Николая, и многие другие, уничтоженные при периодических мерах строгости или при других обстоятельствах. Тогда же был написан целый ряд морских повестей, из коих самые лучшие были сожжены Мухановым при домовом обыске полиции на поселении, по доносу одного чиновника. Все они были отданы ему, как многие сочинения брата Николая, для напечатания, и все посвящены были брату Александру. Черновые мы сохранять боялись от казематских обысков, и так все они погрузились в Лету. У меня теперь сохранились черновые трех повестей, отданные при отъезде на поселение Торсону; но они уже потеряли цену современного колорита.

Брат Николай, уже значительно разбогатевший инструментами всякого рода, продолжал механические занятия, и, наконец, многие, и в том числе и я, набивши оскомину от чтения и письма, последовали его примеру.

Попросите у сестры Елены внутренний вид наших казематских комнат. В одном из них, именно брата Николая, Вы увидите, как мы ухитрялись, чтоб воспользоваться малою толикою света, проникавшего к нам через скважину которая у нас называлась окном. Такие подмостки устраивали все, кому нужен был свет и кому дорого было зрение. Под руководством брата мы сделались искусными слесарями и золотых дел мастерами, токарями и литейщиками. Я попеременно переходил от одного мастерства к другому и изучил, под руководством и других товарищей, и даже простых заводских мастеров, различные мастерства, как-то: портняжное, сапожное, башмачное, кузнечное, слесарное, токарное, переплетное, картонажное и золотых дел мастерство.[1] Мы делали и посылали

сестрам и нашим дамам, и дамам сибирским разные милые вещицы. Особенно делали много колец из наших желез, подложенных золотом. Это мода в Сибири так усилилась, требование на кольца так возросло, что явились промышленники и образовалась особенная отрасль торговли — подложными кольцами.

Наконец, все женатые выстроили домы, которыми была застроена целая улица, названная по их присутствию Дамскою. Вы увидите эту улицу в приложенном рисунке. Тут многих домов нет, потому что они стояли в других улицах. Мужьям их позволено было жить постоянно с женами в домах. Нам еще более стало просторнее; но каземат опустел: он принял характер настоящей тюрьмы, и мы отводили скуку, временно посещая женатых.[1]

Администрацию собственно нашего внутреннего управления составлял совет трех лиц, ежегодно выбираемых по всеобщему большинству голосов из среды живущих в каземате. Эти лица были: хозяин, закупщик и казначей. Первый заведывал всею хозяйственною частию нашего казематского семейства: на его обязанности лежала главная забота о продовольствии и столе; закупщик исполнял все поручения по закупу предметов по лавкам и вообще вне каземата; казначей выдавал деньги и вел валовой и частный счет каждого лица. Но так как денег нам не позволено было иметь на руках, то платеж производился посредством выписки через казначея. Два раза в неделю он составлял, вместе с горным казначейским писарем, валовой и розничный счет, и по этому счету все лица получали деньги. Сношения наши с родными уже установились довольно правильно через дам; большая часть из нас получала денежные пособия, которые почти все поступали в общую кассу и распределялись поровну на всех. Хозяин, ежели обстоятельства позволяли, делал экономию из годовой суммы, ассигнуемой на пищу и прочее, и из этих остатков уделяли довольно значительные пособия отправляющимся на поселение. Из уважения к постоянным занятиям брата Николая,

его избавляли во все время нашего пребывания в Петровске от должностей; я был два года казначеем. Хозяин и закупщик имели право свободного выхода из каземата: хозяин во всякое время, закупщик — два раза в неделю. В Чите, когда еще метла строгостей была нова, наше хозяйство шло очень худо, выходило много, а толку было мало. Когда выстроили кухню и отделили место под огород, выбирался только хозяин и огородник. Нам дозволено было впоследствии получать и посылки; но нас бесстыдно грабили иркутские чиновники, через руки которых переходили посылаемые вещи. Так, мы получили какое-то подобие часов вместо прекрасных золотых, посланных нам после смерти брата Александра. Так, например, Александр Муравьев получил старую изношенную шапку вместо бобровой. Белье мы получали часто лазаретное; шляпки, головной и прочий дамский убор — или замененный, или страшно поношенный. Но что хуже и этого, так это — отделение от посылок части, так что остальная, болтаясь и трясясь в опустелых ящиках, доходила до нас в верешках или хлопках. Участи этой постоянно подвергалась посуда Трубецких. А однажды мы с братом присутствовали при курьезной сцене у Ивашева: когда откупоривалась давно ожидаемая ими посылка с дамскими и детскими кружевными уборами, лентами, оборками и проч., с редкими рисунками и видами — в одном ящике, по поводу чего и был приглашен брат Николай, чтоб полюбоваться живописью и полакомиться крымскими яблоками, присылаемыми в особом ящике, — нас удивило, что вместо двух ящиков явился один: укупорка была новая; когда вскрыли ящик, нас поразила какая-то безобразная масса в роде яблочного компота: ленточки, кружева, перчатки, клочки мятых рисунков торчали в беспорядке из этого бурого комка. Вы догадаетесь, каким процессом дошли до подобной комбинации: отполовинили из обоих ящиков и потом свалили все в один.

Обычная оговорка в подобных случаях обозначалась в официальных бумагах, прилагаемых при посылках, ‹и› гласила

тако: «разбившаяся в дороге укупорка заменена новою, за которую просят взыскать и выслать следующие деньги — столько-то».[1]

Нам долгих и многих трудов стоило уговорить старого коменданта позволить учить детей и таким образом, делая пользу, занять и себя, употребляя благодетельно время, нас тяготившее. Постоянное «не могу» было ответом. Наконец, дело уладилось: придумали законную лазейку, так чтоб и волки были сыты, и овцы целы. Он согласился на обучение детей церковному пению. Вследствие такого распоряжения, Свистунов и Крюков (Николай), отличные музыканты и певцы, составили прекрасный хор певчих, а как нельзя петь, не зная грамоте, то разрешено учить читать (только). Мы с братом взяли на себя обучение, и дело пошло так хорошо, что многие дети горных чиновников поступили первыми в высшие классы Горного института и других заведений.

Для работ устроена была для нас мельница с ручными жерновами, на которой, ежели нам было угодно, то мололи для моциона. В Чите нас водили на земляную работу, но это была только приятная прогулка: мы выходили с книгами в руках и располагались под тенью для чтения. Охотники ровняли дорогу или на тачках Чортову могилу (см. план Читы).

Но — go away, go away: * я боюсь истощить время и терпение Ваше.

Наступил 1840 год.[2] В июле прибыл к нам адъютант генерал-губернатора Руперта, Яков Иванович Безносиков, — и весь первый разряд, более нежели на 30 повозках, тронулся из каземата, и в поднятой копытами лошадей пыли исчез Петровский завод.

В Хираузе, первой деревне от Петровска, весь разряд был разделен на большие партии. Мы отправились с Я. Ив. Без-

---

* **Вперед, вперед!**

носиковым, прекрасным молодым юношею, тогда поэтом, впоследствии — прозаиком-золотоискателем, а теперь — управляющим пароходным сообщением через Байкал. В пятый день мы прибыли в Чертовкину деревню, на устье Селенги, в самый разгар лова омулей. Тут мы пробыли две недели, пока наши товарищи отправлялись за море, в Иркутск. Жили мы на одной квартире с Безносиковым, потому что очень его полюбили, и тут брат нарисовал его портрет в день очень замечательного по силе землетрясения, а Безносиков посвятил нам на прощанье премилое стихотворение.

Когда все разъехались, мы с братом отправились в деревню Посольскую, где стоит Посольский монастырь и где назначено было временное наше поселение до окончательного разрешения жить в Селенгинске. Перед исходом нашего срока каторжной работы матушка и сестра Елена Александровна выхлопотали позволение на наше поселение в Кургане, но мы просились в Селенгинск, чтоб жить вместе с Торсоновыми, и эта-то перемена, которую мы получили с большим затруднением — потому именно, я думаю, что мы просили, — и была причиною временного нашего помещения в Посольске.

В конце сентября позволение, наконец, пришло, и мы переехали в Селенгинск.

IV

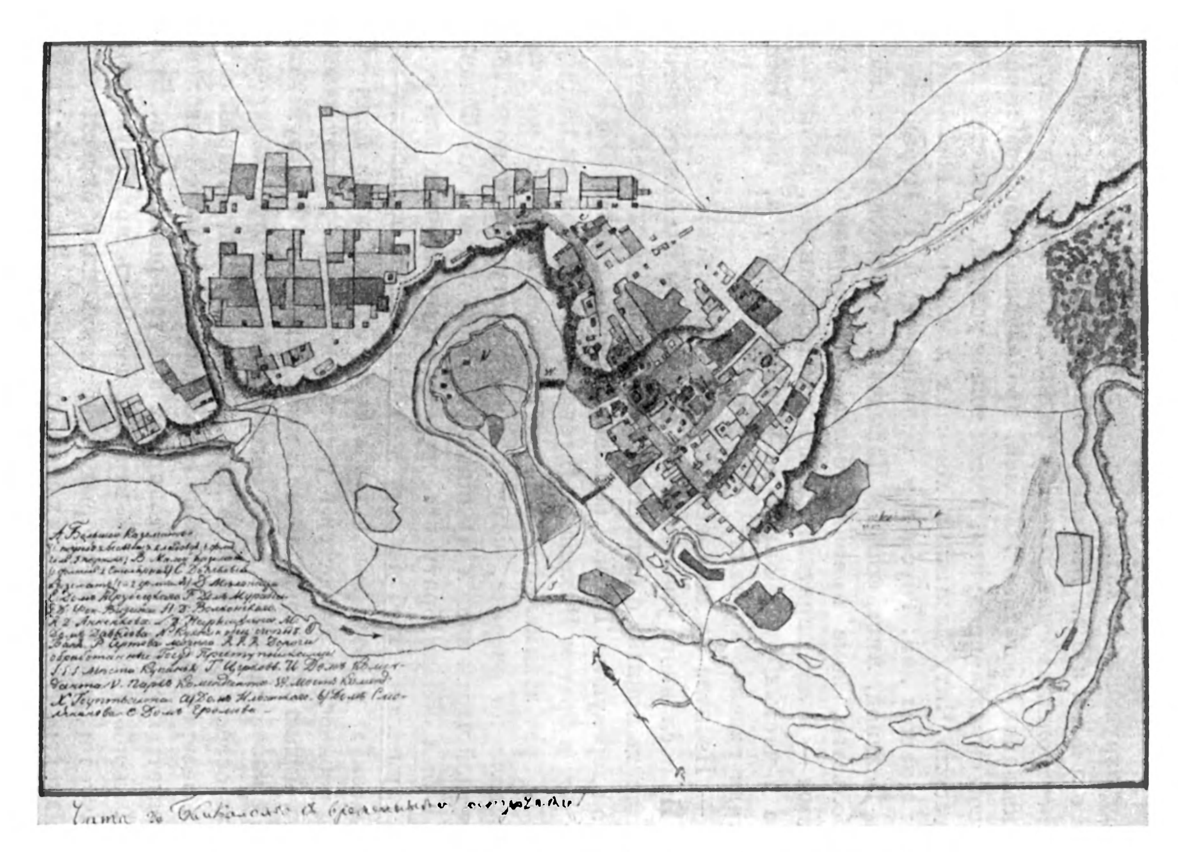
ЧИТА И ПЕТРОВСК

(Дополнительные ответы)

1

(Описание Читы и Петровска в эпоху приезда, выезда и теперь)

В эпоху прибытия нашего в Читу это была маленькая деревушка заводского ведомства, состоявшая из нескольких



Чита. План острога. Акварель П. И. Фаленберга. 1827—1830 гг.

полуразрушенных хат. Управителем был горный чиновник Смолянинов. Жители по общему обычаю всех сибиряков-старожилов были ленивы и бедны. Наше почти трехлетнее пребывание обогатило жителей, продававших дорогою ценою и свои скудные продукты, и свои тощие услуги, и вместе с тем украсило Читу десятками хороших домов как чиновничьих, так и наших дам: Трубецкой, Волконской, А. Г. Муравьевой, фон-Визиной, Анненковой и Давыдовой. У жителей появилось довольство, дома приняли более благообразный вид, костюмы — более опрятный, и, прежде оборванные, ребятишки уже в чистых рубашонках не чуждались нас, а, напротив, завидя издали, кричали:

— Не надо ли шпионов (т. е. шампиньонов)?

Из посланного уменьшенного плана Читы Вы можете легко составить понятие о величине и местоположении этой ничтожной деревушки. План в большом размере снимал Фаленберг с братом Николаем. Я говорю — с братом, не потому, чтобы брат занимался собственно съемкою: в ней все мы участвовали по очереди, кому хотелось прогуляться подальше заветной черты наших земляных работ, но потому, что Фаленберг был обязан брату в сооружении необходимых для сего инструментов. Чтоб достичь до возможности произвести эту сурьезную работу, мы должны были пройти через длинный ряд ребяческих хитростей и уверток, чтоб мало-помалу завоевать право или позволение иметь некоторые инструменты. Но в казематах иметь их не позволялось. Для этого выстроено было особое помещение на дворе того каземата, который служил лазаретом, и там только некоторым лицам было позволено заниматься слесарным, столярным или токарным делом. Брат и Фаленберг с целью, во-первых, доставить приятную прогулку товарищам, во-вторых, чтоб снять план окрестностей и, наконец, чтоб снять с них виды, уговорили Лепарского позволить им попытать свои силы в приготовлении необходимых для сего орудий. Комендант, может быть, с верным расчетом в неудаче, дал позволение — и ошибся; инструменты сде-

ланы были прекрасно; все принадлежности тоже, и он, осматривая их лично, по необходимости согласился, чтоб они были употреблены для предполагаемой цели. Но через какой лабиринт трудов, затруднений и терпения должны были они пройти, чтоб достигнуть желанного результата? Вы сами, не ошибаясь, можете проследить историю каждой дарованной нам льготы, если вы постоянно будете представлять в своем воображении борьбу настойчивой воли в неволе с добротою коменданта, подчиненного страшной ответственности за послабления и желавшего все нарушенные строгости инструкции юридически оправдать законом или хоть, по возможности, оставить для себя лазейку. Брат составил очень хорошую коллекцию видов прекрасных окрестностей Читы; но он почти все раздарил разным лицам, так что у него сохранились в последнее время только три вида, и то в копии, из числа тех, которые остались у Лепарского после смерти его в Петровском заводе.

По отбытии нашем жители Читы, привыкшие к легкому приобретению денег, скоро впали в бедность, еще большую прежней: лень пошла об руку с пьянством, — итак, прогрессивно упадая, они дожили до той эпохи, когда их бедная деревушка была переименована в областной город Забайкальского края; сами они переименованы в казаков и выселены в Атамановку, в 12 верстах от Читы. Поистине, должно признаться в весьма неудачном выборе места для главного пункта областного правления. Основная идея, увлекшая Н. Н. Муравьева в избрании этого места, была — сделать Читу складочным торговым городом между Иркутском и Амуром. Он тогда слепо верил в возможность водного сообщения этих двух пунктов посредством рек: Шилки, Онона, Читы, Хилка, Селенги и озера Байкала. Небольшой переволок от верховьев Читы до верховьев Хилка его не останавливал. Время доказало несбыточность предположения: пароходы едва подымаются до Сретенска,[1] и только в прошлую навигацию пароход «Козакевич» с трудом поднялся до Нерчинска. Только при весенних

разливах этот водный путь имеет достаточно воды для плавания; но зато страшная быстрина в самых опасных местах будет непреодолимою помехой. В первое наше свидание с Н. Н. Муравьевым мы трое (тогда еще жив был Торсон) долго и безуспешно старались отвратить его от намерения основать в Чите главный город области; des idées arretèes * восторжествовали: указ был подписан, но указом города не строятся. Значительные льготы, учреждение ярмарки, личные убеждения генерал-губернатора, обращенные к сибирским купцам, — ничего не помогло. Уничтожьте указом в Чите областное управление, и через год этот город представит картину разрушения казенных зданий и домов чиновничества. Ежели со временем торговля амурская разовьется, главным складочным пунктом сделается или Шилкинский завод, или (что вероятнее) Сретенск, и все-таки путь торговый не пойдет на Читу, дороги которой до Нерчинска ужасно гористы, а до Верхнеудинска — пустынны и топки. Торговый путь пойдет зимою по рекам вверх до Хилоцкого переволока, а потом Хилком, Селенгою, Байкалом до Иркутска, и, вероятно, пойдет помощью ледоходов, как уже это делается в Америке и чему делаются опыты и на Амуре.[1]

О путешествии нашем из Читы в Петровский Завод можно только сказать, что оно было для нас очень приятно и полезно относительно нашего здоровья. Тут мы запаслись новыми силами на многие годы. Погода стояла прекрасная; переходы не утомительны, тем более, что через два дня в третий мы отдыхали на дневках. Мы были разделены на две партии: первая под начальством племянника Лепарского, обязанного жизнью Вольфу и потому признательного и даже до слабости снисходительного ко всем нам; вторую начальствовал сам комендант. Каждая из партий разделялась на юрты, по четыре и по пяти человек, помещавшихся всегда вместе и в юртах — на бурятских степях, и в домах деревень, про-

* Предвзятые идеи.

ходимых нами. Нашу с братом юрту дополняли Розен, Торсон и Громницкий, ученик брата по всем возможным мастерствам. Розен был назначен хозяином нашей второй партии и всегда отправлялся на подводе вперед за переход — приготовлять обед, так что по прибытии на место мы уже находили готовое назначение к размещению по юртам и приготовленный обед. Наша юрта, состоявшая почти все из мастеровых, была в материальном отношении лучше всех снабжена всеми удобствами путевой жизни. У нас были сделаны собственными руками нашими и складные кровати, и стол, и стулья, и походный погребец, уютно вмещавший все необходимое для стола и чаю. Все наши тяжести везлись на подводах, на которые нам позволялось садиться для отдыха, и чем редко кто пользовался. На пол-переходе привал для завтрака. Этот поход ознаменовался прибытием двух наших дам: Марии Казимировны Юшневской и Анны Васильевны Розен.

Предоставляю Вам судить о нашем положении, когда, после такой привольной жизни, нас заперли в темные стойла Петровского каземата. Не стану повторять историю милостивого разрешения о пропуске нескольких лучей в наши конюшни, ни образа жизни нашей в них. Я уже об этом писал Вам. Скажу несколько слов в ответ на вопрос Ваш о Петровском Заводе. Он нисколько не отличался от всех сибирских заводов, назначенных быть каторгою преступникам, и где приписные к заводу крестьяне обречены на участь, еще горшую каторжной. Не подумайте, чтоб я преувеличивал: нет, это истина. Каторжный, осужденный на известное число лет работы, ежели он вел себя добропорядочно, почти всегда имел возможность избежать работы, нанимаясь как мастеровой или даже как простой работник у заводских чиновников. По истечении срока каторжной работы его приписывают как поселенца к волости, и по прошествии пяти лет безукоризненной жизни он имеет право приписаться в город как мещанин и потом, получа гильдейский билет, торговать наравне со всеми

купцами. А отверженное племя крестьян и горнозаводских служителей обречено с колыбели до совершенного истощения сил оставаться или угольщиком, или дровосеком, или кузнецом, — и участь его тем более горестна, чем он трудолюбивее и прилежнее на работе. Я видел собственными глазами, как 75-летний седой старик (Старченко), слесарь, умер или, точнее, угас, работая у своих тисков. Этот старик был мой учитель по литейной и чернедевой работе, и, несмотря на мое ходатайство у начальников завода, с которыми мы были дружны, они ничего не могли для него сделать.

Наше присутствие в заводе имело благодетельное влияние на укрощение буйного произвола начальствующих, произвола, повсеместно заменявшего все божеские и человеческие законы и каравшего заводского служителя наравне с кандальником. Злоупотребления, укрывавшиеся от Лепарского, доходили до нас прямым путем или через прислугу нашу, всю составленную из каторжных. И зато какою чистосердечною привязанностью, какою бескорыстною любовью платили нам эти отверженцы общества! В продолжение всей нашей петровской жизни никто из прислуги не погрешил против нас ни словом, ни делом. Несмотря на сотни кандальников, работавших в первые годы внутри каземата, у нас не было слуху о пропаже нам принадлежавшего, когда они имели к тому тысячи случаев. И какую интересную психологическую историю преступлений можно было бы написать из их откровенных рассказов, тем более, что они пред нами не имели никакой надобности маскироваться и выливали свою душу. Без сомнения, нет правила без исключений; но бóльшая часть преступлений была вынуждена порочным устройством нашего общества: то были жертвы бесчеловечия помещиков или начальников, то отчаяния оскорбленного отца, мужа или жениха, то случайного разгула русской природы, и еще чаще — произвола нашего бессовестного и бестолкового суда. Наш повар, крымский татарин Салик (возвращенный впоследствии на родину

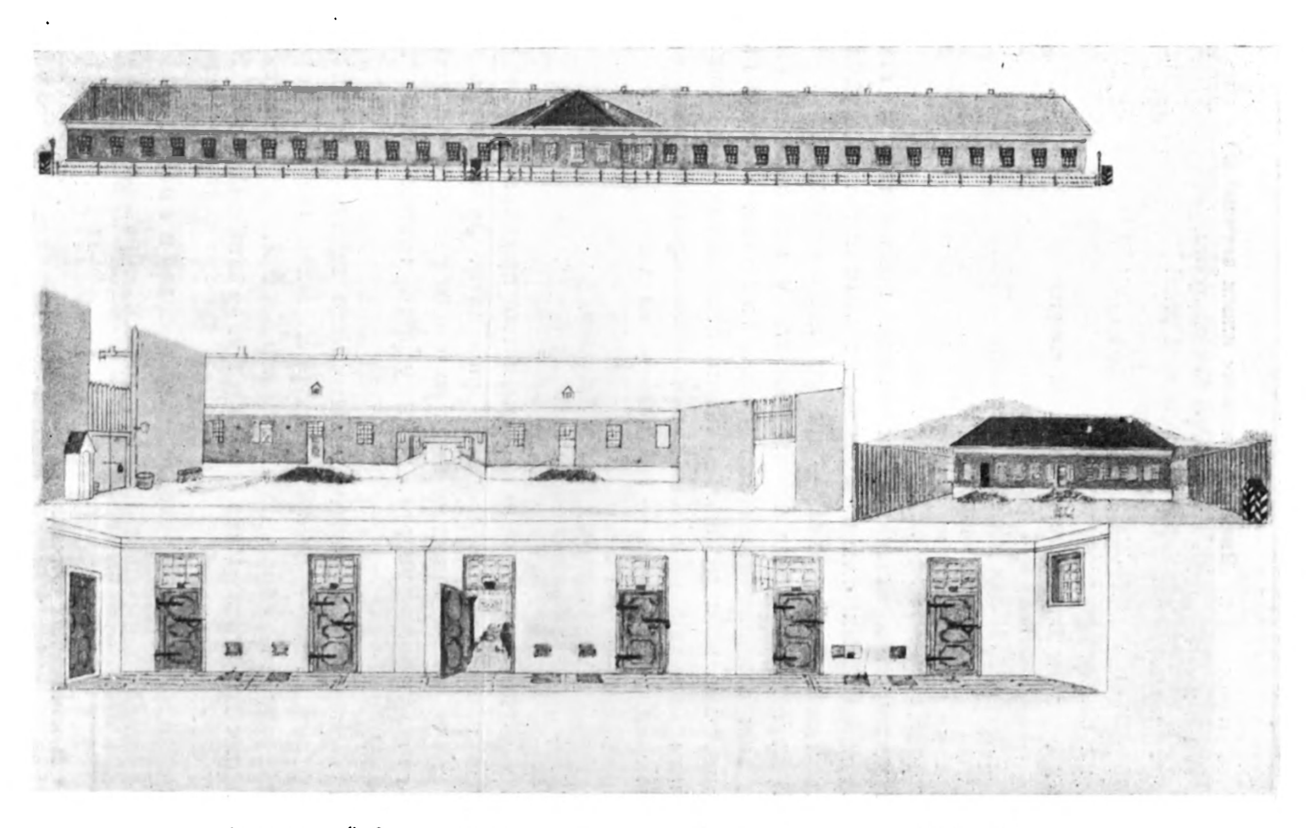
по ходатайству княгини Зинаиды Волконской лично у государя), был сослан за то, что оказался виновным в случайном присутствии при убийстве; крестьянин Ивашева, Малышев, служивший в жандармах, обладавший необычайною силою, был сослан на каторгу за то, что хмельной, заснув крепко, оттолкнул неосторожно вахмистра, который его будил на службу. (Он до самого конца нашего пребывания в Петровске служил и работал, как паровая машина в десять лошадиных сил, у своего барина, Ивашева). У нас был в услужении кандальник Степан Жилкин, выпросившийся с нами даже в Селенгинск; он был сослан в каторгу за то, что, встретясь в лесу с попом, который ограбил его, взяв за свадьбу последние деньги, начал его упрекать в жадности, приведшей его к нищете, и когда тот отвечал ругательствами и лез драться, оттолкнул его так сильно, что поп, ударившись о пень головою, испустил дух. Он так был привязан к нам, что, когда надо было, наконец, его возвратить в Петровский завод, он, на другой день по прибытии на место, бежал и как в воду канул. Через два года брат Николай, в бытность свою в Иркутске, встретился с ним на улице, которую равняла партия кандальников. Жилкин узнал брата, подбежал к нему и поклонился ему до лица земли. Брат исходатайствовал ему позволение вступить в рабочий ремесленный дом, снабдил его необходимыми инструментами, и он скоро сделался прилежный и зажиточный мастеровой.

Первым из горных инженеров, управляющим Петровским заводом был назначен А. И. Арсеньев, человек прямой, бескорыстный, честный и благонамеренный. Мы все с ним очень сблизились, а особенно мы с братом. Редкий день проходил, чтоб он не навещал нас в каземате или чтоб мы не посещали его. Посреди нас — он был наш; мы и он делили пополам и радость и горе. Он был истинный отец для служителей и кандальников, ввел многие улучшения и первый доказал, что из петровского чугуна можно делать железо не хуже луч-

шего шведского. В его успехах и неудачах мы брали живейшее участие, и ничего он не предпринимал, не посоветовавшись с нами, а особенно с братом. Наши импровизованные обеды, ужины, сельские пикники и его, как мы называли, лукулловские пиры мы проводили очень весело вместе; а комендант, полюбивший его тоже, доверчиво и снисходительно смотрел на наши сношения с ним и дозволял ему свободно посещать нас во всякое время, даже поздно вечером, и нам посещать его, равно как и все его мастерские. В это время Лепарский пристрастился к минералогии, разорялся на покупку камней и хотя, уверенный в непогрешительности своего знания, обогащал плутов покупкою редких минералогических экземпляров, но всегда отдавал покупки свои на суд или брата, или Арсеньева. Ни тот, ни другой не могли его убедить в заблуждении и, наконец, чтоб не огорчать старика, должны были находить небывалые качества минералов или редких каменьев.

Арсеньев носил между нами название «отца природы», по поводу ужасной галиматьи, в виде просьбы, поданной одним унтер-шехмейстером на имя А. И. Арсеньева, которая начиналась этим титулом. Когда Чевкин, посетив завод, пожелал, чтоб Арсеньев объехал все Уральские заводы и тогда приступил к предполагаемым преобразованиям, мы точно стосковались в его отсутствие; но, узнав о его возвращении, приготовили ему оригинальный прием. Был уже 12-й час вечера, когда он, едва успев переодеться, прибежал к нам с братом и бросился лобызать всех собравшихся. Но мы с непоколебимою сурьезностью уклонились от его дружеских излияний и запели хором гимн на голос: «Ты возвратился, благодатный», петый некогда m-me Каталани Александру I:

Ты возвратился, наш отец природы,
Всех управляющих венец,
И, облетев Уральские заводы,
В Петровск приехал наконец.



Петровский Завод. Каземат. Акварель Н. А. Бестужева. 1830—1839 гг.

Внемли ж веселья клики звучны! (2)
О, сколько мы благополучны,
Узрев природы всей отца!
Ура, ура, ура!
Узрев природы всей отца!

В прекрасной северной столице
Тебя луч славы озарил,
И для ношения в петлице
Ты Станислава получил.
Внемли ж, и проч.

Комизм этой неожиданной сцены, применение к нему импровизованных стихов, когда он их слышал петых другому, имел успешный результат — все мы много смеялись.

В другой раз, когда мы праздновали у него день его именин, наш доморощенный хор пропел ему гимн en vers burlesques,* где воспевались его административные и сердечные подвиги и где каждый куплет заканчивался припевом на голос: «Александр, Елизавета — восхищаете вы нас»:

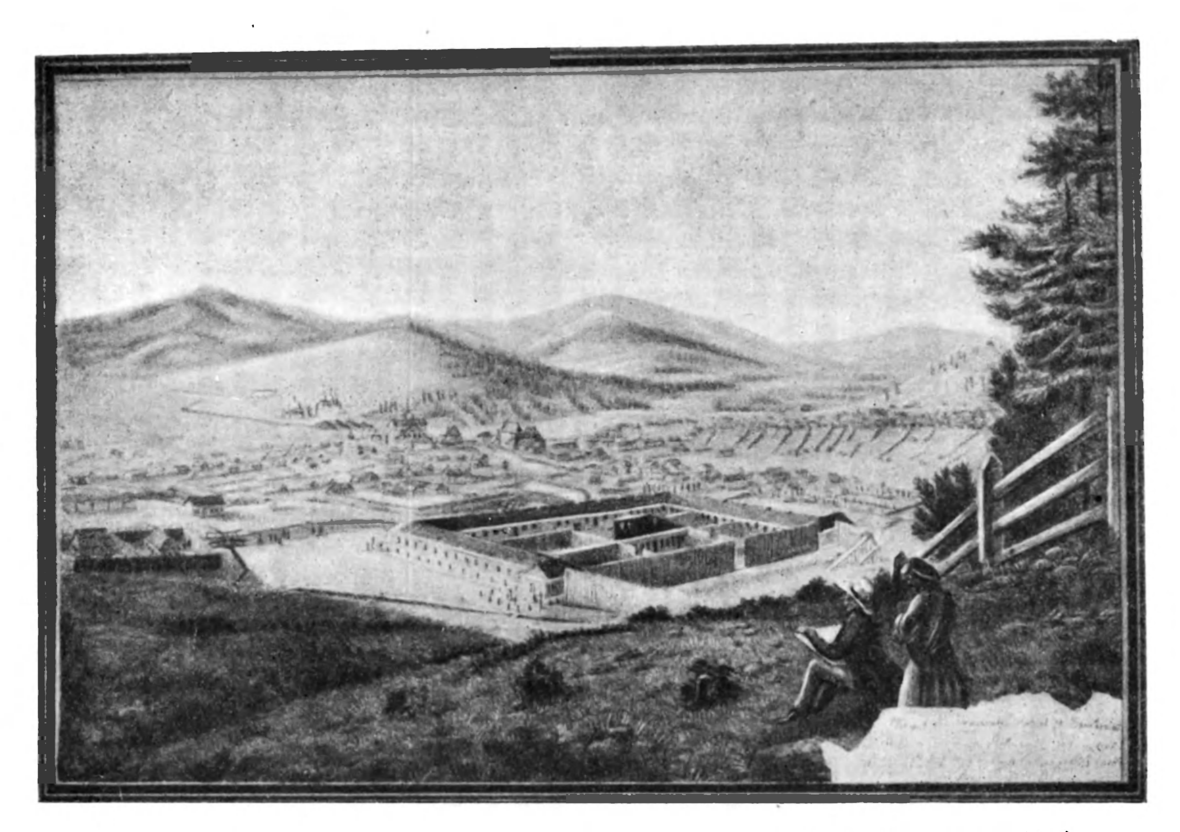
Александр Ильич Арсеньев,
Восхищаете вы нас.

Наше дружеское с ним знакомство продолжалось и по выезде нашем на поселение в Селенгинск. Он нас часто посещал, а когда праздновал свою свадьбу с дочерью генерал-губернатора Руперта, то я у него гостил целые три недели.[1]

По смерти Лепарского на его место прислали жандармского полковника Р е б и н д е р а. Плац-майора Лепарского заместил майор К а з и м и р с к и й, а адъютанта, немецкого иезуита Р о з е н б е р г а, — штабс-капитан Б а р а н о в.

Ребиндер был осторожно-хитрый человек и с начала своего управления попытался переменить тон обращения с нами,

* В комических стихах.



Петровский Завод. Общий вид с птичьего полета. Акварель Н. А. Бестужева. 1834 г.

но ему очень чувствительно дали заметить неприличие такой попытки, и он наладил свои поступки в тон камертона Лепарского и до конца выдержал свою ролю, ежели это не было его душевное побуждение. Он стал с нами на ногу товарищества, часто посещал женатых, казематских и почти каждый день приглашал нас к своему обеду.[1] Казимирский был человек в полном смысле открыто благородный и заслужил всеобщую приязнь, несмотря на свой голубой мундир. Брат и я пользовались особым его расположением, часто бывали у него и продолжали знакомство с ним и на поселении. Из некоторых писем, писанных им к брату Николаю и отосланных мною к вам, вы познакомитесь несколько с ним. По его усиленным просьбам, брат ездил в последний раз в Иркутск для свидания с ним, когда он, как окружной жандармский генерал, объезжая по обязанности службы, пытался трижды переправиться через Байкал и был остановлен бурями. Эта поездка стоила брату жизни: он простудился при весенних ветрах Иркутска, добавил простуду на 60-верстном переезде по льду Байкала, уступив свою повозку бедному семейству К и р е н с к о г о, назначенного по его ходатайству нам в городничие, скрывая долго уже развившуюся болезнь от нас, и умер, отказываясь принимать лекарства. После его стоически-твердой борьбы с судьбою-мачехой он, казалось, утомился жизнью и жаждал смерти.[2]

2

(Какие газеты и журналы выписывались всеми вами?)

Не помню, но, кажется, я Вам упоминал выше, что в Чите мы почти не читали никаких газет. В паровике нашего казематского общества бурлили пары, сжатые высоким давлением; машинисты-тюремщики еще не ознакомились с управлением такой паровой машины, которая грозила им каждую минуту страшным взрывом, и потому они боялись подливать масло

на огонь. К нам доходили контрабандою некоторые листы «Инвалида», но и те были вскоре запрещены после гимнов за упокой Марии Феодоровны. Корреспонденция с нашими родными, через посредство наших дам, только что завязывалась; многие из нас уже начали получать и деньги и посылки, но книг еще присылали мало: надо было сперва удовлетворить физическим потребностям — нам надо было иметь одежду, обувь; мастеровых в Чите совсем не было или были, но так плохи, так ленивы и пьяны, что, отдавши им скудные запасы наших материалов, мы все-таки оставались без одежды, и потому мы составили цехи разных мастеровых, например портных, сапожников, столяров. Мы с братом, Торсон и Розен были портными. Таким образом, большая часть времени у нас поглощалась материальными занятиями, а при скудном освещении вечером и при постоянном шуме брящающих железет от perpetuum mobile * живых существ, при постоянном гуле vivos vocos,[1] при утомлении от дневных трудов за иголкою, — трудно было заниматься чтением, тем более, что зимние дни были коротки и с девяти часов нас запирали на замок до рассвета. Но все-таки запас книг, и книг очень дельных, был очень велик. Он составился и был пущен в общее пользование из всего, что было привезено каждым из нас и что было получено нашими дамами по назначению их мужей.

В Петровском Заводе мы зажили совсем другою жизнию. Сношение наше с родными уже упрочилось; постоянная переписка чрез дам дала нам возможность не только получать постоянные пособия в деньгах для материального существования, но доставляла обильную пищу для ума. Мы с общего согласия выписывали чрез наших родных и самые замечательные современные литературные и политические произведения, и самые лучшие периодические журналы и газеты, как иностранные, так и русские. Все, что в то время

---

* Вечное движение.

писалось и издавалось в России замечательного; все, что печаталось за границею стоящего чтения, как в отдельных сочинениях, так и в периодических, мы все получали без изъятия. Петровский завод многочисленностью своих мастеровых избавил нас от материальных занятий, и мы погрузились с наслаждением в волны умственного океана, чуть не захлебнувшись им.

Не стану Вам исчислять книг нашего обширного каталога; упомяну только о тех периодических изданиях, которые сохранились в моей памяти. Все тогдашне-ограниченное число ежемесячных и еженедельных русских журналов и газет мы получали. Из иностранных: Revue Britanique, Revue de Paris, Revue des deux mondes, Revue industrielle, Revue du mécanicien, Revue téchnologique, Mécanicien anglais, Cabinet de lecture, L'illustration française, Journal pour rire, Journal des Débats, Indépendence Belge etc. etc.; Times, Quarterly review, Edinburgh review, Morning Post, Punch, English Illustration etc., etc. etc., Journal de Francfort, Journal de Hambourg, Allgemeine Zeitung, Preussische Zeitung etc., etc., etc., несколько польских и итальянских газет.

Это только часть тех периодических изданий, сохранившаяся в моей памяти, и потому вы можете судить о роскоши нашей умственной жизни касательно удовлетворения только современных событий. Чтоб все безобидно и своевременно могли пользоваться чтением газет и журналов, из среды нас избирался на год распорядитель чтения, который, получая почту, распределял время, потребное для прочтения каждого, составлял список читателей и присоединял его к каждому № журналов и газет. Каждый из нас обязан был, по прошествии урочного времени, передать № товарищу, означенному в списке. Этот порядок служил к немалому ослаблению нашего зрения.[1]

V
СЕЛЕНГИНСК

1
Селенгинск и его обитатели

(Селенгинск с 1839 по 1860 г., число жителей, домов, церквей, характеристические черты жизни его обитателей, удовольствия, исторический очерк города, были ли ссыльные до вас в нем, не сохранилось ли преданий о сыне Волынского в 1740 30 июня, о других ссыльных, равно о ссыльных Аннинских, Елизаветинских и Екатерининских времен?)

Удалые казаки, подарившие России Сибирь, без лекций в военной академии были замечательные стратеги, и вообще выбор стратегических пунктов, обеспечивавших завоевания, где они строили остроги, был всегда основан на разумном военном соображении. И Селингинский острог, единственный тогда пункт, обеспечивавший все занятое ими Забайкалье, был поставлен в месте, как нельзя более соответствующем этой цели. Как ближайший пункт к соседству неприязненных нам монголов, он хорошо защищен был сзади высоким хребтом гор, с фронта — глубокою Селенгою, слева — Чикоем, впадающим в Селенгу выше только в 5 верстах, и, наконец, справа — хребтами гор, подходящими почти к самому берегу Селенги. Верстах в 5 выше, почти против впадения Чикоя и там, где Селенга делает крутой поворот почти на восток, на вершине высокой скалы, на левом берегу реки, был у казаков сторожевой пост. Эта возвышенная местность, сохранившая и доселе название «караульного камня», дозволяла им обозревать далеко вверх по Чикою, вправо по Селенге и сзади открытое пространство, примыкавшее к Юнхорской степи, откуда можно было всего более ожидать нападения. По времени Селенгинский острог, как и все сибирские остроги, разросся и сделан городом гораздо прежде существования Верхне-

удинска. В нем сосредоточивалась вся административная власть Забайкальского края. Селенгинская ратуша заведывала обществом селенгинских мещан и мещан Троицкосавска, Удинского, Баргузинского и Ильинского острогов. Тут было пограничное правление, духовное и таможенное правление, большой запас артиллерийских снарядов, орудий и оружия, находился селенгинский гарнизон, Селенгинский полк (до 1799 г.), Екатеринбургский полк (частью), эскадрон драгун (до 1769 г.), конные карабинеры (частью, а остальные квартировали в Ильинской волости), полевая артиллерия (до 1790 г.) и гарнизонная артиллерия, остававшаяся до последнего времени, равно как и артиллерийский склад снарядов и орудий, между коими было много больших чугунных и медных шуваловских единорогов. Весь этот склад, по уничтожении гарнизонной артиллерии, распродан в лом с публичных торгов за бесценок, тогда как амурские дела имели надобность и в орудиях, и в снарядах. Спохватились, да поздно: и для Амура снаряды и орудия надо было везти из Москвы!?.. Чего стоил для народа провоз тяжелых орудий до Читы — это страшно сказать...

По прибытии нашем в Селенгинск на поселение (в октябре 1839 г.) этот, некогда столь значительный, город не имел вида даже порядочной деревушки. Едва можно было насчитать около 60 домов, в числе коих два-три <дома> главных купцов можно еще, с грехом пополам, назвать домами; остальные были полуразрушенные, полузасыпанные песком лачужки. Селенгинск отжил свой век: он выполнил предназначенную ему роль и сошел со сцены. Торговля с Китаем сосредоточилась в Кяхте, администрация перешла в Верхнеудинск, войска выведены, казенные здания распроданы на слом. И самая судьба, доселе к нему милостивая, отворотилась от него: Селенга начала подрывать его берег и отмыла целые улицы; горные потоки, при больших дождях, смывали здания, и песок, обнаженный от дерна, где прежде стояли казенные здания, засыпал дома жителей. Два страшные пожара в 1780 году

окончательно его доконали: первый, случившийся 4 апреля, истребил 278 частных домов, 60 купеческих лавок и 2 церкви; другой, в том же году в октябре, истребил остальное. Императрица Екатерина II ассигновала погорелым жителям на возведение храма и постройку города двухлетний сбор с кяхтинской торговли, что составляло, по-тогдашнему, значительную сумму, и предоставляла выбор нового места, ежели прежнее неудобно. Старики начали разводить умом: переходить или не переходить на новое место, и, хотя настоятельная необходимость перевести город на новое место была очевидна, но они положили решить этот казусный случай жеребьем — бросить рукавицу, и ежели она упадет пальцем в землю, то переходить, ежели же вверх — остаться. Рукавица упала пальцем вверх — и город начал снова выстраиваться на пожарище, смываемый, подмываемый водою и засыпаемый песком. Каменная церковь в два этажа, существующая и теперь в старом городе, очень прочной постройки и оригинальной архитектуры, была построена томским мещанином М а л ь ц о в ы м, который в контракте выговорил себе в вознаграждение за постройку 16 руб. медью, кусок синей дабы и 2 кирпича чаю в месяц. Подле самой церкви построили каменный гостиный двор с 20 лавками, уцелевший доселе, где только в двух лавках торгуют мелочники.

Наконец, мачеха-судьба, в образе рукавички предков, до того насолила потомкам, что они вынуждены были испрашивать высочайшего разрешения перенести город на другую сторону Селенги, что им и разрешено в 1840 г., сентября 6 числа. Но и на этот раз выбор местности был неудачен. Они избрали место почти напротив старого города, в прекрасной Тайонской долине; но, страшась разлива Селенги, удалились слишком далеко от нее и тем лишились необходимого условия для существования города — воды. Колодцы не дают воды даже на 9-саженной глубине, а для бедных жителей вырыть такой колодец, снабдить его веревками, особенно в зимнее время, когда они, обмерзшие, беспрестанно ломаются, это

такие издержки, которые они не в состоянии вынести. Сверх того, огороды с табаком есть единственное средство существования бо́льшей части мещан, а с колодцем на такой глубине недостанет ни сил, ни времени для обильной поливки, потребной для табаку. Плоты, спускающиеся с хлебом из нашей забайкальской житницы, т. е. от раскольников, поселенных на Чикое, плоты с лесом и дровами, идущие тоже оттуда, по невозможности пристать в мелководной протоке, ближайшей к городу, пристают у острова, на который надо попадать в лодке. Протока зимою промерзает до дна, и потому за водою надо выезжать на матерую Селенгу...

Одним словом, неудобств так много, что жители очень неохотно оставляют старый город, несмотря на некоторые льготы и запрещения строиться на прежнем месте. Теперь наш город, т. е. новый, которому дан герб, изображающий феникса, поднимающегося из пламени, состоит из 5 или 6 домов первостатейных купцов порядочной наружности и из каких-нибудь 20 маленьких домиков более зажиточных мещан. На площади (т. е. предполагаемой) стоят казенные здания полиции, почтамта, дом словесного суда, дом купцов Старцева, Мельникова и Лушникова. Остальные дома разбросаны без особой симметрии. Посреди площади стоит часовенка на месте сгоревшего собора, только что освященного и не совсем отделанного. На горе, вне черты городской, стоит кладбищенская церковь (Успения пресвятой богородицы), выстроенная после сгоревшего собора. Здания бригадного правления 3-й конной бурятской бригады стоят поодаль и не якшаются с простолюдинами.

Вам теперь будет понятно, почему мы с братом не хотели строиться на новом городе и предпочли остаться, где у нас был куплен дом. Правда, мы немного удалены от города (5 верст ниже по течению Селенги); но зато мы наслаждаемся вполне сельскою жизнью, живем на самом берегу реки и прогуливаемся в легких сидейках в новый город по прекрасной горной дороге. Кругом нас живут добрые буряты, почти все

народившиеся на наших глазах. Старики нас любят и уважают; все они больше или меньше наши должники и люди, обязанные благодарностью. Пять домов селенгинских мещан, еще не переселившихся в новый город, составляют все русское народонаселение нашей заимки. Дом Торсона продан и уже свезен в новый город.

Из вышеписанного мною касательно патриархального быта селенгинских жителей Вы уже довольно познакомились с образом их жизни. Мне немного остается прибавить. Из 700 душ, составляющих мещанское общество города, со включением и разночинцев, почти все хлебопашцы, а женское население преимущественно занимается уходом за табаком, считающимся лучшим из всего Забайкалья. Некоторые из них разводят арбузы и сбывают в Кяхте особенно выгодно в арбузный праздник китайцев. Отличительная черта их нрава — это лень, вошедшая в кровь и плоть сибирякам от азиатцев. Ежели он, а пуще того она, обладают 1/4 кирпича чаю карымского, даже без куска хлеба, они не шевельнут пальцем для работы. Голод — единственный stimulant* их деятельности. В урожайный год вы с трудом найдете работника и тем менее работницу. Если б не было бурят плотников, столяров и кузнецов, невозможно бы было предпринять здесь никакой постройки, и странно, что азиатцы, заразившие их ленью, теперь показывают им пример трудолюбия. Кяхта, Селенгинск, Верхнеудинск и сам Иркутск, наша столица Восточной Сибири, без бурят пропали бы. Я из этого сонмища лентяев исключаю раскольничьи деревни, цветущие довольством от их трудолюбия. Брата Николая и Торсона сначала бесили отзывы некоторых из наших соседей сибиряков, когда на приглашение их — притти пособить какой-нибудь спешной работе — они отвечали: «Нет, батюшка, Николай Александрович, я занят по домашности». И в чем же заключались эти занятия по домашности? Целый день о н или о н а сидят на зава-

---

* Побуждение.

линке, и когда опустеет горшок с кирпичным чаем, то снимают дранье с дому, чтобы вскипятить другой горшок. На наличные деньги вы ничего не сделаете простым наймом; надо дать вперед — и тогда вы уже сделаетесь рабом того, кому дали. Аккуратный немец Торсон не мог равнодушно переварить такой порядок вещей, особенно когда он по необходимости имел надобность в мастеровых при устройстве своей мельницы. Например, дело стало за какой-нибудь железной скобкой, заказанной соседу кузнецу, взявшему деньги вперед. Два срока уже давно прошли, Торсон идет к нему лично, чтоб узнать причину, и застает его лежащим на печке посреди нагих своих ребятишек. «Помилуй, — говорит Торсон, — что ты со мной делаешь? Из-за твоей лени десять человек рабочих сидят, сложа руки, потому что без скоб нельзя продолжать дело». — «Да, вам хорошо говорить, — отвечает тот, — вы сыты, а я другой день чаю не пил. Дайте остальные деньги, так авось сделаю». — «Да ведь, братец, эта работа одного часа не возьмет: сделай — и получишь остальные». — «Нет, уж без чаю я не примусь за дело». Каков народец? Я, например, с производством своих сидеек тоже много терпел от этой вредной системы задатков вперед, но все-таки я имел дело с бурятами, которые вообще добросовестнее старожилов-сибиряков. Когда же случай меня приводил иметь с ними дело, я почти всегда раскаивался в намерении сделать добро какому-нибудь мальчику из жителей. Случалось, что, видя способности ребенка и охоту к учению, призовешь отца или мать его и, объяснив им, что беру их сына, чтоб сделать из него трудолюбивого ремесленника, буду одевать, обувать его и вдобавок, в свободное от работы время, учить его грамоте, — на вопрос мой: согласны ли они на это? — был почти постоянно один и тот же ответ: «Как, батюшка Михаил Александрович, не быть согласным: ведь это Вы нам делаете истинное благодеяние. Мальчишка бьет в баклуши, ничего не делает, а его одевай да корми»... — «Ну, так ты его приведи ко мне». — «Слушаю-с. А что же Вы пожалуете в год жалованья ему?».

И я платил, и потом приводилось раскаиваться: приводилось с каждым месяцем торговаться с нежными родителями, которые увеличивали требование по мере моих хлопот сделать их детище путным человеком, и в заключение, когда я уже без него не мог обойтись, у меня его брали без всякого предварения или требовали такую плату, которой я не мог дать. Руководят этим обществом два лица: Старцев и Лушников, и надо признаться, что их попечениям это общество лентяев и обязано, что оно не распалось.[1]

Двадцать лет в жизни общества много значит: теперь это общество, в котором мы должны были составлять звено, улеглось в общечеловеческие формы; теперь это самое общество не отдается душою и телом патриархальным пирушкам; оно читает журналы и газеты, их интересует теперь общая жизнь Руси; а в эпоху нашего прибытия в этот город их жизнь и развлечения были чисто материальные. И мы участвовали во всех их развлечениях, по пословице: с волками жить — по-волчьи выть, утешая себя мыслью и видя на самом деле, что в основании их было простодушие, добросердечие и патриархальное гостеприимство. Мы ездили с ними на Гусиное озеро купаться;[2] ездили на острова, забоки и в очаровательную Тумур-дарич праздновать семейные праздники; ездили в солеваренный завод и на поворот; поездами в 7 и более троек на именины начальника завода Киргизова или И. А. Седова, проводили там целые дни; участвовали в дележе их общественных покосов, где были и наши части, в праздновании годовых праздников и в их семейных развлечениях. Но время от времени нам стало это надоедать, и мы мало-помалу уединялись под свой мирный кров.

Время домашней нашей жизни делилось между занятиями по хозяйству, чтением, поездками на пашню и на сенокос. Кроме того, у меня на руках было воспитание маленького сына Наквасиных и присмотр за мастеровыми. Брат Николай свободное время посвящал своей любимой идее — хронометрам — и, кроме того, добивался устройства ружейного замка

в самом простейшем виде. Он, наконец, и довел простоту его до nec plus ultra:* в его замке был только один шуруп. Перед смертью своей, в бытность его в Иркутске, генерал-губернатор **Муравьев** просил его сделать такой замок, чтобы представить его Константину Николаевичу; брат сделал, Муравьев отослал — и он канул, как в воду. Вероятно, рассматривают ученым комитетом его хитрую простоту. А между тем, бедный солдатик будет еще лет десять мучиться, собирая на походе свой многосложный инструмент. Это последнее занятие неприметно пристрастило брата Николая к охоте; но он хотел непременно иметь весь охотничий снаряд своего изделия; стволы винтовок, дробовиков, ложи к ним, порошницы, натруски, екташи, патронташи, пистонницы, — все это делал он собственными руками, с различными приспособлениями и особенными устройствами. Все наши заборы были исстреляны пулями и дробью, и, наконец, он дошел до изумительной верности выстрела; но на действительной охоте он был постоянно несчастен. Причинами этого были: во-первых, то, что он ничего не мог делать хладнокровно и в мгновение решительного выстрела волнение до такой степени одолевало его, что он стрелял наугад; во-вторых, он был в душе поэт и художник. Всякая живописная местность, ручей, скала, дерево, поглощали его внимание до такой степени, что дичь очень часто убегала из-под его ног. К этому должно прибавить, что он не хотел никогда охотиться с собакою; он не хотел, как он часто говорил, чтоб собака водила его за нос, охотилась за него, оставляя для него только труд выстрела. Он хотел подражать бурятам, которые, почти без преувеличения можно сказать, едва ли не первые охотники и первые стрелки. Со всеми лучшими охотниками из бурят он был в большой дружбе, уходил с ними на целые недели в горы, устраивал засады и облавы. С целью лучше сблизиться с бурятами он несколько раз, как и аз грешный, принимался за изучение

* Как нельзя более.

монгольского книжного языка, но попытки были неудачны: нам много мешало то, что окружающие нас буряты все очень хорошо говорили по-русски, а изучение языка с ученою целью было для нас невозможно по недостатку средств.

Вы просите сообщить сведения о ссыльных аннинских, елизаветинских и екатерининских времен. Но Вы лучше, нежели кто, знаете, как в России труден доступ к архивам даже лицам, уполномоченным от правительства. В Сибири же— особенно нам, носящим печать отвержения, а еще того хуже — подозрения, уже потому только, что мы должны были свои письма адресовать в III отделение собственной е. и. в. канцелярии. Когда же случалось нам просить о подобных справках людей, ‹к›нам дружески расположенных, бесполезные хлопоты всегда были результатом их попыток. Они встречали там мало сочувствия к их просьбам от хранителей этого мертвого капитала, находили его в таком хаотическом беспорядке и небрежном, жалком положении, что не было никакой возможности найти хоть искру света в этой тьме кромешной. Касательно же отсутствия устных преданий о замечательных лицах, то его можно объяснить холодным равнодушием сибиряков, привыкших денно и нощно видеть пред своими глазами нескончаемую вереницу ссыльных секретных, ссыльных под номерами, простых и государственных, даже политических ссыльных. Современники смотрят на них с равнодушием, а потомки, ежели бы захотели что-либо узнать о них поподробнее, находят в их равнодушии одно забвение. Так, я ничего ни от кого не мог добиться касательно кратковременного пребывания сына Волынского. Гетман Демьян Многогрешный, живший очень долго в Селенгинске, участвовавший с гражданами в побоище монгол на горе, носящей до сих дней название Убиенной, — об его пребывании не сохранилось здесь никаких преданий, даже место, где он похоронен, не известно, потому что плита с его могилы снята при постройке каменного собора в Селенгинске и заложена в каменный пол нижней церкви в числе других плит.

В доказательство их равнодушия к преданиям, даже более близким их душе по обычной склонности русского к религиозным чудесам, я приведу вам несколько примеров. Еще до пожара в 1780 году крестьянин Ключевского (на Хилке) селения Артамон Клементьев по три ночи видел во сне видения, некоего старца, приказывающего ему отрыть крест деревянный в показанном месте (6 верст ниже города). И точно, там найден деревянный крест, глубоко засыпанный песком, с вырезанною надписью: в 7198/1689 году поставил гетман Гаятев, который с торжеством и был перенесен в собор. Во время пожара, когда церковь до тла сгорела, он, сохранившийся целым, перенесен в Покровскую; когда же и та сгорела, и он остался цел, его перенесли в Казанскую, и для него построили часовенку подле церкви, тоже сгоревшей. В память этих чудес установлен крестный ход из Кяхты и Ключей в Селенгинск. Но я никак не мог доспроситься каких-либо преданий об этом гетмане Гаятеве.

Другой предмет их наружной религиозности (истинной религии они чужды) — это поклонение гробу митрополита Арсения, похороненного в деревянной часовенке, на речке Березовке, подле Троицкой церкви в Удинске (Верхнем). Вам расскажут с подробностью, как он, немощный, ехал из Нерчинского упраздненного монастыря и при въезде в Верхнеудинск лошади остановились у речки Березовки и не пошли далее; как он, чувствуя свой последний час, пригласил священника для последнего напутствия; как этот священник, при входе в избу, где лежал больной, остановился в священном ужасе на пороге, увидя в избе святителя в полном архиерейском облачении, окруженного ослепительным светом; как поп упал к ногам его и сказал: «Не мне, а тебе давать благословение!», как потом видение исчезло, и он, увидав перед собою умирающего, напутствовал его, — все это вам расскажут с разными прикрасами. Но спросите: кто же был этот угодник? — «Да угодник и был», — ответят вам пренаивно.

Даже о святителе их Иннокентии, мощам которого каждый сибиряк считает долгом поклониться хоть раз в своей жизни, даже о нем в народе не сохранилось правдивого предания. Я не говорю о печатной его биографии: нам известно, как они составляются. Например, у Д. Д. Старцева есть образ, писанный рукою этого святителя. Старушка, его мать (ей 85-й год), при всей своей набожности и светлом уме, ничего не могла мне сказать: где он был писан, при каких обстоятельствах и как он попал в их руки? К слову, об иконах. Когда Вам случай доведет быть в Кяхте, то при въезде из Троицкосавска в Кяхту по шоссе, направо, вы увидите кладбищенскую церковь, в восточной стене которой вставлен образ этого святителя, писанный масляными красками во весь рост. Это работа брата Николая.

Живописью масляными красками он начал заниматься случайно. В первую бытность его в Иркутске генерал-губернатор Руперт, с семейства которого брат снял портреты очень похожие, подарил ему полный прибор для письма масляными красками, с изобильным запасом. Он не принимался за него до тех пор, когда для письма икон в новопостроенный собор граждане <не> выписали из Иркутска иконописца и просили нас принять его в наш дом для жительства, для его занятий, а главное — для советов брата. Брат согласился, и наш дом мгновенно обратился в студию живописи. Одноглазый наш артист был суздальский рутинер, в полном смысле этого слова; но зато он обладал механическими приемами в живописи, приобретенными им долговременным навыком, и потому они с братом истинно были полезны друг другу. Из числа всех икон, составлявших иконостас сгоревшего собора, Благовещение и картина на левой выходной из алтаря двери и два символических изображения над алтарем были написаны братом; остальные или по его рисунку, или с его совета. И, говоря без прикрас, иконостас был изящное произведение, тем более, что ему соответствовала изящная золоченая резьба по дереву, исполненная артелью резчиков, прибывших из России

в Иркутск и желавших ознаменовать свой дебют со славою. Жаль, очень жаль, что этот собор, великолепно и гармонически украшенный даянием 40 слишком капиталистов, первостатейных купцов, составляющих наше купеческое сословие и привлеченных единственно только льготами, дарованными новому городу, но в нашем городе не живущих и даже не имеющих в нем своих домов, — этот прекрасный собор сгорел в какие-нибудь два часа по неосторожности сторожа, оставившего огарок непотушенной свечки.

2

Поселение и жизнь в Селенгинске

(Время поселения в Селенгинске. Как приняли там Вас, в чем состояли Ваши первые хлопоты, горести, нужды, радости, заботы, удачи и неудачи?)

Из Посольска, где получено было наше новое поселение, в Селенгинск мы прибыли в конце августа 1840 года.

Так как Торсон еще не достроил своего дома и жил в доме купца Наквасина (Никифора Григорьевича) и маленький флигелек, предложенный нам для жительства, занимал сам хозяин, то в ожидании, когда, по окончании своего дома, Торсон переедет на новоселье, а хозяин наш очистит флигель переходом на место Торсоновых, — нас пригласил погостить у себя Дмитрий Дмитриевич Старцев.

Дом Старцевых всегда был и теперь есть первым в Селенгинске как по значительности, так и по гостеприимству. Очень умная и необыкновенно добрая старушка, говорящая *ты* всем, даже генерал-губернаторам, поддерживает и до сих пор его значительность. С ее дочерью вы уже знакомы, а сын еще в то время был молод, только что женился на дочери Сабашникова, правителя дел американской компании в Кяхте, и, следовательно, приобрел отца и покровителя своих коммер-

ческих предприятий, только тогда начинавшихся у него в Кяхте. Он от природы очень умный и смышленый, но, не получив никакого образования, чуть не был совсем сбит с толку Дмитрием Захаровичем И л ь и н с к и м. К счастию, ему помог природный его смысл, и он от всех внушений Ильинского занял только охоту к чтению и выписке книг, чего прежде за Селенгинском не водилось. Теперь в нашем городе выписывают, кроме других книг, одних журналов и газет более, чем на 300 руб. В этом-то патриархальнейшем дому мы провели более месяца и в полном смысле катались, как сыр в масле, потому что в Сибири вообще и до сих пор, а у Старцевых всегда, угощение хлебом-солью считается святым долгом. Сверх того, Ильинский в нас души не слышал, а старуха любила без души своего тестюшку — следовательно, мы жили, как одно семейство, а теперь еще более — когда посжились да покумились.

Город наш и до сих пор носит печать патриархальных нравов, а тридцать лет назад еще более был связан как бы в одно семейство — следовательно, мы сразу попали как бы в общую семью и со всеми сблизились скоро. К тому же брат был такой и с т о ш н и к (источник), как здесь говорят, был так добр и прост в обращении со всеми, что все к нам обращались за советами, как бы мы уже целое столетие с ними жили. Хозяин нашего дома был уже знаком с нами прежде, в бытность его с женою в Петровском заводе, и потому с ним мы сошлись, как старые знакомые, и полюбили его от всей души за его б е з г р а н и ч н у ю доброту — и это не гипербола, — и чтоб Вам это доказать, довольно, ежели я Вам скажу, что, будучи очень состоятельным купцом, помогая и доверяя своим милым братцам, он впоследствии дошел почти до нищеты.[1]

Домик, в котором мы, наконец, поселились, был чистенький, тепленький флигелек, некогда бывший обиталищем В о р о ш и л о в а, деда Старцевых по матери. Тут был кожевенный завод; тут же и Н а к в а с и н продолжал выделы-

вать кожи, пока подряды с казною его не доконали. Торсон построил свой дом неподалеку от нас, так что теперешний наш дом отделялся от его строения только глубоким оврагом. Надо вам сказать, что город Селенгинск еще не был перенесен на новое место и был перед нашими глазами, как на ладони, потому что мы жили по другую сторону реки, тремя верстами ниже.

Прежде, нежели заводить скот и баранов, надо было подумать, где приискать хорошенькие сенокосные места. Услужливый наш городничий Скорняков охотно вызвался показать нам все свободные оброчные статьи, — и вот начались наши partie de plaisir, где, между бездельем, мы осматривали будущие свои владения. Между многими осмотренными брат Николай, как поэт в душе, выбрал живописное местоположение на одной с нами стороне реки и с травою, которая считается лучшею по качеству. Одна беда: чтоб быть с сеном, надо смочный год, а их-то у нас большой недочет; и впоследствии мы хоть охали, но брат говорил в утешенье: «Зато места-то какие!».

Когда единственный сын Наквасина, мой ученик, в отсутствие мое на сенокос, утонул подле дома, безутешный добряк Наквасин продал нам дом, скот, почти все хозяйственное заведение и уехал с товарами в Россию. Мы перешли в большой дом, который заняли сестры и в котором теперь я живу, и занялись хозяйством не на шутку. Вам известно, что в Сибири пахотные земли не имеют ценности: здесь ценится только городьба, обнесенная кругом ее. У Наквасина мы таких земель, или лучше — такой городьбы, купили пропасть; прикупили сенокосных лугов, начали сеять и косить, — но увы! — почти десять лет мы зарывали наши деньги без всякого вознаграждения. Один только год нас порадовал — и это был единственный. В нашем засушливом краю нет выгоды сеять хлеб, а особливо тем хозяевам, которые не сами пашут, а все делают с найма. Ежели хлеб дорог — вас работа съест; ежели хлеб дешев, даже при урожае, вы не выручите издержек, продавая

дешевый хлеб. Мы бросили хлебопашество и обратились к скотоводству.

Составив компанию с Старцевым, Лушниковым и отставным поручиком Седовым, родственником последнего, мы купили стадо мериносовых овец в 500 голов, с тем, чтоб от приписанных к нам сенокосных земель, в числе 500 десятин, иметь лишнее сено для продажи. Но и эта хозяйственная мера оказалась бесплодною. Шерсть с овец даже не покупали наравне с шерстью простых овец. Приплод стада не покупали, чтоб не портить простых стад; мяса не покупали, потому что оно хуже обыкновенных овец, а сена едва хватало на их содержание, потому что мериносовые овцы такие барыни, что их почти круглый год надо было держать на постоянном корме. Стадо в том же составе существует и теперь и попрежнему не приносит никакой прибыли. В прошлом году был довольно удачный случай сбыть шерсть на Амур американцам. Не знаю, как пойдет дело дальше.[1]

Издержки на хозяйственные заведения, различные попытки и потери, расходы на постройки и жизненные потребности истощили наши средства. Нужда начала хватать нас за бока. Я принялся за производство мною выдуманных сидеек и вначале довольно выгодно сбывал их в Кяхту и Иркутск. Но так как я хотел, чтоб изобретение было полезно всему краю, то скоро производство их распространилось по всему Забайкалью, и мне эта отрасль доставляла только удовольствие видеть от него пользу жителям, иногда угождать просьбам хороших знакомых и ‹наслаждаться?› мыслью, что я доставляю хлеб 17 бедным бурятам, работавшим у меня и обучавшимся столярному, слесарному, кузнечному и другим мастерствам.

Брат Николай, в свою очередь, выпросил позволение ехать в Кяхту. С приездом генерал-губернатора Руперта, простого добряка,[2] дело это, хотя с трудом, но уладилось кое-как. В Кяхте он занялся рисованием портретов. Дело шло вначале туго: все как-то дичились писать свое обличие. Но когда сняты были портреты с двух-трех модных дам и львов Кяхты, когда

все увидели, что на портретах они изображены не только похожими, но даже лучше настоящего, — все как будто вздурились. Мода взяла свое, и брат в короткое время заработал порядочную сумму, потому что обладал даром рисовать скоро и очень похоже.[1] Сперва он усвоил себе манеру Изабе,[2] тщательно-копотливой работы, и терял много времени на отделку; потом, когда получены были портреты родных некоторыми из наших соузников, работы нашего портретиста Соколова, он тотчас принял его методу и много выиграл, как во времени, так и в эффекте.[3] Я приехал к нему в Кяхту на праздники святок, и мы провели их необыкновенно весело. Мы всегда называли Кяхту — «Забалуй-городок», и тогда он заслуживал это название вполне. Звуки бальной музыки раздавались почти всякий вечер, а звуки оттыкающихся пробок раздавались чуть ли не с зарей и до поздней ночи. Вся Кяхта, начиная с директора таможни, рвала наперерыв нас из одного дома в другой, так что, наконец, нам, мирным жителям, это уже стало тяжело — и мы убрались во-свояси.[4]

Персии[5] давно вызывал брата в Иркутск для той же цели, и брат, наконец, решился: отправился в столицу Восточной Сибири, пробыл там почти год, принятый как свой в доме Руперта, губернатора Пятницкого и ласкаемый всеми, а особенно высшим купечеством и чиновничеством; перерисовал почти всех и, утомленный работой и непривычною для нас светскою жизнью, возвратился под мирный кров с порядочным запасом материальных средств для нашего существования. Вскоре матушка получила милостивое разрешение отправиться к нам в тюрьму (только огромного размера). Мы начали отделывать свой дом для их приема, и когда, после 8-месячных трудов, все было готово к их принятию, когда большая часть вещей их уже была получена нами, когда они продали деревню и истратились на путевые приготовления и были уже в Москве, Незабвенный, раскаясь в своем неуместном великодушии, запретил дальнейшее следование в Сибирь, и несчастная матушка с сестрами очутилась между небом

и землей, брошенная без всяких средств жизни, даже без необходимых вещей, в незнакомом ей городе, без надежды когда-либо свидеться с нами. Она не пережила этого удара и скоро померла.

По смерти ее сестра возобновила настоятельные просьбы позволить им ехать в тюрьму и через дворню его, наконец, выхлопотала, как величайшую милость, снова отправиться.[1] По их приезде, хозяйство перешло на руки Елены Александровны; но уже это было чисто домашнее хозяйство. Я женился на сестре эсаула Селиванова, девушке-сибирячке, т. е. с природным умом и практическою сметливостью, выстроил прекрасный дом, убранный мебелью и украшенный затейливо собственными моими столярами и мастерами, и мы зажили даже припеваючи, потому что я, постоянно несчастливый в лотереях, вдруг выиграл прекрасное фортепиано.

VI

СЕЛЕНГИНСК

(Дополнительные ответы)

1

(Встреча сестер Ваших в 1848 г.)

Вероятно, сестра Е. А. Вам рассказала довольно оригинальную встречу их нами, и желание узнать некоторые подробности вызвало ваш вопрос на эту тему. Вот как было. Камер-юнкер Булычев, бывший одним из членов, составлявших огромный состав ревизионной сенаторской ‹комиссии› Толстого, точно так же как и все ее члены, были очень хорошо с нами знакомы. Они все нас посещали, гостили у нас по нескольку дней, просили и узнавали от нас все, чего они ни по своей европейской образованности, ни по своему благородному стремлению быть полезными краю не могли бы узнать,

если б даже они прожили десятки годов.[1] Этот Булычев, женившийся на племяннице миллионера-золотопромышленника Кузнецова, прельстившейся его ливреей, шитой золотом, в проезд свой с новобрачной в Кяхту останавливался у нас и провел целые сутки. Уезжая, он просил у нас позволения — на обратном пути отдохнуть день-другой у нас. Мы его ждали... Между тем, сестры спешили к нам и спешили так, что их прибытие, которого мы никак не рассчитывали ранее двух недель, совпало почти в тот же день, когда мы ожидали Булычевых. Пришедши от Торсона, где мы имели общий стол, и намереваясь отправиться в новый город к Старцевым, я сидел у окна, выходящего на двор, и курил сигару; брат Николай пошел под навес посмотреть, как новонанятый наш кучер запрягает лошадь в сидейку. Вдруг послышались колокольчики. Тарантас остановился посреди двора, и из него вышла дама, принятая мной сперва за m-me Булычеву. Потом, когда вышла Елена Александровна, я ее тотчас узнал и бросился к ним. Объятия... слезы... Нас окружила плотная толпа любопытных — бурят и соседей. Брат, полагая, что приехали Булычевы, был в большом затруднении явиться к ним без сюртука и, поймав маленькую девочку Катюшу, дочь нашей стряпки, разбалованную им, свою любимицу, приказывает принести ему сюртук. — «Вот вы какой... ведь мне некогда... я и сама хочу поглядеть на приезжих», — и с этим словом убежала, оставив брата в самом критическом положении до тех пор, пока он не узнал, наконец, что приехали сестры, и тогда он, забыв о своем дезабилье, бросился обнимать и целовать милых приезжих. Так как мы их ожидали гораздо позже и не перебирались во флигель, чтоб очистить дом для них, они застали наш холостой быт нараспашку и могли составить полную идею о ‹нашем› житье-бытье. Галактион Степан‹ович› Баташев (кривой Апеллес) принял их в своей студии, заставленной мольбертами с начатыми и оконченными образами, картонами эскизов между столов и скамеек, завалѐнных красками, палитрами и кистями.

2

(Поездки Вашего брата. — Какие из замечательных лиц посещали вашу Селенгинскую обитель?)

Первая поездка брата из Селенгинска была в Кяхту для приобретения средств существования посредством портретной живописи; с тою же целью он ездил в Иркутск и в Удинск. В Кяхте он прожил около пяти месяцев, в Иркутске около года.

В бытность свою в Кяхте он хотел, чтоб и я туда приехал на праздник рождества, чтоб немного развлечься, и я, исполняя его желание, пробыл там около месяца.

Как в том, так и в другом городе мы были знакомы со всеми без изъятия и везде нас принимали с непритворным радушием. Ежели оставались какие-либо домà, не познакомившиеся с нами, то это было единственно от недостатка времени. В Иркутске брат был чаще в домах генерал-губернатора Руперта и губернатора Пятницкого, особенно в доме последнего. Пятницкий был гостеприимный русский хлебосол, но вялый и ограниченного ума администратор. В его управление чиновники, через руки которых шли наши письма, посылки и деньги, обкрадывали нас бесстыдно, и он ничего не знал до тех пор, когда ему пришлось платить за растраченные деньги. Перед правительством он старался казаться бдительным, и его д о н е с е н и я в роде д о н о с о в много зла принесли нам. Сменен он был уже по злостному доносу на Н. Н. Муравьева, на которого он доносил, что он стал на дружескую ногу со всеми государственными преступниками.[1]

В Удинск брат ездил единственно по просьбе жены Руперта, чтоб кончить начатые портреты с ее детей и чтоб нарисовать еще один со старшей ее дочери Людмилы для жениха ее Александра Ильича Арсеньева. В проезд их в Кяхту мы виделись снова с ними и были приглашены на свадьбу

в Петровский завод. Брату было некогда ехать туда, и на свадьбе присутствовал один я.

Когда Петровским заводом управлял Оскар Алекс. Дейхман (прекрасный человек, познакомившийся с нами и гостивший у нас в Селенгинске),[1] брат ездил туда раза три. Приставал он всегда у нашего товарища, и теперь там живущего, Ивана Ивановича Горбачевского. Другой раз он ездил в Кяхту уже с сестрами, а в другой и последний раз перед смертью — в Иркутск, по вызову генерала Казимирского.

Когда в начале нашей селенгинской жизни был городничим добряк казак Скорняков, хлопоты по хозяйству ограничивали его поездки по окрестностям более для развлечения, нежели с более серьезною целью; потом, когда он был заменен отъявленным мерзавцем, иркутским квартальным Кузнецовым, тогда и эти поездки мы должны были делать с оглядкою, опасаясь его доносов — не за себя, а за участвующих с нами, тем более, что на том времени, вследствие донесения Пятницкого, правительство предписало местным властям не дозволять нам всем отлучку от места жительства далее 15-верстного расстояния. Земли, отведенные нам под пашни и сенокос в Зуевской пади, отдалены были от города в $15^1/_2$ верстах; вследствие такого мудрого распоряжения, если нам нужно было посмотреть, как пашут или косят работники, мы должны были писать просьбу на имя шефа жандармов, который должен был испросить у государя высочайшее разрешение на выезд. Чтоб выказать всю нелепость подобных предписаний, мы написали просьбу к шефу жандармов, в которой просили: испросить у государя милостивое разрешение съездить на собственный наш покос для того, чтобы выгнать табуны лошадей и стадо бурятского скота, вытравляющих наш покос. Просьба осталась без ответа, а распоряжение все-таки осталось во всей своей силе и давало оружие какому-нибудь квартальному делать нам притеснения на каждом шагу.

В доказательство тому, что может делать в России личный произвол самого мелкого чиновника, опирающегося на распоряжения правительства, из многочисленных неприятностей, деланных нам городничим, я приведу один пример. Ему неприятно было видеть, как ежедневно нас посещали почти все те лица, которые были в Забайкалье, а особенно — приезжавшие в Кяхту, равно как все наши иркутские, удинские, кяхтинские, петровские и прочие знакомые; а особенно же было ему не по нутру являться по обязанностям службы или по требованию высших чиновников, постоянно останавливавшихся у нас. В пьяно-дружеских беседах с почтмейстером Каковиным они придумали курьезные меры для прекращения подобных посещений. Каковин, опираясь на авторитет городничего, дал от себя предписание на станции, ведущие к Селенгинску, такого содержания: что как известно-де сделалось местному начальству о подозрительных посещениях господ государственных преступников Бестужевых разными лицами всех сословий, что совершенно противно видам правительства, то строжайше предписывает станционным смотрителям — запретить ямщикам возить к упомянутым государственным преступникам кого бы то ни было.

Знакомый нам жандармский генерал Вагапуло, возвращаясь из Кяхты, заехал к нам и со смехом рассказал нам, как его ямщик не хотел слушать его приказаний везти его к нам; а тут же приехавший ревизор почтовой части в Восточной Сибири Неелов объяснил этот казус, показав снятое им со стены почтовой станции предписание его подчиненного. Потребовали к ответу и того и другого, оба явились в пьяном виде. Гнев и буря — с одной, подлость и унижение — с другой стороны, доходившие до такой отвратительной сцены, что они оба чуть не на коленях вымаливали у нас прощение, и брат сжалился над ними и упросил начальников помиловать их. В благодарность — мы должны были испытать еще горшие, но более осторожные их пакости.

3

(Кто вел корреспонденцию из прежних приятелей и знакомых?)

Первое время нашей тюремной жизни в Сибири, когда мы могли сноситься с т е м светом только через благодетельное посредство наших дам, естественно, что, щадя и дорожа это последнее звено, связывавшее еще нас с жизнью, мы очень осторожно пользовались их предупредительными услугами и, по возможности, сокращали даже переписку с родными. Но, впрочем, нам тогда и не предстояла надобность увеличивать объем своей корреспонденции: исключая очень немногих примеров, все друзья, все приятели оказались «до черного лишь дня». Страх ли шпионства, опасение ли г о л у б ы х царских очей, боязнь ли, чтоб не заподозрили в чувствах верноподданничества, но только никто не решался коснуться словом прокаженных покойников; а мы, в свою очередь, были слишком горды, чтоб унижаться, вызывая притворное сочувствие, а может быть и обидное молчание на наши письма. К тому же, надо правду сказать: ч т о нам могли писать, ч т о мы могли отвечать, когда наши обоюдные письма должны были пройти через горнило III отделения? Даже переписка наша с близкими родными, краткая и осторожная, где каждая фраза десять раз обдумывалась прежде, нежели была написана, чтоб, проходя первую цензуру Лепарского, не заставлять (что очень часто случалось) наших добрых дам переписывать снова наши письма, чтоб не подвергнуть родных и коменданта ответу (что тоже было нередко); эта переписка, говорю я, была так бледна, так безжизненна, носила такой пошлый отпечаток казенной официальности, что меня одолевала одурь всякий раз, когда я писал письма, и эту пытку брат Николай, по обычной доброте, постоянно брал на себя.

Корреспонденция наша с поселенными нашими соузниками была еще тягостнее. Кроме того, что наши письма совершали чудовищные путешествия в 14 000 и более верст, чтоб пройти

через III отделение, тогда как мы жили чуть не о бок друг друга, очень часто случалось, что, после полугодового ожидания, мы, вместо ответа, получали запрос на какую-либо, по их мнению, темную фразу или намек, а комендант — выговор. Кажется, все было придумано, чтоб отбить охоту к письму, и надо было родиться Луниным, который находил неизъяснимое наслаждение дразнить «белого медведя» (как говорил он), не обращая внимания на мольбы обожавшей его сестры (графини Уваровой) и на лапы дикого зверя, в когтях которого он и погиб в Акатуе.

Корреспонденция с мест нашего поселения сделалась несколько вольготнее, потому что наши родные, а за ними вслед и знакомые, попытались посылать письма прямо через почту. Но и тут все зависело от лиц, местную власть исполнявших. Перед смертию брат очень часто переписывался с адмиралом Рейнеке и И. И. Свиязевым. Полагаю, что в посланной коллекции вы найдете их письма. Он также писал к астроному Струве, но ответа не получил.[1]

4

(С кем из сибирских изгнанников вы переписывались и виделись?)

В бытность брата Николая в Иркутске, до приезда сестер, он виделся со всеми жившими там нашими товарищами. С Горбачевским, как я уже вам упомянул выше, мы видались довольно часто или у нас в Селенгинске, или у него в Петровском заводе. Вскоре по приезде сестер нас посетил Иван Иванович Пущин с Марьей Казимировной Юшневскою. Он, под предлогом болезни, выпросился из Ялуторовска, где он был поселен вместе с Басаргиным, Оболенским, Якушкиным, Спиридовым, Матвеем Муравьевым и m-me Янтальцевою (уже вдовою), на Забайкальские Туркинские воды — единственно с целью повидаться с товарищами. Потом нас посетил Сергей Григорьевич Волконский, его жена Мария

Николаевна, его сын и замужняя дочь (теперь замужем за Кочубеем). Потом Трубецкой, и когда дочь его Александра Сергеевна вышла за генерала Ребиндера, кяхтинского градоначальника, то и княгиня, жена его, Катерина Ивановна с дочерьми (Зинаидою и Александрою) и сыном (Иваном). Впоследствии Трубецкой и Ребиндер с женою всегда бывали у нас проездом в Иркутск и обратно, точно так же и Волконский с сестрою (женою маршала двора) и Молчанов с женою (Еленою Сергеевной, рожденной Волконскою).

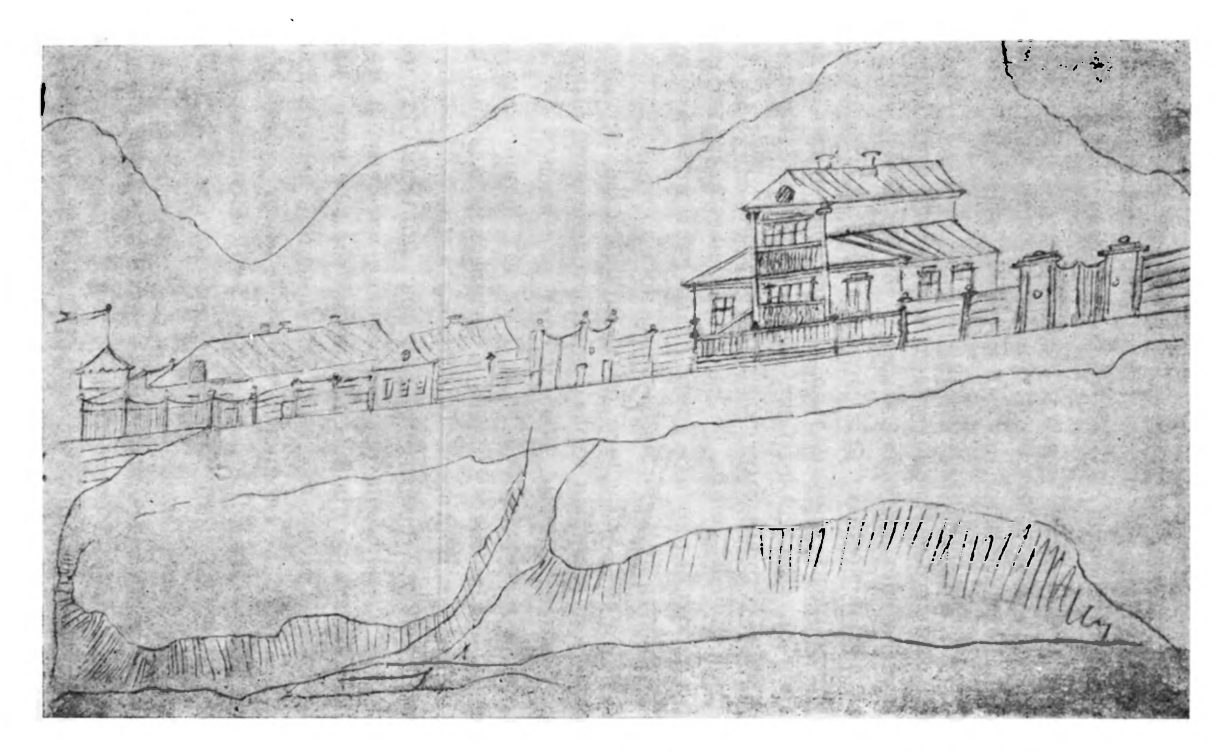
Переписывались мы со многими из наших товарищей. Брат чаще — с Трубецким, Волконским, Поджио, Пущиным, Горбачевским, Батенковым и Бечасновым; я — со Штейнгейлем, Бечасновым, Трубецким, Волконским, Горбачевским и Пущиным.

Надо прибавить, что брат Николай был очень аккуратен в своей корреспонденции и поддерживал ее исправно, тогда как я, признаюсь вам, был неисправимый ленивец.

5

(Нельзя ли прислать рисунки Вашего дома и могилы брата)

Единственно из желания исполнить просьбу Вашу, я прилагаю оба рисунка в ущерб моего самолюбия, потому что по ним вы можете судить о моем крайнем невежестве в этой отрасли искусств. В родительском доме я получил очень хорошие основные начала рисования у того же самого профессора живописи (Финеева), как и брат Николай и сестры, но, поступив в корпус, я не только не подвинулся вперед ни на волос, но и забыл, чему учился прежде. Вышедши из корпуса, я был разлучен службою с братом, который еще мог бы пробудить во мне охоту к живописи, а впоследствии развлечение и служба сделались помехою хотя врожденной, но неразвитой склонности. Брат, нарисовавший акварелью так много прелестных видов Читы и Петровска, не оставил ни одного селенгинского,



Дом Бестужевых в Селенгинске. Рисунок М. А. Бестужева. 1860-е годы.

хотя имел твердое намерение сделать их несколько и даже часто приготовлял все необходимое для исполнения. Уверенность, что это всегда можно сделать, была причиною, что ничего не было сделано.

Один из политических преступников, поляк, человек очень хорошо знакомый с нами, но имя которого я забыл [1] (мы были знакомы со всеми поляками Забайкалья), в бытность его у нас, так прельстился прекрасною картиною местности, открывавшейся с утеса горы, которая высится тотчас за нашим домом, что снял вид, в котором наш дом помещен на втором плане, а на первом очень оригинально изображена отвесная скала, на которой он сидел. Сам брат выбрал удобный камень для занятия, сам устроил ему складной столик, укрепил зонтик от палящих лучей солнца (у нас летом невыносимые жары), наблюдал за ходом рисунка почти целый день до заката солнца и, чтоб не терять времени на еду, сам носил ему в судках обед и чай. Художник дал слово брату прислать с него копию, но почему-то не сдержал слова. Это обстоятельство было тоже не последнею из причин, почему брат надеялся и без своих трудов иметь превосходный вид. Этот вид, равно как и имя художника, вы можете увидеть в интересном альбоме с текстом, изданном камергером Б у л ы ч е в ы м.

С разрешения генерал-губернатора польский художник сопровождал членов сенаторской ревизии на Лену, в Якутск, в Охотск, Камчатку и проч., снял множество видов этих местностей и продал их Булычеву, который (вместе с неподражаемою верностью в рисунке сибирской флоры и птиц, работы нашего товарища Петра Ив. Б о р и с о в а 2-го) послал оригиналы в Лондон, где они были награвированы на стали и в Петербурге изданы в виде альбома.[2]

Для пояснения моего жалкого рисунка я должен уведомить Вас, что дом, первый слева (где мы теперь живем и где жили сестры), стоит на скале, едва прикрытой слоем земли. Где нарисована беседка, тут сделан нами деревянный сруб, и место выровнено под сад. Второе здание — это маленький флигель,

где жил и умер брат Николай; а третье, двухэтажное здание — это дом, где я после женитьбы жил с семейством. Он теперь ‹в 1861 г.› продан, равно как и огромная мастерская, не поместившаяся на рисунке справа, и будут свезены летом в новый город. Перед моим домом на круче берега разбит сквер, а колонны и оба балкона до самой крыши летом закрывались зеленью хмеля, плюща и других вьющихся растений. Этот дом был построен и отделан прочно и изящно, выштукатурен снаружи, как и все наши здания. Глубокий овраг, или лощина (по-сибирски буерак), отделяла нас от дома Торсона и его мельницы. Этот глубокий буерак мы частью засыпали и сравняли, чтоб проезд через него сделать удобным; но эта засыпь почти каждое лето смывается или размывается бурливым потоком после каждого проливного дождя. Когда, по сибирскому выражению, пойдет буерак — картина прекрасная, особенно ночью. Во тьме, при раскатах грома по окрестным горам, при беспрестанной ослепительной молнии, пенистый буерак, как чешуйчатая змея, спускается, извиваясь, с кручи холмов и утесов, шипит и прыгает, глотая песок и каменья, и, добежав до насыпи, бросается вниз, со злобы распрыснувшись в пену и брызги.





ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. А. БЕСТУЖЕВЕ

I

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ А. А. БЕСТУЖЕВА (МАРЛИНСКОГО) 1797—1818 [1]

Всякий раз, когда я пытаюсь воскресить в своей памяти самую отдаленную эпоху нашего детства и думаю о брате Александре, он постоянно представляется мне в полулежачем положении, в больших вольтеровских креслах, с огромною книгою в руках. Меня, как ребенка, прельщали иллюстрированные картинки, изображающие костюмы и быт разноплеменных народов, и я по целым часам стоял позади кресел, чтоб дождаться, когда брат, прочитав текст, откроет новую картинку. Помню, с каким снисходительным терпением он удовлетворял моему любопытству; объясняя мне, что вот этот калмык, этот самоед, а это алеут, рассказывал, как они живут, как ездят в санках на оленях или как плавают в байдарках; как промышляют бобров и других зверей, и потом, увлеченный желанием продолжать чтение, безжалостно прогонял меня, несмотря на мои неотступные просьбы показать и рассказать другие картинки. Эти сцены повторялись часто и, сколько я помню, всегда в том же отцовском кабинете, в тех же вольтеровских креслах, стоящих подле огромного шкафа, где помещалась библиотека избранных книг. Отец наш как человек весьма просвещенный по тогдашнему времени собрал

в ней все, что только появлялось на русском языке примечательного; в другом отделении были книги на иностранных языках. Вход в кабинет нам не был возбранен, где на больших столах были разложены кипы бумаг, в шкафах за стеклами и на высоких этажерках были расположены минералы, граненые камни, редкости из Геркуланума и Помпеи, обделанные из редких камней вазы, чаши, канделябры и проч.; но ключи от библиотеки доверялись только прилежному Саше; и тогда как мы, меньшие его братья и сестры, довольствовались позволением любоваться только золото-расписными корешками книг, Саша имел право брать любую книгу, но читать ему позволялось только с позволения отца. Гордясь ли этою привилегиею, или точно увлекаемый любознательностью, но он читал так много, с такою жадностию, что отец часто принужден был на время отнимать у него ключи от шкафов и осуждал его на невольный отдых. Тогда он промышлял себе книги контрабандой; какие-либо романы, сказки, как, например: Видение в пиринейском замке, Ринальдо Ринальдини, Тысяча и одна ночь и подобные, и поглощал их тайком, лежа где-нибудь под кустом, в нашем тенистом саду.

Странно, эта привычка детства — читать лежа — сохранилась у него и в зрелых годах. По большей части он и сочинял лежа, проснувшись или ложась спать. Если же ему приводилось, что прилечь было некуда, то он на первом попавшемся под руки лоскутке бумаги, часто на выкройках сестер, чертил каракульки, прикурнувшись и свернувшись калачиком, как мы тогда называли. С пером в руках он совершенно отчуждался от окружающего его мира: музыка, говор, песни и танцы его не развлекали. Случалось часто из необходимости или просто из шутки, его оттесняли на край рабочего дамского столика, и тогда только, инстинктивно сознавая, что уже нет места, он перекочевывал из одного угла в другой, не замечая общего хохота, возбужденного его рассеянностию. Он всегда говорил: «лететь мыслию я могу только с пером в руках»,

но с такими перьями, какими он писал, едва ли можно было высоко подняться, потому что он их безжалостно грыз и обкусывал, так что иногда от пера оставалось едва столько, чтоб захватить тремя пальцами.

Ежели на ребенка, как на самое впечатлительное существо, кладет неизгладимую печать все его окружающее — худое или доброе, — то наше детство было поставлено в самое благоприятное положение. Отец — артиллерист екатерининских времен, вышедший за ранами в отставку еще в полной жизненной силе, был человек образованный, преданный душою науке, просвещению и службе родине. Это нравственное направление невольно сблизило его с графом Строгановым, человеком тоже весьма просвещенным, душою добрым, старавшимся заслужить имя мецената покровительством и поощрением искусств, наук и художеств. Они взаимно уважали друг друга: граф просил отца принять под свое ведение его канцелярию и доставил ему место главноуправляющего екатеринбургскою гранильною фабрикою, которая обязана была приготовлять ко двору изящные произведения из даров природы, добываемых из недр уральского хребта. Отец поднял фабрику из ее ничтожества; с одной стороны, прекратив злоупотребления, с другой, введя строгую отчетность, он нашел средства представлять ко двору произведения истинно изящные, носящие печать изобретательности и вкуса. Для подобных результатов он должен был войти в близкие сношения с лучшими профессорами Академии художеств, с известным литейщиком Екимовым, устроить на разумных началах бронзовую фабрику и образовать мастеров-техников. Имея сношения со многими горными чиновниками, служившими в Сибири, и любя науку во всех ее разветвлениях, он тщательно и с знанием дела занимался собранием полной, систематически расположенной коллекции минералов нашей обширной Руси, самоцветных граненых камней, камеев, редкостей по всем частям искусств и художеств; приобретал картины наших столичных художников, эстампы граверов, модели пушек, крепостей и знаме-

нитых архитектурных зданий, и без преувеличения можно было сказать, что дом наш был богатым музеем в миниатюре. Такова была внешняя обстановка нашего детства. Будучи вседневно окружены столь разнообразными предметами, вызывающими детское любопытство, пользуясь во всякое время беспрепятственным доступом к отцу, хотя постоянно занятому серьезными делами, но не скучающему удовлетворять наше беспокойное любопытство; слушая его толки и рассуждения с учеными, артистами или мастерами, мы невольно, бессознательно всасывали всеми порами нашего тела благотворные элементы окружающих нас стихий. Прибавьте к этому круг знакомства, не большой, но людей избранных; дружеские беседы без принуждения, где веселость сменялась дельными рассуждениями, споры без желчи; поучительные рассказы без претензии на ученость; прибавьте нежную к нам любовь родителей, их доступность и ласки без баловства и без потворства к проступкам; полная свобода действий с заветом не переступать черту запрещенного, и тогда можно будет составить некоторое понятие о последующем складе ума и сердца нашего семейства, а особенно старших членов, как более взрослых, следовательно, более умовосприимчивых.

Брат Николай был первенец, следовательно — любимое детище родителей. «Но эта горячая любовь, — говорил мне брат Николай, — не ослепила отца до той степени, чтоб повредить мне баловством и потворством: в отце я увидел друга, но друга строго поверяющего мои поступки.* Я и теперь не могу дать себе полного отчета, какими путями он довел меня до таких близких отношений. Я чувствовал себя под властию любви, уважения к отцу, без страха, без боязни непокорности, с полною свободою в мыслях и действиях, и вместе с тем под обаянием такой непреклонной логики здравого

---

* Что видно из писем, случайно сохранившихся из корреспонденции отца с гардемарином-сыном, бывшим на корабле, под командою капитана Лукина.

смысла, столь положительно точной, как военная команда, так что если бы отец скомандовал мне: направо, я бы не простил себе, если бы ошибся на полдюйма. Доказательством всесильного влияния этой дружбы на меня был следующий случай. Приязненные связи отца к властям Морского корпуса давали мне случай пользоваться их снисхождением, так что мало-помалу я сделался первостатейным ленивцем. Долго это скрывалось от бдительного его надзора, наконец, скрывать долее уже было невозможно; он все узнал. Вместо упреков и наказаний он мне просто сказал: ты недостоин моей дружбы, я от тебя отступлюсь — живи сам собой, как знаешь. Эти простые слова, сказанные без гнева, спокойно, но твердо, так на меня подействовали, что я совсем переродился; стал во всех классах первым, вышел по экзамену первым, и, дело небывалое, не в пример другим, назначен корпусным офицером с правом преподавать уроки по трем предметам».

Держался ли отец подобной системы воспитания относительно брата Александра, тогда моему ребяческому уму постигнуть было не под силу; и сведения, сообщенные мне впоследствии братом Николаем, отчасти подтверждают, что и с ним он поступал точно так же. «Перед моими офицерскими эполетами, — говорил брат Николай, — настежь отворились двери светской жизни; в вихре рассеянности я часто терял из виду брата Сашу, тем более, что он уже был тогда в корпусе. Когда же мы видались, то я замечал, что он уже находился под тем же влиянием, под каким находился и я».

Я же, с своей стороны, убежден, что отцу не для чего было изменять системы воспитания для каждого из нас, когда она так хороша была в приложении. В этом я еще более уверился, прочитывая впоследствии его журнал, веденный им с самого поступления в Горный корпус. На заглавном листке этого любопытного дневника красовался эпиграф собственного его сочинения, который говорил: «рука дерзкого откроет; другу я сам покажу». Мне очень памятен тот день, когда, в горделивой позе, весь сияющий торжествен-



А. А. БЕСТУЖЕВ.
Миниатюра Р. Вильчинского. 1835 г.

ностию, Саша заставил меня прочитать этот высоко-знаменательный эпиграф.

— Понимаешь ли ты, что тут написано? — спросил он меня, когда я вопросительно смотрел на него во все глаза.

— Да что ж тут понимать? — отвечал я ему наивно.

— Как что? — и он с профессорской важностью начал мне читать о святых обязанностях друга и как лестно для меня, что он удостаивает брата именем друга. — Братом может быть всякий, — заключил он, — а другом — дело иное.

Жаль и очень жаль, что этот любопытный дневник десятилетнего кадета затерян или истреблен им, что, впрочем, не могло случиться ранее 1825 года, потому что я читал его незадолго до этого времени. В этом тайнике его чувств и помыслов, писанном собственно для себя, без всякой претензии на авторство, без обдуманного плана, с детскою наивностию, можно было уже заметить зародыши будущих талантов и недостатков его на литературном поприще; в нем как бы в зеркале увидели миниатюрного Марлинского, с его складом ума и сердца, с его оригинальною, саркастическою речью, наблюдательным взором и пылким воображением.

Непонятно, каким образом при однообразной корпусной обстановке он ежедневно находил столько сил в своей ребяческой головке, чтоб наполнять целые страницы дневника, не повторяясь в описании происшествий обыденной жизни или в изображении длинной галлереи портретов, сменяя веселый тон на более сурьезный и даже иногда впадая в сантиментальную элегию. Та часть его дневника, где он в карикатуре чертил портреты своих товарищей, учителей, офицеров и даже служителей, была особенно хороша. Поля и даже целые страницы между текстом были исчерчены изображением отдельных лиц и даже целых групп, так что я иногда, при посещении Горного корпуса, узнавал личность без предварительной рекомендации. Эту способность к рисованию первоначально он получил в Академии художеств, где лучшие профессоры живописи давали уроки ему и брату Николаю, который впослед-

ствии был очень хорошим живописцем акварелью и масляными красками как портретист и пейзажист, а Александр...

> «Он к модным знаниям стремя дары натуры,
> Был мастер рисовать одни карикатуры».

И это невольное влечение — схватывать во всем смешную сторону предмета и передавать словом, карандашом и пером — часто было источником больших неприятностей как в корпусе, так и потом на службе. Однажды эта слабость едва не стоила ему жизни, когда, будучи уже в лейб-гвардии драгунском полку, он изобразил все общество офицеров в карикатурном виде птиц и животных; все, узнавая себя, смеялись; только один, представленный в образе индейского петуха, обиделся за шутку, — и они стрелялись.

Казалось, что с такою наклонностию к насмешке он должен был много иметь врагов; напротив, он был любим всеми, где жил и служил. В его беседе, безыскусственно-живой, веселой и сообщительной, все остроты и сарказмы сопровождались такою наивностию и теплотою чувств, что они казались такою же неотъемлемою принадлежностию его речи, как пена и брызчик шампанскому. В сношениях с родными веяло сердечною теплотой; братьев и сестер он любил всеми силами своей любящей души, но когда дело шло о дружбе, то он облекал ее в броню Баярда и хотел, чтоб она рождалась, как Минерва, совершенною и совершеннолетнею, а потому в обращении со мною, как с другом еще недозрелым, был оттенок диктаторства, которому я бессознательно покорялся с полной уверенностию, что он мне желает добра. Из многих случаев приведу один. На Крестовском острове, по соседству с нашею дачей, было очень много мальчиков, с нами однолеток. Однажды, когда нам надоели игры в солдатиков, мы стали играть в разбойников; начальство было присуждено брату Александру. Этот титул он принял как должную дань, но затруднился только, какое принять имя: Карла Мора или Ринальдо. Но, впрочем, он колебался недолго: антипатия ко всему немец-

кому взяла свое, и он принял титул Ринальдо Ринальдини. Началось действие. Ринальдо занимает с своей шайкой маленький островок, сообщавшийся с материком посредством небольшого плотика. Сбиры святой Германдаты нас окружили; нам угрожало неминуемое поражение и плен. Ринальдо приказывает отступить. Все бросились через кусты на плот; я один не расслышал сигнала, а когда он был повторен, плот уже отчалил, так что, прибежав к берегу, я остановился в нерешительности.

— Скачи, если не хочешь быть в плену, — закричал Ринальдо Ринальдини.

С необычайным усилием я совершил salto mortale... Падая на плот, я поскользнулся на мокрых досках, крепко ударился затылком — и лишился чувств. Что было потом, я не помню. Очнувшись, я увидел себя на плечах изнемогавшего от усталости брата; у него еще хватило настолько сил, чтоб поднести меня к реке, освежить и обмыть от крови мою голову.

— Ну, Мишель, — говорил он, ласкаясь ко мне, — рад я, что ты очнулся, а то мы бы перепугали матушку и сестер. Ты крепко ушибся, в этом я виноват, зато ты не попался в руки сбиров, ведь это было бы стыдно, а теперь, напротив, ты себя вел прекрасно. Братцы! я горжусь им и делаю его своим помощником, — заключил он, обращаясь к разбойникам, окружавшим нас.

Другой случай тоже носит отпечаток подобного рыцарства.

Там же, на Крестовском острову, отряд маленьких удальцов, под начальством брата Александра, завладел лодкою, и мы поплыли вниз по речке, обтекающей кругом острова. Проплывая под мостом, лодка ударилась о подводную сваю и проломилась. Едва течением сорвало лодку с подводной сваи, как она начала наполняться водою. Нам грозила верная смерть. Все храбрые сподвижники Ринальдо оказались страшными трусами и думали искать спасения в отчаянных криках, которые совершенно заглушались пронзительным голосом маленького брата Петруши. Не потерялся только наш атаман

Ринальдо. Он снял с себя куртку и заткнул наскоро дыру; потом схватил брата Петра и, приподняв над водой, закричал: «Трусишка! ежели ты не перестанешь кричать, я тебя брошу в воду». Хотя мне тоже было страшно, но я кричать не смел. Воцарилась тишина, а нас между тем несло на середину реки, потому что единственный человек, бывший между нами, г. Шмит, — едва ли не вдвое старше старшего из нас, — который управлялся с веслами, до того потерялся, что вместо гребли кричал в такт: ух! ух! — и махал веслами по воздуху. Брат Александр вырвал у него весло, сел сам и велел мне взять другое. Мы скоро приткнулись к берегу. Брат выскочил с причалом, но, выскакивая, оттолкнул лодку назад, и она пошла опять в реку, таща за собою брата, который не хотел бросить веревки и неминуемо погиб бы, если бы ему не удалось ухватиться за свесившийся сук дерева и тем остановить и притащить к берегу лодку.

С таким экзальтированным настроением, с такою впечатлительною натурою, частое посещение в детстве Академии художеств братом приметно развило в нем чувство изящного. Я помню его восторженное описание всего виденного им в залах Академии, описание натурного класса, причем каждый раз он собственною своею персоною представлял натурщика.

В корпусе он был прилежным учеником, но не во всех предметах одинаково: так, он не слишком жаловал немецкий язык и особенно математические науки. В прочих классах он постоянно был или первым, или из первых, а если случалось, что он терял первенство, — я всегда читал на его лице неудовольствие. Желание первенствовать, отличаться во всем и над всеми было уже в те лета преобладающим элементом его характера, и потому даже незначительное понижение в классе было для него истинным мучением до тех пор, пока он с лихвою не завоевывал высшее место. Эта перемена мест совершалась посредством частых месячных экзаменов, где экзаминаторами были взаимно состязующиеся соперники, и чтоб занять место противника, надо было его, по кадетской терминологии, з а г о-

нять. К такой битве претендент готовился задолго до решительного вызова на бой и часто, нападая врасплох, получал легкую победу, но редко случалось, чтоб первые в классе проигрывали сражение, потому что всегда держали себя наготове. Надо было посмотреть тогда на лихорадочную деятельность брата Александра. Дни и ночи просиживал он над книгами, картами и тетрадями, составляя бесконечные таблицы хронологических чисел, исторических имен и проч., испещряя их иероглифическими знаками, заметками, вопросами или просто вопросительными знаками (?), «крючками, — как выражался брат, — которыми надо подкрючить противника». Сам я с детства и до старости от бога не обижен был памятью: с ее помощию я на 16-м году выдержал экзамен на чин морского офицера, а впоследствии изучил шесть языков при недостатке всех материальных пособий; но у меня голова шла кругом, когда, бывало, он просил меня проэкзаменовать себя по составленным таблицам. Часто, развернув атлас, он приказывал мне задать для отыскания самую мелкую подпись — значит самую ничтожную, и указывал без всякого затруднения. Однажды я спросил его:

— Отчего же, Саша, ты так все хорошо знаешь, а тебе в истории сели три человека на голову?

— Причиною всему злу мой Очарованный лес, — отвечал он, — ты знаешь, я как примусь за что, то не могу оторваться. Когда я его сочинял — уроки шли своим чередом; я отстал, а это подметили, и я слетел.

Нельзя оставить без внимания этот «Очарованный лес» — как потому, что он был вторым литературным его произведением после дневника, так и потому, что в нем уже ясно была заметна претензия на авторство: в нем автор уже являлся перед публикой не замарашкою, как в дневнике, а в костюме мальчика, выехавшего впервые на гулянье. «Очарованный лес» был довольно большая пиеса, в пять актов, составленная им для кукольного театра, который мы устроили общими силами. Все, что он только мог заметить особенного в Днепровской русалке,

Князе невидимке, Волшебной флейте или Тысяче и одной ночи, все было пересоздано и помещено в его «Очарованном лесу».[1] Тут были храбрый князь и очарованная княжна, его стремянной и ее наперстница; шут — вроде Кифара, и трус — вроде Тарабара; добрая волшебница и Зломир; русалка и чорт; заколдованный замок и очарованный лес. Несмотря на всю эту чертовщину, надо было отдать брату достойную похвалу его умению поддержать сказочный интерес пиесы, не спутываясь в лабиринте волшебных вымыслов, и искусному расположению хода сценических явлений. Язык действующих лиц был очень хорошо приноровлен к характерам, так, например, князь или волшебник говорили хотя напыщенно-величаво, но плавно и эффектно; трус-оруженосец был уморительно смешон, а шут — саркастически едок: он беспрестанно сыплет каламбурами и играет созвучием русских слов. Хоры охотников и русалок были написаны стихами, а речи подземных обитателей мерною прозою. Жаль и очень жаль, что этот любопытный документ, повидимому, не сохранился и, вероятно, был истреблен со многими другими бумагами в 1825 году: незадолго перед этим я его еще читал, вспоминая прошлое. Он послужил бы лучшим оправданием против тех обвинений критиков, которые упрекали брата впоследствии за искусственную цветистость слога, и доказал бы, что этот недостаток, если это можно назвать недостатком, был у него не вымышленный, а врожденный.

Отец, с целию развить в нем наклонность к ремеслу, разрешил брать с фабрики все инструменты и материалы, которые мы найдем нужными для осуществления наших детских проектов. С таким пособием мы легко могли бы снабдить весь наш сценический репертуар куклами, но для того надо было время и терпение. Ни того, ни другого у нас не доставало. Брат Александр ограничился для первого представления куклами главных лиц, остальные были вырезаны из картона и раскрашены собственною его рукой. Большая часть декораций была сделана с помощию воспитанников Академии

художеств, которые безжалостно исправляли в его альбоме ошибки и грехи против перспективы и вкуса. Смутно помню я наши репетиции, как брат управлял своими куклами, как учил, поправлял, распекал нас, второстепенных деятелей. Смутно помню первое представление, сопровождаемое смехом и рукоплесканием, особенно, когда появлялся шут или трус-оруженосец, и, наконец, очень хорошо запомнил два обстоятельства, невольно запавшие в мою память. Одно состояло в том, что трус-лакомка оруженосец в очарованном лесу, прельстившись яблоком, несмотря на запрет, хочет сорвать его, но в ту минуту, когда он подошел к дереву, проволока, приводящая в движение руки, порвалась, и руки, вместо того чтоб подняться, опустились без движения. Мы ахнули, не потерялся только брат Александр: он вывел на сцену шута и начал импровизацию, которую так ловко связал с ходом пиесы, что эффект едва ли не был лучше. Потом, когда черти, долженствовавшие появиться в воздухе нескончаемою вереницею, спустились, то брат приказал всех их бросить на сцену, сказав: «ну, не хотят летать по воздуху — пусть валяются на земле».

Он подготовлял для своего театра и другие пиесы; писал ли он их, или они были только в проекте — я не знаю; знаю только, что декорации для них готовились. Это упражнение, под руко водством художников, так развило его декоративный талант, что когда впоследствии в Горном корпусе образовался театр, он был главным декоратором и костюмером. Театр был очень изящно устроен, и на нем разыгрывались очень миленькие пиески; список актеров, состоящий из весьма талантливых кадет, был очень длинен, но, несмотря на то, брат всегда брал роли по своему произволу, и выбор его по большей части падал на самые эффектные. Особенно он хорош был в роли Фрица в комедии Коцебу «Пажеские шутки».

Так текла его корпусная жизнь; казалось, он свыкся с идеею горной службы, и ничто не предвещало переворота в его мыслях, как вдруг все неожиданно изменилось. Брат Николай,

по обязанности корпусного офицера, был назначен в крейсерство с гардемаринами между Петергофом и Кронштадтом и на все время вакаций взял Александра к себе на фрегат. Двухмесячного плавания в море было достаточно, чтоб произвести сильное впечатление на его восприимчивую душу. Он окунулся в новый для него мир неведомых доселе красот природы и душевных потрясений и, увлекаемый обаятельною силой, не противился увлечению. Горную службу он возненавидел и горько жаловался на судьбу свою.

— Посмотри, — говорил он мне, когда мы спускались в искусственные шахты, устроенные в Горном корпусе для наглядного приучения воспитанников к их будущей жизни, — посмотри, вот катакомбы, вот те гробы, где нас погребут заживо. Я этого не вынесу. Для моей души необходим свет божий, широкое раздолье и свобода. Море может только дать все это... Ах! как прекрасно море!

По рассказам брата Николая, в нем очень быстро совершился перелом. В начале похода, очутившись в обстановке, совершенно для него чуждой, не втянувшись в новую жизнь моряка, он как-то робко оглядывался и действовал несмело, что подало повод брату Николаю запретить ему лазить по мачтам и участвовать в матросских работах, обыкновенно исполняемых гардемаринами. «Однажды, — говорил брат Николай, — когда фрегат, став на якоре в устье Невы, приготовлял баркас, чтобы на нем отправить заболевшего гардемарина в корпусной лазарет, брат Александр вошел в мою каюту и настоятельно просил меня отпустить его домой. На вопрос мой о причине — он сказал: „Брат, твои запрещения сделали меня посмешищем всего фрегата: меня называют подземельным кротом, горною крысою и бог знает чем, чуть ли не трусом. Или ты позволь мне жить наравне со всеми, или отпусти домой“. Он был прав, и я, скрепя сердце, снял запрещение. На утро он уже явился в матросской рубашке, широких парусинных брюках, с фуражкою набекрень, пристегнутой на ремешке, подпоясанный смоленою веревкою, одним словом, как лихой

старик,* истый фор-марсовой,** и, чтоб доказать на деле, что он не ворона в павлиньих перьях, бросился в в матросский омут, очертя голову. Иногда у меня замирало сердце, когда из молодчества он бежал, не держась, по рее, чтоб крепить штык-болт,*** или спускался вниз головою по одной веревке с самого верха мачты, или, катаясь на шлюпке в крепкий ветер, нес такие паруса, что бортом черпало воду. Матросское мастерство, морскую терминологию вооружения и командные слова при различных эволюциях корабля он, так сказать, живьем проглотил. Он достиг своего, заслужил приязнь и уважение, его уже не дразнили более черной крысой, а напротив, самые старшие и старики гардемарины называли товарищем».

По окончании кампании он привез под родимый кров порядочный запас строго запрещенных для ввоза предметов; как то: смоленых и несмоленых веревок, блоков, разноцветного филздугу,**** пороху, сигнальных ракет, фальшфейеров.***** Он все это провез контрабандою, под фирмой братниного имущества; но запас рассказов был еще обильнее.

— Странно, Мишель! — говорил он мне, — как ты не вел журнала, когда вас везли на корабле в Свеаборг? Сколько любопытного ты видел и испытал. На твоем месте я бы непре-

---

* Корпусная терминология кадетов — что означает ловкого, сильного и имеющего большую власть над другими.

** На корпусном фрегате, так же как и на всяком военном корабле, фор-марсовые матросы выбираются из самих ловких и проворных.

*** Когда ветер крепчает, уменьшают площадь парусности, и для того у марселей, по всей их ширине, параллельно к рее, за которую их привязывают, располагают три ряда веревочек; эти веревки и служат к тому, чтоб убавлять площадь парусности, а штык-болт есть веревка, закрепляющая убавку паруса на самом конце реи, что и называется крепить штык-болт — операция трудная и весьма опасная.

**** Шерстяная разноцветная ткань, из которой шьются флаги.

***** Состав бенгальского огня, употребляемого на море, чтоб, сожигая его, показать место корабля в темной ночи.

менно что-нибудь написал. Вот и теперь мне хочется написать морской роман или драму, где героем будет наш папа. Я опишу сражение, как он страшно был ранен, как его, вместе с убитыми, хотели бросить за борт, как артиллеристы из любви к нему выпросили позволение похоронить его на берегу; как после сражения его стали обмывать и как он ожил. Все опишу... Жаль только, что я никогда не видел большого корабля и не слыхал, как палят большие пушки. Впрочем, мне Федор как-нибудь поможет, — и мы бежали к старику Федору, пестуну и дядьке отца нашего, и он в сотый раз рассказывал, со всеми подробностями и своим особенным языком: «о неизреченных страстях сражения с поганым шведом и как голубчику, батюшке вашему, осколком щепы как ни на есть отворотило, так сказать, нижнюю челюсть; каким поступком он воротился к животу, как через соломинку он получал питательство целых шесть месяцев и, пребывая нем, яко рыба, говорил только мнением и доказательством, т. е. (объяснял старик), когда ему что сделать потребно, то скажет мм... мм... и укажет...».

Не знаю, писал ли он предполагаемый роман, но знаю, что море с этой поры поглотило всю его кипучую деятельность. Театр был брошен, и на место его явилась модель фрегата. Много надо было уменья и терпения, чтоб приготовлять и приспособлять микроскопические принадлежности к вооружению фрегата, имевшего длины не более полуаршина, но он с изумительною настойчивостию преодолевал затруднения. Попеременно он переходил к разнообразным техническим занятиям; он то кроил и шил паруса, то скручивал оснастку, то работал ножом, долотом или стругом, то отливал оловянные пушки, то раззолачивал кормовую резьбу или резал носовую фигуру, то красил рангоут и корпус фрегата. Мы с братом Петром помогали ему по мере сил и способностей наших, но исполняли более черную работу. Утомившись над кропотливою работой, мы бежали в сад, но и там преобладавшие им идеи его не оставляли, и все наши игры имели морской оттенок. К самым высоким деревьям мы прикрепляли веревочные лестницы, блоки, взбе-

гали или подымались на веревках на самые вершины, там устраивали площадки, вроде салингов,* где, поместившись, переговаривались с дерева на дерево сигнальными флагами, и когда сильный ветер нагонял грозу, мы спешили на свои мачты и там, при сильных размахах и скрипе тонкой вершины дерева, воображали себя в бурю на корабле.

Под игом этой, можно сказать, морской лихорадки он вымолил у матушки согласие на исключение его из Горного корпуса. Был бы жив отец ** — он бы его убедил, что счастие человека не всегда застегнуто в военном мундире и что с киркою в руке так же, как и со шпагою, можно быть полезным отечеству. Сбросив с себя горную амуницию, он деятельно принялся за приготовление себя к экзамену в гардемарины: работал без устали, преодолевая даже свою антипатию к математике, отдыхал только за чтением морских путешествий, и тогда его пылкое воображение носилось по безбрежным морям, посещало новооткрытые земли, полные чудес природы, или открывало новые миры, пророчившие ему будущую его славу. Но по мере того, как его корабль, оставляя берег, приближался к этим заветным мирам, он с грустию замечал, что доступ к ним постоянно замкнут рифами дифференциальных и интегральных формул, о которые разбивалось его терпение.

— Неужели без этого нельзя быть хорошим моряком? — спрашивал он брата Николая, его наставника. — Неужели гений Колумба нуждался в этом хаосе цифр с плюсами и минусами?

И когда брат логически доказывал ему, что именно эти плюсы и минусы дали средства Колумбу сделаться гением, что они вселили в него уверенность в его гениальные замыслы, дали ему силу и терпение преодолевать препятствия, а особенно, когда брат рисовал перед ним прозаическую сторону

---

* Салингом называется та площадка на втором колене мачты, где укрепляется третье колено мачты — брам-стеньги. Второе колено мачты (стеньги) укрепляется на площадке, называемой марсом.

** Отец умер 20 марта 1810 г. в СПбурге на 48-м году от рождения.

жизни моряка, — Александр слабел: он видел, как по частям распадались его воздушные замки, пароксизмы его лихорадки становились слабее, и , наконец, он убедился, что настоящим моряком он не может быть, а дюжинным он ни за что на свете не будет. Я тогда был уже гардемарином, и, по правде, мне досадно было лишиться в брате, которого я так любил, будущего товарища-сослуживца.

— Не стыдно ли тебе воротиться с полдороги, — говорил я. — Неужели ты пойдешь в армию, чтоб вытягивать носок?

— Боже меня сохрани от этого, — отвечал он. — Я буду инженер или артиллерист — смотря по обстоятельствам, и, вернее, артиллерист, как был и наш папа. Половина морской дороги, пройденная с братом Николаем, дала мне довольно силы, чтоб бороться с математикой. — И с свойственным ему рвением ‹он› принялся за изучение артиллерии и фортификации. Часы отдыхов были посвящены постройке миниатюрных укреплений, которые мы разбивали стрельбою из маленьких пушек и мортир, взрывом мин, занятиям по лабораторной части, результатом коих были очень милые фейерверки со щитами и фонтанами.

Но своевольной судьбе не угодно было, чтоб он плавал по морям, строил крепости или разбивал их; она решила иначе, и однажды, явившись перед братом, генерал Чичерин в мундире шефа лейб-драгунского полка держал такую речь:

— Друг мой, Саша! Ты не любишь фрунта, а хочешь быть полезным военной службе по ученой части — прекрасно! Но для этого одного желания мало, надо иметь возможность,— т. е. на первый раз хоть добиться обер-офицерских эполет, а их тебе не дадут без знания фрунтовой службы, хоть бы ты с неба звезды хватал. Итак, если уже тебе нельзя миновать горькой участи, мы постараемся ее облегчить, сколько возможно. Вот мой совет: я беру тебя в свой полк юнкером; месяцев пять, шесть ты потрешь солдатскую лямку и потом ты офицер, — ты свободен, и я благословляю тебя на все четыре стороны, — держи экзамен хоть прямо в начальники штаба.

Матушка, всегда уверенная в дружеском расположении к нашему дому генерала Чичерина, убедила брата принять его предложение, и через несколько месяцев он уже надел юнкерский мундир.

Не могу удержаться, чтоб в заключение не упомянуть одного обстоятельства. Офицерский чин я получил в 1817 г. и был так молод, что мне недоставало двух годов до определенного законом числа лет для первого чина. Брат Александр еще не был произведен в офицеры и хотя из гордости не сознавался, но солдатская лямка до боли терла его раздражительное самолюбие. Как-то мы с ним встретились на Невском проспекте, и он протянул руку, чтоб поздороваться.

— Вы не знаете своей обязанности, г. юнкер, сделайте фрунт и шапку долой.

Я не думал, чтоб слова мои, сказанные в шутку, произвели на него такое болезненное действие; он побледнел и совершенно растерялся, очень неловко повернулся, чтоб сделать фрунт, и снял фуражку.

— Не сердись на меня, милый Саша, — сказал я, взяв его почтительно под руку.

Он сделал почти машинально несколько шагов, остановился и спросил дрожащим голосом:

— Брат, что это значит?

— Мне хотелось отомстить тебе, Саша, за твое возвращение с полдороги, — отвечал я. — Если бы ты тогда не воротился, мы бы с тобою теперь прогуливались по Невскому в одинаковых мундирах.

— Ну, пожалуйста, вперед не шути так, — возразил он. — Прощай, солдату нельзя прогуливаться под руку с офицером; но знай, что я не останусь у тебя в долгу и отплачу тем, что перегоню тебя по службе.

Он сдержал свое слово и перегнал меня в штаб-офицерском чине, которым я только сравнялся с ним уже по переходе моём в гвардию.

Считаю лишним говорить о его солдатской службе: довольно упомянуть, что он нес ее с благородною гордостью и необыкновенным терпением. Самолюбие, желание отличия на каком бы то ни было поприще сделало из него славного солдата и еще более смелого наездника. Офицеры его полюбили, начальники не могли нахвалиться его исправностию, и через год он был произведен в офицеры. Лейб-драгунский полк тогда стоял в Петергофе, брат Александр жил в Марли, и потому первая его критическая статья появилась в журнале под псевдонимом Марлинского.

II

МЕЛКИЕ ЗАМЕТКИ ОБ А. А. БЕСТУЖЕВЕ

1

(Дуэли и участие в них братьев Бестужевых)

Желая говорить с вами только языком истины, я уже прежде оговорился касательно слабеющей моей памяти, изменяющей более всего в именах и числах, и потому не сетуйте, ежели я, приводя факты верные, не могу припомнить эпох и имен. Я, в описании детства брата Александра, вам упоминал о его первой дуэли с офицером лейб-гвардии драгунского полка за его карикатурные рисунки, где все общество полка было представлено в образе животных. Вторая его дуэль была затеяна из-за танцев. Третья — с инженерным штаб-офицером, находившимся при герцоге Виртембергском, и это происходило во время поездки герцога, где брат и инженер составляли его свиту, и брат был вызван им за какое-то слово, понятое оскорбительным. В этих двух дуэлях никто из нас, даже Рылеев, не участвовал. В дуэли Рылеева с женихом сестры его брат Александр был секундантом. Дуэль была ожесточенная, на близкой дистаниии. Пуля Рылеева ударила в ствол пистолета его противника и отклонила выстрел, направленный прямо в лоб Рылеева, в пятку ноги.[1]

2

(Как принята была смерть брата Александра Александровича. Нет ли писем по этому поводу брата Вашего Николая Александровича?)

Смерть брата Александра произвела не только на нас, но и на всех наших товарищей какое-то потрясающее действие, как будто происшествие, внезапно постигшее всех, тогда как все, а особенно мы с братом, были уже к этому подготовлены и письмами его, в которых пробивалась его решимость — искать смерти, и уже заметным намерением правительства вывести его в расход. Брат страдал молча, но страдал видимо. Я плакал впервые в жизни, и плакал, как ребенок, до того, что сделалось воспаление глаз: я не мог смотреть на свет и сидел в темной комнате. Добрый товарищ Вольф с медицинской помощью пролил в душу мою целебное успокоение и, выпросив мне у коменданта позволение прогуливаться, доставил тем возможность несколько рассеяться. Я не мог дать отчета своим чувствам: и прежде, и после я испытывал неожиданные удары в жизни, но никогда я не был так потрясен несчастием, которого мы ожидали со дня на день.[1]

3

(Нет ли копий с рескриптов Александра I, данных за «Полярную Звезду» 1823—1825 гг.?)

Настоящие рескрипты находились в бумагах брата Александра и Рылеева и, вероятно, захвачены вместе с ними при опечатывании. Копий мы с них не снимали, не находя их сколько-нибудь стоящими этого труда.





ВОСПОМИНАНИЯ О Н. А. БЕСТУЖЕВЕ

I

ПРИМЕЧАНИЯ К БИОГРАФИЧЕСКОМУ ОЧЕРКУ М. И. СЕМЕВСКОГО: «НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕСТУЖЕВ»[1]

№ 1. *К рассказу о ранении А. Ф. Бестужева.*[2] У нас в морских боях с убитыми не церемонятся: их бросают тотчас за борт. Причиною тому не равнодушие или небрежность к мертвым, а необходимость очищать тесные боевые палубы от трупов, которые, заваливая их, мешают действию орудий. Только раненых относят на кубрик, для медицинских пособий. Отца, считавшегося всеми мертвым, не бросили за борт именно по привязанности к нему нижних чинов, которым хотелось по-христиански похоронить его на берегу. Это обстоятельство хорошо рисует мягкий общительный нрав отца во всех житейских сношениях с людьми и в особенности с подчиненными, когда в пылу битвы, делающей самого кроткого человека зверем, мог пробудиться в таких черствых натурах такой тонкий оттенок благодарности.

№ 2. *К рассказу о выздоровлении А. Ф. Бестужева.* По окончании сражения тело отца, по обычному обряду погребения, начали обмывать, и едва холодная вода коснулась головы и груди, по лицу пробежало мгновенное движение; принесли зеркало — на нем обозначились едва заметные следы дыхания. Призванный медик возвратил его к сознанию после долгих



Н. А. БЕСТУЖЕВ.
Рисунок Питча 1870-х годов с автопортрета
1830—1840-х годов.

усилий, но объявил, что для поддержания этой оставшейся искры жизни нужен живительный воздух берега, куда его тотчас же свезли, и он с разрешения Павла, назначившего ему на излечение значительную сумму денег, жил в Нарве, кажется, до совершенного выздоровления. Боюсь ошибиться, но в тумане моей слабеющей памяти остались следы рассказа матери, как в эту эпоху болезни завязалось их первоначальное знакомство.

№ 3. *К замечанию об издании А. Ф. СПБ журнала.* Опыт военного воспитания был посвящен и поднесен в. князю Александру Павловичу, который, приняв его благосклонно, посоветовал отцу, из опасения навлечь на себя новые подозрения императора Павла, издавать журнал, где бы это сочинение могло быть помещено по частям. Отец исполнил его волю и с помощью Пнина издавал «С.-Петербургский журнал».

№ 4. *О причинах поступления Н. А. Б. в морскую службу.* Конечно, нет правил без исключения, но известно, какие неизгладимые сгибы кладет на гладкую душу младенца обстановка окружающих предметов, лиц и обстоятельств. Брат Николай был первенец, отец и мать души в нем не слышали, баловство отца доходило до того, что он восхищался, когда увидел в первый раз, как его первенец бросал на землю чайную посуду, и упрашивал мать: не запрещать ему творить такие чудеса. «Ты своим баловством, — возражала мать, — научишь его не творить, а разрушать». — «Ничего, матушка, ничего, — отвечал отеи, — даст бог, и творить что-нибудь доброе выучится». Мать, в свою очередь, в припадке материнской нежности делала своего рода безрассудства, имевшие вредное влияние и на его душу и на тело. Долговременное кормление собственною грудью ослабило его организм, развило золотушные остроты, которые, образовавшись в заушные нарывы, потребовали болезненные операции, повлекли новые недуги и продолжительное лечение. Чудо-первенец сделался раздражительным, капризным ребенком, и, как обыкновенно бывает в подобных случаях, ему поблажали; ради его хворости его берегли, чтоб даже ветер не пахнул. Все это в сово-

купности делало из него слабенького, своевольного и в высшей степени впечатлительного мальчика. Мудрено ли, что такая оригинальная личность, как личность капитана Лукина, подействовала обаятельно на живое, впечатлительное воображение ребенка и была причиною в решительном избрании поприщем жизни — морскую службу. Весьма естественно и то, что брат в лице Лукина видел идеал совершеннейшего моряка и желание быть на него похожим положило свою печать на многие черты его характера. Так, шалости молодых его годов носили отпечаток подражания богатырству, рыцарству, турде-форс Лукина; так, своеобразный, но плавный его разговор, так, даже щеголеватый, но всегда своеобразный военный его костюм, не смотря на затруднительность отступления от строго постановленной формы, — все это носило признаки привитого желания: походить на свой идеал. Даже в зрелых годах, когда рассудок мог ему выяснить, что Лукин очень плохой идеал для каждого и что подобные строгие милостивцы отцы-командиры могли только существовать при младенчески-невежественном состоянии нашего флота, брат часто, увлекаясь впечатлениями юности, красноречиво описывал подвиги русского Геркулеса. Помню, как теперь, один вечер, в глухую осеннюю пору в Свеаборге, в дружеском кружке корпусных офицеров и нас штук 8 маленьких кадет, только что поступивших в Морской корпус, увезенный из Петербурга в Свеаборг из страха Наполеоновского нашествия на первопрестольную столицу. Помню, с каким жадным любопытством и мы, юная мелкота, пили занимательные рассказы о Лукине. Брат вспоминал о нем, как о близком и хорошем знакомом нашим родителям; вспоминал, как он своим простым, дышащим непритворною откровенностью моряка, обращением, даром своего слова, по наружности безыскусственного, но в сущности разумно-логически выработанного, умел привлекать все сердца. С каким совершенством он знал тайну разнообразить свои занимательные рассказы и как искусно, неприметно и как бы невольно он умел выставить себя героем

опасливейших происшествий. Из многочисленных рассказов,— comme tour de force,*— он рассказывал, как Лукин, посадя матушку и всех нас малюток в коляску, катал за дышло по двору; как однажды, провожая мать до кареты, он удержал за колесо пару лошадей, и матушка, предполагая, что лошади взбесились, хотела остаться дома. Из его богатырских подвигов рассказывал брат, как он с 12 человек гребцов развоевал целый город Шернез, схватя двух главных зачинщиков, и, связав одного, повесил за связанные руки на сук дерева, а другого, ведя перед собой за шейный платок, когда видел более упорное сопротивление, то, повертывая руку, стягивал его галстук, заставлял толпу невольно раздаваться перед его войском. Как при посещении одного из своих друзей, не застав его дома, он сказал денщику, встретившему его с железною кочергою, которою он загребал истопленную печь: «Скажи, что я был». — «Но кто вы, ваше высокоблагородие», — возразил денщик. — «А, ты не знаешь, кто такой я. Вот отдай эту цыдулку», — и Лукин, взяв железную кочергу, завязал ее узлом и отдал денщику. — «Отдай барину, и он узнает, кто был». Барин точно узнал, кто был. Рассказывал многое множество разных анекдотов про Лукина: как он гнул подковы, как выгибал из целкового на ладони чашечки, которые дарил своим приятелям в знак памяти; как отрезал нос одному англичанину и проч., но из всех анекдотов один более прочих врезался в моей памяти. Был некто кап.-лейт. Тимашев, такой силач, что в сравнении с ним сила Лукина могла почесться ребяческою. Мерилом ее может служить следующее происшествие. В Кронштадте некогда существовал так называемый Пушечный двор, где на открытом воздухе лежали орудия, и запасные и свезенные с военных судов. Из числа их пропал медный фальконет. Наряжена была комиссия для исследования этой пропажи, и в числе членов находился Тимашев. Собравшиеся на двор члены долго рассуждали, каким образом

* Как исключительное проявление силы.

могло совершиться похищение, и, наконец, Тимашев, молчавший до той минуты, пресурьезно сказал:

— Господа! зачем прибегать к таким тонкостям, когда дело можно обделать очень просто: вероятно, вор пронес пушку в ворота мимо часового.

— Но возможно ли это, — возразили прочие члены с удивлением и даже со смехом.

— Очень возможно — я вам это докажу, — и с этим словом Тимашев взял другой, парный украденному, медный фальконет пудов около двадцати под мышку, завернул в шинель и спокойно прошел в вороты мимо часового, который отдал ему честь. Этот русский Самсон, не любивший, как по большей части все силачи, хвастаться своею силою, прошел жизненное поприще и слег в могилу без всяких лавровых венков, а между тем был бельмом на глазу Лукина, и тот много раз, но тщетно пытался или хитростию, или ловкостию стать во мнении других выше его силою. Случилось однажды, что (не помню, в Швеции или Голландии) Тимашев разговаривал, стоя в кругу многих офицеров. Лукин набежал на него сзади и толкнул его в спину с намерением повалить в кружок разговаривавших. Тимашев, застигнутый врасплох, точно едва не упал, но удержался на ногах, и когда Лукин подбежал к нему, с притворным участием извиняясь в своей шутке, тот в порыве досады оттолкнул его от себя, но толчок был так силен, что втиснул Лукина между круглою кафельною печкою и стеною. Он застонал от боли. Добряк Самсон забыл об обиде, прибежал на помощь к задыхающемуся Геркулесу, отодвинул без особенного усилия круглую на чугунных ножках печь и, освобождая, может быть, от смерти врага, держал к нему такую речь: «Милый Васенька (кажется, так звали Лукина), извини меня! — в сердцах я позабыл, что со своею глупою могутой не должно так толкать. — А это тебе вперед урок не хвастать своею силою! И что такое наша сила? — мочалки лыко, братец. Я тоже, как и ты, кичился своею силою прежде; а с тех пор, как одна баба на станции, за некоторую

мою вольность, трокнула меня о землю, так что я едва дух перевел, перестал кичиться. Все, брат, вздор и суета». Но Лукин с тех пор сделался непримиримый враг Тимашеву. — Ну, — сказал кто-то из присутствовавших при рассказах брата, — у Лукина-то была душонка небольшого размера. Там было, кажется, немного силы? — Да! — заключил брат, — едва ли вся сила, какая в нем была, не сосредоточилась только в руках. — Из этих слов можно заключить, что на моральную жизнь брата Лукин не мог иметь никакого влияния.[1]

На его моральную сторону другая личность, диаметрально противоположная личности Лукина, наложила неизгладимо-благотворную печать — это Платон Яковлевич Гамалея, бывший тогда инспектором в Морском корпусе и другом отца. С первых минут, когда юная память могла удерживать первые впечатления, до самой смерти брат отзывался об нем как о благодетеле, как о человеке, которому он обязан лучшею частью своего нравственного достояния. И точно, по рассказам его, казалось, провидение создало этого человека и поставило на занимавшее‹ся› им место нарочито для того, чтоб служить примером для возрастающих под сению наук молодых поколений. Пламенная любовь к науке, неутомимость в занятиях, нрав тихий, ровный, кроткий, речь плавная, тихая, как бы утомленная, смягченная детским пришепетыванием, где даже немного резкий звук буквы *р* превращался в *л*, оттенок дружески-отеческой любви в обращении с кадетами, когда даже самый выговор обращался в устах его в какую-то просьбу, в какую-то мольбу, когда самый большой упрек ленивцу выражал в подобных фразах: «Ах, братец, ты не знаешь, что ты собственный свой палач, — ты себя наказываешь, ты себя губишь»... «Любите науку, братцы, для самой науки, — повторял он часто готовящимся к выпуску, — а не для того, чтоб надеть эполеты: невежда офицер похож на того животного — знаете, братцы, об котором говорят в басне — ну того, знаете... под золотым чепраком с длинными ушами. Ведь самый богатый чепрак длинных ушей не

закроет». И точно, он имел дар заставить невольно полюбить бóльшей части моих товарищей, — говорил брат, — полюбить науку для науки.[1]

Но каких неутомимых трудов, какого ангельского терпения все это ему стоило. Не должно забывать жалкое состояние образования кадет того времени: это был какой-то хаос, отсутствие всякой системы, какое-то бессмысленное препровождение времени в классах. Учителя, набранные с борку да с сосенки, с невежественным самовластием распоряжались умственным достоянием детей, им вверяемых. Руководств никаких не было; каждый преподавал что и как ему вздумалось, по бестолковым запискам, принимавшим безобразный вид при переписках под диктовку безграмотным маленьким невеждам и поглощавшим большую часть учебного времени. Платон Яковлевич Гамалея предположил целью своей жизни искоренить это зло, составя руководство по всем предметам наук, и начал с важнейшего: с астрономии, навигации и высших математических вычислений. Святый мученик науки! — Он возложил на себя свой крест и нес его до могилы — один — совершенно один. Он сочинил астрономию и навигацию, высшие дифференциальные вычисления, алгебру, теорию и практику кораблевождения. Я говорю: сочинил, потому что это слово именно отвечает тому геркулесовскому труду этого героя у царя Агистоя. Платон Яковлевич в буквальном смысле должен был возращать семена этих предметов на бесплодной, мерзлой тогдашней учено-литературной почве. Но прежде, нежели приступить к печатанию своего сочинения, он хотел видеть приложение его на практике, хотел испытать удобопонятность его в изложении и для того предпринял лично преподавание этих предметов гардемаринам. «Никогда не изгладятся из моей памяти, — говорил брат, — те часы, которых мы нетерпеливо дожидались, чтоб бежать в класс к Платону Яковлевичу. Как теперь помню, с какою любовью и почтительным участием мы смотрели на этого худенького, сгорбленного старика, отвечали смело и слушали со вниманием, но все, что он ни спра-

шивал, все, что он ни говорил своим мягким, тихим голосом, в звуках коего уже слышалась чахотка, зародившаяся от неусыпных трудов. Зрение его уже расстроилось, он носил зеленые очки и не всегда мог хорошо различить на учебной доске ‹ни› начерченных фигур, ни длинных математических формул, и потому он чаще заставлял нас объясняться словами, и ежели случалось выразиться удачно — он тотчас фразу записывал и потом вносил в корректурные свои листы. Помню незабвенные для нас часы, когда по окончании класса П. Я. приглашал некоторых счастливцев к себе и там, сидя за ширмою, чтоб предохранить свое зрение от света свечей, он предлагал нам различные вопросы, на которые мы должны были отвечать; вызывал нас на вопросы и отвечал нам, и когда случалось, что предложивший вопрос не понимал его объяснения, он кротко, без всякой обидчивости говорил: ,,Я, братец, может быть худо объясняю, и ты не понимаешь меня; пожалуйста, Бестужев (или кто другой), объясни ему это''»... «Я не могу вам объяснить того обаяния счастья, — всегда говорил брат, вспоминая эти обстоятельства, — не могу вам выразить состояние нашего морального настроения, когда мы, сидя за столом перед ширмою, при тусклом освещении сальной свечи ловили жадным слухом тихие, хриплые звуки нашего обожаемого божества, как поклонники Изиды, и рвались друг перед другом соделаться достойными его одобрения, или когда это божество, этот идеал ума, кротости и смирения поручал кому-нибудь из нас разъяснение его откровений, — мы тогда делались красноречивыми ораторами и часто слышали скрип пера, записывающего наши вдохновения...».

Третье и едва ли не самое влиятельное лицо был Василевский, коротко с ним знакомый именно в те годы, когда характер человека, выливаясь в известную форму, начинает крепнуть. Отец поручил Василевскому образование брата в тех предметах, о которых в корпусе не было и помину: как то — политической экономии, народного права, философии, психологии, логики и прочих. По выпуске из корпуса,

когда брат был уже полным властелином своего времени и своих действий, эти уроки превратились в частые дружеские беседы, тем более удобные и приятные, что близость нашего дома к Академии художеств, где жил Василевский, давала каждому из них возможность в свободную минуту посещать друг друга. К тому же одинаковость лет, общая наклонность к одинаким занятиям, общие знакомые, сходство взглядов на вещи — все это подавало повод к большему сближению. Да и самая оригинальная личность Василевского была такого рода, что его если не любили, то невозможно было, чтоб он не нравился каждому. Он был среднего роста, с добродушною физиогномиею, которая при улыбке принимала насмешливый вид сатира; зеленовато-голубые на выкате, как у рака, глаза были до того слепы, что от близорукости он делал, а часто и позволял себе нарочно делать презабавные bévues;* темнорусые волосы были прямы и до того упрямы, что, не слушаясь хозяина, сваливались, как хворост, на забавное лицо его и тем еще более увеличивали неудержимое чувство смеха каждого, кто это видел. Ни по рождению, ни по воспитанию своему не имев случая приобрести необходимый светский лоск, он был крайне неловок, одевался с претензиями на дендизм безвкусно и — странное дело — со всеми этими, кажущимися не только недостатками, но преступлениями в светском обществе, он был всегда и везде в своей тарелке. Казалось, что, ежели бы он был чем-нибудь иначе, он бы потерял все. Самую слепоту свою, самую неловкость он умел подать лицом, как искусный продавец товар, и его никогда нельзя было застать врасплох, невозможно было сконфузить никакою нечаянностью. У него всегда и всякому был готов как бы готовый уже заранее отпор. До того его живой, саркастический ум был приготовлен постоянной бдительностью. Задушевная речь его бежала скачками, сопровождалась резкими жестами и выразительными ужимками физиогномии. Он любил выражаться картинно и пора-

* Оплошности.

жать неожиданностью выводов. Особенно хорош он был в битвах с прекрасным полом. Я говорю битвах, потому что дамы и девицы, всегда с враждебными замыслами пользуясь его слабостью л ю б е з н и ч а т ь с ними, почти всегда платились за это приятное удовольствие пухом или перышками из своих крыльев, вырванными его острым, костическим клёвом. Вот образчики на выдержку. Однажды, в избитом споре с одною дамою о грехопадении первого человека, он обвинял Еву — она силилась взвалить вину на Адама. Будучи уничтожена его оригинальными доводами, как утопающий, ухватилась за соломинку и сказала: «Ну, хорошо, ежели уж не Адам был виною грехопадения, то по крайней мере вашего же мужского рода, потому что ведь в образе змия был чорт, обольстивший Еву, а чорт, как вам известно, мужского рода». — А! — смиренно с видом побежденного отвечал Василевский, — теперь только я понял, почему черти изображаются с рогами.— «Напишите мне что-нибудь в альбом»,— сказала одна набожная, злоумная и хорошенькая барышня, подавая альбом и настаивая, чтоб он непременно написал тот же час, вероятно, с намерением поставить его в тупик. Он взял перо и, немного думая, написал:

Ты настоящая Христова ученица:
Разумна, как змея, чиста, как голубица.

— Нет, брат, Дмитрий Ефимович, стара штука! — вскричал при этом некий барин, до пошлости глупый и назойливый до нестерпимости. — Вот посмотрим, что ты мне напишешь в альбом. Для меня ты верно не заготовлял стишков, как этой прекрасной голубице. — Изволь, — отвечал Василевский с злою улыбкою сатира, — будет всем сестрам по серьгам, — и, не выпуская еще из рук пера, черкнул:

Благословенна мать, блаженна та утроба,
Котора некогда была тобой жерёба.

В другой раз, будучи вызван на бой одною прелестною дамой с кокетливыми наклонностями, он премило доказывал,

что бог во всем своем премудром творении сделал ошибку, одарив венец своего творения — женщину — красотою, и что он, желая по благости своей спасения каждому и наследия неба, поставил женщину на этом пути как камень преткновения. — Господи, боже мой, — воскликнула, смеясь, красавица. — Неужели, например, я, незлобное существо, могу быть причиною такого зла. — Нет, — присовокупил один из ее жарких поклонников. — Нет, Дмитрий Ефимович, ты должен быть в душе зол и несправедлив, чтоб отрицать силу красоты женщины, невольно влекущей нас на небо. Посмотри только на нее, на эти голубые глаза, и тебе откроется небо. — Василевский вскочил поспешно со стула, взял молитвенник матушки, лежавший на столике перед распятием, и, став на колени, начал набожно молиться. — Что вы это делаете, — вскричали многие с удивлением. — Молюсь, чтоб попасть на небо, — скромно ответил Василевский.

Можно бы было привести многое множество подобных анекдотов, если бы я не боялся утомлять Вашего терпения. Студенты Московского университета уже не знали того Дмитрия Ефимовича, который так сильно влиял на характер и на умственные способности брата. В Москве он уже сделался женатым лысеньким профессором, ограничившись потребностию хорошо покушать и хорошо уснуть. Понюхав заграничного воздуха, насмотревшись заморских чудес, он, как кукушка в часах, до самой смерти повторял только зады и был болтун нестерпимый.[1]

Если бы возможно было три приведенных личности растворить химически и, отбросив грязный осадок, слить с растворенною химически личностью брата Николая, то в характере его можно б было видеть, как в венисе или в амигдолине, вкраплены те особенности, которые его натура всосала по законам сродства и притяжения, и вот причина, почему я об них распространился, может быть, в ущерб Вашего снисходительного внимания.

№ 5. *Сообщение об оставлении Н. А. Б. в корпусе воспитателем.* В Вашем биографическом очерке пропущен довольно

знаменательный эпизод его жизни — это путешествие его как корпусного офицера с кадетами в Свеаборг и пребывание его там. Эпизод этот замечателен тем, во-первых, что тут он сблизился впервые с тою женщиною, которая имела такое сильное влияние на его жизнь до самой смерти гражданской; и, во-вторых, по его отеческой заботливости к двум молодым птенцам-братьям, вверенным его заботливости нашею матерью. Мне едва было 10 лет, брату Петру — седьмой, а нашему отцу-покровителю далеко еще было до совершеннолетия. Но, несмотря на такую незрелость лет, он с необыкновенным тактом как бы давно приобретенной опытности сумел приобрести сразу доверенность, уважение наши и поставить нас твердою ногою на скользком пути корпусной жизни новичков, имевших братом корпусного офицера. Кто воспитывался в корпусе, тот знает, как тяжело и щекотливо подобное положение... На кадет с родственным начальством смотрят всегда неприязненно товарищи, видя в них привилегированных избранников или наушников. Как теперь помню первую ночь, проведенную нами на яхте Голубке, куда перевезли шесть кадет для отвоза в Кронштадт на корабли, долженствовавшие доставить нас в Свеаборг. Помню, как втиснули нас между наваленных чемоданов и коек в небольшую яхтинскую залу с зеркальными стенами, в которых беспорядок поместительности и число помещенных кадет умножались до бесконечности. Впервые в жизни оставив родимое пепелище, нам было неловко, страшно. Кадеты по обычаю приставали, дразнили, даже били нас как новичков. Я крепился, брат Петр плакал... Далеко за полночь, когда утомление и сон угомонили неугомонных наших преследователей, брат Николай тихо пробрался к нам между сонными кадетами, лег подле нас и стал утешать, давая благоразумные советы для нашего поведения на новом поприще. «Перестань плакать, — говорил он Петру, — ты этим горю не поможешь и навлечешь на себя новые пинки и название бабы, которое повлечет еще худшие последствия. Потерпите немного — все обойдется, не давайте себя в обиду, если под

силу — бейте сами, а отнюдь не смейте мне жаловаться на обидчиков. Забудьте однажды навсегда, что я ваш брат; хорошо будете учиться, хорошо вести себя — я отличу вас наравне со всеми; худо сделаете, станете лениться — я накажу вас, как накажу каждого шалуна или ленивца. Но всего более остерегайтесь выносить сор из избы, иначе вас назовут фискалами, переносчиками, и тогда горька будет участь ваша». Много говорил он в поучение и в утешение наше, и нам стало как-то легко на сердце, нам казалось, что мы сделались старыми кадетами, и все последующие огорчения новичков сходили с рук как-то сноснее. Вскоре мы освоились с кадетскою жизнию, нас полюбили, тем более, что все увидели и убедились в нашем бесхитростном поведении и отсутствии привилегий, сопряженных с родством брата.[1]

№ 6. *О поездке в 1815 г.* Вам известно, до какой степени энтузиазм охватил сердца истинных патриотов России при нашествии Наполеона; брат был в числе этих жертв, искавших пролить свою кровь за родину. Логин Иванович Голенищев-Кутузов, бывший директор Морского корпуса, принимал очень благосклонно брата в доме своем, тем более, что знал о дружеских сношениях брата Н. с его сыном. Брат обратился с просьбою к Логину Ивановичу исходатайствовать у Михаила Ларионовича Кутузова, его родственника, честь служить в его штабе. Первый благосклонно принял просьбу, ходатайствовал и получил согласие второго. Но брат забыл, как коротка память у сильных мира сего, и, обольщенный могущественною протекциею, спустя рукава ожидал назначения, не подумав о том, как необходимо было сделать о себе напоминовение. Вскоре он узнает об отъезде фельдмаршала в действующую армию и потом — уведомление через Логина Ивановича, что уже все места штаба пополнены и фельдмаршал не может исполнить просьбу. Так развеялся дымом фейерверка энтузиазм брата. В 1815 году, когда кошемар Европы ушел с о-ва Эльбы и начал душить заснувшие сном праведников души праведных монархов, наши войска

снова двинулись во Францию, и было приказано послать батальон моряков в Голландию для содействия при переправах русской армии. Командиром был назначен капитан 2-го ранга Тизенгаузен, один из образованнейших и деловых офицеров флота, но прилежащий сердцем более к сухопутной службе, нежели морской. Задолго перед сим он сблизился с братом по поводу проекта об укреплении крепостей, представленного им военному министру. Ему хотелось его напечатать, чтоб выслушать суд инженеров всех наций. Немецким языком он владел хорошо как немец, но во французском и русском он не был столько тверд, чтоб без твердой помощи приступить к изданию. Вот причина его сближения с братом, которое потом обратилось в истинную приязнь, потому что Тизенгаузен был человек в полном смысле достойный любви и уважения. Самый проект своею оригинальною новизною пленил воображение брата и сделал его ревностным помощником прожектёра. Его система была основана на идее довольно парадоксальной, но вместе с тем не лишенной глубокого смысла.

Он доказывал, что крепости должно строить так, чтоб они были не тогда сильны, когда штурмуют их наружные укрепления, а тогда, когда они будут взяты. Он доказывал затруднительность, слабость защиты наружных укреплений самой сильной крепости при неизвестности пункта, на который неприятель поведет атаку, и что когда однажды наружные укрепления взяты, крепость, гарнизон и жители соделываются жертвою неприятеля. Напротив, он предлагал при постройке крепостей не думать много о наружной защите, а обратить внимание на защиту крепости внутри ее самой; строить казематированные здания и отдельные верки и люнеты по строго обдуманному плану инженерного искусства, так, чтоб каждое здание и каждое укрепление фланкировало и защищало друг друга; чтоб они имели покрытые пути для взаимных сообщений, покрытые ходы для внезапных вылазок и нападений на атакующих; одним словом, поставить гарни-

зон крепости в такое положение, что ежели успехи неприятеля идут в прогрессии арифметической, моральные и физические силы гарнизона, сосредоточиваясь, растут в прогрессии геометрической. Проект был составлен дельно, написан красноречиво и сопровождался многими фортификационными чертежами и планами. Окончательная обработка его отложена была до возвращения из Голландии, куда он предложил брату ему сопутствовать. Мне неизвестна участь этого замечательного сочинения, равно как и участь большого переводного труда брата Н., предпринятого им и почти оконченного по возвращении из Голландии; это Considération sur l'art de la guerre par P. Rognat (или Rognar).*

№ 7. *О пребывании во Франции в 1817 г.* Для полноты биографического очерка жизни брата Н. морской поход во Францию нельзя упомянуть только вскользь. Он имел осязательное влияние как на последующую литературную деятельность не только брата Н., но даже Александра, равно как и на рост тех семян либерализма, которые таились в душе нашей. В этот поход знакомство наше с Н. И. Гречем [1] как пассажиром на нашем корабле Не тронь меня втянуло невольно нас, троих братьев, в тот жидкий кружок литераторов, который жалко произрастал на иссушенной цензурою почве русской литературы. Пожалуйста не подумайте, чтоб гений Николая Ивановича увлек нас. Мы его очень хорошо понимали даже в то время. Но когда по возвращении, из благодарности за прямой, свойственный морякам прием, за радушие и гостеприимство, Греч считал своею обязанностию сблизиться с нами, мы невольно были охвачены волнами современной литературы и поплыли, увлекаемые ее стремлением.

Относительно либерализма этот поход был чреват последствиями. Вспомните эпоху нашего похода. Мы шли взять часть войск Воронцова, оставленных во Франции для поддержания власти восстановленных нашею силою Бурбонов и взноса

---

* Рассуждение о военном искусстве, сочинение П. Ронья.

контрибуции. Франция волновалась... Ей нужен был или Наполеон, или свобода. Король в теплых бархатных сапогах был смешон, а французы не могут переносить смешное. Вот вам канва, на которой вышивайте узоры, которыми мы любовались в К а л е, где наши эскадры стояли так долго в ожидании солдат Воронцова. Но самый наш рейс до Кале и возвращение от него в Россию лил обильною струею благотворную влагу для росту семян либерализма. В числе пассажиров, кроме Греча, у нас на корабле находились жена генерала Жомини с компаньонкою. Генеральша была завзятая республиканка; компаньонка ее из плебейского рода — тем более. Дивизионный генерал наш Огильви, родом англичанин, в каюте которого они жили и присутствовали за обеденным и чайным столом, не стеснялся в своих англоманских суждениях и, с удовольствием вызывая их мнения насчет деспотизма Наполеона и потерянной свободы французов, порождал жаркие и любопытные прения между m-me Жомини, Гречем и присутствующими офицерами корабля. Сам Греч как будто переродился. Сухой, безвкусный на бумаге, он обладал даром живого слова и был всегда красноречивым, занимательным собеседником. Забитый литературною и полицейскою цензурою в Петербурге, он на корабле, между моряками, живущими нараспашку в своих словах и делах, как бы увлекаемый потоком, невольно или из подражания жил и болтал тоже нараспашку. Из множества его удачных острот на тему свободомыслия я приведу одну, сказанную им при приближении нашем к берегам Англии, когда, вызывая лоцманов, адмирал Кроун палил из пушек и выстрелы громко повторялись эхом. — Entendez-vous, madame, — сказал ‹он›, обращаясь к m-me Жомини, — près de l'Angleterre même les canons russes résonnent. — Qu'il plait à Dieu, — отвечала m-me Jomini, — que ce résonnement porte le bonheur à ma patrie adoptive (à la Russie).[1]

Чувство свободы до такой степени прирождено человеческой природе, что семена, неведомо западшие в души, дадут росток и укоренятся при обстоятельствах, мало-мальски

благоприятных их росту. Так было и с нами. В России они тайно изнывали при деспотической обстановке, во Франции они быстро пошли в рост и охватили своими корнями все ощущения души и сердца. Я уверен, что, в моральном существовании, с каждым из нас происходил переворот, подобный тому, который я испытывал. Новизна мест, обычаев, суетливая деятельность торгового народонаселения, милая болтовня французов, вырвавшихся из железных лап Наполеона, благорастворенный климат, эти прогулки в сумраке ночи под густою тенью дерев, освещенных китайскими фонарями, при свете коих говор пирующих и танцующих групп сливался с шелестом листьев и шумом моря, эти бивачные огни воронцовских гренадеров, вкруг коих собирались живописные кружки старых и молодых солдат, свободных в своих движениях и речах, не искаженных солдатской выправкой, не загнанных в тупоумие идиотов, — все это и множество подобного действовало на молодую душу обаятельно и настраивало к восприятию впечатлений. Моряки вообще более других замыкаются в самих себя и не слишком соединительны с новыми лицами, а особенно трудно сближаются с пехотинцами, но тут было противное. Бо̀льшая часть, даже из самых дубиноватых офицеров, даже истертый службою батальонный командир майор Карлович, только что женившийся на молоденькой француженке, — все они утратили этот вечно присущий русской армии солдатизм и либеральничали напропалую. Тем более этот дух проявлялся в высшей иерархии корпуса Воронцова, между офицерами его штаба, с которыми мы очень сблизились и неразлучно провели все время до самого нашего отправления из Кале. Понятно, почему весь этот корпус, по возвращении его в Россию, был раскассирован.

Судьбе, кажется, угодно было еще более развить и утвердить наши заграничные впечатления. Тою же осенью запоздалый норвежский корабль остался на зимовку в Кронштадте. Капитаном этого судна был лейтенант королевско-норвежского флота. Дом Гассельмана, шведского, норвежского, датского

и всех германских наций консула, с которым мы были так близко и дружески знакомы, был местом, где мы познакомились и так дружески сблизились с этим высокообразованным, благородным норвежцем Эриксеном. Я прилагаю здесь несколько из его писем, писанных им брату Николаю из-за границы. Они вам дадут хотя не полное понятие о нем, но Вы все-таки увидите склад его ума и степень дружеских с братом отношений. Тут Вы не увидите, без сомнения, и тени того возвышенного, образованного характера истинного республиканца, которым он нас увлекал и очаровывал.

№ 8. *Об издании «Полярной Звезды»*. Вознаграждение за литературный труд точно было одною из основных целей издания альманаха, и хотя многие присылали свои литературные труды без требования вознаграждения, из единственного желания видеть свое новорожденное дитя в такой изящно-модной колыбельке, но все, кто только хотел, получали плату по условию.[1] Так, даже А. Пушкин, присылая свой милый разговор Тани с старушкою нянею, уведомлял брата А., что условия они могут сделать через его брата Льва Пушкина. Это условие с Левушкой состоялось в моем присутствии. Не знаю, отдал ли А. Пушкин этот эпизод из Онегина своему брату-гуляке, чтоб деньги были доставлены ему (как уверял Левушка), или это была обычная заплатка, которыми А. Пушкин безуспешно зашивал долговые дыры брата, но только Левушка потребовал с издателя по 5 р. ассиг. за строчку, и брат А., не думая ни минуты, согласился, прибавив со смехом: «Ты промахнулся, Блёвушка, не потребовав за строку по червонцу... Я бы тебе и эту цену дал, но только с условием: пропечатать нашу сделку в Полярной Звезде, для того, чтоб знали все, с какою готовностью мы платим золотом за золотые стихи». Должно заметить, что этому золотому дитяти не суждено было качаться в модной зыбке Звезды, потому что события 1825 года похоронили издание альманаха, который должен уже был явиться в свет под именем «Звездочки». Перемена названия проистекала от объема издания, а объем

зависел от недостатка времени собрать и сгруппировать в должной гармонии статьи. Не стану объяснять вам этот недосуг издателей, когда вам стоит только припомнить эпоху, предшествовавшую 14 декабря, когда волны событий влекли нас к тому жизненному кризису, где должен был разрешиться вопрос: to be or not to be.*

№ 9. *О съезде братьев 13 декабря*. Последнее время, проведенное всеми нами пятью погибшими братьями в кругу нашего семейства, было на другой день, т. е. накануне 14 декабря, за обедом. Никого из посторонних не было: старушка-мать, окруженная тремя дочерьми и пятью сыновьями, с которыми она давно не видалась, была вполне счастлива, что можно было заметить, с каким восторгом она останавливала попеременно свой взор на каждом из нас и как невольно вырывались у нее фразы похвал, что с нею случалось редко, потому что она нас не хотела (по ее словам) портить похвалами. По нежному участию, с которым она расспрашивала каждого из нас о наших занятиях, жизни и службе, можно было приметить ее скрытое удовольствие, видя нас на дороге блестящей и прочной будущности. И точно, ей было чему радовать сердце: трое старших были в штаб-офицерских чинах и ожидали скорого производства в следующие, брат Петр служил адъютантом главного командира в Кронштадте вице-адмирала Моллера, родного брата морского министра, и Павел в офицерских классах артиллерийского училища — готовился в гвардейскую конную артиллерию. Она была счастлива нашим счастьем, а мы?.. — Какими страшно-противоположными чувствами волновались наши сердца в эту минуту! С улыбкою на устах и с боязнью не выдать душевного волнения выражением лица мы украдкою переглядывались, подкрепляя друг друга взором.[1]

... [2]После обеда мы распрощались с матушкою и сестрами трое навсегда — мне и брату Павлу судьба еще не отказала с ними свидеться... Петр дал нам обещание не откладывать

---

* См. перевод на стр. 65.

долее свой отъезд в Кронштадт и уехать в этот же вечер; * брата Павла мы отправили в корпус... Нам хотелось когонибудь сохранить для матери. Николай и Александр спешили к Рылееву, а я как дежурный по караулам поспешил и по обязанностям службы и для того, чтоб условиться с офицерами, объехать гауптвахты и об результатах нашего соглашения касательно предстоящих действий донести членам Общества, долженствовавшим собраться у Рылеева вечером. На другой день из всех пяти братьев я один посетил родной кров, — пробыл недолго; после трехдневной бессонницы сладко уснул, сбросил гвардейскую амуницию, преобразился в моряка, надел енотовую шубу брата и ушел к Торсону. Или моя память мне совершенно изменяет, или сестра Елена смешала в своей памяти мое посещение с посещением брата Николая. По крайней мере, он мне никогда не говорил об этом, да едва ли он и имел время для посещения, отправившись в Кронштадт уже поздно ночью в холодной шинели и тонкой обуви. Во всяком случае положительно отвергать этого обстоятельства я не решаюсь. Судя по себе, я очень хорошо помню все совершившееся воочию, и потому сестре Елене трудно не запомнить его посещения, которое все-таки должно быть поздно вечером или даже ночью.[1]

№ 10. *Сообщение о наличии у Н. А. Б. Стерна.* Стерново путешествие и Театр Расина сестра Елена умудрилась заложить между бельем в небольших чемоданчиках, дозволенных нам взять с собою при отправке нас в Шлиссельбургскую крепость: и точно, первая для брата, а вторая для меня не только служили единственною отрадою в гробовой жизни, но, может быть, спасли нас от сумасшествия.[2]

№ 11. *Сообщение о присылке Н. А. Б. карт.* Колода карт была прислана брату незадолго до 14-го с запискою, в которой просили его передать их нашей старушке-матери для гранпасьянса. Эта колода карт и записка попали в руки царских

* Он не сдержал данного обещания и ушел к офицерам гвардейского экипажа, а назавтра явился неожиданно для нас на площадь.

сбиров при описи бумаг брата, и они, в своем верноподданническом рвении открыть разветвление заговорщиков, из этой ничтожной мухи сделали такого огромного слона, что сам царь был мистифицирован своими невинными клевретами и сурьезно предлагал брату вопросы, например, следующие: что означает в колоде подбор карт: короля, туза червей, туза пик, десятки и четверки. И много других в этом роде, приводивших брата в страшное затруднение разуверять в мнимом подборе. За обедом, поданным брату по его требованию, генерал-адъютант Левашев, наливая брату бокал шампанского и принимая тон дружеского разговора, возобновил расспросы о таинственном значении подбора карт.

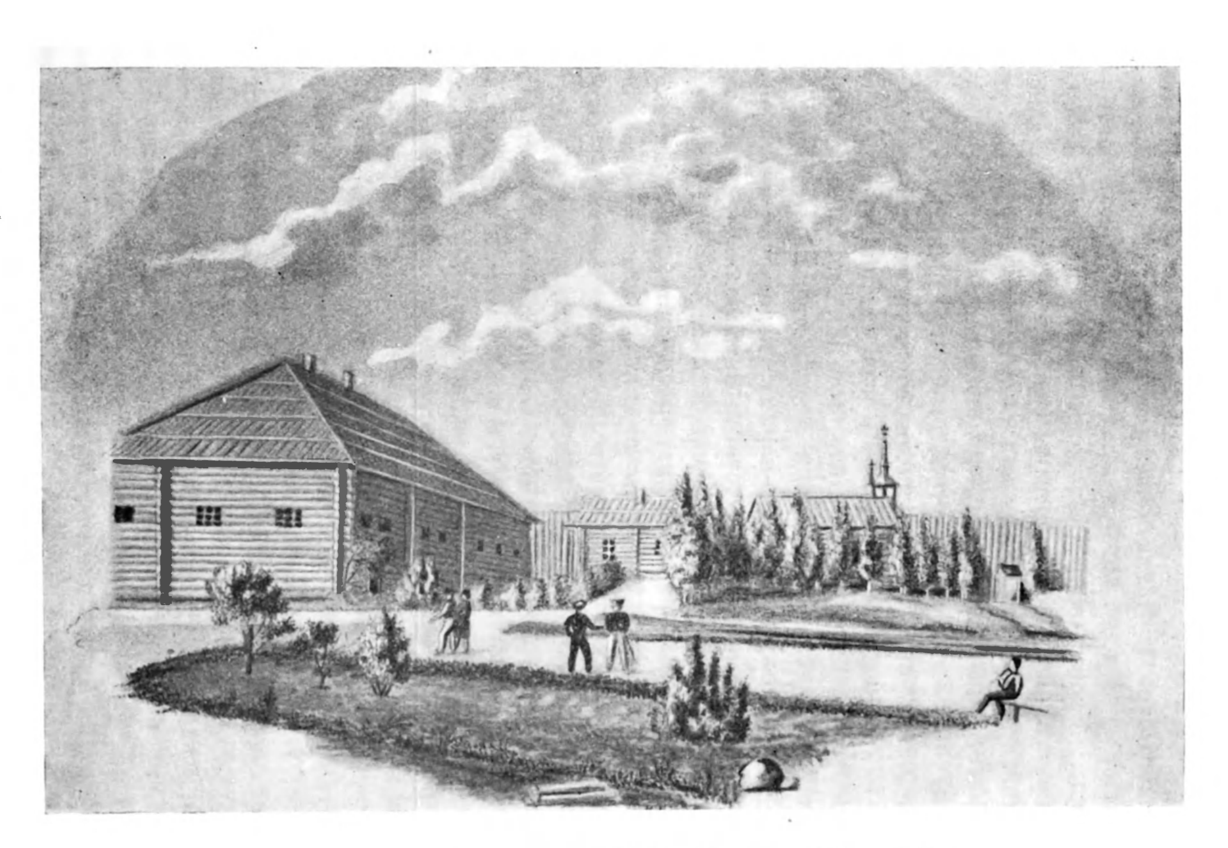
— Неужели и Вы, генерал, — сказал с досадою брат, — придаете какое-либо значение случайному столкновению карт в игранной колоде?

— А неужели же вы уверите кого-нибудь, что карты: король, туз червей, туз пик, десятка и четверка легли в колоду случайно, когда этот порядок карт явно означает замысел: поразить государя в сердце 14-го числа.

— Я полагаю, — отвечал со смехом брат, — что таинственный порядок карт можно прочитать и следующим образом: царь надает вам тузов 14 числа... Не угодно ли, ваше превосходительство, я дам этим пяти картам иное истолкование, не совсем лестное для государя?

— Нет, нет, довольно! — прервал, в свою очередь смеясь, Левашев, увидя, к чему может привести нелепость их предположений. Но эта нелепость имела весьма неприятные последствия, подвергнув спросам и запросам даму, приславшую карты, которая, спасая себя от подозрительности правительства и страшась, чтоб дальнейшие ее сношения с братом не предали гласности их близких отношений, наложила на себя тягостный обет молчания. Она умерла для брата, а брата это обстоятельство придвинуло к смерти...[1]

№ 12. *О рассылке Бестужевых.* Мне кажется, что вставка известий о содержании брата А. во Форт-Славе и службе на



Чита. Двор острога. Акварель И. В. Киреева. 1828—1830 гг.

Кавказе Петра и Павла может быть выпущена. Для одних, кто знает наше дело, это будет лишнее, для большей части — загадка... Слова «жил», «отправился на службу», «обязан этой прогулкой», а особенно ваша выноска о Петре, что спасение жизни одного из важных лиц помогло ему вступить в одно из общественных заведений, дадут совершенно превратное понятие о действительности, потому чтоб понять значения этих намеков, надо знать в подробности причины.[1]

№ 13. *О рисунках Н. А. Б.* Из всей коллекции акварельных портретов соузников в Чите было нарисовано не много, и те не могли быть первыми в художественном отношении, много было к тому причин. Во-первых, недостаток помещения и освещения, во-вторых, недостаток материалов и, в-третьих, недостаток в опытности акварельной живописи. До сего времени он рисовал портреты в миниатюре на кости, придерживаясь тщательной отделки Изабе (точками). Переход на акварель в больших размерах штрихами и крупными тонами — у него дело плохо ладилось, пока не получены были портреты работы нашего знаменитого портретиста С о к о л о в а. Брат был поражен его смелостью и бойкостью его кисти и, приняв его за образец, всю остальную, без сомнения самую большую, часть своей коллекции и множество портретов вне этой коллекции с наших дам, товарищей и многих знакомых уже рисовал этою методою. Живопись не была его исключительным занятием, вскоре механические занятия его совершенно отвлекли от него, так что впоследствии он рисовал портреты только отъезжающих по разрядам соузников, и как разряды были некоторые очень велики, а время коротко, то надо было удивляться, с какою быстротою он успевал набрасывать изображения. Но кроме портретов его лучшими и любимейшими из работ были виды Читы и Петровска. Чрезвычайно жаль, что он не оставил ни одного в и д а С е л е н г и н с к а, а особенно местности, где мы живем. Как обыкновенно случается, что то, чем мы можем всегда воспользоваться, что у нас, так сказать, под рукою, то мы не спешим взять, так и брат со дня на день

откладывал, в нерешительности выбора местности, начинал и истреблял начатое, — умер, не оставив даже своих эскизов Селенгинска.

№ 14. *О ремеслах, которые знал Н. А. Б.* Описав с начала моих замечаний значительные лица, имевшие большое влияние на моральное существование брата и на характер, я бы должен был, для полноты, закончить описание, упомянув, как много имело влияние на его склонности и изящество вкуса частое посещение бронзовой и сабельной фабрик нашего отца и Академии художеств. Там он с самых юных лет неприметно увлекался в тот мир, который так явственно отразился на всей его жизни.

Идея железных колец пришла в голову мне первому. В то время мне уже надоело башмачное и картонерное мастерство, я перешел к слесарному и золотых дел мастерству, тем охотнее, что в брате я имел дарового и снисходительного наставника и к услугам — все нужные инструменты. Начинать с трудного трудно, и я начал с самого легкого и удобного: мне пришла мысль сделать для сестер и матушки кольца из желез своих. Когда в Чите по милостивому манифесту с нас снимали цепи, которых, по закону, не имели права надевать на нас, я и некоторые из соузников, дав солдату на водку и сделав ему некоторые подарки из своего скудного гардероба, утаили наши цепи, и они-то послужили мне первым материалом для колец. Отосланные пять колец не дошли до назначения, ими впервые красовались пальчики дщерей какого-либо почтового чиновника. С помощью брата и Громницкого (самого усердного и понятливого ученика брата) я сделал новые пять и на этот раз уже подложенные вместо серебра золотом, вытянутым из колец наших дам, которые отдали их с тем, чтобы мы с братом им сделали такие же железные кольца. Вскоре желание иметь такие кольца распространилось до такой степени, что не только все наши дамы, не только многие из товарищей для себя и для родных, а поступали просьбы от знакомых и незнакомых через своих знакомых, так что это занятие вместо

удовольствия превратилось для нас в тяжелый труд, и мы начали уклоняться от просьб. Тогда в Петровском, как в Риме подделка античных произведений, открылась промышленная подделка: декабристских колец. Лучшие слесаря Петровского завода открыли свои лавочки для продажи заветных колец; модницы и львы Кяхты, Удинска и Иркутска приезжали или присылали в Петровск в эти импровизированные магазины и с гордостию хвастались перед другими таким дешевым отличием.

№ 15. *О занятиях в Чите и Петровском Заводе.* В Вашей статье Вы часто смешиваете нашу читинскую жизнь и помещение с жизнью и помещением в Петровске, а это две вещи совершенно разные. В Чите мы были набиты в казематах, как сельди в боченке: теснота, духота и грязь и сопровождающие наслаждения; этакие условия жизни во все время нашего там пребывания существовали без перемены. Не должно забывать и того, что мы все были закованы в цепях, были моложе, неугомоннее, говорливее, следовательно надо взять в соображение неумолкаемый гул и шум от говора и цепей, надо взять в соображение, что наша административная машина, при всей доброте коменданта Лепарского, еще не обошлась, не притерлась; инструкции исполнялись строго, им покорялись туго, и Вы можете составить слабую тень нашей читинской жизни.[1] В Петровском Заводе уже было иначе: Почти все мы получили отдельные комнаты, что было для нас первым наслаждением. Но наше правительство ничего не делает полным: ни зла, ни добра, так и наше новое помещение было устроено на манер конюшен для лошадей, с таким количеством света, чтоб только мы не могли пронести мимо рта кусок ржаного хлеба, назначенного нам в пищу. Поднялся гвалт через наших дам — я уже Вам об этом, кажется, писал. Нам велено было прорубить окна, но и тут свету божьего отпустили только на медную полушку, так, чтоб им пользоваться, мы должны были добираться до него посредством подмостков. Сестра Елена Вам покажет внутренности наших двух с бра-

том комнат; у брата вид на эти подмостки, у меня — на дверь в общий коридор и, следовательно, их не видно. У брата они были устроены прочно, обширно, для помещения всех станков и машин, и потому занимали чуть ли не полкомнаты; у меня — легко, уютно. На большой деревянной площадке, где только могли поместиться стул и небольшой столик, — посредством механического устройства — подымались к свету божьему и, по миновании надобности, чтоб не стеснять комнату, опускали‹сь› в уровень пола.

№ 16. *О Лепарском.* В этой посылке я посылаю вам несколько уцелевших от истребления писем добряка Лепарского к брату Н., из коих Вы можете составить идею, обуявшую старика к собиранию минералогических редкостей Сибири. Эта страсть до того увлекла простака николаевской школы, что он бросал значительную часть своего огромного содержания на покупку мнимых минералогических редкостей, но ни одной покупки не делал без совета брата, в котором предполагал видеть море учености.[1]

№ 17. *О чтении в Чите.* В Чите мы не получали почти никаких газет и тем более журналов. Наше сношение с миром живых еще только устанавливалось через наших добрых дам, и через них начали мы исподтишка получать первые потребности жизни от наших родных. Тогда нам было не до утонченных потребностей жизни образованного человека, — нам надо было думать о вещественном существовании. Умственная роскошь наступила для нас по прибытии нашем в Петровский Завод.

№ 18. *О дамах.* Тут вкралась неправильность. В Чите жили дамы: Волконская, Трубецкая, Давыдова, Ентальцова, Нарышкина, Муравьева, фон-Визина, Анненкова; m-mes Юшневская и Розен присоединились к нам на пути из Читы в Петровское и, наконец, m-me Ивашева приехала к Ивашеву из России уже по прибытии нашем в П. Завод.

№ 19. *О датах.* Заметки В. И. Штейнгейля все верны.

№ 20. *Об артели*. Вы опять смешиваете наше житье читинское с петровским. В Чите у нас был огород и огородник, потому что в таком бедном уголке вселенной надо было позаботиться о своем существовании. В Петровском же Заводе мы, не имея надобности заботиться об овощах, не имели надобности заводить огород.

№ 21. *Об исключении И. З. из артели*. Этот незванный член нашего общества был: Ипполит Завалишин, об котором Вы можете составить только некоторое понятие из Записок Несчастного, присланных мною Вам.

№ 22. *О занятиях Н. А. Б.* Я Вам уже писал, что брата щадили и не выбирали на общественные должности и лишь потому, что все знали, на что употреблено было все его время.[1]

№ 23. *О поселении в Селенгинске*. В прежних моих ответах на вопросы Ваши я писал, что мы живем ни в новом, ни в старом городе, а 5 верстами ниже по реке Селенге, на левом и на самом ее берегу.

№ 24. В тех же записках я означал (вероятно сбивчиво) расстояние Кяхты от Селенгинска. Зимою по льду реки Селенги до Усть-Кяхтинской станции 90 верст, а потом еще 30 верст горою, всего расстояния зимним путем 120 верст; а летом, минуя изгибы Селенги, прямым путем только 90 верст.

№ 25. *О перенесении Селенгинска*. Это не совсем верно. На левый берег Селенги мещане обязаны переселяться, потому что в старом городе им запрещено возобновлять старые жилища и кроме того они, живя там, лишаются льгот, дарованных новому городу, и сенокосных угодий, которых новому городу нарезано трехверстное пространство. Во всей Сибири (кроме малоземельных селений) пахотная земля ни во что не ценится — ее можно распахивать где кому угодно, следовательно, селенжанам не для чего занимать их на правом берегу, а сенокосных земель им не позволят занять и пяди, так они ценятся. Особенной наклонности к монгольским бракам я в селенжанах не заметил, а женятся и выходят замуж, как и во всем Забай-

калье, разумеется, в пригородах, где сношения бурят с русскими чаще, чаще и браки. Многие говорят очень хорошо побурятски, но чаще буряты говорят по-русски, и потому нет преобладания монгольского языка. Ревеню нигде в окрестностях Селенгинска, да и во всем Забайкалье, нет. В Нерчинском крае растет, но очень худого качества. На Амуре его много и очень хорош. Доселе же мы получали его от монголов китайских; они привозят его через три года раз в известном количестве, определенном договором с Китаем. Для приема ревеню назначается в Кяхту аптекарь, который, живя постоянно в Кяхте без всякого дела 2 года и 51 неделю, работает только при приеме 7 дней, получает содержание на три года... и бог знает для чего мы этот ревень должны получать от монголов, когда у нас своего теперь бездна; да и прежде могли бы его вдосталь разводить.

№ 26. *О хронометрах Н. А. Б.* Мечта о упрощении хронометров была любимейшею не только последних его годов, но, можно сказать, всей его жизни; ее он лелеял в гробовом одиночестве Шлиссельбургской крепости, с нею приехал в Читу; увлеченный ею, он начал первые часы; руководимый ею, он почти достиг вожделенного результата, соорудив последние часы с $1/10$ секунды постоянной суточной погрешности. Последние годы, точно, он деятельнее преследовал эту идею, устроив едва ли не дюжину часов, но это происходило от большей возможности действовать, от большего обилия и материалов и инструментов. Для доказательства, в каком он был затруднении только касательно одной п р о к а т а н н о й латуни, упомяну, что при всех его хлопотах в продолжение почти двадцати лет п р о к а т а н н а я ч е р н а я л а т у н ь была прислана астрономом Струве у ж е п о с л е е г о с м е р т и. В бытность мою в Иркутске военный губернатор К. К. Венцель мне ее передал, а я просил его отослать ее назад как уже не нужную более.

№ 27. *Рассказ, как селенгинский городничий спросил у Н. А. на прогулке о пригорках и тот ответил (как дальше).*

Вопроса этого городничий и сделать не мог, по весьма простой причине — именно потому, что Торсон и мать его похоронены на совершенно ровной местности. Правда, эта местность подымается наклонно к окаймляющим ее горам и имеет только один небольшой холмик, где устроены бурятские Мани, т. е. между вбитыми в землю кольями на протянутых веревках развешены разноцветные флаги, на которых пишут их священные молитвы, но на этом холме, как вы видите, похоронить их было нельзя, да и притом он очень удален от кладбища, тогда как это сельское кладбище только в нескольких десятках сажен от нашего дома. Городничий был несколько близорук, и вопрос был предложен брату с высокой горы, подходящей своею подошвою почти к нашему двору. «Какие это два белые пятна на долине?» — спросил он брата. «Это могилы Торсона и его матери, а подле них и я скоро улягусь», — отвечал он.

№ 28. *О приезде m-me Антуан.* Мне кажется, что ежели еще несвоевременно вводить в биографию брата Н. самый интересный эпизод из его жизни, именно его любовь к единственно им любимой женщине, исключая разве порыв страсти к молодой прекрасной девушке (Августа Шт...), на которой он даже хотел жениться вскоре после выпуска из корпуса и которая была неожиданно похищена смертию. Но тем более несвоевременно упоминать о несостоявшемся браке с женщиною еще живою. Тем более, что это упоминовение бросит какую-то неприятную тень на характер брата именно потому, что умолчаны и ход предшествующих событий, и не развиты причины, приведшие его к этому намерению. Я отдаю на Ваш собственный суд человека, об котором сказано: Н. А., в престарелом возрасте пленявший женщин, думал о предмете единственной своей привязанности, к которой оставался неизменно верен, и готов был сочетаться браком (с другою), ежели бы его не останавливал страх за участь будущих его детей.[1] Все эти противоречия выливаются прямо от темноты и неполноты фактов, которых ежели нельзя

приводить — лучше выбросить целый эпизод, чем вводить посторонних в заблуждение. В тех записках, которые я Вам готовлю и которые, вероятно, еще долго не увидят света, все это будет объяснено.

II

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ М. И. СЕМЕВСКОГО[1]

1

(Поделитесь сведениями о службе, ученых и литературных трудах Вашего отца и проч.)

Мне очень совестно, что я не могу вполне, как Вы в праве могли бы ожидать от сына, удовлетворить ваше желание. Я потерял отца на девятом году своей жизни; через три года я уже плыл на корабле «Северная Звезда» в Свеаборг как кадет Морского корпуса; пребывание в корпусе до 1817 года, потом жизнь моя в Кронштадте, потом плавание во Францию, потом поход с 14-м экипажем в Архангельск для встречи государя, где я пробыл $2^1/_2$ года, и, наконец, переход мой из флота в гвардию, когда матушка с сестрами жила в деревне, — все эти обстоятельства отдаляли меня от источников, из коих я мог бы почерпнуть сведения. Правда, в короткие дни свидания с родными разговор часто падал на подробности жизни отца нашего, но это было в связи с текущим разговором, и потому то, что сохранилось в моей памяти, были сведения отрывочные и очень неполные. Сверх всего, я должен, я хочу быть с Вами откровенным и потому оговорюсь с самого начала насчет моей памяти, которая мне так верно всегда служила и которая теперь начала видимо изменять. Она, предательница, была причиною, что я, надеясь на ее силу, никогда ничего не записывал, а теперь, когда я стал требовать от нее верности, она мне изменяет, а особенно относительно хронологических воспоминаний, —

и потому я решаюсь навлечь Ваше неудовольствие лучше неполнотою сведений, чем лживостью их.

В описании детства брата Александра, Вам отосланном и вероятно уже прочитанном Вами, я уже почти все сказал, что знал об отце. Сестра Елена Александровна Вам уже, вероятно, сообщила более подробные и верные сведения о его жизни. Не знаю, нужно ли Вам будет или не будет ли лишним пресса. Пропустив его участие и смертельную рану, полученную в сражении со шведами (о чем Вы уже известны), я прибавлю некоторые подробности о литературных его трудах.

Оправившись от тяжкого недуга после раны, он вскоре вышел в отставку. Еще в бытность свою в военной службе он много занимался по различным отраслям военных наук и писал различные трактаты, которые мне удалось читать отрывочно, в груде бумаг, оставшихся после его смерти. Из всех этих трактатов: о воспитании юношества он поднес Александру Павловичу, тогда еще великому князю. Александр Павлович его благосклонно принял и, не желая, чтоб его имя было замешано в издании трактата отдельною книжкою, дал отцу средства для издания журнала, в котором бы это сочинение, как и прочие, были помещены в раздробь. Отец пригласил Пнина для редакции известного Вам журнала, и я не могу точно определить, сколько нумеров его вышло, но только знаю, что едва ли и сочинение о военном воспитании юношества было все вполне помещено. И потому о достоинстве журнала должно судить снисходительнее, зная, что его существование была только маска, под которою скрывалась другая цель, и эта цель начала явно выходить наружу и едва ли не была главною причиною, почему журнал был запрещен.[1]

По воцарении Александр Павлович, знавший уже лично отца, обратил внимание на проект отца, в котором он представлял государю о необходимости делать белое оружие в России и не надеяться на иностранцев. Государь поручил ему образовать фабрику для палашей кавалерии, чтоб она была рассад-

ником будущих учреждений в том же роде, и присоединил власть управления и над бронзовою фабрикою, учрежденною для обделки чаш, ваз и прочих произведений екатеринбургской гранильной фабрики и назначенных для двора. Впоследствии и управление екатеринбургской фабрики доверилось отцу, и всеми тремя он заведывал до самой смерти, и рвение, с каким он исполнял возложенные на него обязанности, было причиною его смерти. Дела делать как-нибудь он не мог по нраву: он тут тратил часть своего здоровья и однажды, когда ему донесли, что печь, где плавилась медь для отливки какой-то большой фигуры, лопнула, он побежал в зимнюю ночь легко одетый, простудился и умер.

2

(Кто из учителей имел сильное развитие на вас всех в юности? Подробности о Василевском)

О брате Александре я ничего не могу сообщить Вам удовлетворительного. Воспитывались мы в разных корпусах, и потому видеть этого я не мог, а ‹в› разговорах мы никогда не нападали на этот предмет. Да и сомнительно, чтоб в таких молодых летах мы это могли заметить. О себе скажу, что, как я ни старался припомнить прошедшие впечатления, из этой толпы ничтожностей, составляющих тогда сословие наших образователей, нанимавшихся у Карцова за медные гроши, я не припомню ни одной личности, которая бы теперь не порождала улыбки презрения.[1] Один только мой учитель математики П о б р е и н имел на меня большое влияние своею кротостью, пунктуальностью и безграничным терпением. Правда, он был рутинер, не следовал, а может быть, и не имел средств следовать за наукою, как должно, не простирал взора далее своих миниатюрно исписанных тетрадок, но был точен, ясен и терпелив в трудных объяснениях навигации и астрономии. Я его еще больше полюбил, когда временная болезнь заставила меня усиленно догонять ушедший вперед класс

и я, наняв его для приватных уроков, имел случай посещать его дом. Вид его бедного семейства в холодных комнатах, эта бедность и нужда, бросавшаяся из всех углов и закоулков, а между тем его покорность своему жребию, его спокойная кротость, его нежная обо мне заботливость — с каждым днем более и более меня к нему привязывали, и у него в доме я научился уважать бедность и ценить жертвы ее.[1] Высшие дифференциальные и интегральные вычисления нам преподавал А. И. Давыдов, бывший корпусный офицер и впоследствии управлявший штурманским корпусом как директор. Его метода преподавания была совершенно противоположна Побреиновской: в нем отражался, как в зеркале, его учитель, знаменитый того времени Кузнецов, у которого он был первым учеником, и оттого первым он вышел и из корпуса. Смелый, бойкий взгляд на преподаваемые предметы, ясность изложения, краткость и сила — одним словом, верный тип школы кузнецовской отражался в нем и невольно заставлял отражаться и в учениках его.

Брат Николай всю математику, начиная с нумерка,[2] по кадетскому выражению, до выпуска из корпуса, проходил у этого знаменитого Кузнецова, имевшего такой дар влюбить своих учеников в науку, что шалуна-ленивца Бестужева сделал первым своим учеником и первым по выпуску офицером. Но брат был еще счастливее присутствием в корпусе Платона Яковлевича Гамалея в звании инспектора. Это замечательное лицо той эпохи знаменито сочинением астрономии, навигации, морской практики и высших морских вычислений, изданных впервые на русском языке печатно и подаривших воспитанникам, вместе с прекрасно изложенными сочинениями, более половины терявшегося времени в переписке под диктовку учительских записок, писанных по произволу каждого из преподавателей и переписанных учениками с ошибками и часто без всякого смысла. Но сверх этой заслуги в области учености он заслужил еще большую благодарность своею любовью к науке, своею

любовью к воспитанникам, которым старался перелить в душу свою заветную страсть. Когда усиленные занятия лишили его зрения, он и тогда не оставлял своих детей. «Он часто собирал лучших учеников к себе, — рассказывал брат Николай, — и, сидя в темном уголку за ширмою, с зонтиком на глазах, заставлял нас решать математические задачи; и горе было тому, кто нелогично доказывал: „Не говори, братец, — повторял он часто, — не говори: так как, когда еще ничего не сказал — как это; не говори: следовательно, когда из того, что ты сказал, ничего не следует"». Брат Николай с горячим чувством благодарности отзывался о нем всегда и говорил, что он ему обязан многим, что в нем было хорошего, «а главное — он научил меня говорить и действовать логично».

О Василевском я уже Вам упоминал выше. Большого влияния он на него не имел как человек; но как ученый, философ и хорошо изучивший литературу Руси, он благодетельно действовал на брата. Впоследствии и мне он принес много пользы, проходя со мною риторику и русскую словесность. Его взгляд был верен, трезв от опьянения привилегированных знаменитостей, но несколько строг и саркастичен.

Когда он ‹Николай Б.› служил в 14-м экипаже, он сблизился с капитаном 2-го ранга Ф. Я. Тизенгаузеном, и эта горячая немецкая личность тоже много имела влияния на брата; она заставила брата полюбить военные науки привязанностию любовника и передала убеждения, что ни в чем не должно видеть окончательного совершенства, что все движется вперед и, следовательно, что есть — подлежит переменам, а тем более по военной части. Он написал умный или, вернее сказать, остроумный трактат о защите крепостей совершенно на новых началах и склонил брата Николая к переводу De l'art de la guerre par Rogniat,* и брат перевел почти всю книгу, но почему-то она не была напечатана.

---

* «Военное искусство», сочинение Ронья.

3

(Самые близкие ваши друзья до ссылки и в заключении)

Ежели отвечать на этот вопрос ab ovo,* т. е. с корпусной жизни брата Николая, то самый близкий, неизменный друг его был Константин Петрович Торсон. Он только годом раньше брата вышел из корпуса. Они все время пребывания их в корпусе жили в одной комнате, спали бок-о-бок, служили в одном и том же Кронштадте, помещались на одной квартире и одно или два лета служили вместе на бранвахтском фрегате. По переводе Торсона главным адъютантом к морскому министру Антону Васильевичу Моллеру и брат вскоре переведен был в Петербург в должность историографа и начальника морского музея, — следовательно, жили в одном городе, виделись часто, поступили почти одновременно в тайное общество, вместе погибли, вместе жили в каземате, в Селенгинске, и, наконец, Торсон и умер на руках брата.

Торсон был баярд идеальной честности и практической пользы; это был рыцарь без страха и упрека на его служебном и частном поприще жизни. Обладая неимоверною силою воли в достижении своих благородных целей, он, вместе с сим, владел огромным запасом терпения при неудачах и в этом составлял совершенную противоположность с пылкостью и подвижною деятельностью брата. Mais les extremités se touchent** — и во взаимной их дружбе недостатки одного регулировались и пополнялись избытком другого. Голова его была постоянно занята проектами о разных преобразованиях, исключительно касающихся флота. Первый проект его о материальном усовершенствовании нашего флота был благосклонно принят покойным императором Александром I, и приказано было отдать в его распоряжение новопостроенный корабль «Эмгейтен» для осуществления предполагавшихся пере-

* С начала.

** Но крайности сходятся.

мен. Много он писал из Петропавловской крепости к Николаю I, и все его бумаги государь приказал сообщить составленному по его воле морскому комитету, и много преобразований, очень полезных, были почерпнуты и введены в наш флот. В Чите он усиленно и много занимался тем же. Мелочные предосторожности, чтоб скрывать от глаз тюремщиков свои отрывочные записки, и неумолкаемый шум в тесном нашем помещении держали его в постоянном раздражении и невольно принуждали его обдумывать свои планы в ночной тишине, что причиняло ему частые приливы крови к голове и, наконец, гибельно подействовало на его здоровье. За расстройством желудка появилась ипохондрия: он сделался подозрителен. Я был единственный человек, кому он еще доверял, и мы с ним проводили большую часть дня в летнее время, уединившись в беседку, поставленную мною (как и многими) в нашем саду, рассуждая о его планах, выправляя и приводя в порядок черновые отрывки. Он их хотел послать государю, мечтал (бедный) о милостях, которые последуют затем, и даже сурьезно спрашивал нас с братом: чего мы хотим просить от государя? В Петровском каземате болезнь еще более усилилась. Правда, он имел особую комнату для занятий, но зато он и злоупотреблял случаем выше слабеющих своих сил и не имел уже никакого развлечения. Так он уехал в Акшинскую крепость на поселение, так, или еще хуже, прибыл в Селенгинск, куда он перепросился, чтоб быть по близости Петровского завода для осуществления своей любимой идеи — основать по своему проекту мукомольную мельницу, крупчатку, молотильню и веялку — с одною действующею силою, и потом образовать механическое заведение для снабжения всего края механическими орудиями для производства работ по всем отраслям сельского хозяйства. Брат Николай тщетно убеждал его оставить химерическую идею, тщетно доказывал ему в письмах из Петровска, что одних добрых, благородных намерений недостаточно, чтоб переродить людей в краю безлюдном, бедном и ленивом, где труд и время нипочем. Он сердился на нас,

упрекал нас в равнодушии к благому делу, в желании ему ставить препятствия медленною высылкою необходимых железных вещей и кончил тем, что, устроив мельницу (уже поконченную при своих родных в нашем присутствии в Селенгинске) и потратив на нее значительную часть единственного капитала, необходимого для существования, желал ее впоследствии сжечь, чтоб не иметь пред своими глазами вечного свидетеля глупости и неблагодарности людской. Прибытие сестры и матери спасло его от верной смерти, физической и моральной.[1]

Приязнь брата Николая с Василевским началась по выходе его из корпуса. Это отнюдь не была дружба; их связывали одинакие наклонности к наукам, к литературным занятиям, некоторое сходство во взглядах на предметы, некоторое сходство в проблесках живого, беззаботного характера молодости, посещение почти одних и тех же кружков знакомства. Василевский, как истый бурш, был постоянно весел, шутил и едко острил; брат называл его сатиром, и, точно, в самой его наружности было так много сходства с этим лесным полубогом, что, когда брат одним почерком карандаша или мелом на стене рисовал его сатиром, все тотчас узнавали Василевского. Впоследствии их жизнь разошлась разными дорогами: Василевский переехал в Москву, потом уехал за границу, и мы потеряли его из виду. По старой приязни, он писал иногда брату письма в Сибирь; но это была жалкая дань прежней приязни, приносимая под влиянием страха пред подозрительным правительством. Вы найдете некоторые образчики его корреспонденции в портфеле.

В бытность свою корпусным офицером он был более близок с Ник. Алек. М и л ю к о в ы м, Сергеем Щ у л е п н и к о в ы м и двумя братьями Н а х и м о в ы м и. С Щулепниковым он занимался военною историей, а с Платоном Нахимовым и Милюковым он жил вместе на одной квартире в морском корпусе. У меня в памяти остался один анекдот относительно их совместного житья. Однажды брат пришел домой и застал их за обедом. Нахимов сидел нахмурившись, Милюков молчал.

— Что с вами, братцы? — спросил брат.

— Да что, Николушка, — сказал Нахимов, — мы хотим просить тебя перебраться от нас на другую квартиру.

— За что такая немилость? — спросил брат.

— Да так, — продолжал Нахимов, — может быть, ты нас будешь чаще посещать...[1]

Он также был довольно близок с Марком Фиелановичем Горковенкою; но их сближением была причина служебно-ученая. В его время в корпусе не преподавалась физика; брат, поступив в корпусные офицеры и уже преподавая в трех классах морскую эволюцию, морскую практику и высшую теорию морского искусства, предложил Горковенке ввести преподавание физики. Это дело было не легкое: надо было устроить как-нибудь физический кабинет. Директором Морского корпуса тогда был адмирал Петр Кондратьевич Карцов, человек весьма ограниченного ума и помешавшийся на экономии: кадет бог знает как кормили, бог знает как учили. Он и слышать не хотел о новых расходах. Его кое-как уломали тем, что брат станет преподавать физику даром, а кабинет они как-нибудь устроят собственными средствами. Брат принялся за устройство электрической машины и других несложных препаратов. Горковенко, назначенный инспектором, помогал, по силам, деньгами для покупки необходимейших предметов. Когда составилась довольно полная коллекция препаратов, они, под веселый часок, позабавили невиданными диковинками старого адмирала, и он так раздобрился, что ассигновал постоянную сумму на ремонт, и с тех пор физический класс упрочился навсегда.

В 1814 году капитан-лейтенант Макаров предложил брату участвовать в кругосветном вояже на остров Ситху, куда он был назначен управляющим делами Американской компании. Брат согласился, оставил корпусную службу и был уже готов пуститься в далекие страны, как несогласие Макарова с директорами Американской компании остановило отправку экспедиции. Макаров был сменен, а с ним вместе и все

офицеры, им выбранные. Брату, вместо радужных мечтаний интересного плавания, остались долги, долгое время его тяготившие.[1] Это обстоятельство переселило его в Кронштадт, перенесло его в новый мир жизни, в новый круг знакомства, поставило в новые служебные отношения. Первоначально он сблизился с А. И. Тихменевым, к которому впоследствии он переехал жить, и тут, под кровом этого здания, судьба ему определила испытать ту привязанность, которая наложила на его жизнь роковую печать и усеяла ее цветами и тернием.

Кроме дома, столь для него близкого, он был близко знаком с семейством адмирала Михайловского, адмирала Митькова, Имберха (таможенного чиновника) и потом с семействами немцев Гасельмана (консул немецких наций), Берловского (таможенного чиновника) и Мейера (тоже таможенного чиновника). Особенно он любил посещать первого, где хозяин, русский немец, возросший в Архангельске и говоривший, как истый новогородец, при сурьезной физиогномии отпускал такие смешные штучки и так остро и мило, что мы помирали со смеху. Жена и свояченица его были преобразованные и милые дамы.

В 1823 году он переехал в Петербург для занятий по должности историографа. Тут он сблизился с Рылеевым, Корниловичем, Сомовым и вообще со многими литературными собратами по «Обществу соревнователей просвещения».[2] Я не говорю о знакомстве его с Гречем и Булгариным. Знакомство с первым началось в 1817 году на корабле «Не тронь меня» и поддерживалось в продолжение всего времени церемонно-холодно, потому что с ним, как величайшим эгоистом, сближение дружеское невозможно. Мы, все братья, посещали его дом как фокус наших литературных талантов, любили умную болтовню хозяина, временем горячую полемику гостей, и при прощании, переступив порог, не оставляли за ним ничего заветного. О Булгарине и говорить нечего: это был, в глазах наших, балаганный фигляр, приманивающий люд в свою камедь кривляниями и площадными прибаутками.

Брат Александр его посещал довольно часто, но уж вовсе не ради его милых глазок.[1]

Дома Воейкова и Сперанского были из числа тех, которые он посещал с большим удовольствием. В первом — милая хозяйка [2] своею красотою и любезностью собирала вкруг себя кружок поклонников, большею частью из литературной братии, потому что и она сама не прочь была на титул bas bleu; * во втором — маститый и мудрый старик-хозяин и умная дочь невольно манили в их тихую беседу. Тут он сблизился с Батенковым.[3]

В тюремной жизни довольно трудно сказать, с кем он был не только дружен, но более близок: он был всем нужен, и он был со всеми одинаково близок. Но предпочтительно он сблизился с Трубецким, из женатых, т. е. вне каземата, и с Поджио, в самом каземате, к которому он ходил по вечерам, когда не собирались у него, а собирались у него чаще, т. е. постояннее, — Игельстром и Лорер. Надо сказать, что Лорер был такой искусный рассказчик, какого мне не случалось в жизни видеть. Не обладая большою образованностью, он между тем говорил на четырех языках (французском, английском, немецком и итальянском), а ежели включить сюда польский и природный русский, то на всех этих шести языках он через два слова в третье делал ошибку, а между тем какой живой рассказ, какая теплота, какая мимика!.. Самый недостаток, т. е. неосновательное знание языков, ему помогал как нельзя более: ежели он не находил выражения фразы на русском, он ее объяснял на первом попавшемся под руку языке и, сверх того, вставляя и в эту фразу слова и обороты из других языков. Иногда в рассказе он вдруг остановится, не скажет ни слова, но сделает жест или мину — и все понимают. Аудитория была всегда полна, когда присутствовал Лорер или Абрамов, тоже прекрасный рассказчик, но в другом роде: этот рассказывал чистым русским, военным

---

* Синий чулок.

языком и часто просто солдатским, коротким, сильным, энергическим. В повести «Русские в Париже» брат пытался передать почти буквально соединение этих двух рассказчиков, но, кажется, это плохо удалось, как всякое подражание, и, несмотря на неудачу, повесть сохраняет колорит правды и теплоту чувств. Жаль, что ее напечатали, не исправив с и и и о н ы е.[1]

Мы приехали в Селенгинск, как город знакомый: с такою изумительною верностью были очерчены лица, составлявшие его общество, что мы часто без рекомендации узнавали их. Этому предварительному знакомству мы были обязаны тоже рассказчику (о, сколько их у нас было!) в юмористическом роде Диккенса. Это был наш казематский доктор Ильинский, личность, заслуживающая того, чтоб ей посвятить страничку, как сама по себе, так и потому, что через нее судьба свела нас с семейством Старцевых от самого начала нашего читинского заключения до сей минуты.

Ильинский был из духовного звания, получил образование сперва в семинарии, а потом в медико-хирургическом отделении Московского университета, следовательно, весьма плохое, и самое его назначение в Селенгинск уже довольно ясно это обозначает. Он познакомился в доме селенгинского купца 3-й гильдии Старцева и женился на его 14-летней дочери. Комендант Лепарский, проездом через Селенгинск, пригласил его на службу при государственных преступниках, — и вот он с женою и тещею, уже овдовевшею, переселились в Читу. Все эти лица были в высшей степени замечательны. Старуха-теща — это настоящий тип сибирячки, т. е. человека, не имеющего никакого образования, но здравомыслящего, проницательного и верного в суждениях даже тех предметов, которые выше его понятий; прибавьте к этому необыкновенную доброту, симпатичность к ближнему и набожность, столь редкую в Сибири,[2] — и вы будете иметь ее портрет, довольно верный. Молоденькая и очень хорошенькая ее дочь (Катерина Дмитриевна), отданная замуж в таких молодых летах, невинностью и неопытностью была совершенное дитя, так что ее супруг,

с помощью текстов из священного писания, едва добился от нее, уже долго после свадьбы, покорности супружеским обязанностям. Наши дамы ее очень полюбили, ласкали ее и играли ею, как игрушкой. Когда ее муж не ночевал дома (а это случалось довольно часто вначале, потому что, вспоминая студенческую жизнь бурша, он сблизился с гуляками нашего штаба, и преимущественно с Куломзиным, племянником генерала, глупцом и пьяницей),[1] то она постоянно приходила ночевать к нашим дамам, детски-наивно признаваясь, «что она привыкла спать с Митей (ее муж) и без него боится одна лечь в постелю».[2] Дамы должны были спать с нею вместе. Однажды княгиня М. Н. Волконская, любуясь ею, сказала:

— Как прелестны ваши большие, черные глаза! — и этих немногих слов было достаточно, чтоб разобидеть ее на многие дни.[3]

— Господи, — повторяла она, — разве я корова, что у меня такие глаза? разве я виновата, что бог их сделал черными?

Но этот ребенок, со врожденным умом, в обществе дам наших развивался не по дням, а по часам, и вскоре она сделалась прелестною дамочкою, хоть куда, завоевавшею сердца многих из заключенников. Муж ее, взбалмошный, но добрый студент, не видавший никогда хорошего общества, получивший такое ограниченное образование, но по влечению молодости жаждущий познаний, был совершенно сбит с толку неестественным состоянием, в которое его бросила судьба. Вообразите себе молодого человека со свойственным молодости самолюбием, с претензиею на университетское образование, с неведением самых простых понятий о составе общества, с политическим его устройством, а главное — с отсутствием всякого понятия о нашем намерении, незнанием, чего мы хотели, за что пострадали, — вообразите этого человека, брошенного в водоворот нашей тюремной жизни в ту эпоху, когда впечатления еще были живы, раны свежи, потери горьки, когда кипучая молодость, лишенная деятельности, изливалась в шумных диспутах

и борьбе разноречащих мнений, еще не сгладившихся шероховатостей. Его изумление было велико, когда, слушая знакомую ему русскую речь, он в ней не понимал ничего. Из сострадания к его любознательности, ему объяснили его невежество. Тогда, очертя голову, он бросился в море учености, просил, вымаливал у нас книги, а когда увидел, что из русских книг он не многому научится, он начал изучение французского языка, заставил и жену учиться по-французски, читал сам и заставлял читать жену философского и специального содержания книги; не познакомившись хорошо с языком и начав дело с середины, естественно, понимал все вкривь и вкось и, желая нам показать свое знание, пускался в философские и политические прения и, наконец, дошел до такого умственного сумбура, что становилось жаль, когда насмешники нарочно вовлекали его ‹в› диспуты и, засыпая его техническими терминами, пороли чепуху в забаву публики. Эти диспуты сделались для него хроническою болезнью, и он так надоел всем, что комендант, видя, как он небрежет своею должностью и променял медицину на философию и ‹политику›,[1] запретил ему (чудное дело!) вход в каземат и лечение больных арестантов, иногда позволяя в таких только случаях, когда больной, не желая лечиться у нашего товарища В о л ь ф а, просил у коменданта позволения лечиться у Ильинского.[2] Итак, медик, назначенный правительством к арестантам, которого обязанность была ежедневно посещать нас по службе, не иначе мог проникнуть в заветные стены, как только с нашего позволения. И он часто прибегал к нам с просьбой — сказаться больным, и мы его выписывали и скучали с ним; но все, все мы ему прощали ради его привязанности к нам, ради его любознательности, ради участия в нашем положении доброй, почтенной старушки Федосьи Дмитриевны и жены его, ради доставления всякого рода контрабанды, начиная с карандаша и стклянки вина, под видом лекарства, до запрещенного стихотворения или брошюры. Он умер в бытность нашу в Селенгинске, в чахотке. Молодая вдовушка, жена его, уже соделавшаяся порядочною bas bleu,

по склонности к философии, дала уже свое согласие отдать руку и сердце Петру Ивановичу Борисову, первостатейному нашему философу; но как родные колебались отпустить ее в дом Борисова, где сумасшедший его брат Андрей сделал его домом сумасшедших, то, по истечении трех лет после смерти мужа, она вышла за Кржечковского, политического преступника из поляков, бывшего гувернером детей Д. Д. Старцева. Она уже умерла, равно как и жена Дмитрия Дмитриевича Старцева, похороненная нами вчера, 24 ноября. Брат Николай очень любил все это семейство, крестил почти всех их детей, как Дмитрий Дмитриевич теперь крестит моих, учил своих крестниц и крестников французскому языку, рисованию и проч., как я теперь занимаюсь с двумя сыновьями его и дочерью — французским, английским, итальянским языками, математикой, историей, географией, физикою и проч. и проч.

Другой патриарх и Нестор нашего общества — купец 3-й гильдии Михаил Михайлович Лушников. Его опытностью и уважением к нему держится общество бедных и ленивых наших мещан, как все родовитые сибиряки. Без его совета и голоса ничто у нас не творится. Брат и я, мы полюбили его за патриархальную простоту, доброту и правоту. Одного из его сыновей брат учил рисовать. Он жив и поныне.

Третье лицо, с которым нас сблизила судьба в Селенгинске официально, это был городничий Кузьма Иванович Скорняков, креатура Трескина, который, как Петр Великий или Наполеон, не ошибался в выборе своих деятелей. Он был простой сибирский казак, находившийся на постоянных ординарцах у губернатора. Говорили из насмешки, что Трескин, проезжая Селенгинск, вытряхнул его с запяток и, не желая останавливаться, приказал ему городничествовать в этом городе. И выбор был так же хорош, как выбор исправника Лоскутова в Нижне-Удинске, которого сперва проклинали, а теперь чуть не боготворят за его административные меры.[1] Наш Скорняков управлял городничеством

35 лет и в течение этого времени, не умея правильно подписать своего имени, умел вести дела так, что для ревизора, положим, хоть подобного Петру Великому с Галицким воеводой, он бы не мог предложить ни одного дела для ревизии. Он нам много помог в нашем новом водворении и был прямой защитник нашего беззащитного положения. Мы его уважали за его сердце и природный ум.

Впоследствии, когда место его заменено было иркутским квартальным Кузнецовым, мы должны были испытать все притеснения, на которые обрекаются в Сибири лица, заслужившие неблаговоление правительства. К счастью нашему, генерал-губернатор Муравьев не сочувствовал его верноподданническому усердию, и, несмотря на троекратное заступничество брата Николая, его сменили. Два городничих: Кларк и Киренский, занимавшие после его место, были добрые и благородные лица. Тому и другому мы отблагодарили, доставив, по ходатайству нашему у генерал-губернатора, спокойные места: первому — городничим в Верхоленске, второму — городничим в Киренске.[1]

С прочими гражданами мы были знакомы со всеми без исключения; но знакомство с ними ограничивалось посещениями в торжественные праздники, в общей компании всех сограждан, как это велось искони и как теперь постепенно выходит из обычая.

О близких знакомствах брата Александра и его дружеских связях я, к несчастью, не могу ничего сказать положительно; так как нас судьба развела по различным дорогам, наши свидания были редки и кратки. Знаю, что он, в первых годах офицерства, был близок с Креницыным. Помню, что мы часто его посещали в Пажеском корпусе, что там нам читали разные стихи, написанные кадетами на разные корпусные случаи; помню, как брат мне говорил, что старуха-мать Креницына (кажется так) была недовольна сыном за знакомство «с таким вольнодумцем». Но о житье-бытье в полку, потом у Бетанкура адъютантом, потом у герцога Виртембергского — я знал очень

мало. Когда я, уже переведенный в Московский полк, жил, по болезни, у него и Рылеева на квартире, вся наша деятельность ‹была посвящена› священной обязанности тайного общества — свидания и толки были только с членами; бо́льшая и меньшая доверенность и сближение зависели от бо́льшей или меньшей деятельности и участия члена. Часто собирались и литераторы, читались разные литературные произведения, были споры, суждения, особенно в эпоху первого издания «Полярной Звезды». Но в этих столкновениях трудно было заметить приязнь или дружбу одного к другому. Знакомство брата Александра с домом С а в и ц к и х и ф о н - Д е з и н а, равно как сердечное участие в этих знакомствах, вам, вероятно, уже известны. Вероятно, известно также и то, что фон-Дезин, отказавшись от дуэли с братом Александром, был прибит Рылеевым на улице хлыстом и что это обстоятельство чуть не имело гибельных результатов впоследствии для всех наших товарищей, служивших на Кавказе, и что брат Петр все-таки поплатился сумасшествием.

Моим первым другом с первого дня вступления в корпус был Александр Никитич Б а с к а к о в; последним в тюремной жизни — барон Владимир Иванович Ш т е й н г е й ль. О первом вы спросите у сестры Елены Александровны, и она вам расскажет о его неизменной привязанности ко мне (даже в то время, когда судьба нас разлучила навеки); как он, не имея возможности облегчать мою участь личным участием своей дружбы, во имя ее старался, по возможности, быть полезным матушке и сестрам. До самой смерти своей он вел постоянно со мною переписку, присылал на память разные вещи и работы своей дочери и готов был присылать деньги, если бы я на это дал свое согласие. Последнего — 84-летнего старца,[1] ежели пожелаете, можете узнать лично: он живет в Петербурге, в Кирочной улице, в доме Кольмана. Вы увидите в нем весь пыл молодости,[2] сохранившийся под убеленною временем головою, как пламя Этны под снегом. Вы найдете в нем живую летопись прошедшего, которая не солжет вам даже в часе

прошлого события: так свежа его память,[1] и, следовательно, кроме любопытных подробностей о нашем казематском быте, он может сообщить многие интересные события вам как историографу.

В промежутках между этими окраинами моей жизни я имел счастие заслужить беззаветную привязанность от нескольких из моих знакомых, к которым я не питал чувств дружбы, не имея того, что называют «симпатией». Врожденная веселость моего характера, сообщительность и непреодолимая откровенность, от которой и доселе не излечили меня ни горький опыт, ни горькие последствия, сближали меня скоро с людьми и завязывали узел ежели не дружбы, то приязни, который не разрывался даже тогда, когда я приправлял свои сношения порядочною дозою насмешливости и сарказмов, может быть, потому, что сам был не обидчив и не сердился, когда мне платили тою же монетою. Но мне не нравилась холостая жизнь мичманов; мне не нравилась эта разгульная, бесцельная и бесцветная жизнь. Я предпочел ей знакомство с семейными домами и посещал их вместе с братом Николаем. Я точно так же, как и он, был близко знаком с семейством Имберховых и Михайловских, куда меня влекли и сердечные привязанности; бывал часто у Берловских, Гасельмановых, Мейеровых и проч., но чаще всего у Степовых, детей которых я даже учил. Одна из трех дочерей, Софья Михайловна, вышла за генерала Гогеля, воспитателя наследника, теперешнего государя.

Добрый К. П. Торсон, из любви к брату и желая направить мои неопытные шаги на жизненном и служебном поприще, взял меня под свою опеку: предложил мне жить вместе, склонив к занятиям сурьезным, и был моим дядькой и учителем. Мы вместе занимались французским языком, читали исторические сочинения, морские вояжи, изучали физику, механику и прочие специальные науки. Он тогда жил во флигеле у корабельного мастера Ершова, и мне очень памятен тот вечер, в который погиб несчастный бриг «Фальк». Мы были в гостях

у нашего хозяина и в угоду хозяйке сели играть в бостон, как разразилась та буря, которая сокрушила, может быть, не один бриг «Фальк». Мы невольно оставили карты и начали рассуждать о горькой жизни моряков.

— Тогда как мы сидим теперь в теплой комнате и беззаботно проводим время, — говорил хозяин, — сколько несчастных жертв поглощает море; сколько живых существ в предсмертных муках кончают жизнь.

Нам даже казалось, что слышим пушечные выстрелы, вестники гибели. И точно: в эти минуты гибли ужасною смертью целые десятки людей без всякой надежды на помощь... Но как неисповедимы пути жизни человеческой: из троих нас, сидевших за бостоном, были два моряка, около которых влажная смерть кругом ходила, осклабясь, и они погибли сухопутно — в Сибири; третий, обитатель суши, был один из числа немногих, пред взорами которых погибли тысячи несчастных жертв при крушении корабля «Ингерманланда», погибли тысячью разнообразных смертей, и спасшихся каким-то особенным провидением божиим.[1]

В начале 1819 года я отправился в г. Архангельск с 14-м экипажем как лучшим по фрунтовой части для приема государя, решившегося посетить этот город первым со времен Петра Великого. Я ехал туда, как в ссылку. Ни родных, ни знакомых у меня там не было. Брат Николай, по собственной его просьбе, был оставлен в Кронштадте, но не хотел оставить меня на произвол судьбы и снабдил множеством рекомендательных писем как от своего лица, так и от лиц, имеющих коммерческие сношения с купцами Архангельска. Ф. В. М о л л е р, главный командир кронштадтского порта, объяснив мне, что молодому офицеру не должно уклоняться от назначений, обнадежил своим ходатайством перевода из Архангельска, ежели я буду его просить об этом. Я отправился на почтовых с нашим экипажным командиром В. И. Р у д н е в ы м.[2] Прибыв в Архангельск на последних неделях великого поста, сидел запершись в своей уединенной хате, сжег все рекоменда-

тельные письма, твердо решась просить перевода. И что же?.. Увлеченный почти силою на первый бал в клубе, по наступлении светлых дней праздника, и очарованный красотою К. . ., увы! — поступил рекрутом в фалангу ее обожателей, дослужился до чина фельдмаршала, — и в этой сладкой службе неприметно протекли два с половиною года.

Не стану́ утомлять вашего терпения описанием этих двух с половиною годов, на что я употребил бы две с половиною дести бумаги; скажу только, что я провел их так, что даже и теперь воспоминание о них есть мое лучшее достояние, потому что достояние человека, не имеющего ни настоящего, ни будущего, есть только прошедшее.

Возвратясь из Архангельска, я снова поступил под опеку Торсона — и не раскаиваюсь: я много обязан ему. Он только что возвратился из полярных стран Южного моря, и его рассказы и наставления глубоко врезались в мою душу. Он составил проект (как я говорил выше) о материальном усовершенствовании русского флота. Ему было поручено осуществить его вооружением корабля «Эмгейтена», и он пригласил меня и моего товарища по выпуску, Мих. С а т и н а, ему помогать. Целая зима проведена была нами в холодных зданиях адмиралтейства, чтоб приготовить такелаж по новому положению; целая весна в вооружении корабля и в исчислении бесконечных таблиц нового штата, от которого глаза наши едва нѐ ослепли. Когда все было готово, чтобы, представив корабль на смотр государя, отправить его под начальством Торсона для практического исследования в крейсерство, вдруг Торсон получает извещение от своего министра (он уже был его старшим адъютантом), что корабль назначается для отвоза великого князя Николая Павловича с женою в Пруссию, так как не было не только готового на этот предмет корабля во всем кронштадтском порту, но даже мало-мальски годного.

Накануне прибытия великого князя гвардейский экипаж был посажен на корабль. Капитан 2-го ранга К а ч а л о в принял над ним начальство и вытянулся на рейд. Государь

со всем двором, великий князь со своею путевою свитою на утро приехали на корабль, — и все были поражены небывалым устройством, изящною отделкою и видом корабля, не похожего на то, что прежде видано. Государь ‹Александр I›, вполне довольный, благодарил министра, благодарил Качалова, несколько раз спрашивал: «отчего он тут видит то, чего прежде нигде не видал?», — и все кланялись и молчали, потому что истины сказать не смели. И эти сцены происходили в присутствии Торсона! Каково же было его положение?.. Уязвленный, и так неделикатно, в самое сердце, тем самым лицом, которое вызвало его для помощи на новом своем поприще, всегда осторожный, Торсон разразился пред ним всем пылом своего благородного негодования и грозился донести государю о противозаконном поступке министра. Немецкий министр его растерялся и начал извиняться пред ним, как школьник, сделавший непозволительную шалость, и, чтоб вознаградить Торсона, или, лучше сказать, чтоб удалить его, потому что он уже начинал тяготиться присутствием этого неподкупного Катона, он предложил ему принять начальство над ученою экспедициею. Он поручал ему выстроить два корвета, под личным его надзором, дозволял выбор офицеров по воле Торсона [1] и даже обещал утвердить инструкцию, составленную Торсоном, и которая должна определить цель, продолжительность и даже место действия экспедиции.

— По Вашем возвращении из вояжа, — говорил плачевно министр, — я буду ‹в› возможности наградить Вас вдвойне — и за вояж, и за то, что Вы потеряли теперь; тогда и офицеры, трудившиеся при составлении штатов (т. е. я и М. Сатин, мой корпусный товарищ), будут награждены так, что Вы останетесь довольны.

Как ни странна была подобная сделка, до которой унизился государственный сановник, управляющий министерством, но из этого обстоятельства Торсон ясно увидел, что от него ничего путного ожидать нельзя и что чем скорее, тем лучше его оставить. Сверх того, предложение было так заманчиво, так хорошо

соответствовало его постоянному направлению к пользе наук и славе отчизны, что он согласился и дал обещание молчать. Но накипевшее негодование не могло скоро уходиться. В частых беседах со мною Торсон раскрывал душевные раны, и жалобы с горечью изливались на существующие злоупотребления, на гнетущий произвол, на тлетворное растление всего административного организма.

— Надо положить этому конец, — произносил он часто, останавливался, задумывался и переменял разговор. Наконец, после долгих колебаний, он открыл мне существование тайного Общества с целью — положить конец этому, и принял меня в члены.

4

(Очерк литературных трудов Н. А., род занятий другими предметами, его изобретения, равно и ваши (сидейки))?

Все напечатанные литературные произведения брата, как переводные, так и оригинальные, весьма бледно отражают литературную его личность. Все они более или менее были порождением случайности, требованием обстоятельств, как бы hors d'oeuvre* его настоящего предназначения. Вам известно, что литература того времени была прихотью, а не потребностью общества. Это был десерт, без которого обед мог безупречно обойтись, — особенно когда этот десерт подавали в виде пожертвования люди, чуждые цеха записных писак, люди, обязанные службою, дарившие неприхотливой публике свои кратковременные досуги в виде сластей или бонбошек. Да и записные литераторы и журналисты чем потчивали публику? Что дельного или сурьезного было написано в то время? Ежели брат хотел и мог вполне высказаться и выказать свои способности как писатель, то это могло осуществиться в его сурьезном труде, предпринятом по поручению правительства, — написать

* Дополнение.

Историю русского флота. Но и в этом святом деле щепетильность и узкость понятия его начальства обстановили его путь такими препятствиями, что результатом годовых усилий брата были — слабые корректурные листки, напечатанные только для того, чтоб вызвать суждения и чтоб показать начальству, что он не спит. Он не мог добиться свободного доступа в другие архивы, даже свободного пересмотра необходимых книг и манускриптов Публичной библиотеки, а архив морских дел при адмиралтействе был в таком беспорядке, что было выше человеческих сил добиться или найти даже то, что тут находилось, а что было отыскано — часто было так изуродовано, что не приносило никакой пользы. Много зла нанес архиву вандал Берх, бесцеремонно вырезывавший часто из манускриптов целые части, в которых он имел надобность, когда издавал свои водянистые труды. Сверх этих затруднений, министр поручил брату заведывание Морским музеем, т. е. безобразную кладовую, куда свалены были все морские редкости. Мог ли брат равнодушно смотреть на этот хаос? Он решился привести музей в приличный вид, пополнить богатый отдел моделей и разместить их по эпохам, пополнить виды новооткрытых и посещенных нашими моряками земель, рассортировав по группам любопытные предметы, принадлежавшие собственно каждой земле, и, наконец, составить полный и дельный указатель музея, с возможно кратким, но ясным описанием земель и сгруппированных предметов. Эти мелочные, но кропотливые заботы, лежавшие на нем одном, без помощника, поглощали много времени и отвлекали его от главного предмета его занятий.

С самого выпуска из корпуса он не оставлял по временам заниматься миниатюрною живописью и механическими работами. Он много рисовал портретов и сам обделывал их в изящные рамки. Много точил он из кости, янтаря и разноцветных дерев на станке, сделанном им самим. В тюремной его жизни я Вам уже рассказал его первые механические занятия и первый удачный плод его усилий — небольшие столовые часы со

стеклянным циферблатом и сквозными станинами, чтоб открыть весь ход часов, — были подарены А. Г. Муравьевой из благодарности за полный часовой инструмент, выписанный ею без его ведома. Но, как это всегда бывает, когда ассортимент выписываемых инструментов предоставляется на произвол мастеров, то они стараются сбывать то, что им не нужно и чего у них много, забывая присоединить, что́ необходимо нужно,— то брат принужден был многие необходимые для часового дела машинки и инструменты делать сам. Так, он должен был устроить маленький ручной токарный станок, делительную машинку для нарезки зубцов часовых колес и шестерней, станок для проверки присаженных на оси колес и другие, не менее сложные и требующие необыкновенной точности. Преобладающей идее своей о упрощении хронометров было посвящено все его время, ежели исключить беспрестанные прерывки его сурьезных занятий по просьбам всех нас, вольно-практиковавшихся в разных ремеслах, показать: как сделать то, как спаять это, какую форму дать тому или другому предмету, и прочие настойчивые требования товарищей, которые он удовлетворял с таким неизменным терпением, что поистине всех удивляло. Часто, видя неудачу по неопытности или непонятливости докучливого субъекта, он делал всю работу при нем сам и отдавал ему готовую. Зато как приятно было ему получать подарки от своих учеников их посильных трудов. Так, по приезде нашем в Селенгинск, нас посетил бурят Убугун Сарампилов, приезжавший некогда в Петровск, чтоб видеть брата и поучиться у него. Он привез нам с братом по подарку собственного своего произведения: мне изящно отделанное огниво с тисненым серебряным украшением, а брату зрительную трубу. Мы удивились и не верили глазам, чтоб это был тот самый Убугун, который в каземате удивлялся, как чуду, простому токарному станку брата, который не имел никакого понятия о теории увеличительных стекол, который не имел даже хорошей стали для своих инструментов, не говоря. что его собственные снаряды были грубой самодельщины.

Брат терпеливо удовлетворял его любознательности, объяснял делом и словом все приемы работ, позволил ему снять рисунки с машинок и всех орудий часового и слесарного мастерства, снабдил его сталью, инструментами, осколками толстых стекол от зеркал и стаканов и даже подарил ему табакерку с музыкою и с испорченным механизмом. Когда мы его впоследствии посетили в его юрте, то нас поразил вид всего, что он видел у брата или что срисовал, улучшенного замысловатою простотою. Осколки стекол уже превратились в стекла зрительных труб и биноклей, многие из них уже были не только совсем готовы, но даже поступили в продажу и отличались необыкновенною ясностью; табакерка была исправлена, играла очень удовлетворительно, и сверх того к ней был прилажен бурятский хурдо, должность коего состояла в непрестанном верчении цилиндрика, вмещавшего ламские молитвы. Этот хурдо заменяет у бурят изустные молитвы, и набожные убуши (посвятившие себя богу) вертят его руками или заставляют вертеться ветром или жаром от их очага.

В Селенгинске, располагая более свободным временем, он сурьезно занялся своими хронометрами, устроил астрономическую обсерваторию для поверки часов по звездам. Печка, устроенная внутри, нагревала маленькую комнатку обсерватории до высоких градусов термометра, то вдруг комнатка охлаждалась зимою до 30-градусных морозов, и, несмотря на такие гигантские скачки температуры, его хронометры шли очень хорошо, особенно последний, еще не совсем устроенный пред самою его смертью. Его ход был постоянное отставание на $^1/_{10}$ секунды. Такой точности едва ли можно требовать от лучших английских или французских хронометров. Эти часы я подарил на память брата Петровскому Заводу, и они в богатом футляре до сих пор не изменяют хода. Много разобранных часов осталось после его смерти, и участь их — оставаться вечно в таком положении, потому что в деле каждых часов он преследовал с в о ю мысль: один и тот же винтик имел двадцать дырок — где его настоящее место, про то знал один

хозяин. Каких трудов, какой настойчивой воли стоило ему устройство каждых часов — Вы можете судить из того, что он должен был латунь, назначенную для станин, наклепывать ручным молотком — работа тяжкая, продолжавшаяся иногда по целым месяцам, — тогда как такая латунь, прокатанная через вальки (плющильные), продавалась в России готовая и он не мог ее получить, многократно выписывая, и получил ее через астронома Струве тогда, как уже лежал в могиле.

Первое время моего пребывания в казематах Читы и Петровска я посвящал чтению, на которое я бросился с жадностью голодавшего полтора года человека, и вроде отдыха продолжая изучение языков, начатое в Шлюссельбурге. Когда по смерти Плуталова назначен был добрый генерал Фритберг и когда я ему объяснил, что у Плуталова находились мои деньги, 40 рублей, оставшиеся из 100 (т. е. 60 руб., израсходованные плац-майором в Петропавловской крепости в течение одного месяца на три лимона и на булки к чаю), и что на эти деньги Плуталов обещал мне купить итальянскую, латынскую и немецкую библии, не запрещенные арестантам, и меня обманул, то он поспешил исполнить мое желание и доставил библии через несколько дней. На остальные деньги он купил мне грамматики и лексиконы итальянский и латынский. Он даже обещал мне доставить некоторые классические сочинения на этих языках, но не мог исполнить обещания по именному повелению. «Я бы должен был у вас взять назад и все прочие книги, кроме славянской библии, но я этого не сделаю и приму всю ответственность на себя». До него у меня была только одна книга: Théâtre de Racine,* положенная украдкой сестрою Еленой Александровной, и эта единственная книга, может быть, спасла меня от потери рассудка в этом гробу. Я знал ее наизусть от доски до доски и так изощрил свою память, что по получении библии

---

* Театр Расина.

через два месяца я уже свободно читал и понимал латынскую, итальянскую и частью немецкую, — но, по всегдашней нелюбви



Л. А. СТЕПОВАЯ.
Миниатюра Н. А. Бестужева. 1827 г.

этого языка, я откладывал ее для будущности. У брата Николая в Шлюссельбурге была книга Стерна — «Сантиментальное путешествие» на английском, и она на него имела благотворное влияние.

Итак, в казематах сибирских я, продолжая изучение этих языков, занимался еще польским, английским и впоследствии испанским языками. Мы учились по методе взаимного обучения: так, напр., польскому и латынскому языку я учился у поляка Р у к е в и ч а, итальянскому — у П о д ж и о, английскому — у Ч е р н ы ш е в а, испанскому — у З а в а л и ш и н а, уча их, в свою очередь, тем языкам, в которых уже сделал успехи.

При постепенных льготах, когда мы имели возможность с большею свободою пользоваться пером, наступила та литературная эпоха, о которой я вам упоминал выше. Я писал для чтения на общих собраниях и переводы, и философические и исторические трактаты, и оригинальные повести. Кроме этих литературных собраний человек шесть из нас составили свой кружок и собирались один вечер в неделю для диспутов на заданную философическую тему, которую должно было изложить в особо написанном трактате. Т о р с о н, обрабатывая свои проекты об изменении администрации по всем отраслям правления, задавал мне темы из механического устройства различных машин и, сравнивая их с теми, которые уже были им придуманы или обрабатывались в голове, принимал или отвергал после тщательного обсуждения. У меня в памяти сохранилось одно из моих предположений — заменить гребные колеса и винты пароходов другим двигателем — двумя закрытыми цилиндрами, вставленными в кормовую подводную часть корабля, во внутренности коих два глухие пистона, попеременно действующие, выгоняя воду из одного цилиндра и втягивая воду в другой, должны неминуемо сообщить кораблю поступательное движение вперед.

Кроме того, все, что было окончательно обработано и изложено Торсоном в его проектах, он прочитывал нам с братом и ‹это› обсуживалось по частям и в общности. Когда же, наконец, усиленное чтение книг и газет при сомнительном полусвете наших комнат, когда письмо при тусклом мерцании маканых свеч значительно ослабили мое с малолетства расстроенное

зрение, я принялся за ремесла, чтобы хоть по временам давать отдых уму и глазам. Я начал с часового, — самого сподручного для меня по занятиям брата. Вымененные мною стенные часы были превосходной работы, но изломаны; после долгих усилий я, наконец, исправил их: переменил циферблат, стрелки и приделал к ним бой. Эти часы и до сих пор служат мне верою и правдою. Потом перешел к мастерству переплетному как самому необходимому для сохранения дорогих увражей, тающих в руках жадных читателей. Потом — к золотых дел мастерству, к чернеди, к токарному, башмачному, картонарному и проч. и проч. Все, чему я научился, мне послужило много впоследствии, когда надо было примером, а не словом учить понятливых, но невежественных сынов природы, каковы буряты.

1) Сидейки. Касательно вопроса вашего об устройстве сидеек, то, говоря по правде, все их достоинство составляет простота, главное основание всякого полезного изобретения, так тщательно избегаемая всеми изобретателями и к которой рано или поздно опыт приводит каждого. В нашей гористой местности употребление четырехколесного экипажа и тяжело для лошади, и опасно: у нас повсеместно употребляется двухколесная телега, и эту-то телегу я обратил в сидейку. В устройстве городских двухколесных кабриолетов длина и эластичность оглоблей пренебрежены, беспокойная тряска от неровности дороги предупреждена лежачими и разного рода рессорами, — тогда как у меня все эти рессоры заменены эластическим нагибом самой оглобли, смягченной еще нагибом особенной деревянной пружины. Вы это лучше поймете на рисунке.

В рисунке № 1 вы видите сидейку в самом простейшем ее виде и повсеместно принятую всем Забайкальем, потому что, кроме простоты и легкости, она удобна еще тем, что каждую двухколесную телегу в полчаса можно обратить в спокойный экипаж, привязав к оглоблям две пружины и положа на концы их доску для сиденья.

В рисунке № 2 вы уже видите городской экипаж, имеющий перед первым то преимущество, что, для удобнейшего входа в него, он значительно понижен переносом деревянных пружин вниз оглоблей, и так как кузовок укреплен на них,

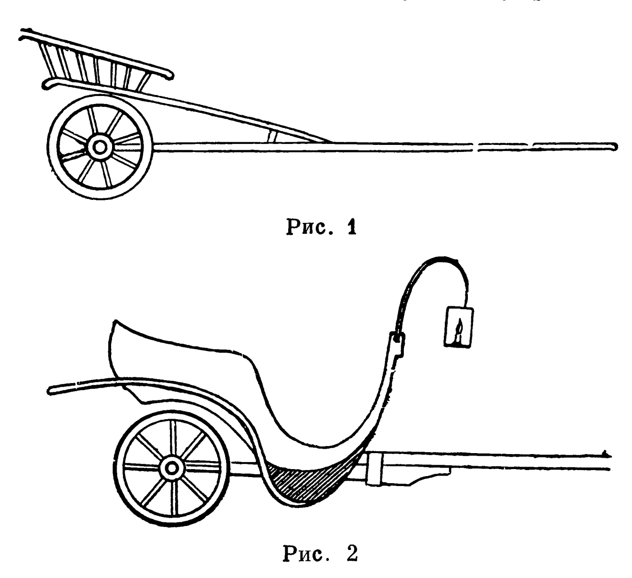


Рис. 1

Рис. 2

то этим значительно понижен центр тяжести и предупреждена опасность опрокидывания экипажа. Видите, как просто открывается ларчик.[1]

2) Сергей Андреевич Полонской был моряк, почти товарищ брату по выпуску и славный товарищ ему как офицер Морского корпуса. В нашем семействе он был хорошо принят и любим за его веселый нрав и своеобычные странности. Впоследствии он вышел в отставку, женился, имел большое семейство и всегда отличался эксцентричностью своего характера. Проекты и изобретения были для него так же необходимы, как дыхание атмосферным воздухом. Так, например, он вздумал в русской запряжке, где дуга вверху, перенести ее на низ и в такой сбруе ездить по Москве. Что ж вышло?.. Извозчики и прохожие сопровождали его криком: «барин, барин, дуга

свернулась!». Из участия к его горю останавливали экипаж, чтобы поправить, и, наконец, довели то того, что он со стыдом удалился в свою деревню. То же случилось и с его экипажами на деревянных рессорах. Не имея основательного понятия о свойствах дерева, не отдавая отчета о средствах, как технически приложить упругость дерева для замены рессорных желез, он изобрел такой экипаж, в котором вытрясет душу у самого здорового человека. Взял на приготовление экипажей привилегию и прислал нам разрешение устраивать такие экипажи в Сибири. Рассмотревши его ребяческое изобретение, брат отвечал ему письмом, что «мы от души благодарим его за желание доставить нам материальные выгоды от устройства таких экипажей. Но сибиряки не так глупы, чтобы в подобных экипажах вытряхивать свои души, тогда как у них сыскони есть тарантасы, эти простые и спокойные экипажи. И если тарантасы имеют два недостатка, т. е. длинны и подвержены опрокидыванию от того, что переднее колесо не подходит под дроги, то брат Михайло сумел избежать этого недостатка особым приспособлением. Об его сидейках, — прибавил он, — я уже ничего не говорю. Они теперь во всеобщем употреблении не только в городах, но и у бурят — тем более, что они так просты, что у бурят если есть два колеса, даже простая одноколка, он делает из нее сидейку, в которой он может проехать по самой узкой горной тропинке, не утомляя коня и спокойно сидя на войлоке.

«И за изобретение этих удобств для всего края мы не требовали никаких патентов. Напротив, мы старались сделать их общедоступными всем для того, чтоб все могли пользоваться таким удобством. А ты требуешь платы за твое изобретение. Извини, ежели мы не воспользуемся твоею благостынею».

Ежели Вас интересует устройство экипажей Полонского и устройство экипажей моего изобретения, черкните два слова, и я вам пришлю чертежи как экипажей Полонского, так и моих, и вы сами будете судьею — правы были мы или виноваты в отказе воспользоваться его привилегией.

5

(Что первое по времени явилось в печать Н. А., А. А. и Ваше?)

Первыми по времени литературными произведениями брата Александра были: «Критический разбор комедий князя Шаховского», который и был причиною псевдонима Марлинского; потом — «Критика на перевод Катенина Руссо — Эсфирь» чуть не вовлекло его в дуэль с переводчиком. Возвратясь однажды из театра, где представляли эту переводную трагедию, у него вырвалось: «Нет! надо постегать этого литературного диктатора Катенина. Мочи нет быть с ним вместе в театре: судит и рядит на весь театр все и всех, так что хоть беги вон».[1] Начальные сочинения брата Николая у вас верно обозначены, но Паризину я видел у него прежде в рукописи.

Из всего того, что марали мы, т. е. три младшие их брата, — а марали мы не мало, а особенно мы с братом Петром, — не суждено было ничему явиться на свет божий. Когда появление поэм Байрона вскружило всем головы, я много написал пиес в подражание ему: тут были и замки, и ливонские рыцари, и девы, и новогородцы. Но когда я читал их брату Николаю, он мне постоянно повторял: «Поменьше кудреватости, побольше простоты, а главное — побольше мыслей. Помни, что ни один порядочный человек не одевается московским франтом; побрякушки и разноцветные банты на его галстухе никак не заменят отсутствие ума». Хотя мои литературные произведения с каждым разом ближе и ближе подходили к требованиям брата, хотя некоторые из них уже заслуживали одобрение брата Александра и благосклонно проходили его цензуру, но я всегда предпочитал держаться цензуры брата Николая и не решался отдаваться на суд публики. В 1824 году ноября 7-го я описал наводнение в Кронштадте. Я наблюдал его с высокой обсерватории и под горячим впечатлением этого страшного зрелища сделал простое и вместе потрясающе вер-

ное описание. Оба брата нашли его стоящим печати. Но когда показали морскому министру, чтоб получить его разрешение для напечатания, он наотрез отказал, потому что в этом описании было много истины, а ее-то и хотели скрыть от государя. В каземате я на эту тему написал повесть, черновые отрывки которой у меня кое-как сохранились доселе, но беловая погублена Мухановым, вместе с пятью другими повестями, из коих одна: «Случай великое дело», была очень не худа. Вы ее можете взять у сестры Елены; но это все-таки черновые отрывки с некоторыми поправками брата Николая.

6

(Когда написан рассказ «Отчего я не женат?» и кто его героиня?)

Я выше описывал Вам казематскую эпоху, когда более всего процветала мода на литературные произведения, чтение коих, кроме литературных собраний, по большей части происходило в присутствии наших дам. Они часто, видя, как брат Николай любит детей, и видя, как он умеет привязать к себе каждого ребенка и по целым часам резвится и забавляет их, то подымая содом на весь дом, то рисуя им картинки или делая замысловатые игрушки, — они часто спрашивали его, почему он не женат? «Погодите, — часто отвечал он, — я вам это опишу». И когда они приступили с решительностью и взяли с него слово, он написал эту повесть. Но так как ему не хотелось сказать истины вполне, не хотелось обнажить своей заветной любви пред чужими взорами, он выставил подставное лицо героини повести, в описании которой, впрочем, невольно отразился колорит характера любимой им женщины. Вставленный в эту повесть рассказ о домовых — истинное происшествие.[1]

7

(Когда написано Н. А. воспоминание о Рылееве? не было ли продолжения, равно подобных воспоминаний о других друзьях ваших?)

Воспоминание брата Николая Александровича о К. Ф. Рылееве было написано в Петровском каземате в первое время нашего там пребывания, именно в эпоху, когда у нас много писалось. Многие из наших товарищей и некоторые из дам, которым были известны сбивчивые слухи о неразгаданной, таинственной связи Рылеева, описанной братом, просили его написать истину, и он, исполняя их желание, написал это воспоминание. Его намерение было написать полную биографию Рылеева, но исполнение откладывалось со дня на день, частию потому, что чтение и механические занятия поглощали почти все время, а частию из опасения обысков, которые, уничтожив его труды, могли бы за собою повлечь неприятные и стеснительные меры для всех. Равно у нас с ним было намерение составить по возможности полные биографии всех наших товарищей, и брат имел намерение приложить их к коллекции портретов, нарисованной им акварелью с изумительным сходством, несмотря, что некоторые из портретов, за спешностью отправления оригиналов на поселение, были сняты в несколько часов.[1] Эта коллекция увезена сестрой Еленою Александровною, а предполагаемые биографии унесены братом в гроб.

Он несколько раз принимался их писать в Селенгинске, где было более свободного времени и менее опасности; но память нам во многом изменяла, происшествия и годы путались, а для объяснения недоумений надо было прибегать к переписке, которая шла через III Отделение или через руки почтмейстеров, обладавших собачьим чутьем.

8

(Не осталось ли чего у вас из писем и рукописей А. А., а также есть ли письма, сочинения, отрывки из записок Н. А.?)

Из сочинений брата Александра я ничего иметь не мог, что им писано до 14-го—конфисковано, а что писал он в Якутске и на Кавказе — было слишком далеко от нас. Есть некоторые его легкие стихотворения, писанные на случай, но они по рукам якутян. Тут я прилагаю вам один образчик, равно как и некоторые черновые листы его сочинений. Из сочинений брата Николая прилагаю его рукопись «О свободе торговли», писанную им вскоре по прибытии нашем в Петровск. Но согласитесь сами, что это теперь — после ужина горчица. Она уже не имеет никакой современной цены. Не могу постичь, куда девались черновые его капитальных двух сочинений: «Система мира» и «Упрощенное устройство хронометров». И то, и другое сочинение не было ни кончено, ни приведено в порядок написанное; но он мне и многим из знакомых читал довольно большие отрывки, имевшие полноту целого. Двукратная переборка из дому в дом, потом отъезд сестер сбили меня совершенно с толку. Может быть, и сестра Елена Александровна взяла их с собою, но только до сих пор я не мог их отыскать в море-океане нашего глубокого архива. Я из этого моря почерпнул наугад несколько разных писем — не для того, чтобы их печатать, но, может быть, Вы их вздумаете просмотреть, чтоб вернее знать лица, с которыми мы были в сношении и какого рода они были, и чтоб подробнее изучить наше житье-бытье, как казематское, так и поселенское. Я даже разоблачаю нашу жизнь тюремную, прилагая тут же «Плоды тюремной хандры»,[1] сумбур, особенно нравившийся Ильинскому и почти для него написанный Давыдовым и Барятинским.

9

(Перечень заграничных поездок и участие в бою 1808 г.)

Из записок о Голландии вы увидите год и продолжительность пребывания ‹брата Николая› в этой стране. Брат находился в сводном экипаже, сформированном для этой цели и отданном под начальство капитана 2-го ранга Тизенгаузена. В 1817 г. мы плавали с ним на корабле «Не тронь меня» в Кале, в сообществе Греча и семейства генерала Жомини. Из записок «Плавание фрегата „Проворного“» вы увидите, когда и какие порты Франции и Англии он посещал. Что же касается до подробностей кампании 1808 г., то, к сожалению, я ничего сообщить не могу. Я и не расспрашивал его о них, зная, что он пишет повесть, где он обещал подробно изложить все подробности плавания и участие в бою. Куда делась эта начатая или оконченная повесть — я не знаю: вероятно, истреблена, как и много было подвержено той же участи записок и сочинений при внезапных обысках.

10

(О степени участия всех вас в масонских ложах и тайных обществах, род участия и проч.)

Из всех пяти братьев наших брат Николай был один членом единственной в то время существовавшей масонской ложи в Петербурге.[1] Он был введен в нее Н. И. Гречем и занимал в ней, кажется, значительную степень. Ежели Н. И. Греч еще жив, он, вероятно, не откажется Вам сообщить нужные подробности.

Что же касается до вступления моего в Тайное Общество, выше я это объяснил. Брат Петр был принят гвард. экип. лейтенантом Арбузовым. Степень участия нашего в Обществе до 14-го числа ограничивалась распространением Общества, избранием членов, достойных быть членами, а главное — обязанностью распространять либеральные понятия, основанные на просвещенной свободе самоуправления

(self-governement), для чего стараться, по силам и возможности, распространять просвещение, без коего свобода может обратиться в своеволие, худшее самого крайнего произвола.

11

(Как принята смерть 18 февраля?)

Известие о смерти императора Николая Павловича пришло в Иркутск во время пребывания брата там, и потому я не могу сообщить вам подробности первого впечатления этого события на моего брата. По его возвращении в Селенгинск (в апреле перед пасхою 1855 года), в то время, когда он уже носил в груди зародыш смерти, печальный и молчаливый, он несколько раз мне повторял, когда речь падала на критическое положение России:

— Что выльется из нашего нового царя — богу известно одному; но, говорят, он добр и, следовательно, не захочет итти по следам своего батюшки. Он не захочет окончательно погубить Россию, продолжая войну, как это бы сделал его отец из личного самолюбия, воображая себя молотом европейской политики, кующим цепи по своему произволу.

Успехи и неудачи севастопольской осады его интересовали в высочайшей степени. В продолжение семнадцати долгих ночей его предсмертных страданий я сам, истомленный усталостию, едва понимая, что он мне говорил почти в бреду, — должен был употреблять все свои силы, чтоб успокоить его касательно бедной погибающей России. В промежутки страшной борьбы его железной, крепкой натуры со смертию он меня спрашивал:

— Скажи, нет ли чего утешительного? [1]





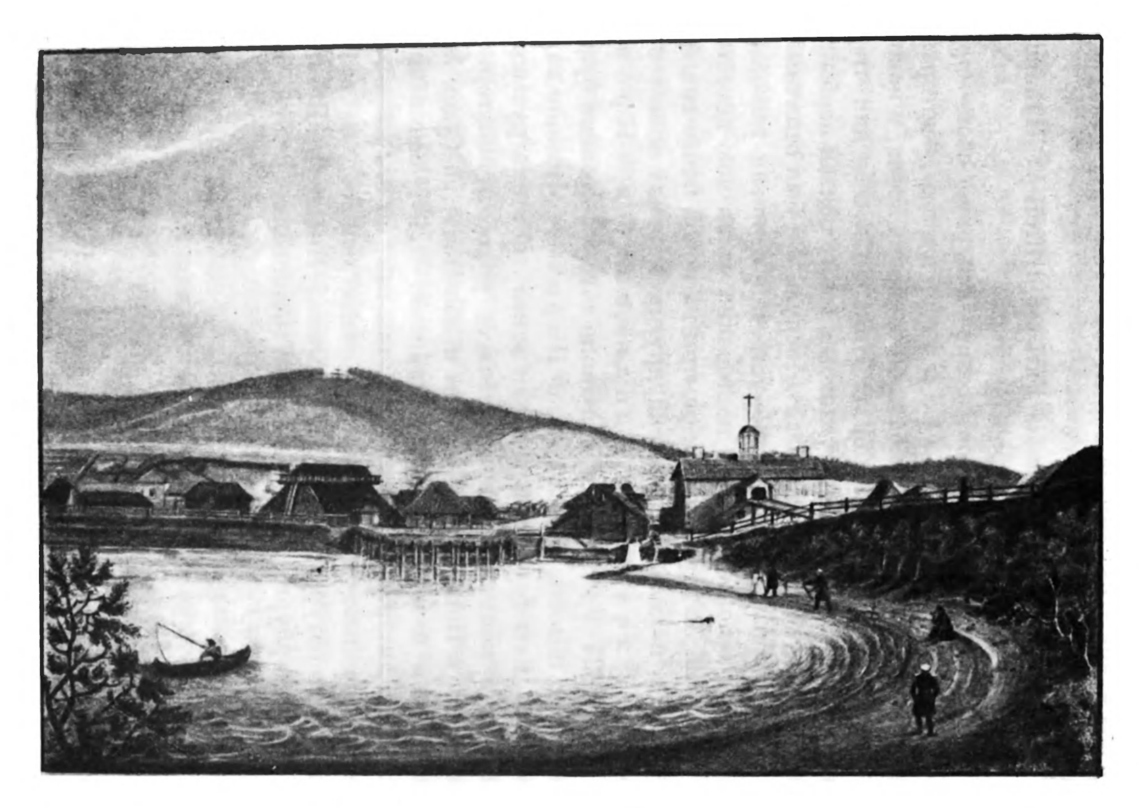
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 1869—1870 гг.[1]

I

‹ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЩЕСТВО В КАЗЕМАТЕ›

(Во время пребывания в Петровском просили ли Вы о позволении печатать Ваши сочинения?)

В Петровском Заводе, во внутренности казематского здания, рядом с кухнею, был выстроен обширный зал, предназначенный для общих наших обедов и ужинов. Но так как мы обедали и ужинали каждый отдельно в своем коридоре, то впоследствии это зало служило училищем для 30 мальчиков, которых мы обучали под предлогом обучения церковному пению. По инициативе Петра Александровича Муханова в этой же зале раз в неделю происходили литературные вечера. На этих вечерах мы читали собственные свои сочинения или вновь появившиеся в печати оригинальные произведения русского пера. Однажды мы читали одну из морских повестей, наводнивших в то время нашу и без того водянистую литературу из жалкого подражания знаменитым романам Купера и Мариетта. Некоторые из моряков, а особенно я, — мы горячо ратовали об этом смешном кривлянии обезьян, которые воображали, что они пишут морские сцены и повести, нашпиговав пошлую повесть морскими терминами и командными словами,



Вид Петровского завода. Акварель Н. А. Бестужева 1831 — 1839 гг.

да еще без толку и без смысла перепутав и то и другое. Муханов, обратясь ко мне, сказал:

— La critique est aisée, mais l'art est difficile.* Напиши свою, и это будет лучшим опровержением.

Вскоре, на одном из вечеров, я прочел первую свою морскую повесть: «Случай — великое дело», которая так удалась мне, что была единодушно одобрена всеми, и наши дамы поочередно приглашали брата Николая к себе для чтения этой повести. Может быть успехом я много обязан необыкновенному искусству брата читать вслух. Он был отличный чтец, единственный, какого я не встречал в жизни никогда более, к тому же он от частого повторения читал мою повесть почти наизусть. За этим первым опытом на новой почве нашей литературы я написал целый ряд других морских повестей: «Черный день», «Наводнение в Кронштадте 1824 года» и проч. Около того же времени брат окончил свою повесть «Русские в Париже». Муханов как председатель нашего общества и как истый любитель русской литературы и компетентный ценитель ее упросил некоторых дам написать в Петербург к родным и попытать, не будет ли позволено нам печатать наши сочинения, т. е. сочинения всего нашего литературного кружка, так как, по его мнению, уж очень довольно было написано очень дельного по всем отраслям литературы. Дамы согласились. Писали в Петербург — в Петербурге просили, ходатайствовали, и ответом было — молчание.[1]

II

ПЕСНЯ «ЧТО НИ ВЕТР ШУМИТ. . .»[2]

В торжественный, святой день 14 декабря 1829-го или 30-го года — не могу припомнить, — но только в каземате Петровского острога — я сидел в коридоре, куря трубку после нашего утреннего пития чая. Ко мне Тютчев [3] зашел.

* Критика легка, но искусство трудно.

— Хочешь чаю?

— Пожалуй, выпью стакан, дай трубку...

— Возьми сам и садись, гость будешь. Ну что, mon cher* (это его обычное присловие), ты нас сегодня распотешишь, споешь нам «Славянские девы» после обеда? — спросил я.

— Кажется, спою, но как — это другое дело. Злодей Вадковский измучил меня, mon cher! [1] Вытягивай ему каждую нотку до последней тонкости, как она у него написана на бумаге. Я так не привык, да и нот вовсе не знаю. У нас в Семеновском полку был великолепный хор песельников. Как пели русские песни!!.. Ах, mon cher! После разгрома полка нашего мне уж никогда не удавалось слышать ничего подобного. А управлял хором я; ни я, никто из моих молодцов, мы нотки не знали, а как пели, mon cher! Душа замирает. Сладко, согласно, никто на волос не сфальшит. А ежели и случался такой грех, то весь хор так и набросится на несчастного.

— Ну, скажи, как же они знали, что он фальшил?

— А от того, mon cher, что у меня, как и у каждого из них, камертон был в душе, а ухо — в сердце. Вот если б Одоевский, вместо своих дев, да написал что-нибудь в русском духе — знаешь этак — просто русскую песенку, где бы хоть слегка были упомянуты мы — черниговцы, когда мы шли с Муравьевым умереть за Святую Русь, — ну тогда бы ты, mon cher, сказал русское спасибо Тютчеву. Прощай — до скорого свидания за обедом.[2]

Этот безыскусственный, простой рассказ утвердил меня в постоянном моем мнении о музыкальном чутье русского народа. Сойдутся пять-шесть человек русских из разных концов России — запоют песню — прелесть!.. Они не поют в unisson, как большая часть других народов, но голоса бессознательно разделяются музыкально. А преимущественно русские песни они поют гармонически. Тютчев обладал таким мягким, таким сладостным тембром голоса, которого невозможно было слу-

* Любезный.

шать без душевного волнения в русских песнях, а в особенности в песнях: «Не белы-то снежки» или «Уж как пал туман на сине море». Понимая его очень хорошо, что «Славянские девы», написанные Одоевским и положенные на музыку Вадковским, — и стихотворение, и музыка обладают неоспоримыми достоинствами, — я смутно предчувствовал, что Тютчев не произведет своим голосом того впечатления, какого ожидали от этой арии. Я взял карандаш и написал русскую песню на тему: «Уж как пал туман на сине море» — песню, которую он пел невыразимо хорошо.

Что ни ветр шумит во сыром бору,
Муравьев идет на кровавый пир...
С ним черниговцы идут грудью стать,
Сложить голову за Россию-мать.
И не бурей пал долу крепкий дуб,
А изменник-червь подточил его.
Закатилася воля-солнышко,
Смертна ночь легла в поле бранное.
Как на поле том бранный конь стоит,
На земле пред ним витязь млад лежит.
Конь! мой конь! скачи в святой Киев-град:
Там товарищи — там мой милый брат...
Отнеси ты к ним мой последний вздох,
И скажи: «цепей я снести не мог,
Пережить нельзя мысли горестной,
Что не мог купить кровью вольности!..».

Я не ошибся в своем предчувствии... Несмотря на экзальтированное настроение присутствующих на обеде, который мы постоянно устраивали 14 декабря, когда, по окончании его, вышел хор и запел гимн «Славянских дев», впечатление на слушателей было не заметно, хотя гимн был аранжирован превосходно — мотив его очень близко подходил к мотиву гимна «Боже, царя храни» Львова, и точно как будто бы гимн Львова был скомпанован по его образцу. В последнем куплете, где речь относится прямо к России и где Вадковский, неприметными оттенками гармонии, переходит в чисто русский мир

и заканчивает мотивом русской песни, — все присутствующие невольно встрепенулись, а особливо, когда послышался в этом куплете упоительно задушевный голос Тютчева.

Он пел:

Старшая дочь в семействе Славяна
Всех превзошла величием стана.
Славой гремит — но грустно поет [живет],
В тереме дни проводит, как ночи,
Грустно чело — заплаканы очи
И заунывные песни поет.
Что же не выйдешь в чистое поле —
Не разгуляешь грусти своей?
Светло душе на солнышке-воле,
Сердцу светло от ясных лучей.
В поле спеши с меньшими сестрами
И хоровод веди за собой —
Дружно сплетаясь, руки с руками,
Радостно песню свободы запой...[1]

Но когда, после некоторого промежутка, послышался симпатический голос Тютчева в простой русской песне «Что ни ветр шумит», где он был неподражаемо прекрасен, восторг был необычайный. Все бросились его обнимать, меня хотели качать на руках. Я убежал в свой номер и заперся.

Вот мой ответ на Ваш вопрос. Как я ни старался сделать его более кратким, но не сетуйте, ежели я во зло употребляю Ваше терпение, полагая, что излишняя краткость ведет ко многим недоумениям.

III

ШТЕЙНГЕЙЛЬ И ОДОЕВСКИЙ[3]

Вы, вероятно, не посетуете на меня, ежели я на Ваше желание знать биографические подробности лиц, находившихся со мною под одною кровлею каземата, или тех, кто был в близких сношениях с Рылеевым и братьями моими Николаем и Александром до 14 декабря, отвечу просьбою принять в

соображение мою жизнь от выпуска меня в офицеры до рокового дня 14 декабря 1825 года.

По выпуске меня из Морского корпуса 1817-го года мая я с братом Николаем на корабле «Не тронь меня» пошел во Францию, чтоб взять дивизию Воронцова. Тут я сблизился с Н. И. Гречем, который на нашем корабле, вместе с женою и племянницею генерала Жомини, ехали во Францию. В нем я видел не литератора, а пассажира — он во мне видел 17-летнего кадета, в полном смысле ребенка без опыта жизни.

В доказательство моих слов я приведу его подарок: ящик французского чернослива, когда он, выбрасывая за борт в море все медикаменты, нашел излишним сохранить и чернослив, предписанный ему эскулапами, как единственное средство, чтоб не умереть от морского путешествия. С таким образом мыслей он обращался со мною и незадолго до 14-го числа декабря, и когда я — уже будучи членом Общества и будучи предупрежден, чтоб опасаться Греча как шпиона правительства, — посещал его, он косвенно и намеками старался выведать от меня о существовании чего-то, о чем ему знать было необходимо и что ускользало от его бдительности.

Незадолго до 14 декабря он, мучимый дьяволом любопытства, пригласил меня после обеда в свой кабинет и повел речь прямо и без обиняков.

— Скажи, Мишель, ведь ты принадлежишь Тайному Обществу. В чем его цель и какие намерения?..

Я отвечал:

— Вы не сыщик, а я не доносчик... Но если я ошибаюсь в первом — поверьте, что я не Иуда и за несколько серебряных рублей не предам неповинных.

Я вышел в каком-то угаре от него и ушел из его дома, чтоб никогда с ним не видаться. Он мне не простил этого жгучего укора и в своих записках постарался уколоть меня по-своему: язвительным отзывом о моей личности.

Экипаж или батальон, в котором я находился, был отправлен в Архангельск для встречи государя императора как луч-

ший экипаж по фрунтовой службе. Брат Николай остался в Кронштадте. Я должен был отправиться туда, как в ссылку, и там провел я два года. По возвращении из Архангельска я жил с К. П. Торсоном. С ним я сроднился, как родной. Я и он было одно. Я им принят в Общество. Он подал проект о преобразовании флота. Я с ним трудился над этим проектом. Целую зиму, мерзнув и умирая со скуки, провели мы время до весны в составлении штатов по новому положению. Нам назначили, наконец, корабль «Эмгейтен» для осуществления идей Торсона, и, по именному повелению, предписано, по окончательном вооружении, отправить его для испытания в море под командою составителя проекта, т. е. под командою Торсона. Наступили для нас снова убийственно-утомительные хлопоты по вооружению корабля. Надо было видеть нищенское ничтожество нашего Адмиралтейства, чтоб иметь понятие о затруднениях, которые мы встречали на каждом шагу в приготовлении вещей новых, встречая препятствия на каждом шагу, встречая на каждом шагу камни, которые бросали под наши ноги адмиралтейские мастера — эти крысы, чуявшие конец своего безотчетного грызения казенных интересов.

Но, в конце концов, мы преодолели все препятствия. Корабль «Эмгейтен» был приготовлен, как жених на бракосочетание. Любо было смотреть на этого красавца русского флота, принаряженного без казенного классицизма, просто, чисто и вполне отвечающего боевому его назначению. — И что ж?!!— За несколько дней до вступления его в море экипаж Гвардейского Экипажа привозится на пароходах из Петербурга. Его помещают на «Эмгейтен»; корабль выходит на рейд; начальство над ним принимает командир Гвардейского Экипажа Качалов и приготовляет его для встречи великого князя Николая. Проект, доставлявший правительству экономии до миллиона и более рублей — на один только корабль, — устранен. Торсон, как будто бы лицо, никогда не существовавшее, удален; обо мне и комиссии, трудившейся целый год, и помину не было.

«Что ж это за казус?» — спросите Вы. Весьма простой и нисколько не выходящий из ряда тех казусов, какие случались сплошь да рядом в благодатном правлении Александра Благословенного. Его братец, Николай Павлович, пожелал свидеться со своим тестем, прусским королем. Сухопутье ему было не по душе, по скверным дорогам. Дай, поеду морем. Вследствие чего приказ: изготовить корабль для перевозки великого князя с семейством в Пруссию. Сказать легко, да исполнить трудно. Все корабли, находившиеся в Кронштадтской гавани, изгнивали, только подкрашенные и разрумяненные с одной стороны, мимо которой провозили всегда ревизующего монарха. Зачем долго думать... Красавец «Эмгейтен» готов. Пусть на нем и отправится великий князь. И он на нем отправился. Благословенный провожал своего братца, был в восторге от устройства корабля, благодарил Качалова за удовольствие видеть корабль, так прекрасно приготовленный им, чего он никогда не видел прежде, наградил его и его команду, а мы?.. Нас всех удалили под разными предлогами из Кронштадта, и мы остались не при чем. Не забудьте, что Торсон был старшим адъютантом исправляющего должность морского министра и помимо его были совершены подобные низкие интриги. Можете посудить о негодовании такой чистой души, как Торсона, и вообразите бурю, поднятую им, когда он узнал, какую жалкую роль он играл в этой комедии: он прямо объявил министру, что он пойдет к государю и «сообщит ему все, касающееся флота, а главное сообщит ему, как играют его именными указами даже в то время, когда страждут интересы казны».

Немец Моллер, как и всякий немец, сосущий сок Руси, понял, что подобные пилюли Торсона могут причинить несварение желудка, поспешил употребить все средства для его успокоения. Он ему представил состояние нашего флота; необходимость меры назначения «Эмгейтена», ублажал и успокаивал его негодование и, наконец, чтобы успокоить его, предложил ученую экспедицию к Северному полюсу; начальство

будет поручено Торсону. Фрегат и бриг, назначенные для этой цели, будут под его командой. Неудачное плавание капитан-лейтенанта Васильева к Северному полюсу было предлогом возобновить попытки. Чтоб ускромнить бурное волнение души Торсона, Моллер, как истый немец, низошел до низости: дал торжественное обещание по окончании ученой экспедиции осыпать наградами его и всех участников кругосветного вояжа и, наконец, даже предоставил самому Торсону составление инструкции его будущего плавания.

Помню я эти блаженные минуты, когда в осенние ночи, при тусклом свете сальной свечи, мы проводили с Торсоном пути по земному шару и открывали с ним неведомые страны и острова и крестили их русскими именами. Как затруднялись, чтоб найти предлог посетить Средиземное море, куда меня влекло мое пламенное воображение: посетить места, столь славные историческими воспоминаниями. И, наконец, и эти места были включены в инструкцию, и эта инструкция утверждена была высочайшею волею. Фрегат и бриг строились в Петербурге, я и избранные для вояжа офицеры должны были наблюдать за постройкой судов. Но в сердце у меня кипело неудовольствие и отвращение к службе, где ничто не заручало вознаграждения за ревностное исполнение своих обязанностей. Брат Александр, сочувствуя моему положению, предчувствуя, что близится роковой час, и, вероятно, желая видеть во мне деятельного помощника при событиях предстоящих, предложил мне переменить море на сушу, перейти на службу в гвардию, именно в Московский полк, куда я поступлю по чину лейтенанта первым поручиком и где — при беспрестанно открывающихся вакансиях — я быстро пойду вверх. Под влиянием еще не утихшего чувства негодования я согласился... Я был переведен первым поручиком Московского полка. Илья Гаврилович Бибиков, бывший в то время старшим адъютантом великого князя Михаила Павловича, много содействовал моему переводу и благорасположению ко мне великого князя. Он меня полюбил; после производства моего в штабс-капитаны

дал роту капитана Мартьянова, воспитанную под грозою палок, розог и шомполов. Много было тяжких дней, в которых я должен был перевоспитывать эту роту на более гуманных принципах. Но, наконец, я дошел до того счастья, что сам великий князь Михаил Павлович хотел у меня отнять роту на том основании, что в штрафных ведомостях нет ни одного, подвергнутого наказанию. С этою ротою я и явился на площадь 14 декабря...

Из этого короткого очерка моей жизни, от выпуска в офицеры до рокового 14 декабря, Вы можете видеть, что она протекла вне Петербурга и что, по переходе моем в гвардию, я хотя и жил некоторое время на квартире вместе с Рылеевым и братом Александром и видел много личностей замечательных, но заботы по фронтовой службе, в особенности по принятии роты в командование, поглощали у меня дни целиком, оставляя вечерние часы для кратких отдыхов. Когда же мне случалось присутствовать на литературных обедах и вечерах у Греча, князя Шаховского, Булгарина, Прокофьева, Сомова и других, а чаще на вечерах и полдневных завтраках у Рылеева,* тут я встречал массы интересных лиц, но я не имел ни времени, ни надобности изучать их биографии; в тюрьме же мы жили жизнью теней в Елисейских полях. Правда, часто и очень часто слышались весьма занимательные эпизоды из жизни каждого из заключенных, но они занимали нас только на то время, когда длился рассказ, а потом все это смешивалось в хаосе тысячи подобных рассказов, нисколько не запечатлеваясь в памяти.

Князя Одоевского я часто видел во всех собраниях литераторов и еще чаще в его укромном жилище. Он был дружен с моим братом Александром.

В Читинской, а потом в Петровской тюрьме я его мог видеть и изучать каждодневно. Я видел в нем молодого, пылкого

* Завтрак неизменно всегда состоял из нескольких кочанов пластовой капусты, черного хлеба и хлебного вина. Рылеев говорил: «Русским надо русскую пищу».

человека, поэта в душе, который жил в заоблачном мире. Вся его тюремная жизнь вылилась в поэтических звуках. Не было самого обыденного обстоятельства, которое он не перенес ‹бы› в область фантазии. Я вам сообщил прежде многие из его стихотворений, но это только капля в море. Мудрено ли после этого видеть, как Лермонтов так дружески сблизился с ним на Кавказе, невольно увлеченный общею силою поэзии, увлекавшею их по одному направлению. Эти чувства дружбы и привязанности Вы, вероятно, прочли в его превосходных стихах, внушенных ему над изголовьем умирающего Одоевского.[1]

Штейнгейля до тюрьмы я совсем не знал: сблизился я с ним в Петровских казематах. Какие могли быть побудительные причины нашего сближения, я до сих пор не могу понять ясно. Как изъяснить сближение такого умного, такого положительного человека, как Штейнгейль, отца многочисленного семейства, прошедшего сквозь огонь и воду житейских треволнений, старейшего почти тридцатью годами молодого юноши, танцовавшего для моциона в железах французские кадрили, — я до сих пор не могу отдать верного отчета. Но возвращаясь теперь к воспоминанию прошедшего, я без пошлого самовосхваления, а с чувством благодарности к богу, одарившему меня каким-то особенным оттенком характера, с которым я без особенного с моей стороны старания приобретал расположение и дружбу людей, во всех отношениях гораздо выше меня стоящих. Пример налицо: моя тесная дружба с Торсоном и Штейнгейлем. С первым брат Николай был однокашник по корпусу — товарищ по выпуску. И детьми, и офицерами они были очень дружны. Но это была не та дружба, которая связала Торсона со мною. Все свои проекты, планы, намерения он сообщал мне первому и требовал моего совета и мнения. В Чите и Петровском каземате, когда он исписывал целые груды бумаги о преобразовании флота, даже о преобразовании самого правления — утопия, где он хотел соединить самодержавие с конституционными порядками, когда он заставлял меня

выслушивать их по целым часам, когда таинственно сообщал мне свое намерение переслать все это к государю, и как он не сомневался, что Николай Павлович примет его проект, как дар неба, простит его, приблизит к своей особе, в конце концов, открывал мне свою душу и признавался, что это он делает для меня, и просил сказать откровенно: чего я хочу? О чем он должен ходатайствовать у царя? Во всем этом вы не можете не заметить припадка душевной аберрации, к сожалению, впоследствии усилившегося до сплина и высочайшей недоверчивости к людям. Но и в этом состоянии я был единственное существо, которому он даже доверял хранение своих бумаг.

Приезд старушки-матери и его сестры как рукой снял с него этот недуг, но впоследствии он снова начал проявляться. Причиною тому были его неудачи в осуществлении тоже утопических замыслов относительно сельского хозяйства. Тщетны были все усилия отвратить его от разорения. Наши длинные послания оставались без ответа, надо было попытаться убедить его в личных беседах. И вот причина, по которой мы просились из Кургана (Тоб. губ.) в Селенгинск, за Байкал, где проживал Торсон с матерью и сестрой. Но мы уже не могли поправить дела. Устройство его механической молотилки, веялки и крупчатки было вполовину готово. По его предположению, когда машина, по окончательной установке, будет ему давать значительный доход, — он предполагал устроить большую мастерскую для приготовления разных земледельческих машин и стараться ввести их в употребление в Сибири. Мы ему представляли, что невозможно край переродить для его машин, что безрассудно вводить машины в крае, где труд нипочем, где население бедно и редко населено, где огромные расстояния разделяют земледельца от машин, долженствующих обрабатывать произведения земли, и проч., и проч. Но все напрасно. Он убил на это предприятие небольшой свой капитал и потом часто в мрачном сплине говорил:

— Вы были правы... Я бы сжег эту машину, которая укором торчит пред моим домом, если бы я не боялся сжечь и дом.

Казематная жизнь сперва сблизила, а потом соединила меня со Штейнгейлем неразрывными узами самой чистой, бескорыстной дружбы.[1] Правда, сначала не по вкусу мне были некоторые особенности в его личности. Так, например, мне не нравилась в нем какая-то театральность, какое-то желание рисоваться,



В. И. ШТЕЙНГЕЛЬ.
С литографии Эстеррейха. 1823 г.

даже речь его, ровная, плавная, спокойная, казалась мне речью Цицерона, сперва написанною и потом выученною наизусть, но потом я убедился, что он не мог быть другим, иначе он был бы не Штейнгейль, но что он, со всеми, по моему мнению, недостатками, прямая, русская душа... Со своей стороны, и он вначале думал видеть во мне более незрелости и ветренности, нежели сколько было во мне этих недостатков. Кипучая жизнь, выливавшаяся у меня иногда через край в резких выходках суждений и самых действий, подавала беспрестанно повод к подобным заключениям. Но так или иначе, мы сблизились друг с другом, и эта дружба длилась до его могилы. В день моих именин, 8 ноября 1836 года, он принес ко мне маленькую книжечку «Manuels d'Epictète»* в подарок. На заглавном листке была надпись: В незабвенный год жизни моей и отечества (1812 г.) эта книжка приобретена мною — тебе ее дарю, мой единственный друг и товарищ несчастия, также незабвенного. Если ты будешь тверд в своих правилах, согласных с нею, ты не забудешь седого друга твоего. Эти немногие слова могут служить лучшим истолкованием наших отношений.

Что же касается до биографических о нем сведений, чистосердечно признаюсь в невозможности удовлетворить ваше желание. Нам было мало надобности собирать друг о друге сведения о прошедшей жизни, и, сверх того, если бы кто и захотел заняться такою работою, надо было их записывать, чтоб после не перепутать, а этого делать нам было невозможно. Без сомнения, я мог бы Вам сообщить, кое-как опираясь на слабеющую уже память, многие из его занимательных рассказов о прошлом в его жизни, но они не послужат материалом для биографии.

Поведение его пред тайным судом было не только безукоризненно, но высоко оригинально по резкости ответов. Он

* Правила Эпиктета.

и Торсон — может быть, более всех из подсудимых — высказали самодержавному владыке самых горьких для него истин. На вопросный пункт «Что побудило вас вступить в Тайное Общество?» — он поместил, между множеством причин, такой отвратительно-верный портрет нравственности того человека, который принимал скипетр для управления 60 миллионами, что члены суда упрашивали его переписать ответы, давая ему знать, что их будет читать сам государь.

— Тем лучше, — отвечал он, — пусть он посмотрится в это зеркало. А я, — прибавил, повторяя слова Пилата, — еже написах, написах. — Пожалуй, и в этой браваде можно видеть долю театральной выходки, если б он не заплатил за нее, может быть, лишними двумя-тремя годами каторжной работы.

IV

БРАТЬЯ БОРИСОВЫ

Младший из двух братьев Борисовых, Петр Иванович, как вам известно, был основателем Славянского Общества.[1] Как ему забрела первоначально эта мысль и кто был заронивший в его душу это намерение, мы никогда не могли от него допытаться. Находил ли он более благоразумным молчание, или он был связан клятвой — не знаю, но, кажется, последнее предположение более вероятно, что даже можно заключить по странным обрядам им установленного Общества для приема членов. Его статут носит на себе печать какой-то таинственности, клятв, присяги на кинжалах и т. п. Он был очень глух, потеряв слух от пушечных выстрелов еще бывши юнкером артиллерии, и по этой причине, сосредоточивши свою моральную жизнь в самом себе, он вместе с сим удовлетворял свою неодолимую наклонность к философическим созерцаниям и перечитал все, что было написано древними и новейшими философами и политиками; был нрава кроткого и имел над своим

старшим братом Андреем почти сверхъестественное влияние, что было как нельзя более кстати, по причине его умственного расстройства, начавшегося еще в Чите и окончательно совершившегося в Петровском каземате. И телом, и душой, и образованием он резко отличался от брата: с лысой головой, с крепким здоровьем, он был скор и резок и на словах и на деле. Его казематные занятия состояли в переплете книг нашей обширной библиотеки, и бог весть, сколько сотен из клочков и лоскутков растерзанных спешным чтением книг он вызывал к новой жизни.

Вместе с нами он отправился на поселение и был назначен в деревню Разводную, отстоящую от Иркутска верстах в сорока, на самом берегу Ангары, куда были поселены тогда же Артамон Захарович Муравьев и Алексей Петрович Юшневский. Я вам прежде, кажется, писал о странном существе в лице нашего доктора Ильинского. Он-то, умиравший чахоткою, приехал для лечения себя в Иркутске со своею супругою — философкою в чепце. Она до страсти обожала мужа: его слова были для нее закон. Из угождения к нему она выучилась по-французски и упивалась доморощенною философией, которую ни она, ни супруг вовсе не понимали.

В отплату за ее любовь он был ревнив, как турок, и не хотел, чтоб она и после его смерти кому-нибудь принадлежала, и взял с нее слово не выходить замуж ни за кого, кроме... П. Борисова, этого светила философии, которое он обожал с богопочтением парса. По его смерти она часто посещала в Разводной Марию Казимировну, жену Юшневского, и там, беседуя на его могиле при лунном сиянии и философствуя взапуски, наконец, дофилософствовались до сердечных объяснений — и положили обвенчаться по истечении положенного приличием траура. Она уехала в Селенгинск. Чтоб скоротать бесконечный термин траура, они утешали друг друга постоянною перепискою. Срок траура уже истекал. Борисов, впервые в жизни окунувшись в радужную, упоительную атмосферу

любви, таял от нетерпения, как вдруг он получает известие, что будущая его супруга родила и прикрыла грех брачным венцом с обольстителем.

Не бросайте камня в виновную!.. Дело совершилось обычным путем законов природы человеческой. При жизни мужа пребывая постоянно под наитием обожания своего супруга, а по смерти его плавая в волнах платонической любви к философу, она неожиданно очутилась лицом к лицу с ловким обольстителем, поляком родом и польским пройдохой по ремеслу. Имя ему Кржечковский, а должность в доме Старцева — гувернер.

Будучи сестрою умного, дельного и благородного Дмитрия Дмитриевича Старцева и внучкою Феодосии Дмитриевны Старцевой, сибирскому самородку по практическому уму, она, т. е. Катерина Дмитриевна Старцева, была тоже далеко не глупа, хороша собою и обладала природным здравым смыслом.

К несчастью, она попала в лапы дурака, и тот властью к нему любви искалечил ее здравый смысл до того, что чуть не сделал ее идиот-философкою, как он сам, и деспотически вкоренял в ее горячую головку смехотворные идеи. Борисов, философ по призванию, мог только еще более увлечь ее по ложному пути. Должно ли удивляться, когда под родным кровом, очутившись в таких близких отношениях с умным, хитрым и красивым молодым человеком, каким был Кржечковский, и услышав впервые сладкие неведомые ей речи, обращенные прямо и без всяких философских фраз к ее сердцу, она сбросила насильно надетую на нее маску и мало-помалу вседневными уступками увлеклась потоком новых для нее чувств. Но так или иначе, это обстоятельство гибельно подействовало на бедного Борисова. И до сего всегда слабые силы его еще больше подломились, и он в одно утро, копируя с живых цветов букеты из забайкальской флоры, едва ли не лучше самого Одюбона, с кистью в руке, склонил голову на стол и отошел в вечность. Сумасшедший брат его, долго дожидая

к обеду брата, наконец, вошел в комнату, начал будить, полагая его спящим, и, когда удостоверился в истинной смерти брата, пришел в такое исступленное отчаяние, что, схватя бритву, перерезал себе горло, но не так удачно; потом побежал в свою комнату, где были навалены вороха обрезок от переплетаемых им книг, и зажег их; задыхаясь от дыма, он выбежал на двор и под навесом повесился, где его и нашли уже мертвым крестьяне, сбежавшиеся на пожар, который едва был потушен.

V

А. А. НИКОЛЬСКИЙ

С А. А. Никольским брат Николай сблизился, когда вступил в Общество соревнователей просвещения, где Никольский был секретарем. Он был теплая душа, и брат поддерживал с ним переписку до самой смерти.[1] В числе многих писем замечательно одно, где брат делает обзор Забайкальского края. Оно, кажется, было напечатано. В другом он описывает и прилагает чертежи сидейки, т. е. двухколесного кабриолета, изобретенного мною и вошедшего во всеобщее употребление как в Кяхте и Иркутске, так и во всем Забайкалье у Бурят.

VI

М. Г. СТЕПОВОЙ

Михаил Гаврилович Степовой был директором Штурманского училища в Кронштадте, родом малороссиянин, человек честный и прямой. Впоследствии он был членом адмиралтейского совета и проживал в Петербурге. Жена его Любовь Ивановна, воспитанница Смольного монастыря, — красивая, умная и энергичная женщина. У ней были три дочери, Лизавета, София и Варвара. Так как я был у них как свой и посе-

щал почти каждый день, то малютки привязались ко мне и любили очень; я не мог не платить им тем же. Любовь Ивановна упросила меня принять нелегкий труд их первоначального образования. Я не без сопротивления согласился, но с тем, чтоб она не мешалась ни словом, ни делом в воспитание и направление, какое я найду за лучшее дать. Она дала слово — и обучение началось. Смешно бы было, если бы я, не упомянув об их раннем развитии ума, вздумал хвастать о их успехах и приписывать это себе. Но они, т. е. две старшие, оказывали быстрые успехи. Перевод в гвардию положил конец моей обязанности.

Теперь отец и мать давно сошли в могилу, а три дочери их — все превосходительные — живы. Первая, вышедшая замуж за генерала Энгельгарта, постоянно проживает за границею; вторая замужем за генералом Гогелем, бывшим воспитателем умершего наследника, теперь живет в Царском Селе, где муж ее назначен комендантом, как успокоительное место после многотрудных обязанностей — он отдыхает; а третья замужем за генералом Ефимовичем — живет в Петергофе, где муж ее — начальник гранильной фабрики. После нашего с вами свидания я посетил их и узнал, что ни расстояние, разделявшее нас, ни время не охладили почти родственного чувства, с которым они меня встретили.

VII

‹ИНСТРУКЦИИ›

(Какого рода инструкции были даны властям для поселенных декабристов?)

Подлинных инструкций мы не могли читать, потому что сии содержались в величайшей тайне, но что они существовали, и уж вовсе не в сахарном вкусе, это мы могли знать по неустанным возмутительно-гнусным придиркам, как только эти инструкции попадали в руки злых людей или глупо-верно-

подданных чиновников. Это испытала большая часть наших товарищей, это и мы видели воочию. Во время оно, да может быть и теперь в России, в этом бумажном царстве, все зависит от того, к кому попадет та или другая бумага. К хорошему — будет хорошо, к худому — так худо, как и в бумаге не требуется. Для примера, я Вам сопоставлю две личности: доброго нашего коменданта Лепарского и злодея Бурнашева, начальника Нерчинского рудника, в который первоначально присланы были Волконский, Трубецкой, Оболенский, Артамон Муравьев, двое Борисовых и Якубович. Этот зверь, прочитав инструкцию, врученную ему фельдъегерем, с негодованием, пожав плечами, сказал:

— Вот, как пишутся инструкции!.. Все хорошо, все хорошо, а вот на конце закорючка: «наблюдать за их здоровьем»!.. Что же это такое? Без этой закорючки я бы их в два месяца всех вывел в расход, а теперь — прошу действовать со связанными руками!..

А несмотря на «связанные руки», он запер их в тесную, темную, грязную каморку, на съедение всех родов насекомых, и буквально задыхавшихся от смраду. О пище я уж не упоминаю, да она им и на ум не шла. Единственная их отрада — было время, когда их выводили, чтоб опустить в шахту на несколько десятков сажен под землю. Если б не приехал комендант Лепарский, объезжавший по высочайшему повелению край для избрания места под постройку каземата, Бурнашев точно, несмотря на закорючку, вывел бы их скоро всех в расход.

В противоположность возьмем прекрасную личность Лепарского. Всякий другой генерал, русский, немец, поляк, но не Лепарский, хотя он был истым поляком, с драконовыми инструкциями, дающими ему неограниченную власть над судьбою подчиненных ему преступников, — не в состоянии был бы сохранить настолько хладнокровия и терпения, чтоб выдерживать ежедневно, ежечасно бурных столкновений с сотнею горячих голов, раздражительных, с неугомонившимся само-

любием и поставленных в неестественное, напряженное состояние. Половина из нас была бы расстреляна, другая, еще того хуже, — была бы обречена на более постыдное наказание. Лепарский имел необыкновенный дар владеть собою — был столько добр и мягко уклончив, что почти всегда, ‹сказав› несколько простых, но прямо идущих к сердцу слов, — утишал бурю и волнение, как масло, вылитое на поверхность бунтующих волн, уничтожает волнение. Часто при посещении каземата, когда его окружали недовольные чем-либо и осыпали его градом упреков и укоризн, даже похожих на брань, он с кротостью говорил:

— Messieurs, je vous en prie, grondez moi en français... les soldats peuvent vous entendre, — или:

— Messieurs, venez chez moi et alors vous pouvez me gronder même en russe.*

Так точно было и с нами на поселении. Первые годы нашего поселения в Селенгинске мы были в непосредственной зависимости от городничего, казацкого офицера Скорнякова. Он был из школы губернатора Трескина, несправедливо заклейменного бесславием взяточника.

Трескин был хороший администратор и умел выбирать людей для исполнения своих административных планов. Скорняков находился при нем как бессменный ординарец, в чине зауряд-хорунжего, и назначен им городничим в наш городок. Прямой, честный, любивший немного покутить, жил с нами в таких ладах и оказывал столько услуг и одолжений, что мы всегда воспоминали время его управления с теплым чувством благодарности. Он ни словом, ни делом никогда не делал нам даже слабых намеков на инструкцию, хотя она у него была, мы это знали, и знали, что она написана не розовою водою.

---

* Прошу вас, господа, браните меня по-французски... вас могут слышать солдаты.

— Приходите, господа, ко мне, и там можете меня бранить даже и по-русски.

Его сменил квартальный офицер иркутской полиции Кузнецов, и тогда-то мы узнали, что значит инструкция в руках подобного мерзавца, который делал пакости без всякого повода, единственно из любви к искусству делать пакости. Вот в его-то управление мы с братом должны были сжечь бумаги, могшие нас компрометировать. Наглость его полицейских придирок дошла до того, что он не позволял нам даже отлучаться из места жительства далее 15-верстного расстояния, как гласила инструкция. Нас до того взбесила эта бессмысленная наглость, потому что земли, отведенные нам для пашен и сенокосов, были удалены от нас более, чем на 15 верст. Даже хладнокровный, терпеливый брат Николай был рассержен и согласился на мое предложение — написать просьбу к Бенкендорфу, для доклада государю, как значилось в вышеупомянутой инструкции, следующего содержания.

«Ваше высокопревосходительство! Известились мы, что в наши пашни, засеянные пшеницей, разломав изгороду, ворвались двадцать голов рогатого скота и стадо овец, числом более 50, и начали травить почти созрелую жатву. Но так как по инструкции, объявленной г-ном селенгинским городничим, нам не позволяется ехать далее 15 верст от нашего жительства, а пашни отстоят от нас более 16 верст, то мы в необходимости нашлись обратиться к вашему высокопревосходительству со всепокорнейшею просьбою доложить государю императору для получения милостивого разрешения ехать на пашню, чтоб выгнать скота».[1]

Мы хотели нелепостью этой бумаги доказать, как глупо его распоряжение, и никак не думали, чтоб он дал ход нашей просьбе, но мы ошиблись, предполагая в нем более благоразумия и менее подлости. Бумага, как мы после узнали от преданного нам письмоводителя, отправлена к Бенкендорфу как доказательство его верноподданнической службы в точном исполнении инструкции. Ответа мы не получили, и, вероятно, была головомойка дураку-плуту, потому что он уже более нас не удерживал в заколдованном кругу.

VIII

РИСУНКИ НА ПИСЬМАХ И ВИДЫ ПЕТРОВСКА И СЕЛЕНГИНСКА

Когда наша тюрьма в Петровском заводе была готова, летом 1829 года [1] нас повели из Читы на новоселье. Все число содержащихся в Читинском остроге было разделено на две партии. Первая вверена плац-майору Лепарскому, племяннику коменданта, а вторую сопровождал сам Лепарский.

Нас вели степями, на которых были разбиваемы заблаговременно юрты прислугою из бурят. Сначала переходы мы делали небольшие, верст 15—20, а потом более и более, но во всяком случае руководствовались приказанием коменданта ставить юрты при чистых речках и красивых местоположениях. И точно... были местности восхитительные. Эти-то местности и переносил на бумагу гуашью один из наших товарищей, В. П. Киреев.

По прибытии нашем в Петровский каземат, когда прорублены были в наших стойлах конюшенные окна и когда я, переходя от ремесла к ремеслу, занялся золотых дел мастерством, Киреев просил меня сделать из звена его кандалов кольцо и крестик для отсылки к своим родным. Надо Вам сказать, что мысль делать кольца из желез, в которых мы были закованы в Чите, мне первому пришла в голову. Вы в праве спросить: откуда мы взяли звенья от желез, когда их сняли с нас в Чите, вследствие милостивого манифеста. (Обратите внимание на милостивый манифест! который только и ограничивался этою милостью. Как милость, нас избавляли от оков — когда надеть их на нас запрещал закон, им же, при восшествии на престол, подтвержденный).

Кто хотел, каждый отпилил от цепей заблаговременно несколько колец, или звеньев, и хранил при себе. Мы с братом первые отослали сестрам и братьям шесть колец черных, подложенных китайским золотом. Посланные кольца пропали

бесследно, и мы должны были послать снова столько же. Между тем, наши дамы пожелали иметь такие же. Кяхтинские и иркутские дамы, знакомые нашим дамам, пожелали иметь такие же; их мужья и братцы пожелали иметь такие же — одни из тщеславия, другие из доморощенного либерализма. Одним словом, этот священный залог, эмблема нашего страдания за истину, сделался пошлым украшением каждой кяхтинской львицы, каждого дэнди в Иркутске.

Мы, будучи не в силах удовлетворить вопиющим просьбам, отказались удовлетворять их, хотя этим уж занимались человек около шести из товарищей. Тогда за этот доходный промысел принялись петровские слесаря, как поступают в Риме с поддельными камеями, и продавали модникам и модницам железные кольца почти на вес золота.

Возвратимся к Кирееву.

Я для него сделал очень миленькое дамское колечко, подложенное китайским золотом, и крестик, оправленный в то же золото. Он спросил, чем ему отплатить мне.

— Нарисуй мне двенадцать маленьких копий с твоей коллекции, — так, чтобы они могли служить фронтисписами для писем.

Ежели Вы припомните, тогда существовала мода украшать письма литографированными видами, и я не боялся возбудить подозрение правительства, наклеивая их на свои письма к родным, интересовавшимся описанием нашего перехода из Читы в Петровск. К ним я присоединял описательный текст. Вероятно, Вы найдете некоторые из них в числе прочих, присланных мною к Вам.

Что же касается до видов Селенгинска, то я должен откровенно сознаться: их не было.

В продолжение всего времени нашего пребывания в Селенгинске брат несколько раз принимался за эти виды, откладывал окончание картины по недосугам, зная, ‹что› всегда успеет кончить, — время длилось. Он, как страстный охотник,

ходил по горам, лазал по скалам и, найдя point de vue,* откуда вид города или нашей фермы был более живописен, уничтожал первую работу, начинал, снова откладывал, работа затягивалась — жар охлаждался, и так повторялось до пяти разов.

Был с нами знаком один поляк, — позабыл его имя, — даровитый пейзажист, которого граф Амурский брал с собою на Амур, в Охотск, в Камчатку, в Якутск. И он оставил великолепный альбом видов этих местностей. Он пожелал пополнить коллекцию роскошным пейзажем, представлявшимся с каменистой горы, примыкавшей почти вплоть к нашему дому. Вместе с братом выбрал удобный point de vue, уселся под навесом скалы и до поздних сумерек не сошел с места, пока не набросал великолепного пейзажа, в котором на первом плане справа — отвесная гранитная скала, из-за которой виден наш дом, Селенга, острова и старый город с древнею церковью. Он предлагал подарить брату копию, но брат отклонил его предложение, говоря, что найдет еще лучшую точку для пейзажа. И точно, нашел и начал, и почти кончил, но работа опять затянулась. Куда девался или куда он девал этот пейзаж, я не могу сказать, но его не нашел я в его портфеле с другими видами Читы и Петровского завода. Из восьми видов Читы у него осталось три, из шести видов Петровского осталось только три — все он раздарил. Мы жили на дороге между Иркутском и Кяхтою. La crème de la societé ** обоих городов считали каким-то священным долгом знакомиться с нами, да и все значительные лица обеих столиц, приезжавшие в Забайкалье, тоже; так что буквально нам редко случалось проспать целую ночь в постели, чтоб ночью не разбужал нас почтовый колокольчик для приема и знаемых и незнаемых гостей. На память почти каждый просил чего-нибудь, и вот мы с братом без оглядки раздавали все, что случалось под рукою: китайские редкостные вещицы и монгольских

* Угол зрения.

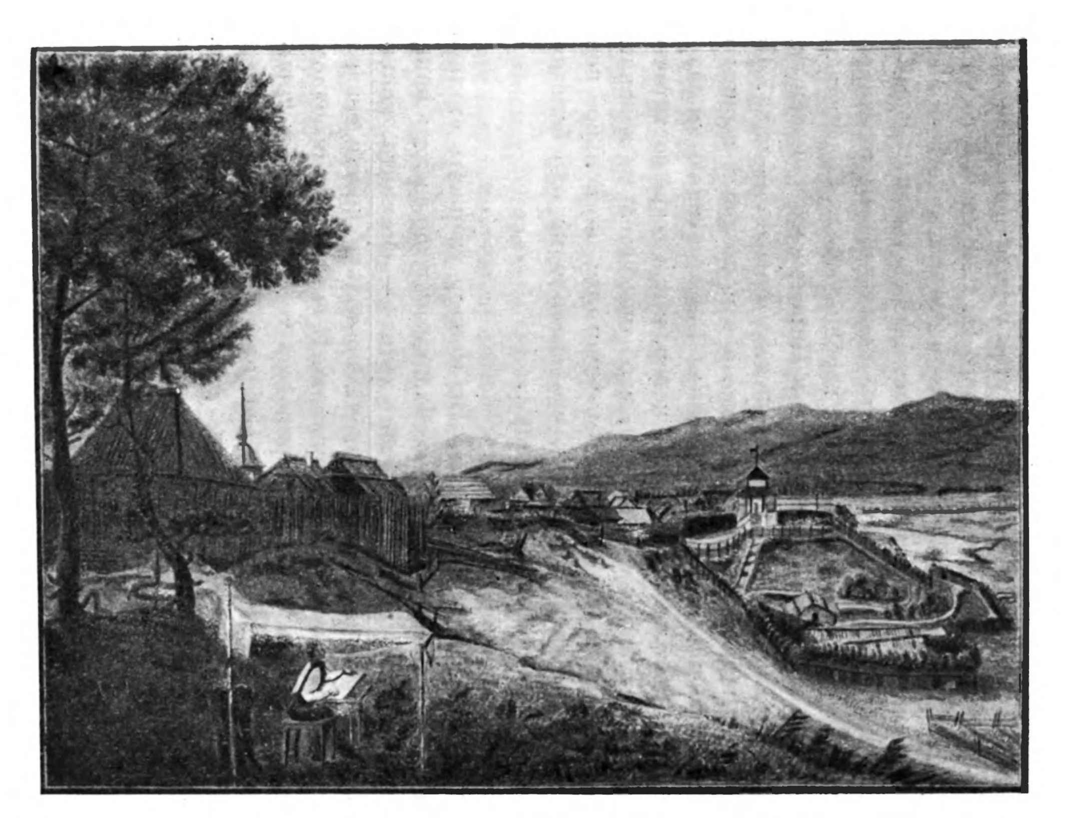
** Сливки общества.

бурханов, и бинокли доморощенных бурятских оптиков, и туземные редкие минералы, и, наконец, рисунки и виды работы брата.

Если б все, что мы таким образом разбросали, собрать воедино, составилась бы богатая коллекция замечательных предметов, но мы не тужили, надеясь пополнить убыток снова, а по отъезде из Сибири я не увез почти ничего, а что и увез, то здесь подарил Н. Г. Керцели, страстному собирателю подобных редкостей. Я Вам это пишу, чтоб пояснить исчезновение из коллекции братних видов. Теперь я посылаю Вам: три вида Читы, три вида Петровского завода, план и фасад Петровской тюрьмы и три портрета поразительного сходства, работы брата Николая. Первый — коменданта Лепарского, второй — плац-майора Лепарского, его племянника, третий — Ребиндера, преемника коменданта Лепарского, и присоединяю еще четвертый, тоже очень похожий — плац-майора нового коменданта Ребиндера, подполковника Казимирского.

Последний замечателен тем, что был невольною причиною смерти брата Николая. Он был честный, прямой и благородный человек, и все его любили и уважали. С братом он сблизился особенно, и брат уважал его. Впоследствии, когда он был назначен, уже в генеральском чине, окружным начальником жандармов в Восточной Сибири, когда объезжал Забайкалье, всегда останавливался у нас, а брат, посещая Иркутск, — у него.

В 1854 году, осенью, он писал к брату, что непременно посетит нас. Трижды он приезжал к Байкалу и трижды возвращался назад по причине бурь, осенью постоянно свирепствующих на Байкале. Он отложил поездку и просил брата приехать в Иркутск, так как ему хочется душевно повидаться с ним. Брат поехал, пробыл в Иркутске месяца три и возвратился уже по м о р е с т а в у, т. е. когда Байкал покрылся льдом. Во время пребывания в Иркутске он захватил простуду, но крепкий его организм не дал ему на это обратить должного внимания.



Чита. Вид сада при комендантской квартире. Акварель Н. А. Бестужева. 1828—1830 гг

Возвращаясь домой, его обычная доброта еще более усилила болезнь. Дело было так. В бытность его в Иркутске он случайно столкнулся с Н. В. Киренским, которого мы знали только по письмам из Якутска. В этом городе брат Александр первое время жил у его отца и самого Н. В. Киренского учил по-французски. Брат Николай нашел и его и семейство в жалком положении, близком к нищете. Он тотчас бросился к Н. Н. Муравьеву и просил дать какое-либо место Киренскому. Муравьев назначил его городничим в Селенгинск. Собравшись в дорогу, брат зашел к Киренскому и нашел его в большом горе: семейство большое, а повозка — одна. Не долго думая, брат предложил свою, а сам уселся с ямщиком на козлах. К пущей беде на половине Байкала малютки захотели есть. На голый лед бросили ковер, и при ветре достаточно было провести полчаса на льду, чтоб окончательно доканать себя. По возвращении он долго перемогался, но сильное нервическое воспаление, наконец, его свалило на одр болезни, с которого он перешел в могилу...

Но я невольно уклонился.

Посланные виды и портреты Вы можете удержать столько времени, сколько Вы найдете необходимым, чтоб сделать какое Вы хотите употребление; если хотите — снимайте копии, фотографические карточки и проч., но только прошу возвратить мне их по моему востребованию. И еще прошу об одном: подклеить и несколько реставрировать тот из видов, который так пострадал при переезде из Сибири. Он — лучший из тех, потому что с того пункта, где сидит брат, направо, à vol d'oiseau,* виден весь наш каземат, а налево за частоколом видна мельница, куда мы, как Вы можете усмотреть, идем молоть муку. Подле брата Вы видите часть перил, около беседки, где часто сиживал наш добрый старик и где он приказал быть погребенным.

---

* С птичьего полета.

IX

‹ПРИЕЗД СЕСТЕР›

(Чем наполнить пробел от 1847 до 1855 г.?)

Когда в 1845 году матушка испрашивала у государя позволение ехать для жительства ее в Сибирь, разрешение на эту смиренную просьбу, т. е. на просьбу заключиться добровольно в тюрьму, сопровождалось такими препятствиями, такою нескончаемою процедурою, такими устрашениями, как будто дело шло о получении величайшей милости. Наконец, позволение воспоследовало. Матушка и сестры начали готовиться к дальнему путешествию — к другой, чуждой им жизни. Деревня была продана, было продано все, что они не могли взять с собою, накуплены вещи, необходимые для иной жизни. Все это отправлено в Селенгинск. Вскоре они сами поехали в Москву. Оставаясь там временно несколько дней для окончательного снаряжения себя в дальнее путешествие, они внезапно были поражены бумагою от Бенкендорфа, в которой он сообщает волю государя, чтоб они не ехали в Сибирь «собственно для их же пользы». Каково было положение матушки и сестер! Остановленные на пути в незнакомом для них городе, не зная никого, не имея даже приличного костюма, чтоб показаться в свет, они были в отчаянии, — и если б не выражение, помещенное в бумаге, для вашей же собственной пользы, которое они истолковывали в смысле милости царя, имеющего намерение возвратить нас из Сибири и избавить их от бесполезной поездки, они бы не выдержали и пали под тягостью неожиданного удара, что и последовало с бедною матушкою; она, наконец, разочаровалась в своих надеждах, слабый организм не вынес потрясения, и она вскоре скончалась. Уже после ее смерти сестра Елена, поехав в Петербург и возобновив просьбу, с трудом получила новое разрешение.

Когда уже мы получили положительное известие о их поездке в Селенгинск, наступило <время> нашей усиленной с братом деятельности. Мы хотели, по возможности, устроить их новое жилище изящно и обставить их новую жизнь удобно и спокойно, чтоб, сколь возможно, вознаградить их за жертву и лишения.

Хотя купленный нами дом был нов, но небрежная постройка требовала капитальных исправлений, и мы отделали его заново. Снаружи и внутри мы его выштукатурили, переменили окна, полы, крышу, выкрасили стены и полы, пристроили рядом кухню, баню, устроили погреба, амбары, конюшни и проч. Вы не можете вообразить, с какими затруднениями все это было сопровождаемо. Вы, житель столицы, не можете иметь понятия о жизни обреченных к существованию в таком ничтожном городишке, как, например, Селенгинск. Каждую малость мы должны были выписывать или из Кяхты, или из Иркутска и даже из Нижегородской ярмарки, и одна забытая вещь останавливала надолго работу и часто лишала нас необходимого предмета на целый год. К тому же средства наши были очень скудны, надо было пополнять этот недостаток, и брат надолго отлучался в Кяхту и в Иркутск для рисования портретов.

По приезде родных надо было озаботиться устройством покойных и безопасных экипажей, переменою наших буйных степных коней на более смирных и хорошо выезженных для сестер, не привыкших к езде по нашим крутым каменистым горам; надо было устроить помещение для 600 мериносовых баранов, которых мы, в компании с другими гражданами Селенгинска, довольно сходно купили; делопроизводство нашей компании было возложено на брата и поглощало довольно времени. К тому же он принял на себя надзор за хлебопашеством и сенокосом, существовавшим у нас в довольно обширных размерах. Все остальное время он посвящал на энергическое преследование своей задушевной идеи: *упрощение хронометров* — и целые дни просиживал с пилою

в руках. А я еще с большею энергиею занялся сооружением и усовершенствованием сидеек; построил большую мастерскую и в год сбывал иногда по 30 экипажей, продажа коих хотя не доставляла нам больших барышей, но все-таки служила подспорьем к скудным средствам существования.

X

ПОСМЕРТНЫЕ РУКОПИСИ БРАТА НИКОЛАЯ

На днях, открыв сундук, где были сложены рукописи брата Николая, уцелевшие от инквизиционного погрома и каземата и поселения, я нашел подробный список его литературных произведений, и напечатанных, и ненапечатанных. Что было напечатано, Вам известно; чего не было, я исчисляю теперь, чтоб показать Вам силу умственной деятельности брата.

Еще в Чите, когда мы набиты были, как сельди в боченке, в тесных казематах, у брата Николая зародилась благодетельная мысль: упростить хронометр и тем избавить тысячи судов, погибающих от невозможности, по великой ценности, приобрести их. Он, с помощью только перочинного ножа и небольшого подпилка, создал первообраз своей идеи — часы au jour с качающимся, как на весах, коромыслом. Как это просто и коротко написать: создал. Но я потому употребил этот глагол, что брат именно создал часы из ничего. Он, с помощью ножика и подпилка, должен был создать токарный станок; с его помощью он должен был устроить делительную машину для нарезки зубьев, часовых колес для поверки шестерней, и проч. и проч. И все это он устроил в хаосе нашей тюремной жизни, когда люди, ничем не занятые, но кипящие деятельностью молодости, осаждали его, прося объяснения его действий. Я предоставляю вашему воображению представить его положение и оценить степень его христианского терпения. И в это-то время он начал свою рукопись: «Свобода торговли» и «Дешевизна хронометра».

Когда мы из Читинского острога были переведены в Петровские казематы, меня с братом ввели в стойло темное, мрачное, получающее свет в небольшое окно над дверьми, в свою очередь получающее свет от коридора, освещенного тоже сомнительным светом. Темно, сыро, холодно... Тут не только продолжать свою работу часов, требующую отчетливой верности даже в малейшем винтике, но ни писать, ни читать было невозможно. Два-три года такого положения — и мы бы все ослепли. К нашему счастью, с нами были наши ангелы-хранители — наши дамы. Дружным потоком полились их жалобы в Петербург, и взрыв общего негодования заставил правительство на уступку: нам приказано было пропустить свету божьего на копейку. Наш добрый, но осторожный комендант Лепарский на свой страх пропустил свету на грош, но со всем тем не окно, но отверстие, подобное тому, какие прорубают в конюшнях для лошадей, было не более $1^1/_2$ арш. в ширину и 3 четвертей вышины. Брат первый соорудил себе подставки к этому отверстию, поместился там со своими машинками и инструментами и начал ревностно продолжать преследование своей задушевной идеи. Дневной свет не много баловал нас, наступали в каземате сумерки, при тусклом свете сальной свечи он читал новые журналы, пробегал газеты, а ночью дописывал свою обширную статью о свободе торговли, об электричестве, о внутренней теплоте земного шара и набрасывал заметки для большого сочинения — о ч а с а х. К последнему он ‹приступил› уже в Селенгинске, когда у него было и больше свободного времени и способов и средств для устройства многих экземпляров часового хода и для поверки своих идей на практике.*

* Вам покажется, может быть, странным противоречием, что на поселении, когда мы жили в обществе и занимались хозяйством, у него оставалось более свободного времени. Но это так. Вы не должны забывать краткость нашего денного света, по малой величине окна — неудобно им пользоваться, а главное — беспрерывные остановки его работы для подавания советов, указаний приемов его соузникам, которые почти

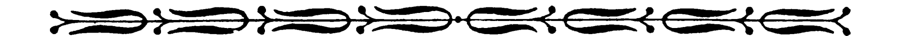
У брата на дворе была установлена обсерватория с телескопом его собственной работы для поверки часов по звездам. Эта небольшая обсерватория нагревалась даже до 80° Реомюра и охлаждалась при сибирских морозах до 50°: в ней-то он подвергал свои хронометры таким необычайным переходам от жары к холоду. Из трех хронометров, сделанных им незадолго перед смертью, два шли до суточной погрешности 1/10 секунды, но он ими не был доволен, потому что они то бежали на эту ничтожную малость времени, то отставали. Но третий хронометр, хотя грешил на 1/8 секунды, но при всех переменах температуры п о с т о я н н о уходил вперед, что составляет достоинство и совершенство хронометров. Эти хронометрические часы, оставшиеся после его смерти в обсерватории, я подарил Петровскому Заводу, и они до последнего времени находились в горной конторе. Из числа восьми часов, оставшихся по его смерти разобранными, я не мог собрать ни одних, несмотря на помощь часовых мастеров, приглашенных мною для сбору их. Надобно было тут присутствовать самому творцу, а он был уже в могиле.

все сделались рукодельцами разнообразных ремесл. Я сам, чтобы не ослепнуть от беспрестанного чтения при сомнительном свете в окно и трещании вонючей сальной свечи, чтоб размять свои немеющие от бездействия члены, — я сам начал брать у него уроки часового искусства и приспособил к своим часам бой и показание чисел. Потом я выучился от него золотых дел мастерству, слесарному искусству, потом я занялся переплетным мастерством, столь необходимым у нас в каземате по множеству ценных, но только брошюрованных, увражей, потом картонерному, потом башмачному, столярному и портняжному. Выпросив у коменданта позволение, я посещал заводские кузницы, литейные, слесарные; выучился отливать из серебра и меди, делать чернедь, лудить посуду, и проч. и проч. И как это все мне пригодилось на поселении, когда я должен был, правда, смышленых, но все-таки диких сынов природы, бурят, учить всем этим ремеслам. А у меня их было более тридцати человек по разным мастерствам, и их-то руками я делал те кабриолеты, которые в Сибири называются «бестужевки» и которые теперь в Забайкальи в таком употреблении, что вы не найдете ни одного мало-мальски достаточного бурята, у кого не было бы «бестужевки».

Чтоб оценить степень его настойчивости и силы воли в преследовании его любимой идеи, я приведу Вам только один пример из тысячи. Ему необходимо были нужны толстые листы латуни, сжатые между цилиндрическими валами до степени литой стали. Он два года постоянно выписывал их из Петербурга и постоянно получал не то, что ему было нужно. Наконец, он решился обратиться со своею просьбою к Струве, начальнику Пулковской обсерватории. Он прождал целый год и умер в тщетных ожиданиях, наклепывая молотком простые латунные листы по целым неделям. Когда я, по его смерти, приехал в Иркутск, чтоб окончательно порешить дело амурского сплава ста тысяч казенного имущества для Николаевска, мне доставили большой лист латуни от астронома Струве, в том виде, какого требовал брат Николай. Какая поздняя услуга! Я подарил его первому попавшемуся мне кастрюльному мастеру.

Не сердитесь, не сетуйте на меня, добрейший Михаил Иванович, за излишнюю болтовню о брате, которого я обожал за его нравственные совершенства. Я знаю, я изведал Вашу приязнь к нашему семейству, — и, когда прослушал первую часть биографии брата Николая, думаю, что сообщаемые мною теперь подробности для второй части не будут лишними.[1]





ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ НАШЕГО ИЗ ЧИТЫ В ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД[1]

1830

Чита. Мы разделены были на две партии: первая должна была итти под начальством плац-майора, а вторая под личным надзором самого коменданта. Все мы разделились по юртам, т. е. по пяткам — число людей, могущее вместиться в юрте; я был в пятке с братом, Торсоном, Розеном и Громницким. На каждых двух человек назначалась подвода для поклажи скарбу; под предлогом хворости и т. п. разрешено иметь свои повозки. Мы просились во вторую партию.

Августа 7. Поутру в ненастную погоду выступила первая партия. Все остальные наши товарищи из прочих 2-х казематов были переведены к нам, в большой каземат.

9-го. *Поутру в 9-м часу выступили и мы.* Взвод солдат впереди и сзади, по бокам цепь солдат и конных казаков окружали нас. Народ толпился у ворот каземата. Все плакали, прощаясь с нами и наделяя желаниями на дорогу. Я решился итти пешком, несмотря на дождь и слякоть, которые, как казалось, в самом начале хотели испытать мою решительность. *Комендант нас обогнал. чтоб переправить через Читу, до коей 4 версты.* Я любовался проворством ловких бурят, переправлявших нас. Дождь не переставал. Холодно. Переправясь, мы пошли скоро.

Чита скрылась, мы вышли на Ингоду, оставив за собой вправе Кинонское озеро. Прекрасные виды!

Остановились в юртах при деревне Черной. Для нас назначалось 7 юрт, 8-я для офицера. Для коменданта поодаль — еще для караульных солдат. Этот трудный переход в такую погоду нас измучил — все думали только о спокойствии, я тоже, даже забыл полюбоваться природою, на которую в первый раз мог взглянуть не через железные решетки тюрьмы. Но впрочем и не на что было любоваться. Природа была угрюма. Я спал, как мертвый.

10-е. *Переход до станции Домно-Ключевской (20 верст, 13 дворов). Близ самого станка встретили нас буряты, посланные тайшею, и перевозили на лошадях через топкое место. Везде мостки, настилки. Какая заботливость, чтоб мы не промочили ножки! Это было для нас забавно.*

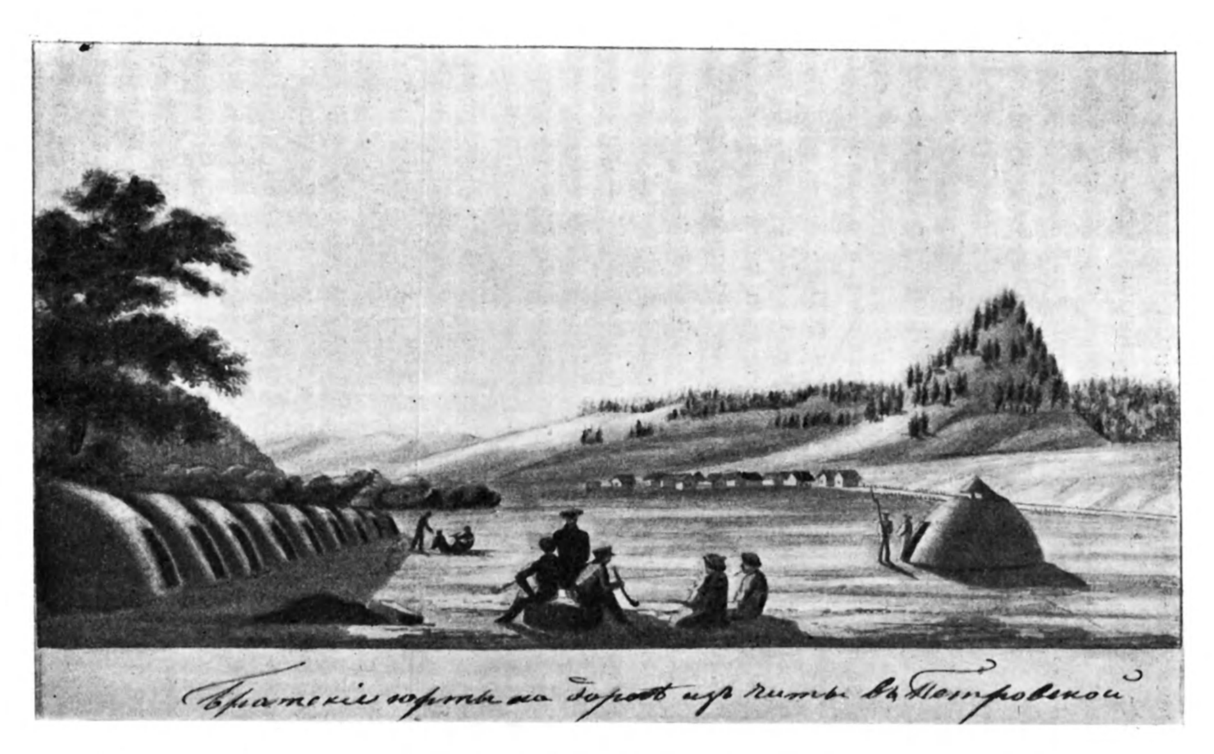
11 числа. Дневка, дождь, — скука и досада, что нельзя полюбоваться видами. Юрты наши промокают. Но мы — все люди мастеровые — мы кое-как нашли средство избавиться беспокойств на ночь. В других юртах были смешные сцены. Редкий проспал без *омовения.*

11-е. Дневка. Дождь — в юртах сыро и холодно. Добрый Смолянинов приходил прощаться с нами. Три предмета только заставляют меня жалеть о Чите: живописные окрестности, прекрасный климат и добрый Смолянинов!

12-е. *Переход до станции Ширихонской (? верст, 23 двора).* Чертовские дороги! По колено в грязи, по камням в проливной дождь мы переходили Яблоновой хребет. На самой вершине у креста мы сделали привал. Спустившись с хребта — дождь перестал. Получили газеты.

13-е. *Переход до деревни и станции Шакшинской (15$^1/_2$ вер., 6 юрт).* Погода переставала хмуриться. Но дороги — одна грязь. Любовался Шакшинским озером. Юрты нашли на сыром месте. Но зато вечер нам улыбнулся. Какая ночь!

14-е. Дневка. В таком походе трудно читать что-либо сурьезное. Усталость, сон и беспрестанное развлечение не слиш-



Юрты по дороге из Читы в Петровский Завод. Акварель Н. А. Бестужева (?). 1830 г.

ком хорошие союзники головоломным занятиям, и потому я взял Скриба. И в самом деле, я не мог выбрать лучшей книги в подобных обстоятельствах. Душа и сердце мое были настроены к поэзии. Прекрасные картины природы, беспрестанно сменяющие одни других, новые лица, новая природа, новые звуки языка, — тень свободы хотя для одних взоров. Ночи совершенно театральные, на ночлегах наших, — все, все увеличивало удовольствие чтения его милого цветистого, разнообразного картинами театра.

Шум и развлечение, меня окружающие, придавали большие прелести чтению. Я думал, что я в театре.

15-е. *Переход до станции Кондинской (32 версты, 15 юрт). Сильный, холодный ветер, но мы сделали переход весьма скоро с одним привалом. В левой руке у нас осталось озеро Иргень, но мы его не видели. Легли спать при дожде.*

16-е. Дневка. Что за добрый народ эти буряты. Я большую часть времени провожу с ними в расспросах и разговорах. Некоторые говорят хорошо по-русски, с другими я кое-как объясняюсь помощью составленного мною словаря. Это их удивляет. Они мне рассказывают свои сказки, две или три я списал при помощи переводчика, но потерял — жалко. Там было много оригинального китайского остроумия — монгольских сказок почти совсем нет. Песни их ужасно глупы. Как мы забавлялись их удивлению, с которым они смотрели на нас! Им так много натолковали про нас их заседатели, исправники и тайши (которые, в свою очередь, тоже бог знает какое имели о нас понятие), такие строгие отдавали приказания, что бедные эти мартышки в человеческом образе воображали нас с хвостами и крыльями подобно драконам (это их собственные слова) и каждую минуту думали, что мы улетим в хахирхай. Как забавно было видеть их изумление, не видя в нас ни змей, ни чертей, а веселых и добрых малых, которые их кормили и поили до отвалу, смеялись с ними, шутили и даже говорили по-ихнему. Бедные![1] Приди мы неделею позже, и может быть половина из них перемерла бы с голоду.

Боясь опоздать, местное начальство распорядилось юртами почти за целый месяц, и эти несчастные за 200 и 400 верст были высланы без куска хлеба, и из страху, чтоб они не разбежались, их не пускали шагу от юрт. O tempores!.. [так!].[1]

17-е. *До станции Вершиноудинской (32 версты, 15 юрт).* Выступили в 7 часов: дорога трудная, грязная, но, несмотря на все это, шли скоро и в 3 часа были уже на месте. С половины дороги пошел дождь — я измок и прозяб. В юртах в первый раз разложили огни. Мы тотчас устроили из дерна особливую печку для того, чтобы дым, не расходясь по юрте, выносило в хахирхай (круглая дыра сверху юрты). У нас все было славно устроено. Дорожный погребец, где было помещено все нужное, складной стол, такие же стулья, койки и прочие вещи в минуту были собраны, и мы располагались в юрте, как нельзя покойнее.

Наш хозяин Розен кормил нас не роскошно, но славно. С ним мы только на дневках проводили около суток, в прочие дни он, раздавши обед, тот же час отправлялся вперед для того, чтоб на другой день, к прибытию нашему в юрты, приготовить обед.

18-е. *Газеты. Известие о смерти англинского короля и о севастопольском бунте.*[2]

Очаровательный вечер! Ясное небо! Звезды горят ярко — кругом мрак. Окрест нашего стана пылают костры, около которых собираются разнообразные группы. В ярком пламени рисуются различные фигуры в различных положениях... Близкие деревья освещены подобно театральным декорациям; смешанный говор, ряд освещенных юрт, где вы видите одушевленные картины, и каждая из них носит на себе особой отпечаток; бальзамический воздух — все, все очаровательно! Очаровательно даже и не для узника, которому после тюрьмы и затворов, без сомнения, прелестен божий мир.

Восхождение Марса. Кюхельбекер принимает его за Венеру. Смех. Шутки. Он потерялся и в замешательстве чуть не сожег юрты.

19-е. *Переход до зимовья Домнинского (21 верста, 8 юрт). День прекрасный; дорога хороша; в час пополудни мы уже были на месте. Что за ночь!* Право бы не ложился спать. Но что делать — я не ангел, хочется и покушать, и поспать. Пойду перед сном Dans la variété,* посмотрю на шутливого Скриба. Спокойной ночи вам, звезды, луна и все красоты дикой природы.

20-е. *Переход до станции Яравинской (10 верст, 15 юрт). Прекрасное утро, шли скоро; перешед березовую гриву, спустились к станции.*[1] *Вправе видели озеро Яравинское.* Отселе виды открываются на несколько верст в степи, где разнообразно разбросаны бурятские пастбища и сенокосы. По-вечеру на большой дороге.

Августа 21. *Переход в село Укир (16 верст, 20 дворов). День прохладный. Шли по берегу большого Яравинского озера. Прошед 10 верст, сделали привал. Собирали на берегу сердолики. Не доходя до села прошли небольшой березовый лес, и, вышедши из него, открылось круглое небольшое Укирское озеро, при котором и село с каменною, но бедною церковью.*

Вскоре Дружинин отправился на поселение; были в черной бане.

22-е. *Дневка.* Погода прекрасная. *От Розена узнали, что Марья Казимировна на следующей станции.*

23-е. *Переход до деревни Погромской (19 верст, 12 дворов). День ясный. Итти даже было жарко.* Открытые виды.

После обеда пошел дождь с градом, но не надолго. *Ночью возобновился и не дал спать.* Меня всего промочило.

В трех верстах от деревни минеральные ключи; виден дом, от казны там устроенный; *узнали о приезде Анны Васильевны Розен.*

24-е. *Переход до деревни Тайлуцкой или Поперечной (29 верст, 10 дворов). Прекрасный день! Вышли на Хоринскую степь.* Какие виды! *Вправе кумирни.* Прошли мимо полураз-

---

* В театр Варьете.

валившегося памятника несчастной Агнесы Фед. Трескиной.

Здесь ее расшибли до смерти дикие бурятские лошади. *Место так ровно и дорога так хороша,* что непонятно, как могло это случиться.

25-е. Дневка.

26-е. *Переход до деревни Грядецкой (22 версты, 10 дворов). Прекрасные, открытые виды; по сторонам бурятские стойбища.* Стада, сенокосы; *заметны избы на русскую стать.*

27-е. *Переход до деревни Онинской бор (26 верст, 14 дворов).* Погода холодная. Ветер. Пошли в 8 часов и в 3 часа были уже на месте. *Прекрасные виды. До привала с нами ехала мать Тайши с своим сыном.*

Часу в пятом услышали колокольчик: я, как бы предчувствуя, разбудил Розена, и едва мы вышли из юрты, кибитка остановилась, и жена Розена уже лежала у него на руках. Трогательная картина.

Неожиданно явился Смолянинов. Он едет до Курбы, где открыт богатый прииск медной руды.

28-е. Дневка. Смотрели шамана. Он стар и не в большой моде, а потому фарсы его были довольно глупы. Тайша явно над ним смеялся, чтоб показать пред нами образ своих мыслей. Нынче ламы шаманство преследуют, и потому трудно увидеть искусного фигляра.

29-е. *Переход на станцию Онинскую (12 верст, 15 юрт).* День чудо. *Пройдя бор, увидели обширную долину и вправе гранитную гору. Тут станция.*

30-е. *Переход до станции Кульской ($18^1/_2$ верст, 10 юрт). При выступлении из Онинской станции переправлялись через реку Ону под наблюдением самого коменданта, который, между прочим, рассказывал брату, что в девяностых годах он точно так же вел и переправлял конфедератов. Это нас позабавило дорогой.* Пришли рано в свое кочевьё, читали газеты. *Бурмон маршалом Франции.* Булгарин при описании Петергофского праздника — тот же Булгарин.

Против станции за р. Удой видно под горою село Кули, где погребена Трескина.

31-е. Дневка. Были в бане у живущего здесь купца Лосева, *которого сын нам поставлял дорогою мясо.* Комендант уехал вперед на Курбинской перевоз.

1 сентября. *Переход до станции Тарбагатайской (29 верст, 10 юрт).* Славные виды.

2-е. *Переход до станции Тыншри-Балдатской (23 версты, 15 юрт).* Погода постоянно хорошая. *За 7 верст до станции прошли известную гору, где видны признаки алебастра и мрамора. Шли большею частью близ самой Уды. Станция на берегу.*

3-е. Дневка. Тихий и прелестный вечер.

4-е. *Переход до станции Курбинской (24 версты, 15 юрт). Разнообразие видов. Два раза переходили через сосновые боры. Влеве Уда картинно разливается. Несколько озер. Тайша охотился во время нашего привала. Встретили шотландского библейского миссионера и Нерчинского начальника. В 3 часа пришли на место.* Ночью гроза. Гром, дождь.

5-е. *Переход до Онинской станции (30 верст, 15 юрт).* Переправа через Курбу. Самый тяжелый, утомительный переход. *По столбам оказалось 34 версты, и* хотя шли скоро и прямою дорогою, но не могли притти раньше 6-го часа, сделав против обыкновения два привала.

6-е. *Дневка.* Сильный ветер. Многие юрты совсем снесло ночью.

7-е. *Переход до креста, или до Шевелевой заимки (25 верст, 8 юрт), в 5 верстах от города Удинска. Сильный, противный ветр. Временно накрапывал дождик. Шли скоро и, вместо 25 предполагаемых верст, по столбам прошли 29 с одним привалом и в 6 часов.* Из города приезжали *городские дамы* зевать на нас.

Прочли нам словесное приказание коменданта: как итти завтра через город. Солдатам приказано с нами не разговаривать и показывать с в и р е п ы й в и д. Мы хохотали напе-

ред, забавляясь о невозможности исполнения этих умных распоряжений.

8-е. *Переход через Верхнеудинск до деревни Саентуевской (17 верст, 16 дворов).*[1] Рано конвой наш поднялся в парад; перед входом в город нас встретила градская полиция. Народ кучами толпился по возвышениям; на лицах одно глупое любопытство. В доме налево с мосту через Уду стоял Удинский beau monde.* *Только что вышли из города, узнали, что Груша Трубецких приказала долго жить. Худое или доброе предзнаменование?*

9-е. Холодная погода. Ночью ветр.

10-е. *Переход до Семейского зимовья. По дороге в Тарбагатай (17 верст, 17 дворов) проходили вновь выстроенную мельницу купца Пинского* [?]. Комендант позволил брату осмотреть ее, чтоб дать хозяину этой мельницы совет, как пособить горю и удержать плотиною воду. Русачек задним умом крепок. Не спросяся броду, сунулся в воду и, издержав тысячи на постройку, тогда только хватился, что лучше ему бы поучиться прежде, а потом приниматься за дело: мельница — хоть ломай. Не в дальнем расстоянии от мельницы прошли мимо пчельника купца Шевелева, который их сюда перенес с речки Березовки. *Это еще первый опыт в Иркутской губернии.*

Часу в 3-м пришли в деревню Пестереву, где семейские радушно нас встретили. В первый раз мы остановились на квартирах и у старожилов. Здесь мы встретили Заиграева, с которым виделись в проезд наш в Читу.

11-е. *Переход до села Тарбагатайского (15 верст, 120 дворов).* По случаю приезда фельдъегеря позволение ходить с квартиры на квартиры отменено. Он привез позволение М‹арии› Николаевне ехать вместе с мужем. *Ходили в баню.*

12-е. Дневка. Виделся с Н. Н. Чебуниным. Скучно — почти весь день читал Делольма.

---

* Высший свет (светское общество).

13-е. *Переход до селения Десятникова (10 верст, 70 дворов). Рано выступили и скоро перешли.* Из боковых деревень весь л ю д семейский, разодетый в пух, выезжал на дорогу поглазеть на нас. Квартира досталась прекрасная. Хозяин-старик — з а в з я т ы й старовер. Я долго толковал с ним о их вере, или, попросту, смешном заблуждении, и из всего разговору понял, что главным основанием их раскола и тому, что он еще держится, есть жалкое невежество и упрямство стариков. Молодые уже смеются под рукою на все эти глупости. Между прочим, он мне сделал вопрос: не из духовного ли я звания?

Вот образчик их образа мыслей на счет веры. Как будто бы каждому христианину вовсе не нужно знать, почему он христианин, а не бурят.

Сент. 14. *Переход до селения Барского (15 верст, 50 дворов).* После скорого перехода устали и для отдыха получили тесную, дурную квартиру. Тараканов бездна. Всю ночь не спал. Тараканы сыпались, как дождь, и один заполз в ухо — ужасно неприятно.

15-е. Дневка. Скука. Ночью на 16-е выпал снег, выступили по дороге к М у х о р - Ш и б и р у, мы остановились на степи в местечке Тугнуй (22 версты, 15 юрт). У нас комарником был Д а л а й. Славный, смышленый малый, хорошо говорит по-русски и того лучше понимает вещи. Я ему на память подарил гребенку, он ее привесил на шею вместе со своими амулетами. Какие славные люди есть между бурятами! Добродушие и кротость есть отличительная черта их характера. Я не могу забыть двух маленьких, миленьких бурятченков, поводчиков наших, которые так нас полюбили, что из охоты несколько дней сряду ехали с нами. Одного звали Бубни, другого Патлав.

17-е. Переход до села М у х о р - Ш и б и р (*13 верст, 150 дворов*). Тут нам была самая блистательная встреча. Весь живой люд толпился к нам, и мы, почти смешавшись с толпою, вошли в деревню.

18-е. *Переход в Хара-Шибир (12 верст, 80 дворов)*. Деревня раскидана по неровностям; предки их — польские переселенцы, но в потомках ничего польского не осталось.

19-е. Дневка. Известие о французской революции.

20-е. *Перешли в село Хонхолой (17$^1/_2$ верст, 120 дворов).*

21-е. Переход в Харауз *(20 верст, 50 дворов). Фон-Визин сообщил подробности абдикации Карла X.* Это всех оживило. Разговоры, суждения.[1] *Народ провожал нас из селения*, а в селе Николаевском, 7 верст не доходя до Харауза, народ тоже встретил нас. Вся улица была набита, нас проводили за село. Буряты целыми [не разобр.] выезжали на дорогу.

22-е. *Дневка. К. И. Трубецкая и Лиз. Петр. Нарышкина приехали из Петровского встретить мужей.*

23-е. *Последний переход до Петровского Завода (28 верст. Всего от Читы 634$^1/_2$).* Дорога вела в междугорие и теснины. Все как бы предвещало приближение к нашему кладбищу, где уже выкопаны для нас могилы, но все шли весело. Версты за полторы открылся мрачный Петровский завод, отличающийся огромностью и своею крытою крышкою от прочих зданий. Остановились, чтоб дать солдатам надеть ранцы. Мы с пригорка смотрели на нашу будущую обитель — и шутили!!..

При вступлении в завод высыпало множество народу. У дома А‹лександры› Григорьевны все наши дамы стояли у ворот.

С веселым духом вошли мы в стены нашей Бастилии, бросились в объятия товарищей, с коими 48 дней были в разлуке,* и побежали смотреть наши тюрьмы. Я вошел в свой номер. Тёмно, сыро, душно. Совершенный гроб!



---

* Мы шли 46 дней, сделали 31 поход, дневок было 15.



‹КАЗНЬ РЫЛЕЕВА› [1]

...Сорвались с петли из пяти висельников точно трое: М. Бестужев, С. Муравьев и третий, ты говоришь, Каховский: я утверждаю — Рылеев. Ты основываешь свое убеждение на словах плац-майора Подушкина, плац-адъютантов и офицера Волкова; но из всех из них свидетельство только Волкова, как единственного личного свидетеля, принять должно; все прочие говорили по слухам. Но как мог знать Волков, кто Каховский, кто Рылеев? У кого он мог спросить об этом? Не у палача же, не у Кутузова же!..

Сверх того тюремная жизнь морально так изменила всех нас, что брат Николай едва признал Рылеева, когда в Алексеевском равелине они бросились друг другу на шею. И чтоб яснее доказать тебе, что молодой офицер Волков, присутствуя по обязанности на такой страшной экзекуции, при благородстве его чувств (что он тебе потом доказал в Кексгольме), был ошеломлен, был нравственно уничтожен ужасом совершившейся перед его глазами драмы.

В доказательство сему я приведу его же свидетельство, повторенное тобою, что когда висельники сорвались с петли, они приблизились друг к другу и пожали связанные руки на вечное прощание. Они сделать этого не могли по двум очень уважительным причинам. Во-первых, потому что, упавши, на пороге смерти, они больно ушиблись и были не в состоянии исполнить этого обряда. Один Рылеев, разбив при падении

голову и потеряв много крови, мог подняться и говорить с Кутузовым. Во-вторых, они не могли этого сделать уже потому, что были наряжены перед казнию в какие-то мешки, с круглыми отверстиями на дне, куда просунули головы осужденных и под ногами связали вѐревкой.

В лихорадочном состоянии своей памяти Волков смешал моменты: точно, это было, но только было в начале казни. Когда осужденных ввели на эшафот, все пятеро висельников приблизились друг к другу, поцеловались и, оборачиваясь задом, потому что руки были связаны, пожали друг другу руки, взошли твердо на доску, которая должна была заставить их умирать дважды; и эта доска, эти веревки не изменили надеждам Незабвенного. Они умерли дважды, может быть, умирали в медленных страданиях тысячелетние минуты, но умерли, погибли, а этого-то только ему и хотелось.

Теперь я тебе хочу привести свои доводы, что третий сорвавшийся с петли был Рылеев, а не Каховский. В тот же день тот же самый плац‹майор› Подушкин посетил меня в Невской Куртине. Когда я его спросил:

— Скажите пожалуйста, мы знаем, что повешенных должно быть пять, а мы видели только двух.

— Три сорвались, батюшка, сорвались, — ответил он.

— Кто же сорвался? — спросил я.

— Муравьев-Апостол, Бестужев и еще третий — он бранился с генерал-губернатором Петербурга.

— Кто же это?

— Ну, право, батюшка, не знаю.

Плац-адъютант Трусов положительно сказал, что это был Рылеев. Впоследствии, когда наши дамы прибыли в Читу, Катерина Ивановна Трубецкая и Александра Григорьевна Муравьева подтвердили это. Они говорили, что в тот же день во всех аристократических кружках Петербурга рассказывали, как достоверное, сделавшееся известным через молодого адъютанта Кутузова, что из трех сорвавшихся поднялся

на ноги весь окровавленный Рылеев и, обратившись к Кутузову, сказал:

— Вы, генерал, вероятно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя, что его желание исполняется: вы видите — мы умираем в мучениях.

Когда же неистовый возглас Кутузова: «Вешайте их скорее снова»... возмутил спокойный предсмертный дух Рылеева, этот свободный, необузданный дух передового заговорщика вспыхнул прежнею неукротимостью и вылился в следующем ответе: «Подлый опричник тирана. Дай же палачу твои аксельбанты, чтоб нам не умирать в третий раз».



ПЕТР БЕСТУЖЕВ



ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСКИ

1828 и 1829 годы [1]

Май

Угнетенные греки вопияли о мщении; войскам, после долгого мирного застоя, нужно было движение; браннолюбивый характер государя алкал славы военной; персидский шах снабдил деньгами на военные издержки; оскорбление народного флага на водах Босфора признано за нарушение мира — и война, которой конец, может быть, потрясет всю Европу, возгорелась на Востоке и Западе.[2]

Кавказскому корпусу назначен круг действий в Малой Азии. Приготовления сделаны; разосланы приказы — развернулись знамена, и 14-е число мая застало нас уже на походе к Храму славы.

Исполняя каприз нового полкового командира нашего, полковника Бородина, оригинала, запоздалого в прошедшем веке; корыстолюбивого и скупого без границ; честолюбца, без малейшей идеи о чувствах тонких и возвышенных, — мы вышли и во весь поход должны были кряхтеть под тяжестию солдатской амуниции... На новый поход я был снабжен лучше. У меня была вьючная лошадь и на ней все необходимое. Прошедши Тифлис, 22-го остановились лагерем в 9 верстах за саклею на Саган-Луге. Здесь простился я с Иваном Конов<ницыным>, добрым, образованным, но занятым

своим графством юношею. Он уехал на Минеральные Воды и оттуда в благословенную Россию... 26-го отдельно, с двумя только ротами, отправились мы вперед, прикрывая запасный артиллерийский парк. Я был рад, что избавлен притязаний докучного полковника.

В первый раз встретил я весну в Грузии. Самхетия, по которой шли мы, считается лучшею областию после Кахетии. Пленительные места! Не диво, что поэты с таким восторгом говорят о здешней природе. Минут за 10 до подъема я уходил обыкновенно вперед и, выбрав какое-нибудь развесистое дерево на берегу прозрачного ручья, садился под тень его и там, безмолвный от упоения, восхищался красотами окрестностей... Вдали, по извилинам дороги, то исчезал, то являлся снова длинный обоз наш. Стволы и штыки конвоя, отражая лучи солнца, сверкали молниею. Кисейные облака толпились над отдаленными горами; ближние, одетые в красную бархатную тогу (одежду), растворяли воздух азонатом; в уединенной рощице щебетали птички. Вправе слышен шум отдаленной реки; в лесе крик с удивительною мимикою кергулов [?]. Там опрокинулась арба, и буйволы, виновники злосчастного происшествия, с обычною флегмою стоят равнодушно, вытянув морду, и как будто смеются хлопотам и побоям грузина; здесь раздаются звуки русской военной песни, везде шум и деятельность одушевляют картину, достойную кисти Орловского...

Миновав рек Храну и [проп. в подл.] и Джиан-оглу (каменная река), скверные татарские и грузинские деревни, Гору, по справедливости названную Мокрою, чистенькую, разграбленную в 26 году персиянами, немецкую колонию Екатеринталь в красивой долине, католическое селение Караклщик, — 10-го июня пришли в селение Гумры на реке Арпачай, разграничивающей Россию с Турциею. Здесь соединился весь корпус, состоящий из полков Грузинского и Херсонского гарнадерских; Ериван. карабинерного, Ширванского, Крымского, части Козлов-

ского — пехотных; 39, 40 и 42 Егерских и 8 пионерного батальона, сводного Уланского, Драгунского, 6 Казачьего донского, одного линейного и татарской кавалерии полков, трех легких артиллер. рот, 20 батарейных орудий (20 и 21 бригад), одной разведочной и одной роты линейной артиллерии; роты Кавказской гарнадерской бригады, 8 мортир и 6 орудий Киевской осадной артиллерии.

13-го переправились за Арпачай и медленно подвигались, попирая и истребляя засеянные пажити аулов, оставленных жителями. Здешняя природа заметно роскошнее убогой и бесплодной персидской. Везде зелень, везде журчат ручейки, хлеб всех родов на бесконечные пространства волнуется от веяния зефира. 14, 15, 16 и 17 на пути к Харсу. 18-го, оставя вправе дорогу, на которой, как было известно, турки поделали батарей, обходом пришли на вид крепости Харса — в проливной дождь. 19-го делали усиленный обзор оной. На правом фланге позиции завязалось дело с конною вылазкою, в котором торжествовали уланы и линейские казаки. Пехота, под огнем многочисленной крепостной артиллерии, оставалась спокойною зрительницею. Неприятель потерял до 80 чел. убитых и столько ‹же› раненых; наши потери простирались до 50 человек, выбывших из строя. В ночь на 21-е заложили первые батареи за речкою. На 22 подвинули их ближе, и на 23-е, чтоб отвлечь внимание неприятеля от закладки главной князь-батареи, со всех сторон повели фальшивую атаку, которая к восходу солнца, запальчивостью егерей 42 полка, обратилась в истинную. Огонь орудий с обеих сторон гремел неумолкаемо. Ничто не в состоянии было удержать ожесточенных солдат; ворвавшись на форштат, истребляя и неистовствуя, продолжали они подвигаться вперед и к 7 часам были уже в городе, ниспровергая все на пути. Гарнизон цитадели, изумленный внезапным натиском, осыпаемый ядрами нашей артиллерии, вдвинутой в самый город, спешил просить пощады и к 8 часам сдался на милость победителей! Так кончилась осада совершенно неожиданно для обеих сторон. Счастли-

вая звезда главнокомандующего снова блеснула и не померкнет долго — неприятель потерял до 1200 человек, мы до 190 человек.

На другой день после взятия города я поехал осмотреть оный. На улицах встретил убегающих женщин, вонючие испарения и глубокое безмолвие; незаметно было и следов обитаемости. Страх запер жителей в домах, — уже подходя к неприступной цитадели слышались голоса: турок, католиков, русских. Цитадель стоит на скале и защищена батареею в 4 яруса; фланговую оборону имеет только с башней, как и все азиатские крепости; но больших усилий стоило б нам взять оную. Город расположен на скатах двух гор и довольно обширен, улицы узки и грязны; но система постройки домов издали дает городу наружность красивейшую городов персидских. Это было первое и последнее посещение, и потому мне не удалось осмотреть его подробно. Несколько турок и солдат умерли скоропостижно; на умерших нашли опасные признаки. Сие подало мысль докторам спекуляторам объявить чуму. Город закарантиновали, лагерь отнесли за 10 верст, и Бородин, как патриарх карантинов, остался с полком поддерживать нелепое мнение и жечь трупы и трофеи грабежа...

Долго оставаясь в бездействии, наконец, около половины июня, оставя в Харсе 3 полка гарнизону, выступили к Ахалцыху. Не доходя крепостцы А х а л а - к а л а к и (новый город), открылось огромное озеро Ч а л д ы р ь; давно не видя вод и рек обширных, я был в восторге при сей встрече: с вершины горы казалось оно облаком, разостланным по земле. Оно напомнило мне море и в с е, ч т о з н а в а л, в с е, ч т о л ю б и л... А х а л а - к а л а к и защищалась недолго. Успешное действие нашей артиллерии заставило замолчать их орудия, — и наш полк, подведенный на пистолетный выстрел от крепости, заметил, что гарнизон бросился со стены, обращенной к реке, спасаться бегством. Нас послали их преследовать. Здесь-то увидел я смерть в тысяче видах и, признаюсь, в первый раз в жизни сделал убийство, защищая свою собственную жизнь. Роковой свинец пролетел сквозь сердце

отчаянного мусульманина; он упал; но грозная улыбка еще не отлетела от умирающего. Я не мог без содрогания видеть своей жертвы и по трупам убитых и стенящих спешил далее... Тем временем, другие две роты наших влезли на стену и заняли крепость. 8 дней стояли мы под оною, на 9-й пошли далее. Не делая утомительных переходов, я мог наслаждаться красотою местоположений, на пути встречаемых. Лес — редкое явление в здешнем краю, начал показываться кой-где, и... Воспоминания детства, и мечты юности, и лесистая родина обновились в памяти. Я перенесся воображением в круг родных; казалось, слышал нежные укоры их, и слезы — утешитель, давно меня оставивший, навернулись на глазах. Молча, в глубокой грусти сидел я, покуда скрып арб, ржание коней и говор приближающейся пехоты не вывели меня из сладкого упоения. Я поплелся далее и скоро добрел до места ночлега. В следующие два дни совершили весьма трудный переход через горы доселе непроходимые. Самые Альпы не представили славному Суворову столько препятствий; у нас недоставало только пропасти, чрез которую конечно сумели б набросить Чортов мост.

5-го августа открылась крепость Ахалцих. Переправились ‹через› Куру и в боевом порядке в ужасный зной рекогнесировали оную. В оный же день на Годовой горе поставили батарею, а 6-го для обеспечения гор от набегов неприятельской кавалерии заложена была по другую сторону речки довольно сильная батарея.

Неприятельская кавалерия, числом до 30 000, состоящая из турок, лезгин, лазов и бунтующих гурийцев, стоя лагерем вне города, занимала все высоты, с которых наши батареи удобно б могли бросать громы в город. Чтоб начать правильную осаду, должно было истребить и прогнать оную. Для сего ночью с 8-го на 9-е все войска выступили из лагеря, обходом в глубокой тишине, посреди мрака, рассчитывая к рассвету напасть нечаянно на укрепленные их лагери и наружные батареи. Дурная, неизвестная дорога по горам была причиною, что денница застала отряд еще верстах в 2-х от назначения.

Турки заметили нас и имели время, оседлав коней, выехать в поле. Наши заняли позицию, поставили орудия, и под прикрытием сильного огня с оных кавалерия завязала дело, продолжавшееся до 4 часов вечера. Ядра сыпались в колонны пехоты. Стрелки Херсонского и 41 Егерского полков, покушавшиеся завладеть одним оврагом, впрочем вовсе для нас ненужным, с большим уроном принуждены были отступить. Нас весьма беспокоила батарея, стоящая с боку на возвышении, командующем крепостью. Главнокомандующий, видя возможность приобретения сей позиции, приказал взять оную. Для сего назначен был Ериванский карабинерный и батальон 42 Егерского полка. Наш беглым шагом спешил к их подкреплению. С воплем: ура, выдержав жестокий ружейный и картечный огонь, три батальона почти вместе взбежали на батарею; отбили орудия, лагерь, все знамена и гнали неприятеля под стены самого города. Сия победа имела большое влияние на успешное производство наших траншейных работ. Наемная кавалерия, видя невозможность удерживаться вне города, бросилась бежать в горы. Более 20 верст ее преследовали, и еще 5 орудий, артиллерийский парк и большой запас хлеба достались в руки победителей. Потеря наших в сей день простиралась до 250 выбывших из строя. Неприятель потерял до 1000 человек.

Но город держался с упорным мужеством! Батареи подвигались ближе и ближе и, наконец, пробили довольно большую брешь в одном из городских бастионов и палисаде. 15-го числа решено было итти на приступ. Выбор пал на наш полк. В 4-м часу пополудни, рассыпав впереди стрелков, с барабанным боем и распущенными знаменами, медленно, в порядке, спускались мы к бреши. Подошли на пистолетный выстрел, и град пуль метких встретил нас под стенами и смерть опрокинулась на ряды... раздалось русское торжествующее ура! взяли на руку и понеслись, презирая картечь, по трупам убитых и раненых. Оба батальона были уже в городе. Один очищал правую, другой — левую сторону палисада. Непри-

тель имел большое преимущество в средствах вредить — каждая сакля служила им бруствером. Невидимо сыпался на нас град пуль из окон, из-за труб, из каждой дырочки громили они нас, и каждый их выстрел был верен. Никогда близкая опасность и самое отчаяние не порождали такого мужества, какое было заметно в осажденных. Расстреляв все патроны, ожесточенные турки, грозно потрясая ятаганами, бросались в ряды, рубили, неистовствовали и падали все жертвою своей запальчивости. В моих глазах убиты и ранены многие храбрые. Свист пуль, посреди всеобщего шуму, уже не беспокоил меня. В 6-м часу 42-й Егерский и Херсонский полки подкрепили нас. До поздних сумерок продолжалась сеча и перестрелка; наши немного подавались вперед; наконец повелено было жечь город, и сие может быть спасло и доставило нам колеблющуюся победу. Это была картина работы Фан-Вика или Вернета. Город пылал во ста местах, густой дым вился до неба, на котором через дым и пламя изредка выглядывала луна; кровавое зарево освещало далеко окрестность. Батареи наши, вдвинутые в самый город, ревели неумолкаемо по цитадели. Гранаты и бомбы, с жалким напевом, как огненные змеи, плавали в воздухе, ружейная перестрелка, хотя и слабее, слышна была со всех сторон. Толпы спасенных женщин и детей с воплями и рыданиями влачились к стороне лагеря; как адские фурии носились солдаты между горящими домами с пучьми соломы!.. Ужасных сцен был я свидетелем.

...[1] К утру все успокоилось и Магмет-Киос паша, запершийся в цитадели, склонился к сдаче на капитуляцию. Ему позволено через 4 часа выбраться из цитадели со всем гарнизоном в полном вооружении и двумя орудиями. Восходящее солнце осветило русский штандарт, развевающийся на цитадели, и крики победы и радости оглашали и вторились зубчатыми стенами оной. Приступ стоил нам дорого. В нашем полку убито 2 штаб-офицера, 3 обер-офицера, 66 чел. рядовых, ранено 11 обер-офицеров, 242 рядовых. Вообще все потери наших простирались до 679 чел. выбывших из строя, в том числе

до 30 штаб- и обер-офицеров. Неприятель потерял убитыми, ранеными и сгоревшими до 3000. Больше трети города выгорело, но теперь мало-помалу приводится в порядок; опустелые аулы наполняются жителями; жизнь пробудилась на улицах. Можно надеяться, что скоро в нем водворится спокойствие, но вряд ли изобилие...

Отдельными отрядами в то же время были заняты крепости: Ацхур, Поти, Анапа, Ардаган, Баязет, Топрах-Кале и проч...

Таким образом, в 4 месяца совершено покорение сопредельной нам Азиатской Турции; наш полк остается зимовать в Ахалцыхе, а на будущий год, ежели бог войны не удержит губительную свою десницу в Европе, пойдем на Арзрум, будем пить целительную воду в источниках Евфрата и, может быть, купаться в банях калифов багдадских...

Когда пылающий город со всех концов уже был занят русскими, цитадель и гарнизон оной еще упорствовали. Ст. сов. Влангали был послан к паше для переговоров и, возвратясь от него, уверял, что все идет удачно и что для довершения победы нужно только отправить полномочных чиновников для условий сдачи. Генералы Сакен и Муравьев с причетом, Курганов и другие отправились к Киосу. Гордо принял он их, не обнаруживая ни малейшего знака робости, и совещался долго, уже соглашаясь положить оружие. Вдруг ворвался в совет раздраженный старик, янычар по одежде, герой по душе: «На что решаешься ты, малодушный начальник!? — гремел он, — посмотри на пылающий город! Защищая его, из ста человек нас останется один, переживший позор наш. Женщины сражались,* как достойные чада законов корана, а ты, окруженный храбрыми, в стенах гранитных, помышляешь о преступной сдаче. Нет. Никто из нас да не принесет к повелителю света вести о нашем стыде! Падем все под развалинами

* Между трупами убитых найдено множество переодетых женщин.

крепости!». Насмешка пробудила мужество паши, — он начал длить срок. Сакен разгорячась сказал, вставая: «Зачем затратили мы время в бесполезных рассказах! Я хочу решительного ответа: да или нет!». — «Гед! Гед (ступай вон, убирайся)! — ревел остервенелый янычар, — не мы звали вас сюда — вы пришли сами! Ступай! говорю я... Мы докажем, что умеем защищаться!..». История могла б кончиться худо; но замысловатый Курганов дал ей шуточный оборот, и паша, поговоря с стариком, принял славную для него капитуляцию.

Замечательно, что во время блокады города над минаретом прекрасной мечети, построенной, как уверяют, по плану Софийской в Константинополе, лопнула бомба и сбила луну, его увенчивающую. Плохое предсказание для ее обожателей... Душевно желаю, чтоб победители за Варною совершили то же над подлинником... Тогда... глухо раздастся в целой Европе звук молотов, — от ковки креста, от святой Софии, — и воспрянут утомленные неравною борьбою потомки Периклов и Сократов...

Сказывают, что архитектор, дерзнувший создать подобие храму Стамбульскому, был удавлен.

В то время, когда осенние непогоды туманят горизонт стран Гиперборейских; когда отдаленный гром и нависшие облака гонят его обитателей под дедовские кровли старых замков, мы, залетные пташки на Востоке, наслаждаемся прекрасною погодою и, привыкшие дышать воздухом лагеря, проводим ночи под кровом неба и любуемся миром звездным! Упоенный созерцанием мириад звезд, понимая их течение, имея неясное понятие о возможности населения планет, — нельзя не удивляться творческой силе и гению того, который так великолепно и с такою неподражаемою соразмеренностью устроил видимый нами мир!.. Я ничего не отвечал бы на гипотезы закоренелого атеиста; молча вывел бы его на крышу дома и указал бы на роскошное, лунное небо! В нем все так велико,

что можно ль существу, не вовсе лишенному здравого смысла, не признавать творца природы?! Случай (теория Сен-Мартена) помог произвести только ошибки, неполное, безобразное, а не совершенство!.. Обновленный душою, чувствуя какую-то небесную легкость, довольнее собою схожу я с гор, где часто дух мой блуждал в беспредельности чудной и славя превечного! Схожу для того, чтоб увериться, как ничтожен, зол и мал человек при всех его совершенствах... блуждая по городу, взор не встречает ничего утешительного: груды развалин, еще дымящиеся, жалобные вопли нищеты, тайная скорбь в глазах каждого. В печальное кладбище обратился город многолюдный и торговый! Таков жребий войны! Тяжесть его несут по большей части на себе граждане мирные.

Персы и турки

Обстоятельства способствовали мне схватить некоторые очерки свойств двух народов, исповедующих одну религию, но по нравственным качествам весьма далеких друг от друга. Персияне и турки — как два источника, имеющие разные начала, текут по скатам гор: один медленно катит воды свои меж берегов пещаных; они горьки, скучны и заражают воздух. Другой, неистовый, грозно мчит их меж скал и долов живописных, уничтожая по пути все препятствия, прорывая горы и опрокидывая камни. Местные положения, казалось, сближают их, но на рубеже их союза возвысилось грозное двуглавое чудовище, и они с трепетом снова текут в разные стороны. Оба народа имеют свое происхождение. Один, робкий и женоподобный, медленно пресмыкается в предрассудках; другой, гордый и мужественный, попирая все прекрасное в прирсде и искусствах, твердым шагом стремится к своей цели. Религия, кажется, сближает их; но двуличный исполин политики и раскола мещет на них грозные взгляды, и они, оскорбленные, враждуя и ссорясь, расходятся в разные стороны.

Может быть мои замечания относительно Персии понесут на себе печать пристрастия. Я рассматривал лучшие провинции Персиды и народ, их населяющий, не с борзого жеребца, не из портшеза (трамтарарам) наследника престола, но из-под тяжести солдатского ружья. Вымерял оные не хронометром и компасом, но здоровыми ногами. Дышал в городах не ароматом розового масла, но дымом кизяков. Услужливый н ю к е р не охлаждал жару лица веянием опахала, в зной палящий, и существо идеальное — одалиска Востока однозвучною песнею не нарушала мучительных снов пришлеца в стране невежества. Все сии случайности совокупно с тогдашним расположением духа и ненавистью к тирании набросили на глаза мои креп погребальный. Сквозь него, конечно, все предметы казались мне иного цвета, но в природе оных я не мог обмануться!..

...[1] Самый блистательный период персидской истории был век Кира и его преемников; но и тогда современные писатели передали нам в шутовской обертке нравы и обычаи сих несметных полчищ, грозящих наводнить Грецию. Ближе, Абас, великий шах Надир, завоеваниями и направлением умов к войне и грабежу облагородил несколько дух народа, но надолго ли? Современные нам персы — живой пример унижения всех восточных монархий — есть не что иное, как тень гражданского общества, составленного из рабов хитрых, корыстолюбивых, без малейшего признака народной гордости, с мелкою продажною душою, сластолюбивых в грубой чувственности; невежд даже в отношении к азиатской роскоши, воспеваемой поэтами и превозносимой путешественниками. Древние персы были по крайней мере знакомы с искусствами сохраняли первобытную добродетель возникающих народов: гостеприимство. Это можно доказать множеством развалин: дворцов, мостов и водопроводов. Нынешние же, не имея творческой силы произвесть что-нибудь новое, с постыдным равнодушием расхищают остатки славных зданий для постройки безобразной сакли. Роскошный караван-сарай приглашал некогда усталого путника под тень сводов своих; быстрый

водомет чистой воды утолял жажду его; шербет и кофе услаждали вкус. Запоздалый, он засыпал на мягких диванах и с восходом солнца, обновленный душою и телом, уходил, сопровождаемый ласковым приветом хозяина. Ныне же, измученный каменистою дорогою, путник, с запекшимися от жажды устами, ложится под кров палящего солнца, голый камень служит ему изголовьем; нет деревца, нет былинки, на коих мог бы отдохнуть взор, утомленный однообразием дикой природы. Ручей и река затрудняют путь его. Он переходит их вброд, когда в двух шагах от него возвышаются развалины моста, удивляющие смелостью изобретения... Могут ли быть хороши войска, составленные из такого народа. Тщетно предприимчивый А б а с - М и р з а мечтает вдохнуть в них дух воинственный и, делая красивые маневры своею артиллериею и дисциплинированными сарбазами, воображает в них солдат! Они не что иное, как робкие переодетые женщины, способные заменить их, а не сражаться и быть мужчинами.

Турки же, напротив, происходя от завоевателей средних веков, разливших ужас и порабощение в целой Европе, помнят славу своих предшественников и, верные уставам корана, дерзнули восстать против священной для них власти деспота, когда он нарушил закон и обычай страны своей! Для них не чуждо слово: отечество! При его призыве, под священную хоругвь черного магометова знамени стекаются тысячи храбрых, их сердца дышат ненавистью, мужество пылает во взорах; с оружием в руках они умирают непобежденными, и горе дерзкому пришлецу, нанесшему святотатственную ногу на их родину!..

И турки и персы грубы и невежественны; те и другие рабы своих повелителей; но персы, сохраняя свои прежние предрассудки, принимают некоторые обычаи иноземные, знакомятся с искусствами и в частной жизни гораздо учтивее турок. Все это доказывает, что они, переставая быть верными мусульма-

нами, заняли у иностранцев бесчувственность ко всему родному; торговля познакомила их с искусствами, а их посещения, проводы, встречи и проч. в домашней жизни дышат подлостию тварей с продажною душою. Не иначе можно у них пользоваться общественным мнением, как знавши искусство: льстить, унижаться, домогаться, ползать и обманывать, — искусства, имеющие своим источником беспредельную зависимость и рабство. Турки же не изменили своим обычаям невежеств: считая прекрасным только свое, гнушаясь всем чужим, обнаруживают тем независимость души. Оставаясь теми же варварами, они теряют в отношении образованности и чувств нежных, но выигрывают, сохраняя народный характер и благородную гордость. Человечество терпит, но честь народа торжествует. В этом должно винить их законодателя, которой заградил им путь ко всему полезному и разлил яд ненависти ко всем иноверцам!..

———

Запертый в г. Х о е, долго скитаясь по Персии, брат мой Павел соединился со мною под Харсом. До Ахалцыха совершили мы поход неразлучно, теперь опять он далеко... Сближенные летами, одинакими наклонностями и понятиями; выростя вместе — изо всех братьев более других любил я его. Мы берегли сего невинного, благородного юношу, чтоб хоть он один мог быть опорою семейства в случае ожидаемого поражения нас четверых. Выезжая из крепости, я поручил его провидению, заступнику гонимых, в полной надежде на обещание власти, давшей священное слово сохранить его для матери, и кто изобразит мое удивление, когда, прибывши в Тифлис, случайно встретил я его у Г‹рибоедова›. Первое чувство было радость; первое движение броситься расцеловать его. Милый друг мой возвращен мне! Еще не навсегда исчезли для нас минуты утех; возврат брата мирит меня с судьбою... думал я... Но чувство сие, слабея мало-помалу при воспоминании сирых родных, обратилось, наконец, в глубокую горечь.. В глазах матери нежной растерзали лютые звери

четверых первенцев ее, остался один, единственная надежда и утешение ее, и того оторвали от груди отчаянной!.. Мне слышались укоры и вопли их... Казалось, я видел, как она, с блуждающими глазами, простирала руки вслед похищенного, и навернувшаяся слеза, не канув, замерзла при воспоминании об ужасе положения семейства нашего... Что сделал ты, безрассудный! — говорил я брату... — и не забыл ты о сестрах бесприютных? Матери хилой?.. — Гонители наши забыли бога и клятвы свои, — отвечал он, — я невинен!!.. Выслушав ничтожную причину его ссылки, я убедился, что каприз судьбы до дна заставляет осушить чашу испытаний и что перст провидения с сей только минуты отяготел над нами... отселе сделался я угрюмее... Столь желанное присутствие брата всегда порождает грустные воспоминания, и, обожая его, как друга и товарища детства, призывая в отсутствии, пожираемый желанием теснее соединить союз братского дружества, я уже не с столь чистосердечною радостию встречаю, беседую и вижу его...

Где вы? Что вы? изгнанники из родины, страдальцы истинной чистой любви к отечеству — где вы, братья мои? Как смею роптать я на свою долю, дыша свежим воздухом, не слыша звука цепей, имея досуг для мечтаний! Они — погребены заживо, лишены всех выгод сих, и, может быть, страшная мысль! не для них светит солнце! Благоговею пред вашим ликом, друзья правоты и добродетели... Живите в мире! Еще брезжет для вас луч надежды!!..

Чувствую, что сии грустные воспоминания, тоска по родине и жажда познаний, без средств удовлетворить оные, медленно сжигает во мне часть жизни... Как на потухающем светильнике мгновенно вспыхивает пламя от горсти пороху, — так воспламеняется иногда упадающий дух мой огнем бессильной ненависти при мысли о страдании близких сердцу... Но к чему полезны сии взрывы? Обычное последствие их есть едкая копоть, которая садится на душу и характер и, как ржавчина на железе, грызет их.

***

Доверчивый исполин лесов северных, медведь

[Бо́льшая часть страницы вырезана ножницами]

... Недавно получил я от брата Алекса‹ндра› письмо. В числе некоторых взыскан он милостью государя и вместо того, чтоб пресмыкаться под землею и дышать удушливым воздухом рудников, пользуется теперь свободою и около Якутска основал полунезависимую свою жизнь.

[Вырезано]

... здесь же они, сопровождая [вырезано] игрою на инструменте, похожем на гитару, поют с мерою и тактом подвиги своих героев. На пиршествах роскошных, после омовения рук, когда упитанные гости, куря трубки, беспечно раскинутые на диванах, являются сии странствующие...

[Вырезана страница]

Осиплый голос — Давай скорее!.. Кто там? Какой дьявол носит ночью. — Да мне чорт с тобой — от подпоручика, давай на три абаза!.. Ну, поворачивайся! шевелись же... будь ты проклят — ведь холодно... Ведь есть огонь... Врешь, абазы славные, тифлисские... Лей... Ну, что ругаешься... Экий братец — ведь посылают, не своя воля... я б не пошел ни за что — знаешь наших господ... украдь, да подай!.. Э! Э! Прощай [не разобр.] прощай. (Поскользнувшись падает). Чтоб чорт тебя побрал, проклятая турецкая сторона, и земля-то не держит!..

Подобные разговоры слышим мы каждый вечер по пробитии зари, и нередко докука пьяницы будит не только целовальника, но и нас в глухую ночь!..

Азиатская Турция политически разделяется на несколько частных областей, управляемых пашами. А х а л ц ы х с к о й пашалык составляет часть А н а т о л и и — содержит 24 с а н д ж а к а, или уезда, расположенных на 21 950 ква-

дратн. верст или 489 немец. миль. Прежде составлял он часть Армении, потом, принадлежа к Грузии, некоторое время был независим и, наконец, покорен турками. Весь покрыт горами. Главных 4 хребта гор: 1) персидские, 2) цепь Кавказских предгорий, хребет Арарата под названием Карачли и хребет Чалдырский — все они меньше кавказских, но снег лежит 8 и 9 месяцев. Две главные реки — Кура и Чороха — напояют оный. Кура древними называлась: Кирзин Кирое; восточный писатель называет ее Корус, Кур, Кореус (могущественный) — вытекает из хребта Саганл‹уга› в Гильском санджаке, во 150 вер‹стах› от Аракса из Ацхверского санджака, входит в российск. пределы. Озера: Челдырское в длину простирается на 20 в., шир. на 15 верст; Хозанши-чай, Топорован-чай, Ренгала-чай есть самые большие. Пашалык сей есть самый плодородный из малоазийских и изобилует лесом, который в самый город доставляется по р. Посхо. До настоящей войны весьма дешевы были здесь все продукты жизненные и домашний скот. Санджаки управляются беками, назначаемыми пашами; но иногда они бессильны усмирить непокорных. Из целого пашалыка два лучшие города Ахалцых, Ардаган. В первом 4500 домов. Крепостей 5. Ахалцых, Ардаган, Ахалака-лаки, [не разобр.] и Ацхур. Каждый санджак заключает в себе не более 60 и не менее 20 деревень. Трудно определить народонаселение, потому что турецкий витель спрашивает о нем только тогда, когда хотят собрать произвольную подать, и потому старшины всегда оное уменьшают; в Ахалцихском пашалыке токмо 34 283 семейства. Население: турки, лазы, грузины, аджары, армяне, жиды, кочующие курды и труханцы.

Несколько раз пробегал слух, что аджарцы и непокорные санджаки собираются напасть на крепость; но всегдашняя наша готовность к отпору и неусыпность отбивают охоту у турок, и мы доселе спокойны.

6 тысяч кавалерии, вызванной султаном из Анатолии в Европу, при вести о потере крепостей возвратились в Арзрум. Туда же, как говорят, пришло 10 тысяч регулярных арабов из Египта.

Бывшего сераскира ‹Галиб пашу› [В рукописи пропуск, — *Ред.*] за недеятельность и слабые меры сослали в [пропуск]. Новый показывает ужасную надменность и гордость. Посольство его к Паскевичу дышит высокомерием и невежеством.

Генерал Панкратьев оставил г. Хой и присоединился к отряду генер. Чавчевадзиева около Диадина.

Тысячу раз принимаясь за перо, чтоб обработать мысли, часто тревожащие и питающие мое воображение, всегда с досадою оставляю я работу! Холодная комната, морозя руки, ноги и чернила, препятствует выполнить давнее желание. В бешенстве вскочил я сегодня со стула и бросился бегать из угла в угол, чтоб отогреть несколько грешное тело, столь плохо связанное с способностями души нашей!

Оттаивая мало-помалу, я стал ходить тише... Отыскал потерянную нить размышлений; мысль пошла своею привычною стезею, и, пробегая в памяти происшествия трех последних годов, вытянулась предо мною длинная фаланга новых знакомств, столь различных по своим понятиям, свойствам и характерам, что я решился для будущих воспоминаний, сохраняя хронологический порядок, кратко набросать их очерки в том виде, как наставила меня опытность.

Предавая забвению большую часть новых знакомцев моих, я опишу только тех, которые были ближе мне в настоящем жребии или казались замечательными в каком-нибудь отношении.[1]

В Петропавловской крепости судьба свела и покорила меня воле Ег. М. Поду‹шки›на, человека, которого сердце закалено в горниле преступлений, характер вскипячен в горьких слезах невинности; для которого звук цепей и вопли

заключенных с полуночи так же радует, как пение соловья на восходе солнца; которого мысли и воля измерялись ласковою улыбкою и взглядом высших. Под шутовскою манерою скрывает он душу, готовую на всякое предательство, руки, готовые задушить всякую жертву при первом мановении бровей повелителя!.. Таковы его тюремные свойства. Алчность к деньгам не имеет границ. Заключенные слишком чувствовали тяжесть сего порока. Множество вещей дорогих, много злата и серебра остались после решения суда в заповедных сундуках этого толстого Кащея... Прекрасные часы и перстень брата Николая, кои мне весьма хотелось иметь для памяти, не взирая на усиленные хлопоты, остались в его руках!

N. П. Ка‹жевников›. Дорогою к месту ссылки сблизился я с ним. Чуждый надменности и какого-то странного тона, общего всем гвардейцам, он показался мне любезным, занимательным молодым человеком. Привлекательная манера изъясняться, анекдоты, ловко рассказанные, способность схватывать странное или смешное в других и пародировать сие, с привычкою обращаться в хорошем кругу, делает его приятным в обществе и заверяет в его пользу при первом взгляде. Но, строго разбирая его характер и правила, истинный ценитель найдет много предосудительного, даже в отношении прямых понятий о чести. Эгоизм и самолюбие есть два краеугольные камня, на коих воздвигается здание его недостатков. Для них часто жертвует он всем священным, для них даже небрежет приличиями, необходимыми в свете, не скрывая своих правил; доказательство, что в нем есть доброе и благородное сердце и что он действует по принятым, ошибочным мнениям о вещах, которые его самолюбивая опытность показывает за непреложные и небесчестные. Он порядочно учился когда-то и довольно читал; но при неограниченной охоте к спорам (которая когда-нибудь обратится в страсть) он обнаруживает часто неполноту познаний, незрелость идей и характер слабый и непрочный. Охота заниматься мелочами одним очерком ограняет его деятельность и заверяет, что сей впро-

чем благородный человек не способен ни к чему важному и трудному.

А. В. В<еденяпин 2-й>. Другой товарищ путешествия. По несносной страсти рассказывать, часто совершенный вздор, и охоте знакомиться со всем и каждым, по отсутствии дару красноречия, в котором природа отказала ему, — он покажется странным. Но, ознакомясь короче, увидишь, что сии недостатки происходят от недостатку случая знать свет и людей и обращение в хорошем кругу. В замену — в нем находим чувствительную душу, характер довольно твердый и благородные правила; часто неуместно думает он блеснуть своими познаниями и с таинственным видом рассказывает вещи, о которых по их ветхости ныне стыдно говорить и на площади; но в сем случае вреден он только себе самому. Имеет страстишку к стихокропанью и, недоступный к возвышенным тайнам муз, он не посрамит по крайней мере в их нотах звание человека и гражданина.

Мих. Анд. Ан<осо>в. Один из людей, к коим я питаю уважение и благодарность; родясь в бедности и в состоянии низком, проходя чины с простого солдата, не получа никакого воспитания, он не унижает, но облагораживает настоящее свое звание. Доброта души его ясно обнаружилась в участии, мне оказанном. Походы во Францию и Германию были полезны для него во всех отношениях. Там, вероятно, постиг он, что не кресты и эполеты делают человеком и что благородный несчастливец, в каком бы обстоятельстве ни был, имеет право на внимание и нежные ласки порядочных людей. Характеру его верно позавидовал бы всякий ревнивец. Эдакой равнодушной флегмы я не встречал еще доселе, — и, к несчастию тварей двуногих, — доброта, сей признак божественного, редкое ныне явление, в нем служит к пагубе! Он есть доверчивое орудие прихотей и страстей жены, впрочем умной бабы.

Ив. Петр. Де-нь. Ветхий остаток развратной молодости; воплощенный урок мужьям-рогоносцам — добр по душе, честен по правилам, доверчив по характеру. Ограничен умом,

смешон и жалок по обращению и природным недостаткам, безусловный раб хитрости жены порочной! Как больно было видеть сего отца чуждого семейства жертвою своей доброты и доверенности. Его примером убедился я, до какой степени умная женщина может обладать мужчиною.

В. И. Ш е - р. На Оренбургской линии, наполненной сбродом всех стран, весьма часто встречаются образчики века Екатерины, сохраняющие характер, привычки, манеры (говорить и действовать) своего времени. К. сему числу принадлежит и описываемый мною. Я так мало думал о Ше-ре, как о возможности совершенного равенства граждан в государстве, — вдруг получаю послание в стихах, где автор, близкий подражатель Тредьяковского, столетними остротами, вклеенными в ломаный александрийский стих, приглашает к себе. Более из любопытства, чем для рассеяния, прискакал я к нему. Коротенький, толстый, с приветливым и ласковым лицом, причесанный à la Панин, с маленькими бегающими серыми глазами, в шлафоре, башмаках, ‹с› небрежно накинутым платком на шее, расшаркиваясь и кланяясь, как ученик Дюпора, встретил меня у входа и, продолжая пышное, пестрое приветствие, ввел в свое семейство. Впоследствии я полюбил сего доброго старика; но, признаюсь, скучал его метроманиею и болтливостию, в коей он старался выказать познание светских обычаев, забыв, что в 40 лет много утекло воды и что на него, законодателя мод Петербурга в 1782-м году, в 825-м указывали б пальцем, как на выродка... Добр и гостеприимен, неглуп и порядочно образован; небесчестных правил, говорлив и при старости сохранил живость характера. Вот качества сего А н а к р е о н а - Э з о п а Оренбургской линии.

N. N. П е р - и й. Молодой человек не обширного ума, но с беспредельно доброю душою, благородными идеями, чувствительный и гостеприимный. Нельзя не уважать, нельзя позабыть его. Подобные находки редко встречаются ныне!..

Ф. Г. В‹и ш н е в с к›и й. На пути к новому назначению познакомился я с ним и, живши потом почти неразлучно

3 года, узнал хорошо. С умом, от природы глубоким и гибким, он соединяет очень трудное искусство: выигрывать уважение и уметь обратить его в свою пользу. Не получа блестящего воспитания, память его обогащена односторонними мнениями, чтением путешествий и тем, что сам он видел во всех кругах света. В искусстве выиграть доверенность чью-либо и ослепить своими душевными качествами, ловко маскируясь ложною скромностью, я не встречал ему подобного. В домашнем быту, в часы, когда разоблачается характер его, обнаруживаются в нем такие правила, такие черные мысли, что новый человек, услышав его так мыслящего и не зная хорошей стороны, осудил бы на общее презрение. Заметна страсть к владычеству, любит лесть его вкусу, уму, даже наружности. Личную свою пользу предпочитает не только пользе общественной, кою он считает химерою, но даже выгодам брата, друга. Вот его келейное правило: «я желал бы, чтобы все люди, в кругу коих назначено мне жить, были глупее меня». Политические его мнения благоразумны и осторожны, но всегда ли они благородны??. Сердце его сострадательно и добро, но недоступно к нежным чувствам. В беспрестанном ропоте на свою судьбу познается черта слабости, недостойная стоика... педантизм и надменность отклоняют от привязанности к нему многих, кладут непреоборимую преграду искреннего участия. Никогда не будет он любим, не будет иметь друга верного. Добрая поистине душа его затмевается сими недостатками.

А. С. Г р ‹и б о е д о› в.[1] До рокового происшествия я знал в нем только творца чудной картины современных нравов, уважал чувство патриотизма и талант поэтический. Узнавши, что я приехал в Тифлис, он с видом братского участия старался сблизиться со мною. Слезы негодования и сожаления дрожали в глазах благородного; сердце его обливалось кровию при воспоминании о поражении и муках близких ему по душе, и, как патриот и отец, сострадал о положении нашем. Не взирая на опасность знакомства с гонимыми, он явно

и тайно старался быть полезным. Благородство и возвышенность характера обнаружились вполне, когда он дерзнул говорить государю в пользу людей, при одном имени коих бледнел оскорбленный властелин!.. Единственный человек сей кажется выше всякой критики, и жало клеветы притупляется на нем. Ум от природы обильный, обогащенный глубокими познаниями, жажда к коим и теперь не оставляет его, душа, чувствительная ко всему высокому, благородному, геройскому. Правила чести, коими б гордились оба Катона; характер живый, уклончивый, кроткий, неподражаемая манера приятного, заманчивого обращения, без примеси надменности; дар слова в высокой степени; приятный талант в музыке; наконец, познание людей делает его кумиром и украшением лучших обществ. Одним словом Гр‹ибоедо›в — один из тех людей, на кого бестрепетно указал бы я, ежели б из урны жребия народов какое-нибудь благодетельное существо выдернуло билет, неувенчанный короною, для начертания необходимых преобразований... Разбирая его политически, строгий стоицизм и найдет, может быть, многое, достойное укоризны; многое, на что решился он с пожертвованием чести; но да знают строгие моралисты, современные и будущие, что в нынешнем шатком веке в сей бесконечной трагедии первую ролю играют о б с т о я т е л ь с т в а и что умные люди, чувствуя себя не в силах пренебречь или сломить оные, по необходимости несут их иго. От сего-то, думаю, происходит в нем болезнь, весьма на сплин похожая... Имея тонкие нежные чувства и крайне раздраженную чувствительность при рассматривании своего политического поведения, он, гнушаясь самим собою, боясь самого себя, помышлял, что когда он, (по оценке беспристрастия) лучший из людей, сделав поползновение, дал право на укоризны потомства, то что должны быть все его окружающие? — в сии минуты благородная душа его терпит ужасные мучения. Чтоб не быть бременем для других, запирается он дома. Вид человека терзает его сердце; природа, к которой он столь неравнодушен в другое время, делается ему чуждою, постылою; он хотел бы лететь от сего

71

Памятныя Записки

1828 г. и 1829 г. Годы.

П. Б.

Тетрадь вторая.

П. А. Бестужев. «Памятные записки». Титульный лист. Автограф.

мира, где все, кажется, заражено предательством, злобою и несправедливостию!!..

А. А. С у ⟨в о р о⟩ в. Молодой человек с возвышенным характером, чистою нравственностию, благородною и чувствительною душою, с умом и военными способностями, не помрачающими славу великого деда его. Редко появляются на отуманенном обстоятельствами горизонте отечества нашего метеоры таких чистых, картинных красот. Враг всякой несправедливости и исканий, напитанный высокими идеями, мужественный в опасностях, гордый с высшими, кроткий и любезный с равными и низшими, он украшает собою бедный полк наш, — человечество гордится, считая его в числе друзей своих. Одаренный приятною наружностию, под эгидою истины пробегает он пути жизни и стоит на первой ступени пути к храму славы и известности. Пожинай лавры, истребляя племена, патриот бескорыстный! Да скажем мы некогда, указывая на будущего полководца: «И в нашей родине есть генералы, достойные имени человека и гражданина!».

С. Г. Ч е л я е в. Любезный и добрый молодой человек. Всегдашняя готовность к благородному делу обнаруживает в нем искру и присутствие добродетели и чувств возвышенных. К сожалению, добрые его наклонности погашены расчетами мелкого честолюбия и каким-то ветхим, неясным и для него самого сомнительным образом мыслей, доказывающих полупросвещение. Он грузин по происхождению; но искренно желал бы я, чтоб мое отечество имело более таких пасынков.

Н. Н. Р а ⟨е в с к⟩ и й. Человек с обширною памятью; ей обязан он множеством разнообразных и глубоких сведений. Его можно назвать воплощенною энциклопедиею. Все знает, о всем судит, на все кладет приговоры с верностью архонта. Добр по душе, характера уклончивого, правил честных. Жаль, что сии способности не украшаются скромностию, венком истинной философии. В политических мнениях и поступках осторожен и робок до укора. Долго не забуду я первую встречу с ним, убедившую меня в его постыдной трусости. Действуя

со стороны страстей, льстя его слабостям, все можно сделать из сего умного человека.[1]

В. В. К о ⟨в а л е⟩ в. Родясь в стране невежества, воспитанный в кругу поседелых в боях и бесчувствии, он не получил решительно никакого образования. Но природа одарила его умом; вдохнула добрую душу. Не из самолюбия, но по естественной склонности готов он на всякое добро; сострадает в несчастии. Беспечный, равнодушный и слабый по характеру, дозволяет он управлять собою людям искательным, низко употребляющим его доверие, и приученный льстецами, тварями без чести, к властолюбию, умеет однако отличать людей и вчуже уважать чувства. Дорожа улыбкою нового правительства, напуганный строгими мерами правительства, он был бессилен и слаб явно обнаруживать своего расположения к нам. Но покровительствовал втайне — почтен уважением!

Н. Т. Ю ⟨д и⟩ н. Образец игры и несправедливости судьбы. Воспитанный под палками, в кругу застарелых буянов и пьяниц, правил черных и низких, не имея и тени доброты души, ознаменовавший поприще жизни подлыми делами, — он, однако, покоится в объятиях фортуны, постоянно любим ею. Недоступный ни к чему благородному, искательный до подлости, сластолюбец до разврата, пьяный до омерзения, мстительный мелочно, во мраке единственное его достоинство: способность прославить себя храбрецом и выиграть любовь солдат средствами столь неблагородными, что я стыжусь упоминать о них... И этот человек осыпан наградами; блаженствует в пресыщении!!!

Н. Р. Ц е ⟨б р и к о⟩ в. Один из людей, кои, не понимая причины деяний своих, никогда не рассуждая, увлекаясь страстию к новизне, своим беспокойным духом и самолюбием, делаются, наконец, жертвою оных и в тяжком своем положении жалуются на судьбу, будучи сами всему причиною. Природа обидела его со стороны ума, но снабдила в изобилии самолюбием, которого я не смешиваю с благородством и гордостию. Нахватавшись кой-где и кое-как верхушки кой-каких

знаний, созданный с знойными страстями, не освещенный на дороге жизни светильником рассудка, на каждом шагу делает он глупости. Имея добрые качества души, пятнает оные пороками, из коих господствующие: карточная игра, столь унижающая, по-моему мнению, всякого человека, коль скоро обращается она в природу, и мелочная скупость. Воспитанный в предрассудках ложной чести, он чувствителен к малейшей обиде и, имея характер пылкий, не диво, что слывет полусумасшедшим.

Г. И. Н и - в. Подобные люди часто встречаются в свете: прост, добр, гостеприимен, честен, вспыльчив. Лганьем, хвастовством и ухарством напоминает он времена лихого г у с а р с т в а, в котором играл некогда роли блестящие и резкие!

М. И. П у<щ и>н. Не много можно найти людей с столь строгими правилами, с таким твердым характером, с таким безукоризненным поведением, как он. Уже ступивши, так сказать, на самоцветные ковры счастия, пользуясь расположением начальства, уважаемый товарищами — вдруг низвергся он до ничтожества; но упавши телом, не упал духом: то же беспристрастие, та же гордость, та же прямизна души, те же страсти; но изменился образ мыслей. С прискорбием вижу я, что и он попался под гнет обстоятельств, и он лавирует сообразно оным. Это доказывает или слишком утонченную политику, или шаткость правил, и в последнем случае горько и досадно думать так, хотя все убеждает в справедливости сего мнения. Одарен умом здравым; опыт и чтение обогатили его полезными знаниями; но крайнее самолюбие делает неприятным. Питает склонность к властолюбию, очень преступному в каждом, по моему мнению.

П. П. К о<н о в н и ц ы>н. Добрая, беспечная, простодушная флегма, — чистой нравственности, прямых правил чести, не обширного ума, ограниченных способностей, хорошо образован. Живет более физически, нежели морально. Сытый обед, стакан доброго вина, 12 часов сна, трубка и хорошая книга — вот все, что нужно для его существования. Лень

и беспечность доходят до оригинальности, всегда забавный, всегда милый, редко досадный. Говорит дурно о других, и охота к злословию, имеющая своим источником не злое сердце, не умышленное намерение, а предосудительную привычку и желание блеснуть остроумием; легко вверяться в слухи и потом распространять их — в карикатуре; иногда прихвастать; иногда прилгать — вот его недостатки. Искоренить из него сии пятна, сообщить уму его более деятельности, — и он будет прекраснейший и любезнейший из людей.

М. Д. Л<а п п>а. Благородный, добродетельный молодой человек, с нерасточительною добротою души и правилами, кои при первом взгляде покажутся странными, но по природе их — достойными подражания. Он соединяет характер твердый, прямой, гордый. Все сии качества украшаются скромностью столь бескорыстною, что разве только близкий или глубоко его исследывающий откроет в нем оные. Много читал, это видно! Но, чтоб узнать сие, надо быть с ним глаз на глаз, в кругу добрых приятелей выиграть доверенность, а не в шумной беседе, где каждой старается блеснуть познаниями, ученостию; там молчит он или изредка отпустит остроту, словцо кстати употребленное, насмешку, и сие так в нем заметно, что становится предосудительным. Но как бы то ни было, я уважаю его образ мыслей, благородные правила, честность. Люблю его душу прямую и добрую, хотел бы подражать его скромности, столь далекой от ложного стыда и застенчивости.

Б. А. Б<о д и с к>о. Молодой человек с умом, с хорошими познаниями, доброй души, правил строгих до педантизма. Никогда не дает он полную волю сердцу, не предается ни радости, ни горести, ни удовольствиям, ежели холодный рассудок находит тут что-нибудь предосудительное, противное приличиям, — унижает его солидность. Характер твердый, но мрачный и угрюмый — отличительная черта всех моряков. Чужды ему шумные и веселые общества; хорошую книгу, ученый разговор предпочтет он простодушной беседе приятелей. Все рассчитано, на все система. Это прекрасно в домашней

жизни, но в гражданском быту, в кругу товарищей, в понятиях о вещах должны быть иногда отступления. Его можно сравнить с англичанином, который и любит, и благотворит, и уважает головою, а не сердцем. Прочна приязнь его, но трудно ее выиграть — он взвесит и разочтет до малейшего обстоятельства, пересудит и испытает 100 раз и согласно с советами рассудка, вовсе без ведома сердца, наградит доверенностию. Смерть преждевременно похитила у нас сего благородного товарища.

Н. В. Л и - в. Много природного ума, прочные и строгие правила, благородный образ мыслей, добрейшая душа, чувствительное сердце, характер твердый, геройский, скромность похвальная. Никто с таким мужеством не перенес все удары судьбы. В продолжение 10 лет мученической жизни ни один ропот, ни одной жалобы не слыхали от него. Тысячи обстоятельств самых оскорбительных рассыпали на каждом шагу тернии колючие; всякого б другого потрясли они, всякий потерялся бы на его месте, но он сохранил ту же возвышенность духа, те же понятия о чести, то же безукоризненное поведение. Как жаль, что случай не дал ему хорошего образования, — он мог бы служить примером во всех отношениях... Но — как постичь игру судьбы? Человек, облеченный в броню добродетели и мужества, гордо попирая все прихоти рока, презирая гнет обстоятельств — до дна испивший чашу испытаний, — наконец подвергся общему уделу смертных! Не стало терпения, в нескромном письме к родным излил он весь яд своего негодования... почта предатель, и он снова и долго, долго будет страдать... Как согражданин, как товарищ несчастия, как брат, жалею я о тебе, достойнейший человек.

Н. П. А к<у л о>в. Старый товарищ мой на море, в шалостях, в горе и радости. Любезный человек! Добр, как нельзя более, честнейших правил, на все готовый для друга. Чувствительный ко всему обидному его или близких ему гордости. С ним не раскаивался бы я провести всю жизнь, уверенный, что никакое обстоятельство в свете не могло б переменить его

участие и расположение. Ум его образован столько, чтобы не краснеть в хорошем обществе. Характер живой, но мнительный — во всем подозревает он неискренность; думает, что его обманывают в дружбе, в приязни и, может стать, редко ошибается. Простительный его недостаток есть маленькое фанфаронство, которое с его фигурою делается смешным.

А. Е. Р‹ы н к е в и ч›. Изо всей галлереи портретов, приведенных мною на память, более других питаю я привязанность, на симпатии основанную, к сему молодому человеку. Трудно объяснить сей феномен в природе человека; какое-то невольное чувство влечет меня к нему; я люблю его; я откровенен с ним, ему только свободно обнаруживаю я душу, не взирая на то, что какая-то мрачная подозрительность или ложное, от других занятое, мнение мешает ему вполне предаться внушению чувств и разоблачиться предо мною во всей наготе. Воспитанный в неге, как любимый сын родителей, ничего не щадивших для его образования, одаренный характером мечтательным, сердцем чувствительным, согретым девственным огнем поэзии, пламенно любящий родных своих — вдруг вырван был сей нежный цветок из объятий дружбы и всего священного и пересажен на почву бесплодную, под чуждое небо. Науки пособили ему коротать горе, в кругу приязни образованной сучит он нить своей жизни; ни ропот, ни горькая улыбка негодования не показывались на устах его; но глаз-на-глаз часто вырывались у него глубокие вздохи, изголовье постели часто окроплялось горючими слезами, мысль его всегда летала далеко, витая около близких и невольно возвращаясь к настоящему, часто оглашал он уединенную келью тихою укоризною на несправедливость судьбы. Сия раздражимая чувствительность, соединясь с физическим расположением к болезни, ввергнули его в медленную чахотку. Он увядает, как цвет юга, захваченный осенними морозами; едва, едва брежжит огонек жизни в сердце, пожираемом сокрытым огнем добродетели и всего возвышенного... Недавно два удара, один за другим, еще более потрясли его колеблющееся

здоровье: пламенея к истине и жаждя познаний, вовсе без всяких преступных видов перевел он из Conversation Lexicon * статью одного немца, который довольно свободно изложил свое мнение о происшествии quatorze ** декабря и о Комитете, назначенном исследовать оное.[1] Мало осторожный для нашего века, в коем стены слушают и потолки глядят, оставил он роковой листочек на столе своем. Нашлись подлые, гнусные предатели, кои, продавши и честь и совесть свою, сделали ремесло из погибели доверчивых, практикуясь в новом своем звании, оклеветали несчастного, и надежда, единственная его подпора, скрылась в тумане, как призрак легкий. Вскоре узнает он, что лучший друг его, любимая сестра, умерла, произнося его имя. С твердостию стоика перенес он оба удара — устоял; но они опалили характер, занозили сердце и усилили яд болезни, свирепствующий в душе...

Е. Н. О-и й.[2] Приветливо и ласково улыбалась ему фортуна на заре и в весну жизни. Сын счастливой любви, дитя-баловень нежной матери, воспитанный в роскоши и изобилии, необходимо он должен был занять, со всеми выгодами хорошего образования и нравственности, характер капризный, мелочный, мнительный. Воспитанный женщинами, по собственным его словам, всем обязанный им же, от них занял он эту нежность и мягкость чувств, эту чувствительность и тонкий вкус, свойственный одному прекрасному полу. Не любя противоречий, не привыкши отказывать себе ни в чем, малейшая безделица может его, любезного и приятного человека, расстроить на целый день. Образованность, опыт, наконец, чтение не изгладили в нем слабостей и ошибок воспитания, коими так часто слишком нежные отцы и матери портят характеры любимцев своих. О-и й, при всех его добрых качествах, в глазах истинного ценителя покажется странным. Мелочная расчетливость, весьма похожая на скупость, и сибаритство

* Справочный словарь.
** Четырнадцатое.

знатного барича в связи с выше описанными недостатками заставляют его пресмыкаться на ряду с дюжинами людей обыкновенных, когда б он по уму, гибким способностям и благородным правилам мог бы парить выше всего земного.

В. Д. Н. Добродушный хохол, с крутым характером и слабостями своих соотчичей и ограниченными способностями ума. Прямиков в точном смысле слова, правил честных, ненавистник всякой подлости и несправедливости; но не озаренный светом наук и ума — суждения его о вещах и людях часто ошибочны. Гостеприимством своим напоминает патриархальные времена. Многим обязан я сему простодушному, доброму человеку.

Н. В. Ш‹ереметев›. Образчик модного воспитания. Все есть по наружности и ничего внутри. На трех языках говорит совершенный вздор. Поет, танцует, знает множество куплетов из модных водевилей, читал Бейрона, Вальтера Скотта и Дарленкура, а сколько в России жителей, как она политически разделяется, солнце около земли или земля около солнца обращается; кругла или плоска она — это ему неизвестно. Знает все современные и былые происшествия и связи двора, перечтет без ошибки всю фалангу придворных и знатных, а не скажет, кто был Вадим, Игорь, Святослав, Никон, Сусанин, чем прославили и посрамили себя Грозный и Петр Великой; [1] что причиною падения греческих республик и римской империи, от чего загорались Пунические войны, за что низложен Цезарь. Кто торжествовал на полях Фарсалии, как умер Катон. Кто оклеветал Сократа? Надменный родством и богатством своим, раб приличий и общего мнения, он в молодых летах предсказывает собою Фамусова: «Ведь столбовые всё»... Робкий и малодушный в нещастии случайном, думаю, он готов бы был решиться на все, чтоб только избавиться от неудобств, коим боярская спесь его и упитанное тело были подвержены. Ежели есть в нем ум, то сие не заметно и затемнено в нем мишурою светского воспитания... Вот новое поколение, на которое должно отечество полагать свои надежды для будущего.

1829-й год

Трудная работа характеризовать людей и людишек была прервана событием, которое я постараюсь описать ниже сего и которое я давно предвидел. Я начну нить краткого рассказа несколько выше настоящего происшествия, украсившего свежими лаврами чело героев Терека, Кубани и Аракса.

Еще с октября прошлого года носились слухи, что непокорные санджаки большой и малый Аджары, Леванский, Шаушедский, Ардanучский, Мегехельский и Посховский соединенными силами намереваются напасть на крепость. Племена сии, дикие, воинственные, издревле возросшие в грабеже и разбое, всегда враждующие против пашей и нередко презиравшие власть султанов, управляются ныне Ахмет-беком, человеком предприимчивым и честолюбивым. Махмуд III возвел его в звание паши ахалцихского, ежели он возвратит крепость назад: жажда прибытка, наличные деньги и честолюбие преодолели робость и бессилие, и Ахмет-паша, действуя на народ обольщениями добычи, подкупом и фанатическою ненавистию к христианам, из остатка войск, разбитых 5, 9 и 15 числа августа минувшего года, умел набрать огромные ополчения, коими мечтал раздавить Ахалцих; но он не знал, что защитники крепости были солдаты, некогда ее покорители, забыл уроки потерь былых и медленно повел несметные легионы свои, высказывая тем тайну своего унижения и боязни... В грозном спокойствии ожидали мы нашествия нового Батыя; крепость приведена в возможное оборонительное состояние, каждому назначено место; каждый знал свою обязанность...

15-го февраля через лазутчиков узнано, что неприятель переправился уже ‹через› Шаушедские горы в Посховский санджак, а 18-го разъезды наши открыли его в 18 верстах. Управляющий пашалыком генерал-майор князь Бебутов немедленно послал в Сураму за тремя ротами обещанного сикурса и донесение о сем главнокомандующему. Деятельность пробу-

дилась в городе и крепости: ломали дома, ближайшие к стенам, готовили мешки и камни, разнесли по фасам ручные гранаты и бомбы, утроили часовых; задержали Кади Ефенди и трех беков, подозреваемых в преступных сношениях. Многие христианские семейства с их имуществами были впущены в крепость; остальные поместились в мечети у ворот и каравансарая. Небольшой объем крепости и опасение, чтоб неопрятное многолюдство не породило болезней, столь опасных в здешнем климате, не дозволили гранитным твердыням открыть для погибающих свои спасительные объятия.

19-го генерал отдал приказ к гарнизону, в коем, уведомляя о приближении вражеских полчищ, убеждал защищаться мужественно. В ночь на 20-е февраля около 4 часов утра аджары, покровительствуемые глубоким мраком, вошли в город с разных сторон. Перестрелка и крики у мечети заставили ударить тревогу — в минуту все было на стенах, и картечь орудий наших уже сеяла смерть в нестройных толпах разбойников. Пять раз выдержали католики натиск аджаров, наконец вопли и ружейная пальба послышались внутри мечети — дикий рев нападающих извне, рухнули двери, и они ворвались туда. Овладев мечетью, с громкими завываниями рассыпались толпы хищников около стен, покушаясь в слепом неведении лезть на границе недоступной, — град пуль, картечь, камни, гранаты ручные, камни огромные посыпались на дерзких, давили, низвергали, уничтожали их. Недоставало только смолы и кипящего масла, чтоб совершенно пробудить в памяти защиту Иерусалима, Казани, Месолунги. Далеко эхо гор разносило перекаты выстрелов, лопанье бомб и гранат, беглый огонь ружей, как перуны северного сияния, облетали кругом стены, — казалось, отдаленный ад открыл преисподние хляби, чтоб своими мрачными отголосками умножить дикие красоты в сем страшном концерте. Опрокинутый, раздавленный неприятель сумраком ночи прикрыл постыдное отступление и, бессильный на великое, бросился грабить город. К нему присовокупились бунтующие граждане, рассыпались по домам,

открыли ружейный огонь, и не прошло 4 часов — у нас уже было 20 убитых и до 30 раненых. Едва брезжущая денница озарила картину, достойную кисти гения-живописца. Пространство между стенами устлано трупами убитых, воздух оглашен стонами раненых, вопли похищаемых сабинянок, как брызги кипящего металла, палили душу. Перестрелка слабела, меткие ядра пронизывали насквозь домы, наполненные грабящими, мольбы и проклятия христиан. Плач ребятишек слышался вдали. Город походил на свежую могилу заживо погребенного. Никого наверху, пустынный ветер колышет стебель полыни. Печально веют ели надгробные, но последние отзывы мученической жизни порою глухо долетают из-под земли, слабеют, замирают и снова раздаются в другом месте.

Днем и в следующую ночь до 1000 христианских душ обоего пола были подняты в крепость; свой собственный дом уступил генерал несчастным жертвам войны. Уважение к горестной их участи и строгая европейская мораль охраняли личную честь и безопасность каждой. Утешно было видеть, с каким патриархальным гостеприимством солдаты наши, сердца, закаленные в ужасе сеч и зареве пожаров, делились с ними последнею крохою пайка.

На вторую ночь смелый католик, спущенный через стену, зажег дом. Нарочно сделали фальшивую тревогу, и, отвлекши внимание неприятеля с одной стороны, из крепости были выпущены два хорошо вооруженных всадника в одежде турок. Один должен был следовать на Ацхур, другой на Ахала-Калаки с донесением главнокомандующему о блокаде крепости. По словам шпиона, посланного к нам из Гертва и пробывшего трое суток между осаждавшими, за ними была погоня, которой однакож они избавились благодаря доброте коней своих...

Каждое утро приветствовали нас аджары несколькими десятками ядер из двух орудий, поставленных на кладбище около башни близ католической церкви, но успешное действие нашей артиллерии не позволяло им сделать и двух выстрелов

сряду. Подозрительною казалась беспечность неприятеля. Кроме бесполезного покушения 27-го числа отнять у нас воду — покушения, стоившего им большой потери, — незаметно было никаких решительных мер. Все заставляло думать, что неприятель вел мину, и все меры предосторожности были взяты. Около слабейших мест стояли резервы во всегдашней готовности. Приготовили возы с землею, чтоб забросать брешь от взрыва в случае надобности. Днем поголовно, ночью весь гарнизон находился на стенах. Деятельность и неусыпность начальников были достойны подражания: везде присутствуя, всюду ободряя, распоряжаясь с хладнокровным мужеством, они вдохнули в солдат надежду и бесстрашие. Твердость опытных воинов наших возрастала с каждым днем. Чувствительно оскорблялось самолюбие непобедимых. Они негодовали, что проклятая орда могла лишить их спокойствия. Они пылали мщением...

Утром 1-го марта чрез пленного армянина Ахмет-паша письмом требовал сдачи крепости, обещая всем безопасный выпуск. Генерал отвечал: «Силу оружия русского не раз испытали неверные; мы не отдаем иначе крепостей завоеванных, как по условиям мира или омыв их кровью последнего солдата. Крепость вверена храбрости полка, взявшего ее приступом. Ежели хочешь владеть ею, полезай на стены, готовы встретить тебя». На другой день бек снова выслал парламентера с письмом, в коем уверял, что нам уже нет никакой надежды; что брат его Абди-бек в боржомском ущелии разбил наголову сикурс, к нам шедший; что ему известна храбрость русских, но что есть обстоятельства, в коих и самое мужество бесполезно. Презрительным молчанием отвечено на хвастливую ложь сию, убедившую о приближении сикурса.

3-го числа, на 12-й день осады, генерал отдал к солдатам приказ красноречивый, в коем, благодаря их за неусыпность, поощрял к новым трудам. С полною доверенностию к начальнику солдаты были готовы на всякую крайность и клялись погребсти себя под развалинами крепости. Привыкшие следовать по стезе

победы в открытом поле, для них был нов род войны оборонительной; но всякий беспристрастный ценитель замечал с тайною радостию, как скоро привыкли они к хитростям обороны, с каким терпением и охотою выносили труды и бессонницу, как неутомимо и деятельно действовали во все время осады. Замечание сие приводит к мысли, что русский солдат, управляемый начальником благоразумным и любимым и одушевленный примером офицеров своих, есть непобедимый колосс, одинаково гордый и мужественный в нападении и защите своей.

В ночь на 4-е марта необыкновенный шум и движение между осаждавшими заставили думать, что они отваживаются на что-нибудь решительное. Все приготовились к бою, алкали крови и жертв. За час до рассвета два жида, перебежавшие через стену, бледные и трепещущие, объявили, что неприятель начал отступление!! Долго не могли мы верить слуху сему, наконец толпы жителей объявили то же. Не знавши достоверно о приближении сикурса и о числе неприятелей, нельзя было решиться на вылазку во мраке ночи, но восходящее солнце застало нас уже преследующих,— и скоро 4 пушки, 1 мортира, два знамя, много пленных и запас артиллерийских снарядов достались в наши руки. К 9 часам прибыл летучий отряд вспомогательных сил под командою полковника Бурцова, а около 5 часов пополудни показался и Херсонский полк с 5-ью орудиями легкой артиллерии. Кровавое мстительное зарево пожара в третий раз залило небо Ахалциха.

По показанию жителей и по собственному сознанию пленных, число неприятеля в первые дни блокады простиралось до 18 000; но многие в толпе сей удовлетворились главными побудительными причинами своего посещения, т. е., награбя и пресытясь, возвратились в домы, так что бежало их не более 12 000. В продолжение 12 дней истреблено у них за 600 человек, наиболее огнем нашей артиллерии. Потеря наших простирается до 105 человек, выбывших из строя. Каждую ночь

бек собирал совет о приступе, и всякий раз большинство голосов решало невозможность оного, упираясь на ежедневно возрастающую осторожность русских. Споры сии длились до тех пор, покуда с одной стороны слухи о приближении сикурса, с другой ложная весть, что отряд генерала Гессе из Имеретии двинулся на истребление пепелищ их, принудили самозванца Ахмет-пашу к бегству постыдному. На утро 4 марта, осматривая крепость извне, отыскали мину, веденную под поворотную башню из сакли, отстоящей от оной на 10 сажен. Незнакомые с правилами искусства, турки дали столь недостаточную толстоту верхней стене галлереи, что оная, не поддерживаясь рамами и подставами, обрушилась сама собою и засыпала тайник. Впрочем, камера с котлом пороху до 7 пудов была устроена порядочно, заложена каменною стеною, и взрыв, думаю ‹?›, был бы верен...

Жители всего пашалыка волею и неволею участвовали в восстании. Для их мусульманского слуха горестно и дико было внимать заветному звону колоколов, водруженных на родной земле их, и победным песням, коими оглашались зубчатые стены доселе непобедимого Ахалциха. Под личиною искреннего участия втайне ковали они крамолу. Привыкши к железному бичу тирании, считая кроткие и человеколюбивые меры признаком слабости, а насилие правом и могуществом, они узнают, но поздно, что русские, благотворители и защитники покорных, становятся грозными карателями в справедливом мщении к народам бунтующим. Уже пробил последний час их. Генерал Муравьев, прибывший с войском вспомогательным, вооруженный огнем и мечом, понесет истребление в гнездо хищников.

6-го числа прибыл 8-й пионерный батальон и с ним генерал Муравьев — предводитель вспомогательного войска. Грузинский, Гренадерский и Крымский полки, следовавшие сзади, были остановлены около Сурама. Ежели бы Муравьев выступил в день прибытия в вечеру, то большая часть

из шайки разбойников была бы в наших руках; добыча и пленные могли быть отбиты, и сие поражение имело б полезное для них влияние в будущем: в другой раз не попробовали б мятежники раздражать русских и старались бы только о безопасности жилищ своих; но он медлил и не прежде 9 часов 8-го числа выступил на легких. Успех экспедиции сей состоял в том, что, следя неприятеля по пятам, выпустил его из рук, ибо он в глазах всех переправился ‹через› непроходимые шефшедские горы; зажгли несколько деревень опустелых, отбили 1500 штук скота и до 60 челов. пленных, усталых пленных из жителей. Кровь, слезы и нищета христиан остались не наказанными, и хищники, ободренные успехом, могут снова тревожить нас. Вообще, можно заметить, что Муравьев действовал так же, как и в Персидскую кампанию, где он своею укоризненною медленностию, недостойною военного генерала, выпустил из рук Абас-Мирзу, которого, с лучшим его войском, мог разбить наголову при переправе через Аракс.

Вскоре после сего получено дозволение от главнокомандующего: жечь и очищать форштадт на ружейный выстрел. Работа исполинская, продолжительная. Много рук, много искусства потребно, чтоб укрепить крепость, само по себе слабую; три раза выжженный и грабленный город походит на груду испепленных развалин. Нет и тени бывшего благосостояния. Более полувека мирной и торговой жизни потребно, чтоб привести его в былое состояние. Слух о приближении главных сил сераскира выгнал остальных жителей. Одни жиды, эти всесветные факторы, одинаково беспристрастные и радушные ко всем воюющим сторонам, составляют население некогда многолюдного Ахалциха.

Апрель

Возвращаясь на днях домой с обычной прогулки, я почувствовал грусть несказанную; на сердце налегла какая-то свин-

цовая тяжесть... оно ныло. Никакие мысли не могли наполнить пустоты тоскующей души — в досаде бросился я в постель. Хотел плакать — не мог, хотел смеяться — это было выше сил моих. Бесился на самого себя, на природу, дерзал роптать на провидение... Мало-помалу успокоились страсти, рассудок подал спасительную нить Ариадны — она пособила мне выйти из сего перепутанного хаоса различных чувствований. Вот разговор, который вели меж собой различные способности души, подслушанный продажным самолюбием. Решите, на чьей стороне была истина?!

Р а с с у д о к: На кого ропщешь ты, слабое творение? Взвесь беспристрастно твой образ жизни, твои занятия моральные и физические, желания, тебя тревожащие, и ты убедишься, что безобразная скука есть основа твоих мучений... Избавясь ее, ты разорвешь цепи, тяготящие сердце, сбросишь вериги, мешающие полету воображения, стряхнешь пыль с характера, от природы беспечного и веселого.

Я (с д о с а д о ю): Старый моралист! Слишком ветхи твои суждения. Спрашиваю: чем можно избавиться от скуки? Занятиями какого бы то роду ни было; но какую пищу могу я сообщить тебе, поставленный судьбою на точку, с которой рассматривает меня свет? Чтение обогатило б мой ум. Полусутки готов я не выпускать книгу из рук, но ты видишь: мы лишены этой отрады; пережевываем какие-то нелепые романы, обреченные судьбою утонуть в Лете. Люблю часто бродить по долам и горам, восхищаться и беседовать с природою. Самые утешительные мысли занимают тогда душу мою, располагают ее к сладким мечтам, к тихим воспоминаниям; но природа мертва. Величаво почиет она на снеговом одре земли, и тщетно ищу я в ней божественного прекрасного. В других обстоятельствах и самая праздность может доставить удовольствие: беседа приятелей добрых, разнообразие суждений; новые встречи; шум городской жизни, приятство жизни сельской, привет друга, ласки прелестной и самые шалости, думаю, позволенные в мои лета, могли б развлечь меня.

А здесь? Беседы, не поддерживаясь новыми идеями, питаются нелепыми слухами и пересудами; часто встречаю новые лица, но они чужды мне и по чувствам, и по религии, и по языку. Вся деятельность города толпится и сосредоточивается на грязном базаре; кров деревенской хижины едва укрывает от непогоды хозяина; гуляя по системе, а не для удовольствия, всюду встречаешь бледные грустные лица, слышу вопли нищеты; друзья и родные слишком далеко для искреннего пожатия руки; забыл, что выражает улыбка снисходительной подруги; к невинным шалостям преграждены все пути. Подай, строгий судия, подай мне орудие, коим бы мог я разломить эту кору случайностей, и тогда я увенчаю тебя венком победы — вручу скиптр правления над бренным человечеством.

Рассудок: Это орудие в самом тебе. Извлеки из души занозу лени и бездействия, рассматривай самого себя, умей быть полезным во всех обстоятельствах, рассуждай, пиши — и ты будешь доволен собою. Пчела и из горьких растений извлекает мед душистый — подражай ей, и в спокойствии совести, в веселом расположении духа, в радости после доброго дела — ты найдешь награду и утеху...

Спор наш никто не мог решить, кроме холодного опыта, — я послушался предателя, но избрал терновую, опасную дорогу и, сделавшись от безделья журналистом, только взволновал в людях зависть, клевету и все смрадные и грязные лужицы в душах их. Рассудок снова остановил меня, и я навсегда сошел с литературной кафедры...[1]

Мысли. Человека с твердым характером не застанет врасплох несчастие: не столь малодушный, чтоб страшиться его, не столь ветреный, чтоб презирать, — он всегда готов состязаться с ним. Будущность свою рисует всегда в худшем свете. Ежели она дурна — он не ошибся, ежели хороша — чистый выигрыш на его стороне. Чтоб никогда не обманы-

ваться, он никогда не надеется — и вот тайна: терпеливо и презрительно улыбаться всякому горю, всякому капризу судьбы.

Зависть есть одна из фурий, грызущих сердца людей. Человека завистливого можно сравнить с сохнущим деревом, средину коего точит червь сокрытый. Благоразумный никогда не обнаружит ее; благородный прикрывает видом соревнования, робкий и подлый, будучи бессилен состязаться явно, клеветою, злословием и мелкими насмешками обнаруживает тайное недоброжелательство и не заметно для себя самого увенчивается терновым венком общего презрения.

Новый сераскир-паша, деятельный более своего предшественника, предпринимает огромные укрепления все‹го› Эрзрума. Но может ли хилый тростник удержать реку бурную? Что остановит победоносное войско, привыкшее мимоходом покорять крепости неприступные? Дух торговли и промышленности, господствующий меж гражданами, побудит ‹встретить?› с ласкою гостей незванных. Эрзрум будет для нас вторым Тавризом.

На днях получил от матушки и брата Александра письма, — они укоряют меня в молчании. Больно тронули меня укоры сии, вовсе незаслуженные. Не знаю, к кому отнести преступную неисправность доставки писем? Я отвечал им и спешил оправдаться! Читинские братья мои здоровы и успокоились по возможности. Ген. Лепарский есть благодетельный гений, ниспосланный к благу несчастных страдальцев.

Гуляя по городу, часто случалось видеть мне детское сражение снежками. Христиане всегда занимают какую-нибудь узкость или высоту, мусульмане нападают и вытесняют их.

Некоторые вооружены щитами и пращами. Католики осыпают их русскою бранью и насмешками, градом снежных ядер отвечают турки. Взрослые прохожие смеются и радуются успехам, турки за своих, католики за своих, жиды за обе стороны, и нередко сие побоище оканчивается кулачными ударами и окровавленными лицами. Вероятно из-под кровли домов выносят ребятишки вражду, внушенную им отцами.

В начале апреля в некоторых больных открыты признаки чумной болезни, следствие слабости добродушного генерала, который по настоянию и безрассудной просьбе Клюгена позволил после блокады грабить город. Чума закралась в вещах.

16 апреля, по случаю увеличившейся чумной заразы, гарнизон был выведен из крепости и расположен лагерем в балаганах, за р. Посхо. Под выстрелами чума свирепеет. Ротные командиры дремлют в укоризненной беспечности. Взяты самые слабые предосторожности. Наконец, время и свежий воздух ослабили разлив ее. Кошкаров замедлил присылкою палаток и по своем приезде действует деятельно в пользу человечества. При переноске лагеря на свежее место велено жечь все вещи — чума снова усилилась. Я наскучил ужасами [не разобр.] и благодаря чуду, спасшему меня от гнусной смерти, 24 мая присовокупился к сводному батальону подполковника Клюгена. Полк остался в Ахалцихе... В деревне Вале выдержал 14 дней карантина. Мая 29 выступили с Херсонским гренадерским полком под командою генерала Бурцова на истребление селений в бунтующем Кобасинском санджаке. В один переход совершили путь свой, сбили, разогнали толпы неприятельские... Получили повеление от главнокомандующего, обошли другим ущелием в санджак Посховский. 2-го июня близ деревни Чабирь встретили нас Кася-бек и Ахмет-паша с 12-ю тысячами. Жаркое дело длилось пять часов. Успех — совершенное разбитие неприятеля. Трофеи — 2 знамени, 3 пушки, 1 мортира, лагерь, 50 пленных, 150 верблюдов.

и множество снарядов. Стрелки наши были в особенной опасности.

3-го числа Херсонский полк соединился с главным отрядом. Наш батальон поступил в состав полка главнокомандующего. Явился Кошкарову — принял хорошо. Узнал его — достойный человек. Скучно. Ви‹шневский› боится приблизить меня к полковнику. Видимый эгоизм его... Написал письмо к родным.

(На этом рукопись обрывается)



РАССКАЗЫ М. и Е. БЕСТУЖЕВЫХ В ЗАПИСЯХ СЕМЕВСКОГО



I

РАССКАЗЫ М. А. БЕСТУЖЕВА [1]

Встреча с Михаилом Александровичем Бестужевым

14 июня 1869 г. М<ихаил> Б<естужев> — довольно плотный старик 69 лет, несколько выше среднего роста, загорелое красноватое лицо, коротко обстриженные по-военному с большою проседью волосы, не плешив, усы подстриженные, коротки, нафабренные. Говорит довольно хрипло и как бы иногда заикаясь, но приятно, с увлечением и горячо. Манеры хорошие, округленные, точно генерал выхоленный.[2]

Брат его Павел погиб только за то, что Мих<аил> Павл<ович> нашел на столике между двумя койками Бестужевскую «Полярную Звезду» с стихами «Исповедь Наливайки», и то не он, а товарищ его читал, и Бестужев был схвачен. Мать писала государю, что это мой последний сын. Тот отвечал: «мы его накажем отечески» — и угодил в солдаты.

З а г о р е ц к и й — был совершенно русский человек, серьезный, молчаливый до-нельзя. Слова не добьешься, зато что уже скажет — то веско и здорово. В Петровском, убивая тоску, стал делать картонные часы. Бывало, поляк сосланный Люблинский болтает и ругает поляков. Загорецкий встанет,

и [не разобр.] если ты скажешь слово, я тебя убью!». И тот стихал.[1]

20 февраля 1869 г. в Петровском заводе умер Иван Иванович Горбачевский, удивительно добрая и чистая натура. Заводские управляющие всегда оказывали ему всякие льготы: в постройке мельницы, в поставке лошадей под возку угля, в мыльном заводе, отводили луга, — все это дело у него по доброте и беспечности лопалось. Он связан был с хорошенькой замужней женщиной, и муж эксплоататор ее [не разобр.] их из двух домов [не оконч.].

В последнее время Горбачевский стал жаловаться на нездоровье; новые управляющие, люди молодые, нашему делу не оказывали сочувствия и уважения; его поперезабыли, и он после мучительной болезни угас.[2]

Алексей Петрович Юшневский был человек в высшей степени серьезный и пунктуальный в исполнении своих обязательств. Утром, отправляясь в мундире в должность, он дома не расстегивал ни одного крючка. Не читал ничего, кроме самых серьезных, даже философских книг. Бывало, сидит у Киселева, — вел‹иколепная› квартира, виден сад, — там жена его, Марья Казимировна, гуляет, много офицеров. Юшневского ничем не оторвешь от книги и не вызовешь в сад. Но под ледяною корою [не разобр.] теплая и впечатлительная душа.

Жену свою он взял от живого мужа. Когда ее в первый раз встретил, он упал в обморок. Когда умер Вадковский, он, не сменяясь, пронес его гроб до церкви, прочие сменялись; поставил гроб на катафалк, два-три шага отошел и упал мертвый. Тут был доктор Вольф, искуснейший врач, который мертвых подымал на ноги, пустил кровь, но не пошла: «возьмите его, он уже там».

Борисовы: два брата жили верстах в сорока в д. Разводной близ Иркутска. Один был сумасшедший, другой только

и мог его сдерживать. Он занимался переплетным мастерством и проч. Брат — несумасшедший — поражен был апоплексическим ударом; другой приходит, застает труп, режется, на двор бежит, вешается, бросается домой, зажигает листы бумаги и обрезков, все это загорается, и они оба пылают.

Оржитский служил в уланах, терпел нужду. Бывал у Рылеева. Дядя оставил ему наследство. Он вышел в отставку. Рылеев приглашал его в общество. «Господа, пожалейте меня, я хочу пожуировать, пожить. Если будет удача, я весь ваш». Впоследствии в шутливом разговоре Оржитский говорил: «Если вешать, то надо вешать экономически. На старом корабле стопушечном есть старые веревки, есть вымпел, мачты, — на пространстве пяти футов можно повесить всех их и место еще останется».

Н. Бестужев простым ножом сделал часы, подарил их Муравьевой. Потом его преследовала мысль удешевления вывоза с упрощением хронометров.

От неимения хронометров на кораблях непременно судна два гибнут из общего числа. После Николая Александровича остались восемь часов стенных и все это понаверчено дырок и проч. «Едва двое часов с трудом сложил я».

В крепости я два месяца бился, прежде чем заставить Николая Александровича понять, чего я хочу своею азбукою. Мои ответы были: «знать не ведаю». А стравливали беспрестанно с братом и проч.

Перемена места из Кургана в Селенгинск стоила Елене громадных хлопот. Если бы мы предвидели их приезд, мы бы задумались перемещаться в Селенгинск.[1]

Беседа 19 июня

Блевнул Греч на меня. Он на меня, как на ребенка, смотрел, я забавлялся с его детьми. Николай Бестужев и Рылеев его приказывали остерегаться. Зазвал в кабинет в 1825 году,

шутливо, наглым образом стал выпытывать, ведь братья со мной не хитрятся. А, так вы шпион? Прощайте, руку не подал и ушел. Он блевнул в меня.

Записочки писал к нам в крепость. «Подлец этакий». ‹Николай Бестужев› записку разорвал. А за глаза он нас ругал и подличал.

Как мог я «ничтожный и простой» в неделю приготовить.

Михаил Павлович: «ты мерзавец, ты причина всех гадостей» — как бы я, будучи пешкой — как бы поднял. — Брат Александр пришел в кубрик в то время, когда раздавали боевые патроны. Притом его никто из солдат не знал.

В Союзе Благоденствия не было подписки, клятв, протоколов, повесток. 20—30 человек сходились у Рылеева, либо у Глинки, у Трубецкого [не разобр.].[1]

Петр Иванович Борисов образовал Славянское Общество под влиянием иноземца неизвестного. Здесь все те же речи были, клятвы, кинжал, черепа, но это была энергия молодых людей, и они внесли в Южное Общество энергию.

Михаил Павлович привез Багговута на завтра из 1 корпуса с экзамена. Как он мог увлечься, так я спас его только арестацией.

М. А. Бестужеву с горячностью гр. Кушелев младший: «вот рука моя: если я нужен, располагайте мною». — «Вы благородно поступаете, мы идем на верную смерть — нам нужны не вы, а солдаты».

А это, что я пощадил всех офицеров, ничего не говорят.

Кто убил Милорадовича? Не знаю, смотрел в другую сторону...

Я вырвал пистолет у Каховского. Он был в воспаленном состоянии.

Петр Бестужев спас Михаила Павловича.

Тиз<енгаузен> не был декабрист.[1]

Беседа в июне [?]

Муханов устроил литературные вечера, сочинения, переводы устраивал. Я тоже участвовал; я представил о Шекспир<овой?> драме; после того я читал морскую повесть, Купер, подражатели, «Случай — великое дело» — по просьбе Муханова. Все дамы просили читать. Муханов: «я поеду на поселение, напечатаю»... Известие от Муханова [не разобр.]. Были обыски. Я сжег все бумаги, — у тебя черновые — отдай... Окна заклеены.

В Иркутске гражданский губернатор Цейдлер свел Ник. <и> Мих. Бестужевых с Александром Бестужевым. Последний ехал в Якутск с Муравьевым Матвеем. «Не было блесток Бестужевских» — был грустен, ровен.

Оржицкий при обнимании с М. Б.: «язык до Сибири доведет».

Рылеев сорвался.

Отец Петр из Казанского собора — разные отзывы.

Ко мне поп седой вошел, бумагу и карандаш вынимает: «Вы приняли обязанность сыщика». — «Жалею о тебе, мой сын».

Показания были для Николая [не разобр.] счастливы тем, что слышал [не разобр.] от нас правду.

Народ о казни обманули днем, даже часом.

На площади мороз. В одних мундирах... Ефрейтор Любимов... «Что жена горюет?» — Стоим. «Зачем вы нас не ведете?» — Я залп отставил. Выскочил перед фронт и человека два-три повалились... Трагическое с комическим переплетено.

Торсон советы давал о флоте. Гнилье было, половник был выкрашен... Из 5 кораблей негодный 1 — по дну. 2 — в Голландии, а между прочим миллионы шли на него [не разобр.]. Подарил Ал. Б‹лагословенный?›. Качалова благодарить, а Торсона удалить со взоров государя.

Пестов на руках М. Бестужева умер в Петровском. Застудил. Артамон Муравьев прорезал карбункул — пять дней.[1]

Александра Григорьевна Муравьева умерла в Петровском. ‹Гроб› оклеили золотыми бордюрами. Как бомбоньерка; в какую-то бурю пошла и простудилась. Дочь ее Ноно Муравьева в Париже.[2]

На допросах призыв к раскаянию. Я знал, что меня помиловать нельзя.

Одоевский соскочил, бежал, сел. Фельдъегерь объявил Башуцкому, трясутся губы: «Послушай, ты так говоришь, что и умный тебя не поймет».[3]

Николай вспомнил, оторвал бумажку, сказал Чернышеву: «ты знаешь, этот злодей 13 декабря охранял меня». У коридорчика часовой, я водил смену в 1 час (по приказу Николая), курками сцепились, — бледная фигура Николая, вопрос: «что там делается, что случилось?» — «Больше ничего? Дай мне знать, если случится что-нибудь!».

Измайловцы избили Ростовцева, когда он бросился туда уговаривать присягать; на площади Оболенский дал в рожу. Во дворце он прикидывался больным.



М. А. БЕСТУЖЕВ.
Фотография С. Л. Левицкого. 1860-е годы.

Барятинский воспитывался у иезуитов — там и Алекс. Куракин.

Николай ложился по земле и следил за равнением ноги.

Николай ‹Бестужев› лет за пять вступил в общество, а я... [не разобр.].— Принял меня Торсон. Никаких клятв, обещаний. Знали только одного. Брат меня не принимал. Я даже не знал, что он членом.

Если бы ‹и› не 14 декабря, нас все-таки перехватали бы, и мы бы сгнили в казематах.

Мих. Павл. шеф Московского полка... Взводы заходят, как графленый рапорт; подойти бывало нельзя.

Немецкая вошь. Михаил Павл. не едет встречать. Не смотрит на Ел. Павл. Я думаю, если бы эти свиты в солдат обратить, то отличный развод бы сделал.

Мария Федор. все время говорила: *повесить их*.
— «Ты ее каблука не стоишь».

Зоологические наблюдения у нас все были.

Волконская Мария Николаевна в шахту спускалась.

Работали на Петровском заводе за 30 верст. Сначала в казарме дамы жили, потом свидание в домах.

Для «Стрекозы» в Кяхте Орлов доктор издавал. В 60 писалось экземплярах.[1]

Давыдов басни шутливые писал: поправили ‹?› и то намеков ‹?› было много, я с Петровскими...

Однажды жил коллежский регистратор.
Превосходительным он был
Не оттого, что много жил,
А оттого, что р‹усский› им‹ператор›
К нему на з‹адний› двор ходил.
Однажды серенький паук
Бежал ужасно торопливо
Из А‹кадемии› наук.
Другой, который горделиво
На всю вселенную смотрел,
Вскричал: «Смотри, какой пострел,
Всегда он и везде поспел...
А сам не знает назначенья,
Что велено его поймать
Для М‹инистерства› н‹ародного‹ пр‹освещенья›».

Литературная газета «Стрекоза» в Кяхте, присылалась.

«Николосор» — в 20 или 30 строф. Прекрасная едкая шутка.

Он доброд‹етель› страх любил
И строил ей везде казармы,
И где б её не находил,
Тотчас производил в жандармы.
При нем случалось возмущенье,
Но он явился на коне,
Провозглашая всепрощенье.
И слово он свое сдержал:
Как сохранилось нам в преданье,
Лет 40 с ряду все прощал,
Пока все умерли в изгнаньи.

«Стрекоза» года 4 выходила в листках.

Мозалевский и Соловьев выручили Лепарского по делу Сухинина.[1]

В Селенгинске нашли казацкого урядника, Кузьму Ивановича Скорнякова. Славный человек. Выбирайте сами, из казенных оброчных статей «Зуевскую Падь» (между двух гор).

Беседа в июле

2 пистолета Кахов‹ского›... вырвал, — пистолет и теперь у него.

Щепин и другие не были в Обществе; в три дня обработал.

Завалишин из Камчатки на курьерских... Предложил Александру I общество — ничего; подбивался к Рылееву, оттуда к молодым морякам, глупые идеи.[1]

Арб‹узов› — на память. Назначен историографом и содерж. музеем. Сжигал часть бумаг, а потом допрос. Арбузову попали его стихи. В Петровском ханжить начал, — Кучевский майор хотел Астрахань сжечь [не разобр.] ну с ним не переспоришь.

Лейб-гренадеры были в крепости, они были наши, тогда можно было капитул... ядрами во дворец валить... поставили на Исакиевском мосту 4 пушки и валили, люди подстраивались... 2 взвода рухнули в воду.

Дом первоначально на 4-й линии, а 14 семья жила по 7 линии, у Андреевского рынка.

Я остановился против гвардейцев, а то бы они выстрелили.

В Алексеевском равелине. Молчание... часовые молчат, — засвистал песню, которую знал Николай, пресмешная, а он отвечает... «Если осмелитесь»... Брату — внушения... Много времени прошло. Кое-как книгу выпросил IX том Карамзина об Иоанне Грозном — читаю, и вдруг идея... стучим — жив... по утру — в середу вечером... мы можем говорить. Если простую азбуку, то бить 30, 40 ударов для последней буквы, напр. Я=25 ударам. *Я ухожу* — 23=*у*. Отделить гласные от согласных особенно и выбросить неупотребляющиеся 20

согласных. 4 разряда их и 1 разряд гласные. Оба — моряки. Часы — двойной удар; — сокр‹атить› вдвое битье согласных, *б*, *в*, *п*. Знак понимания. Так что выходило одними согласными букв‹ами›. Так что разговор был. Принесут бумаги, сколько листов бумаги я уже даю ему знать, в чем бумага, как отвечать, и мы согласо‹вали›.

1 р—б, в, г, д, ж,
2 —з, к, л, м, н,
3 —п, р, с, т, о,
4 —х, ц, ч, ш, щ.

В Шлиссельбурге 7 окт. говорил [не разобр.].

Палочка обожженная, в железо били, кузнечики [?].

Гласные бились отдельно редко, а другие били отдельно, — легко понять было.

Месяц бился брат, прежде чем понял его; он думал, что я верчу дырку; мы узнали, что окошечки замазаны для осады.

Завострил, от ножки деревянной кровати отколол лучинку, нитки из одеяла, от вентилятора ‹отколол›, успел провертеть свой ряд кирпичей; стал ряд мой вертеть.

Я скован был, я сяду в углу темном, и тут скорее [?] передать, а он сердится, и трудно будет... До той минуты — когда от матушки письмо.

Лилиенанкер старик-смотритель шарит стену, я в последний раз кулаком начал стучать.

Отодвинул кровать, отбой был... царапает азбуку, дает знать возобновление и начал палочкою бить, азбуку записывать; перпетюелькою царапал. Когда я перестал, погодил немножко, было поздно — волнение — лег спать. Утро — а я спал через комнату. «Слушай!» и лег. «Здравствуй, Мишель, здоров ли ты?» — успел ночью выучить. — «Здоров, я в цепях, как ты». — «Я плачу». На этом разговор кончился...[1]

Немец рубанул знаменосца.

Мундир мой М‹ихаил› П‹авлович› во дворце еще сжег.

На руках у меня железа.

Я знал, что я погиб — будь откровенен [не разобр.], что ж, я и думал, что не погублю других.

На дворе гауптвахты 3 дня, связан, руки скручены, не давали есть, ночью Чернышев спрашивал. — «Я не знаю, я не слышал, я о другом думал»; [не разобр.], я не поклонился, я видеть его не мог.

Железа сняли после пасхи.

Одоевский живой человек, жизненный кадет в душе, он соскочил с саней добежать по Неве, за ним жандарм летит, бежит долго, дольше, — поймали, он [не разобр.]... его привезли.

Башуцкий — дрожащий голос, «тебя и умный не поймет», он приказал провожать двум конногвардейцам; сестра мне прислала шубу братнюю... Солдаты держат под руки. В жаркой комнате — в ожидании Сукина... Два солдата те ж самые... Офицерские шпоры, оставил солдат, принес воды... «снимите шубу»...

Беличья шуба, плед принесли, шубу, надели на голову колпак, поставили за ширму, слышу — звенят шпоры, скоро, подождите... Остановился — сдернули шапку, комната яркая... М‹ихаил› П‹авлович›, Татищев, Чернышев, допрашивали; — красное сукно, блеск украшения как в тумане видел... На эти ругательства — 4 раза приводили... С Щ.-Ростовским очная ставка, что он не член.

Они не хотели верить, что Фридрихс, Шеншин бригадный, Хвощинский — по ж..., батальонный командир, плашмя рану получил.

Щепин действовал в угаре, я его настроил, что он так действовал за Константина.

‹Утром› гр. Кушелев ‹ныне› ген.-адъютант спрашивал: «я буду с своей ротой, хотите, чтоб я был». Я сказал: «ваше присутствие не нужно... Дайте роту»... «И прекрасно, — возьмите роту».[1]

Багговут прапорщик М. П. ‹Михаил Павлович› сдал его мне — «возьми, Бестужев, будь отцом!». 14 числа рвался со мной. Я знал, что нас возьмут — дело не неожиданно было бы. «Останься, не участвуй, я сказал, чтобы ты не шел, нам нужны солдаты!». Подозвал фельдфебеля, — «прапорщик, вашу шпагу!» — домашним арестом арестовал его. Будь он с нами, погиб бы [не разобр.].

Все бы ротные командиры были бы сосланы, если б я не молчал на допросах. Кушелев проезжал в Кяхту — прислал поклон и благодарность, что помнит, чем обязан.

Я был в беленьком полукафтане. Как оборвали, так и стоял.

Лунин выступил вперед. Крутит усы. «Позвольте мне сесть» однакоже с таким презрением.

Лунин был умен необыкновенно, сестра его умоляла всем чем [не разобр.]. «Я получила письмо... владелец семидесяти миллионов... Письма твои ходят по Петербургу, бесится каждый раз». Выстроил он себе в Иркутске Петровский замок, острог, частокол... собаки тысячные, ружья великолепные, ни к кому не идет... Звонок к нему. Ефим или Трофим ссыльно-каторжный, верен ему, как собака, душу положит за Мих. Серг. «Хорошо-с, я доложу». — «Скажи, что некогда, что я сплю»... «Приказал сказать, что сплю». Так часто о Трофиме в письмах к нему. Начинать рассказ его биографии, как он

был крепостным, на охоте на собак променяли, как попал [пропуск], что женат на хорош<енькой> женщине, барин отбил, [в] солдаты отдал; что он претерпел в солдатстве, как он голодал, сделал преступление, схватили его и т. п., заключают в [тюрьму]. Что всего более удивительно, что этот человек честнее и лучше всех начиная с ген.-губернатора и до последнего чиновника в Иркутске.

Перед этим написал об делах. Н<иколай> П<авлович> приказал перевести его в Акатуй. Тогда Успенский вызвался — ночью его окружили, знали, что он не пустит. Полицмейстер молодец тоже «Ружья совсем не для Успенского». Пропасть записок было, книг много, денег пропасть.....[1]

Одни говорят, что был убит, а другие говорят, что умер от угара.

Трубецкого с овациями хоронили студенты в Москве.

Я сжег свои записки в 1863 [?] году.





РАССКАЗЫ Е. А. БЕСТУЖЕВОЙ

Встретил в зале старушку бодрую, живую, черные волосы с самой незначительной сединой, сутуловатая, среднего роста, приятная улыбка, есть сходство с Бестужевыми. Была в черном платье, черной мантилье, с повязкой на голове черной.

Дружески протянула руку, сказала: «я догадалась».

— А я вас узнал по сходству с братьями.

Прочла записку собственноручную, нечто в роде формуляра А. А. Бестужева.

В прежние годы молчала, теперь с трудом и как бы неохотно от непривычки говорила, Свиязев наводил; вечером, после чая, в бестужевские сумерки разговорилась и говорила очень хорошо.

Отдавая записку: «расцветите это с вашим красноречием и вашим благоразумием».[1]

Отец мой Ал. Федос. был очень замечательный человек, артиллерист. Посылали его в Архипелаг. Посадили на корабль. Встретились с шведским кораблем. Началась стрельба. Ал. Федосеевич сам наводил. Высунулся из люка бокового, — ему щепой ударило в щеку, сильно повредило челюсть, упал замертво, его бросили в трюм между ранеными. Товарищи его страшно любили, захотели хоть мертвого увидеть, вытащили, все средства не помогли, наконец, хотели выбросить в море, но приставили зеркало и заметили дыхание. Он выле-

чился. Но шрам оставался, и косточки выходили гнилые. За ним ходил Федор лакей, отец Тихона — оба были потом отпущены на волю.



Е. А. БЕСТУЖЕВА.
Литография В. Погонкина. 1829 г.

Ал. Федосеевич женился после брака. — С детьми, когда приходили онк в отпуск, занимались Василевский. Мальцов и друг. Отец сам спрашивал их.

Ал. Фед. знал отлично французский язык. Он стал издавать Петербургский журнал. В. к. Александр Павлович, любя его и зная, что у него дети, передал, лучше бы он не под своим именем печатал. Нашли Пнина, но в сущности редактором был Бестужев.

Ал. Федосеев. оставил военную службу вследствие ненависти к Аракчееву; он сделался правителем канцелярии А. С. Строгонова, и его предписания умные проникали даже до Екатеринбурга. Ал. Федосеев. умер в 1810 году. Когда он был ранен, его шесть недель лакей Федор поил бульоном через соломинку.

Детям говаривал: не оставлю богатства, но честное имя и хорошее воспитание. Сами все заработаете. Лекции, впрочем, едва ли дорого стоили.

Василевского называли: «Рим и Греция идет».

Н. А. Бестужев был отличный актер. Масон. Сестра нашла у него одно время фартук, крест, молоток. Секрет о заговоре строжайший, сестры ничего не знали. Вошел в заговор ради любви к брату Александру.

14-го декабря вечером прибежал первым к сестрам Михаил Александрович. «Сестра, я погиб, я теперь ничто». Стал срывать знаки отличия и бросать. «Дай платье». Надел заячий сюртук и ушел. За ним Ал. Алек. бросился на колени пред матерью, повинился, что он собственно погубил братьев, что без него бы они не попали. Простился и ушел в партикулярном. Наконец Николай Алек. «И ты также замешан». — «Да ведь я по нашим законам уже был виноват, что знал, да не донес, а мог ли я донести на свою кровь. И так я сам вмешался. Дай красок ящик. Да вели принести мне чаю». Я пошла распорядиться, он исчез. Поздно ночью явился полицеймейстер с обыском. Это была махина страшная. Ел. Алек. его приняла:

— Вам велено осмотреть братьев, а мать не приказано убивать?

— Нет.

— Так дайте ж я сама распоряжусь. — Пошла впереди тихонько, дошла до спальни. Мать лежала за ширмами.

— Маменька, вы спите?

— Нет еще. — Она не все еще знала, но догадывалась, пред ней Ел. Алек. все смягчала.

— Прислали за братьями, чтоб они шли присягать.

— Вот нашли время, — ворчала мать. Она терпеть не могла полиции. Полицеймейстер тихо чрез спальню осмотрел углы.

На другой день Б‹орецкий›, лицо темное, любитель театра, приехал к Ел. Ал. и объявил, что Мих. Ал. просит платье, он-де у него и хочет явиться к государю.

Я думала, что надо являться во всем параде. Но у дома ходили уже шпионы. Навязала на Татьяну Григорьевну старуху эксельбант, мундир, знак, шарф, и она пошла под салопом. Остальное выбросили в окно. Пустошкин подхватил и понес.

Томительное ожидание. Приезжает полицеймейстер Д‹ершау›, полковник, с хитрейшим допросом.

— Брат ваш Ал. Ал. у государя, он кается, царь доволен, — Бестужев, ты-де подаешь мне случай тебя простить. Так где ваши братья, я поеду их уведомлю и посоветую, чтоб они сами явились.

Я не была так проста, чтоб выдать братьев; посадила полковника, выпроводила его, а между тем тщательно прикрывала боковые комнаты, где чистилось платье и белые брюки для Мишеля.

Тот явился добровольно, но было уже поздно, это не вменили в заслугу.

Ал. Ал., стоя во дворце и говоря совершенно смело, сказал подошедшему к нему с изъявлением сожаления: «Пошел прочь, негодяй!».

Николай Александрович красился и переодевался, кажется, у Торсона; прошел до Кронштадта к любовнице. К нему пришел благородный муж ее.

— Ник. Алек., вас ищут, идут схватить, бегите.

Тот прошел дальше. Не доходя Толбухина, на косу песчаную, здесь домики матросов; вошел в один из них, попросил есть. Баба дала ему репу скоблить. Между тем, заметив блестевший на пальце солитер, стала все вокруг него ходить и присматриваться к его раскрашенному лицу.

Приехали сыщики.

— Кажись, у меня Бестужев, — сказала баба, — лицо не то, а по манирам как быть и он. Да и перстень...

— Н. А., ведь я вас узнал.

— Коли узнали, так ведите.

Повезли. Царь говорил стоя, предварительно чрез Левашова обещав пощаду, если откровенен будет. Н. А. Бестужев подобно братьям никого не оговорил, но говорил общее и смело и свободно. Он привел три причины бунта:

Не хотели шутить присягой. — У нас 600 000 законов и столько же узаконений; рассказал сложную и запутанную тяжбу его семьи, которая решалась и вкривь и вкось. Наконец, объявил, что сам Александр был виною заговора, обещав в Варшаве конституцию всем и ничего не сделав для России.

— Спасибо за откровенность, Бестужев, мне во многом открылись глаза. Ты отделаешься годовым только заключением в тюрьме. Ты расстроен? — Велел дать ему обед.

— Дорого я расплатился за обед царский и шампанское, — говорил потом Н. А. Б., — ведь нас всех государь повысил разрядом, дал большие чины в росписи.

Сестер до 13-го июля 1826 года не пускали в крепость. Все это время Елена Александровна ходила через крепость, мимо крепости, должна была унижаться в семье негодяя плац-адъютанта; у него жена расфранченная, дочь сентиментальная, а братья томились в тюрьме.

— Попадетесь вы, Елена Александровна! — говаривал ей рыжий плац-майор, — посадим мы вас в каземат!

— Да ведь от меня все солдаты разбегутся! Ведь вы знаете, какая я бойкая!

Ал. Ал. сидел у Никольских ворот, к парку, по левой руке, крайнее окно. Внизу ходили гвардейские часовые. Действительно, гвардия всегда была развитее и благороднее. Смотришь, бывало, беспокойным взглядом, а уж солдатик, не смотря на меня, бывало, скажет: «Здесь, здесь — давно вас ждут». Подходишь к воротам и взмолишься бывало: «Отче Никола, сделай какое-нибудь препятствие, чтобы мне можно было приостановиться у ворот подольше».

И действительно, протащится какой-нибудь воз с дровами.

Ал. Ал. был очень неосторожен. Подобно Железной Маске, он написал раз что-то на тарелке и выбросил ее из окна в воду. За это был штрафован.

Бывало беспрестанно посылает солдата гарнизонного с запиской карандашом: пришли, мол, отчет о деле нашем в пироге и т. п. Других солдат гоняли за эти посылки сквозь строй, а этого не трогали. Должно быть, это был сыщик, записки предварительно читались, а дозволяли читать, в ожидании, что мы что-нибудь проболтаемся. Бывало, накормишь, напоишь солдата, дашь ему денег. А он все сидит, в чаянии что-нибудь выведать.

Страху наберешься много. — Ступай, голубчик, скажи тому, кто послал тебя, чтоб он больше не посылал, мы уж сами все знаем и устроим.

Так же был неосторожен и Ник. Алек. При свидании нашем в июле 1826 г. он, между прочим, забывая, что здесь комендант, спросил:

— А ведь ты, сестра, я думаю, догадывалась?

Я нашлась. Тут был комендант.

— Нет, не догадывалась, а если бы догадалась, то спрятала бы ваше платье и не пустила бы вас.

Пред прочтением сентенции они были необыкновенно веселы. Шесть месяцев держали взаперти, а тут дозволили свидеться, плакали, целовались. Ник. А. шутил много.

— Ну, братья, не отвечаю за других, а мы с вами свидимся, мы разделим вашу участь в Сибири.

— Какую мы колонию там устроим, как заживем, — говорил шутливо Н. А.

Комендант и приставники были очень вежливы при наших свиданиях в комендантском доме. В тюрьму не пускали. Комендант все выходил, шли приготовления к виселице.

Мы разов шесть виделись. Когда сидели они по казематам, то Мих. Александр. — я з ы ч н и к — выучился особому языку, чрез стены. Особые звуки и удары. Долго его не понимали, и он сердился. Наконец стали понимать до того, что если передается что смешное, то в трех-четырех казематах вдруг разом захохочут, и часовые думают, что это сумасшедшие.

А с ума сойти было легко. Я видела Батенкова в 1847 году, как ехала к братьям, дала ему знать о своем проезде, хотя и не была с ним знакома. Он прискакал чуть ли не из Верхотурья. Долго и много говорил. — «Ведь мы спать хотим». — «Да ведь я 20 лет молчал». Говор его был хорош, но хохот поразительно дик, говорят, он ныне изменился в хохоте.

Петр Алек. братьями же был отправлен в Кронштадт, чтоб не попасться ему, юноше, провожать даму. Но он подозревал все что-то, кое-что подслушал и, увлекаемый любопытством и желанием разделить участь братьев, прискакал утром 14-го ч., едва не утонув, из Кронштадта.

— Дорого я поплатился за свое любопытство, — говаривал он иногда в те минуты, когда приходил в себя от безумия. Он спас жизнь Мих. Павл. — Кюхельбекер положил пистолет на его плечо и прицелился. — Что ты делаешь, — закричал Петр Алек., — взял пистолет, стряхнул на земь порох и растоптал. Это дело приписали унтер-офицеру. Бестужев-де не мог спасти великого князя.[1]

Петр Ал. умер в сумасшедшем доме около 1844 г. В то время я очень сошлась, по крайней мере наружно, с этим двуличным негодяем Дубельтом.

Когда Ал. Алек. был в Горном корпусе, ему очень не нравилась эта часть, а главное необходимость ехать потом в Сибирь. — Мамаша, — говаривал он, — ведь я нашалю впоследствии; так меня и без Горного корпуса сошлют в Сибирь.

В Якутске он жил, как Суворов, его прислали туда из Финляндской крепости. Пел на клиросе, читал, все были от него без ума. «Сестра, — писал он, — здесь похоронена умершая тут и сосланная Анна, твоя однофамилица, которой был урезан язык, смотри, друг, береги свой язык», и проч.

Начал он писать в 1819 г. Свиязев принес описание Петергофской фабрики. «Уж не стихами ли, — вскрикнул Греч, — мне обещал Бестужев стихами».

Александр Вюртембергский не заступался за него, он сам боялся, и Ал. Бестужева перевели по его же просьбе из Якутска, он потом горько раскаивался в письмах. В Якутске я хоть здоровье-то имел.

В письмах к братьям он кокетничал, боялся их критики и писал довольно просто. К сестрам писал мало, большею частью общие письма к матери и им.

Не помню, рассказывает ли он в «Поездке в Ревель»: он подарил Тихону бумажку денег. Тот зашил их в шапку, заснул и потерял ее ночью. Ал. Ал. стал его бранить. «Да что ж, я рад, по крайней мере, если не мне, так и никому не достанется, никто не догадается».

В тюрьме я Мих. Ал. дала итал‹ьянскую› библию, Николаю — Стерново путешествие, Мишелю — Расина, чтоб учил на память стихи, и это очень помогало. Николай же Александрович вставил много из Стерна в повесть «Отчего я не женат», а Бекетов, ныне цензор, в прошлом году повыкинул все эти места из повести.

Когда ехали к Адлеру, А. А. Б. сложил известную ныне песню:

Плывет стена кораблей,
Словно стадо лебедей, лебедей,
Ах, жги, жги лебедей, и проч.

При высадке солдаты пели эту песню. Щебальского рассказ о смерти Бестужева во многом невероятен. Он был изрублен вполне, иначе труп бы вытянули. Один приполз на четвереньках. Была молва, что брат жив, я писала Вальховской, та обстоятельно описывала дело и говорила, что сомнений в его смерти нет.

Вальховский был у меня в СПб., я, как бы не зная, что его глупому приказу итти с приказом об отступлении я обязана лишением брата, стала нещадно поносить его распоряжение. Он обомлел и глупо оправдывался. У меня сердце кипело от горечи и негодования.

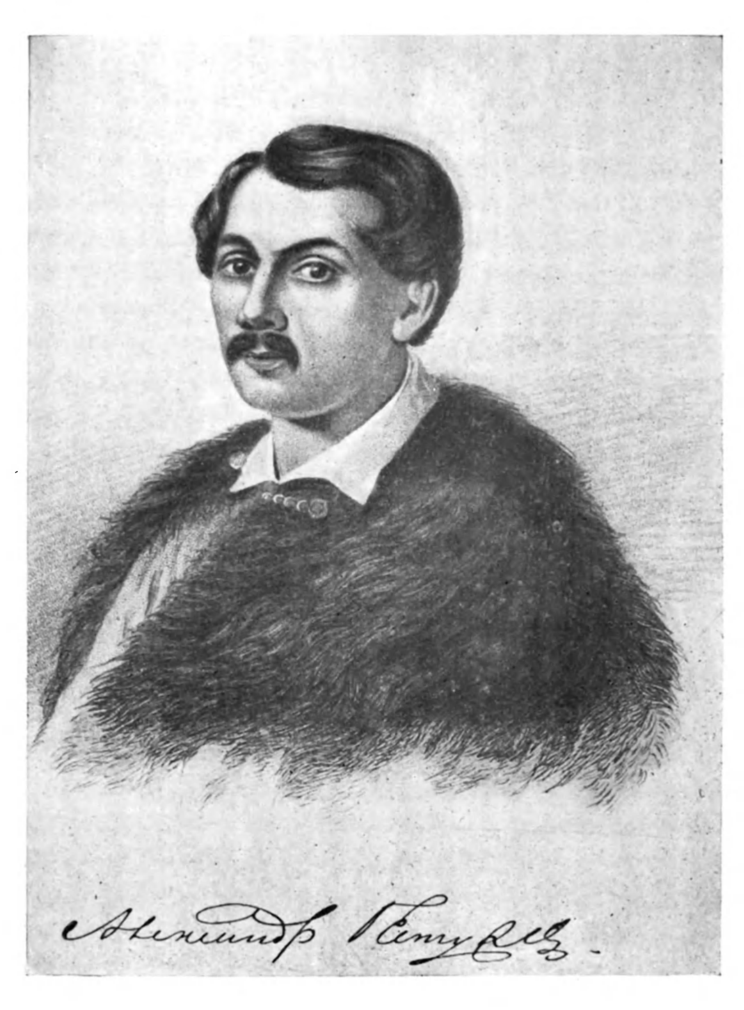
Ал. Ал. был ранен двумя пулями в грудь, а не в ногу, не в спину и не в пятку, как говорили тогда, сравнивая его с Ахиллесом. Солдаты его хотели нести и т. д.

Государь сам был цензором его сочинений, и только о кавказских очерках он сказал, что Бестужев славно пишет, но по прочтении немногие захотят ехать на Кавказ.

Первое издание на свой счет, но в типографии Греча. 12 т. ассигн. стоило, 2400 экз. разошлось скоро. Второе изд. Смирдина и Полевого. Много крали книгопродавцы, мыши подъели, у Свиязева наводнение подмочило. 3-е изд. в III Отд. 30 000 ассигн. стоило 2400 экз. 4-е изд. не совсем сходно, Свиязев смягчал по Никитенко словам.

Анну 4-й степени Ал. Ал. получил два раза, не любил он этот крест. Первый раз принес ему 14-е декабря, второй — он был убит.

Красноречив и говорлив он был необыкновенно; если к Виртембергскому долго не шли с докладом, то он прямо говорил: «верно Бестужев дежурит — с ним заговорились».



А. А. БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ.
Гравюра неизвестного художника. 1830-е годы.

Матильда Бетанкур была влюблена в него. Бетанкур поручал ему дела по инженерной части, вполне полагаясь на благородство и ум Ал. Ал. Бестужева. Портрет А. А. Б. прислал свой с Кавказа. Смирдин пришел и выпросил для издания. Бурку я накинула. Делали в Лондоне, прислали. Я увидала факсимиле. — Смотрите, — говорила я Смирдину, — достанется вам. — Между тем разослали объявления о том, что подписчики сочинений получат и портреты. Вышел первый том Ста Русских Литераторов.

Государь с разводу приехал к Мих. Павл., был взбешен. Увидал — развернул. Полевой, Свиньин, Зотов, все они в халатах, один Давыдов в мундире изображен, наконец Бестужев. «Его развесили везде, а он хотел нас перевешать!». Жандармы схватились.

Ко мне требование об уничтожении. Я было сопротивляться, что не мне же публику обманывать, нет. Пошли в кладовые вырывать. Представила 900 экз. по простоте. Все они потом проданы III Отд. в Гостиный двор. А надо было мне только 96 отдать. Проста была. Переплетчик не так прост, он украл 70 экз. 1-й части, да на ярмарке и продал. Портрета было сделано 2000 экз.[1]

Ночи долгие, беспокойные, со слезами проводила я во время этих злополучных событий, а они сменялись одно другим!

Никол. Ал. умер 15 мая 1855 г. Он скорбел о Севастополе. «Севастополь, мой бедный Севастополь». Весть о его гибели пришла после. Весть о смерти Николая пришла к нему в апреле 1855 г., он принял ее холодно; уверял, что у него самого царская болезнь, а он просто сильно простудился, сделалось воспаление, за доктором он не хотел посылать в Кяхту, никуда, стал лечить себя диэтой, и чуть не голодной смертью от истощения умер. Адмирал Ренике обстоятельно писал ему из Севастополя. Все это были его друзья.

Когда у меня полицийместер 14-го дек. спрашивал, кто знакомый их, — пол-Петербурга ‹их› любит, — отвечала я совершенно справедливо.

Когда я приехала в 1847 году с сестрами в Селенгинск, была звездная ночь, чудная, — на чистом большом дворе мы стояли у крылечка обнявшись.

— Знаешь ли, милая Елена, — говорили братья со слезами, — ведь только твое обещание присоединиться к нам нас и поддерживало все это время.

Никол. Алек. похудел, был седой, лысый. Но чудное лицо. Я любила глядеть на его портрет молодым.

Жаль, что он весь отдался хронометрам, столярне, точильне, живописи, он был слесарь, золотых дел мастер. — Пиши ты, Николушка, — говорила я.

— Да рука не поднимается писать, — отвечал он, — ведь знаю, что это ни к чему не поведет, не напечатают.

Я же была уверена, что это рано или поздно войдет в печать.

О Гусевом ‹Гусином› озере он написал вместе с доктором самоучкой в «Вестн. Ест. Наук». Он уж получил печатное.

В 1846 г. в октябре умерла мать. Петр Алек. умер раньше. В 1847 мы поехали. Хозяйство было уже хорошо устроено, большой дом; мы им посылали деньги. 30 душ мы своих пораспустили на волю, именье продали в уплату дома.

Мачеха Одоевского женила Павла Александр. на Трегубовой — брак был плохой. «Я-де хотела умного соседа иметь».

На Павла Ал. донес Ярцов, а не Воейков. Войнаровского под тюфяком нашли. Мих. Павл. ругал. — «Могу ли я оправдываться, что я — Бестужев». Ник. Павл. поручил это дело в. к. Мих. Павл. Тот чрез адъютанта своего Бибикова успокаивал нас, а сам услал Павла Александровича в Бобруйск солдатом.

Тот ладил с комендантом, который был из солдат. Являлся, затянувшись в мундир, говорил: «ваше высокоблагородие».

Потом уже жил с ним в одной квартире, но в праздничное утро надевал мундир, являлся к нему и поздравлял. Старику это нравилось, хотя он и говаривал: «что ты, Павел Александрович, брось, к чему это, садись пить чай!». Так применялись братья к церберам.

Генерал Лепарский, командир в Чите, чрезвычайно любил Ник. Алек., он прямо писывал ему: «приходи, друг Николай Александрович, посмотри да оцени мои покупки, драгоценные камни».

И тот отправлялся свободно из своей тюрьмы. Я была в ней потом. Это черная деревянная изба, в полусвет, окно высоко, там сидел в это время старик-раскольник.

— Я с тобой, старик, хотела бы поговорить, да не позволят. Вот тебе булочки.

— Что делать, матушка, по грехам терпим.

Ел. Ал. отслужила панихиду по Лепарском.

Ал. Ал. имел переписку до декабря с Сенковским, от него письма, и в одном из писем брату отсутствовавшему хвалит способности поляка, которого-де учу по-русски.

Отсюда фразы Сенковского. Указать на биографию Дудышкина и Дружинина.

Запрещенный экземпляр «Полярной Звезды» 1825 г. продал Свиязев в Перми вместо 10 р. за 100 р. ассигнациями.

Ал. Ал. Бестужев издавал рукописный журнал в Горном корпусе и вообще был проводник литературных идей.

Елизавета-императрица написала ему за «Полярную Звезду» весьма лестный рескрипт: «Мне очень приятно, что молодые люди занимаются отечественной литературой». Бестужев очень дорожил этим.

Множество важнейших писем, например знаменитого Каподистрия к Николаю Алекс., по его поручению, сожжены были струсившими сестрами. Остались самые неважные.

В другой раз при отъезде в Сибирь множество было сожжено младшими сестрами. Другой раз мыши в подвалах пообъели письма.

Сумароков-полковник привез с Кавказа письмо Павла Алекс. Резко осуждал его за хладнокровие, с каким он сказал Мих. Павл.: «Я брат Бестужевых, потому должен быть виноват; прощайте, товарищи, — я не погибну, благородному человеку везде хорошо». Осуждал шутливость Павла, с какой он писал с Кавказа: «Меня, как Язона, ссылают в Колхиду, везет гарнизонный офицер». На все это мать смело отвечала:

— Что же, вы хотите, чтоб он убивался? Никогда этого не дождетесь. А и в. кн., обманувший меня, даст ответ богу!

— Сгубили-таки Бестужева! — говорил о Павле его начальник.

Петр Александрович сошел с ума первоначально от того, что ночью, в крепости, был страшно чем-то испуган. Его взяли у сестер как бы для присяги во дворец.

Николаю и Михаилу Бестужевым предоставили выбрать место для поселения. Сестра выбрала Курган Тобольской губернии, поближе к России. Но Ник. и Мих. написали, что друг наш Торсон поселился в Селенгинске, он в ипохондрии, мы его не оставим, поэтому перепросились. И я против воли хлопотала о переводе в Селенгинск и выхлопотала.

Мих. Александр. женился на казачке, имеет трех детей, бедствует, живет в Селенгинске.

— Мне на старости лет, — говорит он, — не приходится писать пустячки, а от ученых вещей я уж отстал. — Он ходил с подрядом на Амур, но теперь живет мирно.

Как бы сквозь сон помню семейство Петрашевских в деревне, они у меня именье купили; помню студента Михаила Василье-

вича Петрашевского, он был очень боек, пытлив, выведывал от меня все, вводил во всевозможные рассуждения о религии и проч. Я ему сказала:

— Что я Бестужева, так вы думаете видеть во мне гения, я просто старуха неглупая, но недальняя, гениальности во мне не ищите.

Рассказ Ел. Алек. о дуэли Ал. Ал.: «На бале, между кадрилями был вызван, вернулся беспокойный, но кадриль кончил; рано утром исчез из комнаты, приехала дочь одного моряка, — брат ваш дерется. — Беспокоились, но он вернулся скоро и объявил, что кончилась дуэль шутками. Он три раза на дуэлях стрелял на воздух».

Подробности Ел. Алек. о смерти Ник. Ал.: поездка в Иркутск, Кяхта, городничий, жена его, сидел на козлах, лежал на прозрачном льду Байкала, указание на холм Торсона и его матери, два месяца мучился, воспаление, сдерживал стоны, уйдите, будет ему легче; напишите завещание, сестра всегда распоряжалась и теперь нехудо сделает. Все его часы пред смертью остановились. Лечение отвергал, потянулся крест поцеловать и испустил дух.

Башмаки выучил делать сестер.

Дуэль Ал. Ал. за карикатуру и подпись эпиграммы, выстрелил на воздух, другая дуэль из-за кадрили.

Раз по набережной человек упал в реку, бросился, его не послушал, обрубил канат, чуть не потонул, ибо тот умышленно не хотел, силою привез домой, долго говорил и убеждал утопленника, всю ночь просидел, помог и отпустил.

Ник. Ал. был членом Наводнительного комитета и делал много добра.

Ал. Ал. только по письмам создал на Кавказе в романе «Фр. Надежда» все фигуры плафона Александринского театра, не видавши его вовсе, ибо он после сделан и украшен.

В Париже Ник. Ал. вовсе не бывал, а описал его по рассказам.

Даже в заточении Ник. Алек. помогал, так отдал жилет свой Лунину и белье.

Трубецкая еще писала для Николая Бестужева.

Мы добрых граждан позабавим,
и у позорного столба
Царя мы русского задавим
Кишкою русского попа.
(Евг. Баратынский).

Это пел и Ростовцев, пели и другие.

Боже, коль ты еси,
Всех царей в грязь меси,
Кинь под престол
Мишеньку, Машеньку,
Костеньку, Сашеньку
И Николашеньку
Ж . . . й на кол.
(Дельвиг).[1]

Первые дни по приезде с Кавказа Петр был тих, но потом стал больше и больше забываться. В самых нежных о нем заботах и попечениях он видел какой-то страшный умысел на его жизнь, в каждом отправляемом письме — донос на него, в кушанье, в питье — отраву...

Приходя в себя, судорожно потирая лоб, злополучный страдалец скорбел о своем несчастье, с горькими слезами говорил о каком-то любопытстве своем, жестоко наказанном, о братьях, о милом прошлом... Наступала ночь... В доме успокаивались...

Вдруг раздавался страшный стук, ломка мебели, битье стекол, зеркал, посуды... То больной, вскочивши с кровати,

Милостивая Государыня

Елена Александровна!

Имѣю честь увѣдомить васъ Милостивая Государыня, что Государь Императоръ, снисходя на прошение Ваше; дозволяетъ вамъ и родительницѣ вашей имѣть свидание съ братьями Вашими Александромъ, Михайломъ, Николаемъ, и Петромъ Бестужевыми; по чему и остается вамъ адресоваться къ Коменданту С. Петербургской крѣпости Г. Генералъ-Адъютанту Сукину, который о таковомъ Высочайшемъ дозволении увѣдомленъ.

Съ совершеннымъ почтениемъ имѣю честь быть.—

Милостивая Государыня
Вашъ Покорный Слуга
Алекс. Потаповъ.

№ 1201.
11. Июля 1826.
Высокородiи
Бестужевой.

Пропуск Е. А. Бестужевой в Петропавловскую крепость.

в новом припадке, ожидая посланной будто бы за ним команды, начинал заставлять двери и окна мебелью, совать, куда ни попало, зеркала, бросать и ломать мелкие вещи. Лакей, обыкновенно спавший за дверьми, страшился подступиться к барину, из опасения потерять глаз, либо быть изувеченным; сумасшедший видел в камердинере коменданта кавказской крепости Бурной, от которого вытерпел множество бесчеловечных гонений. Наконец, на шум смело входила сестра Елена. Ее тихий и мягкий голос усмирял больного. Тот задумчиво и сурово начинал говорить:

— Что тебе нужно, герцогиня (в припадках он всегда так называл сестру)? Что вы хотите со мной сделать?... доносчики... отравители... палачи... Вишь, как блестят твои глаза, герцогиня!

Снова бред, снова беспамятство; все в доме подымалось; сестры начинали успокаивать брата; наконец, страдалец тяжело засыпал до нового припадка...

Выдавался день-другой совершенно спокойный, и только страшное истребление табаку (Петр Ал. выкуривал иногда в день до 100 трубок) показывало ненормальное его состояние. В один из подобных моментов состояния больного приехал в с. Сольцы (здесь жило все семейство, в Новоладожском уезде) общий их приятель. Он долго беседовал с Петром Александровичем.

— Неужели вы находите его потерявшимся, — говорил он сестрам, — помилуйте, Петр Александрович совершенно в своем уме, и я с большим удовольствием провел с ним время.

Приезжий лег спать в комнате больного. На другой день хозяйки нашли его спящим в зале.

Оказалось, что ночью больной в новом припадке кинулся на собеседника, заподозрев в умысле на его жизнь, чуть было не избил и выгнал из комнаты.

Читать Петр Александрович не мог, но письма посылал часто. И, боже, что это были за письма. Они вполне показывали ужасное состояние его рассудка. Какая-то бессмыслица

писалась не обыкновенными буквами, а особенными значками, им самим изобретенными, в тех видах, что в иные письма заглядывают посторонние. Ближайшие знакомые, в угоду писавшему, иногда подобными же значками отвечали на шифрованные послания, и больной с важностью начинал разбирать их, придавая бессмысленным значкам особенный смысл. Долго терпели сестры и мать, долго не решались отдать в дом умалишенных страдальца-брата; но однажды он чуть не поджег дом, чтоб истребить небывалые подозрительные бумаги, и тогда они стали хлопотать об устройстве его в больнице. Больших хлопот стоило это определение: лица влиятельные опасались, чтоб П. Бестужев не имел какого-нибудь пагубного влияния на умалишенных; наконец, по старанию Л. Дубельта, больного приняли в сумасшедший дом.[1]



ПИСЬМА БЕСТУЖЕВЫХ





ПИСЬМА МИХАИЛА БЕСТУЖЕВА

П. М. БЕСТУЖЕВОЙ [1]

‹сентябрь 1824›.

Любезная матушка,

После самых скучных шести месяцев пребывания моего в Кронштадте я, наконец, приехал на несколько дней сюда и, улучив свободное утро, пишу к Вам. Было время, когда я должен был начинать письмо извинением, жалуясь на недостаток времени, теперь без зазрения совести могу сказать: что хлопоты были причиною моего молчания. Если бы Вы хотя некоторое имели понятие о суетах наших, то Вы, верно, извинили бы меня, несчастного моряка-поневоле. Так, любезная матушка, чем долее я остаюсь в этой службе, тем более и более вижу подлые поступки начальников, которые охладили бы жар самых пылких поклонников Нептуна. Не помню, при Вас или уже по отъезде Вашем назначен наш корабль для отвоза вел. князя Николая Павловича в Росток. Начать с того, что это назначение сделано весьма безрассудно: корабль, на котором предложено испытать нововводимые вещи, должен вооружаться тихо, с осторожностию, с крайнею осмотрительностью,— тогда вооружался точно так, как запрягают в полиции лошадей на пожар. Вы можете представить, что это был за хаос: ежедневно толпилось на корабле до 500 рабочих людей по

разным мастерствам. Я не включаю матросов при вооружении. Каждому из этих людей надо было дать работу, для него совершенно новую, о которой он прежде не имел понятия, следовательно, надо было смотреть за каждым и каждому толковать. Кроме сих работ было множество поделок в самом адмиралтействе; каждый день надо было их обегать, чтоб видеть, так ли делается. Присоедините к этому поспешность, с которою торопили, и неудовольствие со стороны всех, которым всякая новость кажется р а с к о л о м, и Вы будете иметь только некоторое понятие тех хлопот и трудов, которыми мы могли вооружить корабль, как должно. Надо истинно сказать, что все было прекрасно, и хотя зависть и самолюбие грызло порядком сердца всех, но справедливость часто исторгала достойные похвалы Торсону.

После всего этого Вы ожидаете слышать, как, чем и каким образом награжден он за все его труды? Если Вы это в самом деле думаете, значит, Вы худо знаете нашу службу. За его труды, как водится, наградили другого. К а ч а л о в — начальник гвардейских солдат, приехавший только за неделю до великого князя на корабль, и который в приуготовлении корабля не был ни душою ни телом виноват, получил личную благодарность от государя, который его называл прекрасным капитаном, знающим свое дело моряком и т. п. А наш Моллер не имел смелости поворотить языка, чтоб сказать государю о виновнике этого дела. В довершение всех его пакостей нонче произвел его в капитан-лейтенанты, когда ему этот чин доставался чрез 6 месяцев и когда он год тому назад от него отказался, имея нужду в награде, которая ему и его семейству доставила бы хоть верный кусок хлеба.

Но подивитесь терпению этого человека, истинно неземному. Он, несмотря на все это, непременно хочет дело окончить, а теперь, будучи болен сильною простудою и страдая глазами от беспрестанного занятия, — мы ежедневно с 7-и часов утра до 9-ти вечера пишем, считаем и, словом сказать, вьем из песку веревку, которая, бог знает, когда будет кончена.

Мы в 3 недели беспрестанных занятий едва кончили штат 100-пушечного корабля, а их надо еще составить 10 подобных. Но полно говорить о вещах, которые, без всякого сомнения, Вам быть приятны не могут. Удивляюсь, как и я мог так долго говорить о том, что я бы желал навсегда вырвать из памяти.

Теперь корабль Эмгейтен возвратился, и хотя вместо нескольких дней гвардейцы таскали великого князя целые 3 недели по морю, но он был (как они говорят) ими очень доволен; капитан получил наград около 15 тысяч подарками и чин, а офицеры (вахтенные лейтенанты) по перстню. Великий князь и княгиня были весьма расположены к Лермонтову, и я очень этому рад, потому что он один, кажется, был достоин этого.

Брат Николай благополучно прибыл 13 числа в Брест, откуда он писал. Не знаю, получили ли Вы что-нибудь от него? Но ко мне он пишет очень много о приятном времяпровождении в этом городе. Пиры, завтраки и визиты похитили у него большую часть времени, остальную он употребил на осмотр и замечания, и потому не сердитесь, любезная матушка, если он не мог написать Вам оттуда. 23-го июля они пошли в Гибралтар и теперь, вероятно, уже на возвратном пути. Мы его ожидаем через месяц. Дай бог, чтобы до худых погод они могли бросить якорь в тихой гавани.

Брата Александра теперь здесь нет. Не у вас ли он гостит? Я это полагаю потому, что он поехал с Рылеевым в его деревню и, по его обещанию должен вчера возвратиться, но до сей минуты его еще нет. Как мне жаль, что не могу с А. Филипповичем прилететь к Вам! Если бы не дело наше, я непременно прикатил бы посмотреть Ваше житье-бытье.

Касательно новостей скажу Вам об открытии Академии или, право, я не знаю, что сказать. Нынче примолк совершенно железный век России. Даже *я* могу сказать: бывало прежде, при ежегодном открытии Академии, право, любо посмотреть, сколько выставлялось прекрасных произведений талантов,

а нонче, через 3 года, поверите? Едва две картины, стоющие внимания посетителей. Что делать? Терпение! Терпение!

Сентябрь нас награждает за предшествующие месяцы прекрасною погодою; желаю от души, чтобы и Вы ею в полной мере пользовались и возвратились в совершенном здоровьи. Желаю, чтоб ясные дни сменились морозами и снегами, вместе с которыми появится и надежда Вас увидеть здесь. Прощайте, любезная матушка.

Любящий Ваш сын Михаил.

P. S. Милых сестриц мысленно целую и желаю быть непременно здоровыми. Машеньке кланяется Асташева. Прощайте. Помните любящего Вас брата.

М. И. СЕМЕВСКОМУ

1[1]

Милостивый Государь
Михаил Иванович.

Вчера вечером я получил посылочку ‹с› Вашим письмом и с сегодняшнею почтою отсылаю по желанию Вашему сибирские письма брата Александра. Вместе с сим считаю долгом присоединить душевную благодарность за Ваше теплое сочувствие к памяти несчастного страдальца. Да... воистину он много страдал. Будучи на свободе, его участь едва ли не была ужаснее нашей: закованных в железа, запертых в душной тюрьме. Нас масса страданий душила до летаргического оцепенения — его замучивали медленными пытками при полном его сознании в своих душевных силах и тем отнимали всякую возможность быть полезным отечеству или своим ближним.

Прочитав в майской книжке «Отечественных Записок» первую статью о Марлинском,[2] я решил тотчас же отослать к Вам сибирские его письма через редакцию »Отечественных Записок», но пораздумав, что этот путь не совсем верный и ко-

роткий, я просил сестру Елену Александровну сообщить мне Ваш адрес для отсылки писем прямо на Ваше имя. Да

М. А. Бестужев. Письмо М. И. Семевскому. Автограф.

послужит это доказательством моего полного к Вам доверия. Я очень доволен, что письмо Ваше намного сократило исполне-

ние преднамеренного желания, и, отсылая теперь все его письма, жалею только, что в коллекции есть большие пробелы. Из пяти его писем мы едва получали одно, а что всего прискорбнее, так это пробелы тех писем, в которых он нам отвечал на наши замечания о его сочинениях и слоге.

Касательно просьбы Вашей сообщить что-либо, относящееся к его детству и юности, — я по мере сил постараюсь исполнить и вышлю Вам, как только успею что-либо набросать.

Ваш вызов на это дело упал на меня, как снег на голову, и потому не взыщите, ежели памятные заметки мои, сбитые с такой поспешностию и отуманенные древностью воспоминаний, не вполне ответят Вашим ожиданиям. Во всяком случае, я рад, что в готовности исполнить Ваше желание Вы можете видеть чувства истинного к Вам уважения.

М. Бестужев.

Селенгинск. Августа 16 1860 г.

2

Милостивый Государь
Михаил Иванович.

Со времени отсылки к Вам сибирских писем брата Александра прошло более трех недель, а я только с этою почтою посылаю «Воспоминания о его детстве». Ради бога, не сочтите этого промедления за леность. Мне некогда лениться. Заброшенный судьбою на край образованного мира, имея на руках семейство и детей, которые требуют пищи и для души и для тела, я по необходимости должен переходить ежечасно от занятий фермера к занятиям гувернера. Особенно хлопотливо было для всех последнее время постоянно хорошей погоды после необыкновенно ненастного лета, так что все сельские работы столкнулись одновременно. Ежели Вы примете в уважение эти причины, то, вероятно, не осудите тоже за бессвязность изложения и небрежность слога. Я писал урывками, не имея времени

даже прочесть написанного. И потому прошу Вас — поступайте с этою статьею по Вашему произволу: крестите и окрестите ее, как хотите.

Много бы интересного можно было написать с той эпохи, чем я закончил, до той минуты, когда мы расстались с ним на вечно. Но это бы значило — толочь воду, потому что не позволили бы напечатать. Многое я выпустил и из его детства по той же причине, а интересно было бы показать его свободолюбивые идеи в самом зародыше.

Сделать указания на другие какие-либо сочинения кроме напечатанных я не могу, потому что не знаю, существуют ли они. Сношения наши в Сибири были официальные, и ежели он что и писал не для печати — то мы не могли получить их. Есть некоторые стихотворения, писанные в Якутске, но это такой вздорец, о котором не стоит упоминать, тем более, что поэзия не была его трактовая дорога и что мы с братом Николаем постоянно убеждали его бросить гремушки и писать дельное. И он много бы написал дельного, ежели бы ему дали только покойный угол. Ценою крови и самой жизни покупал он этот угол. Ему отказали продать даже за такую высокую цену — и он бросил жизнь на пасть смерти, как тяжелое бремя.

По миновании надобности в оригинальных письмах брата Александра, присланных мною Вам, благоволите передать их сестре Елене Александровне.

Примите уверение в чувствах истинного уважения

М. Бестужева.

1860. Сентября 10 дня.

3

Милостивый Государь
Михаил Иванович.

Октябрьское письмо Ваше я получил только вчера и с этою почтою посылаю Вам это письмо с единственною целью: ‹побла-

годарить› за Ваше благородно-дружеское расположение к нашему семейству — и вместе с сим уведомить, что я с будущею тяжелою почтою непременно постараюсь отправить ответы на предполагаемые Вами вопросы. Жаль очень, что желаемые вами сведения Вы не потребовали ранее, например при первом Вашем письме, тогда, может быть, они бы пришли во-время, и я бы имел более времени чотщательнее собрать и изложить их. Но я пишу не для печати, а набрасываю коекак свои мысли единственно для Вас; делайте из них что Вам угодно, но только не бросайте в печь, а по миновании надобности передайте сестрам или прямо мне.[1]

Вместе с ответами я приложу несколько писем братниных, моих и от других лиц не для того, чтоб они стояли в печати, а для того, чтоб Вам ближе и лучше познакомиться с нашим прошедшим житьем-бытьем и, так сказать, проникнуться тою атмосферою, в которой мы жили. Но едва ли у Вас для этого станет времени, а главное — терпения.

Тут же Вы найдете планы Читы, Петровска, нашего каземата, некоторые стихотворения наших товарищей, две тетради записей (mémoires) — на‹чальной› истории Южного Общества[2] и, наконец, дело о смерти преосвященного Арсения, о котором Вы упоминаете в Вашем последнем путешествии в Ярославль.

Вся эта масса писем будет заключена в кожаном портфеле, я его запру и ключ спрячу в портфель же. Ключ вы найдете, ежели потянете за суровую нитку, которой конец будет запрятан в зеленые шнуры справа, смотря на замок. Вы смеетесь таким забавным предосторожностям! Что же станете делать. Тюремная наша жизнь научила нас горькому опыту, и мне бы не хотелось, чтоб какой-нибудь непрошенный взор заглянул в этот портфель.

Ну, прощайте до следующей почты.
Вас уважающий

М. Бестужев.

21 ноября 1860 г.
Селенгинск.

4

Селенгинск. 29 ноября 1860.

Милостивый государь Михаил Иванович,

Исполняя свято свое обещание, ровно через неделю с первою отходящею почтою я отправляю Вам полновесную посылку. Но извините, я не мог вполне заслужить звание исправного корреспондента. Я едва имел столько времени, чтоб ответить только на половину Ваших вопросов. Но встаньте на мое место и судите меня. Я человек женатый, на мне лежит обязанность хлопотать по хозяйству — я только спокойно могу заниматься рано утром; но едва проснется маленькая моя республика, прощай дельные занятия. Из прилагаемых ответов Вы без труда обозначите то, что писано на досуге и что в шуме и беспрестанных помехах моих неугомонных шалунов, которые часто не дают мне свободно действовать пером, вешаясь на шею и взлезая чуть не‹на›самую бумагу. Вы, может быть, улыбаетесь при этом! то есть ежели Вы не женаты и не имеете детей. К слову, женаты ли Вы? Имеете ли детей? Где Вы служите, где получили образование и не родня ли Вы тому Семевскому, который писал о Сибири? [1] Вы, вероятно, простите мне эти нескромные вопросы. Но согласитесь: простительно любопытство относительно того человека, которого невольно уважаешь.

Без всякого сомнения, было бы лучше, если бы Вы получили ответы на все Ваши вопросы. Но так как я предполагаю, что и эти придут довольно поздно, чтоб ими воспользоваться при помещении статьи в декабрьской книжке журнала, то я и решился отправить и те ответы, которые я успел написать, и те документы, которые Вам ‹могут› быть полезны при последующих изданиях. Прочие вопросы будут удовлетворены по возможности скоро и будут присланы к Вам, может быть, со следующею почтою. — Ежели я буду неисполнителен и в этом обещании, я прошу принять во внимание, что кроме выше-

описанной растраты времени я еще должен почти все утро посвящать на уроки моей старшей дочери и на уроки детей Старцева. — К тому же, как на зло мне, жена Старцева умерла, а без меня и гроба порядочно сделать не умеют. Обряды похорон, поминок и прочих житейских треб, которым я враг отъявленный, поглощают у меня тоже много времени.

Все, что Вы получите в портфеле, я с полною доверенностью завещеваю Вам, с просьбою: сохранить и, ежели будет возможно, в будущности передать сестре Елене или мне лично, ежели бог дозволит осуществить мое заветное намерение — приехать в Петербург, чтоб дать воспитание моим птенцам. Я не имел времени делать тщательный выбор писем, да и не находил это нужным, доверяя их Вам. Может быть, в них Вы прочтете то, что только можно доверить интимному другу, что должно быть навсегда сокрыто от постороннего взора простого любопытства. Но я знаю, с кем имею дело, и спокоен. Прочитайте все, возьмите из них то, что Вам нужно, распоряжайтесь по своему усмотрению, не затрудняйтесь в изменениях, какие найдете более удобными, одним словом, действуйте, как хозяин.[1]

Ответы на вопросы Ваши под №№ 22 и 30 Вы, может быть, прочтете в особом изложении, которое мне хочется написать под заглавием Le mie prigioni,* в подражание Сильвио Пеллико. — Вы согласитесь, что теперь еще рано выводить на сцену лица живые, которым, может быть, будет неприятно читать историю заблуждений предков или участие в делах, от коих они умели счастливо избавиться. Во всяком случае, рано или поздно, Вы их прочитаете.

В портфеле, кроме одиннадцати свертков и двенадцатой моей рукописи, Вы найдете планы Читы и Петровска, план Петровского каземата и вид Дамской улицы в Петровске. Виды Читы, Петровска и внутренность наших комнат Вы

* Мои тюрьмы.

можете видеть у сестры Елены Александровны. Они сняты братом Николаем, и очень хорошо. Не знаю, удастся ли мне прислать просимый Вами вид нашего дома. Но я постараюсь. Уж не взыщите за работу.

Мне очень бы хотелось, чтоб портфель Вы получили скорее и исправно. Я буду благодарен Вам за немедленное извещение меня по его прибытии и уведомление: в каком состоянии он к Вам приехал.

С чувством истинного уважения
остаюсь Мих. Бестужев.

5

Селенгинск, 24 декабря 1860.

Милостивый Государь Михаил Иванович,

Завтра Рождество нашего Спасителя, и я, как православный, поздравляю Вас с наступающим праздником, а как еще не вовсе одичалый в глуши сибирской и не ‹во›все забывший немецкие обычаи кануна этого великого дня, — привешиваю свой свиток на Вашу семейную елку (мне все мерещится, что Вы наш брат — женатый) с адресом на Ваше имя. Простите великодушно, ежели Вы точно найдете в нем детскую игрушку, которою Вам заниматься не под стать, но ведь случается же, что неискусный портной, принявшись за кройку плаща, выкроит только шапку или рукавицы. И то ладно, хоть не весь материал потерян.[1]

В оправдание медленности я прошу принять обстоятельство, бывшее тому причиною. Моя малютка, грудной ребенок, и мать ее сурьезно захворали. Прежде бывшее свободное время, часть ночи и ранние утра у меня похищались заботою о больных; я принужден был урывками писать днем посреди шума и игр старших буянов и беспрестанно унимать их детские, неугомонные порывы, чтобы дать покой болящим. Вы это приметите в моем неровном, шероховатом изложении, которое

кроме этих непохвальных качеств еще носит печать нетерпения и темноватой краткости, происходящей от желания поскорей кончить. Меня утешала только мысль, что цензурные мытарства — это чистилище русской литературы — задержат в пытках статью Вашу.

На некоторые из вопросов Ваших я не отвечаю с намерением поговорить о них в этом письме. Вы спрашиваете: нет ли каких манускриптов сочинений, оставшихся после смерти брата. Так как я пишу Вам прямо, без черновых лоскутков, в полной уверенности, что Вы простите мне неопрятность слога, а потому не знаю — отвечал ли я Вам на вопрос Ваш. Скажу теперь — были его черновые сочинения и очень дельные, во-первых: о хронометрах, потом — о магнитизме как о принципе видимого мира, но все это в отрывках, правда, довольно больших и составляющих нечто целое, которое он по временам мне прочитывал. Где они? Я теперь никак не могу доискаться. Взяла ли сестра Елена Александровна с собою, поглощены ли они в море огромного архива нашей корреспонденции — не знаю. Я списался с сестрою Е. А. и, ежели у ней нет, — поищу, поужу в этом море и уведомлю Вас.[1]

Вы спрашиваете: нет ли чего из моих сочинений, чтоб их пристроить в какой-либо журнал? Нет, и не думаю чтоб и вперед были. Я уже Вам писал об участи многих моих сочинений. Когда большая часть их погибла, другие стали искалеченные — без начала, без середины, без конца, а целые уже много опоздали и переделывать их нет ни времени ни охоты. Знаете, как невкусны подогретые кушанья. В сурьезных сочинениях как меня, так и брата останавливали «справки». Что в Петербурге кончается несколькими часами прогулки по Общественной библиотеке, то нас останавливает надолго — а чаще навсегда. Мысль, факты, не подкреплѐнные или не уясненные справкой, или надо обходить или бросить в нашем положении — а это мучительно. Но ежели я когда-либо буду писать, то обращусь к Вам, и к Вам единственно, потому что

Вам, как исповеднику нашему, более известно наше положение.

Подробности о 14 числе Вы согласитесь, что теперь не время печатать, а писать о них я буду и Вам сообщу. Некоторые я поместил в ответах, может быть, некстати увлекшись, но я уверен, что они для Вас будут интересны в том отношении, ‹что помогут?› проникнуться духом того настроения, той атмосферы, в которой мы должны были действовать.

Вы просите описать единственную сердечную наклонность брата Николая, но и для этого не наступило время. Вам известно, что дети е е еще живы. Неделикатно будет выводить на сцену их мать, женщину в полном смысле благородную душою и любящим сердцем.[1] В «Mie prigioni» * я постараюсь развить эту любовь, имеющую точно на брата могущественное влияние.

Вы спрашиваете о ворах и разбойниках Селенгинска. Но разбойников у нас нет и не было, а воришки появились с наплывом этой густой тучи из арестантских рот, которыми хотят так благодетельно заселять Амурский край. Многие из них поступили на укомплектование казачьих полков в Иркутске и Кяхте, и они точно в том и другом месте совершали даже убийства, а воровство — это их дело обычное, и они, проникая до нашего мирного местечка, и нас щупали. Но они не могли бы быть опасны, ежели бы из среды наших м и р н ы х граждан тоже ‹не› отыскивалось им покровителей их или сообщников, а чаще и настоящих творцов этих достохвальных подвигов. Они посещали меня несколько раз, но с тех пор, как я нанял караульщика, по ночам я спал спокойно.[2]

Ну, на сей раз прощайте. Пишите пожалуйста, а особенно уведомьте, получили ли Вы портфель...

Вас истинно уважающий

Мих. Бестужев.

---

* См. примеч. на стр. 428.

6

Селенгинск. 8 февраля 1861 г.

Милостивый государь Михаил Иванович,

Деньги (60 р. серебром) и письмо Ваше от 31 декабря 1860 я получил вчера и спешу Вас поблагодарить за то и другое. Признаюсь: что спешно набросанная компиляция моей тощей памяти напечатана как литературная статья,[1] без сомнения, немного пощекотала мое давно уснувшее самолюбие, но боюсь: не было ли тут большой дозы Вашей ко мне снисходительности и не обвинит ли меня общественное мнение за ребяческую болтовню, когда я по необходимости должен был умолчать те проявления прекрасного характера моего брата, которые бы с лихвою выкупили бесцветность картины его первых шагов на пути жизни. Вы меня упрекаете: для чего я, боясь цензуры, не пишу полнее. Но разве пример с Вашим предисловием не служит доказательством моему опасению? Не знаю, что Вы писали обо мне, но, вероятно, самой незначительной похвалы заклейменному врагу бывшего правительства — было достаточно, чтоб его не позволили напечатать.

В моем письме, посланном по получении всех Ваших брошюр, я много Вам говорил об этом, но я боюсь, что этого письма Вы не получили, потому что Вы об нем не упоминаете, и потому я их теперь не повторяю, страшась за участь и этого письма. В нем я Вас благодарил за присланные Ваши сочинения и просил выслать те, которые были напечатаны: «о царствовании Елизаветы» в «Русском Слове»[2] — единственный журнал из значительных, не получаемых в Селенгинске, равно как и тот № С.-Петербургских Ведомостей, где Вы писали о брате Николае, случайно затерянный здесь.

Вы как будто удивляетесь, что я Вам, человеку вовсе мне не известному, за 6000 верст, оказываю такое доверие, а я считаю это делом до того естественным, что меня удивляет ваше удивление. Вам известно, что каждый человек имеет

своего конька, и у меня есть свой, на котором я давно езжу, которого я выездил по правилам моей опытности и который никогда не завозил меня ни в тину, ни в болото. Это — конек первых впечатлений. При личных моих сношениях с людьми он меня избавлял от многих бед и доставлял самые приятные минуты в жизни. Людей, не знакомых мне лично, я сужу по слогу и даже по почерку. «Слог — есть человек», — сказал кто-то из умных людей.

Из всего, что мне случалось читать о прошлом России, я с наибольшим удовольствием читал Ваши исторические статьи, в которых дышит нелицемерная истина, внушающая полное доверие. Когда Вы напечатали корреспонденцию брата Александра, я в душе благодарил бога, что это именно Вы первый, оказавший такое живое участие к опальному, а, получив Ваше первое письмо, я читал его тоже с таким удовольствием, как бы я получил письмо от задушевного друга после давно прерванной переписки. Последовательные мои действия были уже в моем мнении логичны: мне казалось, что я иначе не могу, или, лучше сказать, мне грешно иначе действовать и, вероятно, Вы сами так бы думали обо мне, если бы я действовал иначе. — Такого же рода впечатления на меня произвели этнографические статьи Максимова,[1] и на днях, познакомившись с ним лично, я был рад узнать на деле подтверждение моей теории. Но полно об этом. Самое лучшее из всего, что я Вас узнал и познакомился с вами за 6000 верст. Даст бог, мы когда-нибудь свидимся, и одно дружеское пожатие руки заменит все слова и письмена.

Вы так настоятельно, с таким родственным участием упрашиваете меня продолжать записки о брате А‹лександре›, что, признаюсь, мне крайне совестно, когда я должен сказать Вам, что я этого не могу сделать. Точно так же, как вы сами, только опираясь на факты, так зеркально верны тому, что описываете, и тем внушаете непреодолимое доверие, так и я не решусь писать того, чего не видел собственными глазами или ‹не› знаю из самых достоверных источников. А. Вы из моих записок

увидите, что по выпуске из корпуса мы с ним разошлись и виделись в очень редкие промежутки времени. Без всякого сомнения, я без большого греха мог бы сшить эти промежутки, дополняя картину соображением, воображением и тем, что я узнавал через других, но я считаю грехом противу истины и священной памяти брата моего — писать, что, м о ж е т б ы т ь, б ы т ь не могло. К тому же надо взять в соображение мою молодость, ветреность и впоследствии ефрейторскую каторгу в гвардейской службе, когда измучен‹ному› физически мне было уже не до литературных вечеров, где, без сомнения, я бы мог с наслаждением и с назиданием для себя проводить время в кругу современных литераторов. Но, если бы я был в состоянии держать пару лошадей, я бы еще имел столько сил, чтоб отдыхать душою чаще в кругу их, но средства не позволяли такой роскоши, а силы отказывали после дневной муки такую дальнюю прогулку пешком.

До свидания.

Ваш М. Бестужев.

7

Селенгинск, 14 марта 1861 г.

Отрадой повеяло на мою грустную душу письмо Ваше, добрейший Михаил Иванович. Давно я не чувствовал такого удовольствия, как теперь, при чтении столь горячего сочувствия к ближнему, хотя это удовольствие заставило меня покраснеть, изобличив в неправом обвинении молодого поколения в эгоизме и холодных расчетах, выраженном в последнем моем письме, вероятно, уже Вами прочитанном. Впрочем — в кругу людей Вам близких — оно и быть иначе не могло.[1]

Упомянув о возврате моем на родину, Вы затронули струну, всегда болезненно во мне звучащую. Это больной нерв в аневризме сердца, с разрывом которой последует смерть. После 35-летнего томительного страдания в душных тюрьмах и безыс-

ходных тайгах Сибири отрадно было бы выглянуть из-за гробовых досок на свет божий, пережить, перечувствовать те ощущения Куперова Рип-фан-Винкеля, который возвратился в свою деревню из лесу, где он 50 лет проспал непробудным сном.[1] Обаяния этого наслаждения были так сильны для меня три года назад, что, приняв предложение Первой Амурской компании, я, очертя голову, бросился в коммерческое предприятие, удовлетворявшее моим пламенным желаниям. Я оставил жену, детей на попечение сестер, без надежды когда-либо свидеться с ними, потому что они собирались в Россию, и это я решился сделать, увлеченный непреодолимой силой: подышать вольным воздухом. Моя обязанность состояла в том, что по сдаче в Николаевске на Амуре казенного груза, сплавлявшегося под моим личным надзором, я должен был отправиться в Америку для заказов постройки пароходов и прочих коммерческих операций и по окончании дел — возвратиться через Нюёрк, Англию, Францию, Кронштадт, Петербург в Селенгинск. Этот маршрут достаточен, чтобы потрясти самую апатическую натуру. Представляю Вашему воображению решить, как он был заманчив для воскресшего из гроба... К моему несчастию, а может быть — счастию, проект не осуществился. Прозимовав в Николаевске-на-Амуре, я возвратился в мою мирную хату, и с тех пор — ни шагу из дома. Если Вы спросите причину — я отвечу: является обязанность отца. Дав жизнь детям, я считаю себя в долгу и перед человечеством и перед родиною, считаю обязанностью дать им духовную жизнь, дать им воспитание. Дети подрастают, и мой святой долг — следить за их душевным и умственным развитием. Это положение лишает меня средств пособлять себе в материальных средствах существования, заставляя отказываться от довольно выгодных предложений. Чтоб не расставаться с детьми, доставить им первоначальное воспитание, а, главное, утвердить их в практическом употреблении языков, я имел намерение, бросив дом и все хозяйство, доставляющие мне возможность существования моими скудными средствами, —

переехать в Иркутск, где дети под руководством ученой иностранки в открытом пансионе могли бы пробыть до того времени, когда наступила бы пора их везти в Петербург.[1] Но внезапно правление Амурской компании, где я мог бы иметь хорошее место, перевели на Амур. Кроме разлуки с детьми, неизбежной в этом случае, я не могу преодолеть своего отвращения к службе в нашем коммерческом мире, зависимости от золотых мешков, участия от операций, основанных на плутовстве и надувательстве. Все это я уже испытал, едва только прикоснулся к русской коммерции, а ожегшись на молоке, невольно дуешь и на воду.

В этом сжатом очерке Вы можете довольно ясно видеть мое затруднительное положение, т. е. Вы можете видеть, что я живу только для детей, что остаток моей угасающей жизни я обязан посвятить рассвету моих малюток. Ваши добрые друзья предлагают мне средства для возвращения на родину, и так благородно, так деликатно, с таким искренним участием, что точно, по словам Вашим, я не имею права отказаться. Но какая участь нас ожидает там? Дороговизна жизни до времени истощит мои скудные средства, и единственная цель моей жизни — образование детей — не будет достигнута. Я уже стар, силы, и особенно зрение, видимо слабеют, и работать руками или головой — плохая надежда. Я обреку себя на унижение: выпрашивать милость у правительства, чего я избегал во всю мою страдальческую жизнь, посреди нужд и лишений, и даже отказываюсь до сего часа от вспомоществования, назначенного правительством ежегодно для нас, политических преступников на поселении.

Вследствие чего, Вы видите сами, что я должен, покоряясь законам черствой необходимости, не спещить своим отъездом. Ежели бог продлит мою жизнь еще на два, на три года, когда старшей моей дочери минет девять, а сыну семь лет, когда совершится предполагаемая перемена учебных заведений из закрытых в открытые, когда присутствие женщин на профессорских лекциях не будет считаться для Руси забавною дико-

винкою, — то, конец концов — bon gré — mal gré * я должен буду возвратиться на родину. И тогда-то я прибегну к помощи Ваших дружеских советов и буду просить Вас быть моим руководителем на пути, мне неведомом, как слепцу на распутии. Помощь Ваших друзей даст мне возможность возвратиться, а крохи, сбереженные экономиею здешней жизни, как-нибудь обеспечат издержки воспитания малюток. Ежели образование сделает их людьми в полном смысле этого слова, я умру спокойно в твердом убеждении, что и без всякого состояния они не пропадут в море житейском.

Ответы на Ваши вопросы я отлагаю до следующих писем, а теперь, добрейший Михаил Иванович, прощайте и простите за мою длинную болтовню, которая может быть уже наскучила. Рад очень, что Вы познакомились со Штейнгейлем. Я ожидаю от него письма, где он, вероятно, будет говорить о Вашем свидании.[1]

Душевно уважающий вас
Мих. Бестужев.

8

Селенгинск 1861 г., мая 26.

С позапрошлою почтою я получил письмо Ваше, искренно уважаемый мною Михаил Иванович, а с последнею — и письмо Егора Петровича Ковалевского с 1000 рублями пособия, назначенного этим благородным обществом, для моего возвращения из Сибири.[2] Не стану распространяться о чувствах благодарности моей к горячему сочувствию г. г. членов Комитета к моему положению: литературные заслуги двух моих покойных братьев, без сомнения, были только предлогом, чтоб сделать мне добро, тем не менее это сочувствие для меня лестно как выражение образа мыслей, как взгляд молодого, просвещенного поколения на наше дело. Это уже не желчь,

* Волей-неволей.

а отрадное питие, освежающее запекшиеся уста распятого за истину мученика. И за эти отрадные минуты я более всего обязан Вам как главному виновнику. После этого можете ли Вы предполагать, чтоб я считал Вас, как Вы говорите, за фразера. Нет. С первого шага моего с Вами знакомства я не иначе понимал Вас, как человеком дел, а не слов. Доказательством тому может служить мое беззаветное к Вам доверие в ту эпоху моей жизни, когда лета, опыт и частая встреча с предателями и ложными друзьями на моем тяжком тридцатилетнем пути общественного отвержения должны бы были умерить сердечные порывы и оледенить всякую веру в доброе дело. Вы одни своим задушевным, благородным сочувствием к памяти покойных братьев и братьев страдальцев нашего дела сумели расшевелить мою мертвенную апатию, мое безотрадное равнодушие к настоящему и к будущему, мое недоверие к справедливому суду потомков. Вы заставили меня признаться, в глубине души, несостоятельным должником в нашем собственном деле и неопровержимыми доводами благородных побуждений принудили начать посильную уплату долга. Что это не одни только фразы — я Вам уже доказал первым вносом моей скудной лепты в уплату огромного долга и даю обещание продолжать уплату по мере возможности и по мере того, сколько суровая судьба позволит мне из суммы часов моей жизни, почти целиком поглощаемой житейскими требами, соскряжничать несколько свободного времени.

И перед Вами лично я тоже в неоплатном долгу, не удовлетворив Вас ответами на Ваши вопросы. Простите великодушно. Собственно моя болезнь, болезнь почти всех из моего семейства и многое множество житейских дрязг и хлопот отнимают и доселе у меня почти все время. Но между тем я не забывал Ваших требований и, желая дать на одно из них (сообщить места поселения моих товарищей) самое удовлетворительное сведение, я писал в Иркутск к человеку мне близкому, заведывающему делами декабристов, прося его сделать выписку о времени поселения, переселения и смерти каждого. Он отве-

чал сожалением о невозможности собрать эти сведения потому (говорил он), что надо поднять громадный архив за 30 с лишком лет и в груде разного ненужного хлама отыскивать то, что Вам нужно. Да к тому же этого сделать невозможно без разрешения, а его, вероятно, не дадут. Итак — я сообщу впоследствии места поселения тех из товарищей моих, которые сохранились в моей памяти; времени смерти их не могу обозначить с точностию. Характеристические черты многих из моих товарищей я постараюсь, по возможности, набросать в «Моих тюрьмах», которых первую часть, т. е. «Алексеевский равелин», я уже начал и по окончании этой первой части сообщу Вам.

Жаль, что я не мог предполагать о Вашем намерении составить статью о Селенгинске из бледных и кратких моих заметок. Я писал бы иначе и более подробно, чтоб сделать их сколько-нибудь интересными. Журналы и газеты, получаемые здешними жителями, очень разнообразны и довольно многочисленны. Вот их перечень: «Современник», «Русский Вестник» с его политическими обозрениями, «Библиотека для чтения», «Отечественные Записки», «Морской Сборник», «Военный Сборник», «Вестник Промышленности», «Журнал Министерства Юстиции» «Артиллерийский Журнал», «Драматический Сборник», «Журнал акционерный», «Семейный круг», «Православное Обозрение» и пр. Из газет: «С.-Петербургские, Московские ‹Ведомости›», «Северная Пчела», «Journal de S.-Petersbourg», «Наше Время», «Сын Отечества», «Журнал Садоводства и Огородничества», «Детское Чтение», «Христианское Чтение», «Век», «Амурская Газета», «Иркутские Губернские Ведомости», «Семейный Листок», «Развлечение», «Гирлянда», «Ваза», «Музыкальный Альбом», «Иллюстрация», «Искра» и еще, право, не припомню. Кроме того, некоторые журналы получаются в двух и трех экземплярах, чего не будет впредь, а выпишут другие журналы.

Ну, Михаил Иванович, прощайте, обнимаю Вас

М. Бестужев.

9

Селенгинск. 16 июля 1861 г.

Полагаю, что эта посылка уже найдет Вас, наш добрый Михаил Иванович, возвратившимся из Вашей гигиенически-ученой экскурсии, с новым запасом сведений, новым запасом здравия. А Вам куда как надо его беречь! Беззаветно предавшись науке, Вы безрасчетливо расточаете Ваши силы. Десять часов усидчивой работы в сутки!.. Да если бы я вздумал то же сделать, так и не встал бы со стула: у меня отнялись бы ноги.

Я ждал и не мог дождаться той минуты, когда должна была наступить пора поблагодарить Вас и от себя и от малютки дочери за Вашу последнюю присылку книг и рукописей. Касательно первых — вместо благодарных фраз я бы должен был привести детский лепет восторга малютки, если бы не боялся Вам наскучить этим. Какой прекрасный выбор, какое изящество в наружности! Вы верно хорошо изучили природные наклонности детей и знаете, как им необходимо позолотить пилюли, но вы избалуете моих. После Ваших пилюль — какие же они захотят глотать.

Возвращаю Вам № «Века», где помещена Ваша статья о Селенгинске, созданная Вами единственно из желания исполнить мою просьбу относительно высылки книг для малютки. Благодарю Вас душевно.

Так как газета «Век» получается в нашем городе, то я прочитал ее прежде Вашей присылки и, признаюсь, не узнал себя: так Вы меня умыли и причесали. Относительно ее я сообщаю к сведению две ошибки, попавшие в эту статью по моей вине из-за небрежности и краткости моих примечаний, которые я, каюсь Вам чистосердечно, писал и пишу наскоро без приготовления и не просматриваю от лени и недостатка времени. Первая ошибка — это расстояние Селенгинска от Кяхты. Поправку Вы найдете в приложенных замечаниях на биографию брата Николая. Вторая заключается в том, что Вы смешали

жену нашего почетного гражданина купца 1-й гильдии Старцева с его матерью: первая — une personne assez insignifiante* — умерла несколько месяцев тому назад, а старушка 80 слишком лет, е г о м а т ь, еще жива до сей поры и по сей поры сохранила свой природный ум и благотворное влияние на все семейство. Ее-то дочь (т. е. сестра Дмитр. Дмитр. Старцева), умершая года три тому назад, была замужем за оригинальною личностию нашего тюремного врача Дмитрия Захаровича Ильинского, и нежная любовь к этой дочери привлекла старушку Федосью Дмитриевну в Читу, где мы впервые и сблизились с этою во всех отношениях почтенною женщиною.

Я уже Вам писал о затруднениях, встреченных мною при исполнении Вашего желания: прислать Вам места поселений, переселений, жительства, годы, когда это было, и когда умирали мои соузники. Видя невозможность что-либо сделать бюрократическим путем, я попытался обратиться к собственной своей памяти. Составил список и готов был его отослать к Вам, как вдруг неожиданно меня посетил единственный из оставшихся в Сибири, или, лучше сказать, в Забайкалье, мой товарищ Ив. Ив. Горбачевский. Он просмотрел мой список и нашел много неточного. По просьбе моей он мне сообщил свой список, который я Вам и посылаю вместе с его письмом по поводу нашего разговора о том, куда делись его записки о «Южном Обществе», для того, чтоб Вас познакомить с этим оригиналом, как он есть: в халате на распашку.[2]

Вы уже должны быть знакомы с его записками по четырем или пяти листам мелкого письма, присланным вам мною в портфеле. О них Вы мне ничего не упоминаете в Ваших письмах, а они заслуживают некоторого внимания. Жаль, что остальную, большую и самую интересную часть их он сжег, как это Вы увидите из его письма. Я вытянул от него обещание написать их снова.

---

* Личность малозначущая.

Отзывы всех, кто только читал здесь Вашу рукопись, согласуются с моим собственным.[1] Статья написана с любовью, с теплотою участия, живо и интересно, но мне бы хотелось видеть при новой вашей переправке более биографию нежели панегирик, чтобы факты говорили более слов, более спокойствия и равенства в слоге, столько всегда вселяющих веры к пишущему, — одним словом, мне бы хотелось видеть М. И. Семевского, пишущего о Волынском или о Петре Великом.

Я, кажется, уведомлял Вас о моем благодарственном ответе Ковалевскому. Напишите пожалуйста, получил ли он его и поблагодарил ли господ членов этого благородного Общества.

Сестра Елена Александровна теперь в Петербурге и, вероятно, уже виделась с Вами. Ее теперешнее пребывание в столице имеет целью решить наше будущее житье-бытье. Посоветуйтесь с ней насчет этого для меня весьма немаловажного обстоятельства, так как оно касается до воспитания моих детей. Схоронив сестру жены, долго страдавшую чахоткою и истомившую нас своим страданием, мы теперь часто, чтоб после долгого недосуга дать детям подышать сельским воздухом, и более, чтоб развлечь жену от горестных дум, мы теперь часто ездим по островам и окрестностям Селенгинска. Недавно мы были на Обоне у тайши. Поедем скоро к Хамбо-ламе на праздник Майдари и так далее. Простите, до свидания. Пишите к истинно уважающему

М. Бестужеву.

10

Селенгинск. 13 февраля 1862 г.

Слава богу! — Наконец я спокоен... Из полученного от Вас письма, добрейший Михаил Иванович, я вижу, что Вы живы, здоровы, свободны. Ваше молчание по возвращении только меня беспокоило, зная очень хорошо, что в Вашем спешном и хлопотливом путешествии не до писем. По желанию Вашему я отослал рукопись биографии брата,

рассчитав так, чтоб Вы ее получили тотчас по Вашем возвращении. Из писем сестры Елены Александровны, где она уведомляла меня о свидании с Вами в Москве, я видел, что возвращение Ваше замедлило чуть ли не целым месяцем... Следовательно, посылка должна была Вас ждать на почте довольно долго, а так как нам исстари известна официальная проницательность русских почтмейстеров, то я беспокоился о том, чтобы эта проницательность не навлекла бы неприятностей Вам. Тут же на беду прилучись ш у х о п о т ь со студентами;[1] мы читаем официально имя Вашего брата, тут же замешанное, прочитали и странную сентенцию военного суда, наконец я получаю брошюры и — без письма. Ну, на него положено эмбарго, — подумал я. Наступит снова для русских, — продолжал я делать заключения, — благодатное времячко запечатывания ума и распечатывания писем. Такие и подобные мысли заставляли меня крепко беспокоиться о Вашей участи, и е д и н с т в е н н о только эти опасения заставили меня обратиться с просьбою к В. И. Штейнгейлю и к сестрам — уведомить, что с Вами приключилось?

Я очень хорошо знаю, как всякая минута у Вас на счету, а потому могу ли я, патентованный ленивец, считаться с Вами письмами или быть недовольным Вашим молчанием? А должен сознаться, что получение Ваших писем — истинный праздник и для души и для сердца. В них так много теплого, родственного чувства дружбы, веет таким отрадным чувством обновления, столько кипучей жизни и деятельности, что по прочтении, как после приема китайского Жинь-шена, невольно встряхнешься к жизни и начнешь стряхивать сорокалетнюю сибирскую пыль и плесень. Получение их, как приступы совести к грешно-ленивой моей душе, заставляет меня каяться и давать обеты к исправлению. И я каюсь Вам, добрейший Михаил Иванович, с откровенностию, ‹к› какой я может быть не способен даже на духу, что я грешил перед Вами, грешил перед потомством, которое осудит меня; каюсь, что мои «Тюрьмы» еще не покидали тюрьмы моего черепа и не видели света божия. Для

Вас как для человека, представляющего олицетворительную литературную деятельность, всякое оправдание казалось бы немыслимо, а я решаюсь просить оправдания.

Надо Вам поставить себя в наше положение, в положение человека, ввергнутого в продолжение почти сорокалетнего периода тюремной жизни в душевную апатию, отравившую все жизненные элементы. Надо взять в соображение антипатию к писательству, порожденную неуспешными попытками, антипатию до того сильную, что я не берусь за перо без крайней необходимости и даже ограничил свою письменную корреспонденцию со своими товарищами по общему делу только ответами на их письма. Это‹т› тюремный тиф, поражающий наповал душевные способности, редко щадит свои жертвы; все мои товарищи по общей купели крещения, после долгой борьбы, рано или поздно — а все-таки не избегли его железных когтей, — и вот где кроется главная причина такому малому количеству сведений о жизни ссыльных и заключенных.[1] Покойный брат мой был олицетворенная, терпеливая, усидчивая деятельность. До последней минуты он не оставлял намерения написать мемуары, все собирался, откладывал и умер. Едва ли не последние его слова были, когда, сжимая горячую свою голову, ог говорил: и все что тут... надо будет похоронить...

Другая, оставшаяся в живых личность — это Горбачевский, — служит лучшим доказательством моих слов. Истребил по обстоятельствам первую свою рукопись о Южном Обществе, писанную во время нашей лихорадочной деятельности в тюрьме, он все собирается снова и в новом виде ее воспроизвести, и несмотря на мои беспрестанные понуждения — дело худо подвигается. Все ему лень или некогда.

Для полноты исповеди я попросил бы Вас принять в соображение мое положение как человека семейного. Я попросил бы Вас представить в своем воображении наш дом, хотя довольно просторный и уютный, но расположенный таким образом, что у меня нет удобного уголка даже в моем кабинете, где бы я

мог спастись от постоянного шума и крика и набегов моих резвых детей. Старушка няня едва справляется с меньшою малюткой, у двоих старших нет гувернантки. Жена постоянно занята житейскими хлопотами, так что вся тяжесть заботы постоянного присмотра лежит на мне. Уроки, занятия с ними, суд, расправа, надзор за их играми, иногда, и особенно летом вблизи реки, очень опасными, все это — и еще уроки детям Старцевым и другие житейские требы — поглощают враздробь очень много времени. Присоедините к этому временные болезни, частые посещения гостей, чтение текущих политических новостей и журналов, современных сочинений и проч. и проч. И может быть отчасти Вы не будете так строго меня обвинять. В окончательное оправдание я Вам скажу, что, несмотря на такие неблагоприятные обстоятельства, прошлым летом я во время моих уединенных прогулок по горам написал на отдельных клочках бумаги едва ли не целую треть предполагаемого сочинения, но когда мне пришлось их сводить в одно целое, я не нашел и десятой их части в наличии. На основании формального позволения моим шалунам делать кораблики и петушки из исписанной бумаги, данной в их распоряжение, они как-то добрались до моих лоскутков и употребили их как строительный материал для их фантастических сооружений. Обнимаю Вас до следующего письма.

Уважающий Вас М. Бестужев.

11

Селенгинск. 20 марта 1862 г.

Я не знаю, как благодарить Вас, добрейший друг Михаил Иванович, за родственные горячие чувства дружбы, дышащие в каждой строке Ваших писем. Нас разделяет чуть не треть всей вселенной, мы никогда не видались, а я Вас люблю, как брата, более — как друга, и, право, — по эгоистической

привычке самолюбия — я страшусь, чтоб при личном нашем знакомстве Вы не разочаровались. За сердце и душу свою я не боюсь. Я не могу и в будущности более любить и уважать Вас; боюсь за свою голову, за лень, за бездеятельность, столь мало гармонирующую с Вами, боюсь несочувствия Вашего к недугу, развивавшемуся в удушливой атмосфере почти сорокалетнего гнета судьбы.

Пожалуйста, пришлите мне поскорее ваш портрет. Я хочу поскорее вглядеться в него, вглядеться в черты Вашего лица и прочитать в них или мой будущий приговор, или помилование. Я тоже пришлю свой, и Вы в этом безжизненном образе по крайней мере прочитаете мое оправдание.

Не грех ли Вам, благороднейший Михаил Иванович, после того, как Вы меня сколько-нибудь узнали, предполагать, чтоб присылка пустых, ничего не значащих лоскутков бумаги имела какую-либо связь с желанием корыстным. Бог Вам свидетель, что никогда подобная мысль не омрачала мою голову. Я их Вам прислал потому единственно, что Вы имели в них надобность, точно так же как я бы прислал к Вам моего сына, если бы Вы сказали, что он Вам нужен, в твердой уверенности, что я ничего не теряю, вверяя его в Ваши руки. Ежели я встревожился Вашим молчанием, то мое беспокойство родилось от стечения Вам известных обстоятельств и от опасения, чтоб моя посылка не послужила к вящему обвинению Вашему. За себя я не боялся нимало: мне уже терять нечего. Ежели же подобные предположения у Вас родились вследствие писем сестры моей Елены Александровны, то это меня не удивляет. Ее заботливая нежность к моему семейству не раз ставила меня в затруднительное положение и заставляла, краснея, принимать пособия от правительства, что возмущало душу. Она очень добра, но она не была ни в кандалах, ни в тюрьме, ни в каторжной работе, чтоб изведать подобные чувства. Она не понимает, что мне гораздо легче умереть с голода, чем просить подаяние от палачей, а тем менее вымогать помощь от добрых и благородных друзей.

И потому, добрый друг Михаил Иванович, действуйте, как Вы найдете лучше, располагайте всем, что у Вас есть, как своею собственностью. Чтоб братья Бестужевы явились в свет в своем костюме, а не о б о р в а н ц а м и цензуры, надо время, время и случай. Я знаю это. Ваше письмо — была новая электрическая искра для моей лени и безвременья, и я даю вам слово приняться за перо.

Обнимаю вас. М. Бестужев.

12

Селенгинск. 24 марта 1862 г.

Обнимаю Вас, добрейший Михаил Иванович, как друга, как брата по кресту и с христианским лобзанием восклицаю:

Христос воскрес!

И какое красненькое, какое прекрасное яичко Вы мне прислали! Благодарю Вас — тысячу раз благодарю. Я получил Ваш портрет в тот же день, когда почта увезла к Вам мое письмо; я не вытерпел и похристосовался с ним до наступления светлого праздника. Жаль, что я не могу Вам отплатить тем же и теперь же, как я надеялся. Наш доморощенный фотограф, молодой сибиряк из юного поколения купцов, которое к отраде России начинает возникать на бесплодном поле сибирского купечества, доселе произраставшего только волчец и терние, дошел, терпением и собственною смышленностию, до удовлетворительной степени совершенства в фотографии. По сочувствию к современному направлению он питает благоговейное уважение к нашему делу и составляет фотографическую коллекцию декабристов и, будучи очень хорошо знаком со мною, просил позволения снять с меня портрет и для того нарочно приехал в Селенгинск со всем своим аппаратом по окончании Удинской ярмарки, но должен был возвратиться в Иркутск по случаю болезни старика-отца. Когда ему удастся снять с меня мое обличье, я Вам немедленно вышлю, но

портреты других моих товарищей прислать не могу по уважительной причине — именно потому, что у меня их нет. Сестра Е‹лена› А‹лександровна› увезла с собой всю коллекцию, и теперь она едва ли уже не в третьих руках.[1]

Я не ошибся в своем предчувствии и рассматривая черты Вашего портрета, эту душевную теплоту, которая просачивается всеми порами Вашего спокойного лица. Но зато во взоре лежат — настойчивая воля и крепкие думы. Это мои будущие, а может быть, и настоящие обвинители, потому что и теперь я решаюсь отклонить Ваше предложение быть корреспондентом Петербургских журналов, как отклонил я предложение трех сибирских газет: Иркутской, Читинской и Кяхтинской.[2] Сборы в поход и заботы семейные отнимают у меня почти все время. К тому же, чтоб удовлетворить животрепещущей потребности петербургских газет, надо иметь возможность *двигаться*, а не такому домоседу, как я есмь.

Простите и прощайте, добрый Михаил Иванович. Поклонитесь Ковалевскому и не забывайте истинно любящего вас

М. Б‹естужева›.

13

Селенгинск, 28 июня 1862 г.

Кругом я виноват перед Вами, добрейший Михаил Иванович, но не вините душу — вините обстоятельства. Первое Ваше письмо от 18 марта я получил в Кяхте, куда ездил сделать прощальный визит, а Кяхта — такое местечко, где и в былое время нельзя была назвать своею собственностью даже минуту времени. Судите же, имел ли я в своем распоряжении столько досуга, чтоб отвечать Вам, когда меня чуть не растащили по клочкам. Приехав в этот Забалуй-городок, чтоб проститься с добрыми своими знакомыми и вместе чтоб показать жене и детям китайщину, я совсем неожиданно наткнулся на новые хлопоты по случаю сдачи моего рекрута, старшей дочери Лели,

в женскую гимназию. Как это случилось, Вы узнаете от Штейнгейля, и потому не стану повторяться. Я перехожу к ответам на Ваше письмо.

Тяжело, очень тяжело, слышать Ваши справедливые обвинения в моей лени, тем более, когда чувствуешь в душе, что Вы, как олицетворенная умственная деятельность, имеете полное право быть отъявленным врагом мертвящей апатии. Всякий раз, когда приступы этой злокачественной тюремной язвы, разъедающей все душевные силы, начинают крепко одолевать меня, я беру Ваши письма, перечитываю их, чувствую возрождение духа умственной деятельности, прошедшее возникает, мысли толпятся, прошедшие впечатления возобновляются, но все это так беспорядочно, смутно, тёмно, что я бросаю перо и, как школьник, идущий в училище к урочному часу, хватаюсь за первую житейскую дрязгу, которых у меня, надо сказать, вдоволь, чтоб оправдаться перед загомозившеюся совестью. Для чего, — думаю я, — утонченность моральной пытки в русских с е к р е т н ы х тюрьмах доведена до такого ужасающего совершенства, что заключенных лишают не только пера, но даже книг. Какой прекрасный отдел тюремной литературы достался бы в удел потомков, даже из тех произведений, которые правительство нашло бы безопасным для печати. Сильвио Пеллико (даже в австрийской тюрьме) и Достоевский были счастливее нас... Нам даже отказывали в чтении Библии, и, ежели судьба нас когда-либо сведет вместе, я покажу Вам м о е Евангелие, данное мне как величайшую милость, которое я украдкою от часовых исчертил концом гребня иероглифами для обозначения массы мыслей и даже целых творений, осаждавших мою бедную голову, но обдуманных зрело и прочно улегшихся в моей памяти. Теперь, когда я смотрю на эту заветную книгу, напрягая внимание и память, чтоб разгадать ее содержание, она представляется мне какою-то мрачною тучею, принимающею неопределенные образы, даже группы, сменяющиеся одни другими, перерождающиеся друг в друга, иногда светлые, как молния, иногда до того

темные, что их не отличишь от окружающего мрака, и все это окончательно расплывающееся в общий сумрак пасмурного неба. Но довольно об этом. Скажу Вам только: я дал Вам слово и постараюсь его исполнить хоть частию. Будьте добры и не требуйте, что выше сил или, прямее, — выше моей лени, особенно, когда приходится писать о давно прошедшем, когда надо трепать ослабевшую память, когда боишься перепутать эпохи, а справок и товарищей нет под руками, а особенно, когда в охолоделой душе стараешься перечувствовать те сильные впечатления, которые некогда меня потрясали до мозгов костей. Сверх того — я дал слово Благосветлову прислать что-нибудь к осени, и так как я с ним не настолько знаком, как с Вами, чтоб надеяться на его снисхождение к моим глупым резонам, то должен mal gré — bon gré * — по возможности исполнить обещание. Он просил, в случае моего отказа сообщить сведения о нашем заветном крае, указать на лицо, к которому он мог бы обратиться с подобною просьбою, а я ему указал на Завалишина, на этот живой архив прошедшего, настоящего и даже, если хотите, как на пророка будущности. Ежели они сойдутся — я уверен, что Благосветлов будет доволен своим корреспондентом, тем более, что большая и самая интересная доля его статей лежит под красным сукном в Сибирском комитете. К Завалишину я уже писал об этом.

Вы спрашиваете о Горбачевском. Что Вам сказать о нем? Он со своею непроходимою малороссийскою ленью — ленив хуже меня. Я по крайней мере не ленюсь его распекать еще погорячее, чем Вы меня, а он поет все ту же песенку — «погоди, брат, теперь некогда»... Спрашиваете о Бакунине. Но что сказать Вам о нем? Убежал тайком из Николаевска от полицейского надзора, от жены, от долгов и теперь в Лондоне с Герценом, который вероятно скоро разочаруется от этого пустого человека. О Михайлове могу Вам только сказать, что он теперь в Нерчинском заводе, где с ним

---

* См. примеч. на стр. 439.

обращаются очень хорошо и где он живет у родного своего брата, горного инженера.[1]

О моих планах прочитаете в письме Штейнгейля. Касательно же продажи права на издание Марлинского поговорите с сестрою Еленою. Она теперь в Петербурге, и Вы, вероятно, с нею увидитесь. Уговорите ее порешить продажу поскорее, потому что с каждым годом она будет более и более терять. Она не хочет понять, в чем состоит насущное требование века. — Бумаги же, все без исключения, присланные мною Вам, пусть навсегда остаются в полном Вашем распоряжении. Ежели когда-нибудь я решусь делать из них какое-либо употребление, я сделаю это не иначе, как с Вашего совета и согласия.

Не понимаю, как Вы не получили моего письма, где я благодарил Вас за присланный портрет Ваш и где я уведомлял Вас о своем, которого не могу прислать Вам и теперь, потому что фотограф еще только собирается ко мне приехать из Иркутска. Не могу понять тоже: какие портреты декабристов явились в продаже? Интересно было бы узнать: не копии ли это с коллекции портретов брата Николая, проданных сестрою Еленою кому-то? Ежели можно, пришлите мне хоть один экземпляр, по которому я сейчас узнаю источник. К Вашей коллекции посылаю портрет M-me Юшневской, рисованный братом Николаем и очень похожий.

Как жаль, что я не могу дождаться из Киренска подробностей о житье-бытье брата Александра в Якутске от тамошнего городничего Киренского (его фамилия). Он был сын того чиновника, у которого брат Александр пристал на квартире по своем туда приезде и которого он учил французскому языку. Вот уже другой год, как я его прошу об этом, — и все кончается посулою. Такова участь, видно, всех декабр‹истов›, а эти сведения были бы не лишние в предпринятом Вами труде: А. А. Бестужев в Якутске.

Вы упоминаете о мемуарах Завалишина или материалах о Декабре!.. Сильно хотелось бы прочесть их. Я к нему писал об моем желании, но вероятно не получу удовлетвори-

тельного ответа, потому что он, не бывши никогда членом нашего Общества, мог писать только из рассказов и слухов, на которые не всегда можно полагаться.

Вы уведомляете тоже, что появилось объявление о будущем печатании отрывков из записок Н. А. Бестужева, — смею уверить Вас, что это апокриф. Никогда и ничего брат Николай не писал ни о себе, ни о других, хотя собирался все сделать это во всю свою сибирскую жизнь. Единственные записки, писанные им в тюрьме, это о Рылееве, составленные им по настоянию одной из наших милых дам, Александры Григорьевны Муравьевой (урожд. графиня Чернышева). Он предпринял, было, написать полную биографию этого замечательного своею душевною энергиею человека, но при каких-то казематских невзгодах должен был истребить начатое вместе с материалами, а после уже не возобновлял своей работы то из опасения подобного казуса, то из ‹за› новых трудов для собирания истребленных материалов.

Вы очень хорошо делаете, что не посылаете моих записок за море, во-первых, потому, что они этого не стоят, а во-вторых, потому, что Герцена все считают каким-то благородным Донкихотом, рубящим направо и налево, не разбирая того, что предметы в сущности изменяются из великанов в ветряные мельницы! И надо сказать истину, его не берегут г.г. корреспонденты, сообщающие ему неверные факты, и тем подрывают доверие к этой высоко благородной личности. Бога ради не примите этого эпитета за титул, столь опошлившийся на святой Руси.[1]

Простите все мои грехи и прощайте, добрейший Михаил Иванович. Ежели судьба когда-либо позволит мне побывать в моем родном Питере — с чугунки прямо я найму извозчика: на Литейную, в Спасскую улицу, в дом Трута. — Пошел, пошел скорее! Полтинник на водку.

Еще раз обнимаю Вас. Дети Вас целуют, особенно Леля, которая и в Кяхте не хотела расставаться с Вашими книгами.

Вам преданный М. Бестужев.

14

Селенгинск, 9 августа 1862 г.

Все, что Вы пишете ко мне в письме от 13 июня, добрый Михаил Иванович, касательно моего переселения из Сибири, давным давно тревожило мои думы и, окончательно перебродившись, заставило принять решительные меры за несколько месяцев до вашего письма. Я остаюсь — как Вы это могли видеть из моей решимости: отдал старшую дочь в Кяхтинскую открытую гимназию. Не легкомысленное желание поскорей вырваться из своей могилы и подышать вольным воздухом руководило моим желанием ехать в Россию, а необходимость дать Леле практическое знание языков. Ей восьмой год — а это именно те лета, когда приобретается правильный выговор и практическое знакомство с языком. Если бы были какие-либо возможности иметь здесь хорошую гувернантку, я бы не задумался отдать полжизни, чтобы только она болтала с ними по-иноземному и чтобы занималась с ними положительными науками. Но у нас это дело невозможное. К сожалению, жена моя не говорит по-французски, но, сознавая, что только мать может выучить говорить на каком-либо языке, — начала сама учиться, но хозяйственные и семейные требы отвлекли ее от занятий, а я один не в состоянии болтать с ними с утра до вечера.

Языки французский и немецкий не обязательны в кяхтинской гимназии, я за них плачу особо. Но зато M-me Сабашникова, принявшая на себя священную обязанность быть для Лели второй матерью, образованная женщина и говорит очень хорошо по-французски, имеет детей и, следовательно, это лучшая школа для Лели. Теперь я буду иметь более времени для занятия с сыном, а третья дочь еще очень мала, чтобы серьезно думать о ее образовании.

Что у вас совершилось на том свете, право, не разберешь: и смешно и грустно. Прогресс, о котором так много кричали, кажется, теперь пошел рачьим ходом и в администрации,

и в молодом поколении. Бедная Россия!.. Особенно мне непонятны приемы правительства касательно умственного движения. К чему было составлять комитеты для преобразования цензуры, когда к тем результатам, к каким, видимо, клонилась цель правительства, можно было бы дойти кратчайшею дорогою, т. е. дорогою Незабвенного. Если будут хоть в месяц запрещать по 3 периодических издания, то к новому году тысячелетия нашей родины мы, пожалуй, останемся с одним журналом Аскоченского. И чем провинилось «Русское Слово»? Ежели его вина наказана новыми карательными законами цензуры, то статья, т. е. причина придирки, — должна быть уже напечатана. Я ничего такого в нем не нашел, хотя снова пересмотрел последние номера. Разве статья «Научились ли мы?». Тогда что же наша пресловутая гласность? Она и доселе была косноязычна — не разберешь, о чем она лепечет, а теперь приходится ходить с замком на устах. «Но на свете нет худа без добра» — мне шепчет на ухо моя лень. Ты избавлен благодетельною цензурою от данного «Русскому Слову» твоего честного слова прислать в редакцию свою статью к осени.[1] Винюсь — ленюсь. Не одни Вы, Михаил Иванович, меня распекаете. Мне попалось под руку недавно полученное письмо от Завалишина, и я прилагаю вам его как факт. К тому же это письмо — зеркало его неутомимой деятельности в pendent * к Вашей и довольно верный портрет, ежели вы устраните желчные тени, наброшенные на него неблагоприятными обстоятельствами, и затруднительное его положение.

Прощайте, добрый Михаил Иванович.
Обнимаю вас. Tout à vous **

M. B‹estougeff›.

P. S. Читал я Ваше описание Грос-Егерсдорфского сражения. Хорошо Вы отделали Апраксина. Да и поделом.

* В соответствие.

** Весь Ваш.

15

Селенгинск, 9 октября 1862 г.

Что же это такое?.. Вам, как самому правдивейшему из всех русских бытописателей, который не решится лишнего слова написать, не опираясь на исторические документы, — Вам, добрый, прямой Михаил Иванович, запрещают писать?.. И это запрещение последовало из двух министерств, управляемых самыми образованнейшими лицами всей России! Нет... Видимо пресловутый русский прогресс сел по привычке на рака и прямо втащит нас в незабываемую эпоху Незабвенного.[1]

Я это пишу под влиянием опасения, что моя посылка с портретом Марии Казимировны Юшневской не получена Вами точно так же, как я не получил Вашего письма, где вы уведомляете меня о предполагаемом Вами путешествии по России.

Я хотел с этой почтою послать Вам некоторые портреты, но остановился. В силу вышеупомянутого прогресса и у нас состоялся указ, чтоб все посылки представлять в иркутскую таможню и там, распаковавши их и удостоверясь, что в них нет чаю, — отсылать по адресам, взимая с получателей за переупаковку. И эта глупейшая мера была следствием нашего прогрессивного правительства, не могущего отрешиться от старины. Нашли необходимым свободу торговли с Китаем — торговлю разрешили. Весь Забайкальский край объявлен порто-франком. Но как расстаться с таможнею?... Надо хоть хвостик оставить, и оставили этот хвостик в Иркутске. Что же вышло? Весь Забайкальский край с Амуром обрекли таможенному досмотру. Ни послать, ни выехать в Иркутск нельзя, чтобы вас не раздели донага, чтоб не распороли маленького тючка в наперсток, не подозревая, что в нем кроется цибик чаю. И все это для того, чтоб собрать крохи пошлин, далеко не покрывающих содержание таможни, и тогда, как, разрешая

свободную торговлю по всей китайской границе, таможня не может следить за контрабандою в 30 верстах в тылу Иркутска. Какова нелепость правительственного распоряжения?

Досадно и грустно. Извините, что не пишу более, да и то, что написал, — прочитаете ли Вы?.. Теперь всего надо ожидать. Ежели получите это письмо, напишите несколько строк

к уважающему вас М. Бестужеву.

16

Селенгинск. 26 декабря 1862.

Вчера был для меня настоящий праздник. Я получил посылку с брошюрами Вашими, добрейший Михаил Иванович. Я, как ребенок, радовался, удостоверясь, что Вы живы, — но здоровы ли? Что с Вами? Успокоились ли Вы участью Вашего брата? Мне неизвестно. От Вас ни строчки, ни весточки. Вот, что меня снова печалит и заставляет просить Вас: написать хоть строчку для успокоения человека, истинно Вас любящего.

Путешествие ваше продлилось долее предназначенного самими Вами срока. Сестры писали мне о посещении их Вами в Москве, и, рассчитывая время Вашего возвращения в Петербург, я заключаю, что моя посылка, высланная Вам к назначенному Вами концу августа, должна была пролежать на почте чуть ли не целый месяц. Дождалась ли она Вас или с нетерпения куда-либо отправилась в другое место, — вот что тоже мне хотелось бы знать. Будьте так добры, чтоб обо всем этом уведомить истинно уважающего Вас

М. Бестужева.

17

Селенгинск. 15 мая 1864.

Вчера только я получил Ваше письмо от 10 марта, добрейший Михаил Иванович (какая бездна нас разделяет!!!) и спешу отвечать. Светлый день воскресения прошел, но с получением Вашего письма для меня наступил праздник Вашего воскресения. Вы для меня погребенный воскресший. Стократ радуюсь, что мои опасения не сбылись.

Вы обвиняете себя и только себя, что наша корреспонденция прервалась на такое долгое время. Но скажите: как бы могло быть иначе?.. Можно ль было мне посылать письма на ветер? Куда я мог адресовать их, когда Вы сами вчера не могли бы знать, где Вы будете завтра. Они могли бы ходить по чужим рукам, чего мне очень не хотелось. Из этого Вы видите, что ни я, ни Вы нисколько не были виноваты, а виноваты были обстоятельства.

Вы описываете свою деятельность — но мне бы приятно было прочесть ее результаты. И потому я прошу вас выслать Вашу статью из Журнала Министерства Просвещения, которого мы здесь не получаем.

Вы спрашиваете, как я употребил время и чем занимался в продолжение перерыва нашей корреспонденции. Отвечу: что все это время было употреблено мною для поддержания моего существования и существования моего семейства. Начнем с того, что дом, где была пристроена моя старшая дочь в Кяхте, сгорел от поджога. Я должен был взять ее, чтоб не стеснять семейства, переселившегося на биваки. Да оно и кстати было: женская гимназия, куда я поместил дочь, мела, как новая метла, только сначала, как и все на нашей святой Руси, т. е. пока за ходом учения следил сам градоначальник. — С его отъездом все пошло рачьим ходом.

Я должен был заняться с нею сурьезно, чтоб заставить ее припомнить то, чему я ее учил прежде. Занятие с Колей и двумя

маленькими бурятенками поглощало остальное время. В июне прошедшего года родился у меня богатырь Саша, ребенок крупный, здоровый. Но к его и нашему мучению, ранневременное прорезывание зубов и золотушная сыпь на лице — упорно продолжаются даже до сих пор и не дают нам покоя ни днем ни ночью. Осенью все дети перехворали кашлем, две дочери отделались от него кое-как. Мой милый сын Коля сделался его жертвою. Он умер крупом. Переход от легкого кашля к крупу был мгновенный, и меньше, нежели в 6 часов, он его задавил, так что нам казалось это все каким-то сном — сном, правда, страшным, но который мне казался несбыточным на деле. И какого славного мальчугана я похоронил!.. Я прежде не хотел хвастаться им, чтоб не попасть в Ваших глазах в категорию тех нежных родителей, которые видят в своих детках гениев, и теперь не оттого хвалю, чтоб следовать латинской пословице de mortuis aut bene aut nihil,* но поистине он заслуживал похвал во всех отношениях. У меня еще остался сын и две дочери; старшая из них не уступала ему в умственном развитии. Но никто из них — да вряд ли кто-либо из детей его возраста — был столько привязан к отцу и любил бы так безгранично отца, как Коля. Ежели бы ему довелось видеть мою смерть — он бы не пережил меня, — и это одно мирит меня с волею провидения. Мне казалось, что с ним я потерял все. Жизнь, и без того полная горечи, мне опротивела; мертвящая апатия запустила свои когти в душу и сердце, и я ничего так не желаю, как поскорей добрести до тихого пристанища, хоть это желание — грех, потому что у меня на руках остались жена и трое детей. Не хорошо это и говорить, зато это я сказал Вам только да сказал бы еще В. Ивановичу, ежели бы он был жив.[1] Он бы меня понял...

Лелю, мою старшую дочь, надо было отправить в Москву для воспитания. Жена покойного нашего бригадного командира M-me Симонен была столь добра, что вызвалась ее доста-

* О мертвых или ничего <не говорить>, или только хорошо.

вить к теткам. Для этого она нарочно приехала из Иркутска в начале осени и прожила у нас до морестава. Менее нежели в месяц она доставила Лелю в Москву и перед началом масленицы, прогостив у сестер только три дня, отправилась к родным в Житомир. Теперь возникает вопрос: куда определить Лелю?... Я заклятый враг противу всех замкнутых учебных заведений. Мне предстояла возможность отдать ее в пансион или пансионеркою в какой-либо казенный институт. Но где взять средства для содержания? Четыреста рублей это $^{9}/_{10}$ моего средства существования... Я хочу просить правительство взять ее на казенный счет в том предположении, что замкнутость скоро уничтожится и институт получит новое преобразование.

Итак, Вы видите, я осиротел двумя старшими детьми. Осталось двое младших, с которыми постоянная возня лечения. Благодаря ворам, укравшим у меня накануне Светлого Воскресения колеса со всех экипажей, я радовался, что буду иметь законную причину просидеть спокойно дома. Но вышло не так: дома-то я точно просидел, но больной, с больною женой и детьми. Жизнь малютки Маши висела на волоске.

Но полно об этом. Я надоел Вам этою иеремиадою. Поговорим о другом.

В Петербурге есть Технологический институт, и в этом институте слушают лекции двое наших селенжан, бывших моих учеников. Один — Василий Дмитриевич Старцев, другой — Гаврило Андреевич Вотяков, оба очень добрые малые. Не поскучайте, Михаил Иванович, приласкать их, ежели они к Вам явятся. А я им с этою почтою пишу, чтоб они Вас посещали. Для таких медвежонков необходимо кроме профессорских лекций пить сердцем и душою кое-что другое. И как Вы найдете их, не поскучайте черкнуть строчку в ваших письмах.

Что же это будет у нас с ‹литературой›?[1] Все уставы и положения неужели пишутся для того, чтоб ее сковать еще более? Да уж кажется вплотную заковали. Посмотрим.

Обнимаю Вас, добрый Михаил Иванович. Прощайте. Душою преданный Вам

М. Бестужев.

18

Селенгинск. 18 августа 1864 г.

Благодарю душевно Вас, добрый Михаил Иванович, за теплое участие в моей скорби о потере моего милого Коли. Поистине невознаградимая потеря, и я от ней до сих пор не могу оправиться. Не знаю, что будет впредь, но, кажется, я буду существом ни к чему не годным — разве кроме могилы.

То, что Вы мне пишете о неудачных попытках сестры Елены Александровны по поводу издания сочинений Марлинского, я уже знал прежде, и прежде, нежели она начала попытки, предвидел неудачу. Сестра — человек старого века, состарившаяся в прежних идеях и впечатлениях. Она еще до сих пор живет и дышит тою эпохою, когда повести брата производили фурор, и забывает, что то время прошло безвозвратно, что наступило время с новыми требованиями и что Марлинскому после его полезной литературной службы — пора в отставку. Три года тому назад я ее упрашивал продать право издания, предсказывая, что оно будет терять с каждым годом, но она не хотела, не хочет верить, чтоб Марлинский, которого она невольно смешивает с Александром Бестужевым, мог умереть для публики. И вот причина ее неудач и колебаний.[1]

Если б Вы могли обладать волшебным стеклышком, через которое можно читать душу другого, Вы бы прочитали в моей безграничную благодарность за Ваши бескорыстные хлопоты в пользу нашу и вместе с тем, не просьбу, а мольбу, чтоб Вы ‹не› делали этого вперед. Неужели вы не видите из Ваших тщетных попыток напечатать что-либо о Николае или Александре Бестужевых, что цензура или — все равно — правительство не хочет воскрешать в народе памяти святых мучеников, пострадавших за то, о чем то же самое правительство бьется

из всех сил, чтоб теперь осуществить их желания, чтоб народ при напо‹ми›новении их имен, перекрестясь, не произнес: *за их земные страдания дай бог им царства небесного*.

Примите чувства душевной благодарности от преданного Вам

М. Бестужева.

19

Селенгинск. 26 октября 1864 г.

Пишу к Вам, добрейший Михаил Иванович, два слова, спеша не опоздать на почту; она у нас так беспорядочно уходит и получается по причине осенней распутицы, что совершенно сбила с толку.

С этой почтою я отсылаю Вам изображение моего облика. Заезжий немец, как бы упавший с неба, помог мне после многих бесплодных попыток исполнить Ваше желание и отплатить Вам тою же монетою за дорогой Ваш подарок. Извините, ежели найдете его неудовлетворительным в художественном отношении. Немец, взявший уже не немецкую, а русскую цену, ничего не мог поделать с ненастною погодою, холодом и ветром, а снимал на открытом воздухе, и потому, хоть я ручаюсь за сходство, не отвечаю, чтоб погода не отразилась сумраком на лице.

Но вот просьба. Так как он снимал на стекле, то отказался сделать копии на бумаге, и я снова поставлен в необходимость отказа в просьбе многим моим знакомым: иметь мой портрет. Он меня уверил, что стекло не помешает сделать копию на карточках. И потому, ежели он говорит правду и будет возможность, я прошу Вас, Михаил Иванович, снять 12 карточек в меру вашего портрета, из коих 3 отослать в Москву к сестре Елене Александровне (адрес в Денежный переулок, дом Шихматова, № 4), а остальные выслать мне сюда. По газетным

объявлениям, это будет, кажется, недорого, но ежели я Вас разорю более нежели на 2 рубля, то как-нибудь сочтемся после.

Теперь же прощайте.

Искренно уважающий Вас
М. Бестужев.

20

Москва. 9 августа 1869 г.

Благодарю вас, добрейший Михаил Иванович, за письмо, на днях полученное мною; благодарю за адрес, дающий мне теперь возможность вылить накопившиеся чувства благодарности за ваше дружеское гостеприимство в Питере и главное — за Вашу приязнь к Бестужевым, к живым и мертвым. Предложение принять часть гонорара за напечатание писем покойного брата Александра [1] приемлю с благодарностию тем большею, что, особенно теперь, наши материальные средства существования очень плохи по случаю потери капитала, завещанного покойным братом Александром моим сестрам. Излишняя доверенность осторожной сестры Елены Александровны обанкротившемуся московскому купцу лишает наше семейство чуть ли не последних крох.

Постараюсь исполнить просьбу Вашу касательно ответов на вопросы Ваши и пришлю их, если успею справиться с ленью и недосугом, в Великие Луки до выезда Вашего в Питер. К этому же письму присоединяю порядочную пачку писем брата Николая, сохранившихся у моей старшей сестры. Посылаю их не для чего другого, а единственно из желания поближе познакомить Вас с прекрасным характером моего покойного брата Николая и дать Вам понятие о нашем житье-бытье за Байкалом в ту эпоху прошедшего, которую Вы будете описывать во второй половине его биографии.

Возьмите в соображение, что это только небольшая часть всех писем, и, главное, то, что эти письма проходили через

подозрительную цензуру, но все-таки они, если достанет у Вас терпения пробежать хоть некоторые, могут быть Вам полезны. Не знаю только, получите ли Вы их?..

Прощайте. Да благословит бог Ваши мирные труды.

Истинно уважающий вас М. Бестужев.

21

Москва, 19 августа 1869 г.

Отвечаю на последнее Ваше письмо, добрейший Михаил Иванович, в котором я тщетно искал хоть намек на получение моего письма, которое я пустил к Вам как пробный шар. Так много, а особенно последних моих писем из Сибири не было доставлено к Вам, что я решился тогда прекратить на время переписку с Вами, и теперь — если это повторится — я буду принужден поступить так же, щадя Вас. О себе я не забочусь — мне терять уже нечего.

К этому письму я прилагаю копию с письма брата Александра из Москвы.[1] Оно может быть будет интересно для Вас, потому что Вы из него увидите впечатление, произведенное Москвою на Александра. Жаль, что при отобрании бумаг брата Николая исчезло и то письмо, почти одновременно написанное к нам, где он оригинально, бойко и верно рисует Московское общество и различные впечатления на лица, произведенные чтением комедии Грибоедова «Горе от ума». Он первый явился в Москве с рукописью и первый читал ее перед тузами и кёровыми дамами нашей Белокаменной старушки.[2]

Тут же присоединяю одно из уцелевших писем брата Николая, где он излагает некоторые суждения о его литературной деятельности. Мы оба много писали ему касательно этого предмета, но из всего только уцелело это как копия или лучше сказать черновик, с которого наши дамы обыкновенно списывали своею рукою — давая вид, что пишут под нашу дик-

товку.[1] — Не забывайте, что нам было запрещено писать самим и, следовательно, запрещено иметь чернила и перья.

Может быть я найду в огромном ворохе писем, хранящихся у сестры Елены Александровны, но и тут Вы берите в соображение ее хворость — ее слабость и телесных и душевных сил — особенно в последнее время, особенно, когда она была потрясена потерею значительного капитала (около 10 тыс. сер.) по несостоятельности одного купца, которому она вверила деньги. Касательно же письма к Каткову — то я прошу Вас меня избавить от посещения этого мецената. Он, как я слышал, сделался вельможею, если не вполне державинским, то, по крайней мере, настолько гордо-тщеславным, что не задумается и меня принять как просителя г р о ш е й. Я хотя имел много случаев познакомиться с ним, но как-то сердце мое не влечет к нему, хотя я уважаю его литературную деятельность и его заслугу в том, что в своей газете он ратует, хоть иногда и слишком яро, за интересы русские.[2]

Vale,* добрейший Михаил Иванович, до будущей беседы.

Вас уважающий М. Бестужев.

22

Москва. 5 сентября 1869 г.

Что это, господь с Вами, добрейший Михаил Иванович? Почему в Вас могла родиться мысль, что я начинаю питать к Вам недоверчивость. Разве наши сношения заочные в Селенгинске и личные в Питере недостаточно Вам доказали противное? А что я обязан беречь Вас, то это мой святой долг в заплату вашего дружески родственного расположения. Вы мне пишете: «к чему осторожность, когда за мною нет

---

* Прощайте.

никаких соглядатаев», а я имею факты в противном, по крайней мере в прошедшем. В Селенгинске у нас был архи-негодяй, — городничий, который нам делал столько пакостей, что мог бы сделать несчастными всех, кто был со мною не только дружен, но только в сношениях, если б, наконец, Н. Н. Муравьев, по моей просьбе, не сменил его. В это-то время я недосчитывался некоторых из Ваших писем и двух или трех из моих. Его письмоводитель, человек честный и преданный мне, — за тайну, под страшным секретом, сообщил мне о его намерении сделать у меня на дому обыск и, опечатав бумаги мои, представить их правительству; что это он делает на основании объявления в «Колоколе», в котором сказано о моем намерении вскоре напечатать мои записки, и что для вернейшего исполнения своих замыслов он только ждет моей отлучки из дому.[1] Так как от этой архи-бестии можно было всего ожидать, то для того, чтоб поберечь других, я сжег все, что могло их компрометировать в глазах правительства, и той же участи подверглись и вполовину уже написанные мои записки и, что более всего досадно, то все материалы для составления записок. Вспомните, что это было уже вторичное auto da fe * записок. После этого у меня пропала охота и возможность прошла писать свои воспоминания.

Ну, да полно об этом, — поговорим о деле.

По просьбе Вашей я посылаю Вам ответы на вопросы. Я их набрасывал карандашом с тем, чтоб после переписать, но на эту механическую работу терпения у меня хватило только на половину и потому другую я посылаю вчерне — карандашную. Ох, эти металлические перья!.. Брызжут, задевают, тоска...

В этой же посылке Вы получите довольно жирную пачку писем брата Николая и Александра. Просмотрите их, выберите, что найдете нужным, остальное или пришлите назад или оставьте до времени у себя.

---

* Сожжение.

Тут же я прилагаю полусгоревший, кажется, первый протокол с допросов, которыми руководствовался Блудов при составлении своего доклада. Он достался мне курьезным случаем. Мне случайно пришлось присутствовать на пожаре. Дом профессора Московского университета Лебедева загорелся. Генерал полицеймейстер Арапов приказал его отстоять — и с большим усилием отстояли. Из числа уже загоревшихся бумаг ветром принесло под мои ноги этот документ. Я затоптал искры и принес домой.[1] Не правда ли странно?

Прощайте до будущего письма. Братцу мой поклон.

23

Москва. 7 октября 1869 г.

Рад очень я, добрейший Михаил Иванович, что мои ответы на вопросы Ваши угодили Вашему пытливому любопытству; постараюсь и на следующие вопросы отвечать так же; но уже не взыщите, если пришлю их вчерне и без всяких поправок. Для меня механическая работа переписки — настоящая каторжная работа. Не взыщите также, ежели моя слабеющая память и недостаток справочных моих заметок, истребленных при последнем всесожжении начатых снова записок в Селенгинске, не взыщите, говорю я, если я буду не совсем удовлетворительно отвечать Вам.

Вы просили адресы тех из наших товарищей, кому намерены Вы отослать 1-ю часть записок о Николае Бестужеве. Вот они: Петра Николаевича Свистунова: Гагаринский переулок, собственный дом. Матвея Ивановича Муравьева-Апостола адрес я не знаю, хотя бываю у него довольно часто, и потому, чтоб избавить Вас от лишней упаковки, присоедините к посылке Свистунову книгу на мое имя и на имя М. И. Муравьева. Мы со Свистуновым часто видимся, и я его предупрежу; а по доставке книг ко мне я передам М. И. Муравьеву. Этою операцией Вы избавите его и меня от дальнего путеше-

ствия в почтамт. К моей пачке присоедините еще два экземпляра на имя Андрея Евгеньевича Розена и Александра Петровича Беляева. Они заслуживают Вашего внимания как два лица из оставшегося триумвирата настоящих декабристов, бывших на площади. Оба они скоро будут в Москву, и я передам им книги.

Из двух вдов, оставшихся в живых, — Пущина (бывшая M-me Фонвизин) разбита параличом, и Ваша посылка будет для нее бесполезна, но, впрочем, от Вас будет зависеть ее почтить присылкою, и тогда присоедините экземпляр к моей почте. Другая вдова — Давыдова (Александра Ивановна), проживает у Вас в Петербурге — в Бассейной улице в доме Гербеля.

Читали ли Вы интересные и весьма замечательные записки Ивана Дмитриевича Якушкина, напечатанные в Лондоне в 1862 году? По краткости, ясности и правдивости — это лучшие из всех записок наших товарищей. На этом же времени вышли «Записки» барона Андрея Евгеньевича Розена на немецком языке, напечатанные в Лейпциге или Гамбурге — не помню. Он мне их читал в русском тексте, как они и были им писаны, а перевод на немецкий язык сделан за границей и довольно неудачный. «Записки» тоже правдивые и полны даже слишком, а особенно, где он без надобности распространяется о своих домашних делах или отстаивает баронов прибалтийского края. Он сносился с Катковым, но тот, может быть, именно по этой причине отказался напечатать эти записки. В Петербурге та же неудача его постигла, и потому он намеревался их печатать в Лейпциге. Немецкие экземпляры, кажется, есть в продаже у московских и петербургских книгопродавцев.[1]

Имя нашего тюремщика: Лилиенанкер.

Прощайте, мой добрый Михаил Иванович, — спешу на почту. Поклонитесь Вашему братцу и Тюльпанову.

Вас уважающий М. Бестужев.

24

Москва. 24 октября 1869 г.

Когда Вы распакуете посылку и увидите рукописи, написанные чернилами, не подумайте, что я переродился: нет — я только нашел удобное средство заменить железные перья гусиными: они мягки и не брызжут. Я писал, как и прежде, — прямо набело и даже не имел времени прочесть их, потому не посетуйте за ошибки и неровность слога.

Биография брата Николая — первая часть, кажется, получена Свистуновым, но он в больших хлопотах. Н. Д. Фонвизина умерла, и он, будучи ее душеприказчиком, завален по горло законными мытарствами. Что же касается до второй части, пожалуйста, высылайте, когда она будет готова, посильно сделаю замечания.

Я читал в «Заре» записки Колесникова. Вы пишете, что их получили от барона Штейнгейля, и я пробежал их единственно для того, чтоб видеть, не другие ли это записки от тех, которые я редижировал, — неопытное перо молодого птенца, писавшего в первый раз в своей жизни. Я увидел, что это те же самые. У меня остались черновые, а Штейнгейлю он оставил переписанную рукопись.[1]

Скажите мне откровенно, добрейший Михаил Иванович, нельзя ли хоть за ч т о - н и б у д ь продать право на издание сочинений Марлинского? Если Вы не отказались от попытки написать когда-нибудь биографию А. Бестужева, можно бы ввести в сделку обещание присоединить к этому изданию Вашу биографию, разумеется, с соблюдением Ваших интересов.

Прощайте. Мой поклон братцу Вашему и Тюльпанову.

Вас уважающий М. Бестужев.

25

Москва, 29 ноября 1869 г.

Вслед за письмом, отправленным к Вам, добрейший Михаил Иванович, я хотел писать, но был остановлен просьбою Свистунова, который обещал сообщить мне некоторые черты характера усопшей Н. Д. Пущиной. Вчера я получил эти заметки, писанные его дочерью под его диктовку, и посылаю их к Вам не для того, чтоб они были помещены буквально в извещении о ее смерти. Это будет невозможно, но чтоб Вы познакомились с ее оригинальной личностию и в этом тоне написали извещение.

Теперь мне хочется побеседовать с Вами о статье Максимова, напечатанной в октябрьской книге «Отечественных Записок». Эта статья есть продолжение его статей о ссыльных в Сибири. Д. Ир. Завалишин, кажется, воспользовался этим благоприятным случаем, чтоб сообщить Максимову сведения о нашем житье-бытье в Чите и Петровском, и он целиком поместил их от своего лица. Хотя во всей статье нет ни малейшего намека, что она написана Завалишиным, но все, кто только был знаком с ним, узнали его по сухости слога и по беспрестанному самовосхвалению, столь присущему его характеру. И это тем более жаль, что все записки Максимова дышат жизнью и правдою, тогда как это пятно в его рассказах есть не что иное как сухая ложь, написанная единственно для выставки своей личности. Эта личность совсем не такова, чтоб ей писал панегирик правдивый Максимов. Помнится мне, что в бытность мою в Петербурге я Вам сообщал кое-что об этом замечательном в своем роде человеке, ежели же нет — скажите, — и я Вам опишу его. А между тем, чтоб предварительно ознакомиться с ним, — прочтите в тех обгорелых листках, которые я прислал к Вам, показания его при допросах следственной комиссии, и там уже Вы увидите безумно-нахальное его самолюбие и самообожание. Вся его жизнь

была следствием и сплетением этих похвальных качеств. Мне бы хотелось, чтоб Вы поговорили при случае с Максимовым и предупредили его не быть слишком доверчивым вперед. Я бы сам к нему написал, но позабыл, как зовут его, да и адреса не знаю.[1]

Все, кому Вы посылали брошюрки биографии брата Николая, много благодарят Вас за внимание, а в особенности П. Н. Свистунов. Он вскоре думает ехать в Петербург и намерен непременно посетить Вас, для чего просил меня сообщить Ваш адрес, что я и исполнил. Пришлите с ним, ежели не забудете, экземпляр записок Колесникова, мой выпросил у меня М. Ив. Муравьев-Апостол.

Не знаю, уехал ли или еще в Москве брат Ваш Петр Иванович? Он доставил мне величайшее удовольствие посещением, обещался побывать перед отъездом — и до сих пор не был. Дай ему бог мирного и благополучного служения на новом поприще. Обнимаю Вас. Не забывайте.

Истинно преданный Вам
М. Бестужев.

26

Москва. 13 декабря 1869 г.

Да наградит Вас бог, добрейший Михаил Иванович, за Ваше светлое дело. После молитвы я не стану его профанировать холодными фразами благодарности, но Вы настолько знаете меня, что, вероятно, не усомнитесь, какого рода чувства наполняют мою душу.[2]

Просить Общество о выдаче вперед годовой пенсии у меня рука не подымается, хотя бы это было очень кстати. Если Вы это можете обделать без моей просьбы — я еще раз много благодарен.

Возвращаю Вам письмо Я. К. Грота, к которому я пишу с этой же почтою благодарственное письмо. Какой это

славный человек должен быть и как грустно, что судьба, беспрестанно сталкивая с пошлыми ничтожностями, лишает возможности знать таких личностей.

Стократ благословляю Вас на издание журнала и не сомневаюсь в его успехе.[1] Я не понимаю только одного: как такая счастливая мысль пришла так поздно в голову. При вашей изумительной деятельности, при обилии интересных материалов, грех было зависеть от других журналистов и к л а н я т ь с я им, когда они должны вам п о к л о н я т ь с я.

Вы просите, чтоб поскорей я прислал заметки на в р а н ь е Завалишина, но, к несчастью, я пробежал или, лучше, прослушал наскоро в «Отечественных Записках» эту статью. Теперь не могу ее достать из библиотеки для чтения.

Но поправлюсь — пришлю.

Теперь достаточно только сказать два слова о личности Завалишина. Он никогда не был членом нашего Общества, а почему не был? Потому что он был quasi-шпион * правительства. Этот почетный титул держал нас всех в Сибири подальше от него и от его милейшего братца, который был уже штемпелеванный доносчик. В безмерных планах своего самолюбия он пытался приобрести влияние на своих соузников, но осекся; был хозяином с этою целью и только потому, что искал этой должности с остервенением, и потому, что этой должности все уклонялись по хлопотливости, и кончил свое хозяйство так, что его хотели судить своим судом, — но пренебрегли и бросили.

Изучение 9 языков настолько основательно, чтоб переводить Библию с еврейского и сличать перевод с греческим, латинским и прочими текстами, есть пуф, так же как и перевод Библии. В результате упомяну, что он до сей минуты ни с кем из наших здесь в Москве не знаком. Он удаляется сам. Ну да бог с ним! Пусть трубит свою славу сам — у него на это сильные и крепкие л е г к и е.

---

* Как бы шпион.

Прощайте, добрейший Михаил Иванович. Сестры Вам шлют низкий поклон, а я прошу не забывать

преданного душою
М. Бестужева.

А. Н. БАСКАКОВУ[1]

1

Селенгинск, 21 марта 1846 г.

Добрый друг Саша,

Предвижу улыбку на устах твоих при самом начале письма; но прости меня, я не умел прежде, не сумел и теперь дать тебе другое имя. Мы так молоды расстались с тобою, а потом, когда между нами легла могила; когда нас схоронили заживо, для нас не стало ни настоящего ни будущего; одно сознание прошедшего оживляет по времени наше мертвенное существование. Им, как воздухом, мы только и дышим, — а в прошедшем я тебя иначе не могу представить, как добрым, беззаботно-счастливым Сашею. Когда я вспоминаю о шалуне Саше, все фазисы нашей прежней жизни, как в фантасмагории, проходят в моей памяти. То я припоминаю нашу корпусную жизнь; то твое житье-бытье на Козьем болоте. То я тебя вижу бегущим от погони по петербургским улицам за несоблюдение формы; то бегущим по скользкому льду, когда мы перебирались из Ораниенбаума в Кронштадт. Или ты мне являешься с париком в руках, чтоб надеть его на восторженную голову Штилинга; то твое критическое положение при нашем визите в доме у генерала Бибикова напоминает мне, как сам я был смешон в этом случае. — Итак, ты можешь себе живо представить, какой переворот совершился в моей голове, когда я получил первое твое письмо. Мой милый шалун Саша как бы волшебным жезлом вдруг переродился в степенного,

заботливого отца семейства; он хлопочет, как пристроить сыновей в корпус, а дочерей, может быть, отдать замуж. Чудо!

Потом, когда я убедился, что это не мечта, а действительность, я от чистого сердца возблагодарил бога, пославшего тебе счастие быть нежным супругом, чадолюбивым отцом и обладать сладкою надеждою — жить в своих детях. Дай бог, чтобы они и душою и сердцем походили на отца! И это должно быть твоим священным долгом, твоею первою обязанностью, потому что, друг мой, мало дать жизнь человеку, о которой он тебя не просил, надо, чтобы он тебя благословлял за этот дар и не проклинал. Чистое сердце, прямая душа и образованный ум — вот капитал, который отцы должны отказывать в духовной своим детям; ежели они не сумеют пустить этот капитал в рост, виноваты сами.

В твоем петербургском письме ты писал, что для доставления способов детям твоим быть пристроенными для их образования ты пошел на службу в Полицию и думаешь, что я могу над этим смеяться. Любезный друг, для истинно благородного человека (я понимаю — не к тем только, кому пишут: Ваше благородие) все пути, все средства для достижения этой высокой цели, этой священной обязанности каждого отца не могут быть ни смешны, ни низки. Не место облагораживает человека, потому что мы видели Неронов и Калигул на троне, а их коней в Сенате, — а напротив, человек — место. Это было главною целию нашего Тайного Общества, и само правительство, покаравшее нас, признало существование этой цели, как ты можешь видеть в отчете о нашем деле, и, увидев, какая может проистечь от сего польза, поспешило привести ее в действие, основывая училища правоведения, канцелярские школы и привлекая честных и благородных людей на самые низшие ступени государственного управления.[1]

В том же письме ты, кажется, упрекаешь меня за столь долгое молчание. Но скажи по совести, мог ли я к тебе прежде писать, пока ты сам не захотел искать отголоска в моем дружеском сердце. Друг... наше положение таково, что мы никогда

не подадим руки прежде, нежели не увидим, что нам протягивают обе; а сознание правоты своего дела дает нам право иметь столько гордости, чтоб не вымаливать внимания, как милостыни. Наше несчастие было пробный оселок, на котором узнают достоинство чистого и поддельного золота. Мы видели примеры великих жертв и благородного самоотвержения наряду с отвержением Петра от Иисуса и предательством Иуды.[1]

Это я говорю тебе не с тем, чтобы я сомневался когда-либо в изменении твоих чувств. Я был всегда уверен, что ежели ты можешь измениться, то это к лучшему, но не мог, не хотел к тебе писать прежде, чтоб изъявлением своих чувств дружбы не повредить тебе. Ты сам знаешь, как гибельно прикосновение прокаженного. Теперь временем ослабилась прилипчивость нашей заразы, я в свою очередь прошу утешать меня почаще твоими письмами, и будь уверен, что ни одно твое письмо не останется без ответа.

Благодарю тебя за все вещи, присланные тобою в знак твоей памяти обо мне. От тебя мне их нисколько не трудно было принять: я их принял, как от брата, больше — как от д р у г а - б р а т а.

Ты просил, чтоб я тебе прислал портрет свой. Исполню твое желание, но пришлю не иначе, как с верным случаем, потому что нам недавно запретили снимать друг с друга портреты и пересылать их даже к родным, а потому не хочу пересылать по почте. Хоть этот портрет снят лет 10 тому назад, но я мало изменился, т. е. столько, чтоб быть совершенным братом Александром пред его смертию. Без всякого сомнения этого я сам знать не могу, но говорят другие. Недели три тому назад у нас был генерал жандармов нашего округа, который почти жил с братом в Ставрополе и любил его очень. Когда я вошел в комнату, он вскричал: «Так Вы живы, Александр Александрович!».

Ну, милый друг, на этот раз довольно. Обнимаю тебя крепко и прошу не забывать и писать ко мне чаще. Пиши прямо на имя Андрея Васильевича Пятницкого, гражданского губер-

натора в Иркутске, с просьбою переслать письмо ко мне. Кланяйся твоей супруге, которую я люблю, хотя не знаю ее, и поцелуй деток своих.

Прости. Твой друг М. Бестужев.

P. S. Брат тебя тоже обнимает.

2

21 октября 1846.

Ты меня извинишь, милый друг Александр, что я пропустил несколько почт, не отвечая на твое дружеское письмо. Не лень, не забвение твоих прекрасных чувств — было тому причиною. Нет, друг' Я высоко ценю твою бескорыстную дружбу и привязанность, которую, право, не знаю, чем заслужил, но которая гораздо выше и святее любви и привязанности к покойнику, потому что в последнем случае нет никакой опасности предаваться явно этим высоким чувствам, тогда как явная привязанность к нам может считаться преступлением. Во всяком случае будь уверен в одном, что я тебя всегда любил и сохраню эти чувства до вторичной моей смерти, и потому не перетолковывай иногда моего молчания в худую сторону.

Очень часто, утомившись от мелочных хлопот и дрязг житейских, на которые мы осуждены за грехи, как католические усопшие в чистилище, очень часто, в часы короткого отдыха, возьмешься за перо, чтоб побеседовать с близкими душе, — и перо невольно падает из рук. Что я буду писать? Что у меня на сердце, того сказать нельзя, а писать пустяки — не стоит. Описывать житье-бытье, но мы и не живем, мы тащимся по длинной анфиладе однообразных, бледных дней, месяцев и годов до безвестной могилы, вырытой на другом конце, где улягутся наши кости и где ни одна сочувственная слеза не оросит могилы.

Описывать край, людей, нравы их, обычаи, но для этого тесны странички письма. Но, уступая твоему желанию, я когда-нибудь набросаю в главных чертах картину ничтожного существования бывших владык нашей родины.

Вот описание твоего быта, даже в малейших подробностях, для меня очень интересно. Ты деятельный член общественной жизни; ты живешь и в себе и в других как отец семейства. Как бы я желал взглянуть на тебя, почтенного сельского патриарха, обнять тебя, побеседовать о былом, налюбоваться твоими детьми, твоим счастьем и потом — хоть в могилу.

После пламенного, единственного желания: увидеть родных, свидание с тобою было всегда мое задушевное желание, около которого, кажется, неумолимая старушка-смерть очертила своим костяным перстом заколдованный круг, и разве только переступя заветную его черту сбудутся — несбыточные на этом свете — наши надежды.

Прощай, друг мой, обнимаю тебя крепко. Обними также своих детей за меня, поклонись твоей супруге. Пиши и не забывай истинно и душою любящего тебя

М. Бестужева.

3

Селенгинск. Сентября 18. 1847.

С кем же, как не с тобой первым, мой добрый друг Александр, мне поделиться радостию, посетившею нас впервые с тех пор, как мы умерли для всех радостей? Ты, вероятно, понял, о чем я говорю. Не стану тебе описывать, что со мною было, что происходило во мне, при столь неожиданно-скором свидании с милыми сестрами. Спроси у своего нежного, доброго сердца, и оно тебе все расскажет, а я не в силах: перо отка-

зывается, и у меня в голове и сердце до сих пор такой хаос, что надо было произнести над ним твое имя и чтоб с этим именем чувства дружбы пересилили на время другие чувства и дали мне возможность набросать тебе несколько строк. И потому не осуди, ежели это письмо коротко и не связно. Прими его за выражение необходимой потребности души поделиться радостию, излить свои ощущения в сердце любимого человека.

Ежели было бы возможно, я полюбил бы тебя еще больше, узнав от страдалиц-сестер твои благородные, родственные попечения к ним во имя нашей взаимной дружбы на том свете. Ты меня упрекал в одном из твоих писем за то, что я спрашивал себя — чем я заслужил такую дружбу? — Не могу припомнить, в каком смысле была помещена эта фраза, но и теперь я повторю, что чувствую. Я горжусь твоею дружбою, зародившеюся в таких юных летах, когда впечатления так быстро сменяются, и не скрепленною доказательствами самопожертвования с моей стороны. Я тебя любил. Ты это знаешь, но по наклонности моего насмешливого характера был чаще более безжалостен, нежели снисходителен к твоим недостаткам и странностям, которых я никогда не считал моральными пятнами на светлой твоей душе и о которых я и теперь, напротив, с удовольствием вспоминаю, как о грезах давно прошедшего, приятного сна юности. И потому, друг, мне досадно было прочитать в последнем твоем письме некоторые строки, доказывающие, что ты меня не понял и что приятное воспоминание прошедшего могло породить в тебе неприятное ощущение. Но полно об этом. Мы любим и знаем друг друга очень много, чтобы давать какой-либо вес подобным недоумениям.

Как ты должен быть счастлив в кругу твоего семейства! Не завидую — радуюсь за тебя. С твоей женою сестры знакомы по письмам, детей твоих знают лично. Я говорю о сыновьях. Говорят, они бравые молодцы, особенно мой тезка. Дай бог, чтобы они были славными моряками.

На этот раз довольно. Прости, мой друг. Пиши ко мне чаще. Ты теперь единственное звено, соединяющее меня с вашим светом.

Тебя крепко обнимает любящий друг твой

М. Бестужев.

Приписка Николая Бестужева: Напоминаю о себе Александру Никитичу: желаю, чтоб он был счастлив столько, сколько мы все его любим. Прошу его познакомить старика Николая Бестужева с милым семейством.

Из письма к П. И. Першину-Караксарскому[1]

Селенгинск, 23 декабря 1861 г.

Примите душевное поздравление с наступающими праздниками, добрейший Петр Иванович. Желаю Вам, сыну Света, провести их, как подобает, в радости и в веселии духа при праздновании и рождении на земле первого либерала, первого санкюлота, как его называли проснувшиеся от ига французы, первого студента прав и юстиции. Но так как Вы из числа существ, носящих на костях плоть смертного, то желаю Вам тоже всех земных и житейских благ и удовольствий, подобных тому, которыми вы наслаждались, празднуя 14 число. В этот день вы праздновали русское Светлое Воскресение истины, когда ее русский Пилат похоронил и запечатал своею печатью, не воображая, что она когда-нибудь на Руси воскреснет. Я хотя был отсутствующим при празднестве вашем, но духовно витал в вашем тесно благородном кружке! Я уверен, что и все наши товарищи, сокрытые уже в гробах, восстали, как это было при воскресении спасителя, и присутствовали с вами. Благодарю всех вас за эту почтенную тризну по погибшим за истину . . . .



ПИСЬМА ПЕТРА БЕСТУЖЕВА[1]

1

П. М. БЕСТУЖЕВОЙ

‹Кронштадт. Август, около 1824 года›.

Дражайшая матушка!

Долго, долго мучила меня неугомонная совесть; я никак не мог понять причины ее нападков, как наконец письмо, полученное от Вас, пробудило во мне желание беседовать с Вами и разгадало тайну, меня беспокоившую. Я решил писать, но все же долг платежом красен, и я, покушавшись собрать все любопытное и очиня перо для большей ясности моего тарабарского почерка, не нахожу ни одной здоровой мысли, ни одного занимательного происшествия, ни одной красноречивой фразы для удовлетворения Вашего ожидания. Мир удовольствий так опустел ныне, особенно у нас в Кронштадте, что даже с телескопом Гершеля и с операционными щипчиками славного Буша трудно отыскать и зацепить что-нибудь похожее на весточку занимательную. Не люблю говорить о себе лично, но, признаюсь, охотно рассказываю это письменно, и потому скажу, что кроме здоровья — я весел. Утро занят. Обедаю в прелестном семействе адмирала, вечер свободен. Его посвящаю: знакомым, приятелям, чтению и языку самого ветренного народа в свете. Несколько раз был

с адмиралом и его семейством за городом, где под тению хотя не разветистого дуба, а просто вечно юной ели, мы, сидя за чайным столиком, составляли семейственную картину. Недавно около 2-х недель с ними же был в Рамбове: гуляли, бесились, устали и, наконец, также живописно пили чай на катере. Вообще, должно сказать, я — ими и они — мною весьма довольны. Не пишу ни слова о Анне (которую, к счастию, мне хотят повесить не на шею): потому что нет на ее никакого решения, но уведомляю, что переселился на новую, соседнюю квартеру, которая с бывшею моею хатою составляет подобие дворца тунгуского императора и которую я как человек деловой разделил: на зало, приемную, кабинет, гостиную и проч. У бывшего ее владельца купил я дов‹ольно› сходно мебель и теперь живу пан-паном. Недостает одной безделицы: денег, но это такой пустяк против выгодности — о которой я вовсе не забочусь. 22-го июня был в числе только собственной своей особы, с утра (где видел церемониальный развод) до ночи 23 — в Петергофе. Все бывшие доселе иллюминации ничто в сравнении с нынешней. Вообразите себе очаровательный летний вечер, прелестное местоположение, шум падающих каскадов и фонтанов, окрестный лес, воспламененный по одному мановению, пестрые, шумные толпы народа и наконец лазуревое небо, на котором плыла луна, осеняя общую картину, и вы будете иметь только слабое понятие о великолепии сего, единственного у нас праздника. 3 августа был у нас государь. Осмотря кое-что в городе, отправился на экскадру Кроуна. Позавтракал, выпил здоровье: капитана, офицеров и матрос. Сел на катер — и довольный, веселый — быстро-быстро понесся в Рамбов — к разводу. Разумеется, что я сопровождал его всюду в расстоянии 4-х шагов. Что же касается до князей великих, то они так часто (особенно Николай) посещают Кронштадт, что мы встречаем их запросто, как давно знакомых, частных людей. Крейсер, прекрасный фрегат Лазарева 2-го — благополучно и в новой красе воротился на рейд 7-го августа. Шлюп Крот-

кий капитана Врангеля готов отплыть для снабжения Камчатки и Ситки необходимым. Как людям, сострадающим о гибели флота, скажу Вам, что у нас действуют довольно успешно при снятии с мели, и уже осталось на мели только около 22 судов. $^3/_4$ из сего числа должно ломать. Гавани и крепости почти все — в лучшем виде воздвигнуты снова и проч. и проч. Пишу это единственно за недостатком материалов любопытных, за которыми скоро поеду в Петербург. Клара Карловна, Федор Васильевич [1] и все семейство адмирала кланяется и желает как можно веселее забыть скуку осенних вечеров — как почтеннейшей, милой маминьке, так и любезным моим сестричкам.

Вот Вам письмо в виде газеты. В нем недостает малого и главное чувствований обычных. Но оно писано наскоро — значит извинится. Целую тысячу раз ручки ваши, желая здоровья, радости и веселья. Остаюсь покорный и любящий сын

Петр.

P. S. Сестрицы извинят недостаток места. Обнимаю Лёшеньку, Олиньку, Машиньку. Любовь Ивановна [2] — кланяется.

2

А. А. БЕСТУЖЕВУ

Крепость Ахалцих. 1829 г. февраля 21 дня.

Любезный брат, Александр Александрович!

Франклин, призывая с неба молнию, не был так обрадован, когда она упала к ногам его, как я, получа письмо твое. Но электрические укоризны потрясли душу. Так, дорогой брат! Я виноват пред тобою и каюсь, как безнадежный грешник! Но не бесчувственная холодность тому причиною, нет! Мысль моя, как ласточка, веет около тебя. Дыханием цветущего юга

хочет отогреть жителя суровой зимы. Даль, нас разделяющая, есть масло, подливаемое на неугасимый факел дружбы, и взаимные послания — порох, заставляющий его порой блистать ярче. Непрочно был я уверен в действительном получении двух первых моих писем, ждал от тебя ответа — и вот иссякший ныне источник моего бездействия.

Из твердынь, недавно громимых и наконец низложенных победоносными войсками святой Руси, пишу я. Наш полк как первенец и любимец победы оставлен защитником крепости в стране еще не совершенно покоренной. Пушистые снега убелили лавры витязей, чтоб с возвратом весны ярче зазеленеть, благоухать душистее. Впрочем, нас не постигнет участь Аннибала в Капуе. Новый серакир-паша Эрзрумский, деятельный более своего предшественника, познакомившегося с шелковою петлею, не дремлет. Через него султан обещал Аджарскому беку (одного из непокорных и воинственных уездов) звание паши Ахалцихского, ежели он возьмет крепость назад. Честолюбие и жажда прибытка преодолели робость и бессилие. Бек собрал всех своих жителей, и теперь, когда пишу я, мы, пришельцы-завоеватели, ожидаем нападения. Нас только 1000 человек, а их 12 000. Но пусть утроят они толпы свои, пусть вооружатся всеми правилами европейского искусства и тактики, и тогда штурм крепости, доступной одним русским, будет для них роковою могилою. Много потеряют несчастные жители. Город, населенный большею частью христианами и жидами, лишен всякой защиты. Палисад, коим был обнесен он, вырублен после приступа. Слишком мы малочисленны, чтоб сделать вылазку, мы должны будем с зубчатых стен равнодушно смотреть на грабеж, убийство и насилие хищников. И теперь уже во всех домах раздаются предсказательные вопли женщин, плач детей и крики взрослых. Военная дисциплина запрещает гранитным твердыням отворять для погибающих красавиц свои спасительные объятия!!!

По всему видно, что победные знамена наши в Азии разовьются скоро. Да и наскучило это бездействие: ржа хара-

ктера и плесень ума. В военной науке непременно должно повторять зады, а то того и смотри, что разрыв-трава — изнеженность раскрошит мечи, разорвет стволы храбрых. Это доказала в недавнем времени армия, действующая на театре европейской войны. Турки вооружают огромные ополчения. Обнародовано всеобщее восстание. Санджак-шериф магометов призывает и старого и малого под священную тень свою; но это кажется последние усилия умирающего откликнуться на призыв друга... Ежели неприятель не переменит систему войны оборонительной на наступательную, то наше военное поприще должно ограничиться генеральным боем на равнинах Эрзрума и взятием Трапезонта — крепости сильной, пашалыка — богатейшего и населеннейшего из всех малоазийских!..

Ты прав! Некогда солдату умствовать и горевать походом. Случалось мне падать от усталости и не доходя ночлега — так тяжела философия, втиснутая в солдатский ранец, и мизантропия в виде ружья на плечах. Гораздо легче подпирать собою все горести и бедствия Пандориной коробки, чем нести сорок верст полную амуницию... В листочки твоего письма заверну я роковую пулю и буду ждать случая пустить ее в священную бороду лучезарного родственника луны — не иначе!!! Прекрасный климат Турции ручается за будущее мое здоровье, роскошная природа и свист ядер развлекают в часы грусти и уныния.

Поклонники кровавой Беллоны, редко пользуемся мы ласкою муз отечественных, но гром перунов марсовых не заглушил в нас стремление ко всему возвышенному, особенно в областях поэзии. Новые произведения любимых поэтов согревали и нас и в вьюги зимы, и в зной лета, и ‹в› пылу битвы. «Московский Телеграф» (не взирая на твои былые нападки — журнал прямо европейского достоинства) беспристрастно оценивал оные, и Северная Пчелка на радужных крыльях своих приносила порой с берегов родной Невы много любопытного. В «Графе Нулине» Пушкин очень удачно осмеял наших баричей-собачников; «Онегин» в 7-й главе, после убийства

Ленского, отправился в Одессу, ест устрицы и пьет портер; «Борис Годунов» показан хоть в Тришкином кафтане, но величавою походкою гения. Баратынский отпечатал свой «Бал» — образчик его мыслей о модном свете. Новый Пигмалион — Раич оживотворил еженедельный журнал «Галатею» и кажется один только любуется ею. Много написано и переведено о Турции и упорном Махмуде III. Альманахов вышло столько, что, без сомнения, они нагромоздят в Лете пороги ужаснее Днепровских.

Вот все, что долетело до нас из литературного мира. Все и всё, что любит и помнит тебя, посылают свой дружеский, ласковый привет. Полк наш, получа серебряные георгиевские трубы, переименован в полк Графа Паскевича Эриванского, и потому под сим титлом твои послания найдут меня везде в сем свете. К концу марта сменят нас другие, а мы пойдем далее к источникам заветного Евфрата. Будь весел и здоров и не забывай горячо любящего брата

Петра.

3

П. М. БЕСТУЖЕВОЙ

Ахалцих. 1829.

4-го марта 2 часа после освобождения от блокады К. Ахалцих.

Закопченный пороховым дымом — обрызганный кровью, смытою кровавым потом, освещаемый заревом пожара, пишу я Вам. Мои предсказания сбылись. В ночь с 19-го на 20 февраля Аджары и Поцховцы ворвались в город. Перестрелка у мечети, где укрывались католические семейства, — дикий крик разбойников, вопли детей и жен вразумили нас. Треск барабанов — тревога — призвал всех на стену. Не прошло трех минут, как картечь наша во мраке ночи по голосу искала виновных и расточала смерть в нестройных толпах их. Долго сопротивлялись католики — наконец одолело множество. Аджары ворвались в мечеть! Занимающаяся заря осветила картины, при мысли

о коих немеет рука, стынет кровь — ужасается всякое человеческое чувство!! Хищники, к коим присоединились жители города и всего пашалыка в числе 10 000, рассыпались по городу, засели в домах, и не прошло 5 часов — у нас уже было до 10 убитых и 18 раненых. 12 дней сидели мы взаперти. Каждую ночь собирались турки на штурм — и каждый раз неусыпная деятельность гарнизона приводила их в робость. Наконец, в ночь с 3-го на 4-е, вероятно узнав о приближении сикурса, пресыщенные разбойники бежали. 2 версты преследовали мы их — отбили 4 пушки, 2 знамя, одну мортиру, до 70 пленных — и теперь свободны. Напишите об этом Александру и бр‹атьям›.

П. Б‹естужев›.

4

Н. и М. БЕСТУЖЕВЫМ

Любезные братья Николай и Мишель!

С радостью обессиленного утопающего, которому друг человечества протягивает руку спасения, принял я милостивое позволение писать к вам; поведать мой быт; передать далеким страдальцам повесть чувств своих; из глубины Малой Азии откликнуться на привет пришлецов мрачной Сибири и, может быть (лестная надежда), узнать от самих подробности однообразной жизни родных Гипербореев.

Брат Николай! Я обращаюсь к прошедшему: ты заменял мне отца, рано похищенного неумолимою смертию; ты развил мои способности; образовал ум и вкус; был образцом на терновом пути правоты и добродетели, и ежели иногда, строгий к моим шалостям, казался холодным, то сие предубеждение, вместе с опытностью и познанием света, исчезло ныне, и твое имя, твой образ, чистый и возвышенный, глубоко врезаны в сердце, безусловно тебе преданное. Мишель! Не знаю, что именно: может быть, мои ошибки и упорство характера мешали сближению нашему; может быть, строго оценивая былые

заблуждения наши, оба мы должны укорять себя в недостатке дружбы и откровенности, близкой нам и по природе, и по одинаковому образу мыслей, и по союзу, заключенному на заре жизни, в счастливые дни детства; наконец, может быть, не умели мы верно оценить друг друга; но взгляд на прошедшие наши отношения не порадовал бы ни стоика, ни схоластика, хотя в сердцах и тлел огонек истинной любви. Теперь все изменилось: грубый толчок судьбы двинул нас навстречу; с отверстыми объятиями встретились мы на рубеже политического бытия нашего, и узел дружбы был снова завязан при отдаленном перекате грома, при шумном говоре толпы отверженной! Верьте, братья мои! что страдания и горе ваше, пробуждая тревожную мысль о непрочности славы мира сего, делают вас в моих глазах еще любезнее и почтеннее. Часто, в кочевой жизни моей, на закате солнца, под свободою храма бога живого, роскошно развернутого над главою, в теплых молитвах оглашал я пустынный воздух и живописные окрестности именами вашими, с сердечным умилением испрашивая одного, всегда одного: здоровья и спокойствия духа! С сими путеводителями еще брезжет для вас луч надежды! Милосердие есть достояние великих земли!!..

Около двух лет постоянно шумят надо мною знамена Марса, с прикованною к ним победою. Много испытал я в это время и сладкого и горького: кровавым потом и грудью заслужил я первые галуны — радугу после потопа; но не исполнилась еще чаша испытаний. Ограниченный, скованный в тесном кругу военной деятельности, повлачусь я к источникам Ефрата, да целебные воды его возвратят силы, оденут в ризы потерянные... Характер и свойства нынешнего султана Махмута III опасны соседям в военном отношении. Не знакомый с событиями истории, он единым духом своим создал для Турции русского Петра и последнее 10-летие своего царствования ознаменовал удивительным делом: непокорные и нестройные толпы преобразовал в грозную армию, не истребя сею мерою храбрости и гордости народной (отличительные черты

характера оттоманов) так, как сие случилось в Персии, с сарбазами Абас-Мирзы, короткими моими знакомцами. В самом зародыше надлежало истребить эту магометанскую гидру, и русские сделали к сему подвигу самое блистательное начало. В 4 месяца потеряли турки многие лучшие свои крепости за Дунаем и *все* в Малой Азии. На нашу долю в будущих операциях остается только *Эрзрум* и *Трапезонт*; но ежели совершится исполинская гениальная мысль: действовать на Константинополь чрез Армению и пашалыки азиатские, то быть может победа приведет нас к струям Босфора Фракийского... Гнездо разбойников, порто-франко всех грабленных товаров и увлеченных пленников, кр<епость> Ахалцих, где живу я теперь и при покорении коей потеряли мы до 400 человек, недавно осаждена была в свою очередь турками. 20 000 нагрянуло их. Нас было 1200 ч. 12-ть дней провели мы без сна; 12-ть дней нельзя было высунуть ногу за зубцы стен. Два раза отразили приступ, потеряли 105 чел. убит<ых> и раненых; наконец, заблестели штыки сикурса, и многочисленная орда предалась бегству. На заре распахнулись ворота крепости, и восходящее солнце осветило картину убийств. Ожесточенные не знают пощады; назад возвращались мы по трупам убитых. До 1000 насчитали их! (Военное ремесло портит человека. Кровь вражеская смывает с него оболочку сострадания и заливает в душе пламя божественной чувствительности. Некогда я равнодушно не мог видеть страданий зарезанной курицы, — теперь с закаленным сердцем попираю стенящего раненого и ежели не с холодностью, то с каким-то диким оцепенением смотрю на последнюю борьбу умирающего в продолжении сечи). 4 пушки и 2 знамя были трофеи победы. Худо ли, хорошо ли, но я действовал в сем обстоятельстве и представлен к всемилостивейшему воззрению монарха здешним начальством, которое меня любит и ласкает.

Не взирая на то, что из Азии, как из рассадника, отправляются огромные ополчения в Европу, близ Эрзрума встретят нас большие силы и приготовления. Но может ли хилый

тростник удержать реку бурную? Что остановит грозное войско, привыкшее мимоходом покорять крепости неприступные? Впрочем, все доказывает, что турки располагают действовать наступательно и рано откроют кампанию, значит, полная луна не осветит двух раз лазури неба, как мы будем уже на пути к новым завоеваниям, тревожащим Диван более, чем дела победоносной армии за Дунаем.

Неприятно передавать горестные вести и истины; но я не могу умолчать о следующем: общий друг и благодетель наш, полномочный министр в Персии, А. С. Грибоедов предательски зарезан в Тегеране со всею миссиею. Невольно содрогаешься при сей страшной мысли! Что подумать о правительстве, где неприкосновенность чрезвычайной особы так нагло нарушена? Что подумать о народе, который весь состоит из итальянских лацароней, беспрестанно острящих подкупной нож предательства?..

Исключая деятельность физическую, которая иногда не только подкрепляет, но изнуряет меня, в нравственной я терплю такие же недостатки, как и вы, драгие мои! Жажда познаний, без средств удовлетворить оные; мысли мрачные, раздуваемые пламенным воображением, как вековая ржа на металле, точит сердце, питает все сокрушающую тоску. Только ласковая мечта быть когда-нибудь соединенными (зачем нельзя определить сей эпохи математически?) услаждает грусть и разнообразит дни прозябаний усталого от трудов, но бесполезного трудами, юноши-воина.

Осеняемые мольбами и благословениями всех любящих и помнящих Вас, живите в мире, благородные, любезные изгнанники — братья мои! Коротайте горе надеждою, подкрепляйте здоровье воздухом чистым и памятуйте душою преданного, горячо любящего Вас брата

Петра Бестужева.

1829 года апреля 17 дня.
Кр. Ахалцих.

5

П. М. БЕСТУЖЕВОЙ

Лагерь при деревне Чабары. 1829 года июня 3 дня.

Любезнейшая и дражайшая матушка!

Измученный, окровавленный, отряхивая пыль и прах с закоптелого лица, потом окропленный — одним словом, как страдалец боевой жизни, пишу я Вам с поля сражения и победы. Наскуча бездействием и опасностями мира, я имел случай присовокупиться к отряду генерала Бурцова, обеспечивающего К‹репость› Ахалцих. Скоро двинулись мы на усмирение непокорных, в санджак Коблианский. Там под громом пушечной и ружейной пальбы — воспламенились целые селения, блистательное зарево застлало небосклон. Аджары — и мы, более утомленные, чем торжествующие, — обошли новым ущелием в санджак Поуховский. Здесь встретил нас неприятель числом до 15 000. Каил-Бек и Ахмат-Паша предводили им. У них было 5 пушек, с нами 4. Завязалось жаркое дело, длилось 4 часа — и кончилось совершенным успехом. Мы отбили 3 пушки, 2 мортиры и 2 знамя, лагерь, 200 верблюдов, весь артиллерийский парк и множество патронных ящиков. Сам Каил-Бек едва ускакал, оставя дорогую шубу свою в руках казаков. Потеря наших простирается до 120 убитых и раненых. Турки потеряли до 1000 и 60 пленных. Я командовал взводом стрелков в 24 человека, два раза были окружены мы — два раза опрокидывали мы неприятеля. Несколько раз смерть скользила по сермяжной броне моей — но все кончилось благополучно, и я вышел невредим. Кинжал, всегдашний спутник мой и товарищ в деле, спас меня от легкой и красивой раны (по словам брата Александра).[1] Пуля на излёт ударилась в рукоять кинжала, пробила шинель и остановилась за поясом. Преспокойно вынул ее и положил в карман на память, благословляя небо. — Видимо мне счастье. Вскарабкались на такую гору —

так опасно маневрировали и так далеко преследовали, что после битвы я воротился в колонну и без ног и без сапогов — утомленный, но довольный собою. Теперь снова соединился с полком — отдыхаем и двинемся к Главному отряду. — Письмо Ваше столь обязательное и деньги получил — и благодарю от глубины души. Но в походах явились новые потребности и новые недостатки. Как бы желал я скорей соединиться с милым нашим Павлушею! Дня 4, 5 и мы будем вместе! Где-то застанет Вас это письмо, дражайшая матушка!? Не под тенью ль густых сосен и елей ветхой Ладоги, при однозвучном говоре бора!! Соединясь с Главным походным почтамтом, я буду иметь удовольствие еще писать Вам и не раз, а теперь, испрашивая Вашего благословения на генеральный, решительный бой, даже по отношению судьбы моей, — я остаюсь покорный и обожающий сын Ваш

Петр Бестужев.

Простите, любезные сестры, несвязность моего слога и почерка. Усталость едва позволяет водить пером. Впрочем она не столь велика, чтобы не дозволила уверить вас в моей постоянной любви, почтении и привязанности. Кстати близится то время, когда мы заключим друг друга в пламенные объятия, и все забудется — останутся одни воспоминания былых горестей и мечты о родных страдальцах, которым при случае не забудьте написать о брате вашем

Петре.

6

П. М. БЕСТУЖЕВОЙ

‹1829›.

Дражайшая матушка,

Поздравьте меня со скорым выздоровлением. Рана моя улучшается приметно, и я надеюсь недели через две отправиться в Тифлис, где серные воды возвратят руке прежнюю ее способность. Но радость, еще живейшая, обновила нас

в горе. К нам совершенно неожиданно присоединился дорогой я к у т, наш Александр. Не нужно рассказывать, как радостно было свидание трех братьев в столице древней Армении. Я совершенно здоров и с теплыми молитвами к всевышнему о даровании Вам здравия и спокойствия

остаюсь сын Ваш Петр Бестужев.

7

П. М. БЕСТУЖЕВОЙ

Октябрь 18 ‹1829›.

Дражайшая матушка,

Правая рука моя благодаря времени и целебному свойству вод здешних мало-помалу получает способность писать, и я на сей раз решился отдать отчет в моих чувствах и обстоятельствах. В Тифлис прибыли мы с Павлушей уже около недели и живем вместе на казенной квартире более весело, чем скучно. Блистательный мир 2 сентября положил конец нашим трудам и подвигам и может быть лестная надежда нашим трудам и подвигам. Знаменитый Главнокомандующий наш произведен в фельдмаршалы и скоро будет сюды, чтоб отдохнуть на лаврах после подвигов ратных и умственных...

Обязательное письмо Ваше с 200 р. денег и другое к Павлуше с 100 р. и жестокими укоризнами мы имели удовольствие получить по прибытии в Тифлис. Вы уже слишком чувствительно, любезнейшая матушка, приняли неосторожный намек насчет Павлуши. Никак не сомневался я в его чувствах и привязанности и слишком далек от мысли когда-нибудь поссориться. Неисправность в переписке, основанная на ветренности, может только произвести минутное огорчение, которое обыкновенно забывается при первом свидании. Но я совершенно доволен, совершенно люблю его и утешаюсь, имея такого внимательного брата. Теперь мы с ним думаем

исправней исполнить Ваше поручение. Увезя шинель мою в Арзрум, мы разъехались. Там увидит он брата Александра, которому, к досаде его, удалось быть в немногих стычках. Знаю, что он без нас захворал, было, лихорадкой, но теперь совершенно поправился и может быть скоро будет сюды. 600 верст расстояния сблизили нас, но все-таки еще 2000 роковых и бесконечных отделяют меня от родных. Когда уменьшится оно? Когда, следуя общему порядку вещей в природе, истребится война?? Когда, бросив прощальный взор на величавый, но ненавистный Кавказ, паду я к ногам Вашим, в Ваши родительские объятия?? Скоро, скоро, — шепчет мне тайный утешитель — это надежда. Но она — суетное, обманчивое, льстивое ‹существо›, живет чужою опытностию, одним словом, она — женщина. Можно ль довериться ей? Решите сами. Но довольно. Слабая рука моя едва водит пером. Прощайте и благословите на все доброе.

Весь Ваш Петр Бестужев.

Внимательные, обожаемые душечки, сестрицы мои, обнимаю бесчисленно. Всего веселого и блаженного желаю Вам. Сбудется ли пророчество вашего дельфийского оракула Олиньки, Машинькины мольбы.

P. S. Злосчастное белье мое почти все истребилось вследствие трудов походных, дурного мыла и, наконец, раны моей. Нельзя ли сформировать помаленьку новое?

8

П. М. БЕСТУЖЕВОЙ

Тифлис. 5 Ноября 1829 г.

Дражайшая матушка,

Под перекатами и выстрелами, при радостном клике народа, празднующего мир счастливый и славный, пишу я Вам. Сколько идей смешанных и радостных пробуждает в уме мысль

о сих отголосках благоденствия и славы народов!! Победоносное войско, обремененное трофеями, увенчанное оливами, мирно и радостно возвращается в отечество. Громче бьются сердца воинов. Каждый спешит под кров домашних пенатов, в кругу приязни и родных отдохнуть после трудов бранных — ожить душой при радостном говоре семьи осчастливленной. А мы?.. Да не идет мимо нас чаша сия!! Ужли навсегда закрылась звезда нашего счастия? Не одинаково светит солнце для всех в мире сем? Есть в небе бог милосердый, на земле — государь великодушный, и эта мысль, как герой торжествующий, гонит и низвергает в бездну все другие, часто тревожащие чуткое воображение. Я изнемог душою, давно расставшись со всяким пылким, радостным, нежным чувством; следы климата, трудов военных и недостатков разного рода тяготят бренное тело, испорченная рука отказывается носить тяжкое оружие брани — и где? как? могу я найти призрак счастия и покоя, как не в заповедных рощах Ладоги, в объятиях родных, обожаемых?!

Признаюсь, горестно и досадно в мои лета свыкнуться с подобною мыслию, но рассматривая себя в настоящем положении, сверяя, соображая и загадывая в будущее, все приводит к ней невольно, как стрелку компаса к северному полюсу. Впрочем, утвердиться на сей мысли, как на основной, нельзя еще. Мы блуждаем ощупью, в лабиринте сомнений, и бог знает, что будет с нами без Ариадниной нити. Будет то, что бог даст, с этой поговоркой великого человека я засыпаю обыкновенно, пробуждаюсь с надеждою и целые месяцы мыкаю горе рассеянием и занятиями. Рука моя простреленная, следуя порядку вещей, поправляется мало-помалу. Пальцы действуют. Силы в ней возвращаются. Не могу только совершенно распрямить ее и сжать кулак, потому ношу на перевязке. Кажется сей последний недостаток останется долго или, быть может, навсегда. Но рана так хорошо залечена, что при самых неблагоприятных погодах я не чувствую ни малейшей боли и благодарю бога за избавление так быстро

от увечья. Теперь и письмо брата-горемычного получил. Брат Александр скоро будет сюда. Здоровый и победоносный брат Павел пишет. Уверенный, что осененный вашим благословением буду жить счастливо под осенним небом Тифлиса. С горячею любовью остаюсь

Ваш сын Петр Бестужев.

Приписка Павла: Сестры уверены, что любовь моя и привязанность никогда не истребятся. Прошу прощенья, что по приезде сюда не писал к Вам. Надеюсь поправиться и писать чаще. Сестер целую.

Павел Бестужев.

9

А. А. БЕСТУЖЕВУ

Дер. Темир-Хан-Шура.

1830 г. августа 12 дня.

Я получил, любезный друг, брат мой, письма твои — от 24 и 29 июня, и прости, что не мог иметь верной оказии отвечать тебе скоро. Укоризненные выговоры твои, конечно, упали мне прямо на сердце — и больно и тяжело было мне вынесть их вначале. Но убежденный, что их внушила тебе привязанность и любовь ко мне, я успокоился, примирился и с тобою и с светом. Благодарю сердечно творца (и людей, снабдивших тебя удобствами домашними‹?›), столь видимо хранящего нас от болезни так опустошительной и жестокой. Судьба, быть может, проведет мимо этот страшный бич, неприятный у нас, у вас еще более. Павлушино письмо получил и грущу вместе с тобою за его ветренность. Что за коротенькие цидулочки вечно пишет он? Впрочем, он занят, служит — и это только мирит меня с ним. В старину не одного меня, и тебя винили в ветренности и лености. Ты, судя по твоим внимательным письмам, совершенно исправился, а меня родные и знакомые

могут даже и теперь обвинить в этом, хотя я и стараюсь душевно избавиться этой сердечной болезни. Насчет белья, любезный друг, я не уведомил тебя, потому что все поджидал посылки, затеряние которой мне крайне непонятно, а между тем я чрез это в нужде. У меня кроме обветшалого и пришедшего уже в негодность белья — нет ничего, и ты крайне одолжил бы меня, если бы похлопотал доставить на первый случай хотя следующее: рубашек 2 или 3 и чулок сколь возможно более. Прочее, хотя и дурное, есть. И мои деньги заметно идут на убыль. Осталась совершенная безделка — а долги кой-какие и ежели есть на ком, то мне как-то совестно напомнить о них. Неужели Аладьин не шлет за сочинения? Странный человек!

Холера, говорят, и у нас обнаружилась на некоторых, в лазарете нашем, но кажется, ежели не уменьшается, то и не увеличивается ныне. Предохранительные средства от оной те же, что и у вас, и потому я не боюсь ее. Вина пью мало и то всегда с водою. Водки — никогда. На расслабление желудка не могу пожаловаться. Соития всякого рода мерзки мне ныне. Прочее предоставляю воле провидения и искусству докторов.

Ты сказываешь, что матушка просила меня в отставку... и мне хотелось бы, чтоб кто-нибудь из нас мог быть подспорою и утешением ее старости. Это пламенное и усердное мое желание. Но от нас ли зависит наше назначение? Признаюсь, я иногда питал себя надеждою, что могу быть полезным государю и отечеству. В мои лета как-то совестно отказаться от обязанности гражданина и постыдно пресмыкаться без всякой цели. Я готов избрать ее. Выбор мой решен, но должно, чтоб кто-нибудь властный в этом деле направил все мои силы. Без Ариадниной нити я заблужусь в лабиринте неизвестности и сомнений. Жить в каком-нибудь городке России и вместе, куда б могли переселиться и родные, также утешительно (везде, кроме этого скверного Дагестана), но опять оное же препятствие: человек располагает, бог определяет. Никому столько, как мне, не наскучила бездомная, лагерная,

неопрятная жизнь. Никто более меня не испытал лишений всякого рода, огорчений моральных, тревог душевных. И где этот обетованный уголок земли? Где должен я бросить якорь спокойствия? Гляжу вперед, вижу путеводительницу-звезду мою, но туманная даль затемняет все предметы.

В отношении грамматических ошибок моих — каюсь. Согласись однако ж, что и не в одних правилах языка — уметь во-время помолчать, во-время поговорить, во-время сделать все — есть дело большой важности — и надобно больших усилий ума и опыта, чтоб согласить правила теоретические с практикою и уметь найтись всегда быть на своем месте, а ять так просто не дается мне. Привыкать тяжко — примусь учить хоть наизусть...[1] От нравственной желтухи я исцелился кажется совершенно. Иногда бывают припадки, но они приняли теперь характер тихой меланхолии. Не только не сержусь и мирюсь с людьми, но даже мне приятно б было назвать их товарищами, приятно любить и уважать их. Но эта тень холодности при встрече с ними как-то разлучает нас. А причина ее? Старинные обычаи и привычки, которые сделали меня чудаком в глазах всех людей достойных. Вот она — единственная! Бегу и стараюсь бросить все былое, чтоб не быть чуждым и одиноким в кругу людей, чтоб видеть все в настоящем цвете и виде, чтоб человечество приняло меня во свои спасительные объятия. За суд мой о W[2] и несправедливое притязание о К-е я винюсь перед тобою и перед своею совестью. Ошибочно и несправедливо судил я их свойства и достоинства по словам, и судил так оттого, что издали все превратно и неверно кажется, тогда как вблизи чистое наслаждение. О Сурхай-хане <?> — ни слова, потому что не имею случая узнать верно, но мне обещано, и я не премину уведомить скоро. Будь счастлив и здоров.

Твой брат П. Бестужев.

К матушке также буду писать при первой оказии. Ради бога, белья — белья! Рубашек, чулков, даже нижнего платья несколько.

10

П. М. БЕСТУЖЕВОЙ

1830 года. Октября 8 дня.
Лагерь при дер. Шура.

Дражайшая матушка!

Все письма Ваши от июня, июля и августа месяцев я имел удовольствие получить. Без фигур, это для меня неизъяснимое удовольствие. Блуждая, как тень, по кругу людей, или ‹как› говорит Жуковский:

Как облако при ясном дне,
Потерянное в вышине
И в радостных его лучах
Ненужное на небесах.[1]

Что может быть искреннее радости, получа весть о родных, прямо сострадающих, прямо понимающих горестные ощущения бездомного страдальца? Их утешения нежные, их участие непритворное, самая печаль и укоризны есть сладкий бальзам, врачующий его раны. Тогда вспоминает он, что есть еще на свете существа ему любезные, его любящие, готовые терпеть и разделять с ним его бедствия! Вспоминает как пробужденный от тяжкого сна это, — и потухающая любовь к человечеству пробуждается в душе его. Он любит всех людей, весь мир в одном семействе и — прощает при том. Эти мысли всегда мелькают в уме моем, когда получаю я письма Ваши в настоящее время. Никогда не было оно столько тяжело, столько исполнено огорчений и в физическом, но более в нравственном отношении. Но я смолк и терплю и чистый духом и совестию сношу все с кротостию. Время обнаружит ложь, правда пробьется — и тогда? Неужели для одних нас не живет в мире надежда?

Вы правы, дорогая Лёшинька, что меня мало интересуют деревенские занятия, я плохо знаю сельскую экономию,

но когда это будет нужно, то Вы как опытный хозяин поучите нас невежд. Я об одном только и мечтаю, одно только и вижу: мирную и тихую жизнь в кругу вас, обновленных страдалиц, — в деревне, удаленной от шума неверного света — от людей непостоянных.

Мы все еще зябнем в лагере. Думаю, впрочем, что скоро пойдем по зимним квартирам, но куда? не ведаю. Погода стояла все время неодинакова, но были и жары нестерпимые. Здоровье мое хорошо, исключая легкой простуды в руках. Правою рукою владею вполне и, кажется, она рано или поздно разогнется совсем. Тогда я снова благословлю судьбу. У нас благодаря бога прекратились болезни, свирепствующие в целом здешнем крае, — но последствия их — посылка Ваша с деньгами залетела вместо Каспийского на Черное море.

Испрашивая благословения Вашего, любезнейшая и дражайшая матушка, и желая Вам всех благ мира сего, остаюсь с почтением и покорностию

обожающий сын Ваш П. Бестужев.

Целую милых сестер, желаю им здоровья, надежды и твердости душевной.

Читинским братьям прошу при случае отправить уверение в неизменной любви братской и дружбе верной. Да живут они в мире и спокойствии!

Приписка А. А. Бестужева:

Я получил это письмо через 3 дни после того как оно было написано и оставил до сей почты. Вы можете писав в Читу, приложить несколько строк петровых для утешения братьев — дней 10 не получал от него вестей, оттого что у них был Дивизионный Инспекторский смотр — они наверно остаются зимовать в окрестных Шуре деревнях — весьма незавидное положение: холод и дороговизна всех припасов — вот вся их будущность.

22 окт.

11

П. М. БЕСТУЖЕВОЙ

Деревня Тарки 1832 года Генваря... дня.

Дражайшая матушка!

Человек, удаленный различными отливами и изменениями судьбы от вихрей света коварного, коего материальная деятельность заключена в четырех стенах незавидной комнаты, тогда как пернатая мысль свободно разгуливает по бесконечному перекати-полю воображения, необходимо погружается в самого себя — и любит ласкать мечты, наиболее близкие и отрадные сердцу. Так, воспоминания о родных есть господствующее, неисценимое и отрадное чувство души — коему я посвящаю весь досуг мой! — Но всегда ли утешительны сии воспоминания? Нет! У меня угрызение впивается в сию минуту в сердце и точит его безжалостно! Вы страдаете и страдаете за нас, — невзирая на геройскую крепость Вашу и терпение истинно христианское, Вам больно видеть наши беды! Но разве не довольно утешения для Вас, прародительница святого семейства, известность, что не Вы виною их. Не мы ли, увлекаясь возвышенною мечтою неверного блага, забыв на минуту святые обязанности к семейству — повергли его в хаос случайностей? Эта роковая минута положила заветную грань между нами, и только игривое веяние надежды едва-едва дерзает иногда перепорхнуть за оную! Дорого казнимся мы за наши погрешности — правда; но разве избавлены от них миллионы прочих смертных? Всегда ли самые повелители поклянутся, что не они причиною падения других? Это такие вопросы, на кои они будут отвечать молчанием мрачным и грустно потупят очи!.. Есть предел всему на свете так, как предел искренности; но обязанность честного человека есть отклонить несправедливые упреки от главы невинной!.. В таких мыслях застало меня письмо Ваше от сентября 2 из деревни! Что

я проведал в нем? Горестную существенность о болезни Вашей в летах преклонных! О нет! Живите, пользуйтесь здоровьем, дражайшая матушка! Да ни одна грустная мысль, ни одно темное воспоминание не помрачат дней маститой, почтенной Вашей старости! Пусть падут на меня виновного все удары рока! Я имею довольно и твердости и сил, чтобы гордо и смело противустать им!.. Примите, неоцененная родительница, истинное и безусловное почтение и покорность от сына Вашего

Петра Бестужева!..

Любезные и драгие сестры мои! Вы грустные наперстницы несчастия — приветствую вас лобзанием зефира тихого — дыханием дружбы верной! Не жалуйтесь, не скорбите — в однообразии посланий моих, в моем спокойном утешении я могу сказать только с одним мудрецом древности: я только то знаю, что ничего не знаю!.. Впрочем я отправил к Вам по прошедших месяцах несколько больших <тетрадей> с дневником моих странствий, и Лёшинька, скромная и великодушная, говорит, что она не заслуживает моей признательности? и Ольга — римлянка великодушная, расточает мне столько похвал, и Маша трепещет от участия — скажите, чем-то заслужил я эти упреки. — Всегда и неизменно я люблю вас, драгие.

12

П. М. БЕСТУЖЕВОЙ

Д. Тарки 1832 года, февраля 8 дня.

И вас увижу ль я, родительские нивы,
Где солнце юности над рощею взошло,
Где опыт охладил священные порывы
И думы черные наморщили чело!

Так, дражайшая матушка, повторял я часто, простирая взор испытующий в край родной, где некогда улыбалось мне счастье, так вопрошал я, разочарованный, судьбу очаровательницу и, скрестя на груди руки, праздно и безмолвно вос-

сежу на рубеже жизни!.. Нередко погружаюсь во мрак прошедшего — часто быстрый взгляд, как внезапная молния, рассекает бездну будущего. Скрижали истории иногда успокаивают в воспоминаниях тревожный ум! Так нахожу я образцы величия духа, так я слежу за каждой чертой жизни героя, мной избранного. Народы, поколения, века разрушения и восстановления царят ‹и› как очаровательные призраки мелькают и проносятся мимо! Но сии минуты — не долги, и я снова пробуждаюсь к неясной действительности и снова я один, с моими думами грустными, с мечтами о родных, далеких!.. 23 года моей жизни посвятил я надежде, двадцать три года жег мирру благоухания пред алтарем этой льстивой и неверной богини, остальные посвятил опыту — и сей хилый, ветхий и маститый старец в своих бедственных глаголах погасил в сердце последний луч ее! Пора! Пора! вопиет мне теперь ангел-хранитель! Пора перестать и надежде, ибо она улетела из мира еще со вскрытия ящика мифической Пандоры! Впрочем, мне иногда выдаются и веселые часы, иногда я готов повторить с поэтом:

Стою задумчиво над жизненной стезей
И скромно кланяюсь прохожим!..

Даже совершенно ввергаясь в туман случайностей, — ежели б который-нибудь из братьев делал мне утешенья! но нас делят и разделяют... Вы, быть может, подумаете, добрая наша воля? Сохрани бог, скорей добрые люди... Какой-то летаргический сон, как бы след чуждого влияния, смежает ресницы при свете солнца, и когда все кругом меня проснулись уже, я брежу в забытьи дремоты таинственной! — и роскошный мир фантазий уносит часто в пределы миров и сфер надзвездных!..

В материальном отношении совершенно здоров, снабжен некоторыми удобствами и, главное, избавлен от бесполезных и утомительных походов, поселивших во мне почти отвращение к ремеслу солдата.

Не скучайте и не укоряйте ‹меня› в недостатке свежести и игривости идей... Воображение мое слишком пламенно, сердце слишком горестно, печально. Но умственные узы еще более ощутительны при сих светлых порывах, и не всегда достает слов и не всегда есть возможность, чтоб выразить, что бушует в груди... Не завидна участь наша, но я не оплакиваю ее — вмещая в себе свое счастие. Спокойствие совести, искра добра в сердце и дружба родных — вот сокровища, коими не всякий похвалится!.. Испрашиваю, дражайшая матушка, Вашего благословения родительского — с истинным почтением и покорностию остаюсь любящий сын ваш

П. Бестужев.

Усердная просьба моя к милым сестрам: при желании возможного счастия, отдать мой почтительный привет всем знакомым вашим и общим. При столь явном неблагоприятстве рока можно назвать истинно благороднейшими людьми всех, помнящих вас. Люди — везде люди. Целую Вас.

Брат П. Бестужев.

Приписка рукой Ал. Бестужева: Письмо Петра к Н. Пущину отправьте.

13

Милостивый Государь
Михаил Матвеевич,[1]

Поздравляю Вас с прошедшим праздником, столь торжественным повсюду для христианина. Я тоже истинный сын церкви, во мне тоже живее забилось сердце при радостном слове: Христос воскрес! Но недостаток друга, брата, товарища, которому приятно б было отдать искреннее лобзание, наконец, тьма неприятностей и бывших и настоящих совершенно отравили все дни святой для меня недели. Никогда не испытывал я столько огорчений, никогда служба не была

так превратно истолкована, и, признаюсь Вам искренно: сии обстоятельства заставили меня приняться за перо. Я надеюсь, что Вы как человек благородный не откажете мне в участии. Вот в чем дело:

Около двух месяцев назад фельдфебелю отдано приказание посылать меня на ученье. Я повиновался; но, нашед случай, спросил ротного командира, поручика Савенко, с каким намерением он требует этого; объяснил ему, что, за потерею руки, сам я не могу учиться, а по незнанию хорошо ружейных приемов не могу учить других, значит, в обоих случаях бесполезен во фронте. Он сослался на приказание и продолжал изнурять меня. С евангелическим терпением я продолжал посещать ученья, безропотно переносил унизительную деспотию. Наконец, сырость пустой казармы, мокрые и влажные погоды и пронзительный ветер сделали меня совершенным барометром. Правая рука от раны и левая от застарелой простуды совершенно пропали; при малейшей дурной погоде они мучат меня. Это заставило меня пойти к майору и просить его о снисхождении, на которое я по слабости здоровья, на службе потерянного, имею полное право. Он холодно отвечал, что это распоряжение ротного командира, и — вот я снова под безусловною волею, капризами и притязаниями ротного командира — таскаюсь всякий день по два раза часа на 3, на 4 на ученье, сношу огорчения и обиды; но боже правосудный! Есть предел всякому на свете — есть мера и терпению... Я не упоминаю Вам о неприличных выражениях и угрозах, кои он употребляет при приказаниях обо мне, о низких средствах нарочно раздражить меня, равно оскорбительных для службы и тому, кто действует так... Они столь унизительны, что я стыжусь говорить о них.

Все сии обстоятельства поставляют меня в затруднительное положение или действовать решительно (не всегда от меня зависит укротить себя), или, наконец, прибегнуть к начальству. У Вас, милостивый государь, я прошу совета в последнем случае. Я располагаю писать к Петру Степановичу

и у него, как у начальника справедливого, благородного и сострадательного, просить покровительства против угнетений, которым здесь нет границ...

Примите, милостивый государь, уверение в истинном почтении, с коим имею честь быть

Ваш покорный слуга

у.-о. **П. Бестужев.**

К<репость> Бурная, 1830 г. 17 апреля.





ПИСЬМО НИКОЛАЯ БЕСТУЖЕВА[1]

К М. Ф. РЕЙНЕКЕ

Селенгинск. 8 мая 1852 г.

Мне бы надобно было писать к Вам давно и благодарить за книги трудов Ваших, но как вместе с ними я получил от Аполлона Александровича весть, что в очень скором времени сами напишете ко мне, а при том некоторые домашние обстоятельства также мешали мне, то я поневоле отложил ответ для Вашего письма до сих пор. — Напрасно Вы называете себя чернорабочим тружеником (в Ваших первых письмах); скажите мне, какая работа не черная, пока не дойдет до результата? Не говоря о стихах, которые с чрезвычайными помарками не дешево достаются самым гениальным писателям, самые бриллианты, служащие украшением красавицам, не терпящим ни одного атома грязи ни на своей персоне, ни в своем будуаре, проходят чрез самые грязные манипуляции, пока достигнут настоящего блеска и вида. Но стихи читает молодость, бриллианты ценятся только женщинами; цельное же и полезное остается в потомство векам. Так и Ваша книга, результат 27-летних трудов, есть монумент несокрушимый. Конечно, это не блестящий роман или поэма, но Геродот, Плиний и Страбон также не писали стихов, однако их читают и будут всегда читать с набожностью, а что такое был их труд? Компиляция виденного

и слышанного, — не более; они не имели понятия о тех трудах, какие подъемлются нынешними чернорабочими тружениками для описания земли и моря. Определить полжизни, с потерею здоровья, на пользу человечества и науки — есть заслуга невознаградимая. Только уважение умной части человеческого рода и собственная совесть могут оценить и оплатить этот долг! — Верьте мне, что я не только с благодарностью, но и с благоговением принял Ваш подарок.

Радуюсь чрезвычайно, что мои письма, сверх моего ожидания, доставляют Вам удовольствие. Это ободряет меня в дальнейшей болтовне. Скажу только одно о тех добродетелях, которым, говорите Вы, научились из моих писем, что эти добродетели необходимые и общие — в Сибири!!.. Я называю болтовнею мои письма потому, что большая часть их заключает замечания отсталые и часто ложные взгляды на вещи, которые теперь приняли совсем другую форму от той, какую я себе представляю.

Не думайте, чтобы я сетовал на Ваше долгое молчание: служба и ученые занятия, отчет в них—поглощают все время человека, им посвятившего себя. И тем с большим удовольствием, и тем с большею признательностию получил я ныне, и именно сегодня, Ваши 8 листов мелкого письма в ответ на мои вопросы и недоразумения, а вместе и с перечнем Ваших трудов и замечаний. Такое внимание, кроме признательности, льстит моему самолюбию, что деловой человек, которому время дорого, делится этим временем со мною.

Теперь точно так же, математически, буду отвечать на некоторые ваши объяснения и замечания.

Благодаря А. П. Соколова за внимание в присылке ученых трудов своих, прошу извинения за дело о Крюйсе. Значит, память моя изменила мне. Я не мог утерпеть и слегка пробежал книгу т. Записок[1] и видел его мнение о Берхе насчет его трудов. Самолюбие его в присвоении чужого труда забудется, но его собственный остается памятником заботливости и любви ко всему морскому. Не думаю, чтобы А. П.

«остался так же доволен моим трудом» (говорю об Истории),[1] как и Ф. П., — потому что для человека, специально посвятившего себя истории, моя История слишком поверхностна; я это очень чувствую по тому направлению, какое взяла ныне эта наука. В наше время мы все помешаны были на прагматической и стратегической военной истории; сверх того, я уже объявлял, что эта история была мною почти противу моей воли ‹напечатана› в этом виде. Я сам чувствовал недостаточность моих средств, но от меня требовали периодически чтения моих занятий. Не мог же я читать одни выписки и разыскания. Его высокопрев. П. Ив. [2] тому свидетель; со всем тем, прочитав М о р с к о й С б о р н и к за май месяц и нашед там в статье г. Соколовского ссылку на мое описание Гангутского сражения, в которой г. Соколовский упрекает меня, что я назвал положение нашего флота о т ч а я н н ы м (или не помню, каким в этом смысле); — я скажу в оправдание, что слова самого Петра: в з е л о о п а с н о м м е с т е с т о я л и, и б о о д и н б ы л в ы х о д, к о т о р ы й н е п р и я т е л ь л е г к о м о г з а х в а т и т ь, дали мне к тому повод. И в наше время такое положение назвали бы критическим, а в то и подавно оно могло показаться очень опасным и даже отчаянным. Не менее того, я доволен очень, что г. Соколовский одного мнения со мною — и мнения, высказанного впервые и за которое мне досталось порядком от всех слышавших мое чтение в департаменте, а именно, что победа при Гангуте важна не потому, что 120 галер, можно сказать, затопили 6 маленьких судов (названных фрегатами), но по моральному влиянию, какое имела эта победа.

Надеясь на то, что Вы обещали мне снисхождение к моему старческому многоречию, не могу умолчать пред А. П. и не доставить ему случая напомнить биографию П. Я. Гамалеи (он подписывал Г а м а л е я). Будучи почти создан им, получа от него любовь к науке, а именно от него получа способность объясняться логически, я с своим выпуском был его последним учеником, потому что он с окончания нашего экзамена,

в исходе 1809 года, уже почти не оставлял своего кабинета до 1811 г., т. е. до совершенного удаления в свою деревню. Некогда и я, движимый чувствованием благодарности, собрал много сведений о его ранней молодости, намереваясь написать его биографию, но обстоятельства позволили мне только сохранить начало. — Здесь я кратко напомню только то, чего недостает в биографии III части Записок.

В 1779 г. он привезен был по 14 году дядею своим Гамалеею, бывшим попечителем Московского университета при Хераскове.* В Корпусе отдан был под надзор учителю Прох. Жданову и под руководством учителя Федота Заслонского начал математический курс, по тогдашней методе, миновав арифметику, со стихийной Евклидовой геометрии. Заслонский полюбил молодого математика и передал ему все свои, впрочем очень необширные, познания. Обучась в духов. Киев. академии немного латинскому языку, в корпусе Платон Яковлевич приобрел грамматическое познание французского, — и Телемака знал наизусть. В походе в Ливорно, на адмиральском корабле В. Я. Чичагова, он сделался ему известен по экзаменам, деланным гардемаринам. Товарищ его Малеев, соревнуя его успехам, старался превзойти Гамалею, и долго благородное соперничество остроты спорило с постоянным прилежанием и страстию к математике, но последний экзамен в мичмана отдал первенство Пл. Яков. над всеми товарищами. Чичагов, видя кротость нрава, любезность характера и отличные познания юноши, взял Гамалею, по выпуске, к себе в дом, для сотоварищества детям своим, которых Гамалея, по собственной охоте, учил математике и в то же время ходил учиться сам в Академию Наук, где в каникулярные дни преподавались публичные лекции на разных кафедрах. Прожив год у Чичагова, отправился он в Кронштадт и жил вместе с новопожалованными мичманами Переверзиным и Ивановым, старшими его

* Память моя и помарки что-то худо определяют это выражение.

по летам, обучавшимся в Московском университете. С ними утвердился он в российском и французском языках. Кажется, что начало познания английского языка положено в доме Чичагова... Теперь прибавлю личные мои воспоминания.

Я учился у многих учителей, слышал многих профессоров с кафедр — но не знаю ни одного, кто бы равнялся ясностию изложения с Плат. Яковл. в таких сухих науках, как навигация, астрономия и высшая теория морского искусства. Это самое он умел передавать и своим ученикам. — В этом отношении первый стоит М. Ф. Горковенко, мой многоуважаемый и многолюбимый наставник. Я не могу назваться прямо учеником Плат. Як., потому что у него не было непосредственного класса, но, страдая глазами, он весь 1809 год и зиму 1808 г. занимался у себя дома с унтер-офицерами выпуска обоих этих годов. Там, при свете одной свечи, заслонившись ширмами, с зонтиком на глазах, в глубоких креслах, сидел Плат. Яков., окруженный пятью или шестью юношами, и объяснял и требовал объяснений изустных, без помощи черной доски и мела, всех высших истин, всех смежных вопросов астрономии и теории кораблестроения. Сначала это было чрезвычайно трудно для нас, но потом, мало по малу, мы привыкли отвечать на все, нам предлагаемое, тем более, что достойный учитель наш умел внушить нам свою методу. Это самое развязало нам язык, воображение и соображение. Очень часто вначале останавливал меня Пл. Як. в моих изложениях. — «Не говори следовательно там, где ничего не следует» — повторял он. Эта метода объяснения так усвоилась нам, что на главном экзамене, где мы почти двое с князем А. Шаховским отвечали на все высшие вопросы, — мы почти не касались черной доски и так понравились Маркизу де-Траверсе, впервые бывшему на экзамене, что князя Шаховского, меня и М. Лермонтова он назначил для отправления в Париж, в политехническую школу. Начало 1810 г., однако, открыло загадываемые впредь намерения Наполеона, и наше отправление не состоялось...

Ваш план истории превосходный. Нельзя же всего вместить в одну раму, а между прочим, каждая из частей, Вами поименованных, служит пояснением другой, и обойтись без которой-нибудь невозможно. Вы говорите, что с этим планом почти согласен и А. П. Соколов; я понимаю это слово почти так, что неутомимому А. П. ничего не хочется выпустить из своих рук. Честь ему и хвала! Ура нашему молодому поколению! Право возрождаешься духом, следя за его успехами...

Я вообще партизан всего нового, но с условием, чтоб оно было хорошо, и потому, признавая ошибочность моего мнения на счет способа Дюгамеля для определения расстояний, радуюсь, что Вы нашли его на практике удобным, и отдаю полную справедливость Вашим улучшениям в оптическом способе, описанном у Болотова. Для меня всякое улучшение состоит в простоте и удобстве. До мудреного же я не охотник.

Насчет делений угломерных инструментов, начерчиваемых на серебре или платине, я смею держаться первого своего мнения. Платина почти вдвое менее сжимается и расширяется, нежели медь (как $\frac{1}{1168} : \frac{1}{533}$), стало быть, она никак не может свободно повиноваться расширению этого металла, как бы тонка пластинка ни была. Можно ли поручиться, что она везде и во всех точках одинаково пролежит в своем углублении? А если нет — то растяжение ее будет неодинаково. Я хотел только сказать, что неверности делений скорее происходят от этой причины, нежели от способа деления, для которого Троутон берет такие предосторожности. Не лучше ли бы было густо серебрить или густо платинировать дуги, назначаемые для делений?.. Тогда серебро или платина по необходимости сроднились бы с медью и повиновались бы всем ее изменениям. Вставленная пластинка не имеет другой связи кроме трения, будучи только туго вставлена.

Благодарю Вас за сведение о островах морских Финского Залива. — Некоторые я знаю и люблю, оттого-то и интересовался знать, будет ли о них что-нибудь написано и напеча-

тано Вами. Вообще эти острова terra incognita * для всех, даже для моряков. — И я, если б не служил помощником директора маяков, то не видал бы ни одного. Спафарьев обещал беспрестанно, но никак не мог сдержать своего слова, дать мне время и способ объехать и описать порядочным образом маяки наши и острова. — Еще более благодарю Вас за описание всех Ваших приемов при описи и промерах; катайтесь сколько угодно на Вашем коньке и приезжайте почаще ко мне в гости; у меня и Вам, и ему угощение будет от чистого сердца.

Вы желаете знать о состоянии моего здоровья, о моих занятиях и проч. — Извольте, я все расскажу Вам. — Встаем мы летом и зимою очень рано, так что в 6 час. утра уже пьем чай. Летом, когда погода и температура воды позволяет, купаемся в реке, протекающей под самыми окнами беспрестанно; мы с братом, проснувшись, бросаемся прямо в воду. Кроме сельских хозяйственных занятий, я брожу беспрестанно по горам и в комнате сижу мало. Механическим делом — летом заниматься невозможно; мухи и жар не позволяют никакого усиленного рукодвижения. Зато ноги мои беспрестанно двигаются. Я называю это: запасаться на зиму здоровьем, которым награждает меня бог неизменно до сих пор. Случается мне выхаживать по 30 верст в день. Зато зимою я не выхожу из своей берлоги, как медведь; не люблю зимних прогулок и употребляю все время светлого дня на механические свои работы. После вечернего чая мы остаемся вместе, и кто-нибудь читает вслух. Обыкновеннее эта должность лежит на мне. Если нечего читать, то я отправляюсь к себе и читаю такие книги, которые для общего чтения не годятся, или занимаюсь своею перепиской, которая у меня довольно обширна. В половине десятого мы ужинаем, в десять ложимся, засыпаю я обыкновенно около половины двенадцатого, потому что люблю лежа читать. Способность засыпать у меня мастерская... как скоро я гашу свечу и дотрагиваюсь носом до подушки, сон

---

* Неведомая земля.

тотчас смыкает мне глаза. Вот вся моя жизнь, или, лучше сказать, прозябание. — Иногда я занимаюсь живописью масляными красками; акварель, которую очень любил и в которой порядочно усовершенствовался, я оставил с тех пор, как надел на нос очки.

Теперь пятый уже год, как я занимаюсь устройством своих часов... Хотя я далек еще от исполнения моих ожиданий, но не отстаю от своей идеи, — и если мне не удастся сделать часов без компенсации, то, по крайней мере, эта компенсация будет чисто металлическая, а не всех соединенных беспорядков, выше поименованных,[1] — и тогда ее можно будет подчинить математическим законам, а не применениям техническим.

Может быть все это будет походить на предприятие синицы зажечь море, потому что, при всем моем желании, при всей доброй воле и готовности, недостаточность моих средств и способов в здешнем краю, отдаленном от всякой возможности получить желаемое, так, что теперь уже 10 лет или даже более, что я дожидаюсь латуни, какой мне надобно; приметное ослабление зрения, невозможность употребить все время на исполнение задуманного, по многим хозяйским и общественным обязанностям: все это, вместе с 60-ю годами, которые указывают на близкий предел, страшит меня, что я не окончу дела и не достигну цели, потому что в новом изобретении каждый шаг есть попытка, каждая перемена требует испытания, а время опытов течет так медленно!!.. Сверх всего этого — хотя я и вижу, как сделаны, и теоретически знаю, как сделать, но практически применить знание свое к делу я еще не довольно опытен, а книг о техническом деле часов я до сих пор не мог залучить: несмотря на то, что имею их до десятка, в них во всех повторяется с важностию, почти в тех же самых словах, все теоретическое устройство часов, по большей части и самими авторами худо понимаемое, а о практической части, которая была бы им лучше известна, они не говорят ни слова. Недавно, т. е. около 2-х лет, я выписал с большими затруд-

нениями два дорогих издания, где под пышным титулом Теории и техники часостроения нашел такую гиль и старину, что право совестно читать. Но зато ни <об> одной машине, ни об одном инструменте, облегчающем дело или дающем большую точность обделке часов, даже и не упомянуто, хотя винтовальная доска, известная последнему слесарю, описана преподробно. Все почти инструменты, начиная с токарного станка и делительной машины, сделаны мною самим — одних я не в силах выписать, других даже не знаю названия, а очень многих и употребления, если б случилось выписать. Все это вместе и препятствует скорому делу и огорчает меня.

Со всем тем, мне, как курице, которой, во что бы то ни стало, а надобно снести свое яйцо, — теперь сделалось необходимостью работать для своей идеи. Ныне, не имея латуни, я придумал сделать новые часы из медных китайских тарелок, употребляемых в музыке при бурятских или ламайских богослужениях. Тарелки эти сделаны из того же металла, из которого делают *гонг* или *там-там*, и этот металл имеет удивительные свойства. Он куется, как железо, накаленное докрасна, но если остынет сам по себе, то разбивается, как стекло; для того, чтоб дать ему упругость и крепость, надобно, снова накалив, бросить в холодную воду, — тогда, хотя не много, но можно поправлять его молотком. Плотность и твердость его замечательны в деле нарезки зубов на колесах, точенье и полированье — одним словом, это металл превосходный, но здесь его обрабатывать не умеют. Сказывают, что китайцы куют его в огне на камне, иначе он будет ломаться при охлаждении какой-нибудь части, — стало быть, его бы можно было обрабатывать горячий, между цилиндрами. Составные части его на 1 фун. меди $^1/_4$ ф. олова и 4 золот. чугуну. Справедлив ли этот состав, не знаю, но меня в том уверял мастер бурят, работающий из него мелкие колокольчики и тарелочки.

Опять и на эти часы надеяться мне невозможно, потому что сделаны из лис<товых> кусочков; по крайней мере, я делаю их

для того, чтоб посмотреть, каковы будут некоторые перемены, а главное: удастся ли мне, совершенно на новый способ, mouvement libre et à force constante ,* избегая общего недостатка часов этого устройства, что секундная стрелка переходит в 2 секунды. Видите ли, с какими затруднениями сопряжено здесь всякое полезное предприятие?.. А мне еще хочется после того приняться за устройство морского хронометра на том же основании!.. Какой-то статистик исчислил, что ежегодно гибнет в целом свете до 3000 кораблей; я уверен, что половина их разбивается от недостатка хронометров; а всякий ли шкипер в состоянии платить от 2000—4000? Хозяева же судов из ложной экономии ‹не› заводят на своих кораблях этого, по их мнению, дорогого излишества. — Какая заслуга будет того, кто простым устройством удешевил этот полезный инструмент?..

Вы видите, что и я поехал на своем коньке к Вам в гости. Я прежде боялся наскучить, подробно описав Вам мою идею, но как я вижу Ваше участие и вместе Ваши сомнения на этот счет, то и решился изложить все основания мысли, боясь, чтобы при дальнейшем замедлении моих объяснений Вы не приняли всего этого или за бред воображения, не воспомоществуемого наукою, или за мистификацию...

Простите меня, что я смею так думать в противность стольких авторитетов. — Но ученые редко бывают техниками, а техники учеными. Вникая в это дело с технической стороны, а потом видя, с какой точностью, с какими мельчайшими подробностями *труженики науки* делают свои наблюдения, — видишь недостаточность и несоответственность техники с теоретическим делом.

Вы вправе спросить меня: *да ты, который критикуешь так постоянный маятник, можешь ли сделать лучший?*

Я отвечу, что не знаю; — но однажды напав и узнав недостатки, постараюсь отвратить их. — Когда-нибудь я сообщу Вам

---

* Движение свободное и при постоянной силе.

проект этот. Теперь пока довольно. И то этот маятник так длинен, что и без хвоста переходит за пределы письма.

Теперь отвечу на некоторые замечания Ваши.

1. Благодарю за хлопоты и желание доставить мне книгу Иоргенсона. Я с ним познакомился в 1824 г. чрез директора маяков Левенерна и наведывался о хронометре, заказанном для Дохтурова.

2. Действительно помещать в одном футляре оба маятника невозможно — с этим я согласен, но сзади и единоцентренно можно, вставляя вместо задней стенки футляра стекло.

3. Теперь я переделал свою обсерваторию. Надобно Вам сказать, что это чулан при бане. В нем я поместил свои часы для испытания всеми неудобствами, даже и банными испарениями, хотя немного, но туда проникающими. В этом чулане поставлена печь (также нового устройства), в которой сделано углубление для постановки часов, для пробы их теплом и холодом.

Печь эта нагревает часы до 60° Р., а мороз доходит до замерзания ртути, след. разность температуры около 100°. Труба моя теперь приделана к деревянному штативу, обращающемуся на двух осях в вертикальном положении, а самая труба на дуге в вертикальном направлении. Не имея надобности в меридиональной плоскости, я обращаю трубу ad libitum,* на удобнейшую звезду и наблюдаю, пока можно ее видеть, утверждая трубу неподвижно винтами. Трубу я переделал также. В четвероугольную сосновую трубку я вставил одно предметное стекло и первое колено с окуляром; в таком устроении я не раскаиваюсь, потому что ничтожное сжатие соснового дерева в длину ни разу не заставило меня переменять фокуса в продолжении всего года. Освещены нити или черточки в прорез с боку трубы попрежнему, и это очень способно, потому что, пробовав освещать кольцеобразным рефлектором, при всяком положении трубы надобно переменять место лампадки, освещающей этот

---

* По желанию.

рефлектор, тогда как эта лампадка, приделанная на отвесе в средине трубы, освещает и нити и часы. Надобно Вам сказать, что я стал если не глух, то очень крепок на ухо, а потому не слышу боя маятника, который сверх того так бьет тихо, по малой тяжести гири, что не всякий слышит ход часов. Это для меня большое неудобство, но я отстранил его тем, что труба помещена в таком положении, что, смотря правым глазом в трубу, левым я могу следить за махом маятника, и теперь делаю свои наблюдения очень исправно. Как я Вам писал о нитях в трубе, перепробовав много способов, остановился я на двух: один с проведенными черточками на слюде, которая имеет то неудобство, что пластинка не может быть отодрана от куста часто без заусениц и задирок, которые при освещении сбоку светятся; но как свет звезд, даже самых мелких, теперь мне по привычке очень отличен, то я не обращаю на это внимания. Другой способ я употребил в другой трубе; он состоит в том, что я по тонкому шлифованному стеклу провожу тупым ножом черты, или, лучше сказать, только надавливаю им поверхность. Этих черт не видать простым глазом, но они хорошо обозначаются в трубе. Эту другую трубу употребляю тогда, как топлю печь в своей обсерватории, отчего становится невозможным наблюдение в трубу, там помещенную, по сильному колебанию воздуха при открытом окошке. Временная обсерватория устроена на балконе, — наблюдения делаются по полусекундным карманным часам моего сочинения, сделанным мною для практики лет 16 тому назад.*

4. Мне чрезвычайно лестно, что эти пустые замечания вызывают ответы умных людей, каков г. Бурачек, которому Вы сообщили мое мнение о фигуре руля. Буду ждать *Сборника*, в котором он обещал поместить свое мнение об этом. Но каковы бы ни были ошибочны мои предположения, по словам

* Я недавно читал в одном журнале, что какой-то барон придумал освещать гальваническим током платиновые нити в трубе, нри надобности, мгновенно... Стало быть, бывают случаи, когда такое освещение надобно? — А у меня оно постоянно, и я теперь очень им доволен.

г. Бурачка, они уже оправдываются американцами на практике. Когда я писал Вам свои замечания, я думал, что они еще новы, но осенью прошлого года я имел случай видеть много чертежей американских пароходов и парусных судов, с рулями, устроенными совершенно так, как бы я думал. Стало быть, что-нибудь да заставило их так делать. Это меня порадовало очень, хотя по самолюбию, свойственному всем людям, должно бы досадить, что другие опередили меня, но я привык уже — здесь в Сибири — к этим опережениям. Не хвастаясь, скажу Вам, уважаемый Михаил Францевич, что я имел несколько светлых идей, которые даже, — иные были напечатаны, во время оно, другие написаны, но без возможности печатать их, — и они осуществились на деле, будучи выражены другими гораздо позднее моих. И теперь, когда я вожусь со связанными руками за делом моих часов, может быть, какой-нибудь англичанин берет уже привилегию на устройство таких. Если что пришло в голову одному, может притти в голову и другому. Я не хочу никаких привилегий, ни известности, а желаю только пользы науке, а потому и человечеству. Одного только хочу, чтобы идея моя не стала известна преждевременно и пока я не привел ее в правила, иначе худо понятая и худо перенятая идея, вместо укора тем, кто худо перенял ее, послужит укором изобретателю. Мы видим тому тысячи примеров — и между прочими пример моего брата Александра, увлекшего за собою множество подражателей, не умевших подражать ему, а сделавших только то, что г. г. журналисты с каким-то ожесточением нападают теперь на него, а не на подражателей.

Я бы желал продолжать и более, чтобы даром не пропадал начатый лист, но вдруг представился мне случай отослать письмо на почту; — а так мы живем в 5-ти верстах от самого города и как сегодня день почтовый, — то простите, если я торопливо окончу свое огромное послание, простите за некоторые, смело высказанные мысли, простите за скверное писание; я сам не узнаю своей руки. Эта бумага не

позволяет писать гусиным пером, а железным я никогда не писывал и не умею писать, оттого не могу писать скоро, беспрестанно прорывая бумагу; тихо — то мысль опережает руку, а потому делаются беспрестанные пропуски.

Свидетельствую Вам искреннее и душевное уважение и признательность, еще раз благодарю за Ваши подарки книг и карт и остаюсь Вашим преданным слугою

Н. Б.

Жалею, что не могу теперь написать к Апол. Алекс.[1] Прошу передать ему мой дружеский привет. — Но я надеюсь, что он сам прочтет и к Вам писанное, потому что я адресую на его имя.



ДОПОЛНЕНИЯ

А. БЕСТУЖЕВ

ЗНАКОМСТВО С ГРИБОЕДОВЫМ

Я был предубежден против Александра Сергеевича. Рассказы об известной дуэли, в которой он был секундантом, мне переданы были его противниками в черном виде.[2] Он уже несколько месяцев был в Петербурге, а я не думал с ним сойтись, хотя имел к тому немало предлогов и много случаев. Уважая Грибоедова как автора, я еще не уважал его как человека. «Это необыкновенное существо, это гений!» — говорили мне некоторые из моих приятелей. Я не верил. Всякий энтузиазм в других порождал во мне холодность, по весьма естественному рассуждению: чем более человек находится вне себя, тем менее он способен ценить или измерять вещи глазами рассудка; следовательно, те, которые внемлют ему, должны дополнять своим разумом пустоту и, не увлекаясь чувствами, более не доверять, чем верить. Впрочем, это правило применил я только к заглазным похвалам. Электрическая искра восторга потрясала нередко и меня, но не иначе, как от прикосновения. Притом частые восторги юных друзей моих нередко вспыхивали от таких предметов, которые вовсе того не стоили. Как Макбет привидениями, я был пресыщен их чудесами и феноменами. Знаки восклицания в преувеличенных письмах о нем убеждали меня не более, чем двоеточия и многоточия, одним словом, я хотел иметь свое мнение и без достаточной причины не менять старого на новое. Между тем, однако ж,

как я <ни> упирался с ним встретиться, случай свел нас невзначай. Я сидел у больного приятеля моего, гвардейского офицера Н. А. М-ва, страстного любителя всего изящного.[1] Это было утром, в августе месяце 1824 года. Вдруг дверь распахнулась; вошел человек благородной наружности, среднего роста, в черном фраке, с очками на глазах.

— Я зашел навестить вас, — сказал незнакомец, обращаясь к моему приятелю: — поправляетесь ли вы?

И в лице его видно было столько же искреннего участия, как в его приемах уменья жить в хорошем обществе, но без всякого жеманства, без всякой формальности; можно сказать даже, что движения его были как-то странны и отрывисты, и со всем тем приличны, как нельзя более. Оригинальность кладет свою печать даже и на привычки подражания. Это был Грибоедов.

Обрадованный хозяин поспешил познакомить нас. Оба имени прозвучали весьма внятно, но мы приветствовали друг друга очень холодно, даже не подали друг другу руки. Сели. В дыму трубок разговор завязался по-французски о чем-то весьма обыкновенном; наконец, он склонился на словесность. Передо мной лежал том Байрона, и я сказал, что утешительно жить в нашем веке, по крайней мере потому, что он умеет ценить гениальные произведения Байрона и Гете.

— Даже оценять многое свыше достоинства, — сказал Грибоедов.

— Я думаю, это обвинение не может касаться авторов, каковы Гете или Байрон, — возразил я.

— Почему же нет? Может быть, и обоих. Разве поклонники первого не превозносят до небес его каждую поэтическую шалость? Разве не придают каждому его слову, наудачу брошенному, тысячу противоположных значений? С Байроном поступают еще забавнее, потому что его читает весь модный свет. Гете толкуют, как будто он был непонятен; а Байроном восхищаются, не понимая его. В самом деле, никто не смеет сказать,

что он проник великого мыслителя, и никто не хочет признаться, что он не понял благородного лорда.

— Этому виной, я думаю, различные способы их выражения. Гете облек мысли чувствами, между тем как Байрон расцветил чувства мыслью. Не всякий дерзнет хвалиться своим умом; но всякий рад сказать, что у него есть сердце, и, замечая, что Гете терзает более его ум, а Байрон — чувства, полагает, что легче разгадать последнее, чем первое, не подозревая, что то и другое равно трудно. И требует непременно светлого воображения и высокой души хоть для того, чтоб заглянуть в лицо этим гигантам, — равно заметил я, — для доступа к высотам их не помогут ни ползки, ни прыжки: тут надобны крылья ...

— И крылья орла, — прибавил Грибоедов. — Солнечные лучи играют и в блестке, и в капле; но только масса воды может отразить целое солнце, только высокая душа может обнять полную мысль гения. Что касается, однако ж, до характеристики выражений в Гете и Байроне, она, мне кажется, слишком произвольна. Вы назвали их обоих великанами, и в отношении к ним это справедливо; но между ними все превосходство в величии должно отдать Гете: он объясняет своею идеею все человечество. Байрон, со всем разнообразием мыслей, — только человека.

— Надеюсь, вы не сделаете этого укора Шекспиру. Каждая пьеса его сохраняет единство какой-нибудь великой мысли, важной для истории страстей человеческих, несмотря на грязную пену многих подробностей, свойственных более веку, нежели человеку. Я не знаю ни одного писателя в мире, который бы обладал сильнейшим языком и бо́льшим разнообразием мыслей. Вспомните, что он проложил дорогу самому Гете. Вспомните также, когда писал он...

— Все обстоятельства времени просвещения, — отвечал Грибоедов, — благоприятствовали, конечно, развитию крыльев Гете. Но я сужу не творца, а творение, и едва ли творения Шекспира выдержат сравнения с гетевскими.

— Признаюсь Вам, что я не могу понять суда, где красоты ставятся в рекрутскую меру. Две вещи могут быть обе прекрасны, хотя вовсе не подобны.[1]

Это правда, это осязаемая правда: мы спорили на ветер ...

— Я готов пройти тридцать миль пешком, — промолвил он, улыбаясь, по-английски цитируя Стерна, — чтоб поглядеть на человека, который вполне наслаждается тем, что ему нравится, не расспрашивая, как и почему? Вы англоман и поймете меня.

Мы скоро расстались, с меньшею холодностью, правда, но без всяких приветов и приглашений.

— Каков? — спросил меня с торжествующим видом приятель мой.

— Умный человек; только и до сих пор я не вижу в нем ничего чрезвычайного. Конечно, он держался более в оборонительном положении, и ему смешно было бы расстегнуться на первый случай и выставить на показ все свои достоинства; по крайней мере, я не нахожу причины переменять своего мнения. Ум и сердце, человек и автор — не всё равно!

Я думал так и ошибался. Дальнейшие опыты и думы, более глубокие, убедили меня, что истинно умный человек — наверно человек добрый и что произведения автора есть отпечаток его души. Маска, приемлемая на себя сочинителем, обманывает только сначала; век нельзя притворяться. Одна мысль, одно слово изменяет самому хитрому лицемеру, умей только схватить его.

Вскоре после ужасного наводнения в Петербурге Ф. В. Булгарин, у которого сидел я, дал мне прочесть несколько отрывков из грибоедовской комедии «Горе от ума». Я уже не раз слышал о ней; но изувеченные изустными преданиями стихи не подали мне о ней никакого ясного понятия.

Я поглотил эти отрывки; я трижды перечитал их. Вольность русского разговорного языка, пронзительное остроумие, оригинальность характеров и это благородное негодование ко всему низкому, эта гордая смелость в лице Чацкого проникли

в меня до глубины души.[2] «Нет, — сказал я сам себе, — тот, кто написал эти строки, не может и не мог быть иначе, как самое благородное существо». Взял шляпу и поскакал к Грибоедову.

— Дома ли?

— У себя-с.

Вхожу в кабинет его. Он был одет не по-домашнему, кажется, куда-то собирался.

— Александр Сергеевич, я приехал просить Вашего знакомства. Я бы давно это сделал, если б не был предубежден против Вас... Все наветы, однако ж, упали пред немногими стихами Вашей комедии. Сердце, которое диктовало их, не могло быть тускло и холодно.

Я подал руку, и он, дружески сжимая ее, сказал:

— Очень рад Вам, очень рад! Так должны знакомиться люди, которые поняли друг друга. — В ответ на искренность Вашу заплачу тоже признанием... не все мои друзья были Вашими; притом и холодность Ваша при первой встрече, какая-то осторожность в речах, отбили у меня охоту быть с Вами покороче. После меня разуверили в этом, и теперь объяснилось остальное. Очень рад, что я ошибся.

После нескольких слов о потопе, который проник и в его квартиру, я встал.

— Вы собираетесь куда-то ехать, Александр Сергеевич. Не задерживаю Вас.

— Признаться, хотел было ехать на обед; но, пожалуйста, останьтесь и будьте уверены, что для меня приятнее потолковать о словесности, чем скучать за столом. Вы, верно, уже обедали (было около пяти часов), а мне нередко случается позабывать за книгою обед и ужин.

— По несчастью, я не книга, Александр Сергеевич, — сказал я, шутя.

— И слава Богу! Человек-книга никуда не годится.

Не желая, однако ж, воспользоваться его снисходительностью, я, раскланиваясь или прощаясь, просил его «Горе от ума» для прочтения.

— Она у меня ходит по рукам; но лучше всего приезжайте завтра ко мне на новоселье обедать к М. К. Ч. Он на Вас сердит за критику одного из друзей своих, а друзья у него безошибочны, как папа; но он благороднейший человек, и я помирю Вас.[1] Вы хотите читать мою комедию — Вы ее услышите. Будет кое-кто из литераторов; все в угоду слушателей-знатоков: добрый обед, мягкие кресла и уютные места в тени, чтоб вздремнуть при случае.

Я дал слово, и мы расстались.

Разумеется, я не замедлил на другой день явиться по приглашению. Обед был без чинов и весьма весел.

С полдюжины любителей, человека четыре литераторов — составляли общество. Часов в шесть началось чтение. Грибоедов был отличный чтец; без фарсов, без подделок он умел дать разнообразие каждому лицу и оттенять каждое счастливое выражение.

Я был в восхищении. Некоторые из любителей кричали: «прелесть, неподражаемо!» и между тем не раз выходили в другую комнату, чтоб «затянуться». Один поэт повторял: «великолепно» при всяком явлении, но потом, в антракте, встретив меня одного, сказал:

— Великолепно! но многое, многое надо переделать, et puis, quel jargon! * Что за комедия в четыре действия!

— Неужели вы находите, что мало четырех колес для дрожек, на которых ездите? — отвечал я и оставил его проповедывать, как надобно писать театральные пьесы.

Чтение кончилось; и все обступили автора с поздравлениями и комплиментами, которые принимал он очень сухо. Видно было, что он взялся читать не для жатвы похвал, а только, чтоб отделаться от неотступных просьб любопытных. Я только сжал ему руку, и он отвечал мне тем же. С этих пор мы были

* И что за язык!

уже нечужды друг другу...[1] Обладая всеми светскими выгодами, Грибоедов не любил света, не любил пустых визитов или чинных обедов, ни блестящих праздников так называемого лучшего общества. И тем чаще я мог быть с ним. Узы ничтожных приличий были ему несносны потому даже, что они узы. Он не мог и не хотел скрывать насмешки над позлащенною и самодовольною глупостью, ни презрения к низкой искательности, ни негодования при виде счастливого порока. Кровь сердца всегда играла у него в лице. Никто не похвалится его лестью; никто не дерзнет сказать, будто слышал от него неправду. Он мог сам обманываться, но обманывать — никогда. Твердость, с которою он обличал порочные привычки, несмотря на знатность особы, показалась бы иным катоновскою суровостью, даже дерзостью; но так как видно было при этом, что он хотел только извинить, а не уколоть, то нравоучение его, если не производило исправления, по крайней мере, не возбуждало и гнева.

Он не любил женщин, так, по крайней мере, уверял он, хотя я имел причины в этом сомневаться. «Женщина есть мужчина-ребенок» — было его мнение. Слова Байрона: «дайте им пряник да зеркало и они будут совершенно довольны» — ему казались весьма справедливыми.[2] «Чему от них можно научиться?» — говаривал он. «Они не могут быть ни просвещенны без педантизма, ни чувствительны без жеманства. Рассудительность их сходит в недостойную рассчетливость и самая чистота нравов в нетерпимость и ханжество. Они чувствуют живо, но не глубоко. Судят остроумно, только без основания, и, быстро схватывая подробности, едва ли могут постичь ‹и› обнять целое. Есть исключения, зато они редки; и какой дорогою ценой, какой потерею времени должно покупать приближение к этим феноменам! Одним словом, женщины сносны и занимательны только для влюбленных».

Вся жизнь его деятельности, проведенная или на бивуаках кавказских, или в азиатских городах Грузии и Персии, имела много прелестей или, по крайней мере, занимательности и без общества женщин, и это самое породило в нем убеждение,

что в политическом быту мы должны осудить женщин на азиатское или, по крайней мере, на афинское заключение.[1] «Они предназначены самой природой для мелочей домашней жизни (говаривал он), равно по силам телесным, как и умственным. Надобно, чтоб они жили больше для мужей и детей своих, чем невестились и ребячились для света. Если б мельница дел общественных меньше вертелась от вееров, дела шли бы прямее и единообразнее; места не доставались бы по прихотям и связям родственным или меценатов в чепчиках, всегда готовых увлекаться наружностью лиц и вещей; покой браков был бы прочнее, а дети умнее и здоровее. Сохрани меня Бог, чтоб я желал лишить девиц воспитания, напротив, заключив их в кругу теснейшем, я бы желал дать им познания о вещах, гораздо основательнее нынешних».[2]





ПИСЬМА АЛЕКСАНДРА БЕСТУЖЕВА К ПЕТРУ БЕСТУЖЕВУ [1]

1

Якутск. 1828 года, апреля 10.

Милый брат Петр Александрович — здрав и счастлив!

С каким вниманием пробежал я газеты, повествующие о битвах с Персиянами, и ты можешь поверить, что кроме чувства русского, кроме жира человека, который готовит себя для поля, тут было не пустое любопытство — я думал о тебе!

Ты знаешь мое мнение насчет случаев военных и потому не подивишься, что я знакомился иногда с мыслию, что ты даже можешь лечь в деле, но я никак не хотел допустить этого без особенного отличия, — никак. И вперед изволь ведать, что я не дозволяю тебе умереть бесславно, и ежели бог войны доверяет слепому случаю раздавать ядра и картечи, то я прошу у него для любезного моего братца какую-нибудь красивую, но самую безвредную, рану.

Впрочем, шутки в сторону, ты совершил самую любопытную кампанию и в стороне, совершенно для европейца новой. Полк, в котором ты находишься, искони славился неустрашимостью; я уверен, что ты был достойным товарищей солдатом и попрежнему, смеючись, заглядывал смерти в глаза. Вы имели дело с сильными операторами: чеченцы и курды режут головы не хуже албанцев, и если ты сохранил свою в полной форме,

т. е. без потери ушей или носа, то это особенная милость неба. Однако же ты приплатился климату за свое участие в боях и, как пишет мне матушка, был опасно болен: бедный Петр!

Я ожидаю от тебя описания какой-нибудь атаки с персидскими застрельщиками — это должно быть весьма занимательно. Хотя я и многое знаю о горцах, но сражение с могучими всадниками Персиды — вещь вовсе для меня не знакомая. Об этом нет нигде, ибо в старину сторона сия была для русских не очень счастлива, а другие нации имели с персиянами только торговые связи.

Видел ли ты Аббас-Мирзу? Он — занимательный человек, но дорого платит за свои уроки. Он напоминает нам о Петре и шведах!! невыгодная параллель для него. Он далек от этого колосса всех веков и народов — и, конечно, в царствование Николая Первого не найдется для Аббас-Мирзы другой Полтавы! Это сущая Голконда в устах гостя в с в о е й столице, занятой победными войсками России. Какова-то его пехота? Я думаю, что марширующая пародия дисциплинованных солдат? Впрочем, страсть эта закралась и в Диван, хотя исполнение ее сбудется не ранее, как под надзором русских унтер-офицеров — только совсем не для черного магометова знамени. Я знаю, где будет скован крест для святой Софии, — и еще надеюсь узнать, что Петр мой перешагнул через Анапу. Будь счастлив, милый брат, и не забывай, в стороне роз и винограда, об Александре, обитающем в краю, где летом ночи без теней, а зимой дни без света.

Твой душою А. Бестужев.

2

Якутск, 25 сентября 1828 г.

Милый брат Петр Александрович,

Полярный круг, конечно, не Венерин пояс, — но неужели братская дружба изменит магнитной стрелке и не пошлет по

ее направлению чувств своих? Я давно жду привета и ответа на свое письмо от любезного воина. Читая там и сям описания битв ваших с варварскими народами, у меня не раз замирало сердце, воображая тебя в схватке с ними, в горах, в палящий зной, когда лучи солнечные столь же смертельны, как и картечи и шашки всадников Аббас-Мирзы. Здесь не то: зеленая зима миновала и белая падает. Солнце не зажигает даже трубки, не только воображения поэта, и вся природа, живая и полуживая — есть воплощенная проза. Будь здоров душою, крепок телом и более счастлив в войне и мире — да не забывай только любящего тебя брата

Александра Бестужева.

3

Якутск, 10 ноября 1828.

Душевно поздравляю тебя, любезный брат, с первыми галунами: желаю, чтоб они были тебе лентой ордена счастия. Итак, с долин Армении, на которых опиралась радуга завета,— вы понесли заветные знамена победы в пределы Турции, и уже вихорь-богатырь ваш сорвал месяц с Карсу и Ахалциха! Как не вспомнить Державина:

Граду коснется — град упадает,
Башни рукою за облак бросает.

Ты, как мне пишут, резался на улицах Карсу! Меня зависть берет, когда я, глотая чад вместо порохового дыма, воображаю ваши подвиги. Хоть бы из-за угла поглядеть! Хоть бы навязать на арфу свою струн с луков курдистанцев. А то, вдохновение отмораживает здесь крылья и солнце не зажигает даже трубки, не только воображения поэта. Не могши участвовать ни делом, ни словом в битвах с неверными, сделай одолжение,

сверни хоть из этого листка пару боевых патронов и пусти их за меня к неприятелю. Бьюсь об заклад, что они вцепятся в самую правоверную бороду удалых байрахтаров; что касается до меня — я, как ржавый маятник, качаюсь в своей коробке туда и сюда, покуда сорокаградусные морозы блокируют природу. Порой посасываю, как трутень, мед из книжек или дым из сигарок и ленюсь самым назидательным образом. Ты — дело иное: философию в ранец, ружье — на плечо — и марш! Заботиться некогда, горевать — и подавно; подрался, пришел на ночлег, и ножка падает от усталости, и как пух в воду. Дай боже только, чтобы столько трудов и опасностей не были даром. Да спасет тебя провидение от белого оружия спагов, от красного вина и желтой лихорадки.

Целую милого брата

верный твой брат Александр Бестужев.

P. S. Если увидишь Поллюкса, обними за меня. Пишу теперь на удачу — куда адресовать? В Адрианополь? Почему ж и не далее?

4

Якутск. 1829. Генваря 10.

Браво, браво, милый Петр, — как кажется, ты не изменяешь своему каменному имени (Pièrre). Но скажи, пожалуй, не знаешься ли ты с чернокнижием, когда турецкие и персидские пули для тебя то же, что для меня с якутских кедров падающие орехи? Или некогда закляли тебя иными науками,

Опричь литературы бранной,
Окроме логики трехгранной.

Впрочем, сестры пишут, что ты набил руку не только на драку, но и на письма, что слог твой цвѐтен и силен. Вычитаю из этого свидетельства родственное пристрастие, но, во всяком

случае, поздравляю с этим даром. Напиши, сделай милость, какое впечатление на тебя произвела горная природа, и первое сражение, и первый приступ. Я стараюсь изучать человека во всех положениях и надеюсь на искренность твою более, чем на рассказы романистов: хочу поверить мнение с самым делом. Итак, вы отдыхаете теперь на лаврах — даже в буквальном смысле. Я думаю, видеть над собою яхонтовое небо, — под собой и кругом памятники своих подвигов — и вдали (а, может быть, и вблизи) чернооких красавиц Востока — должно проникнуть человека каким-то вдохновительным упоением!! Конечно, физические обстоятельства и проза солдатской жизни должны порой обивать крылья воображению, но, все-таки, минуты радости должны быть пылки и живы. «Одно мгновение в мае дороже недели осенней», — говорит Мицкевич.

Что же должен чувствовать тот, кто знает цену даже чистому воздуху, — в ароматном отечестве роз! Я устарел опытом, но еще юн сердцем и жизнь еще кипит в жилах от одного воображения. Позволь п р и «э т о й в е р н о й о к а з и и» на ушко спросить тебя, не сдул ли услужливый зефир какого-нибудь покрывала с какой-нибудь угнетенной одалиски? И не оказал ли ты какой-нибудь услуги, как водится, для заведения нежной благодарности, а там по принадлежности — серенада (à propos * не бренчишь ли ты на гитаре?), а там ревнивый мусульманин — а там — и так далее. Это очень хорошо для производства в поэты и для поддержания скуки гарнизонного платонизма.

Я живу с книгами и с мечтами. Любуюсь морозными астрами на слюдяных окошках и редко купаюсь в здешних туманах, т. е. сижу сиднем, как Илья Муромец.

Ты должен, любезный брат, оправдать благость провидения, спасшего тебя, став достойным жизни. Книга мира перед тобою — и в ней узнаешь ты, что нет иной мудрости кроме

---

* Кстати.

правды и правоты. Да сохранит тебя бог в боях и мире для успокоения несчастной матушки нашей.

Брат Александр.

5

‹1829›.

Милый брат и друг Петр,

премилое письмо твое получил 5 февраля. Очень рад, уверясь в твоей целости, еще более тому, что ты возмужал умом, окреп духом и усовершаешься словом. Замечания твои насчет Персиды хотя не очень лестны для воображения, по крайней мере весьма любопытны для познания... Конечно, пословица a beau mentir qui vient de loin * вполне справедлива, да и господа описатели любят на все бросать цветы, которые растут только в их голове и только под их ногами, — но, конечно, и ружейный ствол, служивший тебе зрительною трубою, показал коечто хуже, нежели оно в самом деле. Перед тобой был только сегмент круга — и то весьма ограниченный; ты не мог ни удалиться от фронта, чтоб насладиться иным местоположением, или проходив его утомленный, или видел его сквозь дым пороха.

Я, напротив, ржавею, как старинная пищаль в холодном амбаре, или, лучше сказать, рассуждаю о море, меня окружающем, как устрица, прикрепленная к утесу; и если ‹в› учение стоиков, полагавших внешнее благополучие в недвижимости, можно поверить (чего боже сохрани), то меня можешь счесть идеалом этого типа. Впрочем, утешаюсь философией и питаюсь мечтами. Зима у нас очень сносная и только два раза термометр падал на 43°, а то все около 30 вертелся, и привычка показывает этот мороз, как бы у нас в Петербурге — 10°. Впрочем, ты напрасно воображаешь, что Якутск есть pendant ** к Березову.

* Хорошо лгать тому, кто приходит издалека.

** Соответствие.

Лежа на дороге в Охотск, он беспрестанно образуется проездом столичных офицеров, и купцы всей России навозят с старыми модами и новые нравы. Напиши что-нибудь об Ахалцихе в мирном виде. Дай бог, чтоб будущий твой ответ на это послание был вестью о новых победах войску и нового поприща для тебя. Обнимаю по-братски.

Твой неизменный Александр Бестужев.

6

‹1832›

Христос Воскресе!

Но ты, милый, добрый, благородный брат Петр, ты не воскресаешь ни духом ни телом в этот святой праздник обновления. Горькие слезы пролил я, когда получил известие о твоей болезни и о том, что ты даже перестал есть. Да и до сих пор хожу, как сердце выронил. Ты очень болен, а я не могу лететь к тебе, прижать к сердцу, утешить словами искренней, братской любви. Заклинаю тебя всем, что свято на земле и в небе, не предавайся отчаянию, спасение — близко. Для жизни матери нашей храни свою жизнь — ее убьет весть, что ты не существуешь, — а можно ли существовать без пищи?

Пускай (если ты веришь, что тебя хотят отравить) не должно принимать от недругов еды — но неужели подле тебя нет ни одной души, которая бы пеклась о твоем здравии и отвратила бы вред осторожностию? По крайней мере, занимайся сам стряпнею и тогда будешь уверен, что ничего не всыпано. Я ‹молю› бога, чтоб Панкратьев, которому писал я, прося твоего перевода в Дербент, выполнил мою просьбу. С какою чистою радостию прижал бы я брата-страдальца к груди своей. Я очень на это надеюсь — очень верю этому. Через 20 дней придет ответ, и тогда дух твой излечится под сенью родственного крова. В ожидании, ради Спасителя и всех

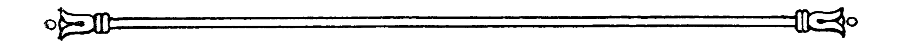
братьев и всех родных, крепись и не отрицай не пищи ни пособий лекарственных. Обнимаю и каждый час за тебя со слезами молюсь.

Твой неизменный брат Александр.

14 апреля.

Не думай, что кто-нибудь подписывается под мою руку. Этого невозможно с моим почерком.





Н. БЕСТУЖЕВ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ СТАНЦИЯ

(Истинное происшествие)[1]

(Посвящено А. Г. Муравьевой)

Одна голова не бедна,
А и бедна, так одна.
(Старинная пословица).

Несколько лет тому назад мне надобно было съездить из Петербурга, по делам матери моей, в Новую Ладогу. Когда я совсем собрался, она позвала меня в свою комнату, повторила все наставления, слышанные мною уже несколько раз, и потом прибавила: «по окончании дел в Ладоге, как я тебе сказала, ты должен заехать к нашим соседям Н. и С. ... Я хочу того: во-первых, потому, что дома наши связаны старинной дружбою, во-вторых, что у обоих милые дочери и достойные невесты. Может быть судьба укажет тебе на которую-нибудь из них, и ты составишь себе такую партию, какую бы я хотела для тебя. Ты знаешь всегдашнее мое желание — видеть тебя женатым: я возрастила и воспитала тебя в надежде няньчить моих внучат. Ты старший в семействе, тебе уже тридцать два года, и до сих пор, по какому-то непонятному для меня упрямству, ты не слушаешь моих советов, не устроишь своей судьбы, не осчастливишь меня исполнением любимой моей мечты — видеть в тебе продолжение нашей фамилии. Берегись

холостой старости; я не уважаю старых холостяков!». Мать моя плакала, говоря эти слова; я отвечал общими фразами, что час мой не настал, что я еще не встречал той, которую бы избрало мое сердце, обещал внимательно рассмотреть предлагаемых ею невест, и мы вышли в зал, куда собралось все наше семейство.

Почтовая тройка стояла у ворот; чемодан был вынесен; я стал прощаться и думал, поцеловавшись со всеми, сесть на тележку и ехать, но должно было заплатить дань старине. Меня посадили, мать и сестры сели, мальчик, ехавший со мною, был также посажен, даже горничная, вбежавшая сказать, что извозчик торопит, подпала той же участи: «садись», — сказала ей повелительно матушка; девушка осмотрелась кругом, взглянула на матушку, как будто желая выразить, что ей совестно сидеть с господами, но при новом приказании села на пол, удовлетворяя в одно и то же время и господскому приказу и рабской разборчивости. Несколько минут продолжалось благочестивое молчание, потом все встали и, оборотясь в передний угол, помолились висевшему там распятию. Матушка благословила меня, шепнув, чтоб я не забыл ее советов, простилась, дала поцеловать руку моему мальчику, и я, обняв сестер, спрыгнул с лестницы, вскочил на тележку и исчез, посылая поцелуи рукою в ответ белым платкам сестер, махавшим из окошек.

Итак, меня посылают выбирать невесту! Матушка серьезно хочет меня женить; но об этом надобно подумать да подумать поскорее; в самом деле в мои лета не надо долго размышлять, а в дороге об чем же и думать?

Но если б спросили меня, что я думал дорогою? — я бы отвечал: ничего! На почтовой тележке не так-то ловко размышлять: того и смотри, чтоб не вылететь из повозки. Осенняя погода покрывала меня, дождь и ветер крепче закутывали в шинель, и я чаще повторял ямщику: «пошел».

За мной остались Пелла и Славянка; я уже подъезжал к Шлиссельбургу, но как человек, служивший на море и редко

имевший случай ездить сухим путем, особенно в русском почтовом экипаже, очень чувствовал разницу между сухопутным и водяным сообщением, хотя в настоящем случае я имел бы право сказать, что еду по морю грязи, сопутствуемый прыжками, толчками и ухабами. Налево изредка только открывалась сердитая Нева, катившая быстро свои волны, или какая-нибудь дача, заставлявшая меня высовывать нос из шинели. Мне хотелось полюбоваться каким-нибудь видом, но дождь закрывал все отдаленные предметы, а ранняя осень обезобразила все картины, обнажив почти деревья; желтые листья, сорванные ветром, неслись с дождем, перегоняя мою повозку. Наконец, избитый и мокрый, не отдохнув взором ни на одном предмете, я увидел Шлиссельбург! Мы въехали в город, и, странное дело! первый предмет, привлекший мое внимание, был аист, свивший гнездо свое на трубе почтового дома. Он стоял и важно поглядывал кругом, как будто обозревая небосклон и замечая, с которой стороны очистится небо, чтобы судить о будущей погоде, может быть, для задуманного им путешествия. Я в первый раз увидел эту птицу в наших северных странах и спросил у извозчика: водятся ли эти птицы здесь? «Нет, барин, прежде не видать было,— отвечал он,— а эта уже четвертый год, каждую весну, здесь выводит детенышей и улетает осенью на теплые воды. Дивлюсь, что она еще здесь, ей давно пора лететь».— Она умнее меня и не хотела пуститься в дальний путь в такую скверную погоду, — сказал я, слезая у почтового дому с повозки и стряхивая шинель, с которой текла вода ручьями!

Станционный смотритель равнодушно объявил, что лошади все в разгоне, и как я ни представлял обыкновенных крайностей путешествующих, он отвечал обыкновенными резонами почтовых смотрителей, обещая лошадей не ранее как через час. И действительно, несмотря на мое нетерпение, ровно час прошел, пока возвратились лошади. Я стоял у окна и смотрел, как их перепрягали в мою повозку. Дождь не переставал; крупные капли стучали в окна и лились ручьями по

стеклам. Бедные животные, уже пробежавшие свой урок, должны были вновь заучивать его со мною; пар подымался столбом с их осунувшихся боков, которые раздувались, как мехи, от усталости; они стояли, опустя головы, и потряхивали ушами, когда дождевые капли туда попадали. Колокольчик на дуге издавал унылые звуки; не менее того он производил на меня приятное впечатление, предвещая, что я скоро сяду и покачусь после скучного ожидания. Но человек предполагает, а бог располагает: послышался другой колокольчик, и вскоре карета, запряженная в шесть лошадей, а за нею повозка прискакали к станции. Минута ранее — и я бы уехал; теперь это было невозможно, потому что проезжий был сенатор Баранов, ездивший в некоторые губернии помогать жителям, умиравшим с голоду от неурожая, — и следственно мои и еще какие-то лошади были запряжены в карету его превосходительства, а я снова остался горевать в ожидании.

Сенатор вошел в комнату, вежливо поклонился, завел разговор о нашей морской службе; рассказывал о поручении, ему сделанном, и очень скромно похвалился, что из данных ему трех миллионов на вспоможение, он не истратил ни копейки. Когда же перепрягли карету, он с большою деликатностью извинился, что отнял у меня лошадей, и уехал.

Исчезла и моя надежда на скорую отправку. Все лошади, сытые и голодные, повезли сенатора, а мне-то что делать? Прежде я ждал как проезжий, теперь остался как жилец. Пришлось знакомиться с своею квартирою и хозяевами. От нечего делать я начал осмотр: небольшая комната была разгорожена надвое; передняя служила и присутственным местом, и спальней смотрителю; в ней у одной стены стояла кровать, у другой под окном — стол; у разгородки изразцовая лежанка выдавалась, вроде русского очага, на половину для презжих, где и мебель была позамысловатее: кроме софы, нескольких дубовых стульев с кожаными подушками и стола, стояла в одном углу кровать с ситцевыми занавесками, в другом — шкаф, из-за стекла которого видно было несколько фарфоровых

чашек разной фигуры с ручками и без ручек, склянки с лекарствами, помадная банка с солью, штоф с какой-то жидкостию, где плавало несколько ягод рябины, опрокинутая рюмка без ножки и полдюжины медных ложек и ложечек в прорезях на полочках. По стенам развешано было несколько картинок, над столом зеркало и деревянные часы. Я со скуки пересмотрел все эти редкости, прочел все надписи на картинках, из которых одна только строчка стихов под портретом Кутузова осталась в моей памяти: Кутузов прими не лестный света глаз! *

Что это, не намек ли?..

Начинало смеркаться; я велел внести мою шкатулку и подать чаю; подойдя к окну, я рассматривал, сколько позволяла погода, представлявшуюся мне картину. Чрез домы на противоположной стороне улицы проглядывали по временам, сквозь дождь, стены и башни Шлиссельбургского замка, поставленного на острове посреди Невы, при самом ее истоке из Ладожского озера... Полосы косого ливня обрисовывали еще мрачнее эту и без того угрюмую громаду серых плитных камней; влеве Нева терялась за домами; вправо озеро глухо ревело, переменяя беспрестанно цвет поверхности, смотря по силе порывов и густоте дождя, — и я в первый раз дал свободу своим мыслям, которые до сих пор сдерживались или толчками, или ожиданием. Какое-то грустное чувствование развивалось во мне при виде этих башен. Я думал о сценах, которых стены были свидетелями, о завоевании Петра и смерти Ульриха, — о вечном заключении несчастных жертв деспотизма. Мысли невольно останавливались на последних: может быть, думал я, много страдальцев гниет и теперь в этой могиле. Сколько человек, мне известных, исчезли из общества и тайна их участи осталась непроницаемой. Но за какие преступления, за что, по какому суду осуждаются они на

* Этот портрет гравирован известным художником Карделли. Его же гравирования есть два эстампа: путешествие Екатерины по России и восшествие на престол Александра I.

нравственную смерть? Все, что относится до общества и его постановлений, до частных людей и сношений их, ограждено законами; преступления против них публично наказаны; но здесь лица бессильны, преступления их тайны; наказания безотчетны, и почему?... Потому что люди служат безответною игрушкой для насилия и самоуправства, а не судятся справедливостью и законами. — Когда же жизнь и существование гражданина сделаются драгоценны для целого общества? Когда же это общество, строющее здание храма законов, потребует отчета в законности и Бастилий и Шлиссельбургов и других таких же мест, которых одно имя возмущает душу? Люди! Люди! Вы привыкли сами спутывать себя узами, вы привыкли носить цепи; властелины ваши знают это и накладывают на вас новые тяготы; вы думаете, что этому так быть надобно. Горе вам, если вы этому не верите.[1] В таком настроении духа я сел за чайный столик.

Выдумка чая прекрасная вещь во всяком случае; в семействе чай сближает родных и дает отдых от домашних забот; в тех обществах, где этикет не изгнал еще из гостиных самоваров и не похитил у хозяйки права разливать чай, гости садятся теснее около чайного столика; нечто общее направляет умы к общей беседе; кажется, что кипящий напиток согревает сердца, располагает к веселости и откровенности. Старики оставляют подозрительный вид и делаются доверчивее к молодым; молодые становятся внимательнее к старикам. В дороге чай греет, в скуке за ним проводишь время. Одним словом, самовар заменяет в России камины, около которых во Франции и Англии собираются кружки.

Чтобы составить кружок, я пригласил к чаю смотрителя и его жену. Хозяйка, которой наряд состоял в повязке на голове и камлотовой юбке, принимая мое приглашение, набросила на плечи черный шелковый платок и скинула головную повязку, чтобы показать, что она не из простых, а носит косу, с воткнутым в нее роговым гребнем. Она пила чай вприкуску; после четырех чашек с крайнею учтивостию опустила назад

в сахарницу обгрызок сахара, оставшийся от ее экономных зубов.

— Давно ли вы здесь на станции? — спросил я смотрителя.

Он хотел отвечать, но как в эту минуту он только что хлебнул горячего чаю, то ответ его выразился одним невнятным звуком и потом кашлем. Словоохотная хозяйка предупредила его: «о зимнем Миколе, батюшка, будет восемь лет, как мы попали на это место, и восемь лет мыкаем горе на этой станции; тракт малоезжий; купечество ездит на долгих или на наемных; а кроме купцов только офицеры да фельегари».

. . . — Куда же ездят эти фельдъегери?

Смотритель хотел было отвечать, но жена перебила и не смотря, что он кивал головою, раза два крякнул, она продолжала:

— Куда? Прости Господи! Не ближе и не далее здешнего места... Разве, разве, что в Архангельск; да туда пусть бы их ехали с богом, а то не пройдет месяца, чтобы не привезли в эту проклятую крепость на острове какого-нибудь бедненького арестанта.

— И вы видаете этих арестантов?

— Куда тебе! Нет, родной, никогда не видаем. Приедут всегда ночью и прямо на берег, не заезжая сюда. Я бегала не раз на реку, да только и видела, что повозку; жандармы и близко не подпускают; с фельегарь крикнет с берегу — с крепости зарычат каким-то дивным голосом; приедет катер: сядут, поедут и бедняжка как в воду канет. Только по утру, как снег на голову, наскочит подраться да побраниться, да уехать, не заплатив прогонов...

— Что же у вас говорят, как живут арестанты?

— Что говорят, родимый! И бог весть каких страстей не рассказывают — а все мы досконально не знаем. Съезжают оттуда солдаты, да редко; и на тех человечья виденья нет: худы, да тощи, да бедны, — и они, бедняжечки, там на затворе. Спросим, ничего не говорят; а станем пытаться, так я не раз видела, как иного дрожь возьмет, а все до толку не добьешься. Видно, что страшно.

— Ваше высокоблагородие, — начал, закашляв, смотритель, — это... — но жена не дала ему кончить и прервала снова, но почти шопотом. — Говорят, что там тюрьмы как колодцы: ни свету божьего, ни земли, ни воздуху; душно как в могиле; каждый сам по себе и ни встать, ни сесть, ни лечь. Есть подают в окошечко, и бедняжечка не слышит никогда ни голоса, не видит ни лица человечьего: только он да часовые кругом.

— Стало быть, их мучат, их убивают прежде времени?

— Нет, батюшка, мучить не мучат и убивать не убивают, а говорят: что уж коли надобно кого сжить со бела света, так закопают по уши в землю, да и оставят умирать своею смертию.

Сколь ни нелепы были рассказы хозяйки, но, откинув преувеличения, откинув то, что относилось к мучениям физическим, достаточно быть похороненным заживо в этом гробе, чтобы с нравственными страданьями намучиться, умирая своею смертию.

Я встал из-за чая в неприятном расположении духа, спросил о лошадях и на отрицательный ответ начал ходить по комнате; здесь мне впервые после выезду пришло в голову желание матушки, чтоб я женился. Странное сцепление идей! Но в этом случае мысль, перебегая с предмета на предмет, невольно обращалась к тем, которых лишение было бы последствием исполнения печальных моих предчувствий. «Матушка хочет этого, — думал я, — это естественно; я сам чувствовал пустоту в сердце, мне чего-то недоставало, даже в кругу милого мне семейства, между достойных моих сестер и братьев. Я думал об этом, когда страсти мои волновались сильнее, когда каждая девушка казалась мне идеалом совершенства, я думал и выбрал; но судьба похитила у меня избранную; смерть разлучила нас. С тех пор воображение сделалось прихотливее, вкус разборчивее, чувства не так пылки. Я создал новый идеал и равнодушно смотрел на женщин, сравнивая их с моею мечтой. За всем тем, безумный! я еще думал жениться! Теперь

я вижу яснее, что не могу располагать собой, не могу связать судьбы своей с избранною мною подругой жизни!..

«Я собственность благородного предприятия; я обручен особым союзом — и так могу ли я жениться? Стоя на зыблющемся волкане, захочу ли я привлечь к себе подругу, избираемую для счастия в жизни нашей, чтобы она, не зная бездны под ногами своими, вверилась мне и вверглась вместе со мною в пропасть, ежеминутно готовую раззинуться».

Так я рассуждал, а между тем дождь усиливался, ветер свистал в окошки, на дворе стало совсем темно, а лошадей все еще не было. Наконец, я решился остаться ночевать, несмотря на свою скуку, потому что ехать ночью, в такую погоду, еще скучнее. Зажгли свечи, я открыл шкатулку; со мною было английское Стерново «Чувствительное путешествие»; я развернул книгу и сел читать: как нарочно, открылось то место, где Стерн говорит о Бастилии:

«... я представил себе все жестокости заключения. Мое сердце было расположено к этому, и я дал полную волю воображению.

«Я начал миллионами мне подобных, но находя, что огромность картины, сколь она ни была разительна, не позволяет приблизить ее к глазам и что множество групп только развлекали меня, я представил себе одного заключенного, запер наперед его в тюрьму, потом остановился посмотреть сквозь решетку двери, чтобы срисовать его изображение.

«Я увидел, что тело его исхудало и высохло от долгого ожидания и заключения; я чувствовал, как сильна сердечная болезнь, рождаемая отлагаемой надеждой. Посмотрев пристальнее, я заметил, что он был бледен и истомлен лихорадкою. В тридцать лет восточный ветер ни разу не освежил его крови. Он не видал ни солнца, ни месяца во все это время — и ни однажды голос друга или родного не проникал сквозь эту решетку; его дети...

«Но здесь мое сердце облилось кровью, — и я принужден был приступить к другой части моего изображения.

«Он сидел в углу на небольшом пуке соломы, служившей ему вместе и стулом и постелью. В головах лежал род календаря из маленьких палочек с заметками печальных дней и ночей, проведенных им в темнице. Одна из этих палочек была у него в руках; он царапал на ней ржавым гвоздем новую заметку еще одного дня бедствия в прибавку к прежним — и как я заслонял последний свет, доходивший до него, — он поднял безнадежные глаза на дверь, опустил их, покачал головою и продолжал свою горестную работу. Я слышал звук цепей, когда он поворотился, чтобы положить палочку в связку с другими. Он тяжело вздохнул; я видел, что это железо въедалось в его душу, — я залился слезами и не мог выдержать долее зрелища, созданного моим воображением...».

Боже мой, в двадцатый ра́з читаю это место, но еще впервые оно так на меня подействовало! Рассказ хозяйки, картина Стерна, задержка лошадьми, собственные предчувствия . . . мне кажется, что Шлиссельбург уже обхватывает и душит меня как свою добычу. «Так, — сказал я сам себе, шопотом, боясь, чтобы меня не подслушали. — Я имею полное право ужасаться мрачных стен сей ужасной темницы. За мной есть такая тайна, которой малейшая часть, открытая правительству, приведет меня к этой великой пытке. Я всегда думал только о казни, но сегодня впервые явилась мысль о заключении».

Долго я ходил по комнате, приучая воображение к тюремной жизни, страшно проявлявшейся в разных образах предо мною; наконец фантасмагория моих мыслей прояснилась, припомнив, что года три или четыре назад, познакомясь с комендантом Шлиссельбургской крепости, я отвечал на зов его к себе в гости, что постараюсь сделать какую-нибудь шалость, за которую провинность доставят меня к нему на казенный счет. Тогда я еще не имел в виду цели, которая могла бы оправдать мою шутку.

Я сел снова к столу, взял лист бумаги, чертил на нем разные фигуры, карикатурил знакомые лица, читал опять Стерна,

писал на него сентенции, свои мысли; рисовал узника в темнице, чертящего на палочке заметку, думал о желании матушки, вставал, ходил, наконец погасил свечу и, скинув сюртук, бросился в постель, чтоб уснуть; но сон бежал моих глаз, — я только что вертелся с боку на бок.

В другой комнате хозяйка лежала нераздетая на своей кровати и храпела; супруг ее сидел за столом и читал вслух четьи-минеи, и это чтение имело усыпительное действие на хозяйку: как скоро он понижал голос или переставал читать, чтобы понюхать табаку из стоявшей подле него берестовой тавлинки, она переставала храпеть, начинала шевелиться или совсем просыпалась. Я сначала думал, что расстановки в чтении делаются неумышленно; однако, взглянув в висевшее над столом зеркало, в котором отражался мой хозяин, увидел, что каждая остановка сопровождалась покушением встать. Но как скоро он замечал, что любезная его половина просыпалась, он садился снова и начинал читать громче прежнего. Наконец после многих опытов, когда убедился, что чтение подействовало как следует, тогда, сняв очки и спустив туфли, он на цыпочках вошел в мою комнату, посмотрел, сплю ли я, отворил шкаф, взял безногую рюмку, налил в нее из штофа водки, выпил, отломил корочку хлеба, посолил, съел и отправился тем же порядком на свое место. Та же комедия начиналась снова: жена по временам просыпалась, делала кой-какие вопросы, он отвечал чтением и таким образом сходил в шкаф в другой и в третий раз; но после этого бодрость его видимо увеличилась: он перенес к себе весь штоф, положил подле себя хлеб, воткнул в него безногую рюмку и начал попивать, закусывать, читать нараспев, икать и заикаться при житии Иоанна Постника.

Меня занимало праздничанье этого доброго человека; по крайней мере при бессоннице лучшего нечего было делать. Изменническое зеркало передавало мне верно все наслаждения и все забавные страхи хозяина. Наконец он заснул в очках на носу над книгою, а я предался снова мечтам, снова думал о женитьбе, потом о намерении никогда не жениться, а между

тем какой-то женский идеал носился в моем воображении против моей воли и занимал меня до 10 часов.

В это время между порывом бури послышался колокольчик. Через несколько минут застучали по мостовой колеса, раздался на крыльце крикливый женский голос, и вслед за тем передняя комната наполнилась людьми. Я различал женские и мужские голоса; зеркало передавало мне мимолетные черты, потому что люди шевелились, переходили с места на место, но я не мог никого рассмотреть. Хозяйка вскочила; смотритель проснулся, встал и, опершись на стол руками, повторил обыкновенный свой напев: «ло-лошадей не-т-с!».

Тоненький и светлый женский голос, который приятно отозвался в моем ухе, отвечал ему, что они едут на своих и остановились поправить карету, испортившуюся от дурной дороги. Тот же голос приказал слуге поспешить поправкой, чтобы скорее ехать вперед.

— Помилуйте, Любовь Андреевна, — вскрикнул другой женский голос, не перестававший лепетать ни на одно мгновение, — я г о в о р и л а, что по эдакой дороге нельзя ехать. Песок, дождь, слякоть, ветер; мудрено ли, что карета изломалась. Я г о в о р и л а, что лучше бы остаться нам за Черною; я г о в о р и л а, что придется нам здесь маячить; так уж лучше хорошенько здесь отдохнуть и со светом пуститься в дорогу. Я г о в о р ю, что ночью худо починивать карету, когда ни зги не видно, а ветер задувает свечи даже в каретных фонарях. Я г о в о р и л а, что это преставление света.

— Любезная Анисья Матвеевна, мы здесь ночевать не будем; вам же все равно в карете, — идет ли дождик, или светит месяц. Вы там сухи и спите, кажется, покойнее, нежели в постеле.

— Господи боже мой! покойнее, нежели в постеле! да вы спросите, — как у меня души не вытрясло из тела? Я г о в о р и л а, что с вами не сговоришь. Г о в о р и л а я, что эти молодые барыни не хотят слушать ни разума, ни совета; да

по крайней мере, отдохните и успокойтесь хоть минуту, а то я говорю вам, что вы приедете в Питер на себя не похожи.

— Я не устала и не хочу отдыхать, я спокойна только буду в Петербурге. Ложитесь вы и не сердитесь, когда разбужу вас чрез полчаса, — вероятно карета в это время будет готова.

Толстая женщина лет сорока, довольно неприятного вида, вошла ко мне в комнату, ворча, со свечею. Я не намерен был уступать этой даме на полчаса постели и потому притворился сонным, избегая необходимости вставать, надевать сюртук, рассыпаться в учтивостях, тогда как мне покой был нужнее, чем тем, которые ехали в карете. Анисья Матвеевна подошла прямо к кровати; увидев меня, ахнула, перекрестилась с испугу, но, разглядев человеческий образ, начала употреблять воинские хитрости, чтобы выжить меня из позиции. Она говорила очень громко, кашляла, встряхивала перед моим носом свой салоп, так что брызги летели на меня, но ничто не помогало. Я лежал закрыв глаза. Я внутренно смеялся ее отчаянию.

Между тем, другая дама вошла также в комнату и, увидя хлопоты своей спутницы, сказала ей потихоньку, что ей не для чего на полчаса беспокоить, вероятно усталого, проезжего и что ежели она хочет спать, то может лечь на софу.

Крикливая моя неприятельница удалилась к софе, бормоча, подложила себе разных свертков и узелков в голову, легла и, разговаривая и по временам повторяя: я говорила, я говорю, — заснула.

Пока она возилась, молодая приезжая дама стояла, оборотясь к ней, и, наконец, когда та улеглась, взяла свечу и подошла к зеркалу, чтоб скинуть свою дорожную шляпу, чепец, и поправить — я не знаю что: женщины находят и в дороге средство заниматься своим туалетом, — я увидел в зеркале — боже мой, что я увидел! Черты такие, в какие всегда я облекал мою мечту, мой идеал красоты и прелести, который только что носился перед моими глазами! Когда она скинула чепец, густые кудри волос рассыпались по всему лицу, закрыли глаза и щеки: надобно было привести их в порядок: они уло-

жены были за уши, и открытая физиономия показала мне лет двадцати двух женщину. Она была немного бледна — это могло быть с дороги, — впрочем эта бледность была совершенно к лицу и задумчивому выражению глаз.

Локоны были убраны, свечка поставлена на стол, и молодая незнакомка начала ходить по комнате с сложенными руками и опущенною головою. Первый раз в моей жизни выражение женской физиономии сделало на меня такое впечатление. Со мною что-то сталось необыкновенное; я тысячу раз жалел, что не встал и не уступил места воркунье Анисье Матвеевне. Теперь, думал я, каким образом встать? как без замешательства явиться в полуодежде? как извиниться и к чему я теперь все это сделаю? — Все это было очень неловко, и я продолжал лежать с полузакрытыми глазами, боясь проронить малейшее движение милой путешественницы.

Она была в черном платье. Почему, думал я, это дорожное платье, но не вдова ли она? В эту самую минуту непослушные локоны рассыпались опять, и снова надобно было поправить их. Тут увидел я на левой ее руке одно только узенькое золотое кольцо — это верно вдова, сказал я сам себе.

На столе, куда она положила свою шляпу и чепец и теперь становила опять свечу, была открытая моя шкатулка; подле нее открытый Стерн, листок бумаги, исписанный и измаранный во всех направлениях, и, наконец, моя подорожная. Это обратило внимание незнакомки; она села — взглянула на книгу, на меня, потом взяла ее, посмотрела заглавие, бросила на меня любопытный взгляд, как бы желая узнать, — что это за оригинал, читающий такую старину? Я не изменял своей роли — лицо мое было полузакрыто рукою, чтобы ловче было видеть, не давая подозрения, что гляжу обоими глазами. И так она, придвинув к себе свечу, начала читать Стерна.

Стало быть она знает по-английски?

Стерн открыт был на том самом месте, где я оставил чтение, заметив карандашом на поле: «ужасно!». Незнакомка поднесла книгу ближе к свечке, чтоб рассмотреть это замеча-

ние, оборотила листок и начала с описания скворца, который бился в клетке своей, повторяя слова: «я не могу вырваться, я не могу вырваться», и, наконец, дошла до картины узника. Я видел только в зеркало ее лицо и замечал, как мало-помалу выражение его помрачалось, как останавливались глаза, трепетали ресницы и две крупные слезы блеснули, отражаясь свечою; обе эти капли упали на книгу. Я видел, как незнакомка испугалась, вытирала эти капли платком и сушила их своим дыханием. С тех пор я не расстаюсь со Стерном!

Мне пришла в голову странная мысль. Я глядел в зеркало, как девушка на святках, гадающая о суженом, и видел там только лицо незнакомки. Что если эта мечта, этот видимый образ есть ответ на мое гаданье, если... если это моя суженая?..

Незнакомка положила книгу, оперлась головою на руку и печально смотрела перед собою; по временам навертывались новые слезы. Измаранный лист лежал вместе с книгою, карандаш подле. Это, конечно, значило, что читавший марал его и делал заметки при чтении. Путешественница подвинула к себе в рассеянии листок, но, как бы опомнясь, поспешно положила опять на место. Не менее того, я заметил, что он обратил ее внимание. Я видел, как глаза ее перебегали с фигуры на фигуру, со строчки на строчку; кажется, она хотела убедиться в незначительности бумаги. Наконец, она встала, взглянула на меня, прошлась по комнате и, сев снова, взяла листок. На самом верху у меня было написано: «Узник Стерна еще ужаснее для того, кто читает его здесь в Шлиссельбурге. Воображение этого писателя ничего не значит перед страшною истиною этих мрачных башен и подземельев!».

Кажется, эта простая фраза пробудила воспоминание, ибо дала понятие о том, что неясно представлялось воображению незнакомки. Она подняла голову, посмотрела рассеянно перед собою и потом как будто какая-нибудь идея подстрекнула ее любопытство; она быстро встала, подошла к окну, приложила обе руки к вискам, закрывая посторонний свет, и, как бы усиливаясь проникнуть мрак ночи, старалась разглядеть башни

замка. Но там ветер и дождь увеличивали темноту осенней ночи; она отошла, сказав: «Боже мой, какая темнота!», опять села и потом, занятая своею мыслию, в рассеянии прибавила довольно громко: «да это я слыхала!».

Лицо незнакомки было печально, она сидела, задумавшись, напоследок взяла опять измаранный лист, поворачивала его во все стороны, смотря по тому, как карикатуры, головки, цепи, набросанное изображение узника Стернова были нарисованы, и потом глаза ее остановились на следующем: «Мне никогда не было страшно собственное несчастье; свое горе я всегда переносил с твердостию — но чужих страданий не могу видеть: когда я их знаю, они становятся моими. Пусть делают со мною, что хотят, пусть бросают меня на край света, в самый темный угол на земле, но так как в этом мире нельзя сыскать такого места, где бы не было бога, где бы можно было отнять мою совесть, — я буду спокоен сам за себя. Если же за мной останется какое-нибудь существо, чье счастье связано будет с моим, если я буду думать, что мое несчастье сделалось его злополучием: горесть его ляжет на мою душу, на совесть, и потому, нося в груди тайну, готовясь с разгадкой ее к новым несчастиям, я не могу — я не должен искать никакой взаимности в этом мире. Мне надобно отказаться от всякого счастия!..».

Незнакомка опустила лист, облокотилась и, казалось, размышляла о написанном.

Меня очень занимала эта немая сцена; при сцеплении обстоятельств самых обыкновенных она сделалась для меня совершенно романическою. Буря бушевала, дождь стучал в деревянную крышу, в которой некоторые доски, давно оторванные ветром, хлопали наперерыв со ставнями, ветер завывал в щелях, так что пламя свечи колебалось на все стороны, и между тем как хозяин и хозяйка в другой комнате спали крепким сном, прихрапывая под завыванье бури, мы с незнакомкой бодрствовали; любопытство в сердцах обоих было возбуждено.

Развернутая подорожная была брошена прямо перед незнакомкою. Она обратила на нее взоры, — слабый свет не позволял ей читать в таком отдалении. Любопытство и нерешимость боролись в ее прекрасных чертах. — «Возьми, милая незнакомка, — думал я, — здесь твое сомнение не может тебя беспокоить: это официальная печатная бумага, которую читает каждый смотритель; почему же тебе не узнать моего имени!»... Она конечно думала то же, взяла подорожную, прочла мое имя и вдруг обернулась ко мне с видом какой-то неожиданности, как будто желая удостовериться в моем тождестве с написанным именем.

Рука моя была отнята от лица. Путешественница взяла свечу, начала осматривать картинки по стенам и всякий раз, когда полагала, что свеча выгодно освещает меня, поворачивала ко мне свое прекрасное личико; но неверный свет и отдаление мало ей помогали. Она желала увериться, сплю ли я, и потому, поставив свечу на стул так, чтоб лицо мое было освещено, начала ходить взад и вперед, шевеля стульями, ступая на те половицы, которые более скрипели, — я не просыпался. Казалось, она убедилась в моей летаргии — взяла опять свечу, подошла к картинке, висевшей у самой кровати, потом оборотилась ко мне и неожиданно встретила мой взор — я глядел на нее во все глаза.

Медузина голова, я думаю, не произвела бы подобного действия, незнакомка оцепенела: как рука ее вытянулась со свечою, как она начала поворот, как ротик ее открылся в изумлении, как она закрыла рукою свои глаза — все это так и осталось! Я не мог удержать усмешки, встал, взял из рук свечу и подвел незнакомку к оставленному стулу. Она села в совершенном замешательстве, с лицом, закрытым рукою. Я накинул сюртук и сел напротив. Восемь лет тому назад я еще не испытал тех несчастий, которые провели по лицу моему глубокие борозды, потушили огонь глаз, изредили волосы, усыпав остальные сединою, и сделали стариком сорокалетнего человека, — и потому не думал, что испугалась моего безобразия. Я видел, что ей совестно своего любопытства.

— Какая ужасная погода, сударыня, — сказал я, сам не зная, чем прервать это неприятное для нас положение.

— Извините, что я так неучтиво разбудила вас, — сказала незнакомка, не подымая на меня глаз.

— Но я совсем не спал, сударыня! — Я хотел этим ответом уменьшить вину, в которой она сознавалась, но увеличил ее замешательство: она покраснела, скоро поправилась и отвечала улыбаясь: «так это значит, что вы подсматривали за беспечною женщиной, которая думала быть одна, или, что все равно, со спящим человеком».

— Я имел на то полное право; я боялся за свою собственность. — Я сказал это, указывая на карикатуры, намаранные по всему листу.

Незнакомка улыбнулась, подняла на меня свои большие глаза и сказала: «это правда, тут видно и ваше душевное богатство и то, что вы не любите ни с кем делиться им». Она провела пальцем под строками последнего замечания на листе, где говорилось, что я не хочу делить ни с кем своих несчастий.

Я смешался в свою очередь, однако кое-как отвечал:

— Не верьте людям, сударыня: часто их богатство состоит только в пышных фразах. Я собственным опытом убежден, что часто человек, выдававший за час неизменным правилом свои слова, не в состоянии отвечать за себя, может ли повторить их теперь с тою же уверенностью.

Мы замолчали оба. В эту минуту вошел слуга путешественницы и сказал, что он только сейчас нашел кузнеца, который, осмотрев карету, обещался исправить ее через час.

— Я думала, ты пришел мне сказать, что карета уже готова?

— Если бы не эта погода, сударыня, конечно мы бы уехали ранее; но ни один из этих мошенников ни за какие деньги не хочет разводить огня в кузнице. Этого одного только застал я за работой у горна.

— Хорошо, друг мой, постарайся же кончить скорее. — Слуга поклонился и ушел.

Это явление подало мне повод спросить у незнакомки, откуда она едет, — и мало-помалу мы узнали друг о друге достаточно, чтобы разговаривать о Петербурге, дороге, погоде и тому подобном, перемешивая это, время от времени, новыми вопросами; наконец, через четверть часа я узнал, что прекрасная путешественница недавно овдовела, была замужем только два года, спешит из Ярославля в Петербург к своей матери и что говорливая спутница взята ею для компании в дороге. Доверенность некоторого рода установилась между нами. Незнакомка хотела всячески оправдать свое любопытство. Она рассказала мне, что знакома с моим другом В., который много говаривал обо мне, что она посещала некоторые дома, куда я также вхож, и что, наконец, мои литературные произведения были ей известны из альманахов и журналов. «Я была убеждена, — продолжала она, — прочитав ваше имя в подорожной, что вы тот самый, который написал о б у д о в о л ь с т в и я х н а м о р е».

Нельзя было не согласиться с убеждениями прекрасной женщины, что мои добродетели, о которых ей говорили, и даже литературная известность, возбудили ее любопытство. Не менее того, я благодарил ее, что она читала эти мелочи и помнила их. Это была большая редкость для женщин в том и в другом случае.

Между тем ветер ревел сильнее и пронзительнее, окна дрожали, в комнате было очень холодно, незнакомка куталась в свою шаль, но это не помогало; я, несмотря на то, что мало думал о тепле или холоде, начал вздрагивать; мне пришло в голову развести огонь на очаге, который выступал в нашу комнату; я сообщил свое намерение путешественнице, и она охотно согласилась со мною, что огонь в эту пору и в такую погоду очень кстати. Я вышел в комнату хозяйки, разбудил ее, объявил свое желание и после некоторых противоречий, что там никогда не разводят огня и проч., я велел мальчику, там спавшему, положить дров, открыть трубу и затопить. Все это было устроено, и в пять минут мы сидели с незнакомкой у небольшого огонька.

Здесь рассказал я в свою очередь, почему ночую на станции: описывал бурю, дождь, холод, выгоды теплой комнаты и, очень естественно, кончил советом не ехать в такую дурную погоду; я думаю, продолжал я, что Анисья Матвеевна говорила правду, советуя вам оставаться здесь ночевать.

— Она очень убедительно говорит, но я этого не могу сделать. По последнему письму, полученному от матушки, и по почерку руки я заключила, что она нездорова, и потому дорожу каждою минутой.

— В таком случае отдаю полную справедливость вашему желанию и отступаю от совета; но не менее того, кажется, я говорю справедливо: что плохой огонь в камине приятнее хорошего дождя в дороге.

— Не совсем, особенно при обстоятельствах, сопровождающих мою остановку. Это завывание ветра неприятно в самом деле: послушайте, как страшно гудит в этой трубе; в дороге слышишь только крапанье дождя в крышу кареты. При том же близость этих башен пробуждает какую-то тоску; я проезжала несколько раз Шлиссельбург, и никогда мне не приходило в голову слышанное прежде, что в этом замке есть много несчастных, томящихся в заключении, но теперь... — она оглянулась на окно и, как будто боясь, чтобы ее кто-нибудь не подслушал, отодвинула стул свой. Это движение, удалив ее от окна, приблизило ко мне; она продолжала вполголоса: — теперь я чувствую это соседство. Ваш листок, ваш Стерн вдруг развернули во мне воспоминание. Мне стало грустно, мне стало страшно! Здесь все располагает к каким-то грустным впечатлениям!.. Вы ничего не слыхали? — вдруг спросила меня, оторопев, незнакомка.

Мне показалось самому, что посреди рева стихий какой-то писклывый, жалобный голос простонал вблизи нас. Я прислушивался, но не слышал более ничего, кроме монотонного храпенья хозяев, заглушаемого стуком кровли и барабанным боем дождя в окошки. «Это ветер, — сказал я, — переменяет свои аккорды в трубе и щелях!».

— Станется, а может быть это дух какого-нибудь страдальца, — сказала шутливо незнакомка, стараясь ободриться от своего страха, — здешние ужасы действительнее Радклиффовских.

— Вы конечно боитесь духов и привидений, — спросил я в том же тоне.

— Не умею вам отвечать на это; мне никогда не случалось испытать своей отважности, но я чрезвычайно люблю страшные повести, рассказы, даже сказки о домовых, и в это время чувствую какой-то страх, который не менее того мне приятен. Я не верю этим вещам по рассудку, но, получив с детских лет наклонность к чудесному от моих тетушек и нянюшек, неохотно расстаюсь с верою моего воображения, которое часто заставляет забывать невозможность призраков и тому подобного. Вы, господа мужчины, по большей части не имеете предрассудков и не верите привидениям: но зато вы лишаете себя большого наслаждения при рассказах, которые иногда так приятно волнуют нашу душу!

— Мужчины гораздо больше имеют способов и случаев поверять свои впечатления и чувствования. Особенно военная служба приучает нас ко всем действительным и воображаемым ужасам. Со всем тем, я знавал людей, достойных уважения по уму, храбрости и благоразумию, которые втайне жертвовали многим предрассудкам и вере в чудесное. Что касается собственно для меня, отец мой в малолетстве приучал меня ничего не бояться; сверх того, я тринадцати лет пошел в море и, следственно, должен был бросить все страхи, которые могли оставаться от детского возраста. В зрелых летах я имел случаи испытать, как неосновательны бывали слухи о чудесном, как они растут, переходя из рук в руки, и даже недавно обязанность по службе заставила меня выгонять домового из одного дома в том городе, где я жил.

— Выгонять домового по службе? — это очень странно, это очень любопытно. Если б я не боялась быть нескромною — впрочем первый шаг к этому сделан, чтобы вы считали меня

такою, — сказала она, краснея и улыбаясь, — я бы просила вас рассказать, как это случилось?

— Точно по службе, сударыня, и я охотно расскажу вам это, но только думаю, что рассказ человека, который сам не верит домовым, не доставит вам удовольствия. Вы любите впечатления чудесного: это впечатление может быть передано только тем, кто сам их ощущает. Мой рассказ будет прост.

— Нужды нет, лишь бы в происшествии было б что-нибудь неспроста.

Я положил в огонь дров, снял со свечи и шутя заметил незнакомке, что в самом деле наше положение, час ночи и все окружающие обстоятельства очень благоприятствовали страшным рассказам. Время от времени весь дом будто трясся от порывов ветра, иногда, напротив, несколько секунд слышны были даже удары маятника в деревянных часах, висевших на стене; потом буря ревела вновь и снова раздавался храп пьяного смотрителя и тучной его половины. Затем я начал:

«В 1819 году, в Кронштадте, где я служил, разнеслись слухи, будто в квартире одного купца домовой начал беспокоить постояльцев. Сперва узнали об этом соседи, потом начали многие толковать о проказах домового; наконец, весь город был на ногах, и квартира купца оказалась сборным местом любопытного и праздного народа, который божился, что видел — то, слышал — другое и что домовой действительно завладел жилищем бедного купца. Всего страннее было, что этот домовой не походил на других: он делал все каверзы днем и показывал свои фокусы пред всею публикою, которая сбегалась с любопытством и разбегалась с ужасом и рассказами во все концы города о страшном духе и его шалостях. Квартира эта была в доме народного училища, где верхний этаж был занят школою; а внизу в одной половине жил учитель, другую занимал несчастный купец с своим семейством. Учитель как ближайший сосед и как человек просвещенный всех скорее и всех вернее мог исследовать причину несчастия

купеческой квартиры и, вследствие собственного очевидного удостоверения, отрапортовал в Петербург в Департамент народного просвещения, что на сих днях во вверенном ему доме училища завелся домовой, которого хотя он лично не видал, но шалости его так явны и беспокойны, что он решился, из опасения последствий, довести это до сведения высшего начальства и просить о помощи и покровительстве.

«Пока рапорт ходил в Петербург, суматоха в доме увеличивалась. Сперва этот домовой, как и всякий другой из его собратий, довольствовался тем, что ночью сдергивал со всех одеяла или прятал платье хозяйки, щипал за нос и за бороду хозяина, сек розгами сына — лет одиннадцати мальчика, и щекотал служанку — лет четырнадцати девочку, заставляя ее хохотать благим матом, и после пропадал с петухами; но это было вначале; потом ночь за ночью проказы его увеличивались, наконец, самый дневной свет и все петухи, которых у купчика было до десятка, не могли прогнать его. Он кидал из-за темной перегородки поленьями, стучал в окошки, прижимал в дверях любопытных посетителей; сбивал с них шапки, насыпал песку в рукавицы. Иногда взорам изумленных прохожих представлялись чудесные явления: вдруг квашня, стоявшая на прилавке, начинала прыгать, качаться и со стуком падала на пол, и когда пугливые зрители отскакивали прочь от расплывшегося теста, у одного кафтан был прибит гвоздем к двери, у другого носовой платок, выскочив из кармана, вздирался по стене до потолка, будто живой. В другое время заслонка в русской печи дрожала, как в лихорадке, и под музыку ее дрожанья горшок с кашею сам выдвигался из печи, каша высовывалась из горшка, а за нею вываливалось множество ложек. Такое страшное зрелище поражало ужасом всех присутствующих; все бросались вон, а домовой, как сказывали они после, провожал их камнями, песком, а что всего хуже: обморачивал так, что они никогда не могли попасть в настоящую дверь с первого раза, а если и попадали, то она захлопывалась сама собою и непременно придавливала беглеца.

«Такие происшествия и толки народа дошли до полиции. Пристав той части отправился сам свидетельствовать с своею командою навожденный дом. Несколько человек смелых посетителей, которых не мог еще выгнать домовой и которые при всем страхе дожидались каких-нибудь новых ужасов, испугались полиции более, нежели духа, и убежали. Двери заперли, поставили часовых; в доме осталась одна хозяйка с семейством и частный с городским унтер-офицером. Частный важно сел в кресло и начал расспрашивать хозяйку.

— Расскажи мне, любезная, — сказал он суровым голо сом, — что за проказы делаются у тебя в доме?

«Хозяйка стояла перед ним, утирая передником заплаканные глаза: — „не знаю, батюшка, за что бог послал такое наказание нашему дому. Вот уже третьи сутки и днем не стало нам покоя: с утра до вечера плачу и не знаю, как пособить горю. Муж стал со страху пить пуще прежнего, ребятишки голодны от того, что с этим навождением — буди с нами крестная сила! — нельзя ни спечь, ни сварить. Добрые люди видят наше несчастье; чудеса да и только! Ты прибираешь з д е с ь, а нечистый — господи прости мое согрешение — работает посвоему т а м; — ты пойдешь т у д а, а он очутится з д е с ь. Видимо делает, а видом — не видать; ужас берет до чего-нибудь дотронуться: во всем его проклятая сила... Мати божия!..“. Хозяйка остановилась и закрыла глаза передником, дрожа от страха, потому что в эту минуту, под самым потолком, над головою частного, послышалось шорканье кофейной мельницы. Пристав взглянул наверх и в ту же минуту закрыл также глаза: оттуда сыпался молотый кофе; шорканье перестало.

«Хозяйка выглядывала из-за передника, городовой неподвижно стоял у дверей, частный, побледнев, верно с досады, бросился на другой стул.

— Где же у тебя более всего беспокойно? — спросил он с приметным движением.

— Сказать не могу, батюшка; из всего дома гонит, но больше в двух комнатах: вот за этой перегородкой и там, в темной кухне.

— Надобно осмотреть это, Лоботрясов, — сказал частный городовому.

— Во власти вашей, — отвечал тот, — извольте осматривать.

«Пристав хотел подняться со стула; хозяйка начала рассказывать разные подробности о проказах домового. Надобно было выслушать все обстоятельно, и всякий раз, когда частный пристав хотел вставать, являлись новые случаи страшнее первых и частный опять садился. Видно было, что желание исправности в исполнении долга боролось с желанием узнать все подробности дела. Хозяйка старалась всячески удовлетворить последнему и рассказывала истории одна другой ужаснее; время проходило, частный уже потерял охоту вставать; наконец, городовой раскрыл свой безмолвный рот — ,,надобно осмотреть, ваше благородие‘‘, — сказал он.

— Осмотри, Лоботрясов.

— Да что же я без вашего благородия сделаю? пожалуйте и вы; наше дело подвластное, мы не можем без командира.

— Да я должен выслушать от хозяйки еще кое-что, ведь это все к делу.

— Пора с рапортом, ваше благородие.

«Частный встал нерешительно, велел Лоботрясову итти вперед; правая его рука что-то шевелилась за пазухою под мундиром; хозяйка сзади крестилась.

«Дверь в роковую кухню была отворена, городовой вошел довольно смело, обернулся на все стороны. ,,Ничего нет, ваше благородие‘‘, — сказал он, выходя проворно из другой двери; частный вошел — и вдруг двери за ним запахнулись, слышно было, как он пыхтел, и чрез несколько секунд он выскочил из противоположных дверей весь обсыпанный мукою; маленький рогожный кулек висел у него сзади на пуговке, как ключ у камергера.

— Пойдем с рапортом, Лоботрясов, — вскрикнул частный и выбежал на улицу, но он неверно рассчитывал на свои силы: дошедши до дому, он сделался очень болен и должен был послать письменный рапорт к полицииймейстеру с городовым.

«Итак, домовой продолжал свои шутки, слухи о том дошли до высших сословий общества; много порядочных людей шли осматривать навожденный дом. Инженерный полковник был из числа любопытных; с ним случилось едва ли не хуже, чем с приставом: домовой загонял его в темной кухне, и когда на жалобные стоны некоторые решительные люди осмелились посмотреть, что с ним сделалось, то увидели его на столе в углу: он держался или, лучше сказать, повис рукою на гвозде, вбитом в стену для маленького медного образа; одна нога была поднята, с другой стащена ботфорта до половины, обе шпоры были потеряны. Его насилу могли отцепить — так замерла рука, — и это был новый, обращенный в бесовскую веру».

В эту минуту раздался громкий звук в другой комнате; незнакомка, слушавшая меня со вниманием, вздрогнула: «что это?» — спросила она с беспокойством.

Я встал, заглянул в двери и отвечал: «это хозяйка уронила с ноги туфель, сколько я могу рассмотреть при нагоревшей свече. Она спит, нераздетая, на своей кровати». За этими словами последовал такой сильный порыв ветра, что весь дом затрясся; в то же время послышался опять глухой, жалобный и тонкий голос.

Незнакомка побледнела — глаза ее безмолвно спрашивали меня.

— Это ветер, это дух бури воет в трубе, — сказал я, смеючись, и сел, поправляя огонь.

— Мы часто в море, — продолжал я, — слышим музыку страшнее этой; снасти мачт в бурю представляют настоящую эолову арфу, рев ветра в толстые канаты и свист его в тонкие веревочки составляют совершенную гармонию со скрипом корабля и шумом волн.

— В самом деле, я думаю, что это ветер, — отвечала она, оправляясь; — прошу вас — продолжайте вашу историю.

«Итак, домовой занимал весь город; одни рассказывали его чудеса, другие этому смеялись. В это время военный губер-

натор, вследствие учительского рапорта, о котором у нас никто и не знал, вдруг получил из Петербурга отношение, где спрашивалось, — что такое сделалось с домом и какой домовой овладел им? Полицийместер был болен, один частный захворал, как я уже сказал, другой был в отлучке, а низшие чиновники решительно объявили, что они скорее оставят службу, чем будут принимать какие-нибудь меры против домового.

«Губернатор прежде смеялся этой истории, но когда получил отношение, надобно было узнать обо всем подробнее. Мне случилось в то время быть при нем. Он позвал меня. Инженерный полковник и несколько полицейских офицеров были у него и с клятвою уверяли о достоверности случая; полковник рассказывал про свое несчастие.

«Губернатор спросил меня, смеючись, не боюсь ли я чертей, и на мое отрицание велел мне выгнать из дому домового.

«Я отправился осмотреть хорошенько дом и, когда пришел в купеческую квартиру, нашел там несколько посторонних и священника с причетом, которого хозяин решился позвать, как последнее средство для изгнания нечистой силы.

«Священник сидел, разговаривая о том; хозяйка перечисляла ему все обстоятельства, все случаи, прихожие подтверждали собственным свидетельством; дьячок зажег лампаду перед образом, налил воды в тарелку для окропления, поставил свечи; наложили углей в кадило, повешенное на гвозде подле стола, — я замечал кругом.

«Наконец священник приступил к служению молебна и начал словами: ,,Благослови, боже, нас всегда ныне и присно и во веки веков'', но только он это выговорил, пламя в лампаде высоко поднялось и угасло с треском; священник остановился, приметно смешался, но велел зажечь ее снова и продолжал службу. Когда же между пения он произнес окончание молитвы ,,превеликое имя твое, спасе, на небеси одесную отца седящу ти почитается, на земле же неизреченное твое воплощение ставится; во аде же сошествие бесы устрашает; от них же и нас

избави христе боже и спаси нас“, дьячок в эту минуту, раздув угли, подал ему кадило, и только священник взял его в руки — вдруг оно вспыхнуло, будто порох, угли выбросило вон; на тарелку с водою посыпался песок, несколько поленьев полетело из-за перегородки в предстоящих — священник отскочил от ужаса»...

Вдруг из трубы нашего очага посыпался на огонь также песок; мы встали — я смотрел вверх... пронзительный визг раздался— и вдруг с шорохом и шумом что-то покатилось по трубе, упало на огонь и засыпало его; облако пыли и золы покрыло нас, угли разлетелись по комнате... незнакомка вскрикнула и упала без чувств мне на грудь...

В первую минуту я не знал, что думать о случившемся, но через несколько мгновений увидел посреди кирпичей и соломы, в дыме курящихся головешек, стоящего аиста, чье гнездо я видел на трубе при въезде в Шлиссельбург. Анисья Матвеевна спросонья крестилась обеими руками, сидя в страхе на софе. Хозяйка прибежала, остановилась в дверях, раскрыв рот и размахнувши руками от удивления и ужаса. Я держал бесчувственную незнакомку в руках.

Сердце мое билось, сильно билось! — я потерялся совершенно; вместо того, чтобы отнести незнакомку на кровать, сам не знаю, каким образом сел на стул и легонько опустил ее на колени. Голова ее лежала на моей груди, в которую какой-то электрический ток лился жгучими струями; я вдыхал в себя благовоние ее волос; чувства мои разделялись между состраданием и удовольствием... О, как милы трусливые женщины!

Я тер виски, легонько колотил по ладоням незнакомки, и прежде нежели хозяйка и Анисья Матвеевна опомнились — она пришла в себя.

Бледность обморока уступила место живой краске, когда она увидела свое положение и стоящих около нее женщин; я помог ей, когда она сделала движение встать; но в ту же минуту должен был посадить снова на стул. Глаза ее обратились

на причину испуга, и она со страхом увидела огромную птицу, которая величественно посреди очага глядела с изумлением на около стоящих. Я объяснил ей, что гнездо, свитое над трубою, не могло выдержать силы ветра и дождя и что бедная птица, обеспокоенная сверху бурею, снизу жаром и дымом, провалилась к нам сквозь широкую трубу.

Анисья Матвеевна начала ахать и рассказывать, что о н а г о в о р и л а; хозяйка, ворча, хотела взять несчастного аиста и выбросить на улицу — но незнакомка заступилась: «пусть он останется с нами, — сказала она, — если несчастье заставило его искать нашего покровительства».

Мало-помалу все пришло в старый порядок; Анисья Матвеевна дремала и бормотала, хозяйка ушла. Аист улегся на развалинах своего гнезда, мы с незнакомкою сидели подле стола молча; она не могла еще собрать рассеянных своих сил, я не хотел расстаться с приятным впечатлением.

— Ваш рассказ расположил меня к этому испугу, — сказала незнакомка нетвердым голосом, но стараясь победить свое замешательство.

— Я вполне виноват, сударыня, хотя, впрочем, нарочно так рассказывал, чтобы вы видели более смешную, нежели страшную сторону происшествия.

— Мое воображение забегает вперед вашего описания и видит только одни страхи. Но простите моему любопытству: чем же кончилось это происшествие?

Видно было, что незнакомка желала этого только для того, чтобы скрыть свое смущение, я, с своей стороны, потрясенный во всем составе, не в состоянии был рассказывать сколько-нибудь занимательно. Если незнакомка сделала на меня приятное впечатление до испуга, то этот аист расстроил меня совершенно. Даже и теперь я не могу думать об этом без душевного волнения. Я всегда был неловок с женщинами, а в то время все мои покушения поправиться оставались бесполезными. Я продолжал рассказ, сбивался и в коротких словах передал конец истории почти так:

«Священник не мог дослужить молебна и ушел в замешательстве. Я замечал все явления и ежели не совсем, то отчасти догадался о причине. Мне казалось, домовой — сама хозяйка, но как она отвечала только слезами на мои вопросы, то я захотел употребить к тому некоторое принуждение, я объявил хозяевам о приказании, мне данном, и вследствие того расположился у них в тесной квартире с десятью человеками матросов, будто бы для наблюдения за проказами нечистого. Между тем запретил людям своим всякую обиду хозяевам; я велел им курить как можно более табаку, петь песни, пить вино и делать как можно более шуму. Завладев таким образом квартирою, я объявил хозяйке, что не выйду из дома до тех пор, пока не выживу домового. Военный народ, особенно если дашь ему свободу, едва ли не беспокойнее всякого демона, а потому через ночь, проведенную нами в мире и тишине с домовым, в тесноте, шуме и песнях с домашними, хозяйка пришла просить меня, чтоб я оставил ее в покое, и что, как ей кажется, шутки домового прекращаются. Я повторил приказание, данное мне начальством, — не оставлять до тех пор ее квартиры, пока не узнаю лично домового, и потому хозяйке оставался выбор или терпеть шум и толкотню от матросов, или признаться в своей комедии, и потому она, при помощи нескольких вопросов и убеждений с моей стороны, решилась на последнее и рассказала мне вот что:

«Муж ее, довольно достаточный купец, выстроил себе новый дом, но по скупости, вместо того, чтобы спокойно жить в нем, оставался в тесной и сырой наемной квартире; сверх того, в нем увеличивалась охота к пьянству и бражничанью с подобными ему гуляками. Сколько хозяйка ни убеждала его перейти в новый дом и перестать пьянствовать, он не слушался и не унимался; тогда пришла ей мысль выжить его из квартиры и попугать выдумкою домового. Несколько опытов было сделано: суеверный и напуганный купец объявил об этом всему гостинному двору, повторение жалоб его привело любопытных, и наконец хозяйке уже надобно было разыгрывать

публично комедию, сочиненную для домашнего представления. Она показала мне все приборы, ею придуманные: они состояли в веревочках с крючками, продетых неприметно в разных местах двух темных комнат: кухни и отделения за перегородкою, откуда с высокого шкафа, промежду резных фигур переборки, помощники ее, сын и девочка служанка, сыпали кофе, порох, песок, бросали поленья и прочее. Все это было очень не замысловато; всего мудренее для меня казалось искусство, с каким двое детей помогали хитрой женщине, с каким притворством играли они роли свои и, наконец, легковерие людей, позволявших себя обманывать грубыми и простыми средствами, которые приметны были при малейшем внимании.[1]

«Казалось в этом случае, что люди, приготовленные верою к чудесному, не хотели нарочно примечать обмана и желали видеть только то, что им нравилось. Даже когда я рассказывал полковнику и частному приставу, каким образом их легковерие было обмануто,— они качали головою и, не могши спорить против очевидности, но все еще не расставались со своим убеждением и поговаривали после между собою, что я или хвастал, или сделал это неспроста».

Я рассказывал это очень неловко: повторял, забывал, в голове у меня вертелось совсем другое: мне все казалось, что душистые локоны незнакомки касаются моих губ, — и слова замирали на губах; что голова ее лежит на моей груди,— и дух у меня занимался; когда же она устремляла на меня из-под длинных ресниц свой задумчивый взор — я совсем терялся...

Мне казалось, что незнакомке было неловче моего, может быть от той же причины, но что приносило удовольствие мне, то могло напомнить ей неприятное положение. Наш разговор был перерывчив и несвязен, учтивость с обеих сторон удвоилась, но не менее того я чувствовал, что эта учтивость не отзывалась холодностью и, напротив, имела с ее стороны что-то обязательное.

Таким образом прошло около получаса; мы мало-помалу начали было нападать на прежнюю дорогу, вдруг старый слуга незнакомки явился в дверях с докладом, что карета готова.

Боже мой! — вскрикнул я с невольною живостью. Незнакомка покраснела, потупила глаза, взяла свою шляпу, медленно надела перчатки и пошла будить спящую компаньонку. Я хотел говорить, вертел несколько фраз о том, с каким удовольствием провел это время, как оно пролетело и проч., и ничего не мог выговорить, одним словом, сцена происходила молча, я велел смотрителю запрягать моих лошадей.

Наконец, все было готово. Незнакомка видела мое замешательство и сказала мне тихим голосом:

— Благодарю вас за приятно проведенное время, за ваш рассказ. Извините, что я два раза потревожила вас и моим любопытством и моим глупым страхом.

Я комкал свою фуражку, не знал, что говорить, но помнится, будто с жаром сказал, что охотно отдал бы жизнь за эти беспокойства. Бывают со всяким человеком глупые минуты, но не думаю, чтобы кто-нибудь в эти минуты мог быть столько глуп и неловок, как я! Я не подал ни салопа незнакомке, ни отстранился от Анисьи Матвеевны, которая, по своему обычаю, г о в о р и л а и суетилась; я стоял, как вкопанный, и потом, вспомнив, что учтивость требует проводить незнакомку до кареты, бросился, как безумный, толкнул снова компаньонку и очутился опять пред незнакомкою, которая, дошед до порога, остановилась как бы в нерешимости, потом оборотилась ко мне и сказала:

— Когда возвратитесь в Петербург, мне приятно будет увидеть вас у себя, в дороге знакомство скоро делается, не правда ли, что мы уже знакомы? — продолжала она, сняв перчатку и подавая мне руку с улыбкой.

— Мне недоставало только видеть вас, чтобы познакомиться, — отвечал я, — есть люди, которых образ давно зна-

ком нашей душе и воображению. — Я не смел сказать сердцу, хотя бы сказал справедливее.

— Итак, вот мое имя, — сказала она, вынимая из редикюля письмо, с которого, сняв обертку, подала мне.

Сказав это, она спорхнула, как птичка, с крыльца и влетела в карету; ее рука едва касалась моей, когда я помогал ей садиться; я подсадил также увесистую Анисью Матвеевну, которая бухнула подле нее, крестясь и проклиная дорогу, — и карета покатилась.

Ветер продувал, дождь лился на меня рекой, я стоял на крыльце, как будто мое тело потеряло способность двигаться без души, полетевшей за каретою.

Через четверть часа уехал и я.

В этот раз ни буря, ни дорога, ни толчки не могли остановить моего воображения.

Итак, вот женщина, которая впервые сделала на тебя такое впечатление! Вот осуществление идеала, созданного твоим воображением; того ли ты хотел? Да.

Итак, я поеду к ней — буду стараться заслужить взаимность, любовь, и если она даст мне руку, какое счастье! — как я обрадую матушку!..

Так мечтал я, забывая все на свете, — и действительно, я заранее был счастлив. Но вдруг мысль о превратностях судьбы, ожидающих меня в будущем, опрокинула все мои воздушные замки.

Рассудок говорил против, — вероломное сердце твердило за себя. Наконец рассудок восторжествовал: «я не поеду к ней — я не хочу ее сделать несчастною». Это было последнее мое решение — и я сдержал его!..

По возвращении в Петербург борьба с самим собою мне становилась тяжеле и тяжеле. Мать моя не переставала убеждать меня. Случай привел меня часто встречаться с милою путешественницею; в первый раз она сделала мне выговор, в последующие ни о чем более не упоминалось; но иногда я подстерегал какое-то вопросительное выражение ее глаз;

это меня мучило — я любил ее, — что она должна была обо мне думать? Кто мог ей объяснить загадку моего поведения?..

Матушка моя осталась при своем желании, а я остался одиноким в этом мире!



ПРИЛОЖЕНИЯ



ОТ РЕДАКЦИИ

Цикл произведений, составляющих в своей совокупности мемуары братьев Бестужевых, имеет длительную и своеобразную историю, весьма отличную от истории создания и появления в печати воспоминаний других декабристов. В конце пятидесятых годов, после амнистии декабристов, когда в какой-то мере стало возможным говорить о них в печати, историк М. И. Семевский заинтересовался биографиями Александра и Николая Бестужевых и приступил к собиранию материалов о них. При содействии одного из друзей А. Бестужева-Марлинского, А. Н. Креницына, ему удалось познакомиться с давним другом семьи Бестужевых, профессором-архитектором И. И. Свиязевым, и благодаря последнему установить знакомство (сначала письменное) с сестрой декабристов, Е. А. Бестужевой, а затем и с жившим в Селенгинске М. А. Бестужевым. Бестужевы охотно предоставили в распоряжение Семевского свои семейные архивы, и, кроме того, М. Бестужев присылал ему обширные письменные ответы на разнообразные вопросы последнего. В декабрьской книжке журнала «Русское слово» за 1860 г. появился очерк М. А. Бестужева «Детство и юность А. Бестужева (Марлинского)» и вскоре в газете «Век» (от 29 марта 1861 г., № 13) — выдержка из письма Бестужева к Семевскому о городе Селенгинске. С этих статей и началась фактическая публикация воспоминаний Бестужевых, продолжавшаяся почти всю вторую половину XIX в. и завершившаяся лишь в советское время.

Но обе эти публикации были лишь напоминанием об именах декабристов и совершенно не касались самих событий 14 декабря. Поэтому исключительной сенсацией было появление в том же 1861 г. в лондонской «Полярной звезде» (т. VI) Герцена «Воспоминания о Рылееве» Н. Бестужева. «Воспоминание» было напечатано первоначально не в полном виде и оканчивалось рассказом о последнем перед арестом прощании с Рылеевым. Герцен сопроводил печатание следующим примечанием: «На этом месте обрывается этот рассказ. Говорят, что он потерян, это — страшное несчастье. Нет ли у кого другого списка? Мы просим его прислать: это единственное святое наследство, которое наши отцы завещали нам; всякая строчка дорога нам». Окончание вскоре отыскалось и было помещено Герценом во втором выпуске VII тома «Полярной звезды» (1862). В том же выпуске был опубликован и отрывок воспоминаний М. Бестужева под заглавием: «Из записок, приписываемых М. А. Бестужеву». Сюда вошел отрывок, начинавшийся рассказом о картечи, решившей судьбу восстания («Когда Незабвенный увидел бесполезность...» и т. д.), и кончавшийся картиной виселиц, на которых «в судорогах смерти покачивались злополучные жертвы тирана». Каким путем попал к Герцену первый отрывок воспоминаний Н. Бестужева, до сих пор не установлено, но совершенно бесспорно, что источником второй публикации был Семевский, ибо опубликованный у Герцена отрывок воспоминаний М. Бестужева составлял часть «ответов», которые он писал для Семевского, находившихся в исключительном распоряжении последнего. Появление воспоминаний Бестужевых за границей и создавшийся революционный ореол вокруг имен Н. и М. Бестужевых сделали невозможным упоминание о них в легальной печати, и в течение десятилетия ни один из «ответов» М. Бестужева не был опубликован. Только в 1870 г. Семевский в организованном им в этом году журнале «Русская старина» опубликовал (в 4, 6 и 8 книжках) ряд глав-ответов М. Бестужева: «Азбука», «Братья Бестужевы» и несколько глав, повествую-

щих о пребывании в Шлиссельбурге, переезде в Сибирь, пребывании в Чите и Петровском Заводе. А в 1872 г. издатель другого исторического журнала «Русский архив» Петр Бартенев перепечатал (в неполном виде) на страницах своего сборника «XIX век» «Воспоминание о Рылееве» (под заглавием: «К. Ф. Рылеев». Из записок Н. А. Бестужева), сделав, таким образом, мемуары Н. Бестужева достоянием легальной печати.

Чтобы обезопасить себя и автора от цензурных репрессий, Семевский очень искажал текст, тщательно приглушая его революционное звучание и часто придавая «Запискам» М. Бестужева совершенно не свойственные им черты. Однако все это помогло лишь отчасти и некоторые главы «Записок» М. Бестужева так и не смогли появиться в легальной печати. С произвольными изменениями и сокращениями был перепечатан и текст Н. Бестужева у Бартенева. В 1881 г. Семевский вновь вернулся к «Запискам» М. Бестужева, опубликовав в XI книжке «Русской старины» еще ряд глав и серию мелких ответов, исчерпав тем самым почти целиком имеющийся у него фонд ответов и рассказов М. Бестужева. Этой публикацией завершилось печатание «Воспоминаний» Бестужевых в XIX в.

Но каким-то образом из общего состава рукописей Бестужевых, хранившихся у Семевского, часть оторвалась и оказалась в собрании Дашкова (позже находилась в течение некоторого времени в Ленинградском музее революции). Рукописями дашковского собрания имели возможность пользоваться историки Шиман и Шильдер, а позже Щеголев. В книге Шимана и увидел свет впервые (в подлиннике и немецком переводе) один из важнейших рассказов М. Бестужева: «14 декабря 1825 г.». Из крупных приобретений Бестужевского текста следует указать лишь новую публикацию «Воспоминания о Рылееве» («Ист. вестн.», 1904, IV), выполненную А. Григоровичем по сохранившейся в б. Военно-ученом архиве копии подлинной рукописи, и публикацию П. Е. Щеголева по автографу (из собрания Дашкова) рассказа М. Бестужева о происхождении песни «Что ни ветр шумит»

(«Былое», 1907, VIII). Кроме того, П. Е. Щеголевым, по тому же источнику, была опубликована в № 21 «Откликов» (приложение к газете «День», № 144, от 30 мая 1914 г.) глава из «Записок» М. Бестужева о братьях Борисовых.

Все эти разрозненные публикации были объединены в 1917 г. П. Е. Щеголевым в издании «Огни» (под заглавием «Воспоминания братьев Бестужевых»); в это издание вошло все, что было опубликовано до сих пор Герценом, Семевским и Шиманом, и, кроме того, оно было пополнено находившимися в собрании Дашкова несколькими новыми незначительными ответами, относящимися к главе «Жизнь в Селенгинске», и большой главой «Штейнгейль и Одоевский». Текст «Воспоминания о Рылееве» был проверен по автографу (из собрания П. Дашкова). В дополнение к текстам воспоминаний М. и Н. Бестужевых П. Е. Щеголев включил еще воспоминание А. Бестужева-Марлинского о его знакомстве с Грибоедовым, впервые напечатанное М. Семевским в октябрьской книжке «Отечественных записок» за 1860 г. Таким образом, только в 1917 г. сложился окончательный корпус «Воспоминаний» братьев Бестужевых.

Но издание П. Е. Щеголева оказалось вынужденно неполным, в первую очередь из-за жестокой военной цензуры 1916 г., заставившей его сделать ряд существенных сокращений в тексте. Кроме того, редактору остался неизвестным или недоступным архив М. Семевского, хранившийся в редакции «Русской старины»; немало было, наконец, в этом издании и ошибок текстологического характера, происшедших, главным образом, вследствие ошибок в списках, которыми пользовался редактор. Незнакомство же с подлинными рукописными текстами, хранившимися в архиве Семевского, привело, неизбежно, к воспроизведению многих искажений, имевших место в публикациях «Русской старины», а также и многих опечаток первых публикаций.

Следующее издание, выпущенное Обществом политкаторжан («Воспоминания братьев Бестужевых», 1931), уже было всецело основано на рукописных фондах Семевского (храня-

щихся в Институте русской литературы Академии Наук) и Дашкова (находившихся в Музее революции); в нем был исправлен ряд ошибок предыдущих изданий, устранены цензурные пробелы и, кроме того, оно было дополнено рядом текстов из архива Семевского: «Дневник Путешествия из Читы в Петровский Завод», «Примечания» к биографическому очерку М. Семевского и несколько мелких ответов из серии «Заметок об отце, учителях и друзьях». Крупным приобретением нового издания явилась публикация «Памятных записок» Петра Бестужева, из которых лишь небольшой отрывок о Грибоедове был напечатан Г. В. Прохоровым в 1925 г. на страницах «Вечерней красной газеты». В качестве дополнений были включены записи бесед М. Семевского с М. А. и Е. А. Бестужевыми.

Однако издание 1931 г. не разрешило полностью многих вопросов, связанных с изданием этих замечательных памятников, повторив в этом отношении ошибки прежних изданий, в частности — осталась не решенной проблема композиции сложных по составу и происхождению «Записок» М. Бестужева. Наиболее крупной ошибкой издания 1931 г. явилось отсутствие учета хронологии ответов, вследствие чего образовалась своеобразная чресполосица, ведшая неизбежно к нарушению исторической перспективы и создававшая неправильные представления о характере повествования М. Бестужева. Оказывался затушеванным и нераскрытым и самый замысел М. Бестужева, задумавшего свои «Воспоминания» (как это явствует из некоторых его замечаний в «Ответах» и, особенно, из писем к Семевскому) в виде двух больших частей, или разделов, характер которых достаточно отчетливо обозначался их предполагаемыми заглавиями. Первую часть он озаглавливал: «Мои тюрьмы», содержание второй должны были составить воспоминания о Николае Бестужеве, образ которого стоит неизменно в центре его рассказов о жизни на поселении.

Настоящее издание опирается на тот же рукописный фонд, что и издание 1931 г., и заново проверено, что дало возможность устранить некоторые ошибки предшествующего издания.

но оно построено уже по иному композиционному принципу, основанному, прежде всего, на строгом разделении ответов разных периодов, что и дало возможность отчетливее представить основные линии незавершенного повествования М. Бестужева. В данное издание включен также цикл писем братьев Бестужевых, являющихся по своему содержанию очень важным и существенным дополнением к тексту воспоминаний; печатающиеся же впервые в полном объеме письма М. Бестужева к Семевскому позволяют проследить историю возникновения его «Записок» и вместе с тем служат важным источником (так же, как и его письма к А. Н. Баскакову) для характеристики общественных взглядов М. Бестужева в последние годы его жизни. В раздел «Дополнения» включены: воспоминание Александра Бестужева о знакомстве с Грибоедовым, отсутствовавшее в издании 1931 г. и публикуемое по подлинной рукописи из архива Семевского, его же письма к Петру Бестужеву и наиболее характерный для литературного творчества Н. Бестужева и имеющий несомненное автобиографическое значение рассказ его «Шлиссельбургская станция», напечатанный впервые (с крупными цензурными искажениями и под измененным заглавием: «Отчего я не женат!») лишь в 1860 г. и с тех пор ни разу не переиздававшийся.



М. К. АЗАДОВСКИЙ

МЕМУАРЫ БЕСТУЖЕВЫХ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАМЯТНИК

1

«Воспоминания» Н. и М. Бестужевых принадлежат к важнейшим историческим и литературным памятникам декабризма и уже давно нашли прочную оценку и безусловное признание как один из лучших источников для изучения восстания 14 декабря 1825 года. Вместе с тем они являются и замечательными памятниками декабристской художественной литературы. Их исключительное значение обусловлено рядом особенностей, резко выделяющих мемуары братьев Бестужевых из цикла других аналогичных произведений. Эти особенности следующие: во-первых, они принадлежат лицам, принимавшим непосредственное участие и в самом декабрьском выступлении и в его подготовке. Из двадцати семи авторов дошедших до нас воспоминаний только пятеро были среди находившихся на Сенатской площади 14-го декабря: это Розен, Оболенский, Беляев и два брата Бестужевых.*

* К этим именам можно было бы еще присоединить Трубецкого как принимавшего весьма активное участие в подготовке восстания, но, как известно, 14-го он не явился на площадь и в этот день среди восставших его не было; принимали участие в совещаниях у Рылеева Штейнгейль и Мих. Пущин, но на площади они также не были.

Из них Розен и Беляев являлись второстепенными членами Общества, не принимали никакого участия в руководстве движением и были мало осведомлены о путях его подготовки.

Во-вторых, воспоминания Николая Бестужева являются самыми ранними мемуарами. Все декабристские мемуары написаны уже после тюрьмы и ссылки; они создавались их авторами в старости, когда многие события уже забылись и заслонились другими впечатлениями и переживаниями. Н. Бестужев писал еще «по свежим следам», когда еще не затянулись раны и еще не появился ретроспективный взгляд на происшедшее. Воспоминания Н. Бестужева написаны не усталой рукой старого ветерана, но рукой, еще вчера державшей оружие.

В-третьих, воспоминания Н. Бестужева слагались не в одиночестве, не в тиши дарованного судьбой последнего уединения, но были единственными, которые возникли в товарищеской среде и которые подверглись предварительной критике и проверке декабристского коллектива.

В-четвертых, мемуары всех Бестужевых принадлежат перу людей с выдающимся литературным дарованием, считавших литературную деятельность одним из своих главных призваний, — и это обстоятельство наложило особый отпечаток на характер их воспоминаний, в которых строгая историческая основа воплощена в формах и стиле романтического повествования.

В-пятых, авторы этих воспоминаний были не только активнейшими участниками событий 14 декабря, но стояли в центре их, и их имя более чем какое-либо другое связывалось современниками с восстанием. Прежде чем стали известны имена Рылеева, Трубецкого, Пестеля, С. Муравьева, Каховского и других, имя Бестужевых как главных участников и зачинщиков уже разнеслось по всей столице. Еще не отгремели выстрелы на площади, еще не убрали с улиц трупы, еще не начались массовые аресты, а уже о Бестужевых передавались разнообразные рассказы и складывались легенды. Рассказывали, как один Бестужев «заперся в адмиралтействе», дру-

гой — в Сенате, а третий — в Академии художеств; «очевидцы» рассказывали, как М. Бестужев бесстрашно встретил атаку кавалерийского батальона, был изрублен в куски и брошен в Неву, как другой Бестужев захватил корабль и отстреливался от наступавшей пехоты и кавалерии, и т. д. Передавались различные легендарные подробности о бегстве и аресте Бестужевых, и уже быстро пошло по городу чье-то острое слово, что во всех беспорядках в России всегда были замешаны Бестужевы.* Эту выдающуюся роль братьев Бестужевых в восстании отмечали и сами декабристы. «Следовало только арестовать Рылеева, Бестужевых, Оболенского и еще двух или трех декабристов, и не было бы 14 декабря», — писал позже Розен.**

В-шестых, воспоминания М. и Н. Бестужевых имеют исключительную ценность и значение потому, что их авторов уже давно принято считать типичнейшими представителями декабризма, и с этим связана последняя — седьмая — особенность этих мемуаров, которую в свое время отметил и подчеркнул редактор первого полного издания этих «Воспоминаний», П. Е. Щеголев. «Они производят впечатление, — писал он о рассказах Михаила Бестужева, — своим удивительным колоритом»... «Читая их, просто не веришь, что их писал человек за шестьдесят лет, человек, отбывший и заключение в крепости, и каторгу, и ссылку. Кажется, наоборот, что все это записывалось на другой день после свершения».*** И в этом отношении из всех декабристских мемуаров с ними рядом могут быть поставлены лишь мемуары Горбачевского и, отчасти, Якушкина. Они не только ярко воспроизвели и донесли до нас историческую обстановку своего времени, но сохранили свежесть переживаний, свежесть настроений, с которыми вступали их

---

* Сб. «Памяти декабристов», Л., 1926, т. I, стр. 242.

** А. Е. Розен. Записки декабриста. СПб., 1907, стр. 62.

*** Воспоминания братьев Бестужевых. Ред. П. Е. Щеголева. Библ. мемуаров. Изд. «Огни», П., 1917, стр. VIII.

авторы в члены Тайного Общества и готовились к революционным действиям. Эту «свежесть» остро ощущали и первые читатели этих мемуаров. И друзья, и враги. Настроения последних очень резко выразил Вяземский, некогда один из талантливейших представителей оппозиционной литературы, — автор стихотворений, входящих в состав агитационной декабристской литературы, друг Пушкина и Мих. Орлова, Пущина и многих других декабристов, и ставший позже реакционером и отвратительным ренегатом. Вскоре после появления отрывков из воспоминаний Мих. Бестужева он писал (имея в виду и ранее вышедшие воспоминания: Н. Бестужева, И. Якушкина и нек. др.): «Ни в одном из них нет и тени раскаяния и сознания, что они затеяли дело безумное, не говорю уже, преступное. Как говорили о французской эмиграции первой революции, и они ничего не забыли и ничему не научились. Они увековечились и окостенели в 14 декабря. Для них и после 30 лет не наступило еще 15 декабря, в которое могли бы они отрезвиться и опомниться».* Это злобное бешенство врага особенно подчеркивает основную силу и существенную прелесть мемуаров Бестужевых. Именно в них воплощен с наибольшей полнотой «дух декабристов», как метко определил П. Е. Щеголев.**

Термин «декабрист» применялся первоначально только лишь к осужденным по делу 14 декабря 1825 г. и восстания на юге в декабре того же года; позже стали включать в это понятие всех деятелей тайных обществ 1816—1825 гг., что приводило к большим недоразумениям и неточностям, ибо среди последних было немало лиц, очень быстро перешедших в лагерь реакции и ставших активнейшими врагами революционного движения. Советская наука установила более глубокое понимание этого термина, равно как и термина «декабризм». Эти понятия получили более широкий смысл и значение. Под поня-

* Письмо князя П. А. Вяземского к П. И. Бартеневу. Летописи Гос. Литерат. музея. Кн. третья. Декабристы. Ред. Н. П. Чулкова. М., 1938, стр. 497.

** П. Е. Щеголев, назв. изд., стр. IX.

тием «декабризм» разумеется идейное течение, носителем которого являлась революционно настроенная дворянская интеллигенция первых десятилетий XIX в., сформировавшаяся в годы, непосредственно следующие за Отечественной войной 1812 г.

Но сами декабристы были склонны ограничивать и суживать объем этого слова («декабрист») и применяли его, главным образом, к тем, кто был непосредственным участником декабрьских событий. Мих. Бестужев, перечисляя М. И. Семевскому лиц, кому следует послать составленную последним и только что отпечатанную биографию Н. Бестужева, наряду с именами П. Н. Свистунова и М. И. Муравьева-Апостола, называет А. П. Беляева и А. Е. Розена, прибавляя о последних: «Они заслуживают Вашего внимания, как два лица из оставшегося триумвирата настоящих декабристов, бывших на площади». Таким образом, даже Матвею Муравьеву-Апостолу М. Бестужев отказывает в праве на звание «настоящего декабриста». Третий член триумвирата, конечно, он сам.

Так же понимал слово «декабрист» и И. Д. Якушкин. Якушкина с полным основанием принято считать «декабристом из декабристов»; он был, несомненно, одной из типичнейших и вместе с тем наиболее ярких фигур движения и, однако, свои воспоминания он озаглавил не «Записки декабриста», а просто: «Записки И. Д. Якушкина», считая, что не имеет права на почетное именование «декабрист», так как сам не был на площади.*

---

* Как «Записки» или «Воспоминания» *декабриста* озаглавливают свои мемуары лишь Беляев, Розен и Завалишин. Первые двое имели на это безусловное право, — заглавие же Завалишина носит явно полемический и вызывающий характер: оно имеет в виду подчеркнуть свое право на это звание, в котором ему категорически отказывали его товарищи по движению, подчеркивая, что он не только не был на площади, но и не состоял членом Тайного Общества. Наконец, не следует забывать, что иногда слово «декабрист» включалось в заглавие книги по настоянию издателей. Так, например, мемуары Гангеблова в первоначальной журнальной публикации были озаглавлены просто: «Воспоминания

Понятие «настоящий декабрист», — конечно, очень условно. Декабризм — явление сложное, в котором отразились различные этапы движения и его различные оттенки и тенденции, — но все же имеется ряд черт, которые можно положить в основу определения, придав ему бо́льшую четкость и ясность. Эти черты точно указаны и формулированы В. И. Лениным в его содержащихся в разных статьях и докладах характеристиках декабристского движения и декабристов.

В кратких, но точных и четких формулировках Ленина вскрыты все наиболее существенные стороны явления и определено его принципиальное и историческое значение в истории русской культуры. Прежде всего, ясно определено историческое место декабристов в русском революционном движении. Ленин характеризует его как пе́рвое революционное движение против царизма.* В этом определении важно подчеркиваемое Лениным указание, что движение декабристов было не вообще первым революционным восстанием, но первым восстанием против самодержавной власти. Принципиальное значение этого ограничения углубляет замечание И. В. Сталина, включающее декабристов в общую цепь русских революционных восстаний от Разина и Пугачева до победоносной Пролетарской Революции включительно.**

А. С. Гангеблова», а в отдельном издании уже: «Воспоминания декабриста А. С. Гангеблова»; однако последний не только не был на площади, но и вообще принадлежал к случайным участникам движения, что он и сам подчеркнул своим подзаголовком: «Как я попал в декабристы и что за этим воспоследовало».

* «В 1825 году Россия впервые видела революционное движение против царизма, и это движение было представлено почти исключительно дворянами» (В. И. Ленин, Соч., т. 23, стр. 234 — «Доклад о революции 1905 года»).

** «... сколько было восстаний и возмущений на протяжении этих 300 лет: восстание Степана Разина, восстание Емельяна Пугачёва, восстание декабристов, революция 1905 года, революция в феврале 1917 г., Октябрьская революция» (И. В. Сталин. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом *13 декабря 1931 г.* (Соч., т. 13, стр. 110).

В этой же формуле отмечена и определена основная политическая сущность движения: его революционность, т. е. именно революционное отношение к феодально-крепостническому строю, а не реформаторство, не стремление к какому-либо мирному преобразованию. Это определение дополняется указанием на «республиканские идеи декабристов».* Одновременно Ленин устанавливает и классовую сущность декабристов, определяя их как «дворянских революционеров». В наиболее развернутом виде это понимание раскрыто Лениным в статье «Памяти Герцена»: «мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию».** В этих нескольких кратких и сжатых, имеющих вид четких тезисов, предложениях изложены все основные проблемы, связанные с пониманием и определением декабризма. Дана периодизация движения, раскрыта его классовая сущность и вытекающая из нее неизбежная узость и ограниченность мировоззрения и революционной тактики; определены и сформулированы исторические судьбы восстания декабристов и его роль в дальнейшей истории русской революции. Ленинское определение классовой сущности декабризма дает исчерпывающее объяснение и политических колебаний, наблюдавшихся в среде декабристов, и отсутствия у них единой и четкой программы действий в решении основной проблемы — крепостного права. Эта же политическая неустойчивость, неизбежно вытекающая из самого характера дворянской революционности, т. е. революционности, ограниченной рамками интеллигенции, принадлежащей к привилегированному

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 6, стр. 103. (В статье «Аграрная программа русской социал-демократии»).

** В. И. Ленин, Соч., т. 18, стр. 14.

классу, обусловила и последующее поведение декабристов: и во время судебного процесса, и в тюрьме, и на поселении; оно же обусловило и дальнейшее расслоение, приведшее одних к связи с непосредственными продолжателями их дела — новыми поколениями революционеров, а других уведшее в стан колеблющихся, примирившихся или даже прямых врагов свободы и революции. В статье «Роль сословий и классов в освободительном движении» формулировка Ленина еще более уточнена: характеризуя весь дворянский этап русского освободительного движения — «от декабристов до Герцена», он пишет: «Протестует ничтожное меньшинство дворян, бессильных без поддержки народа. Но лучшие люди из дворян помогли *разбудить* народ».* Таким образом, узость декабристского движения выразилась, по Ленину, не только в его отдаленности от народа, т. е. в отрыве от революционных тенденций самого народа, но и в ограниченности его кадров. Движение декабристов не было и не могло стать массовым вследствие узости своей социальной базы, но оно не смогло стать и достаточно широким и многочисленным, ибо в ряды протестантов и революционеров вступало лишь «ничтожное меньшинство дворян, бессильных без поддержки народа».** Этим определяется и основная причина неудачи декабристского восстания. Оно было обречено на неудачу, как всякое выступление ничтожного меньшинства, лишенного поддержки своего класса и в то же время не решающегося опереться на широкие народные массы. Отсутствие «народа» является основной чертой всей той эпохи русского освободительного движения, которая обозначается как «эпоха от декабристов до Герцена».

В ленинских определениях сущности декабризма есть еще одно важное указание. Ленин указал на значение нравственного начала в деятельности декабристов. Говоря о декабристах как дворянских революционерах, он называет их л у ч ш и м и

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 19, стр. 294—295.

** То же.

людьми из дворян, устанавливая тем самым основную моральную черту декабристского движения. Пользуясь образами Герцена, Ленин противопоставляет декабристов основной дворянской массе, откуда вышли «Бироны и Аракчеевы» и «бесчисленное количество „пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников“, да прекраснодушных Маниловых», Ленин сочувственно цитирует слова Герцена о «людях 14 декабря» как «фаланге героев, выкормленных, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя».* Вместе с Герценом Ленин подчеркивает их высокую нравственную чистоту, подвижничество, героическое начало. «Это какие-то богатыри, — приводит он слова Герцена, — кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия».** Подвиг декабристов включается Лениным в число величайших патриотических ценностей, которые вызывают законную национальную гордость и восхищение.*** Отсюда и великая заражающая сила их подвига и его огромное агитационное значение. «Лучшие люди из дворян»...**** «разбудили Герцена» ***** и «помогли *разбудить* народ».****** Таким образом, Ленин находит место

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 18, стр. 9. Слова, поставленные Лениным в кавычки, взяты им из статьи Герцена «Концы и начала» (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, под ред. М. Лемке, т. XV, П., 1920, стр. 280).

** В. И. Ленин, Соч., т. 18, стр. 9; Герцен, т. XV, стр. 280; в тексте Герцена, приведенном в издании Лемке: «воины-пророки».

*** «Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великоруссов, что *эта* среда выдвинула Радищева, декабристов...» (В. И. Ленин, Соч., т. 21, стр. 85).

**** В. И. Ленин, Соч., т. 19, стр. 295.

***** См. приведенную выше цитату (В. И. Ленин, Соч., т. 18, стр. 9).

****** В. И. Ленин, Соч., т. 19, стр. 295, курсив В. И. Ленина. Весьма знаменательно, что вопрос об агитационном значении декабристов нераз-

в революционном сознании народа и для наследия декабристов. Это четкое указание помогает осмыслить и значение декабристских мемуаров как важных памятников декабристской мысли.

Учитывая эти характерные черты движения, мы можем с полным правом говорить о братьях Бестужевых, как и о всей Рылеевской группе, — ядро которой они составляли и которая создала восстание 14 декабря, — как о деятелях, наиболее ярко и выпукло отразивших типичные черты декабризма: они, в той или иной степени, воплотили в себе психологические черты подлинных декабристов — борцов-революционеров и лучших представителей дворянской среды. Потому-то среди всех памятников декабристской литературы такое выдающееся — если не самое первое — место занимают мемуары братьев Бестужевых.

2

«Нас было пять братьев, и все пятеро погибли в водовороте 14 декабря», — пишет М. Бестужев, открывая этими словами серию своих мемуарных рассказов и подчеркивая тесную спаянность судеб своей семьи с судьбами первого русского революционного восстания. Но из этих пяти братьев широкую литературную и историческую известность получил лишь один из них, прославленный писатель тридцатых годов, знаменитый Александр Марлинский. Его популярность и слава затмила и заслонила образы его братьев, Николая и Михаила, хотя они сыграли в исторической жизни России весьма крупную и значительную роль. Сами братья Бестужевы — и Михаил и сам Александр — на первое место в своей семье всегда ставили Николая Бестужева, который имел огромнейшее влияние на своих братьев и перед которым они, буквально, преклонялись. Это преклонение чувствуется почти в каждой строке, посвященной «брату

рывно соединен у В. И. Ленина с определением их как лучших людей из дворян.

Николаю» в «Воспоминаниях» и поздних письмах Михаила Бестужева, оно же ощущается в каждом письме Александра Бестужева (Марлинского), как только по какому-либо поводу он вспоминает своего старшего брата. «Вы помирились бы с человечеством, — писал он Николаю Полевому, — если бы познакомились с моим братом Николаем... Такие души искупают тысячи наветов на человека».* Эти строки, продиктованные братским чувством и нежной братской любовью, легко можно счесть за невольное пристрастие, — но и во всей декабристской литературе нет ни одного неприязненного отзыва о Николае Бестужеве. Почти все, кто писал о нем, постоянно отмечают его выдающиеся дарования и исключительные нравственные качества, говоря о нем как о человеке большого ума, великих талантов и великого сердца. Его имя с невольным уважением произносили даже злобные враги движения, оплевывавшие память декабристов, как, например, Вяземский — в последние годы своей жизни — или Греч. Что же касается его товарищей по восстанию и заключению, то их отзывы совершенно единодушны. «Николай Бестужев был гениальным человеком, — пишет Лорер, — и, боже мой, чего он не знал, к чему не был способен!».** А. Розен писал Ник. Бестужеву из Кургана: «Что же касается до моих чувствований к Вам, то нет нужды передать все оные словами, и признайтесь сами — скромность в сторону, — можно ли знать Вас, как я Вас знаю, и не любить, не уважать Вас и не думать о Вас».*** И далее он уже в шутливом тоне прибавляет: «Люди творят чудеса в изобретениях: для движения машин воздух начинает заменять огонь и воду, живописец передает свое уменье, свои дарования любимому ученику в несколько уроков, — как бы изобрести средство, чтоб капиталы невещественные переходили

---

* Письма А. А. Бестужева к Н. А. и К. А. Полевым, писанные в 1831—1837 гг. «Русск. вестн.», 1861, III, стр. 313.

** Записки декабриста Н. И. Лорера. М., 1931, стр. 108.

*** Архив Бестужевых, № 5583 (ИРЛИ, ф. 604, № 14), л. 113.

из рук в руки, как капиталы вещественные, по праву наследства или по завещанию; если это удастся, то прошу Вас, когда Вы переселитесь в лучший мир, передать Вашу голову и золотые Ваши руки одному из моих трех сыновей, — но с условием: живите еще долго и счастливо».* А. Беляев с восхищением говорил о Н. Бестужеве: «Вот человек, который в состоянии всякого переделать»,** а в своих мемуарах именовал его, как и Лорер, гениальным человеком.

Можно привести еще ряд отзывов. В своей совокупности они создают опасное впечатление какого-то иконописного образа, который всегда не реален и идеализирован. Но, само собой разумеется, нельзя все подобные строки принимать вполне буквально. Конечно, это не означает, что Ник. Бестужев был воплощением всех добродетелей и не имел никаких обычных, человеческих слабостей. Так, вероятно, не думали и сами писавшие о нем. Но этот единодушно повышенный тон всех воспоминаний и рассказов о нем свидетельствует о такой духовной организации, которая импонировала окружающим своим нравственным превосходством и в общении с которой каждый находил, действительно, что-то возвышающее и приподнимающее душу.

В Николае Бестужеве поражает его необыкновенная разносторонность. Блестящий и храбрый морской офицер, великолепный знаток морского дела, замечательный механик-изобретатель, экономический и политический мыслитель, первый историк русского флота,*** талантливый писатель и художник-

* Архив Бестужевых, № 5583, л. 26; в том же письме: «Ваш же род жизни, милый Николай Александрович, мне совершенно знаком: Вы непрестанно заняты для себя и для других и не только скуки, но и обыкновенного сплина не знаете»...

** Восстание декабристов, т. III, стр. 279.

*** В 1824 г. Н. Бестужев был избран почетным членом адмиралтейского департамента. Диплом подписан Г. Сарычевым, Ф. Беллинсгаузеном, В. Головниным, И. Крузенштерном, П. Рикордом и др. (Арх. Бест., ф. 604, № 4, л. 79).

живописец, — вот основные стороны его многогранной личности, столь восхищавшей современников, поражавшихся его необычайной одаренностью. Но у него был еще один великий человеческий талант: у него были не только «золотая голова» и «золотые руки», как писал Розен, но и «золотое сердце». Он был, по словам местных людей, «истошником» для окружающих; таким словом обозначают в Восточной Сибири участливых и сердечных людей, отзывчивых к чужому горю, — «источающих» теплую ласку и сердечное участие. «И где твой дар, твои таланты, твое сердце, — писал ему брат Александр,— которому не найти пары в подлунном мире». Это восприятие его личности прекрасно сумела выразить жена декабриста Розена, когда, получив известие о смерти Н. Бестужева, писала его сестре: «Боже мой, какая утрата постигла вас и нас. Не могу Вам высказать, как больно сердцу, что так скоро и неожиданно не стало Николая Александровича, который своим душевным достоинством мирил меня здесь с многими недостатками при сношениях с людьми слабыми или злыми».* Эта высокая нравственная нота, высокий нравственный строй, на который невольно настраивались все, входящие в соприкосновение с ним, и который более всего должен был ощущаться в тюремной обстановке, — и создал Ник. Бестужеву его исключительное положение в среде товарищей.

Высокий нравственный строй души, строгая требовательность к себе и людям и острый критический ум не могли не привести его в ряды Тайного Общества. Следует вспомнить, какое место занимали моральные вопросы в уставах Союза Благоденствия и Общества Соединенных Славян. Проблема нравственного самоусовершенствования в представлении братьев Борисовых была, как уже отмечалось исследовате-

---

* Архив Бестужевых, № 5583, л. 28. Розен, Анна Васильевна, рожденная Малиновская, дочь первого директора Царскосельского Лицея и сестра лицейского товарища Пушкина, Ивана Малиновского. Семья Малиновских также отличалась высокой требовательностью по отношению к людям.

лями, «своеобразным политическим протестом против цинично-безнравственной действительности.*

Греч утверждал, что Ник. Бестужев оказался случайно в рядах восставших и что будто причиной явилась любовь его к братьям, «с которыми он решился разделить ожидавшую их участь» и потому «бросился стремглав в бездну». При всей очевидной вздорности этого рассказа, данная версия была довольна распространена: ее популярности, между прочим, содействовал и Александр Бестужев, который на следствии, стремясь во что бы то ни стало выгородить братьев, чрезмерно уменьшал степень их осведомленности и заинтересованности в делах Тайного Общества, принимая всю ответственность целиком на себя. «За призраком патриотизма и безрассудностию молодости вовлечен я был в преступление и вовлек с собою несчастных моих братьев».** Конечно, все это совершенно неверно. Неверно, во-первых, в силу того положения, которое занимал в своей семье Ник. Бестужев; во-вторых, это не подтверждается никакими известными нам материалами.

---

* Проф. С. Б. Окунь. История СССР. 1796—1825. Курс лекций. Л., 1947, стр. 433; см. также: М. Нечкина. «Общество Соединенных Славян. М., 1925, стр. 100—101. — Эти настроения очень верно понял и сумел художественно воплотить Некрасов в своих поэмах, посвященных декабристам: «Дедушка» и «Русские женщины»; особенно характерна в этом отношении первая.

Н. Басаргин писал о Рылееве: «В нравственном отношении он был безукоризнен» («Кат. и Ссылка», 1925, V, стр. 164). Сын декабриста, Е. И. Якушкин, сообщая о принадлежности М. Н. Муравьева (впоследствии вождя правительственной реакции 70-х годов) к Союзу Благоденствия и о причинах его отхода от декабристов, утверждал, что их, т. е. декабристов и М. Н. Муравьева, разделили в то время «вовсе не политические убеждения», а различие нравственных сил и нравственного уровня» (Е. Якушкин. По поводу воспоминаний о Рылееве. — Сб. «XIX век», ч. I, СПб., 1872, стр. 352); по его же сообщению, Рылеев, возражая против установленного в проекте конституции Н. Муравьева высокого имущественного ценза для избирателей, заявил: «Это не согласно с законами нравственными» (там же, стр. 361).

** Восст. дек. Материалы, т. I. М.—Л., 1925, стр. 442.

Наоборот, более вероятно, что влияние старшего брата и шедшие от него воздействия в значительной мере поддерживали и укрепляли тот критический и протестантский дух, который царил в семье Бестужевых.

К сожалению, в отличие хотя бы от «Записок» Якушкина, в которых очень живо показано формирование декабристской мысли, воспоминания М. Бестужева не дают полного представления о том, как слагался и рос у братьев Бестужевых революционный образ мысли, приведший их всех, одного за другим, в ряды Тайного Общества. М. Бестужев говорит о своем участии в нем как о чем-то само собой разумеющемся и безусловном. Только в примечаниях на составленную М. И. Семевским биографию Николая Бестужева он кратко упоминает о поездке 1817 г. во Францию как знаменательном этапе в развитии «либерализма» * и его самого и старшего брата; но тут же оговаривается, что эта поездка была не причиной зарождения тех или иных политических настроений, а лишь новым толчком к их дальнейшему обострению, — т. е. тем самым прямо указывал на раннее зарождение критически-протестантской мысли в условиях русской действительности. Нужно добавить, что М. Бестужев о многом умалчивал, опасаясь цензуры. Он с горечью писал Семевскому о вновь наступившем времени «запечатывания умов и распечатывания писем» и, несмотря на уговоры своего корреспондента, сознательно сдерживал себя в своих ответах и сообщениях. Он опускал многие «подробности о четырнадцатом числе», считая, что «теперь не время печатать и писать о них», и по той же причине он, по собственному его признанию, «многое выпустил» из описания детства и юности брата Александра — в том числе и о зарождении его свободолюбивых идей. Поэтому он глухо говорит о фактах такого

* Нужно иметь в виду, что под словом «либерал», или «либералист», в начале прошлого века подразумевались все оппозиционно и революционно настроенные люди, без учета тех или иных оттенков, — т. е. этот термин употреблялся еще в его прямом смысле: «свободомыслящий», «вольнодумец» и т. п.

рода, но, тем не менее, за скупыми строками его повествования достаточно отчетливо встает та полоса в развитии русского общества и русской общественной мысли, когда вся молодая интеллигенция жадно следила за заревом национально-освободительных войн и революционных восстаний в Западной Европе. Европа дышала революцией, сама же Россия была охвачена огнем крестьянских восстаний, солдатских протестов, волнений ополченцев, восстаний военных поселян. «Революционное разрушение отжившего феодального строя и установление новой системы буржуазно-демократических учреждений было повсюду в то время основной задачей революционных движений, — пишет современный историк, изображая картину возникновения декабристского движения, — Россия не представляла собою исключения. В ней также назрела необходимость ликвидации старого, отжившего феодально-крепостнического строя. Движение декабристов и было первым проявлением этой назревшей борьбы».*

Рубежом в истории народной жизни и в развитии общественных настроений явился 1812 год, раскрывший и великие народные силы, и полную невозможность их всестороннего свободного развития при существующей крепостнической системе и при всецело опирающемся на нее деспотическом правительстве. Патриотическое чувство и национальная гордость были оскорблены зрелищем той роли, на которую обрекало страну и народ бездарное правительство, все более и более становящееся тормозом в развитии народного просвещения, народного хозяйства и даже военной мощи родины. Лучшие люди страны не могли оставаться равнодушными к такому положению, — их ответом явилось создание тайных обществ.

Огромную роль в формировании декабристского мировоззрения сыграли и традиции радикально-демократической мысли конца XVIII в. Семья Бестужевых особенно характерна в этом отношении: в ней с наибольшей силой отразились все основные

---

* М. Нечкина. Декабристы. М., 1949, стр. 6.

моменты, формировавшие русскую революционную молодежь: и связь с передовой мыслью XVIII в., и влияние Отечественной войны, и заграничные походы, и личная связь с западноевропейскими республиканцами, и непосредственное знакомство с насквозь прогнившим бюрократическим аппаратом, и т. д. Николай Бестужев уже в 1815 г. совершил большое заграничное плавание. Он непосредственно изучал быт республиканских стран, знакомился с историей их борьбы за свое освобождение, тесно подружился с норвежским моряком, пылким республиканцем Эриксеном, видел расстрел испанских инсургентов и под звуки марша Риего поднимал бокалы в память бессмертного героя и в честь свободы.* Но еще до поездки в Западную Европу, до знакомства с республиканскими и конституционными странами, до личного общения с носителями революционной мысли на Западе у него уже вполне сложилось и созрело резкое критическое отношение к современной ему крепостнической действительности и сознание необходимости каких-то решительных и крутых мер для преуспеяния и расцвета родины.

3

Критическое отношение к крепостному строю и аракчеевскому режиму было характерно для всей семьи Бестужевых. Эти настроения шли, прежде всего, от отца их, Александра Федосеевича Бестужева, который в значительной степени был связан с оппозиционными группировками и радикальной мыслью предыдущего царствования. Уже В. И. Семевский писал о значении Радищева в созревании декабристской

* О своих путешествиях Н. Бестужев рассказал сам в своих литературных произведениях: «Записки о Голландии» и «Гибралтар». Конечно, по цензурным причинам он многого не досказал, а некоторых моментов и совершенно не коснулся. Ценным дополнением к его очеркам служат воспоминания товарища его по экспедиции, А. Беляева (А. П. Беляев. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. 1805—1850. СПб., 1882; см. особенно — гл. VII и VIII).

идеологии. Семья Бестужевых являлась наглядным примером этой преемственной связи. А. Ф. Бестужев сам принадлежал к тому отряду русской интеллигенции рубежа XVIII—XIX вв., которому в нашей исторической науке усвоено название радищевцев. А. Ф. Бестужев был другом и соратником крупнейшего «радищевца» — Пнина, вместе с которым он издавал в 1798 г. «Санкт-Петербургский журнал», бывший органом радикальной политической мысли и проповедовавший идеи материалистической философии XVIII в.* Четвертый из братьев Бестужевых, Петр, называл на следствии «Путешествие» Радищева в числе главнейших источников своего «вольномыслия».

Семья Бестужевых была глубоко демократичной; в ней не было преклонения перед чинами и званиями, не было чванства своим старинным дворянством, господствовало пренебре-

* Существует предположение, что в журнале принимал участие и сам Радищев; впервые оно было высказано В. П. Семенниковым в его книге «Радищев. Очерки и исследования» (М., 1923, стр. 453—457). Если это предположение правильно, то возникал вопрос и о возможности личного знакомства А. Ф. Бестужева с автором «Путешествия из Петербурга в Москву»; однако позднейшими исследованиями гипотеза В. Семенникова подвергнута решительному пересмотру (см.: В. Н. Орлов. Русские просветители 1790—1800 годов. Л., 1950, стр. 104—108. — Личное знакомство Пнина с Радищевым состоялось весной или летом 1801 г. (назв. соч., стр. 115),— возможно, что тогда же через посредство Пнина мог познакомиться с Радищевым и А. Ф. Бестужев, но следов этого знакомства не сохранилось. Журнал издавался по прямому заданию и на средства так называемых молодых друзей наследника (будущего Александра I) — Строганова, Новосильцева и Чарторижского — и связан с их либерально-просветительной программой. Бестужев и Пнин в своей радикальной, антикрепостнической программе пошли гораздо далее желаний и планов своих меценатов, и это привело к быстрой ликвидации журнала, просуществовавшего всего один год. А. Ф. Бестужеву принадлежит также ода «На поражение Наполеона князем Кутузовым-Смоленским» (СПб., 1813, 8 стр.). Характерной особенностью данной оды является упоминание об участии в войне крестьян: «И се их в строе зрю с крестом /Во земледельческой одежде/: Кто был с сохой — идет с мечом» и т. д.

жение к родовой аристократии, не закрепившей собственными делами право на почести и уважение. Мать Бестужевых была простой и малограмотной женщиной из среды городского мещанства. Она ухаживала за А. Ф. Бестужевым, когда тот, тяжело раненый, находился на ее попечении. Это знакомство перешло в глубокую сердечную связь, завершившуюся рождением сына Николая и потом закрепленную браком. Самый факт, чрезвычайно редкий в то время, женитьбы офицера из старинной дворянской семьи * на простой мещанке достаточно ясно характеризует и личность А. Ф. Бестужева, и его нравственный кодекс, и тот дух, который он вносил в семью, и его принципы воспитания детей. Нужно добавить, что все братья и сестры Бестужевы относились к своей матери с безграничным обожанием и преклонением. Достаточно хотя бы бегло перелистать многочисленные письма Бестужевых к матери или те их письма друг к другу, в которых они упоминают о ней, чтобы почувствовать, какое огромное место занимала

---

* По семейным преданиям Бестужевых, едва ли, впрочем, достоверным, они находились в прямом родстве с ветвью графов Бестужевых-Рюминых, происходя от общего предка. Впоследствии единый род распался на две ветви: Бестужевы-Рюмины, к которой принадлежал знаменитый политический деятель XVIII в. канцлер А. П. Бестужев-Рюмин, и просто Бестужевы, значительно обедневшие и принадлежавшие к скромной среде служилого дворянства. Как замечают специалисты по истории русских дворянских родов, генеалогия семей Бестужевых очень запутана, и их родословные точно не установлены. Но, во всяком случае, сами Бестужевы были убеждены в единстве своих родов. Александр Бестужев в Якутске разыскивал могилу сосланной туда Анны Бестужевой и собирал предания о ней.

В. Н. Орлов в цит. выше работе полагает, что женитьба А. Ф. Бестужева сыграла дополнительную роль в его сближении с Пниным, испытавшим на себе тягость «незаконнорожденности» (см. стр. 79); несомненно, что это же обстоятельство обусловило и позднейшее активнейшее вмешательство Александра Бестужева (Марлинского) в знаменитую дуэль Новосильцева и Чернова. Конечно, в основе были причины общественного порядка, но в семье Бестужевых эта дуэль имела еще и специфический личный интерес.

она в их жизни, какой нежной любовью окружена была она и какое глубокое уважение к себе сумела она внушить также и всем близким друзьям и знакомым своей семьи.

А. Ф. Бестужев придавал большое значение вопросам воспитания: ему принадлежит обширный трактат «О военном воспитании», печатавшийся первоначально на страницах «Санкт-Петербургского журнала», а позже дважды вышедший отдельным изданием. Этот трактат — один из ярких документов русской демократической мысли. Следуя Радищеву и его соратникам в области политической и философской мысли, он выступает против сословных привилегий, против представлений о существовании каких-то особенных «благородных» свойств дворянского сословия и основным мерилом значения человека в обществе и его права на общественное призвание выдвигает исключительно его личные достоинства.*

Свои педагогические идеи А. Ф. Бестужев стремился реализовать прежде всего в своей собственной семье, — и это заметно сказалось в воспитании старшего сына, Николая. Младшие братья уже росли вне непосредственного влияния рано скончавшегося отца, но его заветы стремился осуществлять в воспитании своих братьев Николай Бестужев.** И как ни различны были характеры братьев, все же можно говорить о некоем едином «бестужевском» духе в семье: их всех объединял повышенный интерес к литературе и науке, объединяло отношение к своим обязанностям в обществе, объединяла, наконец, ярко

* Отдельное издание (1803 г.) представляет собою уже новую редакцию с измененным заглавием: «Опыт военного воспитания относительно благородного юношества». В ней демократические тенденции автора звучат уже весьма приглушенно, а глава, в которой осуждались дворянские привилегии, совсем снята (см.: В. Н. Орлов. Русские просветители 1790—1800-х годов. Л., 1950, стр. 100—101). Трудно сказать, является ли новая редакция результатом решительного поправения ее автора или вынужденной уступкой своим покровителям, с помощью которых и было осуществлено отдельное издание.

** См. характерное в этом отношении письмо Петра Бестужева (наст. изд., стр. 487 .

выраженная у всех братьев глубокая любовь к родине и страстная ненависть к деспотизму и крепостному праву.

Единство политической мысли братьев Бестужевых вскрывается и материалами следственного дела. Декабристская традиция утверждала, что Николай Бестужев развернул перед «потрясенным царем» широкую картину народных бедствий и тяжелого состояния государства. Следственное дело этого не подтверждает. Возможно, что эта картина была раскрыта Н. Бестужевым при личной беседе с царем, т. е., другими словами, при таком же устном допросе, но не закрепленном официальным протоколом. По крайней мере, в последующей затем царской резолюции относительно Николая Бестужева, наряду с приказом о «строгом содержании», было дано и разрешение «писать, что вздумает».

В следственном же деле Николая Бестужева сохранился лишь краткий «ответ» его, в котором он чрезвычайно сжато и осторожно (и вместе с тем достаточно выпукло) изобразил общее состояние государства. Широкую же и развернутую картину современного положения страны дал другой Бестужев — Александр в своем известном письме к Николаю I.* Очень возможно, что устная традиция сочетала воедино факты смелого и независимого поведения во время следствия Николая Бестужева и письмо Александра, приписав первому и это письмо. Но для нас важно другое: и краткий ответ Николая и пространное письмо Александра очень близки между собою, и не только по общей своей направленности, но и по фактическому содержанию. Кажется, что показание Николая Бестужева — краткий конспект письма Александра, или, наоборот, письмо Александра является развернутой редакцией краткого ответа его старшего брата.

Николай Бестужев говорит о «ропоте всех гражданских сословий», Александр пишет о «ропоте народа», перечисляя

* Оно опубликовано в сборнике: Из писем и показаний декабристов. Критика современного состояния России и планы будущего устройства. Под ред. А. К. Бороздина, СПб., 1906, стр. 33—44.

по порядку все сословия: он пишет о ропоте ратников, недовольстве офицеров, недовольстве честных граждан гонениями на просвещение и т. д. Николай Бестужев говорит об «удручении» земледельцев тяжелыми дорожными работами и повинностями, и, как бы вторя ему, Александр пишет: «устройство дорог занимало руки трети России, а хлеб гнил на корню»; Николай говорит о «строгости военных поселений», — Александр подчеркивает, что военные поселения «парализовали не только умы, но и все промыслы». Почти в одинаковых формулировках говорят они о купечестве и т. д. Николай Бестужев заканчивает свой ответ указанием на возможность народной революции, — о том же говорит в своих показаниях и Александр Бестужев. Замечательно, что Александр Бестужев лишь вскользь говорит о флоте и прямо предлагает царю обратиться к «брату Николаю» или Торсону, которые «могут дать подробнейшее сведение о многом множестве злоупотреблений по флоту». Но и Николай Бестужев в своем ответе не упоминает о флоте. Это обстоятельство представляется на первый взгляд несколько странным и непонятным, но оно объясняется, по всей вероятности, тем, что о флоте он говорил царю лично, в их первой «беседе». Можно думать, что состояние флота и было одной из главных тем этого разговора и раскрытая Николаем Бестужевым широкая картина касалась, главным образом, столь хорошо известного ему общего положения русского флота.

Для семьи же Бестужевых состояние русского флота имело особый, специфический интерес. Семья была, по преимуществу, морской. Во флоте служил до своего ранения и вынужденного, вследствие этого, перехода на другую службу отец Бестужевых. Во флоте служили Николай и Петр Бестужевы: в декабре 1825 г. Ник. Бестужев был капитан-лейтенантом, а Петр — мичманом. Во флоте начинал свою военную карьеру Мих. Бестужев, откуда потом перешел в гвардию; имел некоторые связи с флотом и Александр, принимавший юношей участие в одном из учебных плаваний. Ему же принадлежит

одна из самых популярных в первой половине XIX в. морская повесть «Лейтенант Белозор», для которой он щедро пользовался, по собственному признанию, очерками и рассказами старшего брата.

Положение флота в царствование Александра I представляло печальную картину постепенного падения и разложения. И, пожалуй, нигде с такой наглядной очевидностью не обнаруживалась полная беспомощность самодержавной власти и глубокая коррупция правительственного аппарата, как во флоте. Даже официальные историки свидетельствуют, что царствование Александра «должно считаться самой мрачной эпохой в истории русского флота».* Для увлеченных фронтоманией Александра и Аракчеева флот представлял второстепенное значение: они были совершенно равнодушны к его судьбам и к его боевой славе, — они стремились уничтожить его специфику, что и выразилось введением во флот такой же муштры и фронтовистики, как во всей армии. Эта «шагистика», по выражению А. Беляева, явилась одним из основных стимулов роста недовольства во флоте. Наиболее тяжким для флота был период последовательного управления двух министров: маркиза де-Траверсе и фон-Мюллера. В письме к Николаю Штейнгейль заявлял: «можно сказать, что прекраснейшее и любезнейшее творение великого Петра маркиз де-Траверсе уничтожил совершенно».** Яркую картину состояния флота

---

* Н. Каллистов. Флот в царствование императора Александра I. «История русской армии и флота», т. IX, СПб., 1913, стр. 67; см. также: С. Огородников. Исторический обзор развития и деятельности морского министерства за сто лет его существования. СПб., 1902, стр. 79—80.

** Письма В. И. Штейнгейля к императору Николаю I. «Общественные движения в России в первую половину XIX века», т. I. Декабристы. СПб., 1905, стр. 481. — Замечания Штейнгейля о флоте Боровков целиком внес в составленную по поручению Николая сводку мнений декабристов о внутреннем состоянии государства в царствование Александра I («Рус. стар.», 1898, XI, стр. 359).

в александровское время дал знаменитый русский мореплаватель, адмирал В. М. Головнин. Ему принадлежит замечательный памфлет: «О состоянии русского флота в 1824 году. Сочинение мичмана Мореходова».* «Если бы хитрое и вероломное начальство, пользуясь невниманием к благу отечества и слабостью правительства, хотело, по внушениям и домогательству внешних врагов России, для собственной своей корысти, довести различными путями и средствами флот наш до возможного ничтожества, то и тогда не могло бы оно поставить его в положение более презрительное и более бессильное, в каком оно ныне находится. Если гнилые, худо и бедно вооруженные и еще хуже и беднее того снабженные, корабли; престарелые, хворые, без познаний и присутствия духа на море, флотовожди; неопытные капитаны и офицеры и пахари, под именем матросов, в корабельные экипажи сформированные, могут составить флот, то мы его имеем».** Это буквально совпадает с замечаниями В. Штейнгейля, который заявлял о фактическом отсутствии у нас флота как мощной боевой единицы: «Переводится последний лес, тратятся деньги, а флота нет», — писал он. — «Корабли строятся, отводятся в Кронштадт и там гниют, не имея возможности сделать ни одной кампании».*** И далее, словно вторя гневным сетованиям декабристов, Головнин заключает свой обзор состояния флота таким ярким и выразительным образом: «Если б в Кронштадт явился император, подобный Петру Первому, что увидел бы он там? Сначала представились бы взорам его корабли, подобные распутным девкам: сравнение необыкновенное и странное, но справедливое: как сии последние набелены, нарумянены, наряжены и украшены снаружи, но, согнивая внутри от греха и болезни, испускают зловонное дыхание, так

* Под таким заглавием опубликовано в 1861 г. с подзаголовком: «С рукописи, найденной в неполном виде в бумагах вице-адмирала Головнина».

** Ук. соч., стр. 1.

*** «Общественное движение России в первую половину XIX века», I, стр. 480—481.

и корабли наши, поставленные в строй и обманчиво снаружи выкрашенные, внутри повсюду вмещают лужи дождевой воды, груды грязи, толстые слои плесени и заразительный воздух, весь трюм их наполняющий».*

Преобладание морских интересов в семье Бестужевых, естественно, должно было служить ее революционизированию. Положение флота помогло братьям Бестужевым критически подойти и ко всей современной им действительности и общим проблемам политической мысли. В «Воспоминаниях» М. Бестужева отчетливо показано, как это, оскорблявшее патриотическое чувство, зрелище разложения и гибели родного флота и полное сознание бессмысленности и бесполезности в создавшихся условиях какой-либо реформаторской работы привело Торсона и его самого к мысли о необходимости «положить конец этому», т. е. к необходимости изменения существующего политического строя. Следствием этого и явилось их вступление в ряды членов Тайного Общества, где уже находился Ник. Бестужев. Последний принял Торсона, а тот в свою очередь — Мих. Бестужева. Тем же путем шли в Тайное Общество и другие моряки — по большей части самые выдающиеся морские офицеры, составлявшие, по выражению Завалишина, лучшую надежду русского флота. Таковыми были, кроме Н. Бестужева и Торсона, — Романов, Арбузов, Чижов, сам Завалишин, братья Беляевы, Мих. Кюхельбекер и др. Основной ячейкой, из которой вербовались члены Тайного Общества, был, главным образом, Гвардейский Морской Экипаж, представлявший собой в то время наиболее культурную часть морского офицерства. На флот возлагал большие надежды и Рылеев. Особенно привлекал его внимание Кронштадт, которому он предназначал роль «русского Леона»;** он предполагал организовать в Кронштадте базу восстания и поручал Н. Бестужеву и Торсону как можно шире развер-

* Мичман Мореходов. О состоянии русского флота. 1861.

** Рылеев имел в виду остров Леон в Испании, где в 1820 г. Квирога и Риего подняли восстание против Фердинанда VII.

нуть агитацию среди матросов и офицеров, чтобы именно там, захватив в свои руки город и крепость, поднять восстание. Однако Н. Бестужев и Торсон доказали Рылееву невозможность реализации этой мысли и перенесли свою основную деятельность в Гвардейский Экипаж. Моряки в своей совокупности составили наиболее энергичную и активную группу в «Северном Обществе»; «они имели для последнего такое же значение, — говорит историк, — как «Славяне» для южного общества».* Эту подлинно революционную энергию моряков прекрасно понимал и ценил Рылеев: на площади в день восстания он предполагал встать в ряды моряков. Душой моряков-декабристов, их фактическим руководителем и объединителем был Николай Бестужев.

4

Политическая позиция Николая Бестужева изображается историками противоречиво и, по большей части, неточно. Его относят к умеренной части Северного Общества; «сторонником кротких мер» изображал на следствии своего брата и Александр Бестужев; умеренным и малоактивным изображен он и в судебной сводке, составленной Боровковым. Наконец, на такую интерпретацию политических позиций Н. Бестужева повлияли и позднейшие взгляды его, сложившиеся уже в Сибири, когда он тесно сблизился с аристократической верхушкой декабристской ссылки и примкнул к группе Трубецкого и Муравьевых. Обычно Н. Бестужева объединяют с Торсоном, который, действительно, принадлежал к умеренному крылу Общества и был, по собственному признанию, ярым поклонником английской конституции. Однако для такого объединения нет достаточных оснований. Связанные теснейшей личной дружбой, Торсон и Н. Бестужев расходились в понимании

* М. В. Довнар-Запольский. Тайное общество декабристов. М., 1906, стр. 283; С. Б. Окунь, ук. соч., стр. 456.

важнейших политических вопросов. В отличие от Торсона, Н. Бестужев являлся в Северном Обществе выразителем стремлений левой демократической и наиболее революционно настроенной группы. Из всех северян он был наиболее близок к Пестелю. Подобно ему, он настаивал на расширении прав народного представительства и выступал за освобождение крестьян с землею,* а в своей статье о Парагвайской республике выступал с прямой апологией революционной диктатуры. Наиболее же всего о близости воззрений Н. Бестужева к взглядам Пестеля свидетельствует написанный уже на каторге трактат его «О свободе торговли», принадлежащий к крупнейшим памятникам экономической мысли декабризма.** Воззрения автора трактата на основные проблемы народного богатства и на скопление в одних руках капиталов перекликаются с экономическими идеями Пестеля. Основное их сродство в отрицательном отношении к «аристократии богатств», т. е. к скоплению в одних руках земельных богатств и промышленных предприятий. Это связано у Ник. Бестужева с глубоким разочарованием в конституционных странах, особенно в Англии, где лорды и капиталисты, пользуясь своим влиянием, всегда имеют возможность диктовать свою волю парламенту в ущерб подлинным интересам народа, ибо «сердце человека всегда там, где его имущество».*** Как последовательный

* См.: Н. Дружинин. Н. М. Муравьев. М., 1933, стр. 228. — Н. М. Дружинин установил, что ряд замечаний на проект конституции Н. Муравьева, содержащих критику его с левых позиций (в том числе и § 24 о земельном наделении крестьянства) принадлежит не И. И. Пущину, как полагали прежние исследователи, а Н. Бестужеву (ук. соч., стр. 158).

** Полное заглавие: «О свободе торговли и промышленности». 1831. Подл. хран. в ИРЛИ (Арх. Бест., № 5586, ф. 604, № 17, лл. 30—84); опубл. в изд.: Н. Бестужев, Статьи и письма, 1933.

*** Н. Бестужев, ук. соч., стр. 163. В своей работе «Экономические идеи декабристов» К. Пажитнов, возражая Н. Тургеневу, усматривавшему во взглядах Пестеля сродство с идеями Фурье, писал: «Не уничтожение богатства, а предупреждение чрезмерного роста и лишение богатых возможности диктовать свою волю другим, используя их

демократ-республиканец Н. Бестужев являлся неизменно и сторонником наиболее решительных действий Общества и во все время пребывания в нем проводил четкую революционную линию.

Ник. Бестужев был принят в Общество в 1824 г. Принял его Рылеев, сразу угадавший своим революционным чутьем, какую стойкую и подлинно боевую силу привлекает он. В Обществе Н. Бестужев очень скоро выдвинулся в первые ряды, — и уже в следующем году был включен в состав Верховной Думы, заменив в ней выбывшего Никиту Муравьева. Сам он принял в члены Тайного Общества Торсона, Арбузова и Мих. Кюхельбекера. И, кроме того, как видно из мемуаров Беляева и показаний Дивова, он, пользуясь своим огромным авторитетом в морской среде, вел в ней все время большую пропагандистскую работу. Мемуаристы обычно рисуют Н. Бестужева весьма спокойным, хладнокровным, рассудительным, но день 14 декабря и особенно дни, предшествующие восстанию, показали, какая пылкая и энтузиастическая энергия, какая великая способность увлечения, какой подлинный революционный темперамент таились под видом внешнего спокойствия и холодности. Из отдельных замечаний мемуаристов, из некоторых показаний и из рассказов его самого и его брата выясняется, что, в сущности, активнейшим организатором и главным помощником Рылеева накануне 14 декабря являлся именно он, Николай Бестужев.* Зачастую к нему переходила даже руководящая и направляющая роль, тем более что Рылеев в последние дни был болен и не мог выходить из дома.

экономическую беспомощность, — вот смысл программы Пестеля» (ук. соч., стр. 9). Непонятно, почему в работе, посвященной экономическим воззрениям декабристов, автор совершенно не упоминает о Ник. Бестужеве.

* Недооценка роли Н. Бестужева в истории восстания объясняется в значительной степени еще тем, что его часто путают с Александром Бестужевым, который также энергично и решительно действовал в эти дни.

События развертывались следующим образом. 26 ноября к Рылееву приехал Трубецкой и сообщил о тяжелой болезни Александра I. Это обязывало Общество к мобилизации своих сил, так как, согласно выработанному плану, смерть царя должна была явиться сигналом к началу действий. По выражению Ник. Бестужева, «смерть императора была назначена Обществом эпохою для начатия действий оного». Трубецкой и Рылеев постановили созвать совещание, однако, прежде чем удалось его реализовать, пришло известие о смерти Александра и была уже назначена присяга Константину. Ник. Бестужев и Торсон тотчас же примчались к Рылееву, еще ничего не знавшему о последних событиях, и стали горячо упрекать его в бездействии, требуя немедленного начала решительных мер. Этот разговор, к которому присоединились пришедшие позже А. Бестужев и Батенков, и явился завязкой дальнейших событий, исход которых так трагически разрешился 14-го числа на Сенатской площади. Вечером того же дня Рылеев созвал первое совещание, в котором приняли участие двое Бестужевых (Александр и Николай), Батенков, Оболенский, Трубецкой. Видимо, уже на этом совещании наметились две линии поведения. Совещание пришло к необходимости занять выжидательную позицию, дальнейшие действия должны были сложиться в зависимости от разрешения вопроса о престолонаследии. В случае воцарения Константина Общество должно было заявить о своей ликвидации, а затем перестроиться, произвести пересмотр своих членов, освободившись от ненадежных и случайных элементов, после чего повести решительную пропаганду в военных, главным образом гвардейских, частях. В случае же перехода престола к Николаю было решено использовать сложившуюся ситуацию и поднимать восстание.

Подробности этого знаменательного заседания нам мало известны. Неизвестно, какие возникали дебаты и каково было содержание других проектов. Но ясно, что достигнутое соглашение удовлетворило не всех участников совещания. В числе их были оба Бестужевы и сам Рылеев. И, в сущности, они

сразу же нарушили соглашение. Оставшись втроем, они решили начать немедленную же подготовку революционных действий. Первоначально они хотели составить прокламации к войску, разбросав их по казармам. Этот план, однако, был признан неудобным, — тогда было решено начать непосредственную устную пропаганду. Они втроем в течение двух ночей ходили по городу, останавливали «каждого солдата и каждого часового» и говорили, что народ обманули, скрыв от него завещание покойного царя, в котором крестьянам была объявлена свобода, а солдатам сокращался срок службы. Таким образом Бестужевы и Рылеев, на свой страх и риск, начали революционные действия.

Последние дни перед восстанием создалась фактически особая пятерка, которая, в сущности, и руководила всеми действиями: ее составляли Рылеев, Трубецкой, Оболенский, Н. и А. Бестужевы. Сам Рылеев последние дни был болен, и подготовка восстания легла, главным образом, на плечи Трубецкого, Оболенского и Ник. Бестужева. 10 декабря был выработан план действий, — из воспоминаний Оболенского и показаний Трубецкого видно, что его окончательная форма была принята под давлением наиболее революционной части Общества, т. е. того же Рылеева и братьев Бестужевых; впрочем, в своих «Записках» Оболенский очень снижает революционность своей позиции в декабрьские дни. О важном и центральном значении Н. Бестужева свидетельствует и тот факт, что именно к нему (а не к Трубецкому) бросился Рылеев, когда стало известно о доносе Ростовцева. Совет Н. Бестужева определил и дальнейшую линию поведения.

В последние дни мы видим Н. Бестужева на всех ответственных участках: он принимает участие в совещаниях у Рылеева; неизменно поддерживает дух и настроение моряков; принимает участие в совещании о Финляндском полке, стремится воздействовать на изменившего в последнюю минуту Моллера; обсуждает планы цареубийства, и т. д. В одном из обсуждений он предложил организовать в Варшаве поку-

шение на Константина. Накануне восстания, в воскресенье 13 декабря, в квартире матери Бестужевых был семейный обед, имевший, несомненно, организационное значение, ибо в нем принимал участие Рылеев, и в этот же день у Н. Бестужева перебывали Пущин, Торсон, Батенков, а сам он вместе с Рылеевым поехал после обеда к Репину и привез его к себе на квартиру. Таким образом, квартира Бестужевых была в этот день вторым штабом восстания. В этот же день, поздно вечером, он вместе с активнейшими участниками восстания — Щепина-Ростовским, Сутгофом и Пановым — был на квартире у Булатова (избранного накануне помощником Трубецкого), где еще раз был продуман и уточнен план завтрашних действий. 14-го, рано утром, он был у Чижова и у Арбузова, уверился в готовности к действию моряков, — отправил мичмана Тыртова в Измайловский полк узнать, как там идут дела; оттуда он едет к Рылееву, набрасывает в его квартире проект манифеста * и затем снова направляется в Гвардейский экипаж, разрешив своим появлением возникшее было там замешательство. Приводом моряков на площадь он завершил свои действия по организации восстания. Таким образом, из трех боевых соединений, явившихся на площадь (Московский полк, Лейб-гренадерский полк и Морской Гвардейский экипаж), два были приведены братьями Бестужевыми. Только они — да еще Сутгоф и Панов — полностью выполнили возложенные на них обязательства.

5

Восстание 14 декабря фактически началось выводом на площадь Московского полка, что было выполнено Михаилом

* На следствии Н. Бестужев утверждал, что ему никто не поручал составление манифеста (Восст. дек., II, стр. 48, 82—83), однако М. В. Нечкина на основании материалов следственных дел установила, что ему и Рылееву было дано поручение написать вводную часть к манифесту («Истор. Записки», т. 27, М., 1948, стр. 105).

Бестужевым. Можно смело сказать, что именно *он* поднял восстание. Рано утром он узнал об измене Якубовича, узнал, что рухнула надежда на Измайловский полк и на артиллерию, — и тем не менее он категорически отверг предложение брата Александра о некоторой отсрочке выступления и принял немедленное решение — вести полк на площадь. Он первый положил начало осуществлению намеченного плана, поставив тем самым остальных участников заговора перед совершившимся фактом. К сожалению, в мемуарной и исторической литературе подвиг М. Бестужева освещен недостаточно ясно и очень часто инициатива и честь начала действий в день 14-го декабря приписываются Бестужеву Александру.* И, в сущности, у нас до сих пор нет полного представления о подлинном облике этого замечательного деятеля. Очень редко упоминается его имя и в рассказах декабристских мемуаристов о пребывании в тюрьмах и в сибирской ссылке. Весьма незначительно и его эпистолярное наследство, — особенно по сравнению с огромным количеством писем, сохранившихся от его старших братьев. Греч в своих «Записках» именует его «простым и недальным».** Но те, кто знал его близко, отчетливо представляли себе то огромное духовное богатство, какое таилось в этом «незаметном» на вид юном офицере. Об этом свидетельствуют и письма А. Бестужева к братьям в Петровский Завод, — он, вообще, очень рано сумел оценить выдающийся организаторский талант своего младшего брата; в частности, он очень содействовал его переходу из флота в гвардию, желая иметь в нем деятельного помощника в «предстоящих событиях».

---

* Александру Бестужеву в течение долгого времени приписывалась и песня о Муравьеве, сочиненная в Петровской тюрьме М. Бестужевым; наконец знаменитое в истории политической тюрьмы изобретение Мих. Бестужева — его азбука перестукивания — очень часто приписывается Николаю Бестужеву.

** В Лейпцигском издании («Из записок одного недекабриста») сказано несколько иначе: «Михаил и Петр Бестужевы были люди простые, добрые, честные, но ничем не замечательные» (стр. 50).

Сам М. Бестужев довольно сдержанно говорит о себе в своих мемуарах. Выдвигая на первый план фигуры своих старших братьев, любуясь и гордясь ими, он отодвигает себя на задний план и умалчивает о многих фактах и событиях, связанных с ним непосредственно. В частности, он ничего не говорит о своих методах работы с офицерами и солдатами, коротко упоминая лишь о ее результатах. Только раз ему изменила обычная сдержанность в этом отношении: когда в беседе с Семевским речь зашла об отзыве Греча, он заметил: «как мог я, ничтожный и простой, в неделю приготовить» — и этими невольно вырвавшимися словами несколько приподнял завесу над своею деятельностью в полку накануне восстания, подчеркнув тем самым, какую огромную, напряженную работу пришлось выполнять ему в те дни.*

* Некоторое представление о методах и формах пропагандистской и организаторской работы М. Бестужева в полку дает «секретное дело» л.-гв. Московского полка, опубликованное в подробных извлечениях в составленной Н. Пестриковым «Истории л.-гв. Московского Полка» (т. II, стр. 45 и сл.). После восстания в Московском полку была образована по приказанию шефа полка вел. кн. Михаила Павловича своя следственная комиссия, которой было поручено выяснить все обстоятельства, «сопровождавшие происшествие в полку 14 декабря», и установить «всех причастных к приуготовлению оного лиц». Из многочисленных допросов командира полка, офицеров, унтер-офицеров и рядовых выясняются — конечно, по условиям места, в искаженной форме — некоторые подробности деятельности М. Бестужева, а также Щепины-Ростовского. Помимо естественного искажения истины лицами, подвергнутыми допросу, нужно еще учесть тенденциозную, прямо черносотенную, позицию составителя «Истории полка», беспрестанно говорящего об «обмане».

Но все же за этим ворохом лживых и тенденциозных сообщений можно установить некоторые подлинные факты, свидетельствующие о неутомимой энергии М. Бестужева и о разнообразных способах его работы: он часто приглашал к себе офицеров своего полка; игры в карты и тому подобных развлечений в доме Бестужевых не было, разговоры же вращались, главным образом, в кругу литературных и общественно-политических тем. Некоторых офицеров (в частности Броке и Волкова) он познакомил с Рылеевым и возил их к нему; 12-го числа на квартире М. Бестужева перебывал ряд офицеров полка, — очевидно, за инструкциями и т. д.

Образ Михаила Бестужева приходится воссоздавать, собирая по крупицам разбросанные о нем в разных источниках сведения и упоминания, вчитываясь в его «Записки» и письма — его и его близких, — из которых большая часть еще остается неопубликованной, пробираясь сквозь дебри официальных, часто заведомо лживых, документов. Так возникает образ выдающегося деятеля, стойкого революционера, прекрасного работника-практика, энергичного агитатора-пропагандиста, талантливого писателя, — наконец, глубоко принципиального, честного и правдивого, человека. Об этой стороне характера особенно убедительно свидетельствуют его поздние письма к Семевскому и Баскакову. Когда Торсон задумал свой план реформаторской деятельности во флоте, ближайшим помощником себе он избрал М. Бестужева, — и его выбор оказался безусловно правильным. М. Бестужев весь отдался этому делу и своей кипучей энергией весьма решительно помог — поскольку это было возможно — реализации замыслов Торсона. В полку он быстро завоевал любовь и уважение товарищей и доверенность солдат и очень быстро сумел перестроить всю систему управления и обучения в своей роте. Он, чуть ли не единственный из всех членов Северного Общества, вел пропаганду и агитацию среди унтер-офицеров и фельдфебелей, найдя в них деятельных помощников во время восстания. Как он рассказывает в «Записках», у него были свои «надежные агенты из солдат», — и утром 14-го он их разослал по другим ротам с приказом забирать боевые патроны и присоединяться.

На площади, в день 14 декабря, он не играл заметной роли. Подняв восстание, он сразу же стал его рядовым участником и как человек, привыкший к строгой военной дисциплине, ждал приказа и команды. И только лишь когда картечь Сухозанета смешала ряды, неся окончательную гибель восстанию, он, предоставленный самому себе, пытается организовать контрмеры и вырабатывает самостоятельный план: сколотить из остатков рассеянных войск, бывших на площади, значитель-

ный отряд, добраться по льду Невы до Петропавловской крепости, занять ее, — и оттуда, при пушках, наведенных на дворец, начать иной разговор с Николаем. Этот план был уничтожен новыми залпами артиллерии, разбившими лед и вынудившими солдат искать спасения на берегу. Характерно, что и в данном случае М. Бестужев действовал в окружении своих «славных унтер-офицеров», которые и помогли ему строить на льду колонну.

Нет никаких п р я м ы х свидетельств о его воззрениях на основные проблемы социально-политического характера, которые обсуждались в Обществе, но можно думать, что в решении всех таких вопросов он примыкал к брату Николаю, — который неизменно был для него высшим авторитетом, — разделяя его республиканские настроения и суждения о характере народного представительства и о формах освобождения крестьян; но он безусловно превосходил своих старших братьев революционным темпераментом и безудержным энтузиазмом, что с такой силой и яркостью сказалось в его поведении в утро восстания. Михаил Бестужев — не теоретик, не политический мыслитель, не вождь; в его лице перед нами выступает рядовой деятель революции, один из самых стойких и надежных солдат ее.

Стойким революционером проявил он себя и во время следствия, не выражая никаких покаянных чувств, не взывая к царскому милосердию и неизменно оставаясь скупым и сдержанным в своих показаниях. Весьма примечательно, что он очень скупо и сдержанно говорит о пребывании в крепости брата Александра, явно тем обнаруживая свое недовольство его поведением на допросах.*

---

* Александр Бестужев, в отличие от своих братьев, был очень откровенен в показаниях и очень много говорил о своем раскаянии и надеждах на «милосердие монарха». Позже он и сам стыдился своего поведения и сожалел о нем. В полушутливом тоне, обманывая бдительность цензуры, он писал братьям: «Якут закричит: „Балык нада!“. На что обыкновенно отвечаю я: „сох“ (нет) — единственное слово в этом языке, которое

Стойким и выдержанным представляется его поведение и в Сибири. Казематы и поселение были для декабристов великим испытанием, которое далеко не все выдержали с честью и безукоризненно. Уже в Петропавловской крепости начали звучать у некоторых узников ноты сожаления, раскаяния, примиренчества, — в сибирских тюрьмах началось то идейное расслоение среди декабристов, которое для многих завершилось почти полным отказом от «увлечений юности» и сотрудничеством в махровых реакционных изданиях. Мих. Бестужев до последнего дня оставался не примирившимся и не согнувшимся, хотя под конец жизни он и не всегда правильно умел разобраться в вопросах текущей политики. Характерно, что он — один из немногих — совсем не писал писем из казематов, не желая, чтоб его интимные чувства раскрывались перед казенными глазами чиновников 3-го Отделения. Для М. Бестужева казематы и ссылка были школой последовательного и убежденного демократизма, — в этом отношении он расходится даже с братом Николаем, несмотря на неизменную свою горячую любовь к нему и неизменное перед ним преклонение. В то время как Николай Бестужев вращается, главным образом, среди декабристской аристократии (Волконский, Трубецкой, Муравьевы, Ивашев), дружит с представителями умеренного крыла декабризма — Лорером и Поджио, Михаил теснее всего сближается с «славянами» (Борисовыми, Пестовым, Горбачевским и др.), т. е. с наиболее демократическим слоем декабризма; их социально-политический радикализм ему гораздо ближе, чем умеренная политическая мысль и неизжитые аристократические тенденции бывших вождей движения.*

я знаю очень твердо. Жаль право, что я не затвердил его ранее» (М. Семевский. А. Бестужев в Якутске. «Рус. вестн.», 1870, № 5, стр. 245). Гангеблов рассказывает, что А. Бестужев не любил говорить о 14 декабря и последующих событиях (А. Гангеблов. Записки декабриста. 1888, стр. 204).

* Он, правда, был еще очень дружен с В. И. Штейнгейлем — одним из наиболее умеренных участников движения, — но эта дружба осуще-

А. Бестужев восхищался «высоким характером», который проявил Михаил в тюрьме. «Ты — практический философ. Ты делаешь то, — писал он ему, — что другие едва умеют постигать, что очень немногие говорят. Ты не только равнодушно, — весело несешь свой крест и, как забытый цветок на этом сенокосе всех радостей, веселишь своей физиономией сердца родных, думы знакомых».* Эта стойкость поведения в казематах была не только чертой характера, но и принципиальной линией поведения. Она вытекала из его революционного темперамента и его понимания революционного долга. Во имя его М. Бестужев был в числе тех, кто вел борьбу за тесную спаянность и дружбу тюремного коллектива. Для него даже радость освобождения из заточения была омрачена мыслью о расставании с товарищами, с которыми, — по его выражению, — они «скипелись в горниле горя и испытания в одну неразрывную массу».** Эти настроения определяют и характер его воспоминаний о тюрьме и ссылке.

ствилась несмотря на различие их политических темпераментов и убеждений; в значительной мере их объединяли религиозные настроения, которые у романтически настроенного М. Бестужева очень заметно усилились во время пребывания в тюрьме и особенно в ссылке, но вместе с тѣм они, как и у Штейнгейля этой поры, были очень далеки от подчеркнутого конфессионализма Бобрищевых-Пушкиных или от явного ханжества Завалишина. К тому и другому М. Бестужев относился явно отрицательно. Подчеркнуто отрицательно относился М. Бестужев и ко всяким проявлениям «аристократизма» в тюремной обстановке: см. его письмо от 26 ноября 1837 г. (Н. Бестужев. Статьи и письма, стр. 280).

* М. Семевский. А. А. Бестужев на Кавказе. 1829—1837. Неизданные письма его к матери, сестрам и братьям. «Рус. вестн.», 1870, VI, стр. 511.

** Письма из Сибири М. и Н. Бестужевых. Иркутск, 1929, стр. 6. — «Вы поймете наше положение, — пишет он в том же письме сестрам, — и не будете сердиться на своего братца, который в холодных стенах еще не охладел сердцем до той степени, чтоб равнодушно бросать горсть земли в могилу родных, им погребенных» [там же, письмо из Посольска (на берегу Байкала) от 11 августа 1839 г.].

6

И Николай и Михаил Бестужевы сохранились в памяти потомства лишь как политические деятели, герои 14 декабря, но они оказались вполне забытыми как писатели. Совершенно обошла их имена историко-литературная наука. Между тем, Николай Бестужев являлся активным участником литературной жизни двадцатых годов прошлого века. Он был деятельным членом Вольного Общества Любителей Словесности, принадлежа к его руководящей группе, сотрудничал в альманахах и журналах, в которых выступал и как автор научных работ, и как автор путевых очерков, и как писатель-беллетрист; большое место в его литературном наследии занимают и переводы, преимущественно из английской литературы: Байрон, Мур, Вальтер-Скотт, Ирвинг.

Современники очень ценили его литературную деятельность. Александр Тургенев считал, что Николай Бестужев пишет лучше, чем его брат, т. е. Александр Бестужев, в то время уже всеми и вполне признанный писатель.* Это же мнение разделял и П. Вяземский.** В. А. Муханов писал о «ясной прозе» Н. Бестужева; *** высоко ценил его как писателя и историка Карамзин.**** А. Бестужев с горечью восклицал в одном из кавказских писем: «Но ты, Николай, для чего потерян ты для нашей словесности!».*****

Некоторые из его произведений, как, например, «Записки о Голландии», пользовались большой популярностью. Однако додекабрьское его творчество представляется еще несколько распыленным, — он как будто бросается в разные стороны, стремясь найти и определить свой подлинный путь и место в литературе, — но, тем не менее, его основные литературные

---

* Остафьевский Архив, т. III, стр. 69.

** Там же, т. IV, стр. 239.

*** Щукинский Сборник, т. V, стр. 271.

**** Остафьевский Архив, т. IV, стр. 228.

***** «Русский вестник», 1870, VII, стр. 48.

позиции ясны и отчетливы. Это позиции декабриста на литературном фронте.

Литературным выражением декабризма был прогрессивный романтизм в его различных проявлениях. Декабризм в литературе означал, прежде всего, патриотическую борьбу за создание высокой, национально-самобытной литературы; он означал утверждение общественной роли и общественного значения искусства и пропагандировал революционные идеи. Декабризм в литературе выражался в прославлении революционного опыта чужих стран и в прославлении древнерусской вольности; он звал к изучению великих подвигов русского народа и к изучению его духовного богатства, призывал к изучению народной поэзии и к всестороннему познанию родины.

В одном из своих критических обозрений А. Бестужев так определял смысл и задачи литературного движения. «В старину науки зажигали светильник свой в погасающих перунах войны и цветы красноречия восходили под тенью мирных олив»; иное наблюдается в наши времена: теперь слог авторов одушевляется громом «отдаленных сражений», и воображение, «недовольное сущностью», «алчет вымыслов», и «под политической печатью словесность кружится в обществе».* В этих, кажущихся как будто несколько вычурными, формулировках выражена целостная и определенная программа задач литературного движения и литературной борьбы. «Политическая печать, под которой кружится словесность», — ее общественный характер и общественные задачи; «гул отдаленных сражений» — революции на Западе; «недовольство сущностью» — отрицательное отношение к существующему феодально-крепостническому строю; «жажда вымыслов» — романтическая форма изображения.

Литературная деятельность Н. Бестужева вполне соответствует этим требованиям. Его «Записки о Голландии» и

---

* А. Бестужев. Взгляд на русскую словесность в течение 1823 г. Первоначально было опубликовано в «Полярной звезде» на 1824 г

«Гибралтар» — по внешней форме типичные «путевые очерки», обычные для того времени «отчеты» путешественника о виденном в чужих странах. Но значение этих «очерков» далеко выходит за границы обычных повествований такого типа. «Записки о Голландии» — апология борьбы образованного республиканского меньшинства со штатгальтерскими стремлениями к самодержавной власти. «Записки о Голландии» и примыкающий к ним исторический очерк «О новейшей истории и нынешнем состоянии южной Америки», посвященный парагвайской республике во время диктатуры доктора Франсиа, — прямое восхваление республиканского строя и как бы демонстрация тех возможностей, которые несет он стране, сумевшей освободиться от самодержавного деспотизма. В очерке «Гибралтар» Н. Бестужев решается, правда в очень осторожной форме, вывести образы уже не былых борцов за свободу, а революционеров-современников. Он рассказывает о испанских инсургентах и несколькими штрихами набрасывает героическую фигуру приговоренного к смерти патриота. Перед расстрелом ему хотели завязать глаза платком. Он отказался сначала, — рассказывает Н. Бестужев, — но, «увидя генерала О'Доннея в числе зрителей, схватил с нетерпением платок и сказал: ,,Не хочу осквернять последних минут моей жизни видом человека, предавшего отечество и пришедшего любоваться кровью сограждан''. С сими словами он был расстрелян», — заканчивает Н. Бестужев. Так вводилась в сознание читателей романтическая фигура борца за свободу и клеймилось политическое предательство. Революционно-романтическая тематика определяет, в значительной степени, и выбор произведений для переводов.

Эти ранние произведения Николая Бестужева очень характерны для него и его строя мыслей, но они еще не определяют его как писателя-художника. Михаил Бестужев вполне правильно заметил, что все напечатанные литературные произведения его брата бледно отражают его литературную личность. «Все они более ли менее были порождением случайности, тре-

бовали обстоятельств, как бы hors d'oeuvre его настоящего предназначения». М. Бестужев делает здесь упор на слове «напечатанные», полагая, очевидно, что личность Н. Бестужева полнее отразилась в произведениях, написанных во время пребывания в тюрьме. И, действительно, как писатель-художник раскрылся он во всю ширь своего замечательного дарования лишь в последекабрьский период.

В тюрьме и ссылке сформировался как писатель и Михаил Бестужев. Его литературная судьба сложилась весьма своеобразно. До 14 декабря он не напечатал ни одной строчки, — но тем не менее сам он сознавал себя литератором. В ответах на вопросные пункты Комитета он писал: «Кроме обширной морской части наук, в которой я старался усовершенствовать себя по долгу службы, я еще занимался литературой».* В «Записках» он вспоминает: «Когда появление поэм Байрона вскружило всем головы, я много написал пьес в подражание ему, — тут были и замки, и ливонские рыцари, и девы, и новгородцы». Писателем-литератором признавали М. Бестужева и его братья. А. Бестужев писал, обращаясь одновременно к обоим петровским узникам — Николаю и Михаилу: «Боже мой, сколько пользы схоронено между вами! какой бы ход дали литературе руки ваши, если б им дали безделицу — гусиное перо!».**

В тюрьме М. Бестужев много писал; он написал ряд морских повестей, которые имели большой успех у слушателей, — аудитория же Петровской тюрьмы была достаточно чутка и требовательна. Но всем этим литературным опытам не суждено было увидеть свет, — и только его песнь о Сергее Муравьеве спаслась от гибели и забвения. Это единственное

* Восст. дек., т. I, стр. 481. Любопытно, что А. Бестужев, бывший ко времени ареста уже почти профессиональным писателем, в ответ на тот же вопрос показал, что «прилежал наиболее к истории и политике», а «для забавы занимался литературою» (там же, стр. 430).

** «Рус. Вестник», 1870, VI, стр. 510.

известное нам стихотворение М. Бестужева по своему идейному содержанию и по его значению для самих декабристов должно быть включено в основной фонд специфически декабристской лирики и поставлено наряду с такими пьесами, как «Ответ Пушкину» Одоевского или «Тень Рылеева» Кюхельбекера. Но в полной мере литературное дарование М. Бестужева раскрылось в его «Записках», отдельные главы которых имеют вид своеобразных историко-художественных очерков. В еще большей степени литературное значение имеет «Воспоминание о Рылееве» Николая Бестужева. Без учета этой стороны нельзя понять до конца и историческое значение мемуаров братьев Бестужевых. Их нужно рассматривать не только как первоклассное историческое свидетельство, как показание современников об одном из самых героических моментов русской истории, но и как замечательное художественное обобщение.

Элементы художественного изображения присутствуют в какой-либо степени почти в каждом мемуарном памятнике; каждое автобиографическое повествование неизбежно выходит за пределы узко исторического рассказа, — и в редком из произведений такого рода мы не сможем обнаружить элементов художественной формы и «художественного сознания образа». Но есть ряд мемуаров особого типа, в которых художественное начало представлено не в качестве отдельных — и порою случайных — элементов, но присутствует как основной принцип построения и авторы которых органически сочетают в себе историка и художника, художника и историка. В мемуарах такого типа сочетается стремление к максимальной точности в изображении подлинных событий с выражением их собственной оценки и со стремлением прояснить ее в ряде обобщающих образов. Гете озаглавил свое воспроизведение собственной пережитой жизни «Dichtung und Wahrheit» — «Вымысел и действительность». Величайшим же и непревзойденным во всей мировой литературе образцом такого рода произведений являются «Былое и Думы» Герцена. «Былое и Думы» — один

из величайших шедевров русской художественной литературы и в то же время один из самых замечательных исторических памятников. Заглавия Герцена и Гете органически сочетают основные стороны каждого мемуарного повествования и раскрывают его подлинный смысл. Это — былое, т. е. действительно бывшее и пережитое, изображенное через призму размышлений (дум) о них; сочетание подлинной действительности с элементами творческого вымысла, но такого вымысла, который не искажает этой действительности, не заменяет ее какой-то иной, выдуманной, — но дополняет, придавая ей большую внутреннюю убедительность. Поэтому-то самые замечательные мемуарные памятники принадлежат не только исторической литературе, но и литературе художественной. Они подлежат анализу и историка и историка литературы. К категории таких мемуаров принадлежат и воспоминания братьев Бестужевых и, главным образом, «Воспоминание о Рылееве» Николая Бестужева.

7

Чтобы отчетливее уяснить характер «Воспоминания» Н. Бестужева, необходимо привлечь другой памятник художественной прозы того же автора — рассказ «Шлиссельбургская станция» («Отчего я не женат»). Оба эти произведения тесно связаны между собой: они были написаны в одно и то же время, создавались в одной и той же обстановке и были вызваны к жизни одним и тем же внешним поводом, — они связаны общностью темы и настроения и единством художественного метода. В данном рассказе впервые в русской литературе поднята проблема личной драмы политического деятеля, проблема ответственности революционера-заговорщика перед любимой женщиной, судьбу которой он связывает со своей. Эта тема и эта проблема не были изобретены автором: они уже были поставлены самой жизнью, и первыми читателями и слушателями рассказа Н. Бестужева были как раз участники

подлинной пережитой драмы на эту тему.* Аудитории Н. Бестужева были прекрасно известны и те решения проблемы, которые были уже даны в действительности.

Одно решение дал Михаил Орлов. Оно было в отказе от дальнейшей политической работы после женитьбы. В угодность родным своей будущей жены он «решил прекратить все сношения с членами Тайного Общества». Сейчас имеется иная концепция поведения Орлова,** — но именно *в таком свете* передает дело достаточно осведомленный И. Якушкин и, во всяком случае, такая интерпретация была распространена в декабристской среде. Иное решение и иной ответ дал в том же положении Сергей Волконский. Родным своей невесты он заявил, что лучше откажется от счастья, но не ре-

* Рассказ этот посвящен Александре Григорьевне Муравьевой, скончавшейся в 1832 г.; это посвящение и те сведения, которые сообщает М. Бестужев, позволяют датировать этот рассказ первыми годами пребывания в Петровском Заводе, т. е. 1830—1831 гг.

** С. Н. Чернов считал, что разрыв М. Ф. Орлова с Тайным Обществом («Союз Благоденствия») произошел на почве резких политических несогласий. Во время Московского совещания в 1821 г. М. Ф. Орлов приглашал приступить к решительным мерам революционного характера, — в частности предлагал устроить тайную типографию, выпускать фальшивые деньги с целью подрыва правительственного кредита и пр. Его предложения были отклонены, — и он вышел из состава Общества. И. Якушкин, которому принадлежит наиболее подробный рассказ об этом событии, считает крайние предложения Орлова на Съезде лишь сознательной маскировкой своего желания покинуть Общество, — однако С. Н. Чернов считает позицию Орлова совершенно искренной и честной. Его уход из Общества был вызван, по объяснениям С. Н. Чернова, разочарованием в нем и его несогласием с примирительной и половинчатой политикой, которую проповедовало большинство участников Съезда. Если бы Съезд принял программу Орлова, он, — полагал С. Н. Чернов, — отказался бы от «личного счастья» и всецело отдался бы политической деятельности (С. Н. Чернов. К истории политических столкновений на Московском съезде 1821 г. «Уч. зап. Сарат. университета», т. IV. Саратов, 1925, стр. 340). Концепция С. Н. Чернова встретила ряд возражений. См., напр., рец. А. Е. Преснякова («Былое», 1926, I); С. Б. Окунь. История СССР. Л., 1947, стр. 394—396.

шится изменить своим политическим убеждениям. Замечательно, что в рассказе Волконского нет ни слова об ответственности перед будущей женой, речь идет только об ответственности перед ее родными, но не перед ней самой. Но и сами родители не сочли нужным сообщать своей дочери о возможном риске, связанном для нее с этим браком.* И, действительно, М. Н. Волконская вплоть до катастрофы ничего не знала и не подозревала о существовании Тайного Общества и об участии в нем своего мужа.

Третью формулу решения этой проблемы находим в «Записках» Н. Басаргина. Он во всем открылся своей невесте и указал возможные последствия его участия в Тайном Обществе, но получил в ответ уверение в готовности разделить судьбу с любимым человеком. «И ее ответ, — добавляет рассказчик, — совершенно успокоил мою совесть». Жена Басаргина умерла еще до его ареста, и возможно, что этот эпизод в повествовании Басаргина — позднейшая стилизация. Но было так или не было — не важно. Важно, что такое решение и такая формула существовали в сознании среды, которая окружала Н. Бестужева. Розен открылся своей жене накануне восстания. «Ее ум и сердце все понимали», — гово-

---

* Сын декабриста, Е. И. Якушкин, тщательно собиравший и проверявший все декабристские предания и устные рассказы, ходившие в декабристской среде, так излагает это дело: «Почти в одно и то же время он ‹т. е. С. Волконский› и Орлов женились на двух сестрах Раевских, дочерях известного генерала 1812 года, Ник. Ник. Раевского. Н. Н. Раевский, знавший, что оба они принадлежат к Тайному Обществу, требовал, чтобы они оставили его, ежели хотят жениться на его дочерях. М. Орлов согласился, но Волконский, страстно влюбленный в Раевскую, отказал наотрез, объявя, что убеждений своих он переменить не может и что он никогда от них не откажется. Партия была так выгодна, что Раевский не настаивал на своих требованиях и согласился на свадьбу» («Декабристы на поселении. Из архива Якушкиных. Приготовил к печати и снабдил примечаниями Е. Е. Якушкин. М., 1926, стр. 51). Рассказ Е. Якушкина позволяет думать, что и М. Ф. Орлов мог бы настоять на браке без предварительных условий.

рит он.* По рассказу Н. Басаргина, жена его, вообще, предвидела участь будущих героинь декабризма. Однажды он читал ей поэму Рылеева «Войнаровский». «При этом я невольно задумался о своей будущности». — «О чем ты думаешь?» — спросила его жена. «Может быть и меня ожидает ссылка», — сказал я. — «Ну, что ж, я также приду утешить тебя, разделить твою участь. Ведь это не может разлучить нас, так об чем же думать, — прибавила она с улыбкой».** Были, наконец, случаи, когда участники заговора сознательно избирали себе в подруги жизни единомышленницу, — более того, это политическое единодушие лежало в основе самого брака.***

Сам Н. Бестужев отвергает все эти решения. Его личное решение является формулой сурового и ригористического самоотречения. Это — требование полного одиночества для революционера, члена Тайного Общества, суровое отречение во имя долга. По крайней мере такова художественная формула, которую он дает в своем рассказе и которая четко выражена уже в самом эпиграфе к повести:

Одна голова не бедна,
А и бедна — так одна.

Н. Бестужев был не одинок в таком решении вопроса; оно отражало, в сущности, общепринятое суждение передового русского общества того времени. Женитьба и семейная жизнь оправдывали в глазах многих уход от политической жизни и казались несовместимыми с участием в какой-нибудь тайной организации. На этом основании отошли от Общества Колошин, Горсткин и Зубков. Е. Оболенский показал на следствии, что «все сии члены женаты, а потому принадлежат

* А. Е. Розен. Записки декабриста. СПб., 1907, стр. 63.

** Записки Н. В. Басаргина, П., 1917, стр. 35.

*** Так рассказывал Шервуд, со слов Вадковского, о конногвардейце Барыкове, который женится потому, что «невеста мыслит хорошо», — и «это единственная причина, которая заставляет Барыкова на ней жениться». Цит. по книге М. Н. Покровского «Декабристы», стр. 41.

Обществу единственно по прежним связям».* Якушкин назвал в своем показании в числе членов Союза Благоденствия капитана Воронца, который «впоследствии объявил ‹Якушкину›, что он принадлежать к оному более не желает по семейным обстоятельствам».**

Рассказ «Шлиссельбургская станция»» имеет подзаголовок: «Истинное происшествие». Кроме того, его связь с некоторыми личными моментами нарочито подчеркнута в изложении. Автобиографичность рассказа подчеркивает и такой авторитетный свидетель, как М. Бестужев, который подробно рассказывает о происхождении этого рассказа. По его словам, этот рассказ написан в каземате, в период наибольшего процветания литературных занятий и вызван частыми вопросами дам, т. е. жен декабристов, «почему он не женат». Вместо прямого ответа он написал эту повесть; но так как, — повествует М. Бестужев, — «ему не хотелось сказать истины вполне,

* Восст. дек., т. I, стр. 240.

** Восст. дек., т. III, стр. 55. — Некоторые из арестованных декабристов наивно полагали, что семейный момент может служить смягчающим обстоятельством в глазах Следственного Комитета или самого Николая. Так, например, никто не хотел верить в возможность казни Рылеева (в том числе и сам Рылеев), так как он был семейным человеком. Каховский в одном из писем на имя Левашева отказывался от всех предоставленных ему льгот и умолял об облегчении судьбы тех, кого он считал своими «жертвами», тех, которых он «увлек» в Общество: Сутгофа, Панова, Глебова и Кожевникова. «У них у всех многочисленные семейства, которых я убийца. Панов имеет невесту, он помолвлен. Посудите о его положении» (Восст. дек., т. I, стр. 341). 9 марта 1826 г. Одоевского допрашивали специально о конституции Никиты Муравьева, о которой он до тех пор молчал. Одоевский дал соответственное показание и затем приписал к нему: «Если же я тот час не показал на капитана Муравьева как на сочинителя конституции, то да простят мне: я хотел поберечь его, как женатого человека» (там же, стр. 315). Некоторые участники Тайного Общества считали себя вправе ссылкой на семейство оправдать фактическую измену делу, как это, например, заявил Артамон Муравьев Андреевичу: «Я своего полка не поведу. Делайтесь вы там, как хотите, меня же оставьте и не губите; у меня семейство» («Кр. архив», т. XIII, стр. 43).

не хотелось обнаружить своей заветной любви перед чужими взорами, он выставил подставное лицо героини повести, в описании которой, впрочем, невольно отразился колорит характера любимой им женщины».

«Воспоминание о Рылееве» было задумано Бестужевым в том же плане. Он задумал дать не историческое повествование в строгом смысле слова, но построить его в виде художественного произведения. Его «Воспоминание о Рылееве» — своеобразная романтическая повесть, отличие которой от обычный повестей в том, что в ней нет никаких выдуманных, не существовавших в действительности, фактов. Такое построение явилось не случайно, не в результате какого-либо невольного отклонения от первоначального плана, но было выражением определенного замысла. Н. Бестужев очень отчетливо представлял разницу между методами работы историка и работы художника-писателя. В посмертном сборнике Н. Бестужева, где соединены вместе его научные и беллетристические произведения, легко проследить различные методы его в разрешении поставленных перед собою задач. В одном случае — строгая деловая речь, в другом — речь эмоционально образная. «Воспоминание о Рылееве», так же как неоконченный набросок с воспоминанием о дне 14 декабря, он развертывал в речах и диалогах, пересыпая литературными цитатами, портретными зарисовками, жанровыми сценами, сопровождая эпиграфом и т. д.

«Воспоминания о Рылееве» и рассказ «Шлиссельбургская станция» не только создавались одновременно, в одной обстановке, но и внешне были вызваны одной и той же причиной. Роль этого внешнего повода сыграл тот же запрос дам и товарищей. Он намеревался написать полную биографию Рылеева; написанный же им очерк мыслился автору только как некий эпизод, как отдельная частность задуманного обширного труда, выполнение которого, быть может, велось бы уже в другом плане. Его слушателей интересовали, главным образом, личные моменты биографии Рылеева, в частности,

моменты «таинственной и неразгаданной страсти». Это еще более определяет единую атмосферу рассказа и «Воспоминания».

В «Шлиссельбургской станции» революционер, член тайного общества, показан только с одной стороны, — в аспекте решения семейной проблемы. С этой же стороны, учитывая прямой запрос слушателей, зарисовал Н. Бестужев и своего Рылеева. Почти на всем протяжении повествования Рылеев является как семьянин: сын, муж, отец, наконец, любовник; потому-то такое большое место занимает в повествовании Бестужева эпизод с госпожей К. — рассказ о даме, которой увлекся Рылеев и которая оказалась впоследствии агентом правительства.

Некоторые исследователи считали этот эпизод просто выдуманным. Однако нет никаких оснований вычеркивать этот эпизод из биографии Рылеева. Ник. Бестужев, вообще, безукоризненно правдив в своем изложении. Если бы в данном случае был сплошной вымысел, этот рассказ не мог бы не встретить возражений со стороны других декабристов. Ведь «Воспоминание» было написано и читалось в среде, достаточно близкой Рылееву: здесь были и Оболенский, и Пущин, и Одоевский, и Штейнгейль. Когда рассказ Бестужева появился в печати — сначала у Герцена, — были еще живы многие декабристы. Обычно декабристы не оставляли без замечаний того, что они считали неверным или ошибочным. Наконец, и сам М. Бестужев сделал бы позже Семевскому какие-либо пояснения по этому поводу.

В бумагах Семевского сохранилось несколько замечаний Штейнгейля по поводу «Воспоминания о Рылееве». Они сделаны на полях составленной Семевским биографии Н. Бестужева, в которой автор обильно цитировал тогда еще запрещенный рассказ о Рылееве. Эпизод с госпожей К. Семевский ввел почти полностью в свое изложение. Против этого места Штейнгейль записал: «Весь этот эпизод помещать — мне кажется делом не совсем обдуманным со стороны Н. А. Б., особливо

выдавать в печать. И какое право, да и к чему это». Таким образом, Штейнгейль не оспаривает самого факта, но только протестует против его опубликования. В тех же бумагах Семевского находим еще одно подтверждение этого эпизода: Семевский записал свою беседу с М. И. Муравьевым-Апостолом; последний вполне подтвердил рассказ Н. Бестужева: «Полька К., действительно, была подослана к Рылееву Аракчеевым».

В рассказе Н. Бестужева об этом эпизоде не мало неясностей, но они вызваны особенностями художественного метода Н. Бестужева. В данном случае — тот же прием, которым он передавал свои интимные переживания. Он не хотел «до конца обнажить истину» и, строго сохранив биографическую основу (так же, как он сохранил в рассказе «Шлиссельбургская станция» основу автобиографическую), затушевал и завуалировал литературными деталями подлинные лица и подлинные факты.

Тесная связь рассказа и «Воспоминания» подчеркивается, наконец, и основным лейтмотивом обоих произведений. Это мотив предчувствия своей судьбы, мотив сознания неизбежности грядущей гибели. Этот мотив является обоснованием сурового отречения героя рассказа «Шлиссельбургская станция», и он же является стержневым в «Воспоминании о Рылееве». Рылеев в изображении Н. Бестужева — весь в предчувствиях. Его литературная деятельность, его разговоры с матерью и женой, его поведение накануне восстания — все отмечено печатью обреченности. И самое введение этого мотива и развертывание его построено в обоих произведениях по одному и тому же плану. В рассказе роль вещего предзнаменования играет страница Стерна, прочитанная в виду мрачных башен Шлиссельбургской крепости; в «Воспоминании» — страница самого Рылеева: знаменитые строки из «Исповеди Наливайки», которые Н. Бестужев поставил эпиграфом и с которых начинает свое повествование.

Подлинная драма, о которой повествуется в рассказе «Шлиссельбургская станция», преломлялась в привычных очертаниях

идущей от Радищева «чувствительной повести» и в «романтическом колорите» эпохи. Через призму романтической повести передан и образ Рылеева. Правда, он задуман был в ином плане и навеян образами античной героики. Известно, какую огромную роль играли в формировании мировоззрения декабристов великие памятники античной литературы, в частности античной политической литературы. Плутарх и Тацит были любимыми книгами. «Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас почти настольными книгами», — вспоминает И. Якушкин.* Замечателен его рассказ, как, под влиянием прочитанной в комнате Якушкина страницы из писем Брута к Цицерону, П. Х. Граббе отказывается от визита к Аракчееву, посетить которого он только что перед этим собирался.** Об аналогичных фактах свидетельствует и ряд других воспоминаний и показаний перед Следственной комиссией. На Плутархе воспитывались суровые вожди Общества Соединенных Славян — братья Борисовы; замечательными знатоками античной литературы были Лунин, Бригген, Никита Муравьев и многие другие.

Эта античная, героическо-республиканская традиция отразилась и в декабристских мемуарах и в поэзии Рылеева, и она же определила собою образ его у Николая Бестужева. Республиканским пафосом античности проникнуты его речи и диалоги, и сам он (в повествовании Бестужева) заставляет свою мать вспоминать о Бруте.

Но этот образ революционера-трибуна оказался включенным в орбиту романтического стиля. Брут 14 декабря стал героем романтической повести. Отсюда эти черты в его характеристике и внешнем облике: он «восторжен» и «чувствителен», его глаза «сверкают», «лицо горит», его «восторженные чувствования» сопровождаются бурными и порывистыми движениями — он «бросается на шею», «рыдает», «слезы выступают»

---

* Записки И. Д. Якушкина, изд. 7-е, М., 1925, стр. 26.

** Там же.

у него при каждом благородном поступке, они «катятся градом» при чтении повести, напоминающей собственные переживания, и т. п. и т. д. Общие стилистические формулы тесно и неразрывно сплетены с чертами подлинной действительности и непосредственных переживаний.

Как уже сказано, ограниченный, узко исторический (позволим себе сказать: архивный) подход к мемуарам, по большей части, неприменим; в данном же случае он был бы вообще неправильным. Нельзя подходить к бестужевскому портрету Рылеева как к копии «настоящего Рылеева». Созданный им образ — не кусок выхваченной подлинной действительности, но прежде всего именно «образ», литературный портрет, который и нужно расценивать так, как расценивается всякий художественный портрет, литературный или живописный, т. е. как художественное обобщение, как определенную форму выражения и воплощения художественного сознания; в нем сочетаются стремление к максимальной точности в изображении подлинной действительности с выражением собственной оценки понимания ее.

8

Вопрос о происхождении «Воспоминания» разъяснен Мих. Бестужевым недостаточно полно и не может объяснить до конца возникновение этого произведения Н. Бестужева. Рассказ М. Бестужева может объяснить лишь то, почему Н. Бестужев наиболее подробно остановился на э т о й стороне биографии Рылеева. Основная же цель его «Воспоминаний», конечно, значительно шире и глубже. Нет никакого сомнения, что рассказ о Рылееве мыслился как часть общих воспоминаний о 14 декабря; этот замысел остался незаконченным, и Николай Бестужев с тоской говорил об этом перед смертью.

Перед Н. Бестужевым вставала прямая задача реабилитации Рылеева. Из разных источников мы знаем, что в казематах, особенно в Чите, события 14 декабря и последующие факты — следствие, суд, поведение во время суда — служили

предметом самых жарких дебатов, острота которых очень долго не утрачивалась: раздавались взаимные обвинения, возникали ссоры и т. д. Об этих спорах и ссорах упоминает и М. Бестужев; он считает очень благотворной идею соединения всех осужденных на каторжные работы в одном месте, но первые месяцы жизни в Чите он вспоминал как какой-то «бестолковый сон» и «кошмар»: «постоянный грохот цепей, топот снующих взад и вперед существ, споры, прения, р а с с к а з ы о з а к л ю ч е н и и, о д о п р о с а х, о б в и н е н и я и о б ъ я с н е н и я — одним словом, кипучий водоворот, клокочущий неумолчно и мечущий брызгами жизни». Конечно, не раз должно было служить предметом горячих споров и поведение Рылеева, — особенно на следствии, вызывая у одних недоумение, у других — прямое осуждение. Раздавались обвинения в трусости, в растерянности и т. д. Многие склонны были считать себя жертвой его чрезмерной откровенности. Не для всех было ясно и его поведение в самый день восстания. И. Якушкин, сам не бывший на площади и даже отсутствовавший в Петербурге, выступая в своем очерке «14 декабря 1825 г.» в качестве историка, обобщавшего разнообразные свидетельства и рассказы, писал о «растерянности» Рылеева в момент восстания. Как можно судить по некоторым косвенным свидетельствам, жертвой показаний Рылеева считал себя Якубович. Завалишин уже совершенно явно, без всякого стеснения, закидывает грязью образ Рылеева, развязно противопоставляет его себе и даже намекает на отсутствие у него достаточных нравственных критериев.

В этой-то обстановке и задумал Ник. Бестужев представить товарищам и потомкам свою концепцию облика Рылеева. Хулителям и скептикам нужно было противопоставить правильное истолкование всего поведения Рылеева, раскрыв подлинные черты его личности, показав его как страстного патриота-революционера, величие и благородство образа которого не могут поколебать даже отдельные проявления слабости или какие-либо действительно свершенные ошибки.

В изложении Н. Бестужева Рылеев неизменно предстает как человек безупречной нравственной чистоты, как бесстрашный революционер, как настойчивый и неутомимый организатор, как человек, для которого благо родины всегда было выше всех других ценностей.*

В связи с этим Н. Бестужев дает и свою концепцию поведения Рылеева на допросе. Имея в виду острые казематские споры по этому поводу, он предупреждает, что данное суждение есть лишь его «собственное мнение», заключение, которое он вывел и из своих собственных показаний и из тех показаний Рылеева, которые до него доходили. Он прямо говорит, что «положительных доказательств» у него нет, и тем самым еще раз подчеркивает гипотетический характер своих суждений.

Основное обвинение, выдвигавшееся неоднократно против Рылеева (и частично сохранившееся до наших дней), состояло в том, что Рылеев был чересчур откровенен и, кроме того, раскрыл ряд фактов, которых не следовало бы раскрывать и которые так и остались бы неизвестными, не будь показаний Рылеева на следствии; были упреки и в прямых выдумках Рылеева на следствии, делавшихся якобы в целях самосохранения. Н. Бестужев не отрицает этих фактов, но он стремится уяснить их себе в свете общих задач революционной тактики. Поведение Рылеева на следствии он рассматривает как стремление широко развернуть программу Общества и придать ему бóльшую значительность. Таким образом, то, что некоторые принимали за растерянность или даже за трусость, за стремление к самосохранению, даже чуть ли не за предательство,

* Завалишин писал свои «Записки» в семидесятые годы, т. е. когда уже не оставалось никого из крупных деятелей движения, — он выступал, таким образом, пользуясь предоставленным ему судьбой последним словом. Характерно, что он в своих «Записках» ни единым словом не упоминает о воспоминаниях Н. или М. Бестужевых, которые, конечно, были ему хорошо известны. Но вся часть «Записок» Завалишина, посвященная Рылееву, звучит как определенная полемика и с обоими Бестужевыми и с другими авторами, писавшими о 14 декабря и о Рылееве.

Н. Бестужев объясняет сознательным расчетом революционера.*

Поведение декабристов во время следствия — их чрезмерная откровенность, их многочисленные взаимные оговоры, заявления о раскаянии и часто даже просьбы о помиловании — неоднократно обсуждались историками и писателями, вызывая у одних недоумение, у других — суровое осуждение. Так, например, некоторые историки называли поведение декабристов на суде позорным, лишенным чувства собственного достоинства и обусловленным, во многих случаях, трусостью. Другие объясняли такое поведение декабристов отсутствием у них подлинной революционности, что с наибольшей силой и резкой наглядностью и сказалось, по мнению этих авторов, во время следствия. Все эти объяснения и оценки, однако, очень далеки от истины и, в лучшем случае, могут объяснить лишь поведение каких-либо второстепенных и случайных участников движения, которых было немало. Но они совершенно бессильны объяснить поведение таких людей, как Рылеев, как Пестель, как Сергей Муравьев-Апостол, А. Поджио и многие другие. Правильную интерпретацию этих фактов можно дать и в данном случае, лишь исходя из ленинского определения декабризма. Поведение декабристов на суде расценивалось обычно с точки зрения позднейшей революционной тактики и сопоставлялось с поведением позднейших революционеров. На незаконность такого рода сравнений и сопоставлений ясно указывает Ленин. Ленин говорит о существенной разнице «между дворянской революционностью декабри-

---

* Довнар-Запольский полагал, что Пестель и Сергей Муравьев-Апостол склонны были преувеличивать размеры заговора, быть может, с тайной целью запугать правительство (М. Довнар-Запольский. Мемуары декабристов. Киев, 1906, стр. XI). Замечания же по этому поводу Н. Бестужева нуждаются в некотором ограничении: Ряд фактов, о которых сообщил Комитету Рылеев, Н. Бестужеву мог быть просто неизвестным ввиду той строгой конспирации, которой придерживался Рылеев до 14 декабря.

стов, — разночинно-интеллигентской революционностью офицеров-народовольцев, — и глубоко демократической, пролетарской и крестьянской, революционностью солдат и матросов в России двадцатого века...»*. Дворянские революционеры, декабристы не сумели выйти из круга классовых представлений и не сумели освободиться от иллюзий относительно своего класса и потому-то так легко попались в сети, искусно расставленные ареопагом судей во главе с царем. Не будучи в состоянии порвать до конца нитей, связывающих их со своим классом, многие декабристы приняли за подлинный образ личину «монарха-реформатора», в которой явился перед некоторыми из них Николай. Отсюда и то обилие, «в помощь государю», различных записок, раскрывавших современное состояние страны и намечавших первоочередные реформы (записки и письма А. Бестужева, показания Каховского, письма Штейнгейля, Якубовича, Батенкова и др.). Следует учесть и то, что декабристы были первыми, поднявшими революционное восстание против самодержавной власти, и что за ними не стояло никакого опыта революционной борьбы и революционного поведения на суде. И только очень немногие сумели выработать правильную и безукоризненную линию поведения на допросах, как, например, Лунин, Репин, Николай и Михаил Бестужевы и, особенно, — наиболее чуждые своему классу, — «славяне», хотя и в их среде было не мало таких же случаев временного малодушия, растерянности и излишнего доверия к власти (в числе этих временно не устоявших оказался и такой пламенный революционер и демократ, как Горбачевский).

«Воспоминание о Рылееве» Н. Бестужева свидетельствует, что вопрос о революционном поведении после ареста уже в какой-то степени возникал перед декабристами, но остался лишь намеченным и не выработанным до конца, — и, во всяком случае, это поведение в силу классовой ограниченности восстав-

* В. И. Ленин, Соч., т. 11, стр. 133.

ших не могло быть последовательно до конца. В своем объяснении причин поведения Рылеева Н. Бестужев, естественно, еще не мог дать классового анализа, но психологические мотивы (являющиеся, по существу, выводом из этой классовой позиции) им намечены правильно: он с большой полнотой и глубоким проникновением сумел обрисовать отношение чистого сердцем, глубоко честного лично и потому всегда верящего в людей Рылеева к обещаниям и уверениям царя.

Николай Бестужев особенно настаивает на полном отсутствии у Рылеева моментов личной заинтересованности и, особенно, мотивов самосохранения. Совершенно правильно, в полном соответствии со ставшими известными позже подлинными протоколами допросов, он утверждает, что Рылеев не давал каких-либо «ложных показаний на лица» и не прибегал ни к каким «уловкам для своего оправдания». Наоборот, «принимая все на свой счет, он выставлял себя причиною всего, в чем могли упрекнуть Общество». «Признаюсь чистосердечно— говорил сам Рылеев, — я почитаю себя главнейшим виновником происшествия 14 декабря, ибо я мог остановить оное, и не только сего не подумал сделать, а напротив еще преступною ревностию своею служил для других, особенно для своей отрасли, самым гибельным примером».*

Вместе с тем Н. Бестужев отчетливо понимал, что многое является результатом той душевной депрессии, которую пережили почти все заключенные. В его записных книжках

---

* Восст. дек., I, стр. 185 (показание Рылеева 24 апреля 1826 г.). В показании его, после этих слов, далее сказано: «Словом, если нужна казнь для блага России, то я один ее заслуживаю и давно молю Создателя, чтобы все кончилось на мне и все другие чтобы были возвращены их семействам, отечеству и доброму государю» и т. д. (там же, стр. 185). И в самом первом своем ответе, 16 декабря 1825 г., Рылеев, обманутый коварным лицемерием царя, писал, обращаясь к нему: «прошу об одной милости: будь милосерд к моим товарищам: они все люди с отличными дарованиями и с прекрасными чувствами. Твое милосердие сделает из них самых ревностных верноподданных и обезоружит тех, кои пожелают итти по следам нашим» (там же, стр. 155).

сохранилась знаменательная, с трудом разбираемая, запись, характеризующая состояние заключенных, покоящаяся, быть может, и на собственных переживаниях: «Попеременно все жалки, все [не разобр.] и, наконец, повергались в какое-то бессилие и утомление, которое было хуже смерти». Одной из причин этой депрессии являлась и инквизиционно-иезуитская тактика Следственного Комитета и самого царя. Н. Бестужев дает отчетливую характеристику этой тактики: «Комитет, — пишет он, — употреблял все непозволительные средства: вначале обещали прощение; впоследствии, когда все было открыто и когда не для чего было щадить подсудимых, присовокупились угрозы, даже стращали пыткою. Комитет налагал дань на родственные связи, на дружбу: все хитрости и подлоги были употреблены...». По мнению Николая Бестужева, Рылеев до конца «не изменил своей всегдашней доверчивости и до конца убежден был, что дело окончится для нас благополучно».

Эти страницы воспоминаний Н. Бестужева имеют не только важное историографическое значение как ценнейший материал для истории движения и судеб его участников, но они сыграли крупную роль и в жизни самих декабристов, явившись первым опытом самоосознания своего поведения. Они показывают, что декабристы, в лице наиболее прозорливых и глубоких своих мыслителей, сумели довольно рано разобраться в той сложной психологической ситуации, в которой очутился Рылеев, и вместе с тем осознать и свою роль во время заточения и следствия; для многих чутких натур, не могших простить себе минут слабости и колебания, приводивших порой к тяжелым последствиям для других, это было чрезвычайно важно. Этот своевременный анализ, несомненно, помог им не отойти друг от друга, не подчиниться временному раздражению и злобному чувству, которое не могло не возникать при очных ставках и взаимных разоблачениях, — более того, он помог преодолеть такого рода настроения и создать в тюрьме целостный коллектив, единство которого не смогли

сломать неизбежные в таких условиях отдельные факты несогласий, недружелюбия и т. п. явлений, о которых с таким смаком и вкусом любил распространяться Завалишин. Позже на анализе своего поведения и поведения товарищей на суде останавливались Поджио, Лунин и др. По существу они ничего, кроме незначительных подробностей, не добавляют к словам Бестужева. Его вдумчивый анализ, несомненно, сыграл очень важную роль в дальнейших оценках и суждениях декабристов об основных этапах их исторической драмы. И именно Бестужев положил начало той интерпретации образа Рылеева, которую мы встречаем неизменно (за ничтожным исключением) в декабристских мемуарах.

Для того чтобы сыграть такую роль, нужно было обладать не только ясным и трезвым умом историка, но и таким огромным нравственным авторитетом, какой завоевал Н. Бестужев. Именно потому-то он и смог явиться первым в своей среде историком собственного дела, и потому-то его оценки и воззрения оказали такое мощное воздействие и на последующие записки самих декабристов и тем самым на историческую науку.

9

Литературно-художественный характер «Воспоминания о Рылееве» ни в коей мере не снимает вопроса о его историческом значении. Художник не заслонил в авторе историка. Одно дело — толкование, психологическая характеристика, личная интерпретация тех или иных фактов биографии и другое дело — установление самих фактов и их изложение. Здесь уже всецело вступает в свои права историк. И с этой стороны мемуары Н. Бестужева почти безупречны, они не только не могут хоть сколько-нибудь быть заподозрены в своей достоверности, но, наоборот, должны быть причислены к наиболее верным и правдивым повествованиям о событиях 14 декабря и их подготовке. Каждый раз, когда сообщаемые Н. Бестужевым факты удается подвергнуть документальной проверке,

их правильность и точность неизменно подтверждается. Приведем несколько примеров. Н. Бестужев сообщает о письме Пушкина к Рылееву с замечаниями по поводу поэмы «Войнаровский»: «... при изображении палача, где Рылеев сказал „вот засучил он рукава...“, Пушкин вымарал это место и написал на поле: „Продай мне этот стих!“». Письмо Пушкина не сохранилось, но что оно действительно было, можно судить по ответному письму Рылеева, которое дает возможность судить и о характере замечаний Пушкина. Но, кроме того, сохранилось письмо Пушкина к Вяземскому, в котором он пишет: «„Чернец“ [поэма Козлова] полна чувств и умнее „Войнаровского“. Но в Рылееве более замашки или размашки в слоге. У него есть там какой-то палач с засученными рукавами, за которого я дорого бы дал».

Чрезвычайно важным моментом в рассказе Н. Бестужева является сообщение о сомнениях его в силе Общества, которое он высказал Рылееву. Этому рассказу вполне соответствуют показания при допросах его и брата его Александра. «Я часто спрашивал Рылеева, — писал Н. Бестужев в одном из своих показаний, — есть ли у нас в Обществе люди значительные и имеющие какую-нибудь силу», — и т. д.*

Совершенно подтверждается всеми известными источниками рассказ о доносе Ростовцева и о том, как он был принят Рылеевым, — этот рассказ замечателен еще тем, что наглядно иллюстрирует четкость и трезвость поведения Н. Бестужева в дни подготовки восстания. Оболенский, ссылаясь на слова Ростовцева и его уверения, что он не назвал никаких имен, склонен был преуменьшать значение его доноса и внушал эту мысль Рылееву. Иную позицию занял Н. Бестужев. Во-первых, он усомнился в безусловной правдивости сделанного Оболенскому признания Ростовцева; во-вторых, отчетливо понимал, что это отсутствие имен, если оно и имело место, ровно ничего не значит, ибо, если завтра Николай снова позо-

* Восст. дек., т. II, стр. 74; см. также стр. 81.

вет к себе Ростовцева и потребует от него дополнительных сведений и, в частности, раскрытия имен, — это будет сделано. Рылеев полагал, что, если бы Ростовцев дал более подробные указания, начались бы уже аресты, — Н. Бестужев же считал, что до присяги Николай не решится начать аресты. Н. Бестужев совершенно безошибочно определил ситуацию. По прямому свидетельству Боровкова, Николай не хотел начинать царствования арестами до присяги. «Если же будут беспорядки».., «тогда и аресты никого не удивят».*

Вместе с тем до сих пор не было опубликовано никаких материалов, которые опровергали бы какие-либо сообщения Николая Бестужева. Историческая достоверность воспоминаний Бестужева может считаться вполне доказанной, что и обеспечивает им виднейшее место среди других памятников декабристской историографии. Очень важен и сохранившийся отрывок о 14 декабря. Несмотря на свою лапидарность, он очень выразительно, в выпуклых художественных образах, изображает настроения восставших перед решившим исход дела выступлением артиллерии.

Выше уже было отмечено, что воспоминания Н. Бестужева являются и самыми ранними и что они писались в товарищеской среде и сразу же были отданы на товарищеский суд и товарищескую проверку. Несомненно, при чтении был внесен ряд коррективов, которые так или иначе нашли место в окончательной редакции; следы таких выяснений и проверок достаточно отчетливо сохранились и в тексте. Так, например, в рассказе о совещании накануне 14 декабря Н. Бестужев подробно выясняет возникшее по этому поводу противоречие с некоторыми из товарищей. Все это усугубляет важное историческое значение мемуаров Н. Бестужева.

Но Н. Бестужев неоднократно напоминает, что пишет не историю Общества, а только биографию Рылеева, — поэтому

---

* «Рус. стар.», 1898, XI, стр. 333; см. также: Н. Шильдер. Император Николай I, т. I, стр. 508.

фигура поэта является доминирующей и центральной в его рассказе. Образ Рылеева служит композиционным центром, вокруг которого стягиваются и располагаются детали события. Именно здесь и объединились художник и историк. Художник подсказал историку форму обобщения, историк помог художнику насытить ее конкретным историческим материалом. В образе Рылеева раскрывается бестужевское понимание революционного восстания 14 декабря: движение было с роковой неизбежностью обречено на гибель, под впечатлением и тяжестью этого сознания действовали и выступали его главнейшие участники. Этот же романтический мотив обреченности является центральным в рассказе Н. Бестужева о своей незавершившейся любви; он же, вероятно, был бы положен и в основу предполагавшегося продолжения мемуаров. По крайней мере, об этом заставляет думать сохранившаяся заметка в записных книжках, фиксирующая одно из тюремных переживаний: «Мне не видно было ничего кроме неба, — неужели это предзнаменование моей участи, что мне уже никакой надежды не осталось, кроме надежды на вечность». Сознание своей обреченности и своего одиночества лежит в основе рассказа о неудавшейся личной жизни; в сознании обреченности на гибель восстания — смысл повести о Рылееве. Эта концепция оказала сильнейшее влияние на всю дореволюционную историографию; она встречается и в других памятниках декабристской литературы. Впервые формулированная Н. Бестужевым, она, по всей вероятности, отражала не только его личное мнение. Якушкин вспоминает, как он по дороге в крепость «Форт Слава» (в Финляндии) доказывал А. Бестужеву, что восстание было преждевременно и незакономерно.* Та же мысль об обреченности и преждевремен-

* Якушкин так рассказывает об этом споре: «На одной станции, где мы обедали в особенной комнате, завязался очень живой разговор между мной и А. Бестужевым о нашем деле; я старался доказать ему, что истинное наше назначение состояло в том, чтобы быть основанием

ности восстания лежит и в основе его записки о 14 декабря.* Эта точка зрения отражена и в «Воспоминаниях» Поджио. Говоря о неудаче восстания, он мимоходом роняет характерное замечание: «удачи и быть не могло».** Неизменно подчеркивает отсутствие твердой уверенности в успехе и Оболенский; по его рассказу, заговорщики действуют, повинуясь некой неотразимой необходимости и лишь повинуясь долгу чести.***

Это концепция разбитой социальной группы. Боявшиеся связи с широкими массами, остро осознавшие полную свою изолированность в недрах собственного класса, первые дворянские революционеры-декабристы, в лице своих типичнейших мыслителей и писателей, воплощали в разных формах — в мемуарной литературе, беллетристике, лирике — сознание этого одиночества и обреченности. Оно в лирике Одоевского и Кюхельбекера, оно — в мемуарах Оболенского, Поджио, Якушкина, Штейнгейля и др. и оно же ярче всего — в художественной прозе Николая Бестужева.

Представления о жертвенном характере революционного выступления 1825 г. перешли из мемуаров и в историческую науку и в литературу. Они лежали в основе декабристской концепции Герцена и Огарева и позже были укреплены авторитетом Плеханова, рассматривавшего революционное выступление 14 декабря как своего рода вооруженную демонстрацию. Опираясь всецело на «Воспоминания» Ник. Бестужева, он утверждал, что «некоторая часть» декабристов «сознательно

великого здания, основанием под землей, никем не замеченным; но что мы вместо того захотели быть на виду для всех, захотели быть карниз. — „И потому упали вниз“, сказал наш фельдъегерь, стоявший сзади меня и о присутствии которого мы совершенно забыли. На этот раз его вмешательство было так кстати, что мы все расхохотались» (Записки И. Д. Якушкина, изд. 7-е, стр. 104—105).

* «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ», т. I, М., 1931, стр. 165—178.

** Там же, стр. 52.

*** Е. Оболенский. Воспоминания. «Общественные движения в России в первую половину XIX века», т. I, СПб., 1905, стр. 250.

шла на мученичество».* Эту же точку зрения усвоила и либеральная историография, охотно снижавшая подлинный революционный пафос и революционную действенность восставших. Довнар-Запольский утверждал, что для большинства соучастников заговора была совершенно ясна безнадежность предприятия и что на этой точке зрения целиком стояли и Рылеев и Николай Бестужев. «Восстание было организовано исключительно для будущего»,— категорически заявлял он.**

Ошибочность такого рода объяснений совершенно бесспорна. Само «Воспоминание» Н. Бестужева с его рассказом о напряженной и энергичной работе по подготовке восстания опровергает такое толкование.*** Психологически трудно допустить, чтобы при полном сознании безуспешности и обреченности предполагаемого выступления, видя в нем лишь

---

* Г. В. Плеханов. 14 декабря 1825 г. Гос. Издат., П., 1921, стр. 17; Полн. собр. соч., т. X.

** М. В. Довнар-Запольский. Декабрьская революция 1825 г. «Голос Минувшего», 1917, I, стр. 19, 35 и др. — В доказательство Довнар-Запольский ссылается на Одоевского, который, — как уверяет автор, — «только и твердил»: «Умрем! Ах, как славно мы умрем!» (там же, стр. 35). Эти слова Одоевского приводятся чуть ли не всеми авторами, разделяющими концепцию обреченности, в качестве какого-то абсолютно неопровержимого аргумента. Но, во-первых, Одоевский не «твердил» их постоянно, а воскликнул так лишь однажды, когда решено было начать действия; во-вторых, эти слова являются лишь выражением революционного энтузиазма и патриотической готовности к самопожертвованию. Готовность умереть за идею не вяжется с отсутствием веры в ее победу. Так же следует понимать и слова Одоевского, т. е. если заговорщикам придется погибнуть, то эта смерть будет славной, и, конечно, их ни в коем случае не следует понимать как призыв только к жертвенной гибели. Одоевский призывал к смерти во имя торжества дела. Точно так же, конечно, мыслил и Бестужев-Рюмин, когда в своем обращении к «южанам» призывал умереть за святое дело.

*** См. исследование М. В. Нечкиной «План государственного переворота в день 14 декабря 1825 г.» («Исторические записки», т. 27. М. 1948, стр. 96—141).

«пример для будущего», так настойчиво и внимательно разрабатывали вожди заговора план восстания и организации власти после переворота. Анализ разработанного и принятого плана восстания показывает, что он был вполне продуман и вполне осуществим. Накануне восстания была уверенность в большом количестве войск, был определенный расчет на артиллерию, на энергичное и опытное боевое командование. Составителями плана восстания были учтены, — и, как показали последующие события, учтены правильно, — неизбежная растерянность Николая и недостаточная активность правительственных войск. А. Е. Пресняков считает глубоко правильной и вполне реальной мысль Рылеева, «что надо нанести первый удар и что малейший успех поведет к усилению восставших колеблющимися и к дезорганизации правительственной партии».* Большой расчет был у составителей плана и на поддержку Юга, который должен был немедля подняться, как только дойдет до него известие о событиях в столице. Ник. Бестужев довольно подробно говорит о своих сомнениях и о недостаточной уверенности в своих силах, — но сомнение не есть отчаяние и, тем более, не сознание обреченности, — раздумье и сомнения не мешали действованию. Очень любопытен рассказ Свистунова о Трубецком. Стремясь во что бы то ни стало оправдать его поведение в день восстания, Свистунов утверждает, что Трубецкой согласился принять начальствование «лишь по неотступной просьбе главных деятелей и по мягкости своего характера»; по мнению Свистунова, Трубецкой надеялся «своим хладнокровием и трезвым взглядом на вещи умерить пыл Рылеева и Оболенского».** Объяснение Свистунова — явно несостоятельно, но его рассказ очень

* А. Е. Пресняков. 14 декабря 1825 г. Л., 1925, стр. 106.

** Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1920-х годов, т. II, М., 1933, стр. 269—270. Свистунов находился в декабрьские дни 1825 г. в Петербурге и вел переговоры с Трубецким в качестве представителя петербургских членов Южного Общества. Сам Свистунов высказался против восстания.

любопытен как свидетельство современника о подлинных настроениях Рылеева и Оболенского накануне выступления. Твердо верил в успех и Пущин, незадолго перед 14-м возвратившийся из Москвы и тотчас же принявший непосредственное и весьма энергичное участие в подготовке восстания. Накануне 14-го он писал в Москву Фонвизину: «Когда вы получите сие письмо, все будет решено... мы уверены приблизительно в 1000 солдатах... Случай удобный. Если мы не будем действовать, мы заслужим имя подлецов»,* т. е. Пущин полагал, что было бы позорно не воспользоваться складывающейся ситуацией, — настолько он был уверен в успехе. Наконец, и позже далеко не все декабристы считали восстание обреченным на неудачу. Фонвизин категорически утверждает, что успех был возможен; так же ду́мал и Розен. Да и сам Ник. Бестужев основную причину неудачи видел лишь в создавшемся безначалии: «во всех заговорщиках, — писал он в своих поздних заметках, — столько было самопожертвования, так мало было самолюбия, что никто из них не готовил себя к первым ролям, и потому, когда Общество осталось без головы, оно нашлось au dépourvu [т. е. врасплох]». Но его объяснение вскрывает лишь один момент в цепи причин, приведших первое русское революционное выступление против императорской власти к поражению. Эти причины коренились в самой сущности дворянской революционности. Безначалие имело, безусловно, огромнейшее значение; не меньшую роль сыграло и крушение планов на приход артиллерийских войск, но и при этих условиях поражение еще не было предопределено: нужно было только решительно перестроить план и, учтя сложившуюся обстановку и новые обстоятельства, опереться на народные массы, участие которых изменило бы настроения колеблющихся и пассивных воинских частей, при-

---

* П. Попов. М. Ф. Орлов и 14 декабря («Кр. Архив», т. XIII, стр. 166). Пущин говорит в данном письме лишь о 1000 солдат, — в день же восстания их было около 3000.

веденных Николаем и также еще стоящих в бездействии. Народ же только ждал сигнала и призыва, и его все растущая энергия уже внушала страх Николаю и его свите. Но этого сигнала и не могли дать декабристы.

Возможное изменение ситуации признавали позже и некоторые декабристы. Розен в своих «Записках» доказывал полную реальность плана восстания. «Две тысячи солдат и вдесятеро больше народу были готовы на все по мановению начальника... Солдаты <на площади> не поддавались ни угрозам ни увещаниям».* По его словам, в случае начала решительных действий на сторону восставших перешли бы и измайловцы, среди которых было много участников заговора, и артиллеристы, орудия которых стояли под прикрытием взвода кавалергардов, которыми командовал член Тайного Общества, И. Анненков.** М. Бестужев также утверждает, что измайловцы, избившие утром Ростовцева, ждали лишь удобной минуты, чтоб соединиться; таково же было настроение и конногвардейцев.

Все это свидетельствует, что декабристы шли на площадь с большими шансами на успех и менее всего думая о сознательной пассивности и о принесении себя в жертву.*** Идеи «жертвенности» и «обреченности» возникли позже и ни в коем случае не могут привлекаться как историческое свидетельство, — но они сохраняют силу как историческая легенда, как литературная формула, как выражение художественного самосознания декабристов после 14 декабря. В последекабрьском творчестве Н. Бестужева с наибольшей силой отразилось скорбное и трагическое сознание раздавленного поколения. Художественным воплощением этого сознания явился образ Рылеева,—

---

* А. Розен. Записки декабриста. СПб., 1907, стр. 70—71.

** Там же.

*** По свидетельству Ник. Бестужева, вполне был уверен в успехе восстания и Батенков. «Вся вероятность к успеху несомненна, <говорил он>, станем ожидать и надеяться! И что совестно сим случаем не воспользоваться». (Восст. дек., т. II, стр. 77).

отсюда идут и корни дальнейшей Рылеевской легенды. Подлинно революционные черты его биографии и поэзии стираются и окутываются мистико-романтическим туманом предчувствий и предвещаний; в их очертаниях растворяется реальный образ действенного революционера: страстного агитатора и настойчивого организатора. Образ Рылеева становится символом неудавшейся — вернее, обреченной на неудачу — революции. В нем с наибольшей полнотой отразилось мироощущение определенной социальной группы, — и с этой стороны «Воспоминание о Рылееве» может быть названо центральным памятником декабристской литературы после 14 декабря. Трагическое осознание гибели восстания и бесплодно принесенной жертвы лежит и в основе песни Михаила Бестужева: «Пережить нельзя мысли горестной, что не мог купить кровью вольности».

10

Наличие художественного начала характерно и для «Записок» Михаила Бестужева; но они неоднородны по составу и характеру. Своеобразное их построение определяется историей их текста. То, что обычно именуется «Записками» или «Воспоминаниями» М. Бестужева, не является каким-либо целостным произведением, подобным ряду других аналогичных памятников, вышедших из среды декабристов (напр. «Записки» Якушкина, Розена, Басаргина, Лорера, Горбачевского и др.). По внешнему виду — это отдельные рассказы или очерки, отдельные замечания, заметки, справки, примечания и т. д.

Этот кажущийся на первый взгляд пестрым состав «Записок» М. Бестужева объясняется тем, что они возникли до некоторой степени случайно, в результате обращения к нему запросов и справок. Правда, М. Бестужев рассказывает, что в Селенгинске они вместе с братом Николаем задумали написать ряд биографий товарищей в дополнение к выполненной Н. Бестужевым серии портретов, — но этот замысел так и остался

неосуществленным. К тому же, как можно судить по контексту, инициатива принадлежала не ему, а старшему брату.

В данном же случае стимулом послужили письма и вопросы М. И. Семевского. Семевский был одним из первых собирателей материалов о декабристском движении и одним из первых его историков. Свои изучения он начал с братьев Бестужевых: Александра и Николая. В процессе собирания материалов он узнал о существовании в Селенгинске «последнего представителя этой фамилии» — М. А. Бестужева, к которому и обратился с рядом вопросов. «Селенгинский изгнанник, — вспоминал позже Семевский, — оказался человеком, исполненным еще бодрости, энергии, увлечения, человеком, в высшей степени искренним и откровенным. С величайшей готовностью отвечал он, и весьма иногда пространно, на наши вопросы. Целые тетради посылались из Селенгинска в Петербург, и заочное знакомство, несмотря на шесть тысяч верст, разделявших новых знакомых, весьма прочно завязалось и обратилось в самую тесную приязнь».* Семевский же дал и правильную внешнюю характеристику рассказов, которые составили фонд «Записок» М. А. Бестужева: «не представляя собой стройного, систематического изложения событий, его „Записки“, не будучи в строгом смысле „Записками“, суть не что иное, как ответы на вопросы».

Таким образом, М. Бестужев писал не «Записки», не мемуары в строгом смысле этого слова, но именно о т в е т ы н а в о п р о с ы, — и это обстоятельство обусловило и их историческую значимость, и их стиль. В них как бы отсутствует сознание а в т о р с т в а. Составитель ответов думал не о публике, не о художественной обработке, а исключительно о том, чтоб быть полезным отдаленному корреспонденту и доставить е м у материал для е г о исторической работы. В одном из писем к М. Семевскому он очень четко и ясно определил характер своей работы: «Я пишу не для печати, но набрасываю

---

* «Рус. стар.», 1881, XI, стр. 592.

кое-какие свои мысли единственно для вас; делайте из них что угодно». М. Бестужев очень мало думал о внешней форме и стиле, но исключительно о содержании, он не думал о какой-либо художественной обработке, однако отдельные его рассказы невольно для него вылились в форму художественных очерков автобиографического характера. Таков был очерк о брате Александре, который, неожиданно для самого автора, был помещен Семевским на страницах журнала «Русское слово». Такой же характер исторической новеллы имеет рассказ о происхождении песни о Черниговцах и Муравьеве, и др.

Первоначально М. Бестужев не предполагал, что его рассказы будут опубликованы в таком виде, как он набрасывал их на бумагу, — не заботясь о форме и стиле; но это полное отсутствие оглядки на читателя сделало их своеобразным памятником, исключительно ценным по своему историческому значению. Нужно добавить, что Семевский очень умело ставил вопросы, вследствие чего создалась большая полнота ответов, охвативших в своей совокупности основные моменты и революционной деятельности Бестужевых, и их семейной жизни, и жизни на поселении. Отсюда же и их внешний вид: несистематичность, разбросанность, частое возвращение к одному и тому же, повторяемость, разнопланность и т. д. Так, например, он трижды рассказывает об отце: в воспоминаниях о брате Александре, в заметках «об отце, учителях и друзьях» и в примечаниях к статье М. Семевского о Н. Бестужеве; дважды подробно рассказывает о Торсоне; в той же главе об учителях и друзьях и в заметке, озаглавленной «Штейнгейль и Одоевский», несколько раз рассказывает о докторе Ильинском, и мн. др. Однако все эти возвращения к уже бывшей теме не представляются простыми воспроизведениями рассказанного ранее, но каждый раз сопровождаются новыми деталями, характерными штрихами, дополнительными фактами.

Но отсюда же и точность ответов Мих. Бестужева,* их

* Он, правда, неоднократно, особенно в ответах и заметках 1869 г., жалуется на свою память, особенно в воспроизведении имен и хроно-

искренность и глубокая внутренняя честность. По собственному его признанию, он писал в них иногда и то, что «должно быть навсегда сокрыто от постороннего взора простого любопытства». Когда же Семевский предложил ему продолжить воспоминания о брате Александре (Марлинском), он наотрез отказался, не считая возможным писать о том, что «не видел собственными глазами» или «не знал из достоверных источников». Это было бы, — писал он Семевскому, — «грехом против истины и священной памяти брата моего».

Но Семевский не ограничивался только получением ответов на свои вопросы. Он стремился побудить М. Бестужева — написать свои мемуары, написать законченное и цельное повествование о своей жизни. Под его прямым воздействием М. Бестужев приступил к составлению мемуаров, избрав образцом, как он сам рассказал, знаменитые воспоминания итальянского революционера Сильвио Пеллико, озаглавленные им «Le mie prigioni» — «Мои тюрьмы». Под впечатлением последних он давал то же самое заглавие и своим мемуарам: «Мои тюрьмы». Это заглавие определяло и характер замысла М. Бестужева. В отличие от своего старшего брата, который все время лелеял план написать историю заговора и восстания, М. Бестужев предполагал сделать центром повествования рассказ о своей последующей жизни. «Мои тюрьмы» — это три основных этапа его биографии после 14 декабря: Петропавловская крепость и Шлиссельбург; казематы (Чита и Петровский Завод); Селенгинск — «та же тюрьма, только более просторная», как он характеризовал свою жизнь на поселении. Рассказ о 14 декабря являлся лишь, по его плану, вступлением к основному повествованию.

Из писем к Семевскому можно проследить и историю создавания этих незавершившихся мемуаров. Он начал их писать, по всей вероятности, в самом конце 1860 г. или в начале 1861 г.

логических дат, но неизбежные ошибки его — очень немногочисленны и почти все легко выправляются по приводимым им же сообщениям или по документам его архива, или воспоминаниями других лиц.

26 мая 1861 г. он сообщил Семевскому, что первая часть «Моих тюрем», озаглавленная им «Алексеевский равелин», уже закончена. Летом того же года работа значительно продвинулась, но, по его неосторожности, большая часть написанного погибла, став жертвой детской шалости. Осенью того же года он вновь приступил к работе, но вследствие различных семейных и хозяйственных забот возобновленный труд опять прекратился. В феврале 1862 г. он грустно каламбурит, что его «Тюрьмы» еще не покинули «тюрьмы его черепа», — однако дает обещание редакции «Русского слова» обязательно закончить их и прислать к осени. Но в том же 1862 г. он вынужден из-за опасения обыска, который намерен был учинить у него ретивый исправник, уничтожить и сжечь все написанное. А затем, после тяжелого потрясения, вызванного внезапной смертью любимого сына, работа окончательно прекратилась, и лишь только через семь лет, после личного свидания с М. Семевским в Петербурге, М. Бестужев вновь обратился к давно оставленному труду, — но успел написать только три главы: «Братья Бестужевы», «Азбука» и «14 декабря». Тогда же написаны и дополнительные очерки о друзьях и рассказ о том, как создалась песня о Муравьеве.

Таким образом, задуманная в плане «Моих тюрем» автобиография так и не была осуществлена. Но элементы этого неосуществленного замысла иногда проскальзывают и в его ответы, придавая им тем самым особую выразительность и силу. Таков ответ на вопрос о времени заточения и переводов из одного места в другое. М. Бестужев сопроводил его небольшим предисловием, ярко оттеняющим эмоциональность этого ответа. «Этот простой, короткий вопрос — для ответа вызывает длинную эпопею тех страданий, которые пишутся кровью, разбавленною желчью душевных мук». Несомненно, — как это явствует из тех же писем к Семевскому, — этот вопрос и был первичным стимулом к плану составления своей автобиографии, в центре которой должно было явиться изображение пережитого в тюрьме.

Так как данный ответ дублирует одну из поздних глав «Записок» и так как он был помещен в «Полярной звезде» Герцена, то было высказано предположение, что это специальная редакция, особенность которой обусловлена местом ее публикации.* Но это неверно. М. Бестужев писал эту главу в виде «ответа» и совершенно не предполагал ее к печати. Особый же колорит этой главы, ее повышенная эмоциональность объясняется тем взволнованным настроением, которым был охвачен ее автор (о чем свидетельствуют и вступительные к ней строки). Этот ответ был, вместе с тем, и первым эскизом уже тогда задуманной, но не завершенной автобиографии.

Особый характер этого ответа отчетливо осознавал и сам Бестужев; он счел даже нужным оговорить этот момент в письме к Семевскому: «подробности о 14 теперь еще писать неуместно... некоторые я поместил в ответах, может быть некстати увлекшись, но я уверен, что они будут для вас интересны в том отношении, что помогут проникнуться духом того настроения, той атмосферой, в которой мы должны были действовать».

Свои «ответы» он рассматривал как добросовестные свидетельские показания, но многие из них, как и некоторые его письма, написаны рукой художника, и в них мы встречаем замечательные пейзажные зарисовки (например картина разыгравшегося буерака), меткие образные характеристики, жанровые сценки и пр. Яркий пример — острые и живые характеристики преподавателей и начальников его старшего брата: Лукина, Тимашева, Гамалеи, Василевского; все они написаны рукой превосходного мастера и свидетельствуют о выдающемся художественном даровании М. Бестужева.

Особый характер имеют очерки 1869 г.: «14 декабря» и «Азбука». Они являются уже не фрагментарными рассказами-ответами, но представляют собою целостные очерки мемуар-

---

* Так думал и редактор «Воспоминаний» Бестужевых в изд. «Огни»— П. Е. Щеголев.

ного типа (хотя некоторые элементы «ответов» в них также сохранились) и резко отделяются от всего остального повествования. Они носят ярко выраженный литературный характер: перед нами уже не просто рассказчик-свидетель, каким М. Бестужев является в своих ответах, но рассказчик-автор, ставящий и разрешающий определенные художественно-композиционные задачи. Обе эти главы построены в диалогах, изобилуют сравнениями, характеристиками, дают ряд литературных портретов (Рылеев, Якубович, супруги Борецкие, казематский священник, фигуры солдат на площади и крепостных сторожей), пересыпаны лирическими излияниями и т. д.

Значительную часть главы о 14 декабря занимает рассказ Борецкого, и его принято рассматривать как одно из самых важных свидетельств о дне восстания.* Но, если сопоставить рассказ Борецкого с предшествующим ему рассказом самого М. Бестужева о событиях этого дня, то легко убедиться, что Борецкий, в сущности, не сообщает ничего нового. Оказывается, он как будто видел только то, что и сам М. Бестужев.

Но это не простое дублирование рассказа Бестужева; это — своеобразное развертывание основной темы: тема и вариации. Рассказ Борецкого изобилует целым рядом художественных деталей и художественных обобщений. В длинном (совершенно неправдоподобном в данных условиях) монологе Борецкий развертывает серию батальных и жанровых сцен, художественных зарисовок отдельных эпизодов и т. п. Такова картина площади:«... народ... запрудил всю площадь и волновался, как бурное море. В волнах этого моря виднелся небольшой островок — это был ваш каре. В противоположность урагану, крутящемуся около него, оно стояло недвижимо, спокойно, безмолвно. Только ветер колыхал иногда высокие султаны их киверов и временные проблески света на

* В качестве такового он включен, например, в единственную научную хрестоматию, посвященную декабристам: Декабристы. Сборник отрывков и источников. Центрархив, Л., 1926.

небе — прыскали искры на окружавшую его толпу, отражаясь на гранях штыков их... это была поразительно прелестная картина». Или описание натиска конницы: «...видел, как полки, словно грозные тучи, облегали ваш маленький островок, видел, как понеслась на вас кавалерия, как плавно склонились штыки, как опрокидывались кони с всадниками, наткнувшись на эту стальную щетину, и с каким диким остервенением толпы народа отразили второй натиск поленьями дров...». Такой же характер имеет описание отступления Бестужева со своим отрядом по льду реки к Академии художеств и ряд других сцен. Борецкий же подробно рассказывает и о настроениях толпы на площади и улицах смятенного города.

Таким образом, здесь применен мастерский художественный прием. Борецкий понадобился Бестужеву, чтобы взглянуть со стороны на то же самое, о чем он только что рассказывал как непосредственный участник. В Борецком объективировались позднейшие настроения и думы. Он в рассказе Бестужева как бы подводит итог, делая это в том же художественном плане. «Я видел, как пришли к вам матросы гвардейского экипажа, потом лейб-гренадеры, видел смерть их полкового командира, видел торжественное шествие митрополита во всем облачении и великого князя Михаила, уговаривавшего московцев положить оружие, видел, как смертельно раненный Милорадович, шатаясь на седле, поскакал прочь от непокорных солдат, и, наконец, услышал роковой выстрел из пушки, положивший конец этой страшной фантасмагории». Аналогичным художественным образом заканчивает М. Бестужев и рассказ о сентенции и казни: «И смешно-ужасен был этот адский карнавал».

Эта художественно обобщающая картина, конечно, ретроспективна, как ретроспективен и весь рассказ Борецкого. Это — итог позднейших воспоминаний и позднейших размышлений, которые и нашли свое воплощение в художественных образах рассказа Борецкого. Эти страницы являются

замечательным художественным и историческим памятником, но они не могут служить безусловным историческим документом.

Элементы ретроспекции, вообще, не редки в воспоминаниях М. Бестужева. Позволим себе остановиться на трех, особенно важных и характерных, случаях. М. Бестужев рассказывает, как уже вечером 13 декабря он высказал Рылееву свои сомнения относительно Якубовича. В ответ же на возражения Рылеева заметил: «Храбрость солдата не то, что храбрость заговорщика». Однако трудно допустить, что уже тогда так четко и глубоко мог формулировать эту мысль юный Бестужев. Тогда для такой формулы еще и не было соответствующих данных.* Такое заключение могло сложиться лишь гораздо позже, при анализе поведения Якубовича, Трубецкого, Булатова. Позднейшее происхождение этой формулы ясно и при сопоставлении с другими источниками: можно думать, что в казематскую эпоху она была уже общим суждением, сложившимся в результате разнообразных обсуждений, бесед и споров. Аналогичное замечание находим и у А. Поджио. Рассказав о трагической судьбе Булатова, он добавляет: «И вот случай заметить кстати, насколько разнится мужество гражданское от военного. Насколько он был блистательно храбр в поле, настолько был мрачно малодушен в темнице».** Может быть, занося в свои мемуары это замечание, он вспоминал при этом и собственные показания на следствии, когда и ему, человеку безусловной военной доблести, изменили мужество и уверенность.

---

* Ретроспективной является, конечно, только самая формула, т. е. обобщающая оценка поведения Якубовича, — сомневаться же в самом факте опасений М. Бестужева за надежность Якубовича едва ли возможно. Эти опасения, видимо, вопреки Рылееву, разделял и Александр Бестужев. На следствии он заявил: «в нем, <Якубовиче>, было более хвастовства, чем мужества» (Восст. дек., I, стр. 446).

** Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, т. I, стр. 49.

В плане учета ретроспективных моментов повествования Михаила Бестужева особенного внимания заслуживает его рассказ о народных настроениях в день 14 декабря и его настойчивое указание на возможную помощь народа, которая могла бы по-иному повернуть судьбы восстания. Из всех декабристских мемуаров воспоминания М. Бестужева отличаются наибольшим вниманием к народным и солдатским массам, бывшим на площади в день восстания. Боязнь народного восстания была существеннейшим моментом декабристской политической мысли и она, как уже было сказано выше, в значительной мере определила и тактику и результат выступления.

Эти настроения, в основе которых лежат недоверие к народу и опасения его стихийной силы, отчетливо сквозят и в мемуарах декабристов. Одни совсем не упоминают о народе и его роли на площади (Оболенский, Фонвизин), — другие, как, например, Штейнгейль, говорят о нем со страхом и тревогой, опасаясь возможного восстания крепостных и дворовых, третьи как будто совершенно игнорируют революционные возможности народа и третируют его как «толпы зевак» (А. Беляев) или просто как «чернь» (Н. Бестужев). И даже Розен, видевший в присутствии тысяч народа силу, могущую содействовать успеху, полагал, что восставшим пришлось бы «и удерживать народ». Поджио, писавший свои воспоминания также уже в глубокой старости и припоминая свои настроения юных лет, делал характерное признание: «народ костнел в рабстве, в невежестве, и мы избегали его, избегали этого взрыва, который уподобился бы пороховому заговору в Англии». «Мы обошли эти силы», — писал он.*

Среди всех этих высказываний воспоминания М. Бестужева резко выделяются своим отношением к готовому восстать народу. Он говорит об этом не только без тревоги и опасения, но с явным энтузиазмом и восторгом. Он несколько раз

* Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, т. I, стр. 52.

возвращается к поведению народа на площади и в своем собственном рассказе и в рассказе Борецкого. Он с упоением передает и восторженные обещания народа умереть вместе с восставшими и насмешливые восклицания по адресу императора. Он констатирует спокойное мужество народа, не шелохнувшегося после первой картечи, и не только без какого-либо страха или тревоги, но с явным сочувствием рассказывает об «остервенении» народа, поленьями отражавшего второй натиск кавалерии.

Точно так же в его рассказе и солдаты не являются той аморфной и серой массой, как в прочих декабристских мемуарах. Он подчеркивает их стойкость и сознательность и с глубокой любовью и симпатией зарисовывает отдельные фигуры. Зарисованный им яркий образ ефрейтора Любимова — единственное изображение в декабристской литературе участника восстания — солдата.

Несомненно, этот демократический колорит и это осознание значения народной стихии в восстании — позднейшего происхождения. Все это принадлежит не Михаилу Бестужеву 14 декабря: на площади М. Бестужев, как он сам рассказывает, был в числе тех, кто уговаривал народ разойтись. Очевидно, тогда революционная энергия народа также несколько страшила его, и уж, во всяком случае, тогда ему не приходило в голову использовать ее для целей собственного выступления. И вообще, едва ли имеются основания предполагать, что социально-политическая позиция М. Бестужева сколько-нибудь решительно и заметно отличалась от соответственной позиции его братьев и Рылеева.

Настроения и характер «Записок» М. Бестужева отражают ту эволюцию, которую ему суждено было пережить в последующие годы. Казематы и ссылка явились для него школой демократизма, — и эти позднейшие настроения определили и характер его писавшихся уже на склоне лет воспоминаний. Наиболее рельефно отобразились они в «Азбуке», где приняли форму даже несколько сантиментального народничества. Он передает свой разговор с прислуживавшим ему сторожем (он

называет его «божественным солдатиком»). «Не можешь ли ты отнести записки к брату», — спросил он его. «Пожалуй, можно, — был ответ, — но за это нашего брата гоняют сквозь строй». «Я содрогнулся преступной мысли, — рассказывает М. Бестужев. — Я готов был упасть на колени перед таким нравственным величием одного из ничтожных существ русского доброго элемента, даже не развращенного тюремным воспитанием». В качестве контраста ему вспоминается холодный и бездушный австриец, бывший тюремщиком Сильвио Пеллико.

Михаилу Бестужеву «вспомнились» в этот миг «Записки» Сильвио Пеллико... Но в 1825 г. он не мог знать этих «Записок», ибо они появились только в 1833 г., — и он читал их уже в Петровском Заводе или, быть может, даже в Селенгинске. В этом эпизоде с наибольшей отчетливостью обнаружился ретроспективный характер и ретроспективное происхождение этих настроений.

Демократический колорит воспоминаний и новые интересы их автора проявляются и во внимании к ссыльно-каторжным обитателям Петровского Завода. Обычно все мемуаристы проходят мимо них, точно не замечая их присутствия и совершенно не интересуясь их судьбой. Некоторое внимание уделено каторжникам Нерчинского Завода в воспоминаниях Марии Волконской, но это интерес чисто экзотический, да и к тому же они интересуют Волконскую лишь в их связях с декабристами.

Мих. Бестужев — единственный из всех декабристских авторов, писавших о пребывании в сибирских тюрьмах, в частности о Петровском Заводе, кто останавливается на положении рабочей массы Завода, которую он скорбно именует «отверженным элементом». Он не останавливается подробно на этой теме, посвятив ей всего лишь две-три странички, — но по своей яркости, по глубокой симпатии к обездоленной массе каторжных и ссыльных рабочих, по пронизывающему эти страницы гуманистическому чувству эти страницы воспоминаний Бестужева уже предвещают последующий ряд

замечательных произведений русской литературы, посвященных изображению «мертвых домов» и «мира отверженных» (Достоевский, Чехов, Мельшин и др.).

11

Наличие ретроспективных элементов ни в коем случае не подрывает исторического значения «Записок» М. Бестужева. Наоборот, они должны быть причислены к лучшим и вполне достоверным историческим свидетельствам о восстании 14 декабря и жизни в тюрьме и ссылке. В исследовательской литературе были отмечены некоторые отдельные неточности и ошибки в рассказах М. Бестужева, — однако почти все такого рода критические замечания касаются отдельных частностей, иногда просто мелочей, и не колеблют их исторической ценности в целом. Ряд случаев «аберрации памяти» М. Бестужева отмечал А. Е. Пресняков. Он считает, в частности, нереальным рассказ М. Бестужева об его попытках остановить бегущих, чтобы, построив новую колонну, направиться к Петропавловской крепости.* Но единственной ошибкой М. Бестужева в данном случае является лишь указание на местонахождение правительственной батареи, выстрелы которой разрушили его замысел. Рассказ же его в целом вполне сохраняет свою силу и значение. О своей попытке построить колонну на льду М. Бестужев рассказал и на следствии, придав только этому эпизоду новое освещение, далекое от его подлинных планов.** Ряд ошибок перешел в «Записки» М. Бестужева из очерка о 14 декабря И. Д. Якушкина; не вполне точны, как это установил Габаев, приводимые М. Бестужевым сведения о количестве восставших рот в Московском

* А. Е. Пресняков. 14 декабря 1825 г. Л., 1925, стр. 131—132.

** Восст. дек., т. I, стр. 486: М. Бестужев уверял, что он хотел вести собранных им людей ко дворцу, чтобы повергнуть их и себя «к стопам монарха».

полку,* и т. д. Можно еще добавить, что М. Бестужев неправильно описал последний семейный обед 13 декабря, не указав на его организационное значение и забыв о присутствии на нем Рылеева; встречаются ошибки в рассказах о жизни в сибирских тюрьмах, — но все это отдельные и случайные мелочи, к тому же легко почти каждый раз исправимые. В сущности, было бы удивительно, если бы в мемуарах, написанных через 35 лет (а последние главы — почти через 45) после описываемых событий, не было никаких ошибок и неточностей. Нужно удивляться не тому, что такие ошибки существуют, а тому, что их так мало. Приходится поражаться силе памяти М. Бестужева, свежести его переживаний, позволивших ему с такой четкостью и художественной выразительностью воссоздать картину восстания и образы его деятелей. Самый характер его ошибок, сводящихся, в конце концов, к отдельным мелким неточностям, еще более подчеркивает общую и безусловную правдивость его повествования в целом.** И Михаил и Николай Бестужевы могут с полным правом повторить слова Герцена, сказанные им о своих мемуарах: «Я мог ошибиться, но уже не мог не говорить правды».***

Глубокая правдивость мемуаров М. Бестужева обусловлена и той точкой зрения, которая лежит в их основе и которая сообщает им их глубокую внутреннюю цельность и единство. Каждый мемуарист предпринимает свой труд во имя той или иной определенной задачи, — и правильный учет замысла и цели автора дает ключ для анализа объективности, точности

---

* М. Габаев. Гвардия в декабрьские дни 1825 г. Приложение к книге А. Е. Преснякова «14 декабря 1825 г.», стр. 175. — Еще ранее поправку к этой части рассказа М. Бестужева сделал А. Сутгоф («Былое», 1907, IV).

** Следует подчеркнуть, что тот же А. Е. Пресняков, наиболее подробно останавливавшийся на «аберрации памяти» М. Бестужева, ставит его «Записки» на первое место среди всех прочих свидетельств современников о дне 14 декабря.

*** А. И. Герцен, Полн. собр. соч., под ред. М. Лемке, т. IX, стр. 81 (Письмо к М. К. Рейхель).

и исторической достоверности его рассказов. Воспоминания декабристов написаны в большинстве случаев с их позднейших позиций, когда они уже, по словам Некрасова, «устали свой крест нести» и когда «покинул их дух гнева и печали». Многие декабристы отошли от своей былой революционности, от идей республиканизма, от ненависти к самодержавному строю: большинство ушло в лагерь умеренного либерализма, а некоторые оказались уже на крайнем правом фланге русской общественности.

В 1854 г. сын декабриста, Е. И. Якушкин, писал своей жене о грустном впечатлении, которое произвели на него сибирские встречи с бывшими революционерами 1825 г. «Казалось бы, — писал он, — что сосланные в Сибирь и прожившие в ссылке тридцать лет должны были бы ставить на пьедестал то дело, за которое они столько лет страдают, — ничуть не бывало. Большая часть из них смотрит на это дело совсем не так и ставит его гораздо ниже, чем оно должно стоять».* «Большая часть, — добавляет он, — ударилась в мистицизм, и поэтому прежние понятия не совсем сходятся у них с новыми».** В качестве исключений он называл лишь своего отца, Пущина и Волконского, поразившего его своей ненавистью к дворянству.***

Некоторые из декабристов стали под конец жизни прямыми апологетами православия и самодержавной власти, — в их числе оказался и такой, некогда пылкий, революционер, как Оболенский, — что привело к глубокому разрыву между ними и новым поколением русской передовой демократической интеллигенции. Возник даже иронический термин: «возвра-

* Письма Е. И. Якушкина к жене из Сибири. 1855 г. — «Декабристы на поселении. Из архива Якушкиных. Приготовил к печати и снабдил примечаниями Е. Е. Якушкин». М., 1926, стр. 30.

** Там же.

*** Там же, стр. 51. Е. Якушкин упоминает в данном письме лишь о тех декабристах, которых он встретил во время своей поездки: ему не пришлось встретиться ни с Горбачевским, ни с М. Бестужевым, которых он, конечно, также бы включил в свой перечень стойких.

щенный декабрист».* К такому типу «возвращенных декабристов» принадлежали Штейнгейль, Беляев, Завалишин, в воспоминаниях которых отчетливо проявились новые настроения их авторов и, в частности, новая оценка самого дела 14 декабря. Воспоминания Беляева и Штейнгейля написаны людьми, далеко ушедшими от своего прошлого и стремящимися оправдать в глазах своих новых союзников свое прежнее поведение, — отсюда и неоднократно отмечавшееся обилие фактических ошибок в их рассказах. Очень часто извращается историческая действительность и в воспоминаниях Трубецкого, пером которого руководило стремление двойной реабилитации: и «реабилитации» самого заговора, и своей роли в нем.** Наиболее же ярким примером могут служить воспоминания Завалишина. В письме к графу Н. П. Игнатьеву он рассматривал свои «Записки» как необходимый обществу и правительству опыт «изыскания причин», «как порождающих революции, так и препятствующих успеху борьбы с ними».*** Правда, данное письмо можно рассматривать как официальный документ, но аналогичные заявления встречаются и в его статьях и в самих «Записках».*** Он внутренне чужд тому

* Этот термин пустил в ход Некрасов («Медвежья охота»), но он же пытался примирить декабристов с новым поколением, оправдывая былых борцов их усталостью; более непримиримую позицию занял Салтыков-Щедрин. В середине семидесятых годов он задумал написать рассказ «Паршивый»: «Чернышевский или Петрашевский, все равно. Сидит в мурье, среди снегов, а мимо него примиренные декабристы и петрашевцы проезжают на родину и насвистывают: „Боже, царя храни“ . . . И все ему говорят: „Стыдно, сударь! У нас царь такой добрый — а вы что!“» [Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч., т. XVIII. Письма. Книга первая. М., 1937, стр. 323—324].

** См. превосходный анализ «Записок» Трубецкого, сделанный Н. М. Дружининым («Декабристы и их время». М., 1932, стр. 23—43).

*** Ю. Г. Оксман. Д. И. Завалишин в борьбе за опубликование своих «Записок». Сб. «Декабристы. Неизданные статьи и материалы». «Тр. Пушкинского Дома», Л., 1925, стр. 192—194.

**** Весьма характерно одно примечание в «Записках»: он приводит свой разговор с новым комендантом Ребиндером; последний выражал

делу, которому посвящены его воспоминания, и это налагает специфический отпечаток на все его повествование в целом.

Иной характер имеют воспоминания Якушкина, Горбачевского, М. Бестужева; они проникнуты идеей защиты «своего дела», его исторической целесообразности, его высокой нравственной силы. Горбачевский писал свои «Записки», выполняя завет Сергея Муравьева-Апостола. «Если вы останетесь в живых, — говорил Муравьев Горбачевскому, — я вам и приказываю как начальник ваш по Обществу нашему, так и прошу как друга... написать о намерениях, цели нашего Общества, о наших тайных помышлениях, о нашей преданности и любви к ближнему, о жертве нашей для России и русского народа».* Пропагандистские цели ставили перед собою и братья Бестужевы: донести до современников и грядущих поколений одушевлявшие их благородные идеи, во имя которых принесли они в жертву свою жизнь, сохранить светлые образы вождей и рядовых участников движения, возбудить ненависть к деспотизму. «Воспоминание» Н. Бестужева — апология Рылеева и революционного восстания. Этот очерк представлялся ему лишь началом работы, ее первым этапом, за которым должны были последовать образы других участников движения, чтоб создать в итоге полную и целостную историю последнего. В центре «Записок» М. Бестужева — рассказ о судьбах восстания и о расправе Николая; отсюда и их заглавие, для которого он использовал пленившую его формулировку Сильвио Пеллико. Николай Бестужев своим очерком вызывал восхищение перед героически-обаятельным обликом патриота-рево-

---

удивление, что «такой человек, как Завалишин, решился принять участие в насильственном перевороте» (Д. Завалишин. Записки декабриста..., стр. 117).

* Записки и письма И. Горбачевского. Под ред. Б. Е. Сыроечковского. М., 1925, стр. 341: данный рассказ Горбачевского находился в письме его к М. А. Бестужеву (от 12 марта 1861 г.); там же он сообщает, что этот наказ Муравьева был дан «ночью с 14 на 15 сентября 1825 г., под Лещиным, во время их последней личной встречи».

люционера, Михаил — рассказом о тюрьмах внушал гнев и негодование против деспотизма.

Вяземский правильно учуял «опасную злободневность» этих рассказов о, казалось, столь далеком прошлом. Его злобная оценка — не простое брюзжание дряхлого реакционера и ренегата, старающегося забыть лучшие страницы своей жизни, — она продиктована не только злобой, но и страхом перед тем духом революции, которым повеяло со страниц исторических журналов. Ему хотелось думать, что дело декабристов и сами они давно забыты, что «предания о них успели заглохнуть, а вот теперь, — негодует он, — журналисты по примеру Герцена» «стали подогревать остывшие и забытые предания». Вяземского страшит этот «апофеоз декабристов», и он очень откровенно раскрывает причины своих опасений: «подобные изображения вроде Плутарха могут иметь сильное влияние на молодые умы. Может быть, и сам Нечаев не зачитался ли этих повествований и не разгорелся ли подогретыми преданиями».* Действительно, Вяземскому было о чем тревожиться, — и пример Герцена наглядно показывал, какое действенное и меткое оружие в борьбе с самодержавием и крепостничеством представляли воспоминания о Рылееве, о дне 14 декабря, о суде и о сибирских тюрьмах.

«Записки» М. Бестужева — в первом ряду тех памятников, которые вызывали восхищение Герцена и негодование реакционеров. Для него его прошлое не стало «забытым преданием» или лишь только «историческим эпизодом». В них сохранился пылкий энтузиазм заговорщика и бьет ключом неугасимая ненависть к деспотизму и его презренным слугам. Эмоциональный рассказ, сохранивший романтическую восторженность и романтические формулы двадцатых годов, то воскрешает пленительные образы борцов революции от Рылеева до почти безыменных унтер-офицеров, то кипит негодованием против судей. С гневным сарказмом вспоминает он о Николае,

* Летописи Лит. Гос. музея, кн. III, стр. 496.

которого неизменно иронически именует «Незабвенным», рассказывает о «иудиных поцелуях» царского брата, с нескрываемым и неослабевшим презрением зарисовывает образы «сыщиков в рясе» или ничтожные фигуры дворцовой челяди, издевающейся над пленниками власти. С юношеской страстностью — точно не было этих сорока лет, которые отделяли его от «святого дня» 14-го, — он клеймит «унизительные поступки» Якубовича и восторгается «оплеухой», которую дал «в рожу» Ростовцеву Оболенский.

Было бы ошибочно утверждать, что в личной жизни М. Бестужев остался до конца своих дней тем же, кем был он в 1825 г. или в годы казематской жизни. Тяжелая борьба за существование в условиях ссылки отразилась и на нем. Усилились его религиозные настроения, — и если раньше они составляли элемент его романтического мироощущения, то теперь они приобретают уже самодовлеющее значение, хотя и в этот период его не покидает презрение и отвращение к проявлениям религиозного ханжества, какие иногда наблюдались у его товарищей по делу и ссылке. Не сумел он разобраться до конца и в сущности «реформаторской деятельности» Александра II и не переставал верить в его «доброе» и «благородное» сердце, хотя не раз с возмущением отмечал его поворот «на путь Незабвенного». Но ни притупление политической остроты, мешавшее ему порой до конца разобраться в позиции Каткова, ни вынужденные компромиссы не изгладили в нем старого «декабристского закваса»; «дух гнева» не покинул его, — и это чувствуется чуть ли не в каждой странице его рассказов и ответов, хотя многие из них писались уже рукой семидесятилетнего старика.

С лишком тридцать лет отделяют «Записки» М. Бестужева от «Воспоминания о Рылееве» его старшего брата, — и, однако, эта разница не ощущается не только в настроении и общем характере повествования, но даже и в стиле. Написанные в шестидесятые годы, они донесли еще черты романтических настроений и романтической литературы начала века. Для

характеристики литературной манеры М. Бестужева очень важен его «Дневник путешествия из Читы», относящийся к 1830 г. В основе его лежат записи Штейнгейля, которые М. Бестужевым только расширены и дополнены. Несколько суховатые страницы Штейнгейля М. Бестужев оживляет элементами мечты и лирики. «Душа и сердце мое были настроены к поэзии. Прекрасные картины природы, беспрерывно сменяющие одни других, новые лица, новая природа, новые звуки языка, тень свободы хотя для одних взоров...». «Спокойной ночи вам, луна, звезды, и все красоты дикой природы!». Это — не путевой дневник арестанта, но типичное для начала прошлого века романтическое путешествие. Этот романтический колорит окрашивает и написанную на каторге песнь о Муравьеве, и позднейшие рассказы о восстании, и ответы на вопросы о жизни в тюрьме и ссылке.

Любопытно сравнить только что процитированные строки «Дневника» с некоторыми из лирических концовок путевых очерков Николая Бестужева: «Прощай, благословенная Андалузия! Желание возвращения на родину смешивается с грустью при мысли, что взоры наши, уставшие видом моря, неба, туманов и камней, не отдохнули на вечно зеленых виноградниках. Прощай! Синяя полоса берегов уже исчезла...».* Так наглядно обнаруживается единство стиля обоих братьев; то же романтическое отношение к жизни, тот же романтический стиль характерен и для творчества их младшего брата, Петра Бестужева.

12

До недавнего времени имя Петра Бестужева было известно лишь по его скорбной биографии. Несколько строк о нем в «Записках» М. Бестужева и упоминания в письмах А. Бестужева-Марлинского уже позволяли думать, что замечательные

* Н. Бестужев. Рассказы и повести старого моряка, стр. 144 (очерк «Гибралтар»); такого же типа концовка очерка «Толбухин маяк» (там же, стр. 125) и др.

дарования Петра Бестужева остались не раскрытыми. Но оба брата лишь вскользь касались его литературных опытов, видимо не придавая им большого значения, и останавливались более подробно лишь на его трагической судьбе, которая, действительно, принадлежит к наиболее мрачным страницам «кавказской каторги» декабристов.

«Незаслуженные обиды, — писал о нем Александр Бестужев, — врезали в его сердце глубокую мизантропию, в ум — глубокую меланхолию... Он изранен, изувечен, и никакого покоя, никакого улучшения его жизни, ни одного дружеского лица около... Это ужасно. Данте поместил бы крепость Бурную в свою Divina comedia и эта глава была бы — сильнейшая».* В крепости Бурной Петр Бестужев подвергался всевозможным издевательствам и унижениям от своих непосредственных начальников. «Кроме здоровья физического, он потерял здесь, — пишет в другом письме А. Бестужев, — драгоценнейшее для человека — свой разум, и тому виной было бесчеловечное обхождение с ним его двух начальников».** Только после потери рассудка Петр Бестужев получил возможность возвратиться домой и умер в доме умалишенных.

В декабристском движении Петр Бестужев заметной роли не играл. Некоторые исследователи утверждают даже, что он не был членом Тайного Общества. Это неверно. Он был принят незадолго перед восстанием и, в свою очередь, принял Чижова. В одном из последних совещаний у Рылеева ему было поручено поднять совместно с Арбузовым Гвардейский экипаж, что он и выполнил, явившись помощником своего брата Николая.***

Но как ни было кратковременно пребывание в рядах Тайного Общества Петра Бестужева, его ни в коем случае нельзя

* Письма А. А. Бестужева-Марлинского к Н. А. и К. А. Полевым, писанные в 1831—1837 годах. «Рус. вестн.», 1861, III, стр. 313.

** Там же, стр. 331.

*** Роль Петра Бестужева в восстании до сих пор не освещена полностью. Хорошо осведомленный о событиях в Гвардейском экипаже

назвать случайным декабристом. Его участие в восстании было совершенно органичным: он позже других братьев вступил в Тайное Общество, но это только потому, что старшие братья желали сохранить его, в случае своей гибели, как будущую опору семьи и не вовлекали в заговор. Но его вступление в Тайное Общество было столь же закономерным, как и его братьев. Его развитие шло по тому же общему бестужевскому пути и отражало их общие интересы. Вместе с братьями он увлекается литературой и театром, так же, как и они, изучает серьезную научную литературу, так же, как и они, задумывается над политическими проблемами и вырабатывает определенный кодекс нравственного поведения. Он разделяет их отношение к существующему рабскому и тираническому строю, разделяет их патриотические и республиканские убеждения и так же, как они, считает свое участие в Обществе делом чести.

Его «Памятные записки», ставшие известными лишь в недавнее время, и публикуемые в настоящем издании письма свидетельствуют, что некоторые бестужевские черты сказались у него наиболее ярко и выпукло. Именно в нем с наибольшей остротой проявились суровые требования к жизни, требования от себя и окружающих моральной чистоты и строгой принципиальности. Идейное содержание его «Записок» отражает те же проблемы, что волновали и его братьев до 14 декабря и которые поднимал в своих поздних «Записках» М. Бестужев, но в них — и наиболее ярко в письмах — с большей силой

Ф. П. Литке в своей автобиографии категорически утверждает, что Гвардейский экипаж «увлекли на площадь» Бестужевы (В. П. Безобразов. Граф Ф. П. Литке, т. I. 1797—1832. СПб., 1888, стр. 109). Ф. П. Литке вращался в кругу декабристов; зимой 1824—1825 гг. он и Врангель часто бывали на «чашке чая» в кружках моряков-декабристов (там же, стр. 110), а с Н. Бестужевым он находился «в тесной дружбе с самого детства» (там же). Свидетельство Литке поэтому должно быть признано весьма авторитетным. Об энергичных действиях Петра Бестужева в Гвардейском Экипаже в день восстания показывали на следствии Дивов и братья Беляевы (ЦГИА, ф. 48, № 366, лл. 26—27).

сказалось характерное для эпохи экзальтированное восприятие жизни и особенно религиозный пафос, органически включающийся у Петра Бестужева в его романтическое мироощущение. В этом отношении, как и в некоторых других, Петр Бестужев может быть сближен с Одоевским.

Из всех братьев Бестужевых на нем наиболее сильно и непосредственно отразилось влияние «Путешествия» Радищева, которое он и сам называл в числе литературных памятников, «делавших на него впечатление»;* прямым откликом Радищеву являются и его «Памятные Записки». Это вновь заметки «чувствительного путешественника», только, как говорит их автор, — впечатления «не из портшеза», не «с борзого жеребца», но «из-под тяжести солдатского ружья». Автор «Путешествия из Петербурга в Москву» взглянул некогда «окрест себя», и душа его «страданиями человечества уязвлена стала», — так и у его позднего ученика «случайности жизни», «совместно с расположением духа и ненависти к тирании», набросили на глаза «креп погребальный».

«Памятные записки» Петра Бестужева включаются в общий цикл кавказских литературных произведений декабристов. Сюда входит ряд мемуаров, а также ряд рассказов и повестей Бестужева-Марлинского. Для всех этих произведений характерно восторженное отношение к успехам русских войск на Кавказе и восхищение перед славой русского оружия. В таком отношении неоднократно усматривали результат отхода от революционных позиций и переход на путь политического поправения. Однако такие суждения глубоко ошибочны. Взгляды Петра Бестужева на кавказские войны не только не выпадают из общей системы декабристской мысли, но могут служить наиболее ярким примером декабристских воззрений на проблему Кавказа в русской истории. Очень четко, с присущей ему точностью и выразительностью, форму-

---

* Ц Г И А, ф. 48, д. № 366, л. 9; см. также: В. И. Семевский, стр. 226.

лировал декабристскую точку зрения на этот вопрос Лунин. «Южная граница наша составляет самый занимательный вопрос», — писал он. «В стужах сибирских, из глубины ссылки моя мысль переносится часто на берега Черного моря и пробегает три боевые линии, начертанные русскими штыками в стране, которую некогда опустошал римский меч»... «Каждый новый шаг на север заставляет нас входить в сношения с европейскими державами; каждый новый шаг на юг заставляет эти державы входить в сношения с нами. В политическом отношении взятие Ахалциха важнее взятия Парижа».*

Война с Турцией была популярна среди декабристов и потому, что в ней неизменно видели угнетательницу славянских народов и поработительницу Греции. Задача недопущения влияния Турции на Кавказе и освобождения народов Кавказа от удручающего деспотизма и религиозного фанатизма Турции представлялась им вполне прогрессивной и продиктованной насущными интересами России. «В 18 и в начале 19 вв. перед народами Кавказа особенно остро стоял вопрос об их дальнейшей судьбе. Они могли быть поглощены и порабощены отсталыми феодальными Турцией и Персией, или — присоединиться к России. Присоединение к России было для народов Кавказа единственно возможным путем для развития их хозяйства и культуры. Включение в состав России создавало условия для ликвидации экономической и политической раздробленности народов Кавказа».** Дальнейшие исторические события вполне оправдали эту позицию. «Народы Кавказа получили безопасность от внешних врагов», и, «несмотря на произвол и жестокость царских колонизаторов, присоединение Кавказа к России сыграло для народов Кавказа положительную, прогрессивную роль».***

---

* Н. Лунин. Сочинения и письма... 1922, стр. 45 (письмо к сестре, № 16. Сибирь. 1838).

** М. Д. Багиров. К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля. «Большевик», 1950, № 13, стр. 35.

*** Там же.

Не все декабристы, конечно, умели правильно и последовательно продумать все общеполитическое значение кавказских войн, но верным революционно-патриотическим чутьем все они понимали их историческую целесообразность и закономерность.

Ни у кого из декабристов мы не находим ни одного слова осуждения кавказских войн (не методов их, но самой идеи) или равнодушия к их исходу. С жадностью и напряженным вниманием следили за развитием военных действий на Кавказе, восхищаясь блестящими победами русских войск, и М. и Н. Бестужевы.

Ошибка Петра Бестужева и ограниченность его мысли сказалась в другом: он не сумел сочетать своих патриотических переживаний с критическим отношением к действительности. И здесь дело не только в его классовой ограниченности, но и в юношеской незрелости его политической мысли. Лунин, стоявший в декабристском движении на более умеренных позициях, чем братья Бестужевы, тем не менее правильнее представлял себе сущность вопроса. Признавая правильным общий смысл кавказской политики правительства, Лунин ни на одну минуту не изменил своего общеотрицательного отношения и к правительственной системе в целом и к личности «монарха-властелина». Лунин понимал также и неспособность правительства Николая разрешить должным образом все вопросы местной культурно-политической жизни, чтоб дать возможность завоеванной стране стать органической частью русского государства. «Но недовольно еще одержать победу, надо организовать страну. А система, принятая с этою последнею целью, повидимому ошибочна, ибо она не удалась ни в западных равнинах, ни на юге, в горах. Не имея разумного основания, она в силах лишь спаять раздробленные части».*

Петр Бестужев не сумел отделить идею исторической миссии русского народа на Кавказе от тех, кто ее осуществлял,—

* Н. Лунин, ук. соч., стр. 45.

это и привело его, при сохранении общей ненависти к деспотизму и тирании, к примирительному отношению к Николаю, в котором в этот момент он видел лишь главу войны за национальные интересы.

«Памятные записки» Петра Бестужева очень близки к произведениям его братьев. Их сближает не только общий гражданский пафос, не только чувство негодования против тирании и деспотизма, но и их лиризм, чувство природы и их общее романтическое восприятие жизни. Иногда это созвучие настроений и стиля до того поразительно, что, кажется, читаешь страницы одного и того же автора. Описание пути по Самхетии Петра Бестужева вызывает в памяти аналогичные строки из «Дневника» Михаила. «... Самхетия, по которой мы шли, считается лучшей областью после Кахетии. Пленительные места. Не диво, что поэты с таким восторгом говорят о здешней природе. Минут за 10 до подъема я уходил обыкновенно вперед и, выбрав какое-нибудь развесистое дерево на берегу прозрачного ручья, садился под тень его и там, безмолвный от упоения, восхищался красотами окрестностей. Вдали, по извилинам дороги, то исчезал, то являлся снова длинный обоз наш. Стволы и штыки конвоя, отражая лучи солнца, сверкали молнией. Кисейные облака толпились над отдаленными горами, ближние, одетые в красную бархатную тогу, растворяли воздух азотом; в уединенной рощице щебетали птички. Вправо слышен шум отдаленной реки...» и т. д. Любуясь сибирскими видами, М. Бестужев вспоминает «цветистый театр Скриба», у Петра Бестужева — пейзажи Самхетии вызывают в памяти картины Орловского. Так, в одну целостную картину сливаются морская лирика Н. Бестужева и сибирские и кавказские пейзажи его братьев, образуя своеобразное единое целое. «Воспоминание» и рассказы Н. Бестужева, «Дневник» и «Записки» Михаила, «Записки» и письма Петра — все это памятники единого мироощущения и стиля, составляющие в своей совокупности основной фонд художественной прозы декабристов.

* *
*

Но «Записки» М. Бестужева не только замечательный памятник декабризма, они принадлежат также и той эпохе, в которую были созданы. С их страниц веет не только духом 14 декабря, в них ощущается и дыхание Севастополя. Началом, объединяющим и связующим в повествовании М. Бестужева эти две эпохи, служит глубокое чувство патриотизма, целиком пронизывающее его «Записки». Патриотизм был центральной пружиной декабризма. Пламенная любовь к отечеству, забота о его благосостоянии, стремление видеть его свободным и счастливым, готовность принести в жертву ради его счастья и процветания свою жизнь,* — вот основные мотивы, руководившие заговорщиками двадцатых годов. Это великолепно понимал их духовный преемник — Герцен, который, в ответ клеветническим утверждениям официальной печати, заявлял: «Наши декабристы 1825 года страстно любили Россию». До 14 декабря их патриотизм находил воплощение в стремлении организовать силы для борьбы с самодержавной деспотией и крепостничеством, 14-го он вылился в революционном порыве, после крушения восстания он, естественно, должен был принять новые формы для своего выражения вовне. Отдельные представители декабристской мысли по-разному разрешали возникшую перед ними проблему, — но почти для всех них было ясно, что тюрьма и ссылка не прекратили их дела, дав лишь ему новое направление, сообщив иной характер и поставив новые задачи. И в этом случае лучшая формула дана Луниным: «Настоящее житейское поприще началось для нас с вступления нашего в Сибирь, где мы призваны словом и примером служить делу, которому себя посвятили». Сибирская ссылка органически входит в историю декабризма.

---

* **Все эти выражения являются подлинными формулировками самих декабристов.**

Общественная деятельность декабристов в Сибири проявлялась, главным образом, в различных формах культурно-просветительной работы; в основе лежало стремление принести максимальную, доступную в их условиях, пользу населению. Это позиция Якушкина, Пущина, Горбачевского, Торсона, Матвея Муравьева-Апостола, Бестужевых. Быть может, с наибольшей четкостью эти тенденции сказались в деятельности Торсона, пытавшегося внедрением машин в сельское хозяйство Забайкалья создать новые условия для процветания народного хозяйства и благосостояния населения. Эта идея привела его самого почти к полному разорению. В основе этой деятельности декабристов лежали не отвлеченные гуманистические или филантропические идеи, но определенное понимание ее общественного значения. Политический смысл ее был в стремлении разрушить ложные представления о декабристах и их деле, упорно внушаемые правительством. Жизнь изгнанников в заточении должна свидетельствовать о истинности их начал, — определял эту задачу Лунин.

В условиях тюрьмы и ссылки Николай Бестужев продолжает свою работу по укреплению боеспособности русского флота, смыкая тем самым сибирский период своей жизни с годами юности. Его технические изобретения, заслужившие ему среди товарищей репутацию гениальности, были все подчинены этой идее. Упрощение хронометров должно было содействовать уменьшению кораблекрушений, упрощение ружейного замка — облегчить тяжелый труд солдата и сделать его более подвижным в бою, и т. д. С этой же основной проблемой был неразрывно связан и другой вопрос, упорно волновавший Н. Бестужева, — о причинах технической отсталости России. Для него было ясно, что те же причины, которые вели к разрушению боевой мощи страны, мешали и обнаружению великих сил народа, проявлявшихся в творчестве лучших представителей народной мысли. В 1837 г. он писал с каторги брату Павлу: «Говоря о ходе просвещения, нельзя также не упомянуть с некоторою гордостию, что по части физических приме-

нений мы, русские, во многих случаях опереживали других европейцев: чугунные дороги — не новы; они существуют на многих железных заводах для перевозки руды бог знает с которой поры. Толкуют о новости артуазских колодцев: они у нас существуют с незапамятных времен; Англия, Франция и Америка захлопотали недавно о подводных лодках: у нас при Петре уже деланы были опыты.* В Америке только Франклин открыл аналогию грома с электричеством: у нас Рихман убит при опытах с электрическим змеем, который он спускал с Ломоносовым».**

Вопрос о приоритете русской мысли для него — лишь частный случай более общего вопроса о национальном достоинстве, — проблемы, занимавшей одно из центральных мест в системе декабристской мысли и под знаком которой декабристы вели борьбу с реакционной, антинародной внешней политикой Александра. Эта проблема с новой силой возникла вновь в пору тяжелой для России Крымской войны, показав-

* Н. Бестужев имеет в виду изобретение крестьянина Петровского времени, Ефима Никонова, известие о котором появилось в «Московском Телеграфе» в 1825 г. (ч. VI, № 23, «Об изобретении подводных лодок в 1719 г.»). Возможно, что автором данного сообщения был декабрист А. О. Корнилович.

** Интересно сопоставить с этим замечанием Н. Бестужева аналогичное мнение декабриста И. Якушкина. В 1850 г. из Ялуторовска он пишет сыну Евгению: «То, что ты пишешь о солдате, вырезавшем статуэтку Васи Шереметева, чрезвычайно любопытно; человек в тридцать лет без малейшего приготовительного ученья, шагнувший прямо в художники, явление, конечно, необыкновенное и едва ли возможное где-либо, кроме России. Один только русский человек, ничему не учась, сумеет с одним топором в руках выстроить хоромы по плану или перочинным ножичком произвести что-нибудь замечательно прекрасное» (Летописи Гос. Лит. музея, III, стр. 427). Значение этого отзыва подчеркивается еще тем, что это пишет Якушкин — человек, которому абсолютно чужды были проявления всякого крикливого шовинистического чванства и, вообще, всего того, что объединяется понятием: «квасной патриотизм». Это суждение Якушкина вытекало из общих декабристских воззрений на свойства и сущность русского национального характера.

шей «гнилость и бессилие крепостной России».* Письма Н. Бестужева этого времени проникнуты тревогой и грустью: «Война, война со всех сторон! Что-то будет? — пишет он Завалишину. — Меня оживили добрые известия о славных делах наших моряков, но горизонт омрачается. Не знаю, удастся ли нам справиться с французами и англичанами вместе, но крепко бы хотелось, чтоб наши поколотили этих вероломных островитян за их подлую политику во всех частях света. Надобно скорее занимать Сахалин и ближайшие к нему берега, а иначе англичане влезут к нам в карман. Мы живем в интересное время. Сколько совершилось событий в эти 30 лет, что мы сошли со сцены света, и сколько, сколько еще совершится неожиданно до нашей смерти!». О том же он пишет и в других письмах Завалишину, а также Пущину и Волконскому. Эта тревога о «бедной, погибающей России» звучит и в «ответах» М. Бестужева. И его рассказ о смерти Николая Бестужева, умирающего с последним словом на устах о Севастополе, — рассказ, которым завершается цикл «Ответов» 1860—1861 гг., невольно воспринимается как идейное и художественное завершение записок декабриста.

Таким же художественным завершением его «Записок» служит одно из его писем того же времени. В 1857 г. М. Бестужев предпринял поездку на Амур. Собираясь в путь, он писал старому другу братьев Бестужевых, адмиралу Рейнеке: «даю себе непременный зарок — одно: посадить по всему течению Амура на каждом нашем ночлеге по нескольку семечек севастопольских акаций, и особенно ниже города Сахалан-Ула, т. е. там, где Амур, склонясь к югу, орошает самую благоприятную почву виноградов, дубов и вязов. К ним присоединяю я косточки одной из лучших родов владимирской вишни, и когда современем эта великолепная амурская аллея разрастется, то грядущее поколение юных моряков, отправляясь Амуром на службу в будущий Севастополь на Тихом океане, будет

* В. И. Ленин, Соч., т. 17, стр. 95.

отдыхать под их сенью, составляя планы будущей жизни, — незабвенная слава трех погибших под Севастополем адмиралов и их учителя (М. П. Лазарева) навеет на душу их благородную решимость подражанья таким высоким образцам, и они поблагодарят старого моряка, насадившего эти деревья».* Так в сознании старого декабриста оказались слитыми два великих события русской истории: 14 декабря 1825 года и оборона Севастополя.



* Адмирал Нахимов. Сборник. Военмориздат, М., 1945, стр. 198.

ПРИМЕЧАНИЯ

7 (1). В настоящем издании воспроизведен текст рукописи из собрания Дашкова, хранящейся в ИРЛИ (ф. 93, оп. 2, № 19, л. 2—17); копия этой рукописи находилась в б. Военно-ученом архиве и опубликована в «Ист. вестн.» (1904, IV, стр. 118—135) А. И. Григоровичем, ошибочно считавшим свой список автографом. Семевский характеризовал рукопись как «манускрипт на 15 полулистах синей, толстой плотной бумаги, весь руки Н. А. Бестужева». Это описание вполне соответствует внешнему виду дашковской рукописи. Впервые напечатано Герценом в «Полярной Звезде» (см. выше, стр. 576).

Написано «Воспоминание о Рылееве» не позднее 1832 г., так как в этом же году, по сообщению Е. И. Якушкина, было передано отправлявшемуся на поселение П. А. Муханову (Сб. «XIX век», т. I, М., 1872, стр. 351). Как можно судить по некоторым указаниям в архиве Семевского, Муханову удалось переслать рукопись давнему другу бестужевской семьи проф. И. И. Свиязеву, у которого она и хранилась (Арх. Бест., № 5569, л. 191 об.).

7 (2). Эпиграф — из незаконченной поэмы Рылеева «Наливайко». Декабрист М. Фонвизин также подчеркивал связь образа, созданного Рылеевым, с судьбой самого поэта и видел в этом отрывке «предчувствие поэтической души» Рылеева об ожидавшей его участи. Отрывки из поэмы «Наливайко» были опубликованы в 1825 г. в альманахе «Полярная звезда» и вызвали восторженную оценку в прогрессивном лагере русского общества. Критик «Сына отечества», скрывшийся под буквенной подписью Д. Р. К., писал: «Здесь видишь отпечаток души великой, непреклонной, воспламененной любовью к родине. Наливайко мыслит, как герой, говорит, как неукротимый сын природы, чувствует, как человек, не рожденный пресмыкаться под игом иноплеменным» («Сын отечества», 1825, ч. 101, стр. 198). Современники отмечали также революционно-пропагандистское значение этой поэмы. Н. Бестужев цитировал

по памяти и потому допустил ошибку — после третьей строки у Рылеева следует стих:

Судьба меня уж обрекла.

11 (1). Под «Сатирой на временщика» имеется в виду знаменитая сатира Рылеева «К временщику», опубликованная в журнале «Невский зритель» (1820, ч. IV, кн. X, стр. 26—28) и бывшая первым крупным печатным выступлением Рылеева; в подзаголовке было указано: «Подражание Персиевой сатире „К Рубелию"». Однако, как установлено исследователями, данная пьеса Рылеева очень далека от сатиры Персия; Рылеев использовал литературный прием поэта Милонова, который опубликовал в 1810 г. «Послание „К Рубелию"», выдав его за перевод персиевой сатиры. Н. Бестужев очень правильно передает то впечатление, которое произвело на общество это «Послание»; общественный успех его был совершенно исключителен, для самого же Рылеева оно явилось актом поэтического самоопределения. В одном из многочисленных доносов правительству в начале 1820-х годов это стихотворение приводилось как «образец республиканского образа мыслей» (Базанов, стр. 322). Причины, по которым выступление Рылеева прошло безнаказанно для него и для журнала, до сих пор не выяснены с достаточной ясностью; несомненно, что кроме тех оснований, которые приводит Н. Б., были и еще какие-то обстоятельства, не позволившие Аракчееву начать преследование поэта.

13 (1). Переход Рылеева на гражданскую службу по судебному ведомству (Рылеев был заседателем от дворянства в С.-Петербургской уголовной управе) не был случайным фактом его биографии, но представляется характерным явлением общественной жизни того времени: это было одной из форм общественного служения. Такое же решение принял и Пущин, поступив (в 1823 г.) в ту же С.-Петербургскую уголовную палату, откуда перешел затем на должность судьи в Московский надворный суд. Во время совместной службы Рылеева и Пущина и произошло их сближение, перешедшее позже в тесную дружбу. Пущин в момент поступления на службу уже состоял членом Тайного общества и принял в последнее Рылеева (1823).

Ал. Бестужев показал на следствии, что Рылеев первый «дал мысль, чтоб служить в Палатах для показания, что люди облагораживают места, и для примера бескорыстия. Ему последовал Пущин, и потом по переходе сего последнего в Москву в Надворный суд многие молодые люди сделали то же» (Восст. дек., т. I, стр 444). Среди этих «молодых людей», о которых упоминает Бестужев, можно указать С. Н. Кашкина, И. Н. Горсткина и др. Одно время о должности судьи в Тифлисе мечтал Грибоедов (см. Нечкина, стр. 405). Сам Пущин объяснял в Следственном комитете свой переход в Суд желанием служить «в при-

сутственных местах, где всякий честный человек может быть полезен другим» (Восст. дек., II, стр. 210).

О впечатлении, произведенном на современников фактами такого рода, прекрасно свидетельствует эпизод, о котором рассказывает тот же Пущин в своих «Записках о Пушкине»: «князь Юсупов..., видя на бале у Московского военного генерал-губернатора, князя Голицына, неизвестное ему лицо, танцующее с его дочерью, спрашивает у Зубкова: кто этот молодой человек? Зубков называет меня и говорит, что я — надворный судья. „Как! Надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь небывалая, тут кроется что-то необыкновенное“» (Пущин, стр. 121).

Вопросы организации судебного дела и борьбы с царившими в судах произволом, взяточничеством, волокитством и т. п. явлениями занимали очень существенное место в интересах декабристов. Сводку суждений декабристов по этому поводу сделал в своем обширном исследовании Семевский, посвятив этой теме особый § в главе «отношение декабристов к нашему общественному и политическому строю» (стр. 88—93) и специальную главу под заглавием «Судебная реформа» (стр. 555—577). О позорном состоянии судопроизводства и необходимости коренной реформы его говорили на следствии и писали царю Якубович, Н. и А. Бестужевы, Каховский, Штейнгейль и др. Над проблемами реформы судебного законодательства и организации суда работали Н. Муравьев, Н. Тургенев, Лунин, Пестель. Пестель уделял огромное внимание вопросам суда; эта тема нашла отражение в «Русской правде», кроме того, им было написано специальное сочинение «Краткое умозрительное обозрение государственного Правления» (1820). В 1820 г. Н. Тургенев писал не дошедший до нас труд о суде присяжных; основные принципы этого труда изложены им в книге «Россия и русские» (Семевский, стр. 557); ему же принадлежит рукописное сочинение «Мысли о всевозможных исправлениях российского судопроизводства». Из писем и показаний декабристов по этому поводу особо выделяются письма Якубовича и А. Бестужева (Бороздин, стр. 40, 77; Семевский, стр. 90—91). На дурное состояние судопроизводства и хаотическое состояние русского законодательства того периода указывали многие декабристы как на одну из причин общего недовольства, приведшего к возникновению тайных обществ.

Вопросы о состоянии суда продолжали усиленно занимать декабристов и на поселении; так, например, одно из «Писем из Сибири» Лунина (№ 6, 15 декабря 1839 г.) посвящено всецело суду. «Наше судопроизводство начинается во мраке, тянется в безмолвии, украдкою, часто без ведома одной из участвующих сторон и оканчивается громадою бестолковых бумаг. Нет адвоката, чтобы говорить за дело; нет присяжных, чтоб утвердить событие, и, в особенности, нет гласности, чтобы просве-

тить, удержать и направить облеченных судебной властью. Их решения, даже справедливые и законные, становятся источником новых тяжеб, по темноте и безграмотности определений» (Лунин, стр. 56). Тему «судебной неправды» неоднократно затрагивали декабристы и их ближайшие попутчики в художественных произведениях. Следует особо упомянуть усиленно распространявшиеся в списках стихотворение Вяземского «Негодование», стихи В. Раевского и др. Суду посвящено несколько строф в написанной совместно Бестужевым и Рылеевым песне «Ах, тошно мне» («А уж правды нигде не ищи, мужик, в суде», и т. д.). Тема неправого суда лежит в основе исторической повести Корниловича «Андрей Безымянный»; эту же тему унаследовал от декабристов Пушкин в «Дубровском».

13 (2). История восстания крестьян в имениях гр. Разумовского до сих пор еще не нашла освещения в исторической литературе.

14 (1). Действительно, в обществе много говорили о семейной жизни Рылеева, и, уже много позже, В. А. Оленина, вспоминая в письме к П. Бартеневу давно прошедшие годы и в частности события 14 декабря и его деятелей, писала: «Рылеев не слыл отличным семейным человеком» (Летописи, III, стр. 487). Не совсем понятно, что означают слова Н. Бестужева об обещании «не говорить ничего, могущего служить в его оправдание».

20 (1). Об эпизоде с полькой К. см. вступит. статью (стр. 629). К. Пигарев отмечает в повествовании Н. Бестужева некоторые противоречия «хронологического порядка», но и он признает общую достоверность рассказа (К. Пигарев. Жизнь Рылеева. 1947, стр. 248). Увлечение К. нашло отражение и в поэзии Рылеева: бесспорно ей посвящено послание «В альбом Т. С. К.» («Своей любезностью опасной...») и две элегии: «Исполнились мои желанья» и «Покинь меня, мой юный друг».

21 (1). Во всех предыдущих изданиях, не исключая и издания 1931 г., печаталось вместо «робость» — «радость», что искажало смысл.

22 (1). Н. Бестужев говорит здесь об эпизоде, в котором главным действующим лицом был брат его Александр; более подробно эта история рассказана М. Бестужевым в главе о братьях Бестужевых (см. стр. 55). На полях биографии Н. Бестужева, составленной Семевским, Штейнгейль написал против того места, где цитировались эти строки: «Что же этот факт свидетельствует?». Это замечание очень любопытно как образец «внутренней цензуры» самих декабристов при публикации мемуаров и биографических материалов.

22 (2). В записных книжках Н. Бестужева находится следующая заметка, относящаяся к данному спору: «Человек за 30 лет становится эгоистом и теряет доброту сердца. — И если он остается добрым и честным человеком, то делает это по рассудку, а не по внушению сердца, по предположенной цели, а не по энтузиазму. Может быть, скажут: тем

более он заслуживает уважения, что, не будучи добрым, поступает так: что прежде он не давал отчету в поступках — а теперь дает в них отчет. Можно отвечать: нимало — ибо человек есть животное, повинующееся привычкам, и если он продолжает итти по привычной и проложенной им дороге, то это от лености прокладывать другую или потому, что выгоднее продолжать старую, — тут нет большой заслуги».

Очевидно, данные мысли Н. Бестужев противопоставлял каким-то соображениям Рылеева, упрекая его в излишней доверчивости, как это следует из контекста. В момент разговора (очевидно, он происходил в 1825 г.) одному собеседнику — Рылееву — было ровно 30 лет, а другому — Н. Бестужеву — 34 года.

25 (1). О посещении Гибралтара Н. Бестужев рассказал в очерке «Гибралтар», помещенном первоначально в «Полярной звезде» на 1825 г. и перепечатанном в книге «Рассказы и повести старого моряка», но там нет этого эпизода, о котором он упоминает в «Воспоминании о Рылееве». Декабрист А. Беляев, принимавший участие в том же плавании, рассказывает, что после завтрака, который дал в честь русских гостей артиллерийский капитан Томсон, жена последнего сыграла им на рояле «русскую музыку», от которой они «пришли в восторг». Выяснилось, что «она проживала в Риге, у ее сестры, где и познакомилась с русскою музыкою» (Б е л я е в, стр. 125—126). Возможно, что она же и спела какую-нибудь русскую песню или русский романс, о чем и вспоминал Н. Бестужев.

25 (2). Характеристика, которую дает Н. Бестужев «Думам» и поэмам Рылеева, очень важна как прямое свидетельство о том, что ценили в поэзии Рылеева декабристы. Отзыв Н. Бестужева является применением к конкретному поводу одного из положений устава «Союза благоденствия»: члены Союза обязаны были внушать, что «сила и прелесть стихотворений» состоит не «в созвучии слов» или «высокопарности мыслей» и непонятности в их изложении, но, главным образом, «в непритворном изложении чувств высоких, к добру увлекающих»; если произведение не возбуждает «высоких мышлений» или, наоборот, ослабляет их, оно «всегда не достойно дара поэзии», как бы «прелестно ни было само по себе». Исходя из этих же требований, А. Бестужев отмечал в качестве главной заслуги «Дум» их общее стремление «возбуждать доблести сограждан подвигами предков» (П о л. з в. на 1823 г., стр. 29). То, что Александр Бестужев, искусно обходя внимание цензуры, определяет общими и туманными формулировками, Н. Бестужев совершенно ясно расшифровывает как «любовь к отечеству» и «желание свободы», как голос поэта против деспотизма, раздавшийся «среди боязливой лести и трусливого подобострастия».

26 (1). Данная оценка Пушкина не раз привлекала внимание исследователей и комментаторов. В примечаниях к изданию 1931 г.

были сделаны попытки смягчить этот отзыв Н. Бестужева указанием на незнакомство последнего с такими произведениями Пушкина, как «Борис Годунов», «Полтава» и др. Но декабристы и в сибирских тюрьмах имели возможность внимательно следить за современной литературой и, в первую очередь, за поэзией Пушкина. В данном отрывке еще отразились додекабрьские споры вокруг пушкинских оценок поэзии Рылеева. Но, помимо этого отзыва, известны более поздние высказывания Н. Бестужева о поэзии Пушкина, в которых он ставит ее в некоторых отношениях даже ниже поэзии Бенедиктова (Бунт дек., стр. 364). С этими отзывами и оценками связано и отрицательное отношение к личности Пушкина со стороны М. Бестужева и Горбачевского. Разобраться в причинах таких оценок дают возможность кавказские письма А. Бестужева, в которых восторженное отношение к Пушкину чередуется с прямо противоположными отзывами и резкими суждениями. В основе такого рода суждений лежали ложные слухи об отходе Пушкина от своих политических убеждений и о якобы происшедшем переходе его в стан «царских певцов», подтверждением чего ошибочно представлялось его стихотворение 1828 г. «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю»), подлинный общественный смысл которого отчетливо вскрыт лишь советскими исследователями. В конце двадцатых и начале тридцатых годов в обществе усиленно распространялись слухи о якобы монархических настроениях Пушкина, что нашло даже отражение в донесениях агентов Третьего отделения (Н. Пиксанов. Дворянская реакция на декабризм. «Звенья», II, стр. 179—181): слухи такого рода, несомненно, доходили до декабристов в Сибири и на Кавказе.

Особенно же роковую роль в этом превратном толковании сыграли рассказы Жуковского о последних часах жизни Пушкина, в которых он, как известно, изобразил поэта раскаявшимся верноподданным и христианином. А. Бестужев, написавший, по получении известия о смерти Пушкина, прекрасное потрясенное письмо, полное глубочайшей скорби по поводу великого национального горя, уже через несколько дней спрашивал в письме брата Павла: «Отчего Пушкин худо умер? Это мне пишут люди с понятием» («Отеч. зап.», т. 131, 1860, стр. 73). Еще большее негодование вызвал рассказ Жуковского у Горбачевского, не подозревавшего, конечно, его лживости и тенденциозности. Это негодование разделял и М. Бестужев, как видно из реплик его на письме Горбачевского.

Оценка Пушкина Н. и М. Бестужевыми и Горбачевским ни в коем случае не отражает общего мнения декабристов о Пушкине и совершенно искажает роль Пушкина как выразителя декабристских стремлений и идеалов и как поэта, оказавшего огромнейшее влияние на формирование политического мировоззрения декабристов. Очень многие

декабристы, как северяне, так и южане и члены Общества соединенных славян, в своих показаниях особенно подчеркивали эту роль Пушкина. А. Бестужев также отмечал среди истоков своих революционных настроений влияние «некоторых блесток Пушкина стихами» (Восст. Дек., 1, стр. 430). Роль революционных стихотворений Пушкина отмечали также Бестужев-Рюмин, Спиридов, Громницкий, Пыхачев и др. (см.: М. Нечкина. О Пушкине, декабристах и их общих друзьях. «Кат. и ссылка», 1930, IV). Очень подробно говорят о влиянии Пушкина на формирование революционного мировоззрения молодежи 20-х годов Якушкин (Записки, стр. 51) и Завалишин в своих рукописных фрагментах, известных лишь частично из статей С. Я. Гессена: «Декабрист Завалишин о Пушкине» («Лит. Ленинград», 1934 14 XII) и «Пушкин в Каменке» («Лит. Соврем.», 1935, 1). В полном соответствии с этим свидетельством находится и показание М. Бестужева-Рюмина о том, что «вольнодумные стихи Пушкина в рукописях распространялись по всей армии».

27 (1). Следственный комитет усиленно интересовался этими песнями, требуя сведений о них не только от Рылеева и А. Бестужева, но и от других лиц (Оболенского, Пущина, М. И. Муравьева-Апостола и др.). Однако Комитету было известно лишь о двух песнях: «Вдоль Фонтанки-реки квартируют полки...» и «Подгуляла я, нужды нет, друзья, это с радости!»; всех же песен известно пять, в том числе составленная в подражание святочной подблюдной песне: «Уж как шел кузнец», с припевом «Слава!». Эту, наиболее из всех опасную для авторов, песню, с ее прямым призывом к революции и цареубийству, удалось скрыть от внимания судей, хотя какие-то неясные слухи о последней им были известны, о чем свидетельствует упоминание о припеве («Слава!»), отнесенному к другой песне. Сам Рылеев признал свое авторство только в отношении песни: «Ах, тошно мне»; о второй же отозвался полным неведением. По показанию А. Поджио, Рылеев считал сочинение таких стихов лучшим средством воздействия на народные массы (см. Довнар-Запольский. Мемуары декабристов, стр. 203; П. Щеголев. Декабристы, стр. 232). А. Бестужев же в своем показании стремился изобразить сочинение этих песен как забавную шутку, как опыт «написать народным языком» что-нибудь «либеральное». «Сначала мы, было, имели намерение распустить их в народе, — показывал он, — но после одумались. Мы более всего боялись народной революции, ибо оная не может быть не кровопролитна и недолговременна, а подобные песни могли бы оную приблизить. Вследствие сего, дурачась, мы их певали только между собой. Впрочем, переходя по рукам, многое к ним прибавлено, и каждый на свой лад их перевертывал. В народ и между солдатами никогда их не пускали...» (Восст. дек., I, стр. 458). В этом

показании А. Бестужев, при всем желании снизить в глазах Следственного комитета значение песен, невольно для себя подчеркнул их огромную агитационную силу. По своему характеру они тесно связаны с пониманием декабристами народной поэзии и ее роли в жизни народа (См. нашу статью: Декабристская фольклористика. «Вестн. ЛГУ», 1948, № 1). Обширный текстологический и исторический комментарий к этим песням дан в издании стихотворений Рылеева (Б - к а п о э т а, стр. 508—517).

28 (1). Герцен обратил особенное внимание на эти строки. «Вот эти-то стихи *и другие в таком же роде* (курсив Герцена) воспитали все поколение, проводившее в мрак этих героев» (Г е р ц е н, XXI, стр. 67: ст. «Кондратий Рылеев и Николай Бестужев»).

28 (2). Это стихотворение принадлежит к важнейшим памятникам литературного наследия Рылеева; при жизни Рылеева распространялось лишь в списках. В печати появилось впервые лишь в 1856 г., когда Герцен опубликовал его (по не вполне исправному списку) в «Полярной звезде» (кн. II), а затем в «Полярной звезде» на 1861 г. в составе данного «Воспоминания» Н. Бестужева; в том же году было перепечатано в сборнике Огарева «Русская потаенная литература».

Вновь введенное в литературу этими публикациями, данное стихотворение приобрело огромную популярность у революционной интеллигенции 60—70-х годов: оно цитируется в прокламации «К молодому поколению», в первом номере журнала Нечаева «Народная расправа» и др. В легальной печати стало известно лишь в 1893 г. — в собрании стихотворений Рылеева под ред. Мазаева. Помимо текста Н. Бестужева, приведенного в «Воспоминании», имеется совпадающий с ним список М. Бестужева (в рукоп. отд. ГПБ), кроме того сохранился список в следственном деле Рылеева; автограф в бумагах Пущина (ИРЛИ). Заглавие «Гражданин», по всей вероятности, дано (как это уже было указано в комментариях к данному стихотворению в изд. «Б - к и п о э т а», стр. 397) редакцией «Полярной звезды»; у Н. Бестужева и в списках Следственного дела оно заглавия не имеет, — в списке же М. Бестужева озаглавлено «К молодому поколению». Последнее заглавие, подчеркивающее его пропагандистско-агитационную направленность, представляется более соответствующим данному стихотворению, тем более, что оно подтверждается авторитетом М. Бестужева, т. е. человека, принадлежавшего к ближайшему окружению Рылеева; оно подтверждается и указанием Н. Бестужева, что это стихотворение написано «для юношества высшего сословия русского».

В литературе о Рылееве принята датировка Н. Бестужева и Пущина, однако остается невыясненным вопрос о причинах, побудивших Рылеева дать в данном случае ложное показание. Подробный анализ полити-

ческого смысла этой оды и ее образов сделан А. Цейтлиным, указавшим на связь образов этого стихотворения с основными проблемами, занимавшими декабристскую мысль. Особенно характерным считает он упоминание имен Брута и испанского революционера Риэги.

28 (3). Эта ода известна под заглавием «Видение. Ода на день тезоименитства е. и. в. великого князя Александра Николаевича» (т. е. будущего Александра II). Под внешним видом монархического послания она имела определенное пропагандистское назначение. В ней были формулированы основные требования, которые должна была предъявить к «просвещенному монарху» передовая общественная мысль: «любить глас истины свободной», истребить неправосудие и «рабства дух неблагородный», возвышать «не блеск пустой и не породу», но дарования; наконец, в ней отчетливо были формулированы основные требования конституционной программы: «дай просвещенные уставы, свободу в мыслях и словах, науками очисти нравы» и т. д. Эта ода имела еще и другой план, отражая замыслы некоторых членов Тайного общества о возведении на престол малолетнего Александра, учредив над ним конституционное регентство. Эту идею особенно настойчиво пропагандировал Батенков, в чем одно время его поддерживал и Ал. Бестужев (Бороздин, стр. 42—43).

29 (1). Томас Мур — английский поэт и друг Байрона, принимавший участие в национально-освободительной борьбе ирландцев, был очень популярен в среде декабристов. «Ирландские мелодии» его вышли в свет в 1807 г. и затем неоднократно переиздавались. Муром увлекались Грибоедов (см. его «Путешествие с Шахом»: А. С. Грибоедов, Полн. собр. соч., под ред. Н. К. Пиксанова, т. III, стр. 57), Кюхельбекер, Одоевский, братья Бестужевы. А. Бестужев неоднократно упоминает о Муре в письмах из Якутска; Одоевский перевел одну из «Ирландских мелодий»: обращение к родине, страдающей «в цепях и крови» (Одоевский, стр. 137). Н. Бестужев в 1821 г. перевел и опубликовал в «Соревнователе» (т. XVI, №№ II и III) отрывок из поэмы «Лалла-Рук», «Fireworshippers», озаглавив его «Пожиратели огня» (в том же году вышло отдельным изданием). В переводе Н. Бестужев значительно усилил протестантские мотивы поэмы Мура, придав им революционную и тираноборческую интерпретацию. Мура переводили также Жуковский и Козлов, в передаче которых Мур совершенно потерял свою политическую окраску. Одно из стихотворений Мура в переводе Козлова, «Вечерний звон», в течение многих лет входило в репертуар любимых русских романсов. С именем Мура связано предсмертное завещание М. Бестужева-Рюмина, который накануне казни передал Басаргину через сторожа как память о себе перевод Муровой мелодии «Музыка» (Басаргин, стр. 69—70). Басаргин затерял этот перевод, но в своих записках

приводит собственный прозаический перевод данного стихотворения Мура.

31 ([1]). Изложение Н. Бестужева в данном случае не совсем точно. Об этом ночном хождении Комитету стало известно из показаний К. Торсона. Н. Бестужев дал по этому поводу очень сдержанные показания, упоминая лишь о себе и А. Бестужеве, но совершенно отрицая участие Рылеева. Всему этому эпизоду он стремился придать вид ничего не значущих разговоров с случайно встретившимися солдатами (Восст. дек., II, стр. 84). Едва ли Н. Бестужев мог забыть о своих показаниях по этому поводу. Смысл его замечания следует, очевидно, понимать в том смысле, что Комитету оставалось неизвестным участие Рылеева в этой ночной пропаганде и что самый факт последней имел значение как «фактическое начало действия». В. Базанов обратил внимание на связь пропагандистских опытов Бестужева и Рылеева с разработкой в Вольном обществе «проблем ораторского красноречия» (Базанов, стр. 318); о проблеме пропаганды у декабристов — см. также: Нечкина, стр. 336.

32 ([1]). О доносе Ростовцева подробно рассказывает Штейнгейль; по его сообщению, Рылеев сначала считал необходимым убить Ростовцева как доносчика и шпиона, но Штейнгейль отговорил его (Общ. движ., стр. 413); по рассказу М. Бестужева, Оболенский дал пощечину Ростовцеву (см. наст. изд., стр. 393), о том же и сам Оболенский рассказывал Цебрикову, как можно судить по письму последнего (Восп. и расск., I, стр. 274); но в своих воспоминаниях Оболенский совершенно умалчивает об эпизоде с Ростовцевым, что объясняется его примирительными настроениями последних лет. Быть может, под влиянием Оболенского изложен этот эпизод и у Якушкина, который изображает донос Ростовцева как некий малозначущий эпизод в истории восстания (там же, стр. 168). Эту точку зрения разделяют и некоторые исследователи, — однако донос Ростовцева, безусловно, отразился на судьбе восстания. А. М. Муравьев полагал, что именно вследствие предупреждения Ростовцева присягу в гвардейских полках «учинили порознь», и это обстоятельство «уничтожило единодушие в восстании» (Восп. и расск., I, стр. 124); это подтверждает и М. А. Фонвизин, который так описывает последствия разговора Ростовцева с Николаем: «Великий князь в ту же ночь сзывает во дворец начальников гвардейских полков (в числе их был один член Тайного общества, генерал Шипов) и льстивыми убеждениями, обещаниями наград и т. п. преклоняет их на свою сторону. Гвардейские генералы спешат в свои полки и еще до рассвета успевают привести их к присяге императору Николаю I-му, зная, что они этим свяжут совесть своих солдат. Этой счастливой проделкой Николай Павлович удачно избегает опасности, ему угрожавшей» (Общ. движ., стр. 193).

Несомненно, вследствие доноса Ростовцева была назначена на необычно раннее время присяга Сената, что в сильной степени спутало расчеты руководителей восстания.

Все мемуаристы и историки единогласно утверждают, что Ростовцев, действительно, не назвал ни одного имени и ни на кого не намекнул; так же изображает дело и автор монархического и полуофициозного труда «Император Николай Первый» Н. Шильдер (1903), — однако сам он был уверен в противном. Сохранился экземпляр книги бар. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I» (1857), с пометками на ее полях Н. Шильдера. Против того места, где Корф приводит слова Николая Ростовцеву («...м. быть, ты знаешь некоторых злоумышленников и не хочешь назвать их, думая, что это противно твоему благородству, — и не называй»), Шильдер пишет: «как бы не так!» («Кат. и ссылка, 1925, № 2, стр. 50), и далее, по поводу слов Николая: «я плачу́ тебе доверенностью за доверенность», он снова замечает: «то есть, ты молчишь, а я тебе все скажу. Логика!» (там же).

35 ([1]). Эпизод измены полковника финляндского полка А. Ф. Моллера более подробно освещен в «Записках» Розена. Розен называет его одним из старейших членов Общества и утверждает, что он мог бы сыграть огромную роль в восстании: «в его руках был дворец». И далее он так передает разговор Моллера с Н. Бестужевым: «накануне 13 декабря был у него <Моллера> Н. А. Бестужев, чтобы склонить его на содействие с батальоном: он положительно отказался и среди переговоров ударил по выдвинутому ящику письменного стола, — ящик разбился. «Вот слово мое, — сказал он, — если дам его, то во что бы то ни стало сдержу его; но в этом деле — не вижу успеха и не хочу быть четвертованным». (Розен, стр. 71). Мих. Пущин уверяет, что отказаться от выполнения своего слова посоветовал Моллеру он (Пущин) («Рус. арх.», 1908, XI, стр. 436). В какой мере это достоверно, сказать трудно: Пущин очень преувеличивает свой скептицизм по отношению к плану восстания и свои возражения против него. Во время следствия Трубецкой сообщил об участии в Тайном обществе Моллера, но показания Оболенского и Штейнгейля (со слов Пущина) спасли его, — сыгранная же им фактически роль весьма содействовала его карьере: 15 декабря 1825 г. он уже был произведен во флигель-адъютанты, после чего и началось весьма быстрое и успешное продвижение его по служебной лестнице.

36 ([1]). Речь идет об обещании Каховского произвести покушение на царя. Сложное и запутанное поведение Каховского в дни подготовки восстания, в самый день 14 декабря и на следствии до сих пор еще не разъяснены с достаточной ясностью. Единственным исследованием остается до сих пор очерк П. Е. Щеголева «П. Г. Каховский» (1919; вошел в сборник статей того же автора: «Декабристы». Л., 1925); небольшая

книжка Б. Л. Модзалевского «Роман декабриста Каховского» (Л., 1925) может служить к ней лишь биографическим дополнением, но мало помогает уяснить поведение Каховского в декабрьские дни 1825 г.

36 (2). Мысль о появлении на площади в «русском кафтане» не была только результатом романтической фантазии поэта, но вытекала из всей революционно-национальной программы декабристов. Намеренно снижая сущность программы и придавая ей характер «детских рассчетов», Александр Бестужев писал в своем показании: «да и в преобразовании России, признаюсь, нас более всего прельщало русское платье и русские названия чинов» (В о с с т. д е к., I, стр. 444); о том же говорил и Грибоедов: «Русского платья желал я потому, что оно красивее и покойнее фраков и мундиров, а вместе с тем полагал, что оно бы снова сблизило нас с простотою отечественных нравов, сердцу моему чрезвычайно любезных».

В утопии «Сон», написанной участником «Зеленой Лампы» Улыбышевым, в которой изображена будущая Россия после народной революции, граждане нового Петербурга ходят в костюмах, соединявших «европейское изящество с азиатским величием». При внимательном рассмотрении автор «Сна» узнал «русский кафтан с некоторыми изменениями». (Д е к. и и х в р е м я, 1, стр. 55). В «Письме к другу в Германию о петербургском обществе» тот же автор ставит вопрос о национальном костюме в связи с общим вопросом о недопустимом «рабском подражании иностранцам»; он замечает, что «костюм, который более всего нравится в России даже иностранцам, — это костюм национальный, что нет ничего грациознее русской женщины, что русские песни — самые трогательные, самые выразительные, какие только можно услышать...» (там же, стр. 48). О принципиальном значении вопроса о национальном платье в программе декабристов — см. Н е ч к и н а, стр. 327, 328.

39 (1). Показания Н. Бестужева, действительно, очень выгодно отличаются от аналогичных документов многих его товарищей по процессу. Они сдержанны, осторожны и продуманы; в них нет, правда, такой острой непримиримой резкости, как например у Андрея Борисова, или сдержанной иронии, как у Лунина, но зато нет и ничего сколько-нибудь похожего на излишнюю откровенность или истерическую растерянность других. Они полны внутреннего достоинства и спокойствия. Он резко критикует современное ему состояние русского государства, но очень скупо и сдержанно говорит о действиях и планах Общества. Очень скупо называет имена, причем только тех, кто был на площади или чье участие было уже вполне освещено другими показаниями.

В книге М. В. Нечкиной («Грибоедов и декабристы») приведен очень важный документ от 26 декабря 1825 г. (из дел ЦГИА) об аресте лиц, участие которых в Обществе и «мятеже» выяснилось в результате допро-

сов Рылеева, А. и Н. Бестужевых. Эти лица — следующие: Краснокутский, Батенков, Нарышкин, Капнист, Ентальцев, Хотяинцев, Кальм, Грибоедов и Завалишин. (Нечкина, 460—461). Из этих лиц только один Краснокутский был назван Н. Бестужевым, но он уже был назван ранее Трубецким (Восст. дек., т. I, стр. 32).

Вообще Н. Бестужев сумел затушевать свою подлинную роль в подготовке восстания; малоосвещенной оказалась она и в показаниях других декабристов, — тем не менее Николай и весь состав суда прекрасно отдавали себе отчет в значении личности Н. Бестужева и его роли в движении; этим объясняется и не вытекавший из установленных Судом обстоятельств дела суровый приговор. Сами декабристы объясняли такой приговор мужественным и спокойным поведением Н. Бестужева на допросах, вокруг чего складывались легенды (См. примеч. к стр. 128).

39 (2). Первоначально в рукописи было «добрый государь», потом слово «добрый» зачеркнуто.

39 (3). О казни — см. примеч. к стр. 336.

41 (1). Этот рассказ является дополнением к «Воспоминанию о Рылееве» и, по всей вероятности, должен был составить, по замыслу Николая Бестужева, одно целое с ним как единое воспоминание о дне 14 декабря 1825 г.: его подготовке, деятелях, самом восстании и финале. Так понимал это соотношение и Герцен, который писал по поводу этого отрывка: «После смерти Н. Бестужева найдено было еще несколько отрывков, имевших отношение к делу 14 декабря 1825 года. В одном из них заключается, очевидно, продолжение воспоминаний о Рылееве; второй относится к другой рукописи. В нем описан в высшей степени драматический эпизод. Но где начало? Где продолжение? Какое непоправимое несчастье, если мы потеряли это святое наследство одного из лучших, из самых энергичных действующих лиц великого заговора» (Герцен, XXI, стр. 61). Как единое целое рассматривал эти два произведения и М. Семевский, объединив их под одним заглавием «Воспоминания Николая Александровича Бестужева». В таком виде он пытался опубликовать их в 1885 г. на страницах «Русской старины», сопроводив разного рода оговорками об «односторонности» точки зерния Н. Бестужева и с рядом сокращений и изменений, сделанных им из цензурных соображений. Однако все это не помогло, и, по требованию цензуры, данные «Воспоминания» были целиком вырезаны из сверстанной уже книжки журнала; сохранилось лишь несколько корректурных оттисков (в архиве Семевского и в некоторых частных собраниях).

Впервые этот отрывок появился в печати в «Полярной звезде» Герцена (1861 г. VII) и перепечатан в брошюре «Памяти братьей <так!> Бестужевых. Издержки из современных записок декабристов. Лейпциг, изд. Э. Каспровича, 1880». По этому изданию было перепечатано П. Е. Щего-

левым в изд. «Огни». В Лейпцигском издании были сообщены и сведения о рукописи, с которой печаталось данное произведение: «Этот отрывок написан на пяти с половиной полулистах серой и весьма толстой бумаги, почерком самым неразборчивым, с многочисленными помарками». Автографическая рукопись Н. Бестужева, хранящаяся в Пушкинском Доме (А р х. Б е с т., № 5598), вполне соответствует данному описанию, что позволяет сделать вывод о роли Семевского в ее заграничной публикации. В архиве Семевского хранится также и сделанная им копия с этой неразборчивой рукописи. Без проверки по копии рукопись было бы затруднительно опубликовать без неизбежных пропусков и ошибок. Впрочем, и сама копия далеко не безупречна. Текст в изданиях Герцена, Каспровича и Щеголева очень неточен, — ошибки этих изданий были устранены лишь изданием 1931 г.

41 (2). На площадь пришли, по вызову Николая, два митрополита: петербургский митрополит Серафим и митрополит киевский, известный историк и библиограф, Евгений Болховитинов. По рассказу Завалишина, Серафима, который был в большом смущении и не знал, что ему делать, встретил М. Кюхельбекер и посоветовал ему удалиться. «„Послушайте, Ваше Высокопреосвященство, — сказал он ему, — здесь идет дело политическое. Вы сами знаете, что в эти дела нечего вмешивать религию. Вы тут ничего не сделаете, а только раздразните людей и, пожалуй, в Вашем лице еще оскорбят и религию. Поэтому и советую Вам дальше не ходить, а итти с богом домой“. — „Покорнейше благодарю, батенька,— ну так я и пойду назад“, — отвечал митрополит и сейчас же пошел обратно, не сделав и шагу далее того места, где встретил его Кюхельбекер» (З а в а л и ш и н, стр. 197—198). Завалишин уверяет, что этот рассказ в такой редакции он неоднократно слышал от самого М. Кюхельбекера. Версию Завалишина подтверждает и Штейнгейль (О б щ. д в и ж., стр. 444). По рассказу самого Николая, Серафим пытался говорить, но ему воспрепятствовал Оболенский и «другие сей шайки», и он удалился (М е ж д у ц а р с т в и е, стр. 26); сообщение императрицы (запись в дневнике), будто «над головой митрополита засверкали сабли», вследствие чего он и вернулся (там же, стр. 90), — явно неправильно и не подтверждается никакими свидетельствами.

Слухи о перетрусившем митрополите быстро разнеслись по городу. А. Е. Измайлов писал своему племяннику: «И митрополит струсил было, когда надобно было ему итти уговаривать бунтовщиков. „С кем же пойду я?“ — спросил он одного генерала.— „С богом!“ — отвечал тот» (П а м. д е к., I, стр. 242). Со слов сопровождавшего митрополита Серафима дьякона Прохора Иванова один автор сообщил, что восставшие кричали ему: «Какой ты митрополит, когда на двух неделях двум императорам присягнул. Ты — изменник и дезертир!»... Когда же Серафим вер-

нулся во дворец и его спрашивали: «Чем нас утешите, что там делается?», он отвечал: «Обругали и прочь отослали!» (А. Алфеев. Митрополит Серафим на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. «Ист. вестн.», 1905, 1, стр. 169—171). За свой «подвиг» Серафим получил «высочайший рескрипт» «украшенную бриллиантами панагию» (нагрудный крест архиерея).

45 (1). Первоначально в рукописи было: «Подле комнаты моего сына, но я не поведу вас туда, потому что не хотел бы даже, чтобы он вас видел».

48 (1). Первоначально в рукописи было: «Но главных зачинщиков — двух подлецов Бестужевых не нашли».

48 (2). В исторической литературе встречаются иногда тенденции рассматривать рассказ Н. Бестужева о пребывании его в доме незнакомца как беллетристический вымысел, — однако имеется документальное подтверждение этого рассказа. Хозяином и собеседником Н. Бестужева был отставной корреспондент Военно-ученого комитета Алексей Яковлевич Ляшевич-Бородулич. Это выясняется из письма, которое последний писал Николаю I 20 декабря с сообщением о пребывании у него в течение некоторого времени Н. Бестужева. В этом письме он сообщал, что «двое из важнейших в происшествии 14-го декабря действовавших лиц, с ним вместе уходя от картечи, забежали в дом жены его»: один из них, которого он принял за В. Кюхельбекера, был убит около Бородулича, другой же был Н. Бестужев. Бородулич, очевидно, опасался, что Н. Бестужев расскажет Комитету о своем кратковременном убежище, и поспешил предупредить возможное признание его собственным заявлением. Видимо, в тех же целях самосохранения он просил Комитет «заключить его в то место, где содержался Ник. Бестужев, на столько времени, сколько нужно будет для совершенного обращения его, Ник. Бестужева, на путь истины». Он просил также, чтобы в этих целях «были исполняемы все его требования» относительно «нужды в священных книгах или перемене жилища, могущего иметь влияние на здоровье». Комиссия, исходя из того, что «для увещания преступников находится при ней священник и что допускать к тому посторонних лиц не только нет никакой надобности, но и неприлично», постановила Бородуличу отказать. Имя же его, с изложением этого инцидента, было внесено в «Алфавит декабристов» (Восст. дек., т. VIII, стр. 121). В следственном деле Н. Бестужева это заявление не нашло никакого отражения. Н. Бестужев изображает Бородулича в несколько идеализированных очертаниях — как он его и воспринял в той необычной обстановке; в действительности же его образ, насколько он выясняется из имеющихся в литературе немногочисленных упоминаний о нем, представляется мало привлекательным и несколько маниакальным. «Алфавит декабристов» упоминает о его письмах на имя Александра I и Елисаветы Алексеевны с предупре-

ждениями о пророчествах монаха Авеля, предвещающих тяжелые потрясения в царской семье; среди бумаг Шильдера (ГПБ) находится письмо Бородулича 1823 г. к Елисавете Алексеевне о средствах установить вечный мир.

Рассказ М. Бестужева об этом эпизоде несколько расходится с изложением самого Н. Бестужева.

51 (1). Этот цикл очерков и ответов написан М. Бестужевым в Москве осенью 1869 г., когда он после свидания с М. И. Семевским (состоявшегося в июне—июле того же года в Петербурге) вновь вернулся к восстановлению «Записок», уничтоженных им в 1862 г. Тяжелое болезненное состояние не позволило ему довести до конца начатую работу, и дело оборвалось на этих главах. Позже он прислал Семевскому ряд дополнительных ответов. Автографы глав «Братья Бестужевы» и «Азбука» сохранились в Дашковском собрании (ИРЛИ, ф. 93, оп. 2, № 18, стр. 1—20, 33—59; в той же тетради — дополнительные ответы). Беловые копии ответов 1869 г., хранятся в ИРЛИ: «Братья Бестужевы» — Арх. Бест., № 5588; «Азбука» — там же, № 5589.

51 (2). В Музей Н. Бестужев поступил в 1825 г., — это назначение он очень охотно принял, так как оно вполне соответствовало его историческим интересам и повышало общественное положение Н. Бестужева, кроме того оно значительно облегчало и материальное положение семьи, увеличив бюджет на 2000 р.

Историей русского флота П. Бестужев начал заниматься очень рано: уже 9 октября 1822 г. он выступил в заседании «Вольного общества Любителей Российской словесности» с докладом «История российского флота», опубликованным позже в «Соревнователе» (1822, ч. 19). Новейший исследователь «Вольного общества» считает эту статью типично декабристской и даже находит возможным сблизить ее с «Любопытным Разговором» Никиты Муравьева. Данное сближение не представляется вполне оправданным, но декабристская направленность этой статьи Н. Бестужева безусловна. «Обозрение истории российского флота» служило «автору основанием, чтобы перейти к обсуждению более важной исторической проблемы, а именно — наметить основные периоды государственной жизни России и определить к ним свое отношение» (Базанов, стр. 251). Центральное место в концепции Н. Бестужева занимали древние республики (Новгород и Псков), и соответственно этому все остальные эпохи сравнивались с «эпохой республиканских областей», которые автор считал «истинным источником народного изобилия» (там же).

52 (1). По «Руководству к отысканию жилищ по С.-Петербургу» Самуила Аллера (СПб., 1824) квартира Бестужевых была в доме Гурьева по 7-й линии Вас. острова, № 58, по нынешней нумерации —

д. № 18; в настоящее время дом совершенно перестроен и превращен в большое пятиэтажное здание (см.: А. Яцевич. Пушкинский Петербург. Л., 1935, стр. 161; там же воспроизведен сохранившийся в городском архиве чертеж фасада Гурьевского дома, относящийся к 1824 г.).

53 (1). О русских завтраках М. Бестужев рассказывает также и в отрывке, посвященном Штейнгейлю и Одоевскому, сообщая некоторые новые подробности и приводя при этом характерные слова Рылеева: «русским надо русскую пищу». И, конечно, дело было не «в потребностях натуры» Александра Бестужева, а в той второй причине, которую указывает М. Бестужев. Он характеризует ее как наклонность Рылеева: налагать печать руссицизма на свою жизнь, по в данном случае — не индивидуальное явление и не индивидуальная склонность: «русские завтраки» Рылеева принадлежат к категории тех же явлений, что пристрастие к русской одежде и другие поиски внешних черт национального своеобразия (см. примеч. к стр. 36).

53 (2). У декабристов были тесные связи с Российско-американской компанией, объем и характер которых еще не установлен с достаточной полнотой; наиболее полно, хотя и не исчерпывающе, освещен этот вопрос в исследовании С. Б. Окуня «Российско-американская Компания» (М.—Л., 1939). Рылеев был правителем дел (главным секретарем) Правления Р.-А. К.; столоначальником служил литератор Ор. Сомов, принадлежавший по своим настроениям к декабристскому окружению и персонально близкий Рылееву и А. Бестужеву; в той или иной степени с Р.-А. К. были связаны Батенков, Штейнгейль, Завалишин, М. Кюхельбекер, Романов.

Декабристы вообще стремились расширить круг своего влияния, — особенно привлекали их внимание торговые круги, среди которых было не мало передовых и оппозиционно настроенных людей. О купеческой среде на следствии говорили и Батенков и Штейнгейль. Первый отметил рост оппозиционных настроений среди купечества, вызванный рядом стеснительных для торговли мероприятий правительства; Штейнгейль показал, что Рылеев спрашивал его о возможности приобрести членов Общества среди купечества, особенно в Москве.

В этих целях Российско-американская компания представлялась очень удобным плацдармом для деятельности. Помимо того, декабристов привлекала Российско-американская компания как мощная капиталистическая организация, располагающая огромными средствами, имеющая огромные связи в Западной Европе и Америке, и, наконец, как организация, владевшая большим коммерческим флотом, что имело особенно важное значение в глазах моряков-декабристов. Арбузов в своих показаниях сообщал, что многие из моряков, — в том числе

и он, — мечтали о переходе на службу в Компанию. Он же показал, что М. Кюхельбекер предполагал «пойти командиром от Американской Компании» и соглашался взять его с собою. Были слухи и о назначении Н. Бестужева командиром «дальнего вояжа» (В о с с т. д е к., II, стр. 12). Из одной записи в тетрадях Николая Бестужева видно, что в 1815 г. его очень тяготил какой-то крупный долг Компании («Статьи и письма», стр. 298). Предполагали поступить на службу в Компанию и братья Беляевы и Штейнгейль. Некоторые из моряков-декабристов связывали с Р.-А. компанией планы своих научных и литературных предприятий; например Н. Бестужев и Романов, которых привлекала мысль о возможности совершать на кораблях Компании самостоятельные кругосветные путешествия; с помощью Компании Романов пытался осуществить свои замыслы обследования берегов северо-западной части Америки и найти «проход от Берингова пролива к Гудзонову заливу и проливу», а также найти возможности достигнуть Ледовитого моря и Гудзонова залива «сухим путем из нашей Америки» (В. Р о м а н о в. Предначертание путешествия от западных берегов Северной Америки до Ледовитого моря и до Гудзонова пролива. «Моск. тел.», 1825, ч. 5, № 18, стр. 89—99); наконец Завалишин надеялся осуществить с помощью Компании свои грандиозные замыслы о присоединении Калифорнии к России (О к у н ь, стр. 127—132).

Со своей стороны и Компания искала связей с передовой интеллигенцией и очень дорожила ими. В 1824—1825 гг. были знамениты в Петербурге обеды у директора Компании Прокофьева. Одни обеды он устраивал для Аракчеева и иных сановников, на других же собирал литераторов, преимущественно прогрессивного направления; на них бывали, помимо Рылеева, А. и Н. Бестужевы, Завалишин, Батенков, Штейнгейль, Муханов, В. и М. Кюхельбекеры, Ф. Глинка; частыми посетителями были также Булгарин и Греч (см. «Записки» Греча, стр. 452—505; Д. Н. З а в а л и ш и н. «Заметка относительно степени доверия, какое можно иметь к „Воспоминаниям“». «Др. и нов. Россия», 1876, № 10, стр. 210—212). А. Е. Измайлов упоминает об обеде у Прокофьева 3 декабря 1824 г., на котором присутствовали: он (Измайлов), А. Бестужев, Рылеев, Батенков, Греч, Булгарин, Боровков, лейб-медик Виллие, Кайданов и др. (ИРЛИ, 14163, LXXVIII, б. 7, л. 60). Как показал на следствии Батенков, на этих обедах он и вступил в круг деятелей Тайного общества. Связан был с декабристами и другой директор Компании, Н. И. Кусов, бывший в 1824 г. городским головой в Петербурге; он был масоном, членом ложи «Избранного Михаила», т. е. той же ложи, в которой состоял Н. Бестужев.

В 1824—1825 гг. шли усиленные разговоры о привлечении на службу Батенкова, Штейнгейля и Завалишина. Первый намечался на должность

правителя всех колоний, а Завалишин, выступавший с обширными планами расширения русских колоний в Калифорнии, правителем колонии «Росс» (находившейся в Калифорнии). «При реализации всех этих проектов» и при наличии в качестве правителя дел — Рылеева «ряд ответственных должностей в компанейской администрации мог быть в руках членов Тайного Общества» (О к у н ь, ук. соч., стр. 107); дом же Росс.-амер. комп. стал фактически «штабом восстания» (там же). Связь декабристов с Российско-американской компанией обращала на себя внимание и современников. А. Е. Измайлов писал П. Л. Яковлеву, что «государь спросил Сомова, также привлекавшегося к следствию, но очень скоро освобожденного: „Где вы служите?“ — „В Российско-Американской компании“. — „То-то хороша собралась у вас там компания!“» («П а м. д е к.», I, стр. 242; см. также: А. И. Д е л ь в и г. Мои воспоминания, т. I. М., <1913>, стр. 54). После 14 декабря дирекция уничтожила очень много документов. Имеются смутные известия о помощи Росс.-америк. компании в установлении связей между находящимися в Сибири декабристами и их родными; Медокс в своем доносе уверял, что Компания «всю зиму при своих транспортах доставляет в Иркутск по нескольку возов с посылками для государственных преступников» (С. Ш т р а й х. Медокс, стр. 157).

54 (¹). Эпиграмма на Жуковского не случайна и отражает мнения о нем именно декабристской среды. В «Полярной звезде» А. Бестужев, отмечая высокие достоинства поэзии Жуковского и его заслуги перед русским языком, подчеркивал его отвлеченность, наклонность к чудесному и мистицизм, в которых он видел следствие внесенного Жуковским в русскую поэзию «германского колорита». О том же писал и Рылеев в письме к Пушкину: «Неоспоримо, что Жуковский принес важные пользы языку нашему; он имел решительное влияние на стихотворный слог наш, — и мы за это навсегда должны остаться ему благодарными, но отнюдь не з а в л и я н и е е г о н а д у х н а ш е й с л о в е с н о с т и, как пишешь ты. К несчастию, влияние это было слишком пагубно: мистицизм, которым проникнута большая часть его стихотворений, мечтательность, неопределенность и какая-то туманность, которые в нем даже иногда прелестны, растлили многих и много зла наделали» (П у ш к и н, XIII, стр. 141—142). Противоположную позицию в вопросе о Жуковском заняла редакция альманаха «Северные цветы».

Эпиграмма А. Бестужева на Жуковского стала очень популярной в литературных кругах, причем авторство ее упорно приписывалось Пушкину. Как пушкинскую сообщил ее П. Л. Яковлеву А. Е. Измайлов в письме от 10 мая 1825 г. Измайлов сообщает эту эпиграмму в иной редакции:

На саван променяв ливрею,
На пудры — лавры и венец,
С указкой втерся во дворец
И что же вышло, наконец?
Пред знатными сгибая шею,
Жмет руку он... камер-лакею,
Бедный певец!

(ИРЛИ, 14163. LXXVIII, б. 7, л. 95).

56 (1). М. Бестужев, как не бывший сам на Кавказе и рассказывающий в данном случае с чьих-то слов, неправильно излагает этот эпизод. Виновником доноса на Раевского был флигель-адъютант Бутурлин, специально подосланный к Раевскому в качестве шпиона-наблюдателя. Этот эпизод более подробно рассказан Лорером (стр. 202—203) и освещен в комментарии М. В. Нечкиной (там же, стр. 417). Тифлисский обед у Н. Раевского, на котором находились декабристы и который так дорого обошелся всем его участникам, мог происходить не ранее 6 сентября (кавказский историк Г. Вейденбаум думает даже, что не ранее 12-го) (Г. Вейденбаум. Кавказские этюды, стр. 267); Петр же Бестужев уже 3 сентября находился в Эрзеруме, 15 сентября шел с отрядом к Байбурту и 27 сентября участвовал в штурме этого города, так что этот обед на судьбе Петра Бестужева никак не мог отразиться, но А. Бестужев на этом обеде присутствовал. Обычное мнение, что в основе всего этого эпизода лежало стремление военного министра Чернышева окончательно погубить декабриста Захара Чернышева (находившегося в конвое Раевского и принимавшего участие в обеде) с целью помешать ему получить прощение и тем самым право на возвращение майората (Лорер, стр. 203), должно быть оставлено. Военный министр Чернышев, член суда над декабристами, в этих целях добился в 1826 г. осуждения З. Чернышева, но уже в 1828 г. ему было отказано в получении майората как не находящемуся в близком родстве с декабристом. Таким образом новое осуждение З. Чернышева не могло бы принести никакой пользы министру. В основе этого инцидента — интрига со стороны главнокомандующего Паскевича, невероятно завидовавшего популярности Раевского. Подробно об этих взаимоотношениях говорит в своих «Воспоминаниях» декабрист М. Пущин («Рус. арх.», 1908, XII, стр. 539—549).

Упоминание М. Бестужева о Н. Н. Раевском как члене Тайного общества вызвало печатный протест со стороны сестры его С. Н. Раевской («Рус. стар.», 1873, VII), которая утверждала, что Н. Н. Раевский «никогда не принадлежал ни к какому тайному политическому обществу, не был сужден следственной комиссией, не нуждался чисто-

сердечным раскаянием заслуживать прощение, не наполнял свой штаб декабристами и не получал из Петербурга строжайшего выговора, хотя и человеколюбиво обращался с ссыльными офицерами, которые находились в его полку». М. Бестужев уже к этому времени умер, и за него отвечал А. Е. Розен («Рус. стар.», 1873, VII), подтвердивший правильность сообщенного Бестужевым; однако прямых доказательств участия Н. Н. Раевского в Тайном Обществе не существует.

58 ([1]). История ареста Павла Бестужева и ссылка его на службу сначала в Бобруйскую крепость, а потом на Кавказ — неясна. По словам М. Бестужева, после 14 декабря Павла дважды брали на подозрение, а во втором случае он подвергся аресту. Существует ряд версий о причинах ареста Павла Бестужева, но бо́льшая часть их имеет явно легендарный характер: так, например, М. Каменская, якобы со слов самого Павла Бестужева, сообщает о разговоре его с Николаем I, во время которого он заявил, что никогда не примирится с политикой императора («Ист. вестн.», 1894, IV, стр. 33—34); по словам знакомого Павла, В. Шумилова, сам он приписывал свои злоключения исключительно тому, что был братом Бестужевых, и не связывал их с каким-либо прямым доносом («Рус. стар.», 1886, № 9, стр. 702). Среди бумаг бестужевского архива нет никаких указаний на причины ареста.

Известие о ссылке Павла Бестужева быстро распространилось и произвело тяжелое впечатление в обществе. Около этого же времени вышел в свет перевод поэмы Байрона «Абидосская невеста», выполненный известным поэтом И. Козловым. Перевод был посвящен императрице Александре Федоровне, а в предпосланном ему стихотворном посвящении упоминалось о первом дне царствования Николая как «дне бессмертной славы» и «спасенья алтаря, России и державы». Сопоставляя эти два факта, Вяземский писал: «Досадно и грустно. Хотел бы похвалить поэму, но рука не подымается упомянуть об эпистоле. Не наше дело судить, а все-таки сто двадцать братьев на каторге. Можно бы полжизнью купить забвение 14 декабря, а не то, что воспевать его, разве с тем, чтобы призывать милосердие на головы виновных и жертв. Не говорю уже о чувстве, но досадую на неприличие. . . Бестужева, последнего брата несчастных, сослали в Бобруйск, на крепостную работу» («Архив бр. Тургеневых», вып. 6, П. 1921, стр. 50—11).

58 ([2]). В Бобруйской крепости Павел Бестужев провел год, после чего был отправлен на Кавказ в ряды действующей армии, где быстро выдвинулся как способный и храбрый артиллерийский офицер. О его спокойном мужестве и храбрости упоминает ряд мемуаристов, — особенно интересны «Воспоминания» Торнау, одного из участников кавказских войн («Рус. вестн.», 1869, IV): описывая внезапную атаку горцев, грозившую отряду, в котором находился П. Бестужев, окружением,

мемуарист рассказывает: «Один Бестужев со своим орудием стоял на виду, и чеченцы не только били в артиллеристов, но даже пытались неожиданным налетом отнять единорог <пушку>. Картечь и огонь батальона осаживали их. Один раз они успели, однако, добежать; какой-то смельчак ухватился, было, за колесо, прислуга отскочила; тогда Бестужев выхватил у артиллериста пальник, сам приложил огонь к затравке, брызнул чеченцам в лицо полным зарядом картечи — и когда они разбежались, тем же пальником чувствительно напомнил солдатам, что и в крайнем случае не следует робеть» (стр. 174). Неоднократно упоминает о храбрости Павла и А. Бестужев в письмах к братьям. За изобретение особого приспособления к пушкам, получившего широкое применение в армии и известного под названием «бестужевского прицела», был награжден орденом. Расстроенное здоровье заставило его выйти из военной службы и перейти в гражданское ведомство; некоторое время он служил старшим адъютантом Главного управления военно-учебных заведений, начальником которого был Ростовцев.

Бестужевская одаренность заметно проявилась и в Павле Бестужеве: она сказалась и в его изобретательской деятельности и в его безусловном литературном даровании. Все братья стремились побудить его к литературной деятельности; под прямым воздействием А. Бестужева он написал интересный очерк «Замечания на статью „Путешествие в Грузию“», помещенный когда-то в одном из московских журналов («Сын отеч.», 1838, т. I. Критика, стр. 1—15); однако, из корыстных соображений редактора, этот очерк появился (якобы по ошибке) под именем Марлинского (тогда уже покойного). Это обстоятельство чрезвычайно огорчило П. Бестужева и совсем отвратило от общения с литературным миром.

59 (1). Весь этот абзац сопровождался вопросом на полях: на ком был женат Павел и где его сын.

59 (2). Время управления флотом министром де-Траверсе, а позже — А. Моллером принадлежит к самым темным страницам истории русского флота. Даже в официальном юбилейном издании их деятельность изображается в самых мрачных красках.

Головнин полагал, что маркиз де-Траверсе мог бы еще кое-что сделать («многие беспорядки истребить и недостатки пополнить»), «если бы был менее стар и более честолюбив», — но назначение Моллера министром было «последним ударом» по русскому флоту. «Из всего русского флота был избран человек, менее всего годный для сего важного поста». («О состоянии российского флота в 1824 году. Сочинение мичмана Мореходова. СПб., 1861, стр. 61). Н. Каллистов в статье «Флот в царствование Александра I» пишет, что «о министерской деятельности Фон-Моллера не стоит и распространяться» («Ист. рус. армии и флота», т. IX, стр. 77).

59 ([3]). Более подробно о своем уходе из морской службы и о значении в его жизни Торсона М. Бестужев говорит в ответе Семевскому на его вопрос, озаглавленный «Самые близкие ваши друзья до ссылки и в заключении» (см. наст. изд., стр. 258—274).

60 ([1]). Бибиков, Илья Гаврилович, близкий друг семьи Бестужевых, также принадлежал к Тайному обществу и даже включен в «Алфавит декабристов», где о нем сказано следующее: «Был членом Союза благоденствия, о чем сам лично объявил государю императору. По исследованию Комиссии оказалось, что он, действительно, уклонился от Союза и не только не принадлежал, но и не знал о существовании тайных обществ, возникших с 1821 года. Высочайше повелено оставить без внимания» (В о с с т. д е к., VIII, стр. 36). На следствии имя Бибикова дважды называл Трубецкой в качестве «сочлена начального общества» (В о с с т. д е к., I, стр. 10 и 48). Бибикова, несомненно, спасла близость его к в. кн. Михаилу Павловичу, у которого он в течение длительного времени был адъютантом. Позже сделал большую административную карьеру. С 1850 по 1855 г. был начальником Сев.-Зап. края. С семьей Бестужевых не прерывал дружеских связей и после ареста братьев.

60 ([2]). О сценическом даровании Н. Бестужева сохранился любопытный рассказ неизвестного мемуариста: «Н. Бестужев писал стихи для забавы, прекрасно рисовал, также ловко танцовал и был чрезвычайно и при том умно любезен в обществе. Он имел еще артистический дар для сцены, и когда играл на постоянном театре в Кронштадте до 1818 г., то известный в свое время прекрасным тенором и прекрасной игрой на Петербургской сцене актер Василий Михайлович Самойлов приезжал нарочно в Кронштадт любоваться игрой Николая Александровича и говорил, что следовало бы и многим записным петербургским актерам приезжать в Кронштадт и учиться у него» («Записки неизвестного о декабристах и о русских моряках прежнего времени». Щ у к. С б., вып. IV, стр. 176).

61 ([1]). М. Бестужев забыл упомянуть об одном важном обстоятельстве: рота, которой командовал Мартьянов и которая позже перешла к М. Бестужеву, носила название роты имени вел. кн. Михаила Павловича, — этим объясняется сугубое раздражение Михаила Павловича против М. Бестужева. Рота эта считалась образцовой, и в приказе от 17 декабря 1824 г. командир ее, шт.-капит. Мартьянов, получил благодарность. Приказ этот чрезвычайно характерен. Приводим небольшую выписку из него: «В роте моего имени успеху весьма много, одеты чисто и ловко, выправка некоторых людей не оставляет желать ничего лучшего и вообще хороша: в маршировке вынос ноги развязен, шаг плавен и ровен, в особенности на тихом шагу, ставят ногу прекрасно и подают на оную весь корпус, но на скором шагу иные люди подают внутрь

колено. В 1 и 2 фузилер. ротах я нашел выправку не совсем ровную. На маршировке в 1-й роте качается корпус, во 2-й взмахивают ногою. Вообще нахожу, что не дано никаких правил» (Н. Пестриков. История л.-гв. Московского полка, т. 1, стр. 264).

61 (²). В тексте «Русской старины» данное место было сопровождено следующим примечанием М. Семевского, вызванным, по всей вероятности, цензурными требованиями: «Такое обращение М. Бестужева, как он далее сознается, было вызвано не одною гуманностью, но и тайными преступными целями, которые преследовало то Общество, деятельным членом которого он был. А именно — той привязанностью, которую Бестужев возбудил в солдатах, объясняется, каким образом мог он...» — далее следует изложение текста записок. Борьба с палочным режимом в армии являлась одним из существеннейших моментов поведения декабристов, которое разделялось и многими представителями прогрессивной военной молодежи, даже и не состоявшими в тайных обществах. Якушкин борьбу «против палок» считал характернейшей чертой передовой свободолюбивой молодежи. «В это время число членов Тайного Общества значительно увеличилось, и многие из них стали при всех случаях греметь против диких учреждений, каковы палка, крепостное состояние и прочее» (Якушкин, стр. 25).

Устав Союза благоденствия предписывал членам в числе других мероприятий преследовать злоупотребления помещиков и уничтожать или, по крайней мере, смягчать телесные наказания солдат (Семевский, стр. 434). Сводка высказываний и практических мероприятий декабристов по улучшению тяжелого положения солдат сделана Семевским (стр. 110—128). Наиболее яркими документами являются записка «О солдате» В. Раевского и приказы М. Орлова («Декабристы Сб. отрывков из источников. М.—Л., 1926). В приказе от 3 августа 1820 г., только что вступив в командование 16-й пехотной дивизией, Орлов писал: «Я почитаю великим злодеем того офицера, который, следуя внушению слепой ярости, без осмотрительности, без предварительного обличения, часто без нужды и даже без причины употребляет вверенную ему власть на истязание солдат...» (там же, стр. 61); в том же приказе он предупреждал, что наиболее жестоких офицеров будет отстранять от команды. В приказе от 6 января 1822 г. он еще более резко заявлял, что «все же изверги, кои одними побоями доводили их полки до наружной исправности, все погибли или погибнут» (там же, стр. 63). Этим же приказом ряд офицеров был отстранен от командования и предан военному суду за истязания солдат.

В тесной связи с приказами Орлова стоит уцомянутая выше записка В. Раевского («Кр. Арх.», т. XIII, стр. 309—314; В. Базанов. В. Ф. Раевский. Л., 1949, стр. 58—62). Приказы Орлова были впослед-

ствии поставлены ему в вину и служили одной из причин отстранения его от командования дивизией.

К сожалению, мы не располагаем достаточным количеством сведений, кому из офицеров-декабристов удалось полностью реализовать в своей деятельности требование об отмене палочного наказания и вообще смягчения солдатского режима. Кроме М. Бестужева, можно еще назвать Сергея и Матвея Муравьевых-Апостолов, В. Раевского, М. Фонвизина, Ф. Вадковского, — видимо в таком же духе действовали многие члены Общества соединенных славян. Петр Борисов после одного случая тяжелого наказания солдат, при котором он присутствовал, дал клятву «уничтожить наказание такого рода, хотя бы сие стоило мне жизни» (Восст. дек., V, стр. 22; см. также: Семевский, стр. 116). Резко отличалось от них поведение Пестеля, о чем упоминают в своих мемуарах А. Муравьев («Воспоминания и рассказы», I, стр. 138), Горбачевский (стр. 90), Лорер (стр. 74—75). Горбачевский полагал, что Пестель для того «угнетал самыми ужасными способами солдат», чтобы такими мерами «возбудить в них ненависть к правительству» (Горбачевский, там же); так же, видимо, полагал и Лорер, который рассказывает, что он даже пытался убедить Пестеля изменить его отношение к солдатам и офицерам: «солдаты вас не знают, — говорил он ему, — может быть, и не любят, офицеры боятся...» (Лорер, стр. 75).

64 (1). Анета М. — дочь вице-адмирала Михайловского; о ее дальнейшей судьбе и жизни М. Бестужев в течение долгого времени ничего не знал. Только в письме к родным (от 26 ноября 1837 г.), которое было отправлено с верной оказией, т. е. вне контроля 3-го Отделения, он спрашивал у сестер: «Скажите, где теперь и что делает младшая дочь Михайловских?». О семье Михайловских несколько раз упоминает в своем «Дневнике» и Александр Бестужев (Пам. дек., I, стр. 69).

64 (2). Эта глава впервые появилась в заграничной печати на немецком языке: «Убийство Павла и восшествие на престол Николая I. Новые материалы» («Die Ermordung Pauls und die Thronbesteigung Nicolaus I: Neue Materialien veroffentlicht und eingeleitet von Th. Schiemann». Berlin, 1902). По рукописи, хранившейся в собрании Дашкова, она была опубликована П. Е. Щеголевым в изд. «Огни» и затем в более исправном виде в изд. 1931 г. На рукописи историком Шильдером сделана следующая пометка: «Предсмертная рукопись карандашом».

65 (1). Воспоминания («Четырнадцатое декабря»), о которых упоминает в данном примечании М. Бестужев, принадлежат не И. Пущину, которому ошибочно приписаны они Герценом, а И. Якушкину. Конечно, ни о какой правке «верноподданными руками» не могло быть и речи. Отдельные же ошибки этого повествования объясняются исключительно

тем, что сам Якушкин не был на площади, не был он в тот день и в Петербурге и восстанавливал картину этого дня по разнообразным свидетельским показаниям своих соузников, — таким образом он выступал не как мемуарист, а как историк. Рассказ Якушкина перепечатан в издании: «Воспоминания и рассказы деятелей Тайных Обществ 1820-х годов», т. I (Л., 1931, стр. 165—188). Рассказ Якушкина в основном очень точен и правдив, и сделанные им промахи, в сущности, весьма незначительны. М. Бестужев очень преувеличивает, говоря о недостойной оценке автором поведения Рылеева: в действительности, Якушкин нигде не говорит о трусости Рылеева. Возмутившее М. Бестужева место звучит буквально так: «Рылеев — отставной поручик артиллерии, страстно любил Россию и в душе был поэт: вступивши в Тайное Общество, он всегда был готов служить ему и словом и делом, но в решительную минуту он потерялся, конечно, не из опасения за жизнь свою: на эшафот он взошел прекрасно и все в нем доказывает, что смерть не была для него нежданной гостьей» (там же, стр. 170). Таким образом данное замечание никак нельзя понимать как попытку обвинения Рылеева в трусости, но для М. Бестужева было недопустимо какое-либо изображение Рылеева, нарушающее его ореол бесстрашного революционера и вождя восстания.

66 (1). Рассказ М. Бестужева о поведении Якубовича в день 14 декабря подтверждается и другими мемуаристами: Якушкиным (Восп. и расск., I, стр. 169), Розеном (стр. 70) и др. Но, несмотря на большое количество рассказов, роль и поведение Якубовича накануне и в день восстания не выяснены и представляются весьма противоречивыми. Членом Тайного общества он не был, но был в тесной связи с Рылеевым, Волконским и другими важнейшими деятелями движения. О существовании Тайного общества узнал от Волконского и уверял последнего в существовании Кавказского Тайного Общества (Волконский, стр. 415—416). Рылееву и его друзьям он говорил о своем намерении убить Александра, чтоб отомстить ему за оскорбление, выразившееся в «несправедливом переводе» его из гвардии в армию. Трудно сказать, в какой мере это заявление было искренним и продуманным решением. Якубович неоднократно принимал участие в совещаниях у Рылеева, выступая порой с очень резкими предложениями. Отношение к нему членов Тайного общества было крайне неровное: одни считали его искренним и горячим революционером, другие — лишь хвастливым болтуном и бреттером. В восстании он сыграл, в конечном счете, подобно Трубецкому, помощником которого был назначен, роковую роль, не выполнив ни одного из данных ему ответственных поручений (в частности, он должен был поднять артиллеристов и Измайловский полк). Все действия его в этот день отличаются крайней непоследовательностью и трудно объяснимы. Своих обязательств он не выполнил, но на площадь все же

явился; согласился принять начальство над восставшими войсками, но фактически к исполнению принятых на себя обязанностей не приступил и на время исчез с площади; затем снова появился, оказался возле Николая, принял на себя роль парламентера, а подойдя к восставшим, посоветовал им крепче держаться. Разговор его с Николаем передается мемуаристами в различном освещении и с разными, порой противоречивыми, подробностями. Сам Николай был убежден, что Якубович был подослан к нему, чтобы узнать о его намерениях и потом, сообразно этому, действовать (Междуцарствие, стр. 24). А. Бестужев на следствии охарактеризовал Якубовича как хвастуна (Восст. дек., I, стр. 446), и эту же характеристику занес в свои «Автобиографические записки» А. Боровков, обычно относящийся к декабристам с большим сочувствием («Рус. стар.», 1898, XI, стр. 339—340). Современникам он был, вообще, известен как легендарный храбрец, — его «романтическими подвигами» на Кавказе восхищался Пушкин, — и как бреттер-дуэлист, особенно прославившийся в известной дуэли Грибоедова и Шереметева (полная сводка биографических известий о Якубовиче сделана Б. Л. Модзалевским в примечаниях к письмам Пушкина: «Пушкин. Письма, т. I. М.—Л., 1929, стр. 527—529). В таком освещении, как человек огромной личной храбрости, но невысоких моральных свойств, он и вошел в историю декабристского движения. Однако такое представление о нем должно быть признано чрезмерно односторонним, на что указал уже Н. К. Пиксанов, подчеркнувший, что «Якубович содержательнее своей легендарной биографии» (см. его предисловие к письмам В. Л. Давыдова, «Историк-марксист», 1926, № 1, стр. 183). За внешне бреттерским обликом скрывались более глубокие и серьезные черты, которые умели отметить и немногие современники. Денис Давидов именовал его «богатырем-философом» («Рус. стар.», 1888, XI, стр. 331). Замечательным памятником, характеризующим Якубовича как подлинного патриота, глубоко размышлявшего о судьбах и положении родины, является его письмо из крепости к Николаю, в котором он очень широко развернул вопрос о причинах, породивших народное недовольство.

По окончании пребывания в казематах Якубович находился на поселении сначала в селениях около Иркутска, а потом вблизи Красноярска. В Сибири он пытался заниматься хлебопашеством, частной службой, в том числе и службой у золотопромышленников. В 1843 г. его хотел привлечь к участию в исследовании края знаменитый путешественник Миддендорф, что, однако, не удалось осуществить вследствие запрещения краевой власти (М. Азадовский. Странички краеведческой деятельности декабристов в Сибири. «Сиб. и декабристы», стр. 110—112).

Его поведение на поселении отличалось также непоследовательностью и отсутствием принципиальной четкости, что нередко служило

поводом резких суждений о нем его товарищей. Так, например, в 1840 г. Вадковский в иронических тонах сообщает Пущину о религиозном рвении Якубовича, который вознамерился говеть и отправился в монастырь, взяв с собой только мешок сухарей («Зап. Отд. рук. Лен. б-ки», вып. 3, стр. 29); Сутгоф с негодованием рассказывает о недостойной тесной дружбе Якубовича с откупщиком (там же, стр. 35), и т. д. Неровным оставалось во время пребывания в Сибири и отношение Якубовича к 14 декабря и вообще к революции: то он гордился своим участием в деле, то считал себя жертвой вовлекших его товарищей, а самое восстание — наказанной нелепостью. Сохранилось две записи, сделанные им на месяцеслове 1843 г., находившемся в библиотеке известного сибирского библиофила Г. Юдина, а ныне в Вашингтонской библиотеке (Д. Анучин. Судьба первого издания «Путешествия» Радищева. М., 1918, стр. 31—32). Одна запись, сделанная «в полночь 14 декабря» и свидетельствующая о глубоком разочаровании и страданиях, довольно известна, так как неоднократно перепечатывалась, — другая, сделанная в том же календаре 31 декабря, была опубликóвана лишь в 1925 г.; она очень примечательна: «Вот и 43-й год кончился, 20-й год ссылки, гонения, бедности, труда наступает. Боже! даруй мне сил выполнить долг человека-гражданина, и мою лепту в скарб отечества принесть: не запятнанную, не оскверненную гордостию и самостию, но выраженную любовью и правдой. Я очень болен, мне 59 лет, раны мои напоминают, что скоро конец, служащий началом» («Кат. и ссылка», №№ 28—29, стр. 331).

Имеются вполне достоверные сведения, что Якубович написал мемуары (см. газ. «Россия», 1901, № 870); в 1925 г. Иркутской комиссией по организации юбилея декабристов удалось установить, что эти, считавшиеся утраченными, «Записки» хранились в течение долгого времени у одного местного чиновника и были им уничтожены во время колчаковщины.

66 (2). Сутгоф был одним из тех, кто сыграл выдающуюся роль в восстании, вполне выполнив возложенное на него поручение. Сутгоф был ротным командиром лейб-гвардии Гренадерского полка; командиру полка Стюрлеру удалось привести полк к присяге, и Сутгоф был убежден, что выступление не состоялось. Когда же в казармы полка приехал посланный с площади Одоевский и рассказал о положении дел, Сутгоф сразу же поднял свою роту, привел ее в боевой порядок и повел через лед, по Неве, ко дворцу. Позже к нему присоединился и Панов, — оба они имели возможность занять дворец, однако, не имея точных сведений о том, как развертываются события, они миновали его и направились на площадь. Сутгоф был приговорен к 20-летней каторге и жил до 1848 г. на поселении близ Иркутска, а затем был в числе тех, кому было разрешено вступить рядовым на действительную службу. В 1853 г. был произведен в прапорщики, а в 1855 — вышел в отставку. Сохранились очень инте-

ресные замечания его о дне 14 декабря, сделанные на полях книги Корфа («Былое», 1907, IV).

68 (1). Сообщение М. Бестужева о Корнилове не вполне точно: его рота (вторая гренадерская) целиком не присоединилась к восставшим (см.: Габаев. Гвардия в декабрьские дни 1825 г. — в кн.: А. Е. Пресняков. 14 декабря 1825 г. Л., 1925, стр. 175). Сам же Корнилов занял нейтральную позицию.

70 (1). По официальным данным, фамилия раненого унтер-офицера — Моисеев, а не Федоров.

74 (1). Дальнейший рассказ почти целиком заимствован из статьи И. Якушкина «14 декабря», с небольшими дополнениями, в частности, касающимися Н. Бестужева, о котором Якушкин не упоминает.

75 (1). Дальнейший текст И. Якушкина вписан в текст чужой рукой.

79 (1). П. Першин-Караксарский, слышавший этот рассказ непосредственно от самого М. Бестужева, сообщает еще следующие подробности смерти Любимова, которого он именует Свистуновым: «Когда я наклонился к нему, — передает он рассказ М. Бестужева, — чтобы заткнуть носовым платком бившую кровавым фонтаном рану, он без стона и жалобы успел проговорить: „оставьте, ваше благородие, умру за... не оставьте жену ...“» («Ист. вестн.», 1908, XI, стр. 541). Возможно, что ранее М. Бестужев называл другую фамилию, так как в официальных документах имя Любимова не упоминается (С. Я. Гессен. Солдаты и матросы в восстании декабристов. 1930, стр. 137) и в данном случае вполне вероятна ошибка мемуариста.

80 (1). Имя этого «доблестного» офицера установлено: это был командир 6-го эскадрона лейб-гвардии Конного полка, А. А. фон-Эссен, награжденный за день 14 декабря орденом. Площадь Румянцева — ныне Румянцевский сквер на набережной Васильевского острова.

86 (1). Борецкий (настоящая фамилия — Пустошкин, Иван Иванович) — известный актер 20—30-х годов. Современники очень ценили его как актера, а Пушкин ставил даже выше весьма популярного в то время Брянского. Под конец жизни заболел сильным умственным расстройством. Непонятно, почему Е. Бестужева, упоминая о нем в разговоре с Семевским (см. наст. изд., стр. 403), назвала его лицом темным.

104 (1). М. Бестужев не совсем точно характеризует свое поведение на допросе как полное и безусловное отрицание, но, действительно, все время он был очень скуп и сдержан в своих показаниях. Тактика его заключалась в следующем: он признавал все, что касалось его деятельности при поднятии Московского полка и на площади, но совершенно умалчивал о делах Тайного Общества. На первом допросе он заявил, что цели бунтовщиков ему были не известны; что он был вовлечен слухами о задержании вел. кн. Константина; из бунтовщиков, которые были

на площади, знал лишь Оболенского, Одоевского, Кюхельбекера, Каховского и Рылеева; что он старался все время удерживать солдат от пролития крови; Милорадовича же ранил кто-то из толпы народа, и т. д. (Восст. дек. I, стр 480). Когда же, однако, уж нельзя было отрицать свое участие в Тайном Обществе и нужно было указать лицо, которое его приняло, он назвал покойного Чернова, погибшего в 1824 г. на дуэли с Новосильцевым. 16 марта от него потребовали прямого ответа о подробностях заседаний 12 и 13 декабря у Рылеева, причем из самой формулировки вопроса М. Бестужеву было ясно, что Комитету известно все до мельчайших деталей; однако и здесь М. Бестужев продолжал свою тактику отрицания и умолчания; в объяснение же своего незнания ссылался на то, что ему вследствие его молодости не доверяли и часто во время совещаний отсылали посидеть к хозяйке или на квартиру к брату (там же). Ясно, что такая «закоренелость преступника» вызывала страшное негодование Комитета и царя. Николай I в своих «Записках» сообщал, что от М. Бестужева узнали, «что князь Трубецкой был назначен предводительствовать мятежом» (Междуцарствие, стр. 29); это неверно: Николай писал свои воспоминания через 20 с лишним лет после события и многое спутал — о Трубецком он узнал не от Михаила, а от Александра Бестужева (Восст. дек., I, стр. 428: Протокол первого допроса).

104 (2). В декабристской историографии была очень распространена версия о ложном самообвинении Фаленберга, следствием чего и явился довольно суровый для него приговор. Источником этой версии являются, прежде всего, воспоминания самого Фаленберга («Из записок П. И. Фаленберга»: впервые были опубликованы в «Русском архиве», 1877, № 9 и затем в несколько отличных редакциях в «Русской старине», 1883, № 6, и в книге Т. Шимана). Помимо самого Фаленберга эту версию неоднократно повторяли и различные мемуаристы из среды декабристов (М. Бестужев, А. Муравьев, Е. Розен).

Подлинная рукопись воспоминаний Фаленберга находилась в распоряжении декабриста А. Розена, который пытался неоднократно опубликовать ее в общей печати, — в частности в «Отечественных записках» Некрасова (1877), однако эти попытки встречали неизменное сопротивление цензуры. Сообщение М. Бестужева о какой-то рукописи Штейнгейля, написанной им под диктовку Фаленберга, явно ошибочно: очевидно, он имел в виду «Записки» Колесникова, которые, действительно, были записаны Штейнгейлем. По подлинной рукописи «Воспоминания» Фаленберга были опубликованы П. Е. Щеголевым в качестве приложения к «Запискам» А. Розена. Новое критическое издание было выполнено А. В. Предтеченским (Восн. и расск., I, стр. 223—242), сопроводившим данную публикацию внимательным историческим анализом.

В результате последнего выяснилось, что версия о ложном самообвинении является легендой, изобретенной самим Фаленбергом и доверчиво поддержанной поверившими ему товарищами по заключению и ссылке. А. Предтеченский установил, что Фаленберг в 1822 или 1823 г. был. действительно, принят в Тайное Общество и что он знал от Барятинского о проекте цареубийства (там же, стр. 218), так что ни о каком ложном самообвинении и совершенно незаслуженном заточении не может быть и речи. К доказательствам А. Предтеченского можно добавить еще одно существенное обстоятельство. В Петропавловской крепости камера Фаленберга находилась против камеры, в которой содержался Гангеблов; они имели возможность переговариваться; при отъезде Гангеблова из крепости Фаленберг сумел вручить ему письмо к своей жене, которое тот и доставил, — и, однако, ни в данном письме, ни в разговорах с Гангебловым Фаленберг не говорил о своей полной невиновности и ложном самообвинении, — наоборот, он с сожалением сказал ему, что «во всем сознавался» (Г а н г е б л о в, стр. 110), и при этом добавил, что для убеждения следователя в полной своей искренности он признался и в таком, «в чем вовсе не участвовал», и что «этим враньем» он еще больше себе повредил (там же). Таким образом речь может итти не об абсолютном самообвинении, а лишь о ненужном изобретении каких-то ложных подробностей. Позже же из факта частичных ложных признаний Фалленберг построил целостную легенду о сплошном самообвинении и полной своей непричастности.

Цель созданной Фаленбергом легенды остается неясной. Не исключена возможность, что эта версия была создана Фаленбергом в целях самооправдания перед первой женой, которую он страстно любил и которая, однако не только не последовала за ним, но порвала с ним официально, выйдя вторично замуж. Это предположение тем вероятнее, что Фаленберг главной причиной своего «самооговора» выставляет любовь к жене и стремление как можно скорее возвратиться к ней. Позже Фаленберг вторично женился в ссылке (1840) на местной казачке.

Случай с Дивовым был в другом роде. А. Муравьев так рассказывает о нем: «Один офицер гвардейского экипажа, Дивов, едва достигший 19 лет, которого тюрьма и плохое обращение также расстроили умственно, обвинил себя в том, что в заключении он только и видит один сон, как закалывает императора кинжалом. У Комитета хватило бесстыдства сделать из этого пункта обвинения против него» (В о с п. и р а с с к., I, стр. 129). Совершенно измученный, Дивов давал пространные показания, явившиеся губительными для ряда лиц. В «Алфавите декабристов» о нем сказано: «При первом допросе был не чистосердечен, но, вскоре совершенно раскаяваясь, прислал полное признание в собственных заблуждениях, показав всех, разделявших оные. Он был единственною при-

иною открытия преступлений Завалишина, Беляевых и некоторых из морских офицеров, а также вины Гудимы <поручика Измайловского полка>» (Восст. дек., VIII, стр. 78). А. Беляев рассказывает, что во время сентенции Дивов бросился к нему на шею и со слезами сказал: «Братья Беляевы, простите ли вы мне, ведь это я погубил вас всех» (Беляев, стр. 198). Последующая судьба его была очень тяжела: осужденный по первому разряду к двадцатилетней каторге, он был по высочайшему приказанию направлен, вместо Сибири, в Бобруйскую крепость, где провел тринадцать лет, после чего (1840) определен рядовым на Кавказ, где вскоре и умер. Завалишин полагал, что роковую роль в судьбе Дивова и в его поведении на суде сыграл священник Мысловский.

106 (1). Розен, арестованный утром 15 декабря и находившийся в это время на дворцовой гауптвахте, рассказывает: «Из-за стеклянной двери мы видели, как конвой преображенцев окружил А. А. Бестужева 2-го (Марлинского), который сам явился во дворец с повинною головою: он был одет, как на бал, и когда конвою велели итти с ним, то сам скомандовал „марш!“ и пошел с ним в ногу» (Розен, стр. 75). Очень драматически изображает этот момент и сам Николай в своих «Записках» (Междуцарствие, стр. 32). Эта явка и пространные показания очень облегчили положение А. Бестужева, которому Николай заменил двадцатилетнюю каторгу ссылкой в Якутск, откуда затем он был переведен рядовым на Кавказ. Этой милостью, однако, и ограничилась признательность царя: в дальнейшем он неизменно отказывал в каких бы то ни было ходатайствах, клонившихся к облегчению участи А. Бестужева.

Поведение А. Бестужева после 14-го числа истолковывалось многими его биографами как доказательство недостаточной серьезности его и случайности его революционных настроений. В применении к нему не раз встречался даже термин «случайный декабрист». Однако такого рода утверждения принадлежат к числу многочисленных упрощенных толкований, которых немало сложилось в декабристской историографии. Добровольная явка означала лишь сознание проигранной кампании и вытекала из кодекса дворянских понятий о воинской чести. Свою явку А. Бестужев рассматривал как сдачу оружия победившему противнику. Так же поступили Мих. Кюхельбекер, уже на площади сдавший свою шпагу, и Сутгоф. По тем же причинам некоторые декабристы не считали возможным спастись бегством, например, И. И. Пущин, которому его лицейский товарищ А. Горчаков, служивший в Министерстве иностранных дел, привез заграничный паспорт. Пущин впоследствии сам рассказывал Е. И. Якушкину, что не согласился, считая «постыдным избавиться от участи, которая ожидает других членов Тайного Общества» (Е. Якушкин. Воспоминания об И. И. Пущине. «Сев. край», 1899, № 158). Отказались от побега за границу Волконский и Басаргин;

последний писал, что считал невозможным «оставить родину в такое время, когда угрожает опасность», и «отделить свою судьбу от судьбы товарищей» (Басаргин, стр. 41).

107 (1). Заковывание в железо было, по существу, одной из мер воздействия на заключенных, создавая специфически-психологическую обстановку, и вместе с тем этой мерой пользовались как одним из средств добиться большей откровенности в показаниях. Лунин трактует эту меру наряду с такими формами воздействия, как морение голодом, содержание в темноте и т. п. (Лунин, стр. 65); ему вторит А. Поджио, рассматривающий заковывание как одну из форм пыток: «пытки заключались в наручных цепях. Они наложены были на Якубовича, Петра Борисова. Других во время следствия сажали на хлеб и на воду, в особенные темные, сырые казематы» (Восп. и расск., I, стр. 50). А. Поджио называет очень мало имен. В действительности в кандалы было заковано очень много арестованных, в том числе Пестель, Бестужев-Рюмин, Якубович, А., М. и Н. Бестужевы, П. Борисов, Бобришев-Пушкин, Оболенский, Цебриков, Норов, Артамон Муравьев и др. Наложение оков явилось причиной сумасшествия Андреевича 2-го. Заковывание бывало кратковременным и длительным, изменяясь от характера ответов обвиняемых на следствии. Характерна резолюция Николая относительно содержания Якушкина: «Заковать в ручные кандалы и ножные железа, поступать с ним строго и не иначе содержать, как злодея». В статье П. Е. Щеголева «Император Николай I — тюремщик декабристов» («Былое», 1906, IV; перепеч. в книге того же автора: Декабристы. Л., 1926, стр. 263—276) приведены данные о сроках нахождения в оковах некоторых заключенных: так, например, Цебриков находился в кандалах с 16 января по 10 апреля; П. Борисов — с 11 февраля по 30 апреля; Башмаков с 15 февраля по 15 мая, и т. д. Наоборот, Оболенский был уже 1 февраля раскован. М. Бестужев был раскован только 30 апреля, т. е. находился в оковах пять месяцев.

108 (2). Первоначально декабристов навещал протоиерей Петропавловского собора Стахий; с порученным ему заданием он явно не справился и был заменен протоиереем Казанского собора Петром Николаевичем Мысловским. Последний и посещал декабристов вплоть до приговора и отправки из крепости. О Мысловском упоминают чуть ли не все мемуаристы; неоднократно встречаются упоминания о нем и в письмах декабристов и их родственников, однако впечатления и оценки очень противоречивы и его поведение и действительное отношение к декабристам остается неясным. Собственные его «Записки» о декабристах до нас не дошли, сохранился лишь небольшой отрывок, опубликованный в «Щукинском сборнике» (т. IV, стр. 29—40; «Рус. арх.», 1905, IX, стр. 132—133). Очень положительную оценку давали Оболенский, Якуш-

кин, Лорер; отрицательную — Басаргин, Завалишин, Лунин, Муханов. Противоречивость отзывов декабристов о Мысловском отметил и М. Бестужев в разговоре с М. Семевским (см. стр. 391). Эти противоречия пытался осмыслить Трубецкой, который полагал, что, сначала настроенный недоброжелательно по отношению к узникам, позже, после личного знакомства, он сделался их другом и покровителем, оказывая много услуг им и их родным (Д е к. и и х в р е м я, II, стр. 17—18). Так же смотрел и А. Муравьев, полагавший, что переворот в Мысловском вызвали результаты суда и, особенно, казнь (В о с п. и р а с с к., I, стр. 127); однако таким суждением не снимается подозрение в неискренности Мысловского до приговора, т. е. во время его постоянных встреч с арестованными. Наконец, сестра декабриста Муханова со слов брата категорически утверждает, что Мысловский был «агентом государя, шпионом, который испортил жизнь многих доверившихся ему» (Дневник Е. Шаховской, «Голос мин.», 1920—1921, стр. 108); в числе этих жертв она считала и самого Муханова, однако подробности не известны. Лунин в письме из Акатуя С. М. Волконскому предостерегал его от дружбы с представителями духовенства, напоминая о той роли, которую они сыграли в их процессе, называя их «переряженными жандармами» (С. Г е с с е н и М. К о г а н, стр. 273). Еще резче он пишет в «Разборе донесения», прямо обвиняя крепостного священника в нарушении тайны исповеди (Л у н и н, стр. 68).

В общем, представляется бесспорным, что какие-то услуги Мысловский сумел оказать, но не следует забывать, что многие из общавшихся с декабристами по официальным поводам лиц были склонны оказывать им различные услуги, учитывая огромные связи и силу декабристских родственников. К тому же, большинство рассчитывало на более мягкий приговор, — в особенности представителям родовой знати и влиятельных дворянских фамилий. Но также бесспорно, что Мысловский оказал немалые услуги и правительству, в значительной мере оправдав возложенные на него поручения, что и было отмечено Николаем, даровавшим ему в день казни орден св. Анны, о чем рассказывает и Лорер (стр. 123).

113 ([1]). Сильвио Пеллико — итальянский поэт-романтик, участник национально-революционного движения против австрийского владычества и редактор центрального органа карбонариев. Стендаль утверждал, что С. Пеллико «обещает сделаться великим итальянским поэтом» (С т е н д а л ь, Собр. соч., т. XI, Л., 1936, стр. 105). В 1820 г. он был арестован и провел в заключении 10 лет. Арест Пеллико произвел большое впечатление во всей Европе; декабрист А. Беляев указывал на заключение в тюрьму Пеллико как одну из причин, содействовавших возникновению у него «либерального образа мыслей» (С е м е в с к и й, стр. 365). Огромный общеевропейский резонанс имели и его воспоминания, оза-

главленные им «Мои темницы», вышедшие в 1833 г. и переведенные на все европейские языки. Несмотря на звучавшие в них ноты примирения и отхода от революции к католицизму и смирению, они были восприняты как обвинительный акт против международной реакции. Русский перевод появился в 1836 г., но М. Бестужев, вероятно, познакомился с книгой еще ранее, прочитав ее в подлиннике (в письмах он всегда цитирует заглавие ее по-итальянски). «Мои темницы» были очень популярны среди декабристов; о них упоминают Лорер, Муханов и др. Муханов писал из Братского острога: «Я получил книгу Пеллико и пробежал ее с жадностью. Ко всем достоинствам присоединяется однообразие нашей судьбы, и Вы можете представить, как мне и книга и автор по душе. Я только не испытал чувств, с которыми въезжают в родину» (Д е к. н а к а т., стр. 222). О впечатлении, произведенном книгой Пеллико на М. Бестужева, и о ее роли в замысле его мемуаров — см. письма к Семевскому.

113 (²). В данном случае М. Бестужев явно не точен; услугами солдат-сторожей пользовались многие декабристы, в том числе и Н. Бестужев. В воспоминаниях декабристов и в переписке сохранилось много свидетельств о такого рода фактах. Сторож принес Оболенскому послание Рылеева, написанное на кленовых листьях (О б щ. д в и ж., стр. 251—253); Е. Ф. Муравьева — мать Никиты и Александра Муравьевых — сносилась с сыновьями через подкупленных сторожей (Д р у ж и н и н, стр. 250), о подкупах сторожей определенно говорит Завалишин (стр. 244). Но еще более часты, видимо, были случаи доброго расположения сторожей и их сочувствия к заключенным. Лорер рассказывает об унтер-офицере Соколове, оказавшем ему ряд существенных услуг (Л о р е р, стр. 105, 106, 110, 123); о том же Соколове с большой симпатией упоминает Р о з е н (стр. 90, 95), видимо, о нем же говорит и Гангеблов, только неправильно называя его другой фамилией (Шеховцев), — он же передает рассказ и о служителе Рослове, чрезвычайно сердечно относившемся к Лунину (Г а н г е б л о в, стр. 100, 101, 107); о преданности сторожей говорит и Басаргин, утверждая, что некоторые из них так сердечно привязались к узникам, что «даже готовы были подвергнуться взысканию, лишь бы только чем-нибудь угодить нам» (Б а с а р г и н, стр. 57), в частности, сам Басаргин «абонировался через своего сторожа в книжном французском магазине и брал оттуда книги» (там же, стр. 82). Были попытки и со стороны начальства использования сторожей в качестве шпионов: им разрешалось оказывать мелкие услуги заключенным и даже переносить записки, которые прочитывались администрацией (ср. в наст. изд. рассказ Елены Бестужевой). Любопытно сообщение Басаргина об одном унтер-офицере, который предлагал ему, а раньше Никите Муравьеву организовать побег из крепости и затем

на корабле «уплыть в Англию» (Б а с а р г и н, стр. 83—85), но не ясно, каковы были подлинные причины такого предложения: сочувствие, желание богатого вознаграждения или это просто было провокацией.

114 ([1]). Это упоминание о IX т. «Истории государства российского» очень характерно. Появление тома, в котором была помещена история царствования Ивана IV, произвело совершенно исключительное впечатление в обществе. Ни одна книга доселе не производила такого эффекта и не пользовалась такой популярностью. Ее «так жадно читали, — пишет в своих «Записках» Лорер, — что, по замечанию одного из товарищей, в Петербурге от того только такая пустота на улицах, что все углублены в царствование Иоанна Грозного» (Л о р е р, стр. 67). Декабристы еще не умели разобраться в общегосударственном значении деятельности Ивана Грозного и его борьбы с попытками дворянской олигархии и воспринимали в данном случае изложение Карамзина буквально, — впрочем, декабристы, может быть, и сознательно не останавливались на этой стороне дела, так как им важно было использовать в пропагандистских целях страницы Карамзина, посвященные царствованию Ивана Грозного как материал для характеристики методов самодержавия.

115 ([1]). Трудно переводимое английское проклятие.

115 ([2]). О коменданте Петропавловской крепости плац-майоре Подушкине — см. далее заметки Петра Бестужева (стр. 357). Все мемуаристы отмечают его жестокость, пьянство, взяточничество. Внешний облик его выразительно зарисован Лорером: маленький, толстенький человек «с провалившимся носом» (Л о р е р, стр. 97). Цебриков пишет о нем: «Подушкин, всегда поддержанный порядочною дозою водки, имел всегда красное лицо, всегда звериное. Он всегда готов был воспользоваться чужою собственностью, считая арестантов, как отпетых, и злоупотреблениям его не было конца» (В о с п. и р а с с к., I, стр. 257); Цебриков же сообщает, что впоследствии Подушкин был смещен за получение им с одного из заключенных, привлекавшихся по делу о восстании в Польше, взятки в размере 70 000 (там же). Подушкин оказывал за крупное вознаграждение некоторые услуги и декабристам. О дочери его упоминает и сестра декабриста Муханова («Голос мин.», 1920—1921, стр. 111).

121 ([1]). Разрешение получать письма от родных или писать им, а также денежные подарки женам или матерям, были одним из искусных мер Николая для «уловления душ» заключенных. Денежные подарки делала императрица Александра жене Рылеева, что вызывало в самом Рылееве чувство признательности и благодарности; особенно же поддался на эту ловушку Оболенский, психологическое состояние которого очень живо и верно изображено в исследовании М. В. Нечкиной: «Человек живой и очень впечатлительный, угнетенный тюремной обстановкой

и тревогой за горячо любимого 70-летнего отца, подвергся сложному психологическому воздействию со стороны Николая I: священник обратился к нему с религиозным увещанием, его допустили к исповеди и причастию и в момент высокого душевного волнения неожиданно подарили царскую милость — вручили письмо от старика-отца. Потрясенный всем этим, декабрист написал покаянное письмо Николаю и назвал все имена, которые до тех пор ему удалось на допросах скрыть. Он приложил к письму длинный список не названных им ранее членов Общества, содержавший 61 новое имя» (М. В. Н е ч к и н а, стр. 393).

122 ([1]). В историко-революционной мемуарной литературе нередко встречаются указания, что изобретателем «стенной азбуки» был Николай Бестужев, — в действительности, как ясно из рассказа М. Бестужева, изобретателем явился он; но очень скоро начались поправки и усовершенствования в его «азбуке»; сам М. Бестужев говорит об изменении, внесенном Александром Бестужевым; Завалишин уже утверждает, что было несколько систем перестукивания (З а в а л и ш и н, стр. 243); этой азбукой пользовались декабристы и в Шлиссельбургской крепости, где с ней ознакомился известный впоследствии провокатор Роман Медокс, заключенный в крепость по приказу Александра I за крупную денежную авантюру. В 1831 г. он послал правительству донос на находящихся в Сибири декабристов и в нем дал наглядное изображение тюремной азбуки (С. Ш т р а й х. Роман Медокс. Похождения русского авантюриста XIX века. М., 1930, стр. 26—27). Схема, сообщенная Медоксом, чрезвычайно интересна, так как построена применительно к латинскому алфавиту и, стало быть, свидетельствует о существовании среди декабристов двух ключей: русского и французского. Метод М. Бестужева прочно вошел в практику политических заключенных: им пользовались впоследствии народовольцы и последующие поколения революционеров.

По сообщению народовольца А. В. Прибылева, азбука, которой пользовались позже при перестукивании народовольцы, была построена на несколько иных основаниях. Она состояла из 6 строк по 5 букв в каждой, и только в последней строке бывали кое-какие изменения, а именно: одни пользовались буквами «э» и «ь», другие их выкидывали.

125 ([1]). Весь этот цикл ответов был прислан М. Бестужевым М. Семевскому в течение 1860—1861 гг. (Автографы — А р х. Б е с т., № 5571, лл. 12—83). Первые три главы этого цикла представляют собой один пространный и цельный ответ на вопрос Семевского, озаглавленный «Время заточения и пр.». О происхождении его и особенностях изложения подробно говорится в статье. Начало этого отдела (наст. изд., гл. I-я) было помещено в «Полярной звезде» (т. VII, вып. 2, Лондон, 1862) под заглавием: «Из записок, приписываемых М. А. Бестужеву», и затем перепечатано в брошюре: «Памяти братьей [так!] Бестужевых» (Лейпциг,

1874). Под тем же заглавием, что и в «Пол. Звезде», она была перепечатана в изд. «Огни», причем редактор полагал, что это особая редакция «Воспоминаний», «особенности которой были предопределены тем местом, в котором она появилась» (изд. «Огни», стр. 150). В действительности, как это ясно обнаруживает подлинная рукопись ИРЛИ, — это первая редакция; считавшийся же основным рассказ («14 декабря 1825 г.» — наст. изд., стр. 64—106) написан через 8 или 9 лет.

Попытка Семевского перепечатать (в «Рус. стар.», 1870, № 8) эту главу окончилась неудачей. Текст был изъят из журнала, и редактору пришлось означить его точками. Напечатаны были лишь главы о пребывании в Шлиссельбурге, переезде в Сибирь и заключении в Читинской и Петровской тюрьмах (наст. изд., стр. 125—162). Остальные главы данной серии ответов были помещены в «Рус. стар.», 1881 г., № 11.

В настоящем издании сохранена разбивка глав в редакции «Русской старины», поскольку она была выполнена Семевским еще при жизни М. Бестужева и несомненно с его ведома и согласия. Для первой главы восстановлено и то заглавие («Алексеевский равелин»), которое первоначально предполагал дать ей сам автор и о котором он писал Семевскому (в письме от 21 мая 1861 г.).

125 (²). «Ultima ratio regis» — «последний довод монарха». — Этот девиз был вырезан по приказанию прусского короля на немецких пушках.

128 (¹). М. Бестужев недостаточно полно и ясно рассказывает о подробностях ареста брата Николая, о них существует ряд других рассказов, но все они очень противоречивы и составить безусловно точную картину ареста Н. Бестужева довольно трудно. Об аресте Н. Бестужева рассказывают Греч, Завалишин, Трубецкой, Якушкин, Штейнгейль и др. Рассказ Греча разукрашен разными литературными подробностями и явно не точен. В бумагах Семевского сохранился рассказ некоего Кросса, который, со слов своего отца, служившего в то время морским врачом, сообщает, что Н. Бестужеву помогли бежать в семье Степовых, где ему дали деньги, матросскую одежду и т. д., однако это известие не подтверждается другими сообщениями. Обилие противоречивых и порой явно несообразных рассказов свидетельствует лишь о популярности Н. Бестужева, вокруг имени которого очень быстро образовался ряд легенд.

Из всех этих противоречивых версий можно установить с полной достоверностью лишь то, что Н. Бестужев действительно пытался скрыться, с этой целью переоделся в матросское платье и был схвачен. Якушкин и Штейнгейль утверждали, что он прожил среди матросов три дня, однако, как свидетельствует официальное донесение, он был уже 16 декабря арестован. По показанию же самого Н. Бестужева, он был

арестован уже 15 декабря. По его осторожному признанию, он зашел в квартиру находившейся тогда в Петербурге Обросимовой, выпросил у ее человека тулуп и отправился на Толбухинский маяк, где и был захвачен (Восст. дек., II, стр. 62).

Дохтуров, о котором упоминается в данном рассказе, сам был, по свидетельству Завалишина, членом Тайного Общества, оставшимся не обнаруженным. М. Бестужев неправильно указывает его имя: его звали Павлом Афанасьевичем. В одном из казематных писем Н. Бестужев писал брату Павлу о Степовом: «Скажи М<ихаилу> Г<авриловичу>, что мы очень помним его, а особенно я никогда не забуду последнего с ним свидания! Тут его прекрасная душа вполне себя проявила» (Арх. Бест., № 5578, л. 97).

128 (²). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «Мишель, вероятно, забыл: Николай рассказывал, что государь в полурастворенную дверь, показывая на него из другой комнаты государыне, сказал: „Voila encore un des misérables“ („вот еще один из этих несчастных“), — и потом вышел к нему».

128 (³). Сведения о первой беседе Николая Бестужева с царем и о поведении на допросе, равно как и упомянутые выше рассказы об его аресте, превратились в своеобразный фольклор. По версии Якушкина, Н. Бестужев с просьбой об обеде обратился не к самому Николаю, а к великому князю Михаилу, — аналогичную версию сообщает и Розен. Последнее представляется более вероятным. По версии Розена, Михаил Павлович сам угощал Н. Бестужева обедом; по рассказу Якушкина, — генерал Левашев, причем «за ужином судья и подсудимый чокнулись бокалами». Все эти сообщения, как и запись М. Бестужева, восходят, несомненно, к рассказу самого Н. Бестужева и, однако, все они противоречивы, что объясняется длительностью времени, прошедшего от самого события до записи его мемуаристами. Сразу же после обеда и отдыха Н. Бестужева привели на допрос к Николаю, — и этим объясняется ошибка М. Бестужева, объединившего в своем позднейшем рассказе эти два момента. Розен передает при этом следующий анекдот: «Известны юмор великого князя и способность составлять каламбуры. Говорили, что он, по уходе Бестужева, обратился к адъютантам своим, И. Г. Бибикову и Н. Н. Анненкову, и сказал им, перекрестившись: „слава Богу, что я с ним не познакомился третьего дня, он, пожалуй, втянул бы и меня“» (Розен, стр. 77).

Реакционный немецкий историк Шницлер сообщает, что Николай I предложил полное помилование Н. Бестужеву: «Я мог бы Вас помиловать, — сказал царь, — и, если я буду иметь уверенность, что Вы станете отныне верным слугой, — я это сделаю». — «Государь, — ответил Николай Бестужев, — мы вот, как раз, и жалуемся на то, что император

все может и для него нет закона. Ради бога, предоставьте правосудию идти своим ходом, и пусть судьба ваших подданных перестанет в будущем зависеть от ваших капризов или минутных настроений». Этот рассказ Шницлера целиком процитировал в своих «Записках» Лорер (стр. 108); сходная версия у Розена, который так передает слова Н. Бестужева: «желаю, чтоб впредь жребий ваших подданных зависел от закона, а не от вашей угодности» (Розен, стр. 78).

О разговоре Н. Бестужева с Николаем I сразу же стало широко известно в петербургском обществе. А. Е. Измайлов писал П. Л. Яковлеву: «Говорят, будто государь долго говорил с Ник. Бестужевым и сказал, что только одного умного человека, т. е. Бестужева, нашел между бунтовщиками» (Пам. дек., I, стр. 240). Греч, суммируя общие разговоры, писал о смелой беседе Н. Бестужева с царем, в которой он «изобразил положение России, исчислил неисполненные обещания, несбывшиеся надежды и объяснил поводы и ход замыслов».

Существует ряд рассказов и о поведении Н. Бестужева на допросах. Поджио рассказывает: «Когда Кутузов заметил Ник. Бестужеву, обвинявшемуся в умысле предположенного цареубийства, говоря: „Скажите, капитан, как могли Вы решиться на такое гнусное покушение?“, — „Я удивляюсь, — отвечал ему Бестужев с обычным и находчивым своим хладнокровием, — что это Вы мне говорите“. Бедный Кутузов почти что остолбенел» (Восп. и расск., I, стр. 26). Впрочем, возможно, что в данном случае к имени Н. Бестужева пристала создавшаяся легенда, по крайней мере, в передаче Е. И. Якушкина этот ответ приурочен к имени Пестеля. «Я еще не убил ни одного царя, — сказал он, — а между моими судьями есть цареубийцы» (Дек. на поселении, стр. 57). Завалишин приписывает реплику в адрес Кутузова Муханову (стр. 202). Кутузов принимал участие в убийстве Павла I.

Как ни противоречивы в отдельных частностях все эти рассказы, в целом они, несомненно, правильно отражают полное глубокого собственного достоинства поведение Н. Бестужева во время следствия и то уважение, какое он сумел внушить к себе судьям. И, вероятно, это же поведение Н. Бестужева является основной причиной несоответствия высокой степени постигшего его наказания с формулировкой его вины, как она записана в приговоре. Благодаря умному и осторожному поведению на допросах ряд существенных моментов деятельности Н. Бестужева остался совершенно не раскрытым, как, например, его участие в Думе или энергичная агитация накануне 14-го, устройство организационных совещаний в его квартире, и т. д. К этому следует добавить, что итоги допросов формулировал ближайший товарищ Н. Бестужева по «Вольному обществу» А. Боровков, весьма благоволивший к нему и очень искусно сделавший акцент на моментах, ослабляющих вину

Н. Бестужева, Так, он нашел нужным внести в формулировку указание на то, что Торсон в замечаниях на Конституцию настаивал на неприкосновенности «священной особы императора» и «наследника престола», — хотя данная справка касалась лишь Торсона, — но, так как проект Конституции Никиты Муравьева передавал Торсону и позже возвратил Рылееву Бестужев, то можно было, по изложению Боровкова, думать, что Н. Бестужев разделял мнения Торсона; Боровков особо выделил такие моменты, как сомнения Н. Бестужева, его стремление держаться всегда «кротких мер», его якобы слабое представление об Обществе, отказ от распространения членов Общества во флоте, недлительное пребывание на площади, и т. д. В самом конце заключения, как бы подсказывая окончательный итог, Боровков поместил выборку из показаний Кюхельбекера и Одоевского, сообщавших, что «Николай Бестужев находился на площади; но весьма малое принимал участие в происходившем; ему предлагали принять команду, но он отказался» (Восст. дек., II, стр. 98). И, тем не менее, Н. Бестужев был отнесен к тому же разряду, в который были включены активнейшие участники восстания.

Очевидно, судьи отчетливо представляли себе действительную роль и значение Н. Бестужева в Тайном Обществе, хотя и не располагали достаточными данными для ее констатирования; конечно, сказалась и смелость его суждений и нескрываемое презрение к судьям вроде Кутузова. Может быть, наконец, и здесь сыграл неблаговидную роль Сперанский, прекрасно осведомленный о подлинной роли Н. Бестужева.

132 (1). Об издевательствах при арестах весьма единодушно рассказывают многие мемуаристы. То, что пришлось вытерпеть М. Бестужеву, не было каким-либо выходящим из ряду вон явлением, хотя, конечно, в отношении его, как «главного зачинщика» в глазах Николая и его свиты, было проявлено особенное озлобление и злорадство. Эти издевательства над арестованными, которые позволяла «дворцовая челядь», были санкционированы самим царем, проявлявшим буквально бешеную ненависть к деятелям заговора и восстания. Эти настроения Николая в декабрьские дни нашли полное отражение и в его «Записках», хотя та часть его мемуаров, которая посвящена восстанию декабристов, была написана в 1848 г., т. е. спустя 20 с лишним лет после самого события. Чрезвычайно показательны те краткие, хотя и довольно однообразные, характеристики, которые он дает отдельным лицам: преобладающими в них являются выражения «злодей» и «изверг»: «Никита Муравьев — образец закоренелого злодея», «Якубович — изверг во всем смысле слова», «Артамон Муравьев — изверг без всяких других качеств», Пестель — «злодей во всей силе слова... редко найдется подобный изверг»;

«Лицо Оболенского имело зверское и подлое выражение», и т. д. (Междуцарствие, стр. 17, 21, 33, 34). Поведение царской свиты являлось, конечно, эхом этих настроений повелителя.

Яркую оценку поведения Николая дает М. Фонвизин: «Сначала некоторых допрашивал сам император; к нему приводили обвиняемых со связанными руками назад веревкою, как в полицейскую управу, а не в царские чертоги. Государь России, забывая свое достоинство, позволял себе ругаться над людьми беззащитными, которые были в полной его власти, и угрожал им жестокими наказаниями. Тайная следственная комиссия, составленная из угодливых царедворцев, действовала в том же инквизиционном духе» (Общ. движ., стр. 197). Лорер рассказывает, что он в негодовании сказал караульному офицеру: «Вольно же Вам из дворца сделать съезжую» (Лорер, стр. 92), — впрочем, далее он приписывает эти слова Назимову, который будто бы сказал их самому Николаю: «Государь, меня удивляет только то, что из Зимнего Дворца сделали съезжую» (там же, стр. 251); Завалишин же уверяет, что это выражение («съезжая») было сказано командиром гвардейского корпуса Воиновым при безобразном поведении Николая по отношению к декабристу Норову. Матвей Муравьев-Апостол приписывал слова о съезжей Ник. Бестужеву (Арх. Бест., т. 5569, л. 208). Эти различные варианты свидетельствуют, что рассказы о том, что происходило во дворце при арестах, быстро распространялись в обществе и сложились в своеобразный фольклор, ярко иллюстрирующий подлинную картину. По сообщению Матвея Муравьева-Апостола, царь «нещадно ругал» в его присутствии Сергея Муравьева (там же, л. 202). Он (М. Муравьев-Апостол) говорил Семевскому, что ему «стало даже жалко Николая, когда этот герой стал ругать мерзавцем израненного брата» (там же, л. 204).

По отношению к самому Мих. Бестужеву Николай I был особенно непримирим. В письме Константину Павловичу (от 4 янв. 1826 г.) он делился с братом своим проектом судить М. Бестужева и Щепина-Ростовского «Полковым судом в 24 часа и казнить через людей того же полка» (Междуцарствие, стр. 175).

133 (1). В статье П. Е. Щеголева «Император Николай I — тюремщик декабристов» приведен составленный комендантом Петропавловской крепости «Реестр высочайшим повелениям» относительно арестованных участников заговора, с указанием назначенного им режима. Имя М. Бестужева упоминается дважды: «15-го в 10 ч. веч.: „Присылаемого при сем Бестужева посадить в Алексеевский равелин“; 17-го в начале 12 ч. пополудни: Бестужева по присылке, равно и Оболенского и Щепина велеть заковать в ручные железа. Бестужева посадить также в Алексеевский равелин». Вторичное упоминание об Алексеевском равелине объяс-

няется тем, что не всегда Сукин мог выполнить приказание Николая вследствие перегрузки крепости. По сообщению автора специальной статьи об аресте декабристов — Б. Пушкина, М. Бестужев был помещен в Алексеевский равелин лишь 18 декабря (Дек. и их время, II, стр. 386), — впрочем, в статье последнего имеется ряд неточностей; в частности совершенно ошибочно указано, что М. Бестужев был арестован 14-го на Сенатской площади.

136 (1). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «Здесь Мишель неправильно выразился: виселица была одна, довольно широкая для помещения пятерых».

137 (1). Описание процесса чтения приговора («сентенции») и последующей гражданской казни встречается почти во всех мемуарах декабристов: у Якушкина (стр. 95—98), Розена (стр. 98—99), А. Муравьева (стр. 130—131), Поджио (стр. 53—58), Цебрикова (стр. 261—265), Басаргина (стр. 70—71), Завалишина (стр. 246—248), Беляева (стр. 196—199), М. Пущина («Рус. Арх.», 1908, XII, стр. 448).

Все эти описания очень сходны и все единодушно подчеркивают бодрость и приподнятость настроения осужденных во время сентенции. Не сговариваясь, да и ничего не зная о предстоящей сентенции, они сразу установили определенную линию поведения по отношению друг к другу и суду. По отношению друг к другу — ни одного упрека; по отношению к суду — презрение и равнодушие. Общее настроение очень хорошо передал Завалишин: «мы все были рады, что увиделись друг с другом, и грозные приготовления не имели ни малейшего влияния на расположение духа, который был, напротив, настроен как-то торжественно, так что на наших лицах выражалось торжество, тогда как офицеры и начальники войск, окружавших нас, были глубоко смущены и не выдерживали нашего взгляда». «Все обнимались — и знакомые и незнакомые», — рассказывает Лорер; Якушкин также отмечает общее «веселое настроение» и быстро возникший «веселый разговор». Пущин все время сыпал остротами; Якубович, по рассказу Поджио, пустил такую «драгонаду», что все разразились хохотом. Лунин же, как рассказывает Цебриков, предложил «оросить» столь «прекрасную сентенцию», что и «выполнил»; этот же эпизод сообщает со слов своего деда внучка декабриста Анненкова (Тайн. Общ., стр. 190).

Это поведение осужденных вызвало бешеную ярость Николая и его придворных, обманувшихся в своем желании насладиться унижением осужденных. «Презренные и вели себя, как презренные, — с величайшей низостью», — докладывал Николай своей матери в письме от 13 июля, — и в тот же день, во втором письме к ней же: «подробности относительно казни, как ни ужасна она была, убедили всех, что столь закоснелые существа и не заслуживали иной участи: никто из них не выказал

раскаяния» (Междуцарствие, стр. 208 и 209); о «недостойном» поведении «виновных» заносила в свой дневник и жена Николая I (там же, стр. 93). Басаргин сообщает, что Н. Бестужев по выслушании «сентенции» хотел что-то сказать, но ему не дали этой возможности.

О гражданской казни моряков рассказывают Беляев и Завалишин. Их привезли в арестантском закрытом судне в Кронштадт, где и происходила «казнь» на флагманском корабле. По рассказу Завалишина, «казнь» превратилась в «торжество» осужденных. Их встретили пожатием руки командир и офицеры корабля, и даже сам адмирал, читавший приговор, под конец заплакал. «Плакали навзрыд и матросы и офицеры: в числе осужденных, — пишет Завалишин, — видели они многих, которые принадлежали к так называемому цвету и надеждам флота». Офицеры корабля «Владимир» прислали арестованным вкусный завтрак.

139 (1). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «Это и другие, если не все, делали. Бывало, фельдъегерь закричит: „Я вперед еду!" Мы и знаем, что прогонов попросили».

139 (2). О безобразном поведении фельдъегерей, их бессмысленной жестокости по отношению к ямщикам, бессмысленной грубости к арестованным, отказе от уплаты прогонов и пр. свидетельствует ряд мемуаристов: Розен, Якушкин, А. Муравьев, Лорер и др. Очень образно рассказано о поведении фельдъегерей А. М. Муравьевым: «Из всех неприятностей, которые мы имели в пути, наиболее тягостно было переносить необходимость быть молчаливыми свидетелями зверств, совершаемых фельдъегерем. Он покрывал ударами ямщика, порывался вырвать ему бороду. В особенности, когда он был обязан платить почтовые прогоны, перед нами разыгрывалось грустное зрелище подобных зверств» (Восп. и расск., I, стр. 134). Поведение одного из фельдъегерей, везшего Панова и Сутгофа, своей бессмысленной и излишней жестокостью возмутило даже официального ревизора (см. ниже), далеко не отличавшегося чувствительностью и гуманностью. Он отметил в своем донесении, что фельдъегерь не давал времени Панову и Сутгофу проглотить кусок и не давал возможности хотя бы немного отдохнуть во время сильных жаров (Декабристы, стр. 119).

Пущин, со свойственным ему тонким юмором, в одном из писем к Ф. Матюшкину так вспоминал через 25 лет свое «путешествие в Сибирь»: «Примчались мы трое в Тобольск с фельдъегерем — именно примчались, я не раз говорил ему, что, ехавши в каторжную работу, кажется, незачем так торопиться, но он, по своим расчетам, бил ямщиков и доказывал свое усердие к службе». Якушкин лаконично отмечает, что перевод государственных преступников в Сибирь был для фельдъегерей средством обогатиться (Якушкин, стр. 116); аналогичное замечание —

у Анненковой: «для этого изверга» (она говорит о фельдъегере Желдыбине) были «более всего соблазнительны и прогоны и разные сбережения от сданных на его руки арестантов» (Анненкова, стр. 95). Фельдъегерь Желдыбин, о котором рассказывает здесь Анненкова (конечно, со слов своего мужа), особенно прославился своими жестокостями и издевательствами, однако и он оказался «не на высоте своего положения» и попал под суд за «неисправность по службе», выразившуюся в недосмотре за своими подчиненными, старавшимися передавать письма и другие поручения. Желдыбин находился под судом и арестом около года, после чего, ввиду его «прежней отличной службы», был возвращен к прежним обязанностям. Дело Желдыбина подробно изложено в ст. С. Н. Чернова «Из жизни декабристов на каторге и в ссылке в 1827 году» (Дек. на кат., стр. 58—62).

140 (1). В феврале 1827 г. была назначена специальная комиссия в составе сенаторов В. К. Безродного и кн. Б. А. Куракина для обревизования Западной Сибири, главным образом Тобольской губ., губернатором которой был Бантыш-Каменский, оставивший интересные воспоминания об этой ревизии («Русск. стар.», 1873, VI). Куракину же было дано дополнительное поручение: «собирать сведения относительно государственных преступников, находящихся в Западной Сибири, а также и о тех, которые прошли через Тобольск». Донесение Куракина Бенкендорфу опубликовано в статье Б. Л. Модзалевского «Декабристы на пути в Сибирь» (Декабристы, стр. 99—127). Наглый и циничный куртизан, впоследствии уволенный даже Николаем за пристрастные действия и донесения во время ревизии (Бантыш-Каменский назвал ее «Шемякин суд»), Куракин отнесся к декабристам крайне бюрократично, с циничным сожалением отвечая на их просьбы. В своих донесениях он разделил всех встреченных им лиц (примерно, 80 человек) на три своеобразные группы: 1) «кои находились в раскаянном и совершенно отчаянном положении», 2) «кои находились в растроганном положении» и 3) «кои находились в веселом виде». М. и Н. Бестужевых он характеризовал следующим образом: «они не слишком удручены своим положением, ни слишком безразличны к своей участи... что касается второго, т. е. безразличия, то они не проявляли никакой неуместной веселости и еще менее позволяли себе какое-нибудь странное или дерзкое суждение, чтобы извинить свое поведение: они были унылы и очень грустны» (Декабристы, стр. 121). Куракин сообщает и о жалобе М. Бестужева на плохую заковку, вполне подтверждая таким образом точность его рассказа. «Я хотел облегчить их в этом отношении, — пишет он, — но так как цепи были пробуравлены и нужно было обратиться к кузнецу, я не осмелился позволить себе это; впрочем, — лицемерно добавляет он, — три четверти пути были уже закончены» (там же). Некоторых

из декабристов он пытался вызвать на провокационные разговоры, как это было, например, с пылким Сухиновым, о чем затем и доносил подробно Бенкендорфу. О встрече с Куракиным упоминают также Лорер (стр. 130) и Якушкин (стр. 117).

140 (²). В тексте несомненная описка: Суксунский спуск находится не в Томской губернии, а в Пермской.

141 (¹). Случай с Бестужевым не единичен; об аналогичном происшествии рассказывает и А. Муравьев: «Часто сани переворачивались, и мы волочились по снегу с цепями на ногах» (Восп. и расск., I, стр. 134); Якушкин чуть не погиб около Перми: при переезде через Сылву под его повозкой подломился лед, и его с трудом вытащили и спасли (Якушкин, стр. 115).

142 (¹). Цейдлер — иркутский губернатор в период 1821—1835 гг., увековеченный Некрасовым в поэме «Русские женщины». Цейдлер, действительно, имел специальную инструкцию, по которой должен был всевозможными способами и мерами отклонять жен декабристов от продолжения пути. Инструкция была впервые опубликована в «Ист. вестн.» (1898, V, стр. 675—677); Щеголевым в кн. «Исторические этюды» (стр. 414—417); новые документальные данные см. у Б. Кубалова в кн. «Декабристы в Восточной Сибири» (Иркутск, 1925, стр. 8, 9, 23—26). Некрасов истолковал поведение Цейдлера как вынужденное исполнение жестоких предписаний, которым он сам не сочувствовал, питая втайне глубокое сострадание к женам декабристов. Эту трактовку следует считать во многом неверной: как установили местные исследователи (Кубалов и др.), ген.-губернатор Лавинский и Цейдлер еще до получения пресловутой инструкции выработали самостоятельно систему мер для воспрепятствования проезду в Нерчинский Завод. В дальнейшем Цейдлер изменил свою тактику и сумел оказать декабристам ряд значительных услуг, в частности, он особенно благосклонно и внимательно относился к Одоевскому, с отцом которого был хорошо знаком; переписка Одоевского с отцом, помимо писем, шедших через 3-е Отделение, осуществлялась еще с помощью родного брата Цейдлера — Ф. Б. Цейдлера, занимавшего должность начальника Иркутского комисариатского комиссионерства; последние обстоятельства вскрыл иркутский губернский почтмейстер Меркушев, пославший по этому поводу донос в Петербург; сам Николай обратил на этот донос особое внимание, в результате чего были крупные неприятности как для самого Цейдлера, так и для его брата и других лиц, названных в доносе Меркушева (см. прим. И. А. Кубасова к изданию стихотворений Одоевского, «Academia», 1934, стр. 449—450). Впоследствии Лавинский потребовал отстранения И. Цейдлера от занимаемой должности. В одном из своих доносов Медокс также рекомендовал убрать Цейдлера как пособника

декабристам. В результате расследования Цейдлер был взят «под подозрение» и вынужден был оставить службу.

144 (1). В подлиннике ошибочно: Сухинина, — так пишет М. Бестужев и дальше во всех случаях, где встречается эта фамилия. О «бунте Сухинова» — см. прим. к стр. 394.

144 (2). М. Бестужев очень бегло и сдержанно упоминает о прибытии в Читу и ничего не говорит о встретивших их представителях тюремной администрации. По свидетельству Басаргина, прибывшего несколько ранее Бестужевых, прием был очень груб, особенно со стороны Степанова (Басаргин, стр. 104). По поводу последнего он пишет: «никогда не видел я такого сходства в наружности, как у этого офицера с Аракчеевым. Оно было так поразительно, что впоследствии мы не иначе его звали, как Аракчеевым, и сомневались, не побочный ли он его сын» (там же).

144 (3). Лепарский сыграл большую роль в жизни декабристов. После его смерти Ник. Бестужев в письме, посланном к родным с оказией, писал: «Незадолго перед этим известием <т. е. перед известием о смерти Ал. Бестужева> мы имели другое огорчение, наш добрый комендант умер после короткой болезни от паралича. Благородный, добрый, деликатный, умный и даже воспитанный человек — он в продолжение десятилетнего начальства над нами не дал никому почувствовать, что он начальник в тюрьме. Все, что от него зависело к облегчению нашему, часто и к удовольствию, — все было им допущено, все позволено — и хотя часто получались им выговоры по глупым доносам, но он, несмотря на это, не отступал от избранной им благородной стези; одним словом, смерть его огорчила всех нас очень много. Мне кажется: самая лучшая похвала коменданту такой тюрьмы, как наша, состоит в том, когда его хвалят и жалеют заключенные» (Статьи и письма, стр. 261).

Оценка, которую дают Лепарскому как тюремщику декабристов М. и Н. Бестужевы, разделяется почти всеми декабристами. О нем упоминают в своих мемуарах Якушкин, Розен, Басаргин, Лорер, Анненкова, Волконская и др.; очень часто встречаются упоминания о нем и в переписке декабристов и их жен. Общие впечатления декабристов о Лепарском суммировал С. Максимов в своем труде «Сибирь и Каторга» (Максимов, IV, стр. 230—231 и др.). Единственным исключением является Завалишин, давший в своих мемуарах исключительно резкую и отрицательную характеристику коменданта. До сих пор не опубликованные письма Завалишина к Ф. О. Смольяниновой позволяют до некоторой степени выяснить причины неприязни Завалишина к коменданту. Можно догадываться, что Лепарский не очень сочувственно и благосклонно отнесся к проекту женитьбы Завалишина на дочери Смольяниновой.

Своим назначением на должность коменданта Нерчинских рудников Лепарский был обязан личному знакомству с Николаем. Лепарский, начавший свою службу рядовым, был в течение многих лет командиром Северского конногвардейского полка, шефом которого был Николай. Отсюда и произошло их знакомство. Николай очень благоволил к нему, так как Лепарский считался образцовым командиром и за все 16 лет его управления никто из солдат его полка не был оштрафован или наказан по суду, не было взысканий и в офицерской среде (М. Кучаев. С. Р. Лепарский, комендант Нерчинских рудников. «Рус. Стар.», 1880, № 8, стр. 712). Опубликованные письма и записки Николая к Лепарскому, относящиеся к этому времени, свидетельствуют об исключительном доверии к нему Николая и даже о некоторой интимной близости, конечно, на почве руководства полком. Некоторые прежние биографы полагали, что Лепарский был выбран Николаем из гуманистических соображений; так, например, излагает дело в специальной статье о Лепарском («Рус. стар»., 1892, VII) весьма верноподданнически настроенная В. Тимощук; но, по всей вероятности, прав М. Бесту́жев (с которым явно полемизирует В. Тимощук) в своей оценке, — во всяком случае, все действия и распоряжения Николая по отношению к декабристам на каторге не подтверждают такого суждения. При назначении Лепарского была назначена специальная комиссия под председательством Дибича для выработки особой инструкции (см. по этому поводу любопытный рассказ Лорера, стр. 136), — последняя содержалась в глубокой тайне, и о ней создавались различные легенды. По рассказу одного петрозаводского старожила, у Лепарского было «сто двадцать бланков» (по числу заключенных) за личной подписью Николая, на основании которых Лепарский имел право применить к заключенным любую меру вплоть до расстрела (А. Першин. Воспоминания старожила. «Забайкалье», 1902, № 37). Инструкция Лепарскому, подписанная Дибичем (19 сент. 1826 г.), опубликована по подлиннику, хранящемуся в ПГЦИА (ф. III, отд. 1, эксп. № 61, ч. 5), М. Н. Гернетом («История царской тюрьмы», т. II, 1825—1870. М., 1946, стр. 152—154).

Впрочем, оценивая отношение тюремной администрации и высших сибирских властей к декабристам, не следует забывать и огромных влиятельных родственных связей сибирских узников. Следует также добавить, что еще до назначения его комендантом Лепарский с большим уважением относился к одному из прощенных деятелей Тайного Общества, П. Х. Граббе (Якушкин, стр. 127, 161), и, возможно, эта дружба предопределила некоторые моменты в его отношениях к декабристам. Очень знаменательно, что Лепарский отчетливо сознавал, что его роль как тюремщика декабристов будет как-то отмечена и оценена и современным общественным мнением в России и в Западной Европе и потомством (Максимов, IV, стр. 230).

146 ([1]). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «Давыдова Вас‹илия› Львовича, родного брата генерала Раевского».

147 ([1]). Лунин принадлежит к числу наиболее выдающихся и замечательных деятелей декабристского движения. К сожалению, о нем нет до сих пор исчерпывающей монографии; существующие же биографические очерки и статьи не дают о нем полного представления, оставляя в стороне важнейшие вопросы его деятельности. Его биография полна всяких легендарных вымыслов, — и в то же время остаются спорными и не выясненными до конца даже такие факты, как год его рождения или принадлежность его к той или иной религии; не установлены факты его пребывания во Франции и его связи с французскими писателями и политическими деятелями, не изучена его деятельность в Польше и связь с польскими политическими кружками, и т. д. Не выяснены, наконец, и многие факты, относящиеся к последнему периоду его жизни: на поселении и в Акатуе.

Лунин был одним из старейших (не по возрасту, но по стажу) деятелей движения: он состоял членом основной группы Союза Спасения, в который вступил уже в 1816 г., и принадлежал к числу сторонников наиболее решительных действий: в частности, он первый выступил с проектом цареубийства (о деятельности Лунина в Союзе Спасения — см.: М. В. Нечкина. Союз Спасения. «Ист. записки», т. 23, М., 1947). Далее Лунин последовательно был в Союзе Благоденствия, а затем членом и Северного и Южного Общества. Во время декабрьского выступления находился в Варшаве, где и был арестован, отвергнув предложение великого князя Константина бежать за границу.

В Сибири Лунин оказался единственным, кто не прекратил своей политической деятельности. Он написал ряд политических сочинений: «Взгляд на русское Тайное Общество с 1816 по 1826 г.», «Разбор донесения, представленного Российскому императору Тайной Комиссией в 1826 году», «Розыск исторический» и «Письма из Сибири», что явилось причиной нового ареста и заключения в Акатуй, где он и скончался. До сих пор некоторые исследователи и комментаторы считают его письма из Сибири, адресованные к сестре, лишь частной перепиской, в которой, между прочим, затронуты и различные политические и общественные вопросы. В действительности же «Письма из Сибири» Лунина — не письма как таковые, а целостное литературное произведение, своеобразный политический памфлет, переданный в лирической форме писем изгнанника. Как определенное политическое сочинение, а не как частный документ, рассматривал их и сам Лунин, поэтому он очень заботился о распространении их путем многочисленных списков. Они были широко распространены среди всех декабристов, живущих в Сибири (и в Восточной и в Западной); распространялись (благодаря сестре, имевшей на это

определенные полномочия от Лунина) и по ту сторону Урала. Очень хорошо осведомленный Е. И. Якушкин категорически утверждал, что Лунин предполагал напечатать их в Америке (Дек. на поселении, стр. 59). Все «письма» шли легальным путем и читались чиновниками различных ведомств, через которые проходили. Нарочито-оскорбительные замечания Лунина о правительственном аппарате, об его отдельных деятелях, о беспорядках и злоупотреблениях приобретали поэтому особый смысл и вызывали резкое негодование правительственной верхушки вплоть до самого Николая. Трубецкой утверждал, что эти «Письма» и послужили причиной ареста Лунина (Дек. и их время, II, стр. 17), так же думали и некоторые другие декабристы, например, Свистунов, Муханов. Это же объяснение поддерживал, на основании семейных преданий, и Е. Е. Якушкин. Н. М. Дружинин, опираясь на официальные источники («Дело» Лунина, хранившееся в архиве 3-го Отделения), считает, что причиной ареста явилось сочинение Лунина «Взгляд на Тайное Общество», попавшее в 1841 г. в руки Бенкендорфа, — видимо, по доносу иркутского чиновника Успенского (Дек. и их время, II, стр. 22). Но Н. М. Дружинин прав только формально. Обнаружение «Взгляда» было лишь внешним поводом, чрезвычайно пригодившимся для расправы с непокорным изгнанником, чей неукротимый и мятежный дух так отчетливо обнаруживался в «Письмах». Они воспринимались как личное оскорбление, но арестовать за письма, которые шли легальным путем и самими же чиновниками передавались их прямому адресату, т. е. сестре, — было неудобно даже и для Николая и Бенкендорфа. Другое дело — «Взгляд» и другие сочинения Лунина. Это уже была попытка нелегального распространения противоправительственных сочинений, и она явилась тем поводом, которого жадно искал Николай и его чиновники для расправы за «Письма», — недаром иркутский чиновник, сделавший донос, был впоследствии щедро награжден.

Поведение Лунина в Сибири было неясно для многих его товарищей, в том числе даже для таких глубоко принципиальных людей, как Якушкин или Вадковский. Якушкин считал поведение Лунина бравадой, легкомысленным желанием, «чтоб о нем говорили» (Дек. на поселении, стр. 81); более глубоко и правильно поняли его Никита Муравьев, Трубецкой, Волконский, Свистунов. Трубецкой возражал тем, кто объяснял поведение Лунина тщеславием. Одним тщеславием нельзя объяснить важнейших его действий, писал он, — «тут побудительная причина скрывалась в каком-нибудь более сильном чувстве. Тщеславие не может заставить человека желать окончить век свой в тюрьме...» (Дек. и их время, II, стр. 17). В качестве основной причины действий Лунина Трубецкой выдвигает мотивы религиозные — «желание мученичества» (там же), — но это объяснение крайне односто-

ронне, хотя какая-то незначительная доля истины в нем имеется. Самое же основное в действиях Лунина правильно подметил и вскрыл Свистунов: они опирались на убеждение Лунина в необходимости продолжать политическую борьбу. В свою записную книжку Лунин занес как один из лозунгов — изречение апостола Павла: «Итак, братия, стойте и держите предания крепко» (Лунин, стр. 28). Как выполнение общественного долга трактовал «Письма из Сибири» и Никита Муравьев. В монографии Дружинина приведено письмо Н. Муравьева к матери, в котором он пишет: «Вы обвиняете Michel'я, но он исполняет свой долг, доводя до сведения власть имущих слова истины, чтобы они не могли сказать, что они не знали правды и что они действовали в неведении» (Дружинин, стр. 269).

Сам Лунин объяснял свои «письма» как возобновление в ссылке «действий наступательных» (Лунин, стр. 29): «Цель писем моих состояла в том, чтобы обозначить органические вопросы быта общественного, которые разрешать необходимо, но которые держат под спудом, занимая умы делами второстепенными и мелочными подробностями» (там же). Н. Муравьев передает, что Лунин вполне отчетливо представлял возможность суровой ответственности за письма и статьи: «он пишет, зная, что его ожидает» (Дружинин, стр. 269).

Упоминание М. Бестужева о напечатании в Times одного из сочинений Лунина в свое время породило большую полемику между С. Максимовым и Свистуновым (Восп. и расск., II, стр. 260, 280, 306) и явилось источником многих недоразумений. Версию о публикации Луниным своих произведений за границей одно время отстаивал и автор настоящих примечаний («К вопросу о сочинениях Лунина». «Кат. и сс.», 1930, № 1), однако возражения С. Я. Гессена (там же, 1930, № 11) окончательно распутали этот вопрос; следует добавить, что и сам М. Бестужев позже, как сообщает об этом Свистунов, убедился в ошибочности слуха о заграничных публикациях Лунина (Восп. и расск., II, стр. 306).

148 (1). Список, который был составлен Мих. Бестужевым, был очень неточен, и «крестики» были расставлены с большими ошибками; в печатных изданиях эти ошибки были уже устранены, — эти исправления сохранены и в настоящем издании.

150 (1). В списке лиц, присоединенных к декабристам в Чите и Петровском Заводе, — также ряд ошибок: Вегелин и Игельстром были членами «Общества военных друзей», организовавших сопротивление при присяге Николаю I в Литовском пионерном батальоне (в г. Белостоке); Рукевич судился с ними по тому же делу и был признан главнейшим виновником происшествия, хотя сам и не принадлежал к Обществу (Восст. дек., VIII, стр. 233—249). В Сибирь «по канату», т. е. скованные одной цепью, пришли участники Оренбургского Тайного Общества:

Колесников, Дружинин, Таптыков и Завалишин Ипполит, брат Дм. Завалишина. Кружок этот был создан в провокационных целях Ипп. Завалишиным, однако он сам разделил судьбу своих жертв и был приговорен наравне с ними к каторжным работам. О деле Колесникова и его товарищей см : В. П. Колесников. Записки несчастного, содержащие путешествие в Сибирь по канату. Ред и вступ. ст. П. Е. Щеголева. «Огни», СПб., 1914; там же опубликован «всеподданнейший доклад аудиториатского департамента» о деле по составлению в «Оренбурге тайного злоумышленного Общества» (стр. 105—155). Кроме Соловьева из Зерентуя после гибели Сухинова был переведен в Читу еще Мозгалевский, о чем Мих. Бестужев забыл упомянуть.

Сосинович («слепой поляк») был осужден по делу эмиссара Михаила Воловича, пытавшегося поднять восстание (в 1831 г.) в г. Слониме. Сведений о нем в литературе очень мало: в книге Janik (см. прим. к стр. 202), где собраны огромные материалы о ссыльных поляках, о Сосиновиче нет никаких упоминаний. Из декабристов о нем упоминает еще Якушкин (стр. 159—160). К Сосиновичу, как и к другим полякам-ссыльным, декабристы отнеслись с большим участием и существенно помогали ему. В письме к Оболенскому от 7 ноября 1840 г. М. Бестужев сообщал: «наш бедный слепец умер от апоплексического удара» (ИРЛИ, ф. 606/7, л. 263).

Всех вновь присоединенных лиц декабристы считали своими товарищами, за исключением, конечно, Ипп. Завалишина и отчасти Кучевского, общественный и моральный облик которого до сих пор еще не выяснен с достаточной ясностью. О нем лишь известно, что он был обвинен в организации Тайного Общества в Астрахани, предан суду и приговорен к каторжным работам. Некоторыми авторами ошибочно причисляется к декабристам (напр. М. Овчинников — в «Тр. Ирк. учен. арх. комиссии», вып. 2, Иркутск, 1914; и др.). В сборнике «Тайные Общества в России...» были опубликованы одновременно две статьи о нем (В. Петрова и Б. Кубалова), авторы которых высказывали резко противоположные точки зрения на личность Кучевского и созданного им «Общества». Кубалов видел в нем «если и не декабриста в узком значении этого слова, то, во всяком случае, человека, близкого им по идее, сознательного врага самодержавия, пытавшегося незадолго до восстания декабристов организовать движение народных низов в далекой Астрахани» (там же, стр. 51). Петров же считал Кучевского просто «уголовным преступником» (там же, стр. 29 и др.); см. также нашу рецензию в журн. «Сиб. огни», 1926, № 4, стр. 163—165.

В переписке и мемуарах имя Кучевского встречается очень часто и также в противоречивом освещении. На каторге ему покровительствовали морально и материально Оболенский и Трубецкой, но многие декаб-

ристы относились к нему резко отрицательно. С. Г. Волконский в декабре 1854 г. писал Пущину: «с А. Л. Кучевским благодаря бога не имею никаких сношений, не так добр, как ты, чтоб его посещать, не так добр, как Евгений ‹Оболенский›, чтоб о нем заботиться» (Летописи, стр. 108). М. Бестужев писал Оболенскому о Кучевском: «Ты один не видел, что было видимо для всех: он был и есть — большой плут» (ИРЛИ, ф. 606/7, л. 274 об.).

Завалишин Ипполит, получивший широкую известность как первый русский провокатор (еще до оренбургской истории он сделал донос на своего родного брата, Д. Завалишина), был первоначально направлен в Нерчинские рудники, но потом присоединен к декабристам; среди них находился в обособлении, хотя некоторые из влиятельных декабристов пытались его поддержать. По отбытии каторжных работ жил на поселении в Западной Сибири, занимаясь, между прочим, и литературой. Ему принадлежит трехтомное «Описание Западной Сибири» (1865) и ряд беллетристических произведений («Затункинская красавица», «Ольхонянка» и др.), опубликованные под псевдонимом: Ипполит Прикамский (установлено доцентом Новосибирского пед. института А. А. Богдановой). Интересно отметить, что в «Затункинской красавице» выведены жены декабристов.

151 (1). Мемуаристы обычно затушевывают эту сторону казематской жизни, за исключением Дм. Завалишина, который, наоборот, чрезмерно подчеркивает всякого рода неполадки и неурядицы внутренней жизни в казематах. Однако те причины, которые выдвигает для обвинения Дм. Завалишин, не всегда правильны, а даваемые им характеристики по большей части пристрастны и продиктованы личным раздражением. Это обстоятельство заставляло некоторых исследователей относиться с совершенным недоверием к мемуарам Завалишина, — однако абсолютное отрицание их является, в свою очередь, неоправданной крайностью. Лаконичные и сдержанные замечания М. Бестужева позволяют иначе подходить к оценке страниц записок Завалишина, описывающих пребывание в каземате.

Отдельные замечания и сведения о различных фактах такого типа иногда встречаются также в переписке или дневниковых записях декабристов. Штейнгейль отметил один такой инцидент во время перехода из Читы в Петровский Завод и охарактеризовал его «как следствие близкого столкновения и тех оттенков характера, которые в обыкновенной общественной жизни остаются обыкновенно неприметными» (Декабристы, стр. 142); сохранилось известие о резкой ссоре Вадковского с Сутгофом («Рус. стар.», 1880, VIII, стр. 718).

Сдержанность мемуаристов в описании такого рода событий не следует рассматривать как стремление во что бы то ни стало идеализировать

свою сибирскую жизнь и казематские взаимоотношения (хотя в какой-то слабой степени это и имеет место у некоторых мемуаристов), но в основном это диктовалось требованиями принципиального порядка, сущность которых четко выразил Лунин в одной из своих записей: «Политические изгнанники образуют среду вне общества. Следовательно, они должны быть выше или ниже его. Чтобы быть выше, они должны делать общее дело, и полнейшее согласие должно господствовать между ними — по крайней мере наружно» (Л у н и н, стр. 26).

151 (2). Декабристы имели основания ненавидеть вдовствующую императрицу Марию Федоровну. Благодаря своим придворным связям они, видимо, были вполне осведомлены о той роли, которую она играла во время производившегося следствия и суда. Очень осведомленный и располагавший недоступными для прочих исследователей интимными документами царской семьи, Н. М. Романов (подписывавший свои статьи: «великий князь Николай Михайлович») считал ее роль в этом деле весьма значительной («Ист. вестн.», 1916, VII).

Дневники Марии Федоровны, относящиеся к событиям декабря 1825 г., а также некоторые письма этого же периода опубликованы в сборнике «М е ж д у ц а р с т в и е...». Все ее замечания относительно подсудимых, самого суда и предстоящей казни проникнуты, с одной стороны, плохо скрываемой злобой, с другой — елейным ханжеством. В письмах к А. Н. Голицыну она беспрерывно беспокоится, «молились ли „несчастные“, причащались ли»; «выказывали ли раскаяние», и т. п. Она сообщает ему, что все время «молится за них», «прося о ниспослании им божественного милосердия» (М е ж д у ц а р с т в и е, стр. 227), — единственно, что ее смущает, — «ужасная казнь четвертованием»: «хочу себя уверить,— пишет она, — что ее заменили каким-нибудь иным видом смерти, менее ужасным» (там же). После казни она пишет тому же корреспонденту: «Николай был милосерд и добр, господь вознаградит его за это» (там же).

Как выясняется из переписки ее с Константином, из дневника жены Николая, Александры Федоровны, и особенно из дневника племянника Марии Федоровны, принца Евгения Вюртембергского, она играла во время междуцарствия двойственную роль, внешне поддерживая Николая и в то же время питая надежду, что Константин возьмет обратно свое отречение. Были у нее надежды и на собственное воцарение.

154 (1). К работам Н. Бестужева по устройству часов М. Бестужев возвращается неоднократно (см. стр. 323—325 и др.); встречаются упоминания о ним и в других мемуарах. А. Беляев пишет: «Н. А. Бестужев устроил часы своего изобретения с горизонтальным маятником; тогда он еще, кажется, не являлся. Это было истинное великое художественное произведение, принимая в соображение то, что изобретатель не имел всех нужных инструментов. Как он устроил эти часы — истинная за-

гадка. Помню, что эти часы были выставлены им на полном ходу в одной из комнат. Эта работа его показала, какими необыкновенными гениальными способностями обладает он» (Беляев, стр. 223). Вероятно, именно эти часы хранились впоследствии в Музее Вост.-Сиб. отдела Русск. Геогр. общ. в Иркутске и сгорели во время иркутского пожара 1879 г.

155 (1). Об окнах в казематах упоминают почти все мемуаристы; неоднократно упоминается о них и в письмах. Сохранилось перлюстрированное и не доставленное адресату письмо А. Г. Муравьевой ее отцу, содержащее описание первых впечатлений от знакомства с новым местом: «Мы в Петровском и в условиях, в тысячу раз худших, нежели в Чите. Во-первых, тюрьма выстроена на болоте; во-вторых, здание не успело просохнуть, и в-третьих, хотя печь и топят два раза в день, но она не дает тепла, и это в сентябре; в-четвертых, здесь темно: искусственный свет необходим днем и ночью; за отсутствием окон нельзя проветривать комнаты» (Дек. на кат., 1925, стр. 45).

155 (2). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «Манифеста не было, а просто Лепарский объявил, что представлял, и повелено снять 30 августа».

155 (3). Из рассказа М. Бестужева и особенно примечания Штейнгейля следует, что инициатором в этом деле явился Лепарский; так думали и другие декабристы. П. Е. Щеголев, однако, разъяснил, что разрешение снять кандалы последовало по личному приказанию Николая; непосредственной же причиной явилось письмо Корниловича. Когда последнего привезли из Читы снова в Петропавловскую крепость для выяснения вопроса о роли иностранных держав в заговоре декабристов, Николай потребовал у него и сведений о том, каким образом обходятся с каторжниками в Чите. «Предмет щекотливый, — пишет П. Е. Щеголев, — так как Корниловичу трудно было, конечно, уяснить, какие последствия выйдут из его описания — хорошие или плохие для его товарищей. Он с честью вышел из затруднения и описал положение каторжан-декабристов, не скрывая хороших сторон, но и не сгущая красок при описании темных» (П. Щеголев. Декабристы. Л., 1926, стр. 316). Заметка Корниловича, — указывает далее Щеголев, — «не прошла бесследно для отбывавших каторгу». Николай подчеркнул те строки, где Корнилович говорил о том, что кандалы «носятся день и ночь и снимаются только в бане», и положил резолюцию: «Уполномочить г. Лепарского снимать кандалы с тех, кто своею кротостию заслуживает» (там же, стр. 319). По рассказу Лорера, Лепарский ответил, что считает всех достойными, — покуда же длилась эта переписка, «мы проходили, — скорбно замечает Лорер, — лишних шесть месяцев в цепях» (Лорер, стр. 149); примерно так же рассказывает и Якушкин, при этом он добав-

ляет, что при объявлении этого указа «раздалось несколько голосов славян, просивших, чтоб с них не снимали оков» (Якушкин, стр. 142).

В указании времени, когда были сняты оковы, М. Бестужев делает двойную ошибку. Он пишет, что это было за несколько месяцев до отправления в Читу: Чита, конечно, обмолвка — вместо Петровского Завода,— но это случилось не накануне перевода, а гораздо раньше: в 1829 г.

156 (1). ***Примечание В. И. Штейнгейля***: «Мишель забыл его фразы: „Дайте мне поконсультоваться с собою" или: „Вот я поконсультуюсь"».

158 (1). Занятия различными видами ремесла были очень распространены в казематах. Завалишин совершенно справедливо указывает, помимо практических интересов, и на общепринципиальные обоснования этих занятий (стр. 269). В «Катехизисе» Общ. Соедин. Славян был специальный параграф (7), гласящий: «Почитай науки, художества и ремесла». Наиболее выдающимися мастерами в казематах, кроме всестороннего специалиста Н. Бестужева, были: Торсон — способный механик, Оболенский — портной-закройщик, Артамон Муравьев и Арбузов — изучившие токарное дело; Андрей Борисов был выдающимся переплетчиком и картонажником. Переплетное дело изучили также М. Бестужев и Завалишин; портными были Мозган и Арбузов; столяром — Громницкий; Трубецкой и оба Бестужевы славились как штопальщики чулок, Повало-Швейковский и Ал. Крюков были, по характеристике Завалишина, «отличными поварами», Горбачевский занимался парикмахерским делом, и т. д.

Н. Бестужев писал брату Павлу (9 января 1839 г.): «Если бы видел нас в работе, то содрогнулся бы аристократической дрожью, смотря на наши фартуки и замаранные руки. Надо вполне готовиться быть фермерами и, если не хочешь разоренья, то уметь все сделать самому; а мы с братом, кроме нужного, можем сделать и прихотливое, и это почти ничего не будет стоить <как> сделанное дома своими руками. Нужда учит калачи печь» (Арх. Бест., № 5578, л. 132).

159 (1). О характере жизни Бестужевых в Петровском каземате свидетельствует одно из неопубликованных писем к родным (от 17 авг. 1834 г.), писанное М. К. Юшневской: «Милая и добрейшая Елена Александровна, хотела бы с вами много говорить, но на сей раз братцы ваши дали мне милое поручение к вам, а именно, вот в чем состоит. Они оба совершенно здоровы, хотя у нас более двух недель самая сырая погода: дождь, холод и ветр несносный. Н. А., как вы знаете, постоянно занимается рисованием, точеньем разных разностей и множество хороших вещей делает. Во всю нашу дурную погоду он почти не выходит из своего номера и так пристально занят, что некогда, говорит, навестить своих

друзей и знакомых. Третьего дня я его видела. Более недели тому назад я была у ваших братьев у обоих: они живут в одном отделении и занимают номер друг подле друга. У М. А. я видела Ваш портрет литографированный; они уверили меня, что он хотя не очень на Вас похож, но есть некоторое сходство... Видела я и портрет вашей почтенной маменьки, который, говорят, не очень похож, но напоминает ее. Я тотчас сказала, что Н. А. должен быть похожий на мать, и, вправду, говорят, что он на нее похож. Добавлю вам, что несмотря на то, что здесь каждый сам убирает свой номер, у обоих ваших братьев комнаты удивительно чисты, в таком порядке все, что мило видеть. Мебель у них своей работы; часы даже работы Н. А., стенные. В номере Н. А. стоит токарный станок, им же самим сделанный; он меня посадил за него и учил точить...».

В конце письма: «... все, что я полагала может вам казаться интересным, я написала, и, если что-либо еще случится найти для вас приятного, не премину описать вам; а на сей раз нечего более вам сказать: жизнь наша такая единообразная, что один день можно на целый год полагать. Одно и то же и ничто не изменяется в нашей здешней жизни: скука, горесть, страдания не покидают нас...» (Арх. Бест., № 5598, л. 38).

161 (1). Подобная практика почтового ведомства, о которой пишет М. Бестужев, вошла в своеобразную систему, — она вызвала полные гнева и сарказма строки Лунина в одном из писем к сестре: «Вещи и книги, полученные мною, пришли перепорченными по небрежности или тупоумию Почтового департамента, которому вы их вверили. Такое нарушение общественного доверия происходит от того, что эта важная отрасль управления превращена в синекуру и отдана на кормление царедворцу старой школы, который при нескольких государях занимал с большим или меньшим успехом должность шута. Старая школа, вообще, ни к чему не годна. Вверьте ей армию, она ее загрязнит; поручите дворец — она его сожжет; предоставьте поезд — она его изгадит» (Лунин, стр. 32). Директором Почтового департамента был кн. А. Н. Голицын — один из судей декабристов.

161 (2). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «Мишель забыл упомянуть, что добрый комендант Лепарский умер в 1837 году, и они вступили под новое пестунство».

165 (1). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «Совершенно справедливо».

166 (1). История города Читы теснейшим образом связана с декабристами. До 1827 г. она представляла собою лишь незначительный острог с небольшим количеством жителей. Значение декабристов для роста и благоустройства Читы очень верно описано М. Бестужевым; о том же сообщают и другие декабристские авторы, в частности Якушкин (стр. 143) и Завалишин; наиболее подробно говорит об этом он в своей

статье «Пребывание декабристов в Чите и Петровском Заводе» («Рус. стар.», 1881, X); см. также его письмо Е. Оболенскому (Пам. дек., III, стр. 140—142).

В 1851 г. была образована Забайкальская область с областным центром в Чите. Позиция Бестужевых и Торсона в оценке роли и будущности Читы оказалась явно ошибочной. Бестужевы были правы, указывая на невозможность установить речное сообщение между Читой и Сретенском (что проектировал Муравьев-Амурский), но они не учли возможности железнодорожного транспорта. Данные строки М. Бестужев писал в 1860 г., но, очевидно, и тогда он считал неосуществимым железнодорожное сообщение между этими важнейшими пунктами области. В вопросе о Чите Муравьева всецело поддерживал Д. Завалишин, который более правильно и дальновидно оценил административные и экономические предпосылки нового города. «Будущность Читы, — писал он Оболенскому еще в 1850 г., — несомненна. И лучшее доказательство, что она имеет собственные силы для развития, это то, что она начала развиваться вопреки ошибочных распоряжений заводского ведомства» (Пам. дек. III, стр. 142).

172 (1). Управляющий Петровским Заводом, А. И. Арсеньев был другом и покровителем многих декабристов и оказывал им крупные услуги, порой с риском для своей служебной карьеры. Арсеньев служил одним из посредников между декабристами и их зауральскими родственниками и друзьями. При поездке в Петербург он забрал с собой большое количество писем и прямых поручений к родственникам декабристов. Связь его с ссыльными декабристами началась еще ранее, когда, находясь на службе в г. Петрозаводске, он познакомился с находящимся там в ссылке Ф. Н. Глинкой. После Петрозаводска он был в Нерчинске, где также познакомился с находящимися в нерчинских рудниках декабристами. Особенно был близок с братьями Бестужевыми, от которых во время своей поездки в Петербург в 1837 г. привез письма родным. В этих письмах Ник. Бестужев писал о нем: «Добрый человек, принявший на себя труд доставить эти известия, еще более может пополнить собственными сведениями все, что вам о нас узнать захочется. Это редкий молодой человек, каких я в жизни моей не встречал и десяти, благородный и честный» (Статьи и письма, стр. 260); в еще более восторженных тонах писал о нем Михаил: «Человек, каких немного на свете, — честен, прямодушен, добр и благороден» (там же, стр. 276). Позже оказывал большие услуги Горбачевскому, когда тот, после освобождения, остался на постоянное жительство в Петровском Заводе.

Находившийся в сильном запущении Петровский Завод он поднял на большую высоту, и в этом отношении ему важную помощь оказали своими советами специалисты-инженеры из среды декабристов, — на этой

почве, несомненно, произошло и первоначальное сближение с Н. Бестужевым, обратившееся позже в самую тесную дружбу с обоими братьями.

В экземпляре «Рус. стар.» (1881, XI), принадлежащем библиотеке Иркутского Государственного университета (а ранее библиотеке Духовной семинарии), кем-то вклеен лист с полным текстом (но в иной редакции) «гимна» в честь Арсеньева, о котором упоминает М. Бестужев; текст этот воспроизведен в прим. к изд. 1931 г. (стр. 277—278).

174 (1). К той характеристике, которую делает М. Бестужев, следует добавить отзыв Д. Завалишина. Обычно враждебно относящийся ко всем представителям заводской администрации, о Ребиндере говорит он с большой симпатией и приязнью (З а в а л и ш и н, стр. 279). Впрочем из текста тех же «Записок» Завалишина видно, что у Ребиндера были довольно крупные столкновения с декабристами, и возможно, что в данном случае похвала Ребиндеру есть не что иное, как скрытый выпад автора мемуаров и против прежнего коменданта и против одной из группировок каземата. О попытке Ребиндера ввести новые и к тому же весьма стеснительные порядки свидетельствует один из шуточных рисунков Якубовича, воспроизведенный в сб. «Декабристы»: рисунок изображает жандармского штаб-офицера, сковывающего железною цепью окруженного частоколом Якубовича. Якубович кричит: «караул!», а офицер уговаривает его: «позвольте преобразовать: немного потерпеть, всего год четыре месяца, — ну а там, узнаете всю пользу преобразования» (ук. сб., стр. 237; еще ранее подробное описание этих рисунков, но без их воспроизведения, появилось в «Рус. стар.», 1892, VII, стр. 173).

174 (2). О последней поездке Н. Бестужева в Иркутск и о последующей вскоре его смерти М. Бестужев говорит также в дополнительных ответах к рассказам о селенгинской жизни. Совершенно иную версию передает служивший в то время в Иркутске чиновником особых поручений Б. В. Струве: «Умер Н. А. Бестужев, — пишет он, — совершив едва ли кому известный подвиг истинного человеколюбия. Возвращаясь в марте из Иркутска в Селегинск, он нагнал на Байкале, т. е. на льду Байкала, двух пеших старух-странниц при постепенно усиливавшейся метели. Он вышел из своей повозки, усадил в нее этих старушек, а сам сел на козлы и так продолжал переправу через Байкал. При этом он простудился, — приехал в Селенгинск, слег в постель и через несколько дней скончался, как праведник» (Б. С т р у в е. Воспоминания о Сибири. СПб., 1889, стр. 110). Явно неправильная версия Струве свидетельствует о том ореоле, которым было окружено имя Н. Бестужева, и о том, как быстро начали складываться о нем легендарные рассказы, иллюстрирующие широко известные светлые стороны его характера.

Киренскому, который явился невольной причиной смерти Н. Бестужева, братья Бестужевы особенно покровительствовали, так как он был

сыном того якутского чиновника, в семье которого жил некоторое время Ал. Бестужев. Киренский, видимо, заметно отличался от обычного чиновничества тягой к просвещению и культуре: он интересовался литературой, научной работой, особенно его привлекала ботаника. В письме к Елене Ал. Бестужевой он писал: «Люблю науки, но не умею их понимать и в припадке восторженности я часто с прискорбием говорю себе: „зачем я неученый“, но от меня ли это зависело...», и т. д. (Арх. Бест., № 5585, л. 70). О смерти Н. Бестужева существует еще заметка Н. О. Лернера («Былое», 1925, V), не вносящая, однако, никаких новых данных в сообщение Мих. Бестужева.

175 (1). «Vivos voco» — живых зову; так декабристы именовали кандалы.

176 (1). О получении журналов и газет сообщает также Басаргин. Он же приводит и крайне любопытное описание порядка пользования. «Все это мы читали с жадностию, — пишет он, — тем более, что тогдашние события в Европе и в самой России, когда сделалось польское восстание, не могли не интересовать нас. При чтении журналов и газет введен был порядок, по которому каждый пользовался ими в очередь, — и это наблюдалось с большой строгостию и правильностию. На прочтение газеты полагалось два часа, а для журнала — два и три дня. Сторожа наши беспрестанно разносили их из номера в номер с листом, где отмечалось каждым из нас время получения и отправки» (Басаргин, стр. 158). Приводимый им список короче списка Бестужева, но, вместе с тем, содержит несколько дополнений. О русских газетах и журналах он так же, как и Мих. Бестужев, говорит, что получались «почти все».

Кроме журналов и газет, декабристы получали в большом количестве книги, из которых потом составились прекрасные библиотеки. Такие библиотеки были у Волконского, Трубецкого, Никиты Муравьева, Лунина. Эти библиотеки затем еще более увеличились на поселении. Библиотеки Волконского и Трубецкого позже были пожертвованы владельцами в библиотеку Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества и погибли во время иркутского пожара в 1879 г.; библиотека Лунина частично сохранилась в составе библиотеки Иркутского Государственного университета, куда перешла из библиотеки местной духовной семинарии (В. Манассеин. Библиотека Лунина. М., 1929).

183 (1). Селенгинск основан в 1666 г. и был в свое время значительным административным и торговым центром, но скоро утратил свое значение. После пребывания в нем декабристов все более и более терял свое значение и в качестве заштатного городка использовался правительством как место поселения политических ссыльных. Один из них так описывает город в 80-е годы: это — «совсем заброшенный городок. Большинство

домов наглухо заколочено, жители разбрелись по другим городам» (П. Торгашев. Сибирские воспоминания. «Гол. мин.», 1914, XI, стр. 137). В 1927 г. в нем было всего 500 чел. жителей, занимавшихся сельским хозяйством, огородничеством, скотоводством, извозом и сплавом дров. Новая эра в жизни города (ныне Ново-Селенгинск) началась в годы сталинских пятилеток. В настоящее время он входит в состав Бурят-Монгольской АССР и является центром Селенгинского аймака. В нем имеется средняя школа, больница, аймачная библиотека, дом культуры, издается газета «Красная Селенга»; аймак покрыт сетью машинно-тракторных станций, пущены моторно-ремонтный, рыбный и сульфатный заводы и проведена электрификация района. По плану последней пятилетки в Селенгинском аймаке создается сеть зооветеринарных учреждений, организованы племенные молочно-товарные фермы и развернуты большие ирригационные работы. В Ново-Селенгинске имеется улица имени Бестужевых.

Характеристика местного населения, которую дает в этом очерке М. Бестужев, — очень односторонняя, но она относится не к сибирскому крестьянству, как полагали некоторые критики, а вызвана наблюдениями над городским мещанством. Горбачевский упрекал Бестужевых, что они в селенгинских условиях отдалились от подлинных народных масс. «Как мне тоже жаль что вы приковали себя к этой скале Селенгинской. Разве вы жили и живете между народом? Вовсе нет. Несколько купцов, казаков и офицеров и чиновников — это не народ. Много через это вы все и всё потеряли» (Горбачевский, стр. 359).

Н. Бестужев шутливо писал Е. Оболенскому: «Ты не очень изволь издеваться над нами, называя нас горожанами; мы, во-первых, живем не в городе, а в деревне и потому такая же деревенщина, как ты; во-вторых, если бы даже город наш принял нас в свои недра — то разница была бы невелика: здесь все сеют хлеб, жнут, молотят, косят, считают овечек, плодят ягнят и по патриархальному обычаю ложатся спать в 8 часов, как будто в деревне» (ИРЛИ, арх. Е. Оболенского, ф. 606/7, л. 271 об.).

183 (²). Гусиное озеро — в 15 км от Селенгинска, на пути в Кяхту. Его поверхность — около 400 кв. км, а глубина — до 60 м. Во времена Бестужевых и много позже — источник рыбного промысла населения, в первой половине XIX в. в нем добывалось до 650 тыс. пудов рыбы. О нем подробно рассказывает Н. Бестужев в письме к сестрам от 8 июля 1840 г. (Письма из Сибири..., стр. 45). Свое название («Гусиное») озеро получило от обилия на нем множества водяных птиц, в том числе и диких гусей. Бурят-монгольское название: *Кулун-нор*, что в переводе означает «Большое озеро». Н. Бестужев посвятил Гусиному озеру специальный очерк естественно-исторического и этнографического характера,

появившийся (без подписи автора) в журнале «Вестник ест. наук» (1854, № 1); перепечатан в посмертном сборнике Н. Бестужева («Рассказы и повести») и в сборнике «Декабристы в Бурятии» (Верхнеудинск, 1927). Очерк Н. Бестужева принадлежит к числу важнейших явлений сибирской краеведческой литературы и к самым крупным произведениям краеведческого характера, вышедшим из декабристской среды. В этой статье Н. Бестужев охватывает самые разнообразные стороны научного изучения: географо-геологического, ботанического, зоологического, экономического; но, главным образом, статья Н. Бестужева имеет значение этнографическое. Это был, по существу, первый обстоятельный очерк, посвященный этнографии и фольклору бурятского народа. Подробную характеристику этнографической стороны данного очерка см.: М. Азадовский. Н. Бестужев — этнограф. Иркутск, 1925, отт. из «Сиб. жив. стар.», вып. II. Большой интерес представляют и наблюдения Н. Бестужева над социальным бытом бурятского населения; они касаются, главным образом, экономической задолженности бурят и их постепенного обеднения в связи с рядом неурожаев и падежей скота в Прибайкалье и растущим сосредоточением богатств в руках тайшей и зайсанов. Особенно подробно останавливается Н. Бестужев на обычае калыма, считая его одним из главнейших источников экономического разорения бурят. Н. Бестужев констатирует беспрерывно растущее экономическое влияние богачей и как прямое следствие этого — бесправное положение основной массы бурятского населения; эти наблюдения представляются особенно ценными и примечательными на фоне последующей экономической и этнографической литературы о бурятах, склонной, в большинстве случаев, идеализировать внутриродовые отношения. Другим фактором экономического и правового порабощения бурятской массы Н. Бестужев считает ламаизм. «Ламское сословие есть язва бурятского племени», — категорически заявляет он; отмечает он также и явления гнета бурятской родовой и административной верхушки — тайшей. Поведение последних он именует «тиранством».

В настоящее время «Гусиное озеро» находится на линии ж. д.; на его берегах развернулась каменноугольная промышленность, организован рыбо-консервный завод и пр. Следует подчеркнуть, что указание на залежи каменного угля в этом районе впервые в печати сделано было Н. Бестужевым в той же статье о Гусином озере.

189 (¹). М. Бестужев значительно идеализирует представителей кяхтинской торговой буржуазии. Действительно, кяхтинцы представляли собою самую культурную группу в сибирском купечестве, но в своих Записках» М. Бестужев совершенно не касается другой стороны вопроса, связанной с методами торговли кяхтинцев и их взаимоотношений с насе-

лением, которое находилось в полной экономической зависимости от них. Народоволец Торгашев, отбывавший в 80-х годах ссылку в Селенгинске, так характеризовал кяхтинское купечество: «Это был изолированный от остального мира уголок, где 20 миллионеров жило особой жизнью, имели особое самоуправление и пользовались широкими привилегиями по чайной торговле» («Гол. Мин.», 1914, X, стр. 137). Близкая связь с декабристами и более поздними представителями политической ссылки благотворно отразилась на молодом поколении кяхтинской буржуазии, из рядов которого вышел ряд общественных деятелей. К числу крупнейших кяхтинских семей принадлежала и известная семья Боткиных; о ней М. Бестужев упоминает в одном из писем к родным.

191 (1). О решении Бестужевых заняться овцеводством и их роли в деле разведения мериносов в Сибири — см. «Письма Бестужевых из Сибири» (Иркутск, 1929). Совместно со Старцевым и Лушниковым Бестужевы образовали «Промышленную компанию» для разведения тонкорунных овец, и, по документам архива Верхнеудинского полицейского управления, В. П. Гирченко установил, что «компания приобрела стадо мериносовых овец в 500 голов. Компании было отведено казной свыше 500 десятин земли в бессрочное и безоброчное пользование, но с обязательством компании в течение первых 20 лет развести по одной овце на десятину» (Декабристы в Бурятии, стр. 4). В. П. Гирченко сообщает и дальнейшую историю этого предприятия: «Начинание Бестужевых не укрепилось, не потому, что местные условия были для него неблагоприятны, а вследствие отсутствия рынка для сбыта продукции тонкорунного овцеводства. Провоз шерсти в Европейскую Россию обходился очень дорого, а единственная, расположенная не так далеко суконная фабрика — Тельминская, в Иркутском районе, — не имела особых станков для тканья тонкого сукна, изготовляемого из шерсти мериносов. Впрочем, стадо мериносов продолжало существовать в Селенгинском районе до 60-х годов, не принося владельцам никакой прибыли...» (там же).

191 (2). Руперт был иркутским генерал-губернатором в течение 1837—1847 гг. Во время декабрьских событий 1825 г. он находился непосредственно в Зимнем Дворце и стал лично известен Николаю. С этого времени и началась его карьера. Николай чрезвычайно благоволил к нему и был даже крестным отцом одного из его сыновей. Руперт был среди тех лиц, кто получил денежные награды в связи с декабрьскими событиями: в ноябре 1826 г. ему было выдано 5000 руб. (Ф. Покровский. Расходы государственного казначейства на «декабристов». «Былое», 1925, V, стр. 85). Администратором он оказался весьма негодным. Известный сибирский общественный деятель и бытописатель В. И. Вагин, служивший при Руперте в канцелярии генерал-губернатора,

рассказывает, что первыми его начинаниями были распоряжения: «сшивать бумаги форменным шелком, выбелить трубы на крышах и уничтожить веревочки у ставней» (В. Вагин. Сороковые годы в Иркутске. «Лит. сборник», изд. «Вост. обозр.», 1888, стр. 256). На основании много численных жалоб и, главным образом, вследствие столкновений Руперта с его же ближайшими помощниками была назначена в 1843 г. сенаторская ревизия под председательством И. Н. Толстого (см. прим. к стр. 193), в результате которой Руперту было предложено подать в отставку.

Отзыв М. Бестужева о Руперте («простой добряк») не соответствует действительности. М. Бестужеву были неизвестны многие факты деятельности Руперта, и, в частности, он неправильно представлял себе отношение Руперта к декабристам. Для суждений о последнем богатый материал дают документы, опубликованные в сб. «Сибирь и декабристы».

192 (1). Н. Бестужев отнюдь не был только художником-любителем; дилетантизм ему был чужд. Он много работал над усвоением техники живописи и много размышлял над вопросами искусства. Сохранился ряд его набросков о свойствах красок; они частично включены в статью М. Барановской (Тр. Гос. Ист. музея, М., 1941, XV, стр. 42). В рассказе «Русские в Париже в 1814 году» свои воззрения на искусство, и в частности на портретную живопись, Н. Бестужев вкладывает в уста одному из персонажей рассказа — г-ну Дюбуа («Расск. и пов.», стр. 319—320). В специальной работе о Н. Бестужеве как художнике М. Барановская подчеркивает, что он был не только выдающимся портретистом и пейзажистом, но и бытописателем: «он зарисовал тюремный и каторжный быт, быт народных масс, — мастеровых, солдат, нищих, — чего в Сибири до него никто не делал» (М. Барановская. Художник-декабрист Н. А. Бестужев. Тр. Гос. Ист. музея, М., 1941, XV, стр. 36). В этой же статье дан список художественных работ, выполненных Н. Бестужевым во время его пребывания в Сибири: список включает 147 номеров, но, конечно, не может считаться исчерпывающим; работы Н. Бестужева сохранились в Музее Пушкинского Дома, в рукописном собрании Всесоюзной Библиотеки им. Ленина, в Гос. Ист. музее; в Рукоп. отд. ГПБ, в Кяхтинском Музее, в Вост.-Сиб. отд. Рус. Геогр. Общ. в Иркутске, в частных собраниях.

Решение Н. Бестужева заняться живописью ради заработка вызвало большое волнение в среде декабристов: настолько необычным казался этот поступок. Сведения о его поездках с этой целью в Кяхту и Иркутск очень часто встречаются в письмах; сообщаются даже подробности о его заработке. М. Спиридов пишет Пущину: «Ник. Бестужев приобрел заслуженную искусством славу портретиста. Он ездит в Кяхту и там берет за портрет от 300 до 100 р., так что в течение месяца заработал 1500 р., чем окупил совершенно дом, построенный им в Селенгинске» [см. «До-

клады Переславль-Залесского научно-просветительного общества (Пезанпроб), 13. Переславль-Залесский, 1925, стр. 16]. О том же сообщала М. К. Юшневская Пущину из Иркутска: по ее словам, Н. Бестужев получил там заказов на 4000 руб. (письмо не опубл. — данный отрывок приведен в кн.: В. Н. Соколов. Декабристы в Сибири, стр. 127).

Своим решением заняться живописью ради заработка Н. Бестужев, в сущности, устанавливал в деле искусства тот же принцип, какой за 20 лет перед тем его брат, А. Бестужев и Рылеев устанавливали в деле литературного труда.

192 (2). Изабе (Isabey) — известный французский художник, выступавший главным образом как миниатюрист и весьма популярный в России. Изабе эскизно выведен Н. Бестужевым в его рассказе «Русские в Париже в 1814 году». «Тут стоял караул только что утвержденной национальной гвардии, и как эта служба была слишком нова для миролюбивых граждан, то насмешливая молодежь, судя по сравнению, перебирала весь фронт, смеючись над неуклюжестью непривычных ратоборцев. Один из офицеров подошел к фронту и вступил в разговор с гражданином, который казался ему неловче других под ружьем и с сумою. С злым намерением спросил он его фамилию, но изумление его не имело границ, когда тот подал карточку со своим адресом; это был славный живописец Изабе» («Расск. и пов.», стр. 236). Из русских портретов Изабе известны: портрет Александра I, декабриста С. Волконского и, особенно, знаменитый портрет Зинаиды Волконской.

192 (3). Соколов — художник, первый в России портретист-акварелист. Из его портретов особенно известен портрет генерала Н. Н. Раевского (отца М. Н. Волконской, жены декабриста Волконского); об этом портрете упоминает и М. Бестужев, говоря о его значении в выработке портретного искусства Н. Бестужева. Н. Бестужев был лично знаком с П. Соколовым: в письмах к брату Павлу от 25 апр. 1838 г. он спрашивает: «жив ли Петр Федорович Соколов и ведет ли такую разгульную жизнь, как прежде. Это человек с необыкновенным дарованием и вкусом, но ленив часто до небрежности, хотя и в этом случае виден художник с талантом» (Арх. Бест., № 5578, л. 96). П. Соколову принадлежит ряд портретов деятелей Тайных Обществ и их жен, выполненных им до 1825 г., например портрет М. Лунина, М. Н. Волконской с сыном, Александра и Никиты Муравьевых, А. Г. Муравьевой.

192 (4). В письме к Оболенскому М. Бестужев сообщал: «Брат мой тебе не пишет, потому что уже третий месяц живет в Кяхте. Он принялся, наконец, за ум и пишет там портреты за деньги. Охотников — куча, но времени мало. Там время нипочем и все радушные добряки, но ведут жизнь совершенно материальную. Весь день проходит в еде и питье,

и это брату так наскучило, что он не знает, как бы оттуда вырваться» (ИРЛИ, ф. 606/7, л. 255).

192 ([5]). Персин — иркутский врач, позже занимался золотопромышленностью, последние годы жил в Петербурге. Был в дружеских отношениях с многими декабристами и оказывал им крупные услуги; в частности, он был одним из тех, через кого осуществлялась связь декабристов с родными помимо 3-го Отделения. М. Фонвизин в одном из писем к Пущину (от 22 дек. 1839 г.) сообщает о доносе, полученном Тобольским губернатором по поводу писем, доставленных Якушкину Персиным. Зап. Отд. рукоп., III, стр. 26). В бумагах Бестужевых сохранился ряд писем Персина к Н. Бестужеву, свидетельствующих о большой их личной дружбе и приязни.

193 ([1]). *Примечание Е. А. Бестужевой*: «Это ошибочно показано: нам в первый раз было повещено, что государь император, по некоторым причинам и для нашей собственной пользы, к отъезду для жительства с братьями не соизволяет. А уже после трех лет, когда в 1846 году скончалась матушка, после тяжкой ее болезни, тогда нарочно поехала я в Петербург и выхлопотала себе и сестрам позволение ехать в Сибирь на добровольное вечное с ними заключение». К этим словам приписка М. Семевского: «Примечания эти написаны Еленой Александровной Бестужевой в СПб. во время приезда ее из Москвы в 1862 или 1863 году».

194 ([1]). Сенаторская ревизия Толстого была вызвана огромною запутанностью в делах и слухами о злоупотреблениях в Управлении Восточной Сибирью. Результатом ее была отставка Руперта, енисейского губернатора Копылова и др. В состав Комиссии Толстого входили В. Д. Философов, И. Д. Булычев и др. Все они перезнакомились или возобновили знакомство с жившими на поселении декабристами и в значительной мере пользовались их указаниями при изучении края. Особенно был им полезен Д. Завалишин, представивший Комиссии ряд записок по различным сторонам местного управления и хозяйства (см. «Мелкие рассказы М. М. Попова». («Рус. стар.», 1901, № 3, стр. 641).

Члены Комиссии посетили в Акатуе Лунина, который писал по этому поводу С. Г. Волконскому: «Визит господ из Комиссии доставил мне приятное развлечение. У них такой вид, будто они разыгрывают комедию с своими административными, законодательными и филантропическими взглядами. Мы ожидаем приезда кочующего сенатора и примадонны труппы. Эти Комиссии, ненужные, смешные и обременительные для страны, служат доказательством истин, которые провозглашены мною и которых другие делают вид, что не понимают» (С. Я. Гессен и М. Я. Коган. Декабрист М. С. Лунин и его время, стр. 277). И. Н. Толстой и все его братья были очень близки с главными деятелями

движения. Сам сенатор И. Н. Толстой в додекабрьские дни был дружен с С. П. Трубецким; второй брат — Я. Н. Толстой принадлежал к кружку «Зеленой Лампы», в двадцатых годах уехал за границу, где стал впоследствии агентом 3-го Отделения; в имении третьего брата, Н. Н. Толстого, жил по возвращении из Сибири И. Д. Якушкин, когда ему было запрещено проживать в Москве.

195 ([1]). Облик Пятницкого в рассказе М. Бестужева представляется двойственным: с одной стороны, он оказывает ряд существенных услуг декабристам и принимает в своем доме «как родного» Н. Бестужева, с другой — пишет донос на Муравьева-Амурского, в котором обвиняет его в разных послаблениях ссыльным декабристам. По существу, это был типичный карьерист, не пренебрегающий никакими средствами. По отзыву Вагина, он был весьма невежествен; доносы на Муравьева обошлись ему очень дорого, так как после них он был совсем уволен со службы (В. Вагин. Сороковые годы в Иркутске. «Лит. Сб.» газ. «Вост. обозр.», 1888, стр. 260, 277 и др.; Из воспоминаний М. И. Венюкова, кн. III. Амстердам, 1895, стр. 204; И. Барсуков. Гр. Н. Н. Муравьев-Амурский. М., 1891, стр. 185—188).

196 ([1]). Дейхман — горный инженер, автор ряда статей по горному делу; в 1847 г. был начальником Петровского Завода, а позже Нерчинского горного округа. Дейхман был в дружбе с многими декабристами, проживающими в Забайкалье и Иркутске, — особенно же с Горбачевским, которому оказывал большое содействие и помощь в его предприятиях. Сохранилось письмо его к М. Бестужеву с выражением соболезнования по поводу смерти Н. А. Бестужева (Арх. Бест., № 5586, л. 56). П. И. Першин-Караксарский так характеризует Дейхмана: «Когда Дейхман получил главное начальство над всем Нерчинско-заводским горным округом, вскоре после такого бесчеловечного горного начальника, каким был Разгильдеев, весь горный мир буквально ожил и впервые познал права и свое человеческое достоинство...» («Ист. вестн.», 1908, XI, стр. 554). За гуманное отношение к политическим ссыльным и, в частности, за покровительство М. И. Михайлову был предан суду и уволен со службы. Знакомство с Дейхманом служило также связью между декабристами и новыми поколениями русских политических ссыльных (см. прим. к письму М. Бестужева к М. Семевскому от 28 июня 1862 г.).

199 ([1]). М. Бестужев очень снижает размеры их переписки; в ИРЛИ хранятся письма к Бестужевым: Анненкова, Басаргина, Батенкова, Бечасного, Волконского, Горбачевского, Глебова, Завалишина, Ивашева, Оболенского, М. Кюхельбекера, Панова, Пущина, Розена, Трубецкого, Фаленберга, Штейнгейля; из писем не-декабристов наибольший биографический и общественный интерес представляют письма адм. Н. К. Рейнеке, правителя дел Сиб. отд. Рус. Георг.

Общ., И. Сельского, доктора Орлова, доктора Персина, А. А. Никольского, проф. Д. Василевского, проф. И. И. Свиязева и др. Из писем самих Бестужевых: письма к Пущину, Оболенскому, Волконскому; опубликованы в отрывках письма к Завалишину и нек. др.

202 (1). Польский художник, о котором пишет М. Бестужев, — Леопольд Немировский из Волыни, бывший студент Виленского университета. В сибирской ссылке был дважды: один раз в 1831 г., второй — в связи с делом Конарского (1839). Историк польской ссылки в Сибири Яник называет его «самым лучшим рисовальщиком и живописцем» среди всех остальных художников из среды польской ссылки (M. J a n i k. Dzieje Polaków na Syberyi. Krak., 1928, стр. 290). По свидетельству Гиллера, «помимо рисунков, сделанных для Комиссии, он составил еще большой альбом для себя; многие из зарисованных им пейзажей позже он перерисовал маслом. К сожалению, все это погибло на родине художника во время пожара». — «Немировского, — пишет Яник, — привлекала красота Байкала, так же как английского живописца Аткинсона и русского — Смирнова» (там же, стр. 291), — эти байкальские пейзажи, видимо, также погибли. Гиллер подтверждает рассказ Бестужева о бессовестной эксплоатации художника членом Комиссии Булычевым (Гиллер пишет *Бальшев*, а Яник — *Бальчев*), который издал прекрасный альбом его рисунков под своим именем и нигде не упомянул о настоящем их авторе (И. Б у л ы ч е в. Альбом путешествия по Восточной Сибири. 1856). Немировский был знаком и с другими декабристами и писал с них портреты — в частности, с семьи Волконских. Подобно его картинам погиб также и его «Дневник путешествия» на Дальний Восток (J a n i k, ук. соч., стр. 202).

202 (2) Об альбомах Борисова см. примечание к стр. 305.

204 (1). Этот рассказ был началом печатных публикаций мемуарных рассказов М. Бестужева. Напечатан в «Русском слове» (1860, № 12), с подзаголовком: «Из воспоминаний его брата». Рукописи не сохранилось. (Автографы «Мелких заметок» — А р х. Б е с т., № 5571). В журнальном тексте датировано: Селенгинск, 1860. Сентября 10.

214 (1). М. Бестужев называет здесь популярные театральные представления того времени: «Волшебная флейта» Моцарта, «Днепровская русалка» Генслера и «Князь-невидимка» или «Личарда-волшебник» — волшебно-комическая опера в 4 действиях, музыка Кавоса, перевод Лифанова; находилась в репертуаре русского театра с середины XVIII в. и до 20-х годов XIX в. включительно. 10 февр. 1825 г. А. Бестужев писал в своем дневнике: «Был в русском театре. Это — гадость; давали „Невидимку"» (П а м. д е к., 1, стр. 63).

222 (1). Эта дуэль, о которой глухо рассказывает М. Бестужев, состоялась 21 февр. 1824 г. Он не совсем точно излагает дело и не назы-

вает имени противника Рылеева, которым был прапорщик л.-гв. финл. полка, кн. К. Я. Шаховской. Причины этой дуэли подробно изложены в письме А. Бестужева к Я. Толстому в Париж: «Рылеев десять дней тому назад дрался на дуэли с князем Ш<аховским>, офицером Финляндской гвардии. Кн. Ш<аховской> свел связь с побочною сестрою Рылеева, у него воспитанною, и, что всего хуже, осмелился надписывать к ней письма на имя Рылеевой. Сначала он, было, отказался, но когда Рылеев плюнул ему в лицо — он решился. Стрелялись без барьера. С первого выстрела Рылееву пробило [не разобр.] навылет, но он хотел драться до повалу — и поверите ли, что на трех разах оба раза пули встречали пистолет противника, мы развели их» («Рус. стар.», 1889, XI, стр. 375—376). О том же в весьма ироническом и насмешливом тоне писал 7 марта 1824 г. в Москву И. И. Дмитриеву А. Е. Измайлов («Рус. арх.», 1871, стр. 983—984). Короткая запись об этом событии находится в «Памятной книжке» А. Бестужева на 1824 г. (П а м. д е к., I, стр. 64). Позже, на Кавказе, А. Бестужеву пришлось дружески встретиться с кн. Шаховским, о чем он сообщал брату Павлу («Отеч. зап.», 1860, т. 131, стр. 56).

223 ([1]). А. Бестужев был убит 7 июня 1837 г. при занятии мыса Адлера; он сам вызвался принять участие в атакующем отряде. При отступлении был тяжело ранен, не смог уйти и был изрублен горцами. Смерть А. Бестужева вызвала ряд легенд о его переходе к горцам: обзор и анализ этих рассказов сделан М. П. Алексеевым в «Этюдах о Марлинском» (Иркутск, 1929, стр. 25—31). Несмотря на явную неправдоподобность этой легенды, она упорно держалась в обществе, находя широкое отражение в литературе. Многие мемуаристы и исследователи полагают, что в решении А. Бестужева итти на опасный приступ следует видеть акт своеобразного самоубийства; так думает и М. П. Алексеев, который прямо писал: «это было замаскированное самоубийство» (ук. соч., стр. 25); возможность такой версии допускалась и в комментариях к изд. 1931 г. Действительно, письма А. Бестужева 1826—1837 гг. полны грустных предчувствий и сознания полной беспросветности в будущем. Косвенным подтверждением может служить и факт завещания, которое он составил перед самым выступлением в поход.

Однако достаточных данных для утверждения о намеренном самоубийстве не имеется. Составление завещания перед экспедицией никак не может служить убедительным доводом: А. Бестужев вполне сознавал опасность предстоящей военной операции, и было вполне естественно позаботиться о завещании, тем более, что вскоре предстоял выход на поселение братьев, судьбу которых, главным образом, должно было устроить данное завещание; мрачные же настроения, встречающиеся в письмах А. Бестужева этого периода, вполне понятны в связи с условиями его

жизни последних лет; кроме того аналогичные мрачные настроения и предчувствия встречаются и в письмах более ранних лет.

Биографы Бестужева-Марлинского совершают большую ошибку, считая его последнюю экспедицию каким-то исключительным явлением. Наоборот, аналогичные факты встречаются на всем протяжении его боевой жизни на Кавказе. В. Потто рассказывает о поведении А. Бестужева во время боев против Кази-Муллы в 1831 г. «С нашей стороны происходили частые вылазки, и на всех без исключения видели Бестужева, всегда с ружьем в руках и неизменною трубкой во рту. Но еще чаще он выходил из города... Однажды он спустился со стены по веревке, чтоб осмотреть подкопы» (В. Потто. А. Марлинский. «Кавказ», 1897, № 322), см. также сводку биографических известий о пребывании А. Бестужева на Кавказе в работах: В. Васильев. Бестужев-Марлинский на Кавказе. Краснодар, 1939; А. Попов. Русские писатели на Кавказе, вып. I. Баку, 1949.

Это неизменное желание участвовать в наиболее опасных предприятиях объясняется его решением: или погибнуть, или выдающейся храбростью добиться награды и повышения, чтоб затем иметь возможность приступить к хлопотам об освобождении от ставшей для него тягостной военной службы. Характерно в этом отношении «полное отчаяния» обращение к гр. Воронцову (от 5 декабря 1836 г.) с просьбой перевести его из гарнизона, где он «осужден тлеть без случаев к отличиям... в какой-либо полк, в рядах которого можно положить голову с честью» («Декабристы», стр. 94), см. также письмо к Воронцову, опубликованное в ж. «Звезда», 1931, III.

На всех декабристов, как находящихся в казематах, так и на поселении, смерть А. Бестужева произвела огромное впечатление. Штейнгейль писал М. Бестужеву: «Александра — для нас, Марлинского — для русских не стало. Горько, Михайло!» (Арх. Бест., № 5569, л. 172).

Особенно тяжело пережили эту утрату М. и Н. Бестужевы: к этому году относятся два письма М. и Н. Бестужевых к родным, присланные с оказией, т. е. минуя 3-е Отделение; в них оба брата делятся своими переживаниями по поводу смерти А. Бестужева. Письмо Н. Бестужева очень ярко изображает и отношение ссыльных декабристов к литературной деятельности А. Бестужева: «...смерть доброго нашего Александра, — писал Н. Бестужев, — потрясла нас чрезвычайно... Мы грустили крепко — у Мишеля заболели от слез глаза, — все наши товарищи приняли участие, как будто каждому он был родной. И в самом деле, все, кто только знал его, любили, как родного; сверх того, его поведение, его жизнь, действия и известность в литературе считались между нами всеми будто собственностью каждого; будто составляли радость и гордость каждого из нас без исключения» (Статьи и письма..., стр. 260);

другое письмо Н. Бестужева к матери, посвященное смерти А. Бестужева (датировано 31 августа 1837 г.), опубликовано в «Рус. обозр.», 1894, X, стр. 834.

224 (1). Весь этот цикл сообщений М. Бестужева написан как примечания к биографическому очерку Н. Бестужева, составленному М. Семевским. Написанная им статья была составлена почти целиком на основании материалов, сообщенных и присланных Мих. и Ел. Бестужевыми. Статья не была пропущена цензурой как «апология Н. Бестужева и лиц, участвовавших в заговоре 1825 года». Тем не менее Семевский упорно продолжал собирать материал. Первоначальный текст он отправил в Селенгинск к М. Бестужеву, который прислал в ответ довольно объемистую тетрадь примечаний, обильно использованных Семевским в новой редакции биографии Н. Бестужева, доведенной до 1825 г. и опубликованной в журнале «Заря» (1869, VII). Текст биографии Н. Бестужева (не разрешенный цензурой) хранится в ИРЛИ (А р х. Б е с т., № 5569); на последней странице М. Семевский переписал постановление Главного управления цензуры и сделал еще следующую пометку: «Примечания синим карандашом сделаны В. И. Штейнгейлем, а черты всех цветов и карандашей принадлежат церберам всероссийской цензуры четырех инстанций: обыкновенного цензора, председателя комитета, члена Главного Управления и его помощника. Вот какая пышная была процессия при вторичном погребении Н. А. Бестужева». Автографы «Примечаний» М. Бестужева — в той же тетради: А р х. Б е с т., № 5569; в полном виде впервые были воспроизведены в изд. 1931 г.

224 (2). Курсивом набрано содержание замечаний М. И. Семевского, вызвавших примечания М. А. Бестужева.

229 (1). Рассказы о невероятной силе Лукина сообщил и Лорер («Рассказы и воспоминания Н. И. Лорера», «Рус. арх.», 1872, стр. 2261—2267), перепечатано под заглавием: «Лейб-кучер Илья Байков» (Л о р е р, стр. 362—366).

230 (1). О Г а м а л е е и других учителях Н. Бестужева — см. далее письмо последнего к адмиралу М. Ф. Рейнеке (наст. изд., стр. 506—520).

234 (1). Василевский был преподавателем русского языка и мифологии в Академии художеств; в 1819 г. совершил поездку за границу, по возвращении из которой был назначен профессором Московского университета по кафедре политического и народного права. Лекции его представляли собой компилятивное изложение западноевропейских пособий, но лектор он был незаурядный и в ряду современных ему профессоров считался одним из лучших. В числе его слушателей был известный журналист А. А. Краевский, который в беседе с М. И. Семевским отме-

чал его благотворное влияние на студентов широтой своих интересов: в свои лекции он вводил и философию, и историю, и подробности заграничного быта, и пр. Сохранились письма В. к Н. А. Бестужеву из-за границы, в которых он делится своими впечатлениями от Западной Европы и сообщает, что познакомился с многими писателями и учеными, в том числе с Шеллингом, Гереном, Сегюром, Буттервеком, д'Арлинкуром и др. Узнав, что Н. Бестужев начал писать работу по истории русского флота, давал ему ряд советов, в частности, советовал предварительно вчитаться в классические труды историков Фукидида, Тацита, Тита Ливия и упрекал его в недостаточном знакомстве с этими писателями.

В связи с архивными изысканиями Н. Бестужева советовал поискать, «не затевал ли чего Петр Великий на Амуре» (А р х. Б е с т., № 5585, л. 21). Очень интересно одно из позднейших писем, адресованных уже на поселение, которое приводим полностью:

«Малоярославец 11 июля 1847. Сегодня минет 28 лет тому, как я простился с тобою в С.-Петербурге и отправился в иностранные государства для моего образования; с тех пор мы уже не виделись, теперь пишу к тебе из Малоярославца и прощаюсь с тобою в сем городе на этой бумаге; недалеко от сего города (Тарутин) Бородино и все места, ознаменованные великими событиями 1812 года... Я их посещал и всегда посещаю с благоговением, воскресившим в памяти моей тех великих людей нашего отечества, коих прах тлеет в земле. Сердечно желаю, чтоб благоухание отечественных событий, одушевляющее перо, которым пишу, коснулось твоих чувств, если они еще не умерли для всего долговечного в России.

«Удивительное дело! Я провожал с тобою в могилу гроб родителя твоего в С.-Петербурге, где он и познакомил меня с тобою перед глазами Ник. Ник. Новосильцова в доме А-ра Серг. Строганова, когда я был еще студентом, а ты только что кончил курс наук в Морском корпусе; а с сестрицами твоими я проводил гроб матушки твоей в Москве. Но кто и где наши гробы будет провожать в могилу, к которой уже приближаюсь. Желаю тебе долголетия. Твой Д. Василевский» (там же, л. 28).

236 (1). Поездка в Свеаборг была в 1812 г. Морской кадетский корпус был эвакуирован в Свеаборг на время войны. М. Бестужеву тогда было не 10 лет, как он ошибочно пишет, но 12.

238 (1). О взаимоотношениях Греча с Бестужевыми см. прим. к стр. 263.

239 (1). Трудно переводимая игра слов, основанная на сходном звучании слов: résonnement (отзвук, резонанс) и raisonnement (рассуждение, размышление, способность рассуждать); résonner (отражать звук, давать эхо) и raisonner (рассуждать): «Слышите, сударыня, при-

ближаясь к Англии, даже русские пушки рассуждают (raisonnent). — „Дай Бог, чтоб это рассуждение (это эхо) принесло пользу моей приемной родине“».

241 (1). Альманах «Полярная звезда» занимает совершенно исключительное место в истории русской литературы первой четверти XIX в., между тем значение его до сих пор еще не освещено в должной степени. Обычно все ссылаются на сообщение Е. Оболенского, который подчеркивал «коммерческую» цель этого издания. Цель издателей состояла в том, — сообщает Оболенский, — «чтобы дать вознаграждение труду литературному более существенное, нежели то, которое получали до того времени люди, посвятившие себя занятиям умственным... Предприятие удалось... Все литераторы того времени согласились получить вознаграждение за статьи, отданные в альманах; в том числе находился и А. С. Пушкин. „Полярная звезда“ имела огромный успех и вознаградила издателей не только за первоначальные издержки, но доставила им чистой прибыли от 1500 р. до 2000 р.» (Общ. движен., стр. 242). Основываясь на этом сообщении, историки русской литературы отмечали огромную роль альманаха в истории литературного труда в России. До «Полярной звезды» — да и позже — издатели выпрашивали у авторов их произведения, считая прибыль за издание своим естественным вознаграждением за потраченный труд по сбору литературных произведений, печатанию их, распространению и т. д. По большей части, не платили гонорара сотрудникам и журналы. Рылеев и А. Бестужев резко порвали с установившейся традицией и поставили вопрос о гонораре на общественную почву, тем самым резко ударив по весьма распространенному в литературно-дворянской среде предрассудку о недопустимости получения гонорара за литературный труд.

Но за этой, весьма, конечно, существенной стороной упускается другая — чисто идейная. Альманах Бестужева и Рылеева был первой попыткой создания специального издания, которое могло бы служить объединением всего прогрессивного фронта русской литературы. До этого времени и Рылеев и А. Бестужев безуспешно хлопотали об издании своих журналов: Рылеев хотел издавать журнал «Невский зритель»; А. Бестужев — «Зимцерлу» («Рус. стар.», 1900, VIII, стр. 391—393); объединенное издание альманаха явилось для них разрешением упорно волновавшей их задачи. Кроме самих редакторов, в альманахе приняли участие А. Пушкин. И. Крылов, В. Жуковский, П. Вяземский, И. Козлов, А. Грибоедов, Е. Баратынский, А. Дельвиг, Н. Языков, В. Кюхельбекер, Ф. Глинка, А. Корнилович. Таким образом значительная часть лиц, принявших участие в трех книжках альманаха (1823—1825 гг.), являлась членами Тайного Общества, — остальные же почти все, за немногим исключением, принадлежали к так

называемому декабристскому окружению, как, например, Языков, Дельвиг и др. Это значение альманаха превосходно понял Герцен, назвавший его именем свои сборники вольной печати и подчеркивая их идейную преемственность от декабристов. Декабристский характер «Полярной звезды» учитывало и правительство, строго преследуя чтение и распространение книжек альманаха. Первая книжка альманаха открылась статьей А. Бестужева «Взгляд на старую и новую словесность в России», которая привлекла всеобщее внимание и считалась выражением взглядов на литературу наиболее прогрессивной группы литераторов. Из опубликованной В. Е. Якушкиным переписки различных писателей с А. Бестужевым видно, как восторженно был встречен альманах прогрессивными писателями и какую роль отводили они ему в литературно-общественной жизни страны («Рус. стар.», 1888, XI—XII). Лорер вспоминал позже, что «„Полярная звезда“ была видна на всех столах кабинетов столицы» (Л о р е р, стр. 67). Следует отметить, что и та сторона, которую принято именовать в данном случае «коммерческой», также имела более широкое значение и связа́на с общественными воззрениями декабристов. Последних очень интересовали вопросы, связанные с проблемами организации труда технической интеллигенции (см. трактат Н. Бестужева «О свободе торговли», показания Каховского и др.).

М. Бестужев совершенно правильно излагает историю альманаха на 1826 г., который издатели решили назвать «Звездочкой» (М. Бестужев ошибочно пишет: «Полярная звездочка»). Причины перемены названия не выяснены. К моменту восстания альманах был уже почти готов, но, конечно, не мог увидеть света; сохранились корректурные листы, по которым текст «Звездочки» был опубликован («Рус. стар.», 1883, VII, стр. 43—100).

242 (1). И в данном случае, как в основном рассказе, М. Бестужев забывает упомянуть, что этот обед не имел узко семейного характера, но был использован в организационных целях при подготовке восстания (см. стр. 611 и 661).

242 (2). Точки — в подлиннике.

243 (1). Эти противоречия в рассказах М. Бестужева и его сестры так и остаются невыясненными. Но, во всяком случае, М. Бестужев ошибается, утверждая, что сестры Бестужевы «не свиделись» только с братом Александром.

243 (2). Стерн принадлежит к числу любимейших писателей русской передовой интеллигенции двадцатых годов XIX в. В сочинениях и письмах декабристов очень часто встречаются образы и цитаты из произведений Стерна. М. И. Муравьев-Апостол писал: «Из всех писателей, которых я читал в своей жизни, больше всего благодарности я питаю, бесспорно, к Стерну. Я себя чувствовал более склонным к добру каждый

раз, что оставлял его. Он меня сопровождал всюду... Он понял значение чувства, и это было в век, когда чувство поднимали на смех» (М. Муравьев-Апостол, стр. 15).

Стерном увлекался Спиридов и переводил его «Самобеседование» (Восст. дек., V, стр. 136, 148). Особенно же любил и ценил Стерна Н. Бестужев. По собственному его признанию, «он не расставался с Стерном». Из Стерна взят эпиграф к повести «Русские в Париже». Рассказ «Шлиссельбургская станция» весь насыщен Стерном: с книжкой Стерна рассказчик едет в путь; Стерна читает и рассказывает «милая путешественница»; стерновская страница является решающим моментом в принятом рассказчиком решении остаться на всю жизнь одиноким.

Представители реакционного западноевропейского романтизма, а за ними и вся буржуазная литература, ставили «в центр своего внимания слабые черты мировоззрения и художественной манеры Стерна», — справедливо отмечает автор предисловия к новейшему русскому изданию одного из главнейших его романов (Лоренс Стерн. Жизнь и мнения Тристрама Шенди. М.—Л., 1949, стр. XIV); так трактовался Стерн и формалистической критикой двадцатых годов нашего века (напр.: В. Шкловский. Стерн. 1920). Такому пониманию были органически чужды декабристы, подчеркивая и углубляя в его творчестве ноты протеста против современной ему действительности и светлые гуманистические мотивы.

244 (1). Об эпизоде с картами упоминают и Якушкин и Греч. Якушкин рассказывает: «После трапезы начался допрос, и так как Бестужев во многом не сознавался, то г‹енерал› л‹ейтенант› Левашев пошел доложить об этом императору, который вслед за тем вышел сам к Бестужеву с его портфелем в руках и, вынув из портфеля две колоды карт, подал их Бестужеву как улику его преступных сношений по Тайному Обществу. Бестужев объяснил его величеству, что эта колода карт не имела никакого другого назначения, как служить забавой старушке, его матери, любившей раскладывать пасьянс. Затем государь показал Бестужеву записку, в которой было сказано о посылке двух колод карт, и требовал, чтобы он назвал того, кто писал эту записку. Бестужев сказал, что записку эту писала дама, имя которой он не почитает себя обязанным объявить при допросе» (Якушкин, стр. 166—167). Это же обстоятельство упоминает и Н. И. Греч, ошибочно считающий, что карты были присланы уже в крепость. Дама, приславшая карты, — очевидно, Л. И. Степовая. Неизвестно, подвергали ли ее действительно допросу, скорее всего — нет. По крайней мере, в деле Н. А. Бестужева нет об этом никаких упоминаний.

246 (1). В статье о Н. Бестужеве Семевский, из цензурных опасений, о многом говорил очень глухо и иносказательно. Так, например,

он писал, что Бестужевы «отправлялись на прогулку» на Кавказ, что должно было намекать на их ссылку, и т. п. Слова в тексте о Петре Бестужеве на самом деле означали, что спасение им великого князя Михаила Павловича в день 14 декабря помогло родным определить сумасшедшего брата в больницу для умалишенных.

248 (1). В данном случае М. Бестужев очень сгущает краски, что у него проявляется почти во всех его рассказах о пребывании в Читинской тюрьме. В действительности, уже в Чите начался высокий темп умственной жизни заключенных.

249 (1). С помощью Н. Бестужева и Торсона в Петровском Заводе была организована Арсеньевым небольшая гранильная фабрика, но она существовала лишь до смерти Лепарского.

250 (1). Это многозначительное сообщение М. Бестужева не следует понимать, как это делали некоторые биографы, в том числе и Семевский, как указание на изобретательско-технические работы Н. Бестужева, — очевидно, здесь намек на планы последнего составить историю движения и подготовительные к ней работы.

252 (1). Что касается несостоявшегося брака Н. Бестужева в Сибири, то речь идет о француженке, вдове, m-me Antoine, гувернантке в семье начальника штаба иркутского военного округа, генерала Кукеля. Она просила согласия на свой брак у сына, жившего в Париже, но тот отсоветовал. M-me Antoine подолгу гостила в Селенгинске. В архиве Бестужевых (№ 5576, л. 32) сохранился черновик письма Н. Бестужева к m-me Antoine (на французском языке), из которого видно, что приезд ее в Селенгинск считался одно время уже вполне решенным делом; сохранилось также ее письмо (написанное уже после смерти Н. Бестужева) к М. Бестужеву, в котором она называет его своим «милым другом» и «братом». В 1860-х годах она вернулась во Францию.

253 (1). Все ответы данного раздела напечатаны в «Русской старине», 1881, XI; ответ № 1 был впервые опубликован в изд. 1931 г. Автограф всех 11 ответов: А р х. Б е с т., № 5571.

254 (1). Никаких сведений о цензурных репрессиях по отношению к «СПб. журналу» и о запрещении его не известно. Вероятно, М. Бестужев ошибается в данном случае. См. выше, стр. 598.

255 (1). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «За что же?». Все примечания Штейнгейля к этим ответам, как эти, так и последующие, относятся к 1862 г.

256 (1). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «Вот этот же самый П о б р е и н, в мое время состоя при Суркове, учителе геодезии, казался смешным и ничего ровно не значущим, а у Мишеля — уже примерным и уважительным! И какая завидная похвала!».

256 (²). ***Примечание В. И. Штейнгейля***: «В мое время говорили с нумерации».

260 (¹). М. Бестужев недостаточно четко освещает в данном случае принципиальную сторону дела. Вследствие некоторых неясностей изложения можно сделать невольный вывод, что в решении Торсона стать членом Тайного Общества и вступить на путь революции главными причинами было оскорбленное самолюбие и служебная неудача. В действительности же Торсоном руководили более глубокие принципиальные основания. Вопрос шел о самом остром для него и его друзей — передовых моряков — деле реорганизации русского флота и борьбы со сковывавшей его развитие и боеспособность бюрократической рутиной. Торсон принадлежал к числу замечательнейших деятелей русского флота как прекрасный боевой офицер, теоретик и практический работник. Он принимал участие в боевых действиях русского флота в 1808 и 1809 гг. (во время войны с Швецией) и в 1812 г., также в знаменитой антарктической экспедиции Беллинсгаузена 1819—1821 гг. После возвращения из последней он и приступил как адъютант начальника морского штаба к практической работе по реорганизации флота, о чем подробно рассказывает М. Бестужев.

Крайне неудовлетворительное состояние флота глубоко волновало передовых моряков и было одной из существенных причин, приведших многих из них в Тайное Общество. Оно же было исходной причиной всех действий и планов Торсона. Он был одержим идеей реформы флота, полного его переоборудования и организации на новых началах морского дела; он стремился доказать на деле, как можно добиться большой экономии при снаряжении кораблей, чтоб сбереженные суммы направить на дальнейшее улучшение флота, и т. д. Поэтому составление новых штатов, над которыми Торсон и М. Бестужев с таким увлечением работали, представлялось делом огромной принципиальной важности. Сведение же всего огромного труда, потраченного Торсоном, к поводу для создания карьеры адмиралтейских чиновников наглядно обнаружило в глазах Торсона всю бесплодность каких-либо реформаторских попыток при существующем режиме, и это обусловило его решение стать членом Тайного Общества. В Тайном Обществе Торсон принял участие в разработке проектов Конституции. Ему принадлежит критическое «Рассуждение» по поводу проекта конституции Никиты Муравьева (см. сб. «Декабристы», изд. «Прибой», стр. 88—100; более исправно перепеч. в моногр. Н. Дружинина, стр. 346—355).

Торсон являлся представителем наиболее умеренной части, он был поклонником английской конституции, настаивал на двухпалатной системе, был против республики, выдвигая идею выборного монарха. Верхняя палата должна состоять из членов, избираемых пожизненно.

Вместе с тем он категорически возражал против всякого имущественного ценза, которого требовал Н. Муравьев. Основным в проекте Торсона было стремление дать дорогу представителям незнатной и несостоятельной интеллигенции, оправдывающей свое право на участие в государственной жизни исключительно своими дарованиями. Отсюда и сама верхняя палата мыслилась ему в каких-то лишенных конкретных очертаний формах: нечто среднее между верховным законодательным учреждением и какой-то «Академией наук и добродетелей». В нее должны были войти не только люди, обладающие каким-либо цензом, но и «люди известные», обладающие «умом, добродетелями, опытностью и любовию к отечеству»; само избрание в нее должно явиться, по мысли Торсона, «лавровым венком для граждан отличных добродетелей»: «она, не изменясь по воле богачей наемными голосами, не вместит и не потерпит в сонме своем невежд и тогда только будет твердым оплотом между деспотизма и своевольства» (Дружинин, стр. 347—349). Как убежденный конституционалист он был противником крайних мер и в показаниях своих, вероятно, вполне искренне высказывал опасения по поводу возможных «ужасов» революции (Восст. дек., I, стр. 194—195).

Вопросы устройства и реорганизации флота продолжали неизменно занимать Торсона и после ареста. Его соображениями был заинтересован сам Николай. Сохранилось его распоряжение о разрешении Торсону писать в Петропавловской крепости о различных сведениях «касательно флота». Штейнгейль же прямо утверждает, что Торсон представил Николаю «все недостатки и злоупотребления по флоту» (Общ. движ., стр. 454). О его казематских проектах рассказывает М. Бестужев, но эти его письма и записки не обнаружены.

По отбытии каторги Торсон сначала жил в Акше, а потом перевелся в Селенгинск, куда, исключительно ради него, выпросились позже и Бестужевы. На поселении Торсон увлекся идеей механизации сельского хозяйства, о чем подробно и рассказывает М. Бестужев в данном ответе; более подробно рассказывают об этом оба брата в письмах к родным (Письма из Сибири, стр. 21, 95—98). Ценнейшими документами, раскрывающими эту сторону его деятельности, служат его письма к Николаю Бестужеву, опубликованные в сб. «Декабристы в Бурятии» (стр. 31—40). Замечательно, что все свои опыты по постройке разного рода машин он связывает исключительно с желанием работать для блага местного населения (там же, стр. 33). Он изобретал молотильную машину, машину для резки соломы, особенно необходимую, по его мысли, ибо она «в здешнем крае должна быть основанием хозяйства». Данные письма являются вообще одним из интереснейших документов для изучения истории сельского хозяйства в Восточной Сибири, а также истории практической

деятельности декабристов в Сибири и учета их вклада в ее изучение. Само собой разумеется, что в условиях разрозненного мелкого сельского хозяйства опыт Торсона был обречен на неудачу, — он же, не умея еще понять исторической неизбежности краха своих опытов, очень тяжело переносил эти неудачи, что привело его к тяжелой болезни и ранней смерти. Специальной монографии о Торсоне не существует, — наиболее полная сводка биографических данных о нем дана в книге С. Штрайха «Моряки-декабристы» (М., 1946).

261 (1). Об этом эпизоде Н. Бестужев дважды упоминает в своих записных книжках: «Перебраться на другую квартиру. Нахимов»; очевидно он сам хотел описать данный случай. Нахимовых было пять братьев: Павел (знаменитый впоследствии адмирал, герой Севастопольской обороны), Иван, Николай, Сергей и Платон. Одним из сожителей Н. Бестужева был Платон Нахимов, впоследствии известный инспектор Московского университета, о котором сохранилось огромное количество различных рассказов и анекдотов; о нем с глубоким уважением вспоминал позже Герцен (Герцен, т. X, стр. 175); он же изображен Писемским в романе «Взбаломученное море».

Имя другого брата, жившего вместе с Н. Бестужевым, не установлено, — во всяком случае, это не был будущий адмирал, так как такой факт М. Бестужев не преминул бы отметить, тем более, что он сам был очень дружен с последним: после смерти Нахимова, Корнилова и Истомина он писал адм. М. Ф. Рейнеке: «Россия потеряла трех героев, черноморские моряки — трех славных адмиралов, Вы — одного из друзей, а я — двух товарищей моей юности (т. е. Нахимова и Корнилова)». См. сб. «Адмирал Нахимов» (Военмориздат, 1945, стр. 196).

262 (1). В данном случае в изложение М. Бестужева вкралась какая-то неточность.

Предполагавшаяся экспедиция Макарова на корабле «Суворов» должна была состояться в 1813 г., но в 1815 г. отправилась кругосветная экспедиция на корабле «Рюрик», под начальством капитана О. Е. Коцебу. В архиве Бестужевых сохранился черновик письма, адресованного Н. Бестужевым Коцебу, из которого видно, что он предполагал принять участие в данной экспедиции (полностью опубликовано в изд. 1931 г., стр. 309—310). Эта экспедиция была снаряжена на средства государственного канцлера Н. П. Румянцева и принадлежит к числу самых выдающихся русских кругосветных экспедиций. Описание ее, составленное самим Коцебу, вышло в 1821—1823 гг.: «Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания Северо-восточного морского прохода, предпринятое в 1815, 1816, 1817 и 1818 годах, иждивением е. с. госп. госуд. канцлера, гр. Н. П. Румянцева, на корабле

„Рюрике“ под начальством флота-лейтенанта Коцебу» в СПб., 1821—1823; переиздано (с сокращениями и редакторской правкой стиля Коцебу) в 1948 г. (О. Коцебу. Путешествия вокруг света. Изд. 2, Географгиз, М., 1948). Как установил по архивным материалам Ю. Давыдов, с этой экспедицией связывались и секретные дипломатические цели: установление дипломатических и торговых сношений с Японией («Сов. книга», 1948, № 10, стр. 34—37).

В экспедиции Коцебу, между прочим, принял участие в качестве натуралиста немецкий поэт и естествоиспытатель Адальберт Шамиссо, впоследствии автор поэмы об Александре Бестужеве (см.: М. Азадовский. Поэма Шамиссо о декабристе А. Бестужеве. — «Сиб. Огни», 1926, № 3; М. Алексеев. Немецкая поэма о декабристе. — Сб. «Бунт декабристов», Л., 1925).

262 (2). Литературное общество — «Общество соревнователей просвещения и благотворения», или, иначе, «СПб. Вольное Общество любителей российской словесности» — было основано в январе 1816 г. Одним из его основателей был А. Боровков, впоследствии правитель дел Следственной комиссии и составитель «Алфавита декабристов»; в дальнейшем крупную роль играл в нем Ф. Глинка. В числе членов были: Рылеев, Корнилович, Кюхельбекер, Грибоедов, Гнедич, Сухоруков, А. и Н. Бестужевы; среди членов-корреспондентов — Торсон и М. Новиков. В течение долгого времени «Вольное Общество» рассматривалось лишь как литературная организация, и его история не связывалась с судьбами декабристского движения. Как указывает В. Г. Базанов, впервые правильная постановка вопроса была сделана Ю. Г. Оксманом, высказавшим предположение о прямой связи Общества с декабристскими организациями. «СПб. Вольное Общество» являлось, подобно известной «Зеленой Лампе» и «Военному обществу при Штабе Гвардейского Корпуса», одним из периферийных органов Союза Благоденствия, предусмотренных определенными параграфами его устава (Базанов, стр. 138); см. также: Б. С. Мейлах. Пушкин и русский романтизм. Л., 1937. Базанов так определяет политическое значение Вольного Общества: «Вольное Общество, провозглашенное в 1818 году „ученой республикой“, являлось литературным плацдармом декабристов: оно сыграло выдающуюся роль в подготовке декабристских кадров. В 1821 г. „ученая республика“ приняла на себя функции распущенного Союза Благоденствия по отрасли просвещения, изящной словесности и ученых упражнений. Из филиала „С. Б.“ оно превратилось в литературную организацию, где руководящую роль заняли К. Рылеев и А. Бестужев» (Базанов, стр. 323). Очень видную роль играл в Обществе и Н. Бестужев. М. Бестужев ошибается, относя начало участия Н. Бестужева в Обществе лишь к 1823 г. По данным, приводимым в книге В. Г. База-

нова, он был выбран 31 мая 1821 г. (почти на год ранее Рылеева) и очень скоро занял в Обществе заметное место. В 1822 г. он был избран членом «Цензурного комитета» (т. е. редакционной коллегии) Общества; эти обязанности он исполнял и в 1824—1825 гг. В 1825 г. был цензором прозы, т. е. главным редактором прозаических произведений, и кандидатом в помощники президента. Неоднократно выступал Н. Бестужев в заседаниях Общества с чтением своих литературных произведений и исторических работ.

263 (1). Известные реакционные деятели, издатели «Северной пчелы», рептильные журналисты Греч и Булгарин в двадцатые годы, до 14 декабря, поддерживали тесные связи с прогрессивными писателями. Руководимый Гречем «Сын отечества» был одним из печатных органов декабризма, так же как и журнал Булгарина. Булгарин и Греч бывали у Рылеева, как, в свою очередь, многие прогрессивные писатели, в том числе Бестужевы, Рылеев и др., бывали у Греча и Булгарина. Булгарин был у Рылеева накануне самого 14 декабря. Известны приятельские отношения его с Грибоедовым, которыми он кичился впоследствии всю жизнь. Но, вместе с тем, Булгарин никогда не пользовался уважением среди этих кругов, и отзыв М. Бестужева о нем как о «балаганном фигляре» не является ретроспективным, но, несомненно, отражает тогдашнее отношение. Упоминая о частом посещении А. Бестужевым Булгарина «вовсе не ради милых глазок последнего», М. Бестужев имеет в виду, конечно, весьма популярную в литературной среде того времени Леночку, жившую тогда у Булгарина и ставшую позже его женой; в мемуарной литературе о ней сохранилось большое количество рассказов, вполне оправдывающих прозрачный намек М. Бестужева. В одном из писем 1835 г. Александр Бестужев писал с Кавказа брату Павлу: «К Гречу сходи и поклонись от меня... К Булгарину тоже, если он в Питере. На кого похожи малютки Лены? Скажи ей, что я знаю это» («Отеч. зап.», 1860, т. 130, стр. 346). Ранние письма А. Бестужева к Булгарину (1821) свидетельствуют о довольно тесной приязни. Он именует его в них другом, делится с ним своими восторгами при знакомстве с польской литературой, рассказывает о своих похождениях, и т. д. («Рус. стар.», 1901, № 2, стр. 392—404).

Н. Бестужев так вспоминал о своем знакомстве с Булгариным (в письме к брату Павлу от 6 февраля 1840 г.): «Булгарина я любил, как собеседника; часто с ним бранивался за дурные его наклонности в журналистике и некоторых частных сношениях с людьми; некоторые статейки его хвалил, но, вообще, дух его сочинений решительно мне не нравился...» (Письма из Сибири, стр. 30). О характере их взаимоотношений довольно ясно свидетельствует его письмо Булгарину (додекабрьского периода), содержащее очень холодную

и резкую отповедь («Рус. стар.», 1901, № 2, стр. 405). Любопытно, что крайне сдержанный в своих показаниях, особенно в назывании каких-либо имен, Н. Бестужев в первом же своем показании назвал Булгарина как одного из наиболее частых посетителей Рылеева (Восст. дек., II, стр. 60). Это Н. Бестужев делал, конечно, для того, чтобы замаскировать политический характер сборищ у Рылеева или демонстрировать свою недостаточную осведомленность.

Более тесные отношения у Н. и М. Бестужевых были с Гречем, знакомство с которым началось, как это видно из рассказа М. Бестужева и что подтверждает в своих «Записках» Греч, еще в 1817 г., во время совместного путешествия на пароходе «Не тронь меня». В журнале Греча «Сын отечества» Н. Бестужев поместил несколько своих статей и переводов. В письме (6 февр. 1840 г.) Н. Бестужев вспоминал о крупной услуге, оказанной им Гречу (совместно с другими писателями — знакомыми Греча) при составлении последним своей «Грамматики»: «у него ‹Греча› как не у коренного русского, — писал Н. Бестужев, — встречаются ложные понятия о законах русского языка и ложные правила, ни на чем кроме его собственного воззрения не основанные. Он хотел ввести в свою грамматику, как правило, выговор петербургский, — мы, несколько человек, удержали его от этого, представя, что временный выговор, который есть не что иное, как злоупотребление языка, может перемениться, что московский житель, житель Архангельска или Нова-города с большим правом могут присваивать себе правильность русского выговора и, следовательно: сколько будет писателей грамматик, столько и будет выговоров. Что же станется с нашим прекрасным русским языком?...» (Письма из Сибири, стр. 30). В своих «Записках» Греч большое внимание уделил братьям Бестужевым и, несмотря на свою ненависть к декабристам, дал очень сочувственные отзывы об Александре и особенно о Николае Бестужевых.

В 30-е годы А. Бестужев возобновил сношения с Гречем и Булгариным (письма к ним — см.: «Рус. стар.», 1901, 2, стр. 392—394, и «Летописи», стр. 72—75) и деятельно сотрудничал в их изданиях, — но это объясняется чисто деловыми соображениями. Из восстановленных В. Н. Орловым пропусков в печатных публикациях писем А. Бестужева к Полевым отчетливо вырисовывается подлинное отношение последнего к Булгарину и Гречу, которых он расценивает как жалких литературных торгашей, у которых «душа повита на гривеннике». «По радости, с какой печатают они в Пчеле историю Видоков — досмотрщиков, не мудрено угадать в них химическое сродство с этими наростами политического тела» («Лит. Совр.», 1934, I, стр. 141—142).

263 (2). Речь идет о жене писателя А. О. Воейкова, Александре Андреевне Воейковой (урожденной Протасовой), — известной в литера-

туре как «Светлана» Жуковского и как литературный адресат многих посланий поэта Языкова. Салон А. А. Воейковой был очень популярен в литературных кругах 20-х годов: ее посещали Жуковский, Баратынский, А. Тургенев и др. Однако отношение современников к ней было неровное, наряду с восторженными и идеализирующими отзывами о ней сохранились и совершенно противоположные, как, например, отзыв Пушкина (см.: Н. В. Соловьев. История одной жизни. А. А. Воейкова. П., 1915, а также комментарии М. Азадовского к собранию стихотворений Н. Языкова: изд. «Academia», Л., 1935 и «Библиотека поэта», Л., 1948). В бумагах самой Воейковой — ни в ее дневнике, ни в переписке — нет никаких следов знакомства ее с Н. Бестужевым. Быть может, М. Бестужев спутал в данном случае Н. Бестужева с братом Александром, который, действительно, бывал у Воейковой не только в Петербурге, но и в Дерпте, где в то время ее муж был профессором университета (Пам. дек., I, стр. 20 и 24).

263 ([3]). Знакомство Н. Бестужева с Батенковым состоялось, вероятно, еще во время их совместного пребывания в масонской ложе «Избранного Михаила». Тесное сближение их произошло в 1824—1825 гг., когда они начали вновь встречаться на обедах у директора Рос.-Ам. компании Прокофьева, а затем бывая друг у друга. Тогда же Батенков сблизился и с А. Бестужевым, — и постепенно оба брата вовлекли его в круг интересов Тайного Общества, хотя формально он, видимо, к нему не принадлежал. В дни, предшествующие восстанию, он часто бывал у Рылеева, приняв участие в ряде ответственных совещаний, — в частности и в том знаменательном разговоре накануне присяги Константину, который Н. Бестужев называет «началом всех последующих действий». Как политический мыслитель он являлся представителем умеренных кругов Общества и был сторонником конституционного правления, хотя и признавал необходимость революционного переворота. Декабристами Батенков намечался в правители дел временного правительства. Через Батенкова же поддерживалась связь декабристов со Сперанским, осуществление которой возложено было на Н. Бестужева. Об отношении Сперанского к заговору см. интересные соображения М. В. Нечкиной («Истор. Записки», т. 27, стр. 113).

Батенков не был отправлен вместе с другими декабристами в Сибирь, но был заключен в Петропавловскую крепость, в которой провел 20 лет. Причины такой меры до сих пор не установлены документально, их не знало даже и 3-е Отделение (Б. Модзалевский. Декабрист Батенков. «Рус. истор. журнал», 1918, V); все имеющиеся догадки и объяснения, в том числе и самого Батенкова, — явно несостоятельны и произвольны. Очень интересную гипотезу выдвинул А. Сабуров, считавший, что заключение Батенкова в крепости вызвано происками Сперанского, опа-

савшегося, чтоб Батенков в общении с другими осужденными не раскрыл каких-либо фактов, могущих скомпрометировать самого Сперанского («Письма Батенкова...», стр. 47). С. Я. Гессен считал причиной заключения Батенкова в крепости личное раздражение на него Николая, причины которого остались неизвестны (А. Предтеченский. Летопись Петропавловской крепости. 1932, стр. 54). В дополнение к соображениям А. Сабурова небезинтересно привести отзыв о Сперанском М. И. Муравьева-Апостола, сохранившийся в записи Семевского: «Хитрость Сперанского. Это был человек без души» (Арх. Бест., № 5569, л. 203).

После освобождения из Петропавловской крепости и по приезде в Сибирь Батенков возобновил переписку с Н. Бестужевым, — одно из писем к нему опубликовано в «Русской старине», 1889, VIII; полностью их переписка еще не опубликована.

264 (1). М. Бестужев не совсем точно приводит заглавие повести Н. Бестужева: правильное заглавие ее — «Русские в Париже в 1814 году»; издана посмертно в книге: «Рассказы и повести старого моряка». В примечании Н. Бестужев писал: «В предлагаемом здесь рассказе все слова и все действия исторических лиц исторически верны и все анекдоты, о них помещенные, — справедливы. Повествователь только связал частные случаи и дал возможное единство». Повесть построена на рассказе Лорера о своем пребывании в Париже. В образе главного героя повести, Глинского, Н. Бестужев сохранил весьма многие черты характера и биографии Лорера; очень подробно и точно воспроизведены им по рассказу Лорера и отдельные моменты пребывания русских войск в Париже в 1814 г. Лорер позже и сам записал свой рассказ, опубликовав его под заглавием «Из воспоминаний русского офицера» (частично) в «Рус. беседе» (1857, III и 1860, I); перепечатано в последнем издании «Записок» Лорера, под ред. М. В. Нечкиной (стр. 318—362). Таким образом, читатели ознакомились почти одновременно и с первоисточником и с его переработкой, — впрочем, рассказ Лорера ни в коем случае не является какой-либо сухой записью пережитого, но представляет собою в полном смысле слова литературное произведение. Сопоставление обоих рассказов позволяет констатировать действительную близость повествования Н. Бестужева к рассказу, послужившему для него источником. Основная тенденция повести Н. Бестужева отчетливо подчеркнута заглавием «Русские в Париже»: это глубоко патриотическое изображение столкновения молодой русской культуры со старейшей культурой Западной Европы, — столкновения, в котором победителем оказывается молодой русский офицер, покоряющий запасом чистых нравственных сил, нетронутой свежести, душевного благородства и гордый сознанием миссии освобождения Европы. Вместе с тем этот рассказ — апологетическое изображение русской передовой военной интеллигенции, из рядов

которой образовался впоследствии основной состав деятелей Тайных Обществ и участников декабрьского восстания. Что касается другой струи в рассказе Н. Бестужева, которую М. Бестужев связывает с именем Аврамова, то она представлена, главным образом, в эпизодических сценах — в описании лагеря и, возможно, в описаниях уличных сцен Парижа. На построение повести оказала несомненное влияние и близкая по теме повесть Марлинского «Лейтенант Белозор».

Об этой повести М. Бестужев упоминает и в ответе на вопрос о позволении печатать свои сочинения; в нем он указывает, что повесть эта была уже закончена во время пребывания в Петровском Заводе, но сам Н. Бестужев в письме к сестре из Селенгинска говорит о ней лишь как о начатой, но еще не оконченной («Письма из Сибири», стр. 59: письмо от 9 окт. 1840 г.).

264 (2). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «Едва ли это верно. Сибирь велика и в набожных недостатка нет».

265 (1). Куломзин — племянник Лепарского, сын его сестры, привезенный им с собою в Петровский Завод. К характеристике М. Бестужева можно присоединить еще аналогичный отзыв Завалишина («Записки», стр. 277); там же — общий отзыв о тюремной администрации Петровского Завода, «обкрадывающей и казну и декабристов».

265 (2). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «Вообще, я сожалею, что Мишель это написал: с одной стороны — мелочь, с другой — оскорбление. Ильинский много служил нам».

265 (3). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «у самой княгини Волконской глаза черны, как черная смородина».

266 (1). В подлиннике данное место читается: «Променял медицину на философию и медицину», что является явной опиской.

266 (2). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «Не знаю подобного случая, разве после».

267 (1). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «это и я сказал».

Нижнеудинский исправник Лоскутов принадлежал к главным сподвижникам иркутского губернатора Трескина и прославился как жестокий и беспощадный деспот и взяточник, невероятно угнетавший население (В. Вагин. Исторические сведения о деятельности Сперанского в Сибири, т. I—II. 1885). Увольнение и арест Лоскутова было одним из первых мероприятий Сперанского в Восточной Сибири. Поэтому отзыв Бестужева несколько неожидан и навеян, по всей вероятности, односторонними сообщениями о нем местных старожилов, главным образом, из крупнокупеческих слоев, ценивших в Лоскутове действительно энергичное искоренение разбоя в границах его уезда.

Отзыв Бестужева и Штейнгейля о административной деятельности Лоскутова разделяли также Басаргин («Записки», стр. 180) и Розен

(«Записки», стр. 186). Однако данное мнение разделялось не всеми декабристами. Возражая Розену, Свистунов характеризовал Лоскутова как своего рода сибирского Аракчеева: «Правда, что он ввел в этих поселениях дисциплину, не уступающую в строгости военной, но избави нас бог от порядка, добытого жестокими мерами...» (Восп. и рассказы, II, стр. 289). Очень возможно, что некоторые из декабристов, писавших о Лоскутове, не всегда были хорошо осведомлены о его деятельности, так, например, тот же Розен относил деятельность Лоскутова ко времени царствования Екатерины и Павла. Впрочем, это замечание не может относиться к Штейнгейлю, прекрасно осведомленному в истории Сибири. Ошибочно изображает М. Бестужев и деятельность Трескина.

268 ([1]). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «Мишелю, благородному душою, и в голову не пришло, что это может показаться хвастовством».

269 ([1]). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «И теперь еще только к 78-му ближусь».

269 ([2]). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «Он говорит по воображению».

270 ([1]). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «Была!».

271 ([1]). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «Жаль, что не означил, о ком речь».

271 ([2]). В Архангельске в то время предполагалось развить большое строительство торгового флота; кроме того, был поставлен вопрос о создании там военного порта. Н. Каллистов так пишет в своем историческом очерке об Архангельске: «Отдаленность от Петербурга и вытекающая отсюда трудность контроля создали из него один из непригляднейших очагов портовых злоупотреблений» («Ист. армии и флота», т. IX, стр. 71). Бестужев ничего не говорит об этой стороне дела, но, видимо, эти архангельские впечатления были одной из побудительных причин его совместной работы с Торсоном по оздоровлению флота.

273 ([1]). *Примечание В. И. Штейнгейля*: «Лишнее».

282 ([1]). Подробное описание «сидеек» сделано Н. Бестужевым в специальной статье под заглавием «Новоизобретенный в Сибири экипаж» и опубликовано (под псевдонимом «Сибирский житель») в «Трудах Вольно-экон. общ.», 1853, № 2, отд. III, стр. 102—108; статья была снабжена пятью чертежами; см. также: «Дек. в Бурятии», 1927, стр. 9—18.

Помимо «сидеек», с именем Бестужевых связано еще одно важное изобретение, имевшее большое значение в практической жизни: это — так называемая «бестужевская печь», сконструированная Н. Бестужевым. По рассказу С. Максимова, изобретателем руководило «желание удешевить кладку печей и сократить расход на топливо»... «Когда с этой печью

ознакомили известного специалиста этого дела, а также изобретателя своей печи, архитектора — профессора Горного института И. И. Свиязева, он был поражен находчивостью Бестужева и практичностью его изобретения» («Наблюдатель», 1883, III, стр. 110—111). Переписка Н. Бестужева со Свиязевым по поводу этого изобретения сохранилась и находится в ИРЛИ (А р х. Б е с т., № 5585).

284 (1). М. Бестужев не совсем точно сообщает хронологию первых произведений Александра Бестужева; ту же ошибку повторяет и составитель «Библиографии декабристов» Н. М. Ченцов, считая первым печатным произведением А. Бестужева критическую статью о «Липецких водах» Шаховского (Ч е н ц о в, стр. 302). Однако этой статье уже предшествовал ряд его выступлений в печати. Первое литературное произведение А. Бестужева, появившееся в печати, был перевод «Оды о навигации» Лагарпа (А. Бестужев озаглавил ее «Дух бури»), помещенный в августовской книжке журнала «Сын отечества» за 1818 г. (ч. 47, № 31). К тому же 1818 г. относится и помещенная также в «Сыне отечества» (ч. 48, № 38) его переводная статья «О нынешнем нравственном и физическом состоянии лифляндских и эстляндских крестьян» — отрывок из 3-го тома книги графа де-Брея «Essai critique sur l'histoire de la Livonie» etc., 1807. Этот перевод очень важен для истории духовного роста Александра Бестужева, так как обнаруживает большую общественную чуткость молодого писателя. Ливонская тематика была очень популярна в русской литературе двадцатых годов, причем это вовсе не являлось каким-либо литературно-экзотическим увлечением, как склонно было истолковывать досоветское литературоведение, но выражало огромный общественный интерес к социально-экономическому быту прибалтийских губерний, в связи с обостренным положением в них вопроса о крепостном праве и начавшейся в начале XIX в. реформаторской деятельности правительства. Экономически эти реформы привели к почти полному обезземеливанию крестьянства и укреплению экономической мощи баронства, но в то же время они внесли существенные изменения в правовое положение крестьянина, так как значительно ограничивали помещичье своеволье. Все это очень волновало передовую русскую мысль, и в первую очередь деятелей Тайного Общества. А. Бестужев еще не принадлежал к нему, но находился вполне в круге его интересов. Характерно и то заглавие, которое он дал своей статье, заменив им нейтральное заглавие книги де-Брея и подчеркнув, ч т о именно стоит в центре его внимания. В. В. С и п о в с к и й в статье «Из прошлого русской литературы» приводит весьма интересные данные по истории рижской цензуры, из которых видно, что очень много книг было запрещено в это время в России вследствие изображения тяжелого положения крестьян в Лифляндской губернии («Рус. стар.», 1899, № 5). Этот интерес к

ливонской тематике нашел отражение и в беллетристике А. Бестужева («Поездка в Ревель», 1821; «Замок Эйзен», 1826).

Широкая же литературная известность А. Бестужева началась действительно со статьи о «Липецких водах», и в этом отношении М. Бестужев прав, начиная с нее историю литературной карьеры своего брата. Весьма характерен и выбор темы первой критической статьи А. Бестужева. Комедия Шаховского «Липецкие воды» была острым выступлением реакционного отряда писателей, группировавшихся в «Беседе любителей русского слова», против «Арзамасцев», главным образом, против Жуковского, весьма прозрачно выведенного в комедии под фамилией Фиалкина («балладник Фиалкин»). Бестужев не принадлежал к «Арзамасу», но выступил на стороне его, дав резкий отрицательный отзыв о комедии.

285 (¹). О рассказе «Отчего я не женат» («Шлиссельбургская станция») — см. подробнее: стр. 623—631. На вопрос Семевского о героине повести М. Бестужев не дал прямого ответа, но из текста, как и из некоторых отдельных замечаний его, можно понять, что здесь дан художественный портрет Л. Степовой. Одним намеком (знакомство с очерком «Об удовольствиях на море») автор рассказа очень искусно указывает на принадлежность героини его рассказа к среде морского общества. Отношения Н. Бестужева и Л. Степовой были очень глубокими и не носили свойственного тому времени характера легкомысленной связи. Воззрения Н. Бестужева на любовь и женщину носили возвышенный характер и исходили из сознания серьезной ответственности мужчины перед любящей женщиной. Сохранилось замечательное письмо Н. Бестужева (1816—1817 г.), адресованное Александру Бестужеву, в котором он, отвечая на какие-то упреки младшего брата, поучает его: «Честный человек, идучи по пути жизни, покоряется необходимости, сужденной человеку: любит и любит искренно. Не основывая своих домогательств на бесчестных правилах искать единого удовлетворения, не заботясь о следствиях и оставя то, что связь сия делает его в свое время счастливейшим человеком, он полагает оную нужною для сердца, потому что без оной человек сиротеет, так сказать, в мире, что в оной чувства его самые благороднейшие образуются и находят пищу, что самые его способности возвышаются, сердце удобряется, самая душа приемлет лучшее направление»... И далее: «Честный человек, уважая связь свою, уважая предмет оной, уважает сам себя» (П а м. д е к., 1, стр. 11—12). Среди бумаг Н. Бестужева находится относящаяся к 1814 году тетрадка под заглавием «Естественное право» (А р х. Б е с т., № 5586). Одна глава специально посвящена вопросу о взаимоотношениях мужчины и женщины; из нее видно, как глубоко и серьезно подходил Н. Бестужев к проблеме брака. Он требовал от мужа и жены «взаимной чистоты одного к другому» и катего-

рически отвергал всякого рода браки «не по любви», а «по соглашению» или «расчету». Браки последнего рода он называл привилегированным распутством (лл. 87—92).

О характере глубокого чувства к Л. И. Степовой свидетельствует и единственное сохранившееся письмо к ней (точнее, черновик письма, писанного из Голландии): «...я живу, не живя, или — скорее — только существую, счастье мое ушло, и мне не остается ничего кроме воспоминаний; пусть будет угодно богу, чтобы я смог когда-нибудь осуществить снова это радостное воспоминание. Все, что есть у меня сейчас дорогого, — это ваш медальон, который я ношу, лента, которую вы мне дали для часов, и я даже нахожу удовольствие, вдыхая еще оставшийся в моем [не разобр.] запах ваших духов, и мне кажется, что вы рядом со мной, потому что это ваш любимый запах... Теперь я надеюсь уже скоро увидать вас. Может быть, еще три-четыре месяца, и я буду иметь счастье прижать вас к своей груди. Прощайте. Знайте, что я никогда не изменю вам. Прощайте» (Статьи и письма, стр. 298). Создавшееся положение, видимо, доставляло тяжелые страдания обоим. Последний рассказ, написанный Н. Бестужевым перед восстанием, посвящен переживаниям человека, любившего в молодости женщину, бывшую чужой женой, и оставшегося в старости без собственной семьи (рассказ напечатан в «Сев. цветах» на 1826 г. под заглавием «Трактирная лестница» и под псевдонимом: Алексей Коростылев; в сборнике «Рассказы и повести...» включен под первоначальным заглавием: «Из записок флотского офицера». Новое заглавие было дано редакцией альманаха, чтобы тщательнее замаскировать имя автора).

286 (1). Н. Бестужев считал своим прямым долгом сохранить для потомства изображения всех участников декабрьских событий в Петербурге и на юге, — для этой цели он еще во время пребывания в Читинском каземате начал рисовать акварельные портреты всех своих соузников и, по памяти, портрет Рылеева (карандашом). На связь портретной серии Н. Бестужева с его общими литературными замыслами впервые обращено внимание Л. Лебедевой в диссертации «Литературная деятельность Н. А. Бестужева» (1948). Эта серия, в которую входил также и ряд портретов жен декабристов, была увезена в 1857 г. Е. А. Бестужевой в Москву и продана известному купцу-меценату, К. М. Солдатенкову.

Кроме этой коллекции, Н. Бестужев создал еще коллекцию карандашных портретов, являвшуюся в основном копиями с его акварельных портретов. Эта коллекция находилась в Петровском Заводе у Горбачевского и после смерти последнего перешла во владение близкого друга семьи Бестужевых, А. М. Лушникова. В 70-х годах с нее, по заказу М. М. Зензинова (московского мецената из нерчинских купцов), были

сделаны известным рисовальщиком Л. Пичем копии, изданные в 1906 г. отдельным альбомом («Декабристы. 86 портретов. Пояснительный и биографический текст П. М. Головачева». Изд. М. М. Зензинова, М., 1906). В середине 80-х годов Лушников отправил из Кяхты свою коллекцию в Петербург, в редакцию «Русской старины», но она не дошла до места назначения и ее дальнейшие судьбы не известны; не сохранились также и подлинные зарисовки Пича. Основная же коллекция акварельных портретов Н. Бестужева, находившаяся у Солдатенкова и считавшаяся утраченной, была обнаружена лишь после Великой Отечественной войны и ныне находится в Москве, в частном собрании И. С. З и л ь б е р ш т е й н а (см. его статью «Портретная галлерея декабристов», «Огонек», 1950, № 51; в этой статье подробно изложена и история трех коллекций портретов Н. Бестужева).

287 (1). «Плоды тюремной хандры», видимо, затерялись; в бумагах Семевского, хрянящихся в Пушкинском Доме, этой тетради нет.

288 (1). Николай Бестужев был членом ложи «Избранного Михаила»: в этой же ложе участвовали оба брата, Кюхельбекеры, Батенков, Ф. Глинка, Новиков (один из замечательнейших деятелей ранней поры Союза Спасения, племянник Н. И. Новикова, умерший до 1825 г.), а также А. Боровков и Н. Греч. Свое название ложа получила от имени царя Михаила Федоровича, образ которого декабристы весьма идеализировали, считая его, в отличие от других Романовых, народным избранником. Эта идеализация отражена и в сочинении Фонвизина «Обозрение проявлений политической жизни в России» и в думе «Иван Сусанин» Рылеева. Ложа «Избранного Михаила» была единственной, где все заседания и протоколы велись на русском языке. См. «Воспоминания» Е. Ф. Ю н г е (Изд. «Сфинкс», М., 1914, стр. 115 — Е. Ф. Юнге была дочерью одного из участников ложи, известного художника-медальера, гр. Ф. Толстого). Как установил Н. М. Дружинин, эта ложа была организационно связана с Союзом Благоденствия («Уч. Зап. Моск. гор. пед. ин-та», т. II, М., 1941, стр. 64—65; см. также: Б а з а н о в, стр. 84).

289 (1). М. Семевский, со слов Е. А. Бестужевой, так описывал смерть Н. А. Бестужева: «До последней минуты Н. А. был в полной памяти и рассудке. — „Благодарю... благодарю от всего сердца... за заботы... за любовь... прощайте... милые мои сестры... Елена... Маша... Оля... Прощай, добрый друг мой Мишель“...» — «И в слабом шопоте: „что... наш Севастополь?“ — отлетела душа Н. А. Смерть была так тиха, что присутствующие несколько минут думали, что это сон» (А р х. Б е с т., № 5569).

290 (1). О происхождении этих ответов — см. примечание к стр. 51; частично они содержат повторение предыдущих ответов, написанных за 8—9 лет перед тем: таковы, например, рассказы о встрече с Гречем,

о совместной работе с Торсоном и некоторые другие, встречаются в них и некоторые мелкие противоречия, например, в подробностях рассказа о польском художнике, и т. д. Подлинники данных ответов в Дашковском собрании, а совершенно идентичные беловые копии в бумагах Семевского (Арх. Бест., № 5589 — «Штейнгейль и Одоевский» и № 5588 — все остальные). Текст песни не сохранился ни в Дашковском собрании, ни в беловой копии и воспроизводится по записи Семевского (Арх. Бест., № 5569, л. 202).

292 (1). Еще в Чите возникла мысль о издании литературного альманаха под заглавием «Зарница», доход с которого должен был пойти в пользу недостаточных заключенных из среды декабристов. Декабристы рассчитывали в этом отношении на помощь Вяземского, которому послал свои стихи Одоевский с какой-то оказией.

Декабристы все время вели страстную и настойчивую, но безуспешную борьбу за право печатания. Все их ходатайства о публикации своих произведений встречали неизменный отказ. О политике правительства в этом вопросе наглядно свидетельствует хранящееся в Иркутском архивном бюро «Дело о прозаических сочинениях», с перепиской по поводу соответственных ходатайств Торсона, В. Кюхельбекера и Штейнгейля. Особенно характерен случай с Торсоном. Последний упорно и настойчиво работал над вопросами изобретения и распространения машин. Им была написана на эту тему статья, отправленная в письме к сестре. Это письмо было задержано сначала иркутскими властями, а затем, на вторичное ходайство Торсона, пришел отказ от самого Бенкендорфа. Шеф жандармов сопроводил свою резолюцию поучением о задачах декабристов на поселении. Оказывается они должны были «на новом месте» думать и заботиться лишь «о прочном заведении и устройстве сельского своего хозяйства, откуда современем получат для себя выгодную пользу» (Сиб. и декабристы, стр. 108). Особенно настойчиво и страстно боролся за возможность печататься В. Кюхельбекер. В ответ Бенкендорф неизменно писал: «считаю неудобным дозволять государственным преступникам посылать свои сочинения для напечатания в журналах, ибо сие поставит их в сношения, не соответственные их положению» (там же). Совершенно исключительно по силе отчаяния, трагизма и полно собственного достоинства письмо В. Кюхельбекера Жуковскому, написанное им за два месяца до смерти: «Говорю с поэтом, и, сверх того, полуумирающий приобретает право говорить без больших церемоний. Я чувствую, знаю, я убежден совершенно точно так же, как убежден в своем существовании, что Россия не десятками может противопоставить европейцам писателей, равных мне по воображению, по творческой силе, по учености и разнообразию сочинений. Простите мне, добрейший мой наставник и первый руководитель на поприще поэзии, эту мою гордую выходку. Но, право, сердце

кровью заливается, если подумаешь, что все, мною созданное, вместе со мною погибнет, как звук пустой, как ничтожный отголосок» («Рус. арх.», 1872, № 5, стр. 1007).

Многие декабристы готовили к печати переводы различных сочинений, видя в этом один из источников существования (Бригген, П. Борисов, П. Бобрищев-Пушкин, Шимков и др.), но реализовать в печати ничего не удалось. Единственный декабрист, которому было разрешено печататься,— был А. Бестужев-Марлинский. Тем не менее, изредка произведения ссыльных декабристов проникали (без подписи) в печать, иногда доставляя крупные неприятности редакторам: так был опубликован ряд стихотворений Одоевского, Чижова, исторические повести и роман Корниловича, поэма Кюхельбекера «Ижорский», издание которой сумел организовать Пушкин, и нек. др. Появление в «Моск. телегр.» (1832) поэмы Н. Чижова «Нуча» повело к крупным неприятностям для автора и редактора. В начале 50-х годов стали появляться в печати — под псевдонимами или без подписи — статьи Н. Бестужева. Данный ответ М. Б. может привести к неверному заключению, будто напряженная умственная жизнь (усиленное чтение, лекции, концерты и пр.) имела место только в Петровском Заводе. Мих. Бестужев, противопоставляя жизнь в Петровском Заводе пребыванию в Чите, не отметил и некоторых положительных сторон последней, на что указано другими мемуаристами. Литературные вечера и лекции (даже концерты) были уже и в Чите; можно думать, что они начались довольно рано: Фролов и Розен рассказывают о лекциях по русской истории Корниловича, который уже в самом начале 1828 г. был из Читы увезен. О казематском университете подробно рассказывает также Розен (стр. 155, 156, 175), Беляев (стр. 225, 241), Завалишин (стр. 269, 270) и др. М. Бестужев говорит, главным образом, о литературных вечерах, поскольку так формулирован был и вопрос Семевского, но еще большее распространение имели научные чтения: лекции и доклады. Оболенский читал лекции по философии; по русской истории, кроме Корниловича, — Муханов и, видимо, Никита Муравьев; последний так же, как и Репин, читал лекции по военным паукам; Одоевский прочел курс лекций по русской литературе, Спиридов — по истории средних веков, Вольф — по физике, химии и анатомии, Вадковский — по астрономии, Торсон — по механике; он же и М. Кюхельбекер рассказывали о своих кругосветных путешествиях, Пав. Бобрищев-Пушкин читал математику (высшую и прикладную); упоминают также и о чтениях Н. Бестужева, но без точного указания, по какой дисциплине. Кроме того, читались литературные произведения, переводы и пр. С беллетристическими произведениями, помимо М. Бестужева, выступали Одоевский, Муханов, Н. Бестужев и др. Очень распространено было взаимное обучение, главным образом, в области изучения языков: бр. Бестужевы изучили таким образом испан-

ский язык; Беляевы — английский, Бечаснов — французский; некоторые учились польскому языку, латинскому и греческому. Наиболее полно об этой стороне дела рассказывает Завалишин, — однако у него, несомненно, допущен ряд преувеличений, касающихся его собственной роли.

292 ([2]). Этот отрывок впервые был напечатан, как уже было указано выше, П. Е. Щеголевым в журнале «Былое» (1907, VIII): самый же текст песни, приписывавшейся Александру Бестужеву, был опубликован в «Собрании стихотворений декабристов» (Лейпциг, 1862), затем в сборнике «Лютня» (1869), откуда неоднократно перепечатывался. Публикация Щеголева точно установила правильное имя автора «Песни», однако ошибочное приписывание ее А. Бестужеву имело место и в некоторых позднейших изданиях, в том числе и в изданиях советского времени. М. Бестужев высказывается неопределенно о годе создания этой песни — в 1829 или 1830, но поскольку речь идет о Петровском Заводе, несомненно, что она не могла быть написана ранее 1830 г. Семевский — неизвестно на каком основании — датировал ее 1835 г., (Арх. Бест. № 5569, л. 204-об.), что едва ли правильно.

Как указывает М. Бестужев, его песня написана как подражание народной песне «Уж как пал туман на сине море...». Последняя была впервые опубликована в «Моск. журнале» Карамзина за 1797 г., октябрь; близкие к ней варианты имеются в песенниках 1780—1791 гг., — они перепечатаны в изд. А. Соболевского «Великорусские народные песни», т. I (СПб., 1895, стр. 464—468). По семейному преданию, хранящемуся в семье известного деятеля XVIII в. и собирателя песен Н. Ф. Львова, автором этой песни был дед последнего, П. С. Львов. Если это сообщение верно, то его следует понимать лишь как переработку популярной народной песни, — возможно, что П. Львову принадлежит и самый зачин, так как известные позднейшие записи этой песни его не имеют.

«Песня» М. Бестужева принадлежит к важнейшим памятникам декабристской художественной литературы. «Вольные строфы этого широко впоследствии распространенного произведения очень характерны для особенностей восприятия Васильковских событий в кругу самих декабристов эпохи первых лет их пребывания на каторге и в ссылке» (Восст. дек., VI, стр. XLVII). Опыты использования народной песни для прославления революционного подвига 1825 г. делали также Одоевский и Вадковский (см. «Красн. арх.», т. X, стр. 318—319).

292 ([3]). Тютчев — один из деятельнейших участников Общества Соединенных Славян; в истории движения сыграл невольно большую роль, так как именно благодаря ему произошло знакомство руководителей Южного Общества со «славянами». Тютчев состоял в списке лиц, готовых «покуситься на жизнь государя», вел энергичную пропаганду

среди солдат и очень решительно действовал во время восстания черниговцев (см.: М. В. Нечкина. Общество Соединенных Славян. М., 1927). До увоза в Читу находился вместе с Якушкиным и Ал. Бестужевым в Фортславской крепости и очень тяжело переносил заключение (Якушкин, стр. 109).

293 (1). Вадковский — один из немногих, принадлежавших и Северному и Южному Обществу; в истории движения сыграл невольно роковую роль, так как именно через него проник в Тайное Общество провокатор Шервуд. С Вадковского же и начались аресты на юге (приказ о его аресте был дан Дибичем уже 9 декабря). Образ Вадковского недостаточно освещен в исследовательской литературе, а иногда трактуется весьма превратно. Так, например, публикатор и комментатор переписки Вадковского характеризует его как «заурядного» и «не выдающегося» декабриста (Декабристы, стр. 197); это глубоко неверно. Вадковский принадлежал к числу выдающихся деятелей Общества, являясь выразителем наиболее последовательно-революционного течения, и отличался суровым, ригористическим характером, приводившим его часто к столкновению с товарищами в казематах. Суровая принципиальность Вадковского очень отчетливо проявляется и в его письмах (См. «Декабристы», стр. 197—229).

Вадковский обладал несомненными литературными дарованиями и был превосходным музыкантом — скрипачом и композитором. Ему принадлежит ряд стихотворений, ставших известными лишь в советское время (см. публикацию Е. Е. Якушкина: «Кр. арх.», т. X, стр. 318—319), и сатирические куплеты (на французском языке), посвященные членам суда над декабристами («Декабристы», под ред. П. Головачева, стр. 4—6). Вадковский же составил со слов участников похода С. Муравьева исторический очерк «Белая Церковь», являющийся одним из основных источников для изучения Васильковских событий (впервые был опубликован в изд. Герцена «Записки декабристов», вып. 2—3, Лондон, 1863; перепечатан под ред. и с прим. Ю. Г. Оксмана в изд.: «Восп. и расск. деятел. тайных обществ 1820-х годов», т. I, стр. 188—201).

Характеристику Вадковского как музыканта дает Л. Ф. Львов (Из воспоминаний Л. Ф. Львова. «Рус. арх.», 1885, I—III). Принято относиться с недоверием к этим воспоминаниям, которые, действительно, выделяются своим неприятным, несколько пренебрежительным тоном по отношению к декабристам. Однако сопоставление «Воспоминаний» Львова с письмами Вадковского подтверждает (не касаясь мелких неточностей и ошибок в именах и датах) сообщения Львова. Страстный музыкант, Львов очень сблизился с Вадковским на почве общих интересов и во многих случаях повторяет его оценки и суждения, но то, что у Вадковского истекало из последовательно-принципиальных позиций,

у Львова представлено в тонах обывательского самодовольства и недопустимого и неоправданного превосходства.

Не сохранилось никаких материалов для суждений о Вадковском как композиторе: ни одно из его музыкальных произведений до нас не дошло. В распоряжении Огарева была лишь его музыка к «Славянским девам». Он так характеризовал ее: «она носит характер романса того времени, с тех пор хотя и осмеянного с ученой точки знатока, но которого задумчивая прелесть, вышедшая из слияния русской песни с европейской музыкой, для непредубежденного останется изящной. В мотиве Вадковского есть талант, но в целом выработка — ученическая» (Н. Огарев. Кавказские воды. «Пол. звезда», VI, Лондон, 1861, стр. 351).

293 (2). Имя С. Муравьева пользовалось среди «южан» таким же обаянием, как имя Рылеева среди «северян»; этот культ разделяли и многие члены Общества Соединенных Славян. Горбачевский хранил у себя щеточку для расчески усов и бакенбардов, оставленную ему Муравьевым. Эту щеточку у него неоднократно пытались купить и Трубецкой и Поджио, предлагая огромные по тому времени деньги, но получали неизменный отказ.

295 (1). «Славянские девы» — стихотворение Одоевского, впервые появилось в печати после смерти автора — в журналах «Русская беседа» (1859, IV, стр. 10), затем «Полярная звезда» Герцена (1861); некоторые исследователи видели в этом стихотворении Одоевского предчувствие позднейших идей славянофильства, что совершенно неверно: в данном стихотворении отразились мысли членов Общества Соединенных Славян о славянской взаимности, чем и объясняется большая популярность этого стихотворения на декабристской каторге. Замечательна оценка этого стихотворения, сделанная Огаревым. Он считал его неудачным, но оно «важно для нас, — писал Огарев, — как памятник, как свидетельство того, как в этих людях глубоко лежали все зародыши народных стремлений; но и в этой песне, — подчеркивал Огарев, — выразились только заунывный напев русского сердца и тайная вера в племенную будущность, а о прославлении нет и помину» (Н. Огарев. Кавказские воды. «Пол. звезда», кн. VI, Лондон, 1861, стр. 351—352).

301 (1). Об Одоевском М. Бестужев сообщает скудные сведения, которые мало что прибавляют к облику поэта, как он вырисовывается в других мемуарах и рассказах, — видимо, тесной дружбы между ними не было. В бумагах М. Бестужева обнаружен ряд стихотворений Одоевского, из которых некоторые не были известны ранее, например «Стихи на переход из Читы в Петровский Завод»; на основании того же архива окончательно установлена принадлежность Одоевскому стихотворения «При известии о польской революции».

303 (1). Штейнгейль (иначе и чаще фамилия его пишется Штейнгель), несмотря на большое различие лет между ним и М. Бестужевым, принадлежал к ближайшим друзьям последнего. Знакомство их состоялось, вероятно, еще во время посещений тем и другим квартиры Рылеева, но в тесную дружбу превратилось лишь в казематах. С Ник. Бестужевым у Штейнгейля не сложилось столь же близких дружеских отношений (как писал сам Штейнгейль: «не оказалось химического сродства в наших характерах»). Среди декабристов Штейнгейль был старейшим по возрасту. До 1825 г. он служил во флоте; ряд лет провел в Сибири (в Охотске, Иркутске и др. местах), принимал участие в войне 1812 г.; позже служил управляющим канцелярией Московского генерал-губернатора и под давлением некоторых, разоблаченных им как взяточников, лиц должен был выйти в отставку. Штейнгейль получил большую известность в административных кругах рядом составленных и представленных им «докладных записок» по весьма актуальным вопросам государственного устройства, — особенно замечательна была записка о наказании кнутом («Нечто о наказаниях»), в которой он доказывал жестокость и бессмысленность этого наказания, и записка об организации городского населения («Некоторые мысли и замечания относительно законных постановлений о гражданственности и купечестве в России»). Последняя записка, однако, не встретила одобрения со стороны Аракчеева, первая же была доложена лично Александру I. Однако все попытки покровителей Штейнгейля привлечь его на службу оказывались безрезультатными вследствие возражений Александра и его брата Константина, в глазах которых Штейнгейль был очень очернен. В 1823 г. познакомился с Рылеевым и был принят в Тайное Общество.

В Обществе принадлежал к числу наиболее умеренных, что, однако, не помешало ему принять участие в обсуждении самых крайних планов Общества, вплоть до ареста царской фамилии. Очень верно и с художественной выразительностью показаны противоречия Штейнгейля в книге Н. М. Дружинина, который характеризует Штейнгейля как «мирного сторонника буржуазного прогресса», силою обстоятельств оказавшегося «в недрах революционного Общества» (Н. Дружинин. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933, стр. 156). Штейнгейль же составил по поручению Рылеева манифест к народу. Из крепости он написал письмо царю, являющееся одним из самых ярких документов, написанных декабристами во время следствия. Это «письмо» представляет собою обстоятельную записку о внутреннем положении России, содержащую беспощадную критику царствования Александра (Общ. движ., стр. 475—492); любопытно также второе его письмо к царю, в котором, обманутый, как и Рылеев, лицемерной игрой Николая в благожелательного монарха-реформатора, он советует ему издать немедля манифест с обращением к населе-

нию о представлении верных и точных сведений о настоящем положении страны. Эти сведения, минуя министров, к которым «ни просвещенная публика ни народ не имеет никакого доверия», должны быть переданы непосредственно самому императору. В случае согласия последнего на эту меру Штейнгейль предлагал даже составить проект такого манифеста (там же, стр. 493—495). На поселении Штейнгейль все более и более отходил от своих революционных настроений и примкнул фактически к правому лагерю, найдя даже возможным сотрудничать в обскурантском органе 1840-х годов, журнале «Маяк». Эти новые настроения Штейнгейля отразились и в его «Записках», опубликованных В. И. Семевским (Общ. движ., стр. 321—474). Следственное дело о Штейнгейле не опубликовано; нет о нем и специальных монографий или исследовательских очерков, за исключением предпосланной его «Запискам» краткой статьи В. Семевского (см. также: С. Я. Штрайх. Декабристы-моряки. М., 1948). Дата подарка, упоминаемая М. Бестужевым, явно ошибочна: в 1836 г. Штейнгейль уже был отправлен на поселение. В рукописном отделе Пушкинского Дома хранится ряд писем Штейнгейля к М. Бестужеву.

305 (1). Братья П. и А. Борисовы были основателями и руководителями «Общества Соединенных Славян» — самой радикальной и наиболее демократической организации среди декабристов. Выделялись они и своим стойким и непримиримым поведением на суде, особенно Андрей Борисов, который прямо заявил судьям: «твердо уверен, что законы ваши неправые; твердость их находится в силе и предрассудках» (Восст. дек., V, стр. 85); о политических позициях Борисовых см.: М. В. Нечкина. Общество Соединенных Славян. М., 1927. На каторге П. Борисов возглавлял демократический кружок, противостоявший аристократическим «салонам», а также и религиозному кружку (так называемой «конгрегации»), возглавляемому бр. Бобрищевыми-Пушкиными. Очень сильны были в кружке Борисовых и материалистические тенденции. Несмотря на свою религиозную настроенность, М. Бестужев был очень близок к этому кружку. Старший брат Андрей, о трагической смерти которого рассказывает М. Бестужев, начал терять рассудок уже в тюрьме.

П. Борисов очень много занимался и был одним из самых выдающихся естествоиспытателей среди декабристов; оставшиеся после него сочинения поражают своим разнообразием: помимо работ натуралистического характера (большой труд «О муравьях» и др.), среди его бумаг оказались различного рода сочинения и выписки по истории и философии, по археологии, большой труд «О преступлениях и наказаниях» и др. (см.: П. Рындзюнский. Декабристы братья Борисовы в годы жизни на поселении. «Тр. Гос. Ист. музея», XV, стр. 5—26). Декабристы очень ценили

научную деятельность П. И. Борисова. Ник. Бестужев писал сестре (14 дек. 1839 г.): «П. И. Борисов — отличный натуралист и ботаник; я бы желал, чтоб ты видела его собрание бабочек и букашек здешнего Забайкальского края, чтоб ты посмотрела его альбом, в котором нарисованы все цветы и все птички этой стороны» (Письма из Сибири, стр. 24). См. также письмо С. Волконского к Пущину о смерти Борисовых (Летописи, стр. 101). М. Бестужев упоминает о каком-то лондонском издании альбома Борисовых, но он пока не обнаружен; рассказ же его о рисунках, включенных в атлас Булычева, явно неточен, но альбом, о котором упоминал Н. Бестужев в письме к сестре, сохранился и находится в частном собрании в Москве.

308 (1). Никольский, знакомый Н. Бестужева, служивший в то время секретарем Ученого комитета Морского министерства; в литературе известен как участник и сотрудник «Лесного словаря». Никольский был одним из усерднейших корреспондентов Н. Бестужева и оказал ему большое количество услуг по части снабжения книгами, картами и т. п. материалами. Одно из писем А. А. Никольского к Н. Бестужеву опубликовано в сборнике «Декабристы в Бурятии» (1927); письмо это чрезвычайно характерно и для их взаимоотношений и для уяснения научных интересов Н. Бестужева в последующие годы его жизни. Никольский же был связующим звеном между Н. Бестужевым и его старинными знакомыми, занявшими крупные посты в морских и научных кругах: адм. Рейнеке, адм. Рикордом, адм. Анжу и др.

312 (1). В делах Иркутского архивного бюро, где сосредоточены дела о декабристах, живших в восточной Сибири, этого письма не имеется. Возможно, что это заявление так и не было отослано, а составлялось лишь в назидание городничему. В сборнике «Сибирь и декабристы» опубликовано письмо Бестужевых на имя иркутского ген.-губернатора с ходатайством о разрешении выезжать для производства покупок в ближайшие населенные пункты: Верхнеудинск, Кяхту, Петровский Завод (ук. сб., стр. 124—127). В архиве Бестужевых сохранилось письмо Сельского (от 23 сент. 1846 г.), который сообщает им о разрешении Руперта: «Бумага будет написана неточно: отпустить нельзя долее 50 верст, но в ней разрешается просто, не означая места, куда вы поедете, а местное начальство ни в коем случае не придерется, — об этом будет написано от губернатора» (Арх. Бест., № 5584, л. 109). В письме к брату Павлу (от 6 февраля 1840 г.) Н. Бестужев подробно рассказывает, как губительно отражается на их хозяйстве и благосостоянии запрещение дальних поездок. (Письма из Сибири, стр. 29). Аналогичные жалобы находятся в письме поселенного в с. Тасеевском б. Енисейской губ. Игельстрома; он пишет Крюкову: «каким образом могу я обрабатывать землю, которая в 20 верстах от селения, когда каждый раз, что мне надобно ехать

на пашню, я должен посылать за 170 верст испрашивать позволения» (Дек. на кат., стр. 293).

Стеснение в правах передвижения, так же как и запрещение служить в промышленных и частных предприятиях и запрещение печатать свои литературные произведения, было введено только для декабристов, т. е. лишало их прав, которыми пользовались все ссыльные-поселенцы в Сибири. Это мероприятие было очень характерно для мстительной политики Николая по отношению к декабристам; о разнообразных стеснительных мерах такого рода неоднократно упоминается в мемуарах и письмах; наиболее подробно останавливается на этом вопросе Басаргин: он подчеркивал, что, с одной стороны, декабристам дозволяется ряд льгот, а с другой, «у них отнимались все те права, которыми пользуются вообще ссылаемые в Сибирь», т. е. в том числе и уголовные (Басаргин, стр. 211).

313 (1). Ошибка: переход из Читы в Петровский Завод состоялся в 1830 г.

324 (1). Далее М. Бестужев приводит список литературных и научных произведений Н. Бестужева. Список этот очень не полон и в настоящее время, после появления труда Ченцова, представляется уже совершенно устаревшим, почему он и не перепечатывается в настоящем издании. Упоминаемые им рукописи: «О часах» и «Живопись и коммерция» — не сохранились; «О свободе торговли» — напечатано в 1933 г. (Статьи и письма).

325 (1). «Дневник» этот не является вполне самостоятельным. В основе его — записи Штейнгейля (опубликованы Б. Л. Модзалевским в сб. «Декабристы». Изд. Пушк. Дома, Л., 1925, стр. 128—148). Очевидно, позже М. Бестужев присоединил свои заметки к записям Штейнгейля. Последние приводятся иногда дословно, иногда в более или менее близком пересказе. «Дневник» Штейнгейля, видимо, существовал во многих списках, один из них был в руках С. Максимова, — по крайней мере, описание данного перехода изложено в книге «Сибирь и каторга» всецело по «Дневнику» Штейнгейля (Максимов, III, стр. 259—263). Фразы, которые являются буквальным воспроизведением записей Штейнгейля, напечатаны курсивом. Автограф — Арх. Бест., № 5575. Переход из Читы в Петровский завод описывался почти всеми декабристскими мемуаристами, касавшимися пребывания в сибирских казематах. О нем упоминают Басаргин (стр. 130—135), Розен (стр. 161—171), Лорер (стр. 151—154), Завалишин (стр. 294—300), Беляев (стр. 233—238), Якушкин (стр. 145—150); см. также письмо Розена к Бриггену, в котором он, изображая поэтическую сторону перехода, писал между прочим: «... можете представить себе: огни для караульных и огни в юртах, рассказы Н. Бестужева, Якубовича и др., остроты Давыдова, песни Одоевского,

и пр.» («Рус. стар»., 1903, III, стр. 548). См. также его письмо к М. В. Малиновской, опубликованное Б. Е. Сыроечковским (Дек. на кат., стр. 281—286). Важным памятником для изучения этого момента в жизни декабристов является «Дело о переводе государственных преступников из Читы в Петровский Завод». («Ирк. губ. арх. бюро», св. 4, оп. 74, на 80 листах), использованное в статье А. М. Михайловской «Через бурятские степи» («Изв. Вост.-Сиб. отд. РГО», т. 51, Иркутск, 1926, стр. 79—106).

328 (1). В этих строках чувствуется отзвук литературы XVIII века с ее умиленно-восторженным отношением к «диким племенам»; позже и Николай и Михаил Бестужевы сумели подойти иначе к жизни бурятского народа и в своих письмах и литературных произведениях дали вдумчивые и глубокие очерки их быта, хозяйства, характера и фольклора. Значительно возвышаясь над понятиями своего времени, Бестужевы объявляют бурят народом, который «идет наравне со всеми лучшими племенами человеческого рода» (Рассказы и повести, стр. 575). Письма братьев Бестужевых из Селенгинска содержат огромнейший материал по этнографии и народному хозяйству бурят-монгольского народа; все упоминания о бурятах в этих письмах полны глубокого участия к тяжелым условиям их жизни. Кроме очерка «Гусиное озеро» (см. примеч. к стр. 183), Н. Бестужев написал ряд статей о бурятах, из которых увидел свет лишь очерк «Бурятское хозяйство», опубликованный без имени автора в «Тр. В.-эк. общ.» (1853, т. I, февраль); перепечатано в сб. «Декабристы в Бурятии» со вступительной статьей и примечаниями М. Азадовского. И. П. Корнилов сообщал Семевскому, что Н. Бестужев прислал ему написанную по его просьбе статью о селенгинских бурятах. Окончания не было, — и это письмо о селенгинских бурятах было последним трудом Н. Бестужева; в рукописи было 12 полулистов. По описанию Семевского, рукопись заканчивалась следующими словами: «Я говорил о добрых качествах наших туземцев, теперь скажу что-нибудь и о худых и о причинах, откуда они проистекают» (Арх. Бест., № 5569, л. 218); по другому сообщению Семевского, эта рукопись была передана в «Отечественные Записки», но там не появилась (там же, стр. 81 об.). Занимался изучением бурят и М. Бестужев, его заметками о буддизме обильно воспользовался архиепископ Нил в своем сочинении («О буддизме». СПб., 1858); рукопись же самого М. Бестужева затерялась. Любопытно отметить, что из среды селенгинских бурят вышел знаменитый ученый Дорже Банзаров, сочинение которого «О черной вере или шаманстве у монголов» вышло уже в 1846 г. и вполне могло быть известно Бестужевым; сам автор с 1848 г. жил в Иркутске и бывал в родных местах. Таким образом вполне возможно допустить их личное знакомство, что не могло

не сказаться на бестужевских характеристиках бурят-монгольского народа.

329 ([1]). О времена! — Мих. Бестужев, вероятно, нарочито искажает подлинную цитату: «O tempores!» вм. «O tempora!».

329 ([2]). Смерть английского короля Георга IV; «Севастопольский бунт» — «Чумный бунт» 31 мая—3 июня 1830 г.

330 ([1]). У Штейнгейля так записано: «И в разговорах с Николаем Бестужевым, до 14 [т. е. до 14 декабря] касающихся, не видел, как прошли Березовую гриву и спустились к станции».

333 ([1]). Нужно иметь в виду, что старый тракт шел по иному направлению, чем нынешний железнодорожный путь. По железнодорожной трассе (в направлении от Читы к Байкалу) ст. Петровский Завод находится за Читой и предшествует б. Верхнеудинску (ныне столица Бур.-Монг. АССР — Улан-Удэ), тогда как по старому пути, которым шли декабристы, Верхнеудинск предшествовал Петровскому Заводу.

335 ([1]). Н. В. Басаргин так рассказывает об этом: «На последнем ночлеге к Петровскому мы прочли в газетах об июльской революции в Париже и о последующих за ней событиях. Это сильно взволновало юные умы наши, и мы с восторгом перечитывали все то, что описывалось о баррикадах и трехдневном народном восстании. Вечером мы все собрались вместе, достали где-то бутылки две-три шипучего, выпили по бокалу за июльскую революцию и пропели хором марсельезу. Веселые, с надеждою на лучшую будущность Европы, входили мы в Петровское» (Басаргин, стр. 135).

336 ([1]). Этот рассказ М. Бестужева является примечанием, сделанным им к письму Горбачевского (хранится в ГПБ; опубликовано Б. Е. Сыроечковским в изд.: «Записки И. И. Горбачевского». М., 1925, стр. 345—347). Горбачевский писал, что с петли сорвались Бестужев-Рюмин, Муравьев и Каховский, — в ответ на это утверждение и написано опровержение М. Бестужева. О подробностях казни и последних словах казненных существует очень большое количество рассказов, — однако все они противоречивы, отражая в большой степени настроения самих рассказчиков. По рассказам одних, последние слова осужденных знаменовали раскаяние и примирение; другие, как М. Бестужев, подчеркивали неугасимый дух протеста и революционного энтузиазма. Наконец, некоторые рассказчики утверждают, что Рылеев был так измучен всем происходящим и особенно своим падением с виселицы, что не мог уже сказать ни одного слова. Горбачевский приписывает последний мятежный возглас Рылеева Каховскому. В общем, приходится констатировать, что во всех существующих рассказах о казни нет возможности отделить легенду от действительности, и ни одно из имеющихся свидетельств не может быть признано абсолютно достоверным. Точно так же

противоречивы и все рассказы о том, кто именно сорвался. Опубликованное Щеголевым официальное донесение ген.-губернатора Голенищева-Кутузова называет имена Рылеева, Муравьева и Каховского («Былое», 1906, III), эти же имена называет и Н. Бестужев, однако Н. М. Романов, имевший, как уже отмечалось выше, возможность опираться на какие-то, совершенно недоступные другим исследователям, документы считал возможным оспаривать это сообщение («Ист. вестн.», 1916, VII).

341 (1). «Памятные записки» П. Бестужева впервые были опубликованы в изд. 1931 г.; отрывок о Грибоедове был опубликован Г. В. Прохоровым: «Грибоедов и декабристы» (Веч. вып. «Кр. Газеты» от 11 фев. 1929 г., № 38/2066). Автограф — Арх. Бест., № 5574, лл. 71—103об.; на рукописи пометка: «Тетрадь вторая»; первой тетради не сохранилось.

341 (2). Кавказские войны 1828—1829 гг. были вызваны по существу действиями капиталистических стран Западной Европы, которые были очень встревожены укреплением России на Кавказе; особенно это тревожило Англию, «привыкшую захватывать чужие территории и угнетать другие народы», — пишет современный историк мюридизма.— «Англия намеревалась прибрать к рукам Кавказ и превратить его в свою колонию. Она засылала сюда своих агентов, чтобы подорвать влияние России, провоцировала войны Персии и Турции с Россией» (А. Даниялов. Об извращениях в освещении мюридизма и движения Шамиля. «Вопр. ист.», 1950, IX, стр. 4). Главной ареной войн 1828—1829 гг. стал Дагестан, народы которого «столетиями испытывали на себе гнет отсталых деспотических государств Ирана и Турции. Иранские и турецкие захватчики по очереди прибирали Дагестан к рукам, истребляли его жителей, уводили их в рабство, угнетали непосильными поборами, навязывали чуждые народу порядки» (там же, стр. 3). Война, в которой пришлось принять участие Петру Бестужеву и его товарищам, началась еще в 1826 г., когда в наши пределы ворвалась персидская армия под предводительством Аббаса-Мирзы; русской армией командовал Ермолов, но, подозреваемый Николаем I в связях с декабристами, он был вскоре замещен Паскевичем.

Первый этап войны был закончен Туркменчайским миром (10 февраля 1828 г.): Персия уступила России Эриванское и Нахичеванское ханства и, кроме того, была обязана уплатить денежную контрибуцию в 20 000 000 рублей. Происками Англии мирное положение на Кавказе было нарушено, и в апреле 1828 г. началась война с Турцией. Ее основные моменты — штурм Карса, взятие Ахалциха и Ахалкалаки — и составляют содержание записок Петра Бестужева. Записки его очень точны, и почти все сообщаемые им сведения находят подтверждения в существующих описаниях этих войн, а также в мемуарах других декабристов (Гангеблов, М. Пущин). В боях при взятии Карса и Ахалциха особенно отли

чился Ширванский пехотный полк, в рядах которого находился тогда Петр Бестужев; в частности, этот полк первым ворвался в Карс. Взятие крепости во многом обязано полководческому таланту декабриста Бурцова и инженерному искусству декабриста М. Пущина, который, будучи унтер-офицером, руководил фактически всеми инженерными работами. Наиболее крупным успехом русских войск было взятие считавшейся совершенно неприступной крепости Ахалциха. При взятии Ахалциха П. Бестужев был ранен в руку. Компания 1828—1829 гг. сыграла большую роль в судьбе разжалованных декабристов: некоторые погибли, другие сумели выдвинуться и восстановить свою военную карьеру или выйти в отставку.

347 (1). Точки — в подлиннике.

351 (1). Точки — в подлиннике.

357 (1). В этот перечень входит ряд лип, с которыми судьба столкнула Петра Бестужева во время пребывания его па Кавказе: одни из них были его товарищами по делу и судьбе, другие также принадлежали к разжалованным, но не из декабристской среды, третьи являлись его начальниками, четвертые — просто знакомыми. Раскрыть все имена, скрывающиеся под инициалами и сокращениями П. Бестужева, не удалось. Из упоминаемых им лип причастными к декабристскому движению являются: Н. П. Кожевников, А. В. Веденяпин, Ф. Г. Вишневский, А. С. Грибоедов, А. А. Суворов, Н. Н. Раевский, Н. Р. Цебриков, М. И. Пущин, И. П. Коновницын, М. Д. Лаппа, Б. А. Бодиско, Н. П. Акулов, А. Е. Рынкевич, Н. В. Шереметьев. Кто скрывается за обозначением Ли-в Н. В. — установить не удалось, — вероятно, кто-то из разжалованных еще до 1825 г.

361 (1). О взаимоотношениях Грибоедова с Бестужевым см. примеч. к стр. 530.

365 (1). Отзыв П. Бестужева о Н. Н. Раевском явно несправедлив и сделан без учета той сложной обстановки, в которой он находился на Кавказе. Воспоминания других мемуаристов свидетельствуют о большой самостоятельности его поведения в отношении к декабристам, что в конце концов и отразилось на его карьере.

370 (1). П. Бестужев, очевидно, имеет в виду двенадцатитомный «Энциклопедический словарь» Брокгауза в Лейпциге [Allgemeine Deutsche Real-Encyclopedie für die Gebildeten Stande (Conversations-Lexicon), Leipzig, Brockhaus], девятый том которого, содержащий слово «Россия» (Russland), вышел в 1827 г. Две странички в этой статье посвящены восстанию 14 декабря (стр. 508, 509). В отличие от ряда аналогичных изданий, отражавших официозную точку зрения, автор данной статьи, хотя также отмечает «мужество» и «великодушие» Николая, — но с явным сочувствием относится к восставшим, характеризуя

их не как «извергов» и «отбросов армии», но как горячих энтузиастов, принадлежащих к лучшим семьям общества.

370 ([2]). Буква «Е» в данном случае является опиской; речь идет, несомненно, о Николае Николаевиче Оржицком. Сведения, сообщаемые Петром Бестужевым, вполне соответствуют биографическим сведениям о нем. Он был «незаконным сыном» крупного вельможи, графа П. К. Разумовского, прекрасно образован, начитан. Оржицкий вращался в кругу литераторов, был близок с А. Бестужевым и Грибоедовым и сам являлся литератором-поэтом; литературное наследие его еще не собрано и не установлено, да и личность его в целом еще очень мало освещена.

Рылеев предполагал послать Оржицкого в Киев с извещением о событиях в Петербурге. Членом Общества он не был, хотя и знал о существовании его. На следствии он заявил: «мысль носить на себе постыдное имя предателя была причиною, побудившею меня умолчать перед правительством о бывшем мне известном заговоре» (Н е ч к и н а, стр. 277). В Следственном Комитете Оржицкого, на основании слов Завалишина, обвиняли в проекте своеобразной виселицы, на которой якобы предлагал он: «первым повесить государя, а там к ногам его братьев» («В о с с т. д е к.», III, стр. 268), — хотя сам же Завалишин пояснял, что речь идет не о царской семье, а о тех, кто помешал Оржицкому в деле его женитьбы. Об «экономической виселице» Оржицкого упоминает и М. Бестужев.

Ценным дополнением для освещения личности Оржицкого служат опубликованные в 1931 г. письма декабриста Цебрикова Е. Оболенскому, в которых он рассказывает об устройстве Оржицким своих крестьян в 1844 г.: «Оржицкий доказал, что можно быть добрым умом, и взял за норму 15 десятин земли, находящейся в Псковском уезде, отдал крестьянам в оброк за 20 р. серебром, завел муниципалитет, выборных и сборщиков, выбираемых самими крестьянами, и только поставил от себя одного старосту, которому впрочем приказано только наблюдать, но никак не вмешиваться в управление крестьян, на что у них есть мир»... «Крестьянский быт улучшился, крестьяне сделались людьми, и почти нет таких бедных крестьян, которых можно встретить зачастую целыми деревнями» (В о с п. и р а с с к., 1, стр. 270).

371 ([1]). Аналогичное негодующее замечание по адресу аристократической молодежи — у Марлинского: «Про высший круг и говорить нечего: там от собачки до хозяина дома, от плиты тротуара до этруской вазы — все не русское, и в наречиях и в приемах. Бары наши преважно рассуждают, каково Брюно играл Жокриса, как была одета любовница Ротшильда на последнем рауте в Лондоне; получают телеграфические депеши о привозе свежих устриц... А спросите-ка их, чем живет Вологодская губерния? Они скажут: „Je ne saurais vous le dire au juste, monsieur (не сумею Вам точно сказать): у меня там нет поместьев“» («Фрегат Надежда», гл. IV).

380 (1). Прямых сведений о печатных статьях П. Бестужева не имеется, но, видимо, он сотрудничал в «Тифлисских Ведомостях» (1828—1829 гг.); известно о попытке создания газеты в Ахалцихе: «Ахалцикский Меркурий»: вышло два номера, в них участвовал и П. Бестужев (И. Е н и к о л о п о в. Пушкин в Грузии. 1950, стр. 104)

387 (1). Настоящие «Рассказы» представляют собою записи Семевским бесед с Мих. Ал. Бестужевым во время их первой встречи. Поскольку записывать живую речь было, несомненно, очень трудно, Семевскому приходилось только набрасывать отдельные фразы или отдельные слова, чаще всего в сокращенном написании, и только несколько рассказов (первой беседы) он воспроизвел потом в цельном виде, аккуратно переписав: запись об Оржицком, о Павле Бестужеве, Загорецком, Юшневском, Борисовых (А р х. Б е с т., № 5569, лл. 127—131, 135—142). Бóльшая же часть записей весьма неразборчива, и во многих случаях расшифровка их очень затруднительна. По преимуществу эти записи дополняют «Записки» М. Б., сообщая характерные, яркие отдельные штрихи; в некоторых случаях они не дают ничего нового по сравнению с основным текстом, но интересны как первые (устные) редакции позднейшей записи (таков рассказ об «Азбуке», некоторые подробности о 14-м декабря) или же как подтверждения прежних ответов. Рассказы Е. А. Бестужевой — в той же тетради (лл. 193—199).

387 (2). Сохранилось еще два описания наружности М. А. Бестужева, также относящиеся к последним годам его жизни. Одно принадлежит кяхтинскому знакомому Бестужева, П. И. Першину-Караксарскому, познакомившемуся с ним в 1859 г. «Было ему тогда уже за шестьдесят лет (неверно: М. Бестужеву тогда было 59 лет, — *Ред.*), среднего роста, с полуседой головой на сухой жилистой шее, с выдающимся кадыком, бритыми баками и подбородком, с нависшими на губы усами, с толстыми бровями, из-под которых весело смотрели живые, серые глаза, всегда воодушевленные мыслью, лицо сухое, кожа чистая, на лбу и висках с фиолетовыми жилками, сбегающими по щекам, нос небольшим горбом. Движения живые и энергичные. Черный сюртук точно висит на его худощавых плечах, белый жилет, серые широкие брюки и белый большой ворот рубашки, падающий на плечи, — весь его наряд» («Ист. вестн.», 1908, XI, стр. 539). Другое описание наружности М. Бестужева — в воспоминаниях М. Давыдовой, встречавшей его во время своего детства Оно очень коротко: «М. А. был мужчина высокого роста, довольно красивый, с правильными чертами лица, большими карими глазами, седые волосы он зачесывал на косой пробор» (Т а й н ы е О б щ е с т в а, стр. 176). В Москве М. А. Бестужева видел Писемский, на которого престарелый декабрист произвел большое впечатление. В письме к художнику М. О. Микешину он сообщает, что, создавая образ Бегушева

(«Мещане»), он имел в виду в его внешнем облике сочетать черты Герцена и М. Бестужева (А. Ф. Писемский, Письма. Подготовка текста и комментарии М. К. Клемана и А. П. Могилянского, М.—Л., 1936, стр. 342—343). Речь идет только о внешнем сходстве, — самый же образ героя романа — Бегушева никак не связан с Бестужевым.

388 (1). Упоминание о Люблинском передано Семевским явно неточно. Люблинский, поляк по происхождению, принадлежал не к ссыльным полякам-повстанцам, но к деятелям Общества Соединенных Славян, основателем которого он был вместе с бр. Борисовыми. По рассказу Горбачевского, Люблинский был арестован в Варшаве за участие в польском тайном обществе и в цепях привезен в г. Новоград Волынский, где стояла бригада, в которой служили бр. Борисовы, — в это время и произошло их знакомство (Горбачевский, стр. 369). В какой мере этот рассказ справедлив, пока не установлено: в делах Следственной Комиссии нет никаких указаний на первый арест Люблинского; сам он в опросных пунктах сообщал: «под судом и в штрафах никогда не был» (Восст. дек., V, стр. 414). Люблинским были выполнены переводы основных документов Общества на польский и французский языки. В Петровском Заводе не был, так как окончил срок каторжных работ еще во время пребывания в Чите. Жил на поселении сначала в Тунке, где и женился на местной крестьянке, а потом в одной из пригородных деревень Иркутска. Под фамилией Жилинского выведен в известном романе Омулевского «Шаг за шагом». После амнистии вернулся в Россию. См. нашу заметку «Новые материалы о декабристах» («Сиб. огни», 1939, № 4, стр. 167—168). Его «Записки» до нас не дошли, хотя они были в руках у Герцена. О Люблинском — см.: М. В. Нечкина. Общество Соединенных Славян. М., 1925.

388 (2). Горбачевский принадлежал к числу наиболее интимных друзей М. Бестужева; эта дружба еще более окрепла, когда после окончания срока каторги Бестужев и Горбачевский оказались соседями по поселению. После амнистии он, так же как и М. Бестужев, отказался выехать в Европейскую Россию и остался в Петровском Заводе, где и умер в 1869 г. Мемуары Горбачевского принадлежат к важнейшим и лучшим историческим свидетельствам об Обществе Соединенных Славян и восстании черниговцев. При составлении своих ответов Семевскому М. Бестужев неоднократно консультировался с Горбачевским; письма его с заметками М. Бестужева опубликованы Б. Е. Сыроечковским в последнем издании «Записок» Горбачевского (1925).

389 (1). Выбор Селенгинска объяснялся желанием братьев Бестужевых поселиться вместе с Торсоном, здоровье и душевное состояние которого очень их тревожило. Сестры же предполагали хлопотать о поселении братьев в Западной Сибири, причем ими намечался г. Курган.

390 (1). Это ошибка: Рылеев не был членом Союза Благоденствия — возможно, что здесь ошибка Семевского: нужно — «Северное Общество».

391 (1). М. Бестужев упоминает здесь не о декабристе Тизенгаузене, а о Ф. Я. Тизенгаузене, приятеле Н. А. Бестужева, о котором упоминается в главе о друзьях (см. стр. 257).

392 (1). Пестов — единственный из декабристов, скончавшийся в Петровском Заводе; принадлежал к числу самых энтузиастических членов Общества Соединенных Славян. Как сказано о нем в «Алфавите декабристов», «дал клятву не щадить жизни для восстановления свободы», «был включен в число цареубийц», «угрожал смертью тому, кто подаст малейшее подозрение в отречении от Общества», и т. д. (В о с с т. д е к., VIII, стр. 148; V, стр. 338). На квартире у Пестова состоялась первая встреча «Славян» с С. Муравьевым и Бестужевым-Рюминым; Пестов же принимал участие в изготовлении списков извлечений из «Русской правды» Пестеля (Г о р б а ч е в с к и й, стр. 48, 50). М. Бестужев был очень дружен с Пестовым, который и умер у него на руках. Штейнгейль, говоря в письме к П. М. Бестужевой (матери декабристов) о своих дружеских чувствах к М. Бестужеву, писал: «... но и на краю света не перестану любить его, пока глаза в состоянии будут различать свет от тьмы, черное от белого. Этот перефраз сам собою лег под перо, п<отому> что представился мыслям Мишель, закрывающий глаза Пестову, когда тот перестал различать и белое и огонь от черного и тьмы. Мне бы хотелось, чтоб он и мне закрыл глаза. Он мастер ухаживать за больными, потому что ухаживает сердцем».

392 (2). Смерть А. Гр. Муравьевой как один из самых тяжелых и трагических моментов пребывания декабристов в Петровском Заводе вспоминают почти все мемуаристы; очень часты упоминания об этой смерти и в письмах.

Гроб для скончавшейся Муравьевой вытесал и сколотил Н. Бестужев «со всеми винтами, скобами и украшениями и даже отлил свинцовый ящик». Было предположение отправить его для погребения в родовое имение, но это было запрещено. В Петровском Заводе была выстроена гробница-часовня, с неугасимой лампадой, на поддержание огня в которой был выделен специальный капитал. За содержанием часовни и находящейся в ней лампадкой очень деятельно следил Горбачевский как остававшийся до конца своей жизни в Петровском Заводе. Дочь Муравьевых, Софья, о которой здесь говорит М. Бестужев, — часто упоминаемая в декабристских мемуарах и письмах «Нонушка», впоследствии замужем за М. И. Бибиковым, племянником С. и М. Муравьевых-Апостолов. С ней, между прочим, был хорошо знаком Л. Н. Толстой, которому она сообщила много сведений о декабристах. Два письма С. Н. Бибиковой к Е. Оболенскому были впервые опубликованы в статье С. Я. Гессена «Студенческая демонстрация в Москве в 1861 г.» («Кат. и Ссылка», 1930, V, стр. 104—108); в «Ист.

вестн.» 1916, XI опубликованы воспоминания ее внучки, А. Бибиковой.

392 (3). Не совсем понятно, кем сказаны и к кому относятся слова: «Тебя и умный не поймет»; вероятнее всего, — что к генералу Башуцкому, который по обязанности петербургского коменданта принимал арестованных, привозимых на главную гауптвахту. Некоторые мемуаристы отмечают его растерянность и суетливость и некоторую беспомощность. Таким он зарисован, например, в воспоминаниях С. В. Скалон, которая рассказывает об этом со слов ее брата, арестованного в Киеве и вместе с другими «южанами» привезенного на главную гауптвахту (С. Капнист-Скалон. Воспоминания. Восп. и расск., 1, стр. 370). Эту фразу приводит М. Бестужев и в следующей беседе.

393 (1). О рукописной газете «Стрекоза», издававшейся в Кяхте в 30-е годы доктором Орловым, сохранился ряд упоминаний в письмах и мемуарах, относящихся к этому времени (более подробно см. наши «Очерки литературы и культуры Сибири», Иркутск, 1947, стр. 108—110). Неоконченная в записи Семевского фраза «Я с петровскими...» позволяет предполагать, что М. Бестужев также принимал в ней участие. Еще в 80-е годы политический ссыльный-народоволец И. И. Попов имел возможность видеть некоторые номера «Стрекозы». В одном из выпусков этой газеты сообщалось, что Н. А. Бестужев вместе со своим учеником бурятом Цимбиловым сделал подзорную трубу. Таким образом, газета Орлова служила как бы связью между находящимися еще в тюрьме декабристами и сибирским обществом. Сам Орлов был, видимо, довольно культурным и начитанным человеком. Среди бумаг бестужевского архива (ИРЛИ) хранится его позднее письмо к Елене Ал. Бестужевой, где он пишет, обращаясь к ней «Душой божусь, что полюбил Вас, как умную книгу, как любимцев моих — Наполеона, Байрона и Марлинского» (Арх. Бест., № 5585, лл. 82—85). С Орловым был близок и В. Кюхельбекер; посвятивший ему послание в стихах, где он называет его «философом и поэтом» (В. Кюхельбекер. Лирика и поэмы. Под ред. Ю. Н. Тынянова, Б-ка поэта, т. I, стр. 196).

394 (1). Сухинов — член Общества Соединенных Славян, в «Алфавите декабристов» назван «ревностнейшим участником преступных замыслов и всех злодейских действий Сергея Муравьева-Апостола». Революционная энергия не остыла у Сухинова и после подавления восстания и суда. Приговоренный к вечной каторге, он пытался поднять восстание в Зерентуе, чтобы затем освободить всех декабристов, находящихся в Чите и Благодатске, а затем бежать по Амуру. Вследствие предательства заговор был раскрыт, Сухинов приговорен к смертной казни, — опасаясь наказания плетьми, он покончил в тюрьме самоубийством. С ним вместе привлекались к следствию о побеге и другие декабристы,

находившиеся в Зерентуе: Соловьев и Мозгалевский, но были оправданы. О заговоре Сухинова см. ст. М. В. Нечкиной «Заговор в Зерентуйском руднике» («Кр. арх.», 1925, т. XIII), брошюру С. Гессена «Заговор декабриста Сухинова» (М., 1930), комментарий к записке декабриста В. Соловьева о Сухинине (В о с п. и р а с с к., II, стр. 47—51) и В о с с т. д е к., VI.

Подробности Зерентуйского заговора во многом еще остаются неясными. В частности, неясен вопрос о сношениях Сухинова с остальными декабристами. Некоторые косвенные упоминания дают право предполагать, что какие-то предварительные переговоры существовали. Упоминание М. Бестужева о какой-то услуге, оказанной Лепарскому Соловьевым и Мозгалевским, очень знаменательно: оно свидетельствует о какой-то очень важной для Лепарского осторожности в их показаниях.

395 (1). В данном абзаце речь идет о Дм. Завалишине и о его попытке установить связь с Александром I. Завалишин является одной из самых сложных фигур декабристского движения, вызывавшей и вызывающей до сих пор самые разноречивые суждения и оценки. Это был весьма незаурядный деятель, прекрасно образованный, с большим общественным темпераментом, — вместе с тем человек крайне тщеславный, с болезненно развитым самомнением и наличием в характере несомненных черт авантюризма. Находясь в кругосветном плавании, осенью 1822 г. он отправил из Лондона письмо Александру I с сообщением о какой-то, «ему только известной», тайне. В 1824 г. он получил аудиенцию у Александра и представил ему проект создания Вселенского Ордена Восстановления. По показаниям на следствии, этот «Орден» представлялся ему своеобразной общественной организацией для пропаганды реакционных идей Священного Союза. В «Записках» же он изображает дело иначе, представляя «Орден» своего рода революционной организацией, с которой он хотел слить Тайное Общество. В личное свидание с царем Завалишин представил ему ряд проектов, касающихся Российско-американской компании, заинтересовавших Мордвинова, но отвергнутых Аракчеевым и министром иностранных дел Нессельроде. Усиленно интересуясь Российско-американской компанией он познакомился с Рылеевым; последний хотел привлечь его в Тайное Общество, но потом многое в рассказах и поведении Завалишина показалось ему и его ближайшим друзьям подозрительным, — и он от этого намерения отказался. Сам же Завалишин в «Записках» рассказывает, что не вошел в Общество, не желая быть в нем послушным орудием Думы во главе с Рылеевым. Роль и позиция Завалишина в этих переговорах представляются совершенно невыясненными. После первого ареста Завалишину удалось оправдаться; он был освобожден и назначен вместо Н. А. Бестужева историографом флота и директором Морского музея, о чем и упоминает М. Бестужев, —

но вскоре, главным образом вследствие показаний Дивова, был арестован вторично и осужден по первому разряду. На каторге начался процесс резкого поправения Завалишина и уход его в реакционную мистику, что М. Бестужевым в данной беседе и выражено словами: «в Петровском начал ханжить». Его взаимоотношения с товарищами на каторге и позже на поселении были также неровными, что и нашло отражение в его «Записках», иногда переходящих в прямое «разоблачение» своих соузников и непрестанное, порой совершенно безудержное, самовосхваление.

Однако совершенно вычеркивать из числа исторических свидетельств о деле 14 декабря и истории пребывания декабристов в Сибири его мемуары, как это иногда делается, — неправильно. Завалишин редко выдумывает факты или сознательно лжет; но в силу указанных свойств своего характера он чрезвычайно гиперболизирует свое собственное значение и чрезвычайно сгущает краски, рассказывая о том, что ему почему-либо неприятно. По окончании каторги Завалишин был поселен в Чите, где он остался и после амнистии. Его общественная деятельность в Сибири, безусловно, имела огромное значение; он принимал участие в административных мероприятиях по устройству края, разработал ряд проектов по различным отраслям хозяйства и управления, многие из которых были приняты в соображение краевой властью. Муравьев-Амурский первоначально очень благоволил к нему, но позже произошел резкий разрыв. Завалишин же выступил в печати с резкими статьями против генерал-губернатора и его амурской политики. Статьи эти произвели огромное впечатление, вызвав длительную журнальную полемику; с поддержкой Завалишина выступил «Современник» — в лице Добролюбова, который, не отрицая великого государственного значения занятия Амура, предостерегал против административных восторгов и преувеличений. В результате Завалишин — впервые в истории Сибири — был выслан (в 1863 г.) *из Сибири* в Европейскую Россию.

Отношение Бестужевых к Завалишину было крайне неровно, что отчетливо отражено и в их переписке и в отзывах М. Бестужева о нем в письмах к Семевскому. Признавая большой общественный темперамент Завалишина и его значение в сибирской жизни, они не могли не отмечать также многих отрицательных сторон его характера. «Дм. Ир. Завалишина надобно узнать ближе, чтоб он перестал нравиться», — писал Н. Бестужев И. Пущину. — «Впрочем, несмотря на его *я*, сказывают, будто он делает много и доброго». В середине 60-х годов, в связи с окончательным поправением Завалишина и его недостойным отношением к памяти товарищей, отношение М. Бестужева к нему стало резко отрицательным, чему примером служат письма к Семевскому 1869 г. Стихи Завалишина, о которых упоминает М. Бестужев, воспроизведены в Следственном деле Завалишина (В о с с т. д е к., III, стр. 383).

396 ([1]). Записанный отрывочно Семевским рассказ М. Бестужева об азбуке является основой, на которой возник несколько позже печатный текст. В данном отрывке не содержится каких-либо новых фактов, но он интересен как первоначальная и более непосредственная редакция данного эпизода.

398 ([1]). Отношение Кушелева к восстанию передано М. Бестужевым не вполне точно: он отказался принять в нем участие, и рота его на площадь не выходила, тем более, что бóльшая часть ее находилась в тот день в карауле.

399 ([1]). М. Бестужев неправильно называет ссыльно-поселенца, служившего у Лунина, Трофимом или Ефимом. Его звали Федотом Васильевичем Шаблиным, как это устанавливается из показаний его, сохранившихся в следственном деле (Ирк. губ. арх. бюро, к. 30, № 6). Он принадлежал к крепостным помещицы Марии Татищевой и «пришел в Сибирь на поселение в зачет рекрута в 1819 году». Лунин так писал о нем: «Бедному Василичу 70 лет, но он силен, весел, исполнен рвения и деятельности. Судьба его так же бурна, как и моя, только другим образом. Началось тем, что его отдали в приданое, потом заложили в ломбард и в банк. После выкупа из этих заведений он был проигран в бильбокет, променен на борзую и, наконец, продан с молотка со скотом и разной утварью на ярмарке в Нижнем. Последний барин в минуту худшего расположения без суда и справок сослал его в Сибирь... Между собою мы совершенно ладим, несмотря на некоторое различие в наших привычках и наклонностях...» (Л у н и н, стр. 41).

О Василиче он продолжал заботиться и из Акатуя (см. письма, опубликованные С. Я. Гессеном и М. С. Коганом: «Декабрист Лунин и его время», стр. 279). Во время ареста и следствия над Луниным в Иркутске Василич был подвергнут допросу. Замечательны его показания — осторожные, сдержанные, уклончивые, особенно по вопросу о посетителях Лунина. На вопрос о вознаграждении, которое он получал от Лунина, показал, что получал только содержание и на платье, так как Лунин «часто говорил и уверял его, что за услуги его и семейства его он откажет ‹т. е. завещает› ему все, что после него останется, и по этой уверенности он никакой платы за услуги ему от него никогда не требовал, да и считал уже это неприличным».

«Ружья совсем не для Успенского», — очевидно, Успенский хотел завладеть великолепными ружьями Лунина.

Успенский Н. П. — чиновник особых поручений при ген.-губ. Руперте; его донос и послужил непосредственным поводом для ареста Лунина. До этого эпизода он тщательно втирался в доверие к декабристам. Так, например, он совсем очаровал В. Кюхельбекера, который записал после его отъезда (в 1839 г.) в дневнике: «Я в его обще-

стве провел несколько очень приятных небаргузинских часов» (Кюхельбекер, стр. 247).

400 (1). После 14 декабря главой семьи стала Е. А. Бестужева. Семевский писал о ней: «Трудно представить себе более благородную, самоотверженную жизнь, какую провела эта замечательная девушка. С ранних лет поддержка слабой матери, воспитательница и руководительница в жизни младших сестер, Елена Бестужева в 1825 году разом теряет пять братьев. Отныне она делается каким-то гением спасителем в своей разбитой семье: она поддерживает окончательно убитую горем мать, навещает — среди множества препятствий — узников-братьев, из последних средств шлет им постоянно все необходимое в Сибирь и на Кавказ, хлопочет за них, исполняет массу поручений; делается редакторшей, издательницей, комиссионершей брата Александра; вымаливает брату Петру прощение; мужественно выносит страдания при виде сумасшедшего брата, помещает его в дом умалишенных, куда с трудом принимают его, опасаясь его политической неблагонадежности, наконец, схоронив постепенно трех братьев и мать, продает свой скарб и с двумя сестрами едет в Сибирь оживить своим участием оставшихся двух братьев» («Рус. вестн.», 1870, VI, стр. 513). Александр Бестужев называл ее «образцом сестер»: «Отрадно быть братом этой души высокой» (там же). Мать Бестужевых умерла в 1846 г. Сестры — Елена и две сестры-близнецы, Ольга и Мария, — приехали в Селенгинск в 1847 г.; в 1858 г. вернулись в Европейскую Россию и жили в Москве.

В Иркутском архивном бюро хранится дело (св. 33, № 177) «о подчинении девиц Елены, Марии и Ольги Бестужевых, которым дозволено прибыть в Сибирь для совместного жительства с братьями, ограничениям, какие существуют для жен государственных преступников».

406 (1). По показанию Каховского, Петр Бестужев отвел руку В. Кюхельбекера, когда последний целился в в. кн. Михаила Павловича, что подтвердил и сам Петр Бестужев (Ц Г И А, ф. 48, д. № 366, л. 23).

409 (1). Портрет А. Бестужева был приложен к вышедшему в 1839 г. первому тому альманаха Смирдина «Сто русских литераторов». Дал разрешение на помещение портрета помощник Бенкендорфа — А. Н. Мордвинов, который и был за это уволен; портрет же был вырезан из книги.

По рассказу эмигранта И. Головина, альманах показал Николаю в. кн. Михаил Павлович, которому принадлежит и приводимая Е. А. Бестужевой реплика, сказанная им в виде дурного французского каламбура: «Ceux qui ont merité d'être pendus vont être suspendus», т. е. «те, которые заслужили виселиц, ныне заслужили чести вывесить свои портреты» (Б. Колюбакин. Император Николай I по характеристике современника его, эмигранта-публициста, И. Головина. «Рус. стар.», 1917, X—XII, стр. 3).

Память об этом инциденте долго сохранялась в Ценз. комитете. Уже после амнистии, в 1859 г., Кс. Полевой в своем журнале «Живописная русская библиотека» предполагал напечатать письма А. Бестужева и приложить его портрет. Цензурный комитет не дал разрешения на помещение портрета, причем в возникшей по этому поводу переписке было указано, что еще в 1839 г. «государь император, усмотрев в изд. „Сто русских литераторов“ помещенный портрет Бестужева, крайне сему удивился и недоумевал, каким образом сие могло быть допущено» (ЛО ЦГИА, Дело Ценз. Ком., ф. 772, оп. 7, № 152312, л. 5).

414 (1). Стихотворения, сообщенные Семевскому Е. Бестужевой, известны в других редакциях и с другими авторскими приурочениями, но в ее сообщении чрезвычайно ценно указание, что все эти стихотворения входили в репертуар декабристских песен. Это обстоятельство ни разу не было отмечено в литературе

Первое стихотворение (перевод из Дидро) в течение долгого времени приписывалось Пушкину; два последних стиха известны в другой редакции: «Кишкой последнего попа последнего царя удавим». Приурочение этого четверостишия к имени Баратынского крайне сомнительно; столь же сомнительно и приписывание второго из сообщенных Бестужевой стихотворений Дельвигу. Автором его считается художник А. В. Уткин, арестованный в 1834 г. по делу Герцена — Огарева и умерший в Шлиссельбургской крепости (о нем см.: Герцен, XII, стр. 235, 323—325, 334—335). Но упоминание в данной связи имен Баратынского и Дельвига очень характерно, так как служит свидетельством отношения к ним декабристской среды. Кроме этих двух стихотворений Семевским записана еще со слов Е. Бестужевой эпиграмма Пушкина на Аракчеева («Всей России притеснитель»), приписанная последней Рылееву.

417 (1). Рассказ Ел. Бестужевой о брате Петре сначала был записан конспективно, а затем Семевский воспроизвел его уже в полном виде, придав ему литературную форму и включив в текст упомянутой выше биографии Н. Бестужева.

В ЦГИА сохранилось «дело о государственном преступнике Петре Бестужеве» (ф. 109, 1-я эксп., оп. № 2, д. 161 — из архива III Отделения), содержащее переписку об увольнении Петра Бестужева в отставку, об учреждении за ним надзора, помещении в больницу для умалишенных и о последующей смерти его. «Дело» открывается следующим документом: «Секретно. Мая 12, 1832 г. Главный штаб е. и. в. по канцелярии дежурного генерала в С.-Петербурге, 9 мая 1832 г. № 325. Господину Генерал-Адъютанту и Кавалеру Бенкендорфу.

«Государь император, снисходя на просьбу вдовы статского советника Прасковьи Бестужевой, всемилостивейше соизволил на увольне-

ние от службы сына ее, разжалованного из мичманов за принадлежность к злоумышленному обществу и участие в происшествии 14 декабря 1825 года, унтер-офицера Куринского пехотного полка Петра Бестужева, во уважение полученной им раны в Персидскую войну, расстроенного здоровья и в надежде, что он восчувствует таковое к нему снисхождение и оправдает оное безукоризненным поведением. Между тем е. в. повелел, чтобы унтер-офицера Бестужева отдать матери его на попечение и ручательство ее, воспретить ему въезд в столицы и учредить за ним присмотр. Сделав надлежащее распоряжение к исполнению высочайшей воли сей, имею честь уведомить об оной и ваше высокопревосходительство, присовокупил, что Бестужев будет иметь жительство у матери своей в Новоладожском уезде». Подп.: Военный министр граф Чернышев.

421 (1). Настоящее письмо является одним из двух сохранившихся писем М. Бестужева додекабрьской поры: хранится в ИРЛИ (Арх. Бест., № 5582, лл. 14—16); другое, относящееся к более раннему времени, представляет меньший интерес. Письмо не датировано, однако год легко устанавливается на основании упоминаемых различных фактов: путешествие Н. Бестужева в Гибралтар, поездка в. кн. Николая в Росток, и т. д. Данное письмо служит важным дополнением и иллюстрацией к рассказам М. Бестужева о его совместной работе с Торсоном

424 (1). Этим письмом открывается переписка М. А. Бестужева с М. И. Семевским, продолжавшаяся с некоторыми перерывами почти десять лет. Ответных писем М. Семевского не сохранилось. Письма №№ 1—5 находятся в рукоп. хранилище ИРЛИ (Арх. Бест., № 5582, лл. 126—134), остальные в собрании автографов ГПБ, К. 2. лл. 1—50; письмо № 13 было опубликовано в журн. «Каторга и Ссылка», 1927, № 4.

424 (2). Статья в «Отечественных Записках», о которой упоминает М. Бестужев, — первая публикация Семевского, посвященная Александру Бестужеву: А. А. Бестужев (Марлинский). 1797—1837 («Отеч. зап.», 1860, т. 130, май—июнь; т. 131, июль).

428 (1). В ИРЛИ хранится несколько переплетов писем братьев Бестужевых к родным и друзьям. Один из них, как это явствует из пометки Семевского, находился в руках Л. Н. Толстого.

428 (2) Тетради с записями о Южном Обществе — одна из первых редакций «Записок» Горбачевского.

429 (1) М. Бестужев спутал фамилию Семевского с Семивским, бывшим вице-губернатором Иркутской губернии, мнимым автором книги «Новейшие повествования о Восточной Сибири» (СПб., 1817); в действительности автором этой книги является иркутский землемер, краевед А. И. Лосев. Семивскому же принадлежит только предисловие, однако книга вышла в свет под его именем.

430 ([1]) Все упоминаемые в этом письме планы и рисунки сохранились и находятся в ИРЛИ (А р х. Б е с т., № 5581); частично воспроизведены в настоящем издании.

431 ([1]). М. Бестужев имеет в виду отправленную Семевскому новую серию ответов.

432 ([1]). Довольно значительная часть рукописей Н. Бестужева сохранилась и находится в рукописном хранилище ИРЛИ, но далеко не все, что упоминается в данном письме М. Бестужева; в частности, нет рукописи труда о хронометрах и о магнетизме.

433 ([1]). Л. И. Степовая — см. примеч. к стр. 285.

433 ([2]). При заселении Амурского края, которое первоначально имело принудительный характер, туда было направлено большое количество солдат из штрафных батальонов. У местного населения они именовались иронически «сынками». Эта мера была впоследствии признана по многим причинам неудачной и принесшей во многих случаях неблагоприятные результаты. О них и упоминает в своем письме М. Бестужев.

434 ([1]). Статья «Детство и юность Марлинского», напечатанная в 12-й книжке журнала «Русское слово» за 1860 г.

434 ([2]). В «Русском Слове» (1859, № 2) была напечатана статья М. Семевского «Елизавета Петровна до восшествия на престол». М. Бестужев вообще очень преувеличивал значение исторических исследований Семевского.

435 ([1]). Известный этнограф-путешественник С. В. Максимов, участник «Литературной экспедиции», в начале 1860-х годов совершил поездку по Амуру, во время которой познакомился и с проживавшими в Забайкалье декабристами. Результатом этой поездки явились его книги: «На Востоке. Поездка на Амур» и «Сибирь и каторга»; в последней книге он писал и о декабристах. См. примеч. к стр. 471.

436 ([1]). Семевский сообщил М. Бестужеву о своем ходатайстве перед Комитетом литературного фонда о пособии для возвращения его на родину. По представлению Семевского, Литфонд постановил выдать М. Бестужеву пособие в 1000 рублей.

437 ([1]). М. Бестужев ошибочно назвал имя Купера, — рассказ, о котором упоминает М. Бестужев, принадлежит другому американскому писателю — Вашингтону Ирвингу; перевод его на русский язык был сделан Н. Бестужевым («Сын отеч.», ч. 104, 1825, № XXII). Новейший перевод этого рассказа — в издании: В. И р в и н г. Новеллы. Пер. с англ. А. С. Бобовича. М.—Л., 1947.

438 ([1]). Все дети М. Бестужева умерли в раннем возрасте. Сын Николай — еще в Селенгинске (см. письмо № 17); дочь Елена — в Москве, где она жила у теток и училась в одном из учебных заведений. Двое

младших — сын и дочь — скончались также в раннем возрасте, — уже после смерти М. Бестужева.

439 (1). Письма Штейнгейля о встрече с Семевским не сохранились.

439 (2). О пособии Литературного фонда см. предыд. письмо. В письме на имя председателя Фонда, Е. П. Ковалевского, М. Бестужев писал: «Примите на себя труд передать всем гг. членам Вашего благородного Общества чувства моей благодарности за это пособие, которое я принимаю как лестный знак признания литературных достоинств в двух моих покойных братьях образованнейшею частью молодого поколения и вместе с сим как изъявление горячего сочувствия к положению моего семейства в Сибири» (Рук. отд. ГПБ, Л. ф., т. 9, л. 175).

444 (1). Статья Семевского о Николае Бестужеве, написанная им для «Отеч. зап.», но не пропущенная цензурой. См. примеч. к стр. 224.

445 (1). М. Бестужев имеет в виду студенческие волнения 1861 г., начавшиеся в Петербурге, а затем охватившие почти все университетские города. Брат Семевского, о котором упоминает М. Бестужев, — Александр Иванович Семевский.

446 (1). Об отвращении к переписке, проходящей через руки чиновников, писал также и Горбачевский: «Клянусь тебе всем для меня священным, что мне отвратительно писать через руки правительства письма, где бы я хотел говорить с тобою со всею откровенностью растерзанной души... Скажи пожалуйста, что я могу писать к тебе, когда наши письма везде читаются. Меня это приводит в бешенство и отчаяние» (Горбачевский, стр. 325).

450 (1). О коллекции портретов, рисованных Н. Бестужевым, см. примеч. к стр. 286.

450 (2). Три сибирские газеты: «Амур» (в Иркутске: 1860—1862), «Кяхтинский листок» (выходил в 1862 г. в течение нескольких месяцев); о какой читинской газете пишет М. Бестужев — не ясно, так как первая газета в Чите вышла лишь в 1865 г. («Забайкальские областные ведомости»); но, как установлено местным исследователем, Е. Д. Петряевым, в начале 1860-х годов группа лиц, к которой принадлежал Завалишин, делала попытку создать газету («Забайкальский Листок»); вероятно от его инициаторов и было сделано предложение М. Бестужеву о сотрудничестве.

В организации «Кяхтинского листка» М. Бестужев принимал довольно деятельное участие и даже поместил в нем статью в виде письма к сестре Елене («Кяхт. листок», 1862, № 6, от 7 февр.; перепеч. в «Сиб. сборнике» (1897, III). О роли М. Бестужева в создании кяхтинской газеты см. Воспоминания П. Першина-Караксарского «Ист. вестн.», 1908, XI) и И. Попова («Минувшее и пережитое», т. II, 1924).

453 (1). М. Бестужев лично не знал Михайлова, но проявлял большой интерес к его судьбе: декабристы очень интересовались новым поколением русских политических ссыльных и считали своим прямым долгом оказывать им помощь и покровительство. Пущин писал Батенкову: «Прекрасно сделали, что приютили Толя ‹петрашевца›. По правде — это наше дело — мы, старожилы сибирские, должны новых конскриптов сколько-нибудь опекать, беда только в том, что не всех выдают» (Письма Батенкова, стр. 245). Связи декабристов с последующими поколениями политических ссыльных очень мало изучены и даже еще не выяснены: более или менее выяснены лишь их связи со ссыльными поляками-повстанцами и с петрашевцами, в частности — с Достоевским, в котором горячее участие приняли Н. Фонвизина и П. Анненкова; см.: Письма Достоевского к брату и к Фонвизиной (Достоевский, Письма, под ред. А. С. Долинина, т. I, М.—Л., 1926, стр. 135, 141—144); см. также его статью «Старые люди» (Полн. собр. соч., т. XI, М.—Л., 1929, стр. 10—11); Толь близко сошелся с Батенковым и М. Муравьевым-Апостолом; Петрашевский и Львов были близки с В. Ф. Раевским и Завалишиным; в Петровском заводе Горбачевский был дружен с В. А. Обручевым; И. И. Пущин послал свое благословение отправляющемуся в Сибирь М. Бакунину и снабдил его советами и рекомендательными письмами (М. Бакунин, Собр. соч. и писем, т. IV, М., 1935, стр. 329). Огромную заботу и внимание оказывали декабристы Михайлову: в Чите его посетил Завалишин (М. И. Михайлов. Записки. П., 1922, стр. 150—152), он же встретил арестованную в Кадае Л. П. Шелгунову, когда ее привезли в Читу (Л. Шелгунова. Из далекого прошлого. СПб., 1901, стр. 120). О Бакунине — см. след. примечание.

454 (1). Отношение к Герцену очень характерно для уяснения общественных позиций декабристов в 1850—1860 гг. Весьма положительно относились к деятельности Герцена, признавая его огромное общественно-политическое значение, Якушкин, М. Бестужев, Поджио, Цебриков. Отрицательно — Оболенский, Свистунов, Штейнгейль. Сообщение С. М. Волконского (внука декабриста) об отзыве С. Г. Волконского о Герцене (С. Волконский. О декабристах. П., 1922, стр. 120) едва ли достоверно. О живом и сочувственном интересе М. Бестужева к Герцену свидетельствует также П. И. Першин-Караксарский. Сообщение И. Попова о письмах М. Бестужева к Герцену весьма сомнительно.

Упоминание о недостоверных сведениях, посылаемых Герцену, имеет в виду корреспонденцию Бакунина о иркутской дуэли между любимцем Муравьева-Амурского Беклемишевым и Неклюдовым, результатом которой была смерть последнего. Эта дуэль рассматривалась как замаскиро-

ванное убийство и вызвала протест в прогрессивных кругах иркутского общества, к которому примкнули в этом вопросе и все недовольные пристрастием Муравьева к его любимцам из привилегированных учебных заведений, которых он очень резко противопоставлял местной интеллигенции. Партию протеста возглавил Петрашевский, который и поплатился за это высылкой из Иркутска в селение Шушенское. Из круга Петрашевского вышла и корреспонденция об этой дуэли, напечатанная Герценом. Однако противоположной партией было составлено опровержение, в составлении которого принял участие Бакунин и которое благодаря ему и появилось в том же «Колоколе». Этот эпизод очень подробно освещен в «Воспоминаниях» доктора Н. А. Белоголового (4-е изд., 1901 : очерк «Три встречи с Герценом»). Эта роль Бакунина в истории дуэли и разрыв его с иркутскими прогрессивными кругами обусловили и отношение к нему М. Бестужева.

456 (1). «Русское слово» было приостановлено на 8 месяцев не за какую-нибудь отдельную статью, а за общее направление журнала. Это запрещение было одним из первых мероприятий принятого правительством реакционного курса. Одновременно такая же кара постигла и «Современник». Статья «Научились ли мы» принадлежит Чернышевскому и была опубликована не в «Русском слове», как пишет М. Бестужев, а в «Современнике» (1862, № 4).

457 (1). В конце июня 1862 г. в 3-м Отделении был составлен на основании агентурных сообщений и доносов сводный список лиц, находящихся на подозрении, в который вошло 50 человек. Открывался этот список именем Чернышевского, а под № 16 помечен Семевский — литератор «предосудительного образа мыслей». Полностью список опубликован М. Лемке в комментариях к XV т. сочинений Герцена (стр. 391—393).

460 (1). В. Иванович — несомненно, Владимир Иванович Штейнгейль, скончавшийся в сентябре 1862 г.

461 (1). В тексте у М. Бестужева явная описка: «с цензурой» — однако из последующей фразы видно, что речь идет не о цензуре, а о литературе, стесненной новыми цензурными правилами.

462 (1). Последнее издание сочинений Марлинского вышло в 1847 г.; все попытки Е. А. Бестужевой выпустить новое издание были безуспешны. Она предприняла издание на свой страх и риск в 1865 г., причем материальную помощь оказал ей С. Г. Волконский (см. письмо Е. А. Бестужевой к сыну декабриста — М. С. Волконскому, опубликованное С. Я. Штрайхом: «Рус. прошлое», 1923, № 5, стр. 149—150). Но в свет вышел только один выпуск, содержащий всего три рассказа А. Марлинского. Новые издания отдельных рассказов Марлинского стали появляться лишь с 1890-х годов; в 1908 г. А. А. Каспари издал полное собрание сочи-

нений Марлинского в двух томах. Издание это — крайне неудовлетворительно.

464 ([1]). В 1869 г. публикация писем А. Бестужева не осуществилась; но в следующем году Семевский опубликовал их в трех книжках «Рус. вестника» (1870, №№ V—VII).

465 ([1]). Это письмо от 12 мая 1825 г. Семевским не было напечатано; опубликовано по автографу, хранящемуся в Читинском музее, М. Азадовским в сб. «Декабристы в Забайкалье» (Чита, 1925, стр. 96—97) и Н. В. Измайловым — по копии из Архива Бестужевых (в сб. «Памяти декабристов», т. I, стр. 50—51).

465 ([2]). Это сообщение М. Бестужева едва ли точно. Завалишин приписывал себе честь привоза и распространения комедии Грибоедова в Москве, — но он относит это к ноябрю 1825 г. Поездка же А. Бестужева в Москву состоялась весной того же года. Но есть основания предполагать, что уже в начале 1825 г. в Москве были списки с комедии Грибоедова (Нечкина, стр. 409).

466 ([1]). Письма Н. Бестужева брату Александру с критическими замечаниями о его творчестве напечатаны в сб. «Бунт декабристов» (стр. 365—368). Некоторые замечания Николая Бестужева о излишествах слога, о его вычурности, сознательной небрежности языка и пр. предвосхищают замечания Белинского.

466 ([2]). Заявление М. Бестужева о симпатии к литературной деятельности Каткова звучит довольно неожиданно на фоне остальных его писем 60-х годов. Несомненно, это было вызвано той стороной деятельности Каткова, которая вводила многих его современников в заблуждение, т. е. его внешне патриотическими заявлениями о чести и достоинстве России и т. п., реакционно-крепостническую сущность которых Мих. Бестужев не сумел осмыслить. Но, во всяком случае, это заявление характерно как свидетельство притупления политической остроты старого декабриста.

467 ([1]). Такой публикации в «Колоколе» не было, но в номере от 1 сент. 1862 г. была помещена написанная Герценом заметка под заглавием «Записки декабристов», в которой он извещал о намерении издателей опубликовать серию выпусков «Записки декабристов». В числе авторов были названы имена Якушкина, Трубецкого, Оболенского, Басаргина, Штейнгейля, Люблинского, Пущина, Н. Бестужева и др. (Герцен, т. XV, стр. 462—463); а в том же 1862 г. в «Пол. звезде» появились отрывки из записок самого М. А. Бестужева.

468 ([1]). Этот полусгоревший экземпляр был передан М. Бестужевым Семевскому и ныне находится в Рукоп. собрании ИРЛИ (Арх. т., № 5577).

469 (1). Записки Розена были напечатаны первоначально на немецком языке без имени автора под заглавием «Aus den Memoiren eines russischen Dekabristen. Beiträge zur Geschichte des St. Petersburger Militäraufstandes vom 14 (26) Dec. 1825 u. seiner Theilnehmer». Lpz. Verl. v S. Hirzel. 1869. В следующем году вышло русское издание («Записки декабриста») — также без имени автора; книга была выпущена без предварительной цензуры и немедленно же была задержана. Однако Розен не хотел уступать и в том же году опубликовал русское издание в Лейпциге. Появление «Записок» Розена вызвало журнальную полемику между ним и Свистуновым.

470 (1). О «Записках В. П. Колесникова» — см. примеч. к стр. 151.

472 (1). Речь идет об опубликованной в 9-й и 10-й книжках «Отеч. записок» за 1869 г. статье С. В. Максимова «Государственные преступники», позже в измененном виде вошедшей в известную книгу того же автора «Сибирь и каторга» (первое издание — 1870 г.; последнее — в «Собр. соч. С. В. Максимова», изд. «Просвещение», тт. I—III). Статья С. В. Максимова имела большое общественное и историческое значение, хотя и изобиловала существенными ошибками; в ней впервые в русской печати была дана широкая картина жизни декабристов, условий тюремного быта и их культурной роли в Сибири. На последней теме автор остановился особенно подробно, столь же подробно и очень тепло охарактеризованы им жены декабристов и значение их для заключенных; стр. 623—629 посвящены описанию жизни в Селенгинске бр. Бестужевых. Источниками для Максимова послужили разнообразные устные рассказы сибиряков, напечатанные за границей воспоминания Якушкина и Оболенского, а также в то время еще не опубликованные, но известные ему в рукописи воспоминания Басаргина, Горбачевского, Штейнгейля и др. По всей вероятности, ему был предоставлен ряд материалов Е. И. Якушкиным и М. И. Семевским.

Весьма обильно воспользовался он и устными рассказами Завалишина, с которым познакомился в Чите и под непосредственным влиянием которого были освещены некоторые вопросы пребывания декабристов в Сибири. Отразилось в статье Максимова и присущее Завалишину самовосхваление и преувеличенное представление о своей роли в жизни казематского коллектива. В освещении Завалишина была изложена история артели и возникавшие в связи с последней трения. Все это вызвало недовольство со стороны оставшихся в живых декабристов, выражением которого явилась статья Свистунова («Рус. арх.», 1870, VIII—IX), вызвавшая ответную статью С. В. Максимова (там же, 1871), за которой последовал вновь ответ Свистунова («Рус. арх.», 1871); эта полемика перепечатана в сборнике В о с п. и р а с с к., II, стр. 256—312, со вступ. ст. и коммент. С. Я. Гессена. Увлеченный поле-

микой — через голову Максимова — с Завалишиным, Свистунов проглядел положительные стороны статьи Максимова и не оценил ее бесспорно важного общественного значения как первого исторического очерка о пребывании декабристов в Сибири. Взгляд М. А. Бестужева на эту статью, выраженный в данном письме, является поэтому существенным коррективом к оценке Свистунова.

472 ([2]). В этом письме М. Бестужев благодарит Семевского за исхлопотание ему пенсии от Литературного фонда. Материальное положение М. Бестужева в последние годы его жизни было очень тяжелым. В письме от 22 ноября 1869 г. к Семевскому, которое должно было послужить для последнего материалом для возбуждения ходатайства о пенсии, М. Бестужев писал: «Вы спрашиваете меня, многоуважаемый, добрейший Михаил Иванович, о моем житье-бытье в Белокаменной после нашего свидания в Петербурге? Плохо, да плохо в худшем значении этого слова. После сорокадневного пребывания в Северной Пальмире, моей родине, с которою я был разлучен сорокалетними страданиями в Сибири, все это время я, забыв свои недуги, был в каком-то экзальтированном состоянии деятельности; возвратясь в Москву, я снова сделался таким же домоседом, каким был до поездки к Вам. Я чувствую, я знаю, что деятельность и движение могут отвратить на время результаты моего недуга — жестокой простуды, подарившей меня одышкой и хроническим кашлем, приступами коего кровь так сильно приливает к голове, что я каждый раз ожидаю паралича. Но для чего я буду так заботливо сберегать свое здоровье, свою жизнь, которая не может принести никакой пользы ни для семейства ни для моих малюток. Тяжелое бремя сорокалетнего страдания утомило меня. Настоящее мрачно, и будущее еще мрачнее...

«Три старшие мои сестры, летами далеко за семьдесят, изможденные и душевными и телесными недугами, до того слабы, что достаточно дуновения ветра, чтоб свалить их в могилу. Старшая из них, Елена Александровна, даже год после моего приезда из Сибири была довольно бодра, но и ее душевные и телесные силы подломились с потерею главного источника нашего существования, бывш‹ей› следствием излишней доверенности к честности других. Это благородное доверие побудило ее вверить небольшой капитал, скопленный ею от изданий сочинений брата Александра, недобросовестному человеку, который оказался банкрутом. Сестрам осталась годовая пенсия в 500 рублей, назначенная императором Николаем Павловичем после 14 декабря. Но потеря капитала по излишней доверчивости до такой степени гибельно подействовала на слабый организм сестры Елены, что ее можно теперь скорее назвать тенью человека, нежели живым существом. Не сегодня—завтра мы найдем ее на креслах уснувшею вечным сном, а следом за нею отправятся в вечность и две другие сестры, которые ежели еще движутся, то, един-

ственно, цепляясь за ее жизнь. Если определение неумолимого рока так страшно разразится надо мною, я останусь в безысходной нужде. Все мои средства к жизни будут заключаться только в 114 р. 28 к., которые Правительство назначило мне для годового проживания в столице, где каждый шаг оплачивается такой дороговизной и где я, с двумя моими малютками, едва ли буду иметь возможность в теплом уголке с куском черного хлеба не умереть от холода и голода...».

Это письмо Семевский целиком включил в свою записку Литературному фонду, в которой он выражал надежду, что Комитет «даст средства семидесятилетнему старику дожить последние годы без тяжких и непосильных уже ему забот о куске хлеба». В заключение он писал: «Да поверят мне члены Комитета, что если такой человек, столь закаленный нуждою и тяжелыми испытаниями, каков М. А. Бестужев, решается обратиться с просьбою о помощи, то к этому вынуждает его действительная и безысходная нужда» (ГПБ, арх. Литфонда, т. 20, л. 604 и след.). Постановлением Комитета от 10 декабря 1869 г. М. Бестужеву была назначена пожизненная пенсия размером 300 рублей в год.

473 (1). Журнал «Русская старина», который Семевский начал издавать с 1870 г.

474 (1). Письма к А. Н. Баскакову хранятся в собрании автографов ГПБ, К. 2, лл. 67—72: всего шесть писем М. Бестужева к А. Н. Баскакову; остальные письма по большей части содержат разные бытовые поручения и т. п. и не представляют значительного интереса. А. Н. Баскаков — друг юности М. Бестужева, о котором он упоминает в своих воспоминаниях.

475 (1). Эта мысль М. Бестужева о непосредственном влиянии программы Тайного Общества на реформаторскую деятельность правительства неоднократно встречается в мемуарах и переписке декабристов. Ал. Муравьев писал: «Во время производства следствия государь услышал много истин, которые остались бы ему неизвестными. Страна обязана Тайному Обществу опубликованием „Свода" наших законов, солдат — уменьшением срока службы, бывшей 25 лет. Наказание шпицрутенами, практиковавшееся без всякой меры, ныне ограничено. Поэтому мы можем утешаться в нашей гибели тем, что выполнили свое назначение в этом мире скорби и испытаний. Мученики полезны для новых людей» (Восп. и расск., I, стр. 132); подробная сводка правительственных мероприятий, в которых можно было видеть реализацию программы Тайного Общества, сделана Никитой Муравьевым в его «Заметках о Тайном Обществе». В частности, он указывал на «преобразование армии по идеям Пестеля», на новый курс внешней политики, на вынужденные культурные мероприятия правительства, на «образование промышленных компаний» и пр. (Восп. и расск., I, стр. 135—137).

476 (¹). Мысль о необходимости с достоинством переносить свое положение неоднократно встречается в письмах братьев Бестужевых. В 1835 г. Ник. Бестужев писал брату Александру: «Положение нашего духа далеко от веселости: но не менее того справедливо, что и всякая печаль чужда нас. Мы думаем, что несчастие должно переносить с достоинством; что всякое выражение скорби — неприлично в нашем положении. Человек, который упал, смешон; еще смешнее, ежели он делает гримасы от ушиба» («Отеч. зап.», 1860, т. 131, стр. 91).

480 (¹). Настоящее письмо представляет собою отрывок из пространного письма М. Бестужева к Першину-Караксарскому, опубликованного в «Ист. вестнике», 1908, XI, стр. 546. Остальная часть письма посвящена личному столкновению М. Бестужева с кяхтинским губернатором А. И. Деспотом-Зеновичем и не представляет значительного интереса Письмо написано М. Бестужевым в ответ на поздравления, полученные им от устроителей обеда в честь 14 декабря. Такие обеды течение ряда лет устраивала передовая кяхтинская интеллигенция.

«Первым либералом, первым санкюлотом и первым студентом прав и юстиции» — называет М. Бестужев Иисуса Христа. Этот образ свидетельствует, что еще в начале 60-х годов религиозные убеждения М. Бестужева носили романтический оттенок и были окрашены резким демократизмом; позже, под конец его жизни, они приняли более конфессиональный характер.

481 (¹). Письма Петра Бестужева сохранились в незначительном количестве; в печати известно лишь два: письмо к Булгарину («Рус. стар.», 1901, № 2, стр. 402) и письмо к братьям, М. и Н. Бестужевым, в Петровский Завод (опубл. в изд. 1931 г. и воспроизводится в наст. изд.); все приводимые здесь письма публикуются по автографам (№ 9— ИРЛИ, Арх. Бест., № 5574, лл. 39—40 об.; остальные — № 5582, лл. 136—155). Помимо этих писем, в той же тетради находится еще несколько писем П. Бестужева 1829 г., но они почти без изменения воспроизводят страницы его «Памятных записок»; кроме того, сохранился ряд писем, написанных уже во время болезни.

483 (¹). Федор Васильевич — адмирал Ф. В. Моллер; Клара Карловна — его жена К. К. Моллер.

483 (²). Любовь Ивановна — Степовая.

491 (¹). См. письмо А. Бестужева (наст. изд., стр. 531).

498 (¹). Орфографическая сторона писем П. Бестужева, действительно, очень далека от совершенства, причем не только в отношении буквы «ять». Однако в этом отношении он не является исключением: письма и показания многих декабристов поражают своей безграмотностью (особенно А. И. Тютчева, ранние письма М. Кюхельбекера и др.).

498 (²). П. Бестужев имеет в виду здесь свой отзыв в «Памятных Записках» о Вишневском и Кожевникове. Вишневский, мичман гвардейского экипажа, принимавший деятельное участие в выступлении Экипажа в день 14 декабря и разжалованный в нижние чины, находился вместе с П. Бестужевым в Ширванском полку и принимал участие в штурмах Карса и Ахалциха. В 1832 г. ему был возвращен офицерский чин и он снова перешел на службу во флот, а в следующем году он уже получил разрешение перейти на гражданскую службу. Сводку сведений о Вишневском см. в статье Е. Щепкиной «Помещичье хозяйство декабриста» (Былое, 1925, III, стр. 15—17). У Вишневского были большие связи, значительно облегчавшие ему прохождение солдатской службы, что, вероятно, и было причиной несколько сурового отзыва о нем в «Памятных Записках» П. Бестужева.

499 (¹). П. Бестужев цитирует стихи из «Шильонского узника» Байрона в переводе Жуковского.

504 (¹). Публикуется по автографу (ИРЛИ, А р х. Б е с т., № 5574, бумаги И. М. Жукова); установить адресата не удалось. Письмо это является ярким документом, иллюстрирующим то положение, в котором находился П. Бестужев и которое, в конце концов, привело его к тяжелому душевному заболеванию.

507 (¹). Печатается по копии А р х. Б е с т. (№ 5598, лл. 66—83 об.). Письмо адресовано адмиралу Михаилу Францевичу Рейнеке, близкому другу обоих братьев. С М. Бестужевым, которого он был младше на год, они вместе учились в Морском кадетском корпусе. Но более тесные дружеские отношения были у Рейнеке с Ник. Бестужевым, сложившиеся, главным образом, на почве общих научных интересов. Рейнеке был основоположником русской гидрографии, начав свою деятельность в этом направлении сразу же после окончания корпуса. Его 27-летний труд, о котором упоминает в данном письме Н. Бестужев, — «Гидрографическое описание Северного берега России», начатое им еще до 1825 г. Атлас к этому «Описанию» был выпущен ранее: «Атлас Белого моря и Лапландского берега» (1833). В ИРЛИ хранится ряд писем Рейнеке к Н. Бестужеву, представляющих большой интерес для истории русской географической и гидрографической науки.

508 (¹). «Записки» — «Записки Гидрографического Департамента», одним из организаторов которых был Рейнеке; «Сборник» — «Морской сборник»; Аполлон Александрович — Никольский (см. примеч. к стр. 308).

509 (¹). «История», о которой упоминает Н. Бестужев, — «Опыт истории российского флота», опубликованный впервые в 1822 г. В ответном письме Рейнеке возражает против слишком суровой оценки автором своего труда и не считает его вовсе устаревшим. Вероятно, по совету Рейнеке и других друзей Н. Бестужева, с которыми консультировалась

Ел. Бестужева при издании посмертного тома сочинений Н. Бестужева, «Опыт» был включен в данное издание. «Описание Гангутского сражения» было напечатано Н. Бестужевым в «Соревнователе» (1823, № 12; точное заглавие: «Сражение при Ганго-Удде 28 июля 1714 г.».

509 (2). П. Ив. — адмирал Петр Иванович Рикорд.

514 (1). Здесь на копии — примечание: «Исчисление беспорядков заменено почему-то в подлинном письме точками. *Прим. Ник*[*ольского*]».

520 (1). Апол. Алекс. — А. А. Никольский.

523 (1). Первоначально опубликовано М. Семевским по копии, сделанной Е. А. Бестужевой в «Отеч. зап.» (1860, X, стр. 633—640), и перепечатано П. Е. Щеголевым в изд. «Огни». Автограф, в виде двух разрозненных тетрадок, включенных в разные переплеты, хранится в ИРЛИ (Арх. Бест., №№ 5576 и 5581); он представляет собою первоначальную черновую запись. В тексте «Отеч. зап.» имеется пометка: «Кавказ. 1829», — в автографе такой пометки нет. Совершенно очевидно, что Ал. Бестужев начал писать свои воспоминания о знакомстве с Грибоедовым сразу же по получении известия о его смерти, т. е. в Якутске. Последовавший вскоре отъезд на Кавказ и дальнейшие события отвлекли Ал. Бестужева от его замысла, который так и остался незавершенным. Предположение М. В. Нечкиной, что Семевский вследствие цензурных опасений устранил некоторые части рукописи (Нечкина, стр. 8), не подтверждается: текст бывшей у него рукописи Ал. Бестужева опубликован им полностью. Некоторые отклонения от рукописи объясняются или неточностью копии Е. Бестужевой, или, быть может, стилистической правкой Семевского, что, однако, сомнительно; в частности, в трех случаях спутаны реплики Грибоедова и Бестужева.

Кроме того, на полях тетрадей записано несколько фраз, которые Ал. Бестужев или предполагал вставить в данный текст, или набросал как заготовки для дальнейшего изложения: «оковы никогда не могут быть игрушки»; «но сердце, как холодный стакан, не выдержит этой жаркой страсти». Одна из таких вставок на полях тут же зачеркнута: «гербы, как дурные грибы на стенах». Выражение Грибоедова: «одним словом, женщины сносны и занимательны только для влюбленных» — первоначально имело несколько иную форму: «... только, когда в них влюбишься».

523 (2). А. Бестужев имеет в виду дуэль между двумя представителями великосветской молодежи, Завадовским и Шереметевым, из-за известной, воспетой Пушкиным, танцовщицы Истоминой. Дуэль кончилась смертью Шереметева. Общественное мнение считало одним из виновников интриги, приведшей к дуэли, Грибоедова, что и явилось причиной предубеждения против него со стороны Бестужева, хотя со времени дуэли, бывшей в 1817 г., прошел уже ряд лет. Приятель Шереметева,

будущий декабрист Якубович, вызвал по той же причине Грибоедова на дуэль, которая состоялась уже во время пребывания обоих их в Тифлисе. Возможно, что на отношения Бестужева к Грибоедову до их знакомства оказал определенное влияние Якубович, с которым он подружился уже в 1824 г. Подробности дуэли изложены в книге С. Н. Шубинского «Исторические очерки», 6-е изд., СПб., 1911. См. также биографию Грибоедова, составленную Н. К. Пиксановым (Грибоедов, I, стр. XXII—XXV), его же книгу «Грибоедов. Исследования и характеристики» (Л., 1935, стр. 163—164) и монографию М. В. Нечкиной (стр. 150, 156—157).

524 (1). Н. А. М—в — Муханов, Николай Алексеевич, корнет Уланского полка, двоюродный брат декабриста Муханова, после 1825 г. адъютант Петербургского ген.-губернатора Голенищева-Кутузова. Н. Муханов принадлежал к культурной семье Мухановых, вращавшихся постоянно в литературной среде и, в частности, очень близких Пушкину. Сохранилось три записки Грибоедова к Н. Муханову (Грибоедов, III, стр. 153, 321—322); две последние редактор (Н. К. Пиксанов) условно относит к 1823 г., хотя совершенно ясно, что они писаны из крепости; в них он просит о присылке книг, добавляя, что можно довериться посланному без боязни «быть скомпрометированным». Дата первой встречи с Грибоедовым приведена здесь А. Бестужевым неправильно. Сохранилась запись в его «Памятной книжке», из которой видно, что знакомство состоялось 23 июня.

526 (1). Интерес к творчеству Гете очень рано проявился у Грибоедова; с «Фаустом» он познакомился уже в 1813 г.; этот интерес отчетливо выражен и в творчестве самого Грибоедова. В 1825 г. он поместил в «Полярной звезде» свой перевод «Пролога в театре» из «Фауста», явившись, таким образом, первым переводчиком шедевра Гете на русский язык. Эта сцена заинтересовала Грибоедова своим сатирическим характером, который Грибоедов еще более усилил при переводе; в интерпретации Грибоедова Гете принял черты «политического оппозиционера и общественника, пишущего сатиру на светское общество» (В. М. Жирмунский. Гете в русской литературе. Л., 1937, стр. 149), в частности, им вставлена резкая тирада по адресу современного общества, звучащая совершенно в духе монолога Чацкого:

> . . . . вот те
> Окременевшие толпы живым утесом;
> Здесь озираются во мраке подлецы,
> Чтоб слово подстеречь и погубить доносом.

Во время первой встречи с Грибоедовым А. Бестужев был еще очень поверхностно знаком с Гете; более углубленное изучение его произошло

лишь во время пребывания в Якутске, когда он вплотную, по его собственному выражению, «погружается в германизм» («Рус. вестн.», 1870, № 5, стр. 247); «читаю по-немецки и мыслю по-русски», — писал он. Гете часто утомлял и затруднял его: «мое упорство понять непонятное часто утомляет меня. Я бросаю книгу в сторону, отсылая автора к чорту» («Рус. вестн.», 1870, № 5, стр. 254); в эти же годы А. Бестужев перевел несколько стихотворений из Гете, преимущественно из цикла любовной лирики и из «Дивана». Позже, в своей известной критической статье, посвященной роману Н. Полевого «Клятва при гробе господнем» и являющейся, по существу, широким историко-литературным очерком, А. Бестужев отметил философское равнодушие Гете и всей шедшей по его стопам немецкой литературы к общественной борьбе, в чем он видел «недостаток гражданского чувства и патриотизма» («Моск. телегр.», 1833, ч. 52—53; см.: В. М. Жирмунский, ук. соч., стр. 147).

526 (2). Свое суждение о комедии Грибоедова, вполне совпадающее с оценкой ее, данной в «Воспоминании», Ал. Бестужев изложил в статье «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 г.»; в этой статье явно слышны и отголоски споров, которые происходили на обеде у Чепегова. «Рукописная комедия Грибоедова „Горе от Ума“ — феномен, какого мы еще не видали со времен „Недоросля“. Толпа характеров, обрисованных смело и резко; живая картина московских нравов, душа в чувствованиях, ум и остроумие в речах, невиданная доселе беглость и природа разговорного русского языка в стихах, — все это завлекает, поражает, приковывает внимание. Человек с сердцем не прочтет ее, не смеявшись, не тронувшись до слез. Люди, привычные даже забавляться по французской систематике или оскорбленные зеркальностью сцен, говорят, что в ней нет завязи, что автор не по правилам нравится; но пусть они говорят, что им угодно: предрассудки рассеются и будущее оценит достойно сию комедию и поставит ее в число первых творений народных».

528 (1). М. К. Ч. — по всей вероятности, Чепегов (или Чепягов), «один из членов кружка Грибоедова, Катенина, Жандра и Бегичева» (Грибоедов, III, стр. 399); фамилия его неоднократно упоминается в переписке Грибоедова. Данное приурочение делается нами условно, поскольку ни в одном из изданий не установлены имя и отчество Чепегова. Замечание Грибоедова об обиде Чепегова на Александра Бестужева за критику одного из его друзей имеет в виду статьи Бестужева о Катенине, с которым Чепегов был очень близок.

529 (1). Это многоточие Семевский сопроводил в журнальной публикации подстрочным примечанием: «точки в подлиннике», приведшим к ложным представлениям о сознательном пропуске редактора. Но был ли, действительно, пропуск, сказать трудно. Фразой «мы были нечужды друг

другу...» заканчивается часть тетради, находящаяся в переплете № 5576; часть же тетради в переплете № 5581 начинается со следующей фразы. Возможно, что несколько листов оказались утраченными.

529 ([2]). Эту же цитату из Байрона Ал. Бестужев приводит на этот раз в подлиннике (в письме к Кс. А. Полевому): «Give them a sugar-plump and a looking-glass and they would be perfectly glad», — сказал Байрон. Я не совсем с этим согласен, но убежден опытом, что в их душе недостает нескольких октав, равно для понятия, как для чувства» («Рус. обозр.», 1894, № 10, стр. 821).

530 ([1]). В тексте «Отечественных записок» и в изд. «Огни» — курьезная опечатка или ошибка копии Е. А. Бестужевой: «афонское заключение».

530 ([2]). Воспоминание А. Бестужева осталось незаконченным, и прямых сведений о характере дальнейшего знакомства у нас нет. Из различных случайных упоминаний можно установить, что они быстро перешли на «ты» и стали довольно часто встречаться, — в частности, благодаря А. Бестужеву Грибоедов вошел в круг «Полярной звезды» и познакомился с Рылеевым, Оболенским и братьями Бестужевыми. М. Бестужев упоминает о присутствии Грибоедова на одном из «русских завтраков» Рылеева, когда Ал. Бестужев «редижировал» свою эпиграмму на Жуковского. М. В. Нечкина полагает, что Ал. Бестужев стал одним из ближайших друзей Грибоедова (Нечкина, стр. 496). Весной 1825 г. во время пребывания в Москве Ал. Бестужев посетил мать и сестру Грибоедова и был принят ими «как родной» («Рус. вестн.», 1870, V, стр. 263). Из их переписки сохранилось только одно письмо Грибоедова (из Екатеринодарской станицы от 22 ноября 1825 г.), в котором он, между прочим, просит Ал. Бестужева «обнять за него» Рылеева — «искренне и республикански» (Грибоедов, III, стр. 182, первоначально было опубликовано в «Русской старине», 1889, II). Подробный и тщательный подбор фактов, касающихся взаимоотношений Грибоедова и Ал. Бестужева, сделан Н. К. Пиксановым в кн. «Грибоедов. Исследования и характеристики» (Л., 1935, стр. 161—190); там же дан интересный опыт реконструкции тем их бесед; см. также: М. Нечкина (ук. соч., по указателю). Завалишин сообщал, что арест Грибоедова явился следствием показаний А. Бестужева («Др. и нов. Россия», 1879, IV, стр. 314); опубликованное «Следственное дело» А. Бестужева явно опровергает это утверждение. А. Грибоедов предпринимал ряд шагов с целью облегчить участь Ал. Бестужева, ходатайствуя не только перед Паскевичем, но и перед самим Николаем, как свидетельствует Петр Бестужев (см. выше, стр. 365). О хлопотах Грибоедова перед Паскевичем сообщает и сам Ал. Бестужев («Рус. вестн.», 1861, № 3, стр. 321). Узнав о смерти Пушкина, Ал. Бестужев заказал священнику отслужить на могиле Грибоедова

панихиду по двум поэтам. Письмо об этой панихиде (брату Павлу, на французском языке) является самым потрясающим памятником эпистолярного наследия Ал. Бестужева: «Я плакал тогда, как плачу и теперь, горькими слезами, я плакал над другом и товарищем по оружию, над самим собой. И когда священник возгласил: „За убиенных боляр Александра и Александра“, этот возглас показался мне не только воспоминанием, но и пророчеством... Да, я чувствую, что и моя смерть будет насильственной, необычной и уже недалекой» («Отеч. зап.», 1860, VI, стр. 71). М. В. Нечкина толкует слова «товарищу по оружию» как восприятие Ал. Бестужевым Грибоедова прежде всего как военного человека (Нечкина, стр. 258); едва ли такое толкование правильно: скорее следует видеть в нем напоминание о их общем участии в политической борьбе.

531 (1). Публикуемые письма Ал. Бестужева к брату Петру печатаются (за исключением № 4) впервые; подлинники их — в Арх. Бест. (№ 5574 : № 1 — л. 1—2; № 2 — л. 14; № 3 — л. 3—4; № 4—5 — лл. 7—8 и 13—19; № 6 — л. 25); письмо № 4 было опубликовано Г. В. Прохоровым («Былое», 1925, № 5). Письмо № 5 написано, как можно судить по контексту, в феврале—марте 1829 г.; № 6 относится, несомненно, к весне 1832 г., т. е. ко времени, когда уже открыто начали проявляться признаки душевной болезни Петра Бестужева; отправлено оно было не по почте, а с оказией; вместо адреса надписано: «милому брату Петру Александровичу Бестужеву»; оно немного повреждено и некоторые части его оторваны. Письма эти не только характерны для их автора, но служат ценным материалом и для характеристики Петра Бестужева, являясь прямым дополнением к его собственным письмам.

539 (1). Рассказ «Шлиссельбургская станция» опубликован в издании рассказов и очерков Н. Бестужева (Рассказы и повести), но с многочисленными искажениями, сделанными из цензурных соображений, и под измененным заглавием: «Отчего я не женат». Под последним заглавием этот рассказ упоминается и в «Ответах» М. Бестужева. В 1858 г. Ел. А. Бестужева пыталась опубликовать этот рассказ в журнале «Семейный круг», но цензура разрешила печатать лишь без упоминания имени автора, на что Е. А. Бестужева не согласилась, — и публикация не состоялась (Л. О. Ц Г И А, ф. 772, оп. 7, № 152067).

В настоящем издании печатается по подлинной рукописи из собрания Дашкова (И Р Л И, ф. 93, оп. 2, № 20, лл. 1—22); несколько страниц в ней утрачено: они воспроизводятся по тексту печатного издания.

В рассказе Н. Бестужев неоднократно и очень настойчиво подчеркивал моменты автобиографического характера: упоминание о своем семействе, о морской службе, об очерке «Об удовольствиях на море»,

о рано умершей любимой девушке и т. д. Упомянутый в рассказе В. — несомненно, Василевский; о приглашении шлиссельбургского коменданта приехать к нему в гости упоминает и Мих. Бестужев в своих «Ответах» (наст. изд., стр. 285), рассказ о кронштадтском домовом также воспроизводит подлинное происшествие (см. там же).

544 (1). Отсюда и кончая словами «только офицеры да фельегари» — по печатному тексту.

569 (1). Здесь рукопись обрывается, дальнейший текст воспроизводится по печатному тексту.



ПРИМЕЧАНИЯ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ*

Николай Александрович Бестужев.

Автопортрет. 1830-е годы. Масло, картон.

Хранится в музее ИРЛИ.

Автор изобразил себя рисующим портрет брата Михаила (см. портрет М. А. Бестужева работы Н. А. Бестужева тех же лет).

Такой же автопортрет Н. А. Бестужева, но выполненный акварелью, имеется в собрании И. С. Зильберштейна.

По автопортрету, ныне принадлежащему ИРЛИ, художник И. И. Матюшин исполнил в 1890 г. гравюру на дереве для «Русской старины». Клише и оттиск этой гравюры хранятся в ИРЛИ.

Стр. 8—9.

Кондратий Федорович Рылеев.

Рисунок карандашом Н. А. Бестужева. 1830-е годы.

Хранится в ГПБ.

Под изображением, на паспарту, рукою Н. В. Гербеля надпись чернилами: «Портрет К. Ф. Рылеева, сделанный на память Н. А. Бестужевым в Петровском (в Сибири)».

Стр. 23.

Николай Александрович Бестужев в форме 19-го флотского кипажа.

Акварель неизвестного художника конца 1810-х годов.

Хранится в музее ИРЛИ.

Стр. 44—45.

---

* Составлены А. Ю. Вейсом.

Николай Александрович Бестужев.

Черновой автограф воспоминаний о 14 декабря 1825 г.

Хранится в рукописном отделе ИРЛИ.

Стр. 47.

Михаил Александрович Бестужев.

Портрет работы Н. А. Бестужева. 1830-е годы. Масло, картон.

Хранится в музее ИРЛИ.

С этого портрета художником Г. И. Грачевым выполнена гравюра на дереве для журнала «Русская старина», 1882, № 5. Клише и оттиск этой гравюры хранятся в музее ИРЛИ.

Стр. 52—53.

Прасковья Михайловна Бестужева.

Миниатюра на слоновой кости работы Н. А. Бестужева. 1827—1830.

Хранится в музее ИРЛИ.

Исполнена Н. Бестужевым, по памяти, в Чите.

На изображении у левого плеча сбоку монограмма художника: «Н. Б.».

Стр. 64—65.

Александр Александрович Бестужев-Марлинский.

Акварель Н. А. Бестужева. 1828.

Хранится в музее ИРЛИ.

Портрет исполнен Н. А. Бестужевым, вероятно, в 1828 г., по памяти. В 1869 г. был подарен М. А. Бестужевым М. И. Семевскому.

16 июня 1828 г. А. А. Бестужев писал братьям в Читу из Якутска: «Видел портрет, нарисованный тобою, почтенный Николай, и толпа воспоминаний наполнила сердце. Если можно, сделай мой: усы вниз и без бакенбарт» (М. И. Семевский. Александр Бестужев в Якутске. Неизданные письма к родным 1827—1829 г. «Русский вестник», 1870, № 5, стр. 236).

В музее ИРЛИ имеется деревянная гравюра (клише и оттиск), выполненная с акварели Н. А. Бестужева в 1880-х годах художником И. И. Матюшиным для журнала «Русская старина», 1889, № 10.

Стр. 72—73.

Московцы.

С акварели В. А. Табурина.

Заимствовано из книги Н. С. Пестрикова «История лейб-гвардии Московского полка», т. I, СПб., ‹1903—1904›.

Стр. 67.

Чита. Церковь и улица.

Акварель Н. П. Репина и П. И. Фаленберга. 1828—1830.

Хранится в музее ИРЛИ.

Под рисунком в центре чернилами: «Вид Церькви в Селении Чите». Справа чернилами рукою А. Е. Розена: «Снял инструментально П. Ив. Фаленберг, рисовал Н. П. Репин».

На переднем плане стоят слева направо: Михаил (указывает рукою) и Николай Бестужевы; в центре — И. Д. Якушкин и М. А. Фонвизин.

Под изображением декабристов надпись карандашом рукою М. А. Бестужева: «Михаил, Николай Бестужевы»; «Якушкин, Фонвизин».

Стр. 145.

Чита. Ворота острога.

Рисунок тушью неизвестного художника-декабриста. 1827—1830.

Хранится в музее ИРЛИ.

Под рисунком, на паспарту, надпись чернилами рукою неизвестного: «ворота Читинского острога».

Стр. 152.

Петровский Завод. План каземата.

Чертеж тушью неизвестного декабриста. 1830-е годы.

Хранится в музее ИРЛИ.

Справа на чертеже список номеров камер и помещавшихся в них декабристов.

Стр. 153.

Петровский Завод. Дамская улица.

Рисунок сепией В. П. Ивашева. 1831—1835.

Хранится в рукописном отделе ИРЛИ.

Под изображением, чернилами, рукою М. А. Бестужева: «1. Дом Трубецких. 2. Дом Анненкова. 3. Дом Волконского. 4. Дом Давыдова. 5. Дом Фон-Визина. 6. Чугунно-плавильная (домна). 7. Церковь на Горе. Дом Ивашева на против самой улицы, называвшейся Дамскою, откуда этот вид сам Ивашев нарисовал из окна». Чернилами, рукою А. Е. Розена: «Петровский Железный Завод».

Стр. 157.

Чита. План острога.

Акварель П. И. Фаленберга. 1827—1830.

Хранится в рукописном отделе ИРЛИ.

Латинскими буквами обозначены различные пункты на плане. Слева на изображении чернилами: «А: Большой Каземат. (1. Погреб. 2. Беседка. 3. Кладовая. 4. Флигель. 5. Парник). В: Малой Каземат (1. флигель, 2. столярная). С: Дьячковский Каземат (1 и 2 флигеля). D: Мельница. Е: Дом Трубецкого. F: Дом Муравьева. G: Д. Фон-Визина. Н: Д. Волконского. К: Д. Анненкова. L: Д. Нарышкина. М: Дом Давыдова. N: Кухня и общ. огород. О: Баня. Р: Чертова могила. R:R:R: Дороги обработанные Госуд. преступниками. S:S:S: Места купанья. Т: Церковь. U: Дом Коменданта. V: Парк Коменданта. W: Мост Коменд. X: Гауптвахта. а) Дом Ильинского. b) Дом Смолянинова. с) Дом Громова. Под изображением чернилами рукою декабриста А. Е. Розена: «Чита за Байкалом с временными острогами».

Стр. 163.

Петровский Завод. Каземат.

Акварель Н. А. Бестужева. 1830—1839.

Хранится в музее ИРЛИ.

Внешний и внутренний вид тюрьмы декабристов.

В коридор открыта дверь из камеры № 29 — Д. И. Завалишина (ср. с рис. «План каземата»).

Стр. 171.

Петровский Завод. Общий вид с птичьего полета.

Акварель Н. А. Бестужева. 1834.

Хранится в музее ИРЛИ.

На переднем плане, справа, рисующий Н. А. Бестужев (автопортрет), за ним конвойный.

С правой стороны внизу на месте повреждения листа вклейка с надписью чернилами рукою декабриста А. Е. Розена: «Петровский железный завод за Байкалом. Снял и рисовал Николай Бестужев I в 1834 году. Барон Андрей Розен».

Стр. 173.

Дом Бестужевых в Селенгинске.

Рисунок карандашом М. А. Бестужева. 1860-е годы.

Хранится в рукописном отделе ИРЛИ.

Стр. 201.

Александр Александрович Бестужев-Марлинский.

Миниатюра на слоновой кости работы Р. Вильчинского. 1835.

Хранится в музее ИРЛИ.

Публикуется впервые.

Стр. 208—209.

Николай Александрович Бестужев.

Рисунок Питча 1870-х годов с автопортрета Н. А. Бестужева 1830—1840-х годов.

Заимствовано из книги «Декабристы». 86 портретов. Изд. М. М. Зензинова, М., 1906.

Стр. 224—225.

Чита. Двор острога.

Акварель И. В. Киреева. 1828—1830.

Хранится в музее ИРЛИ.

Внизу на изображении инициалы художника «И. К.».

Публикуется впервые.

Стр. 244.

Любовь Ивановна Степовая.

Миниатюра на слоновой кости работы Н. А. Бестужева. 1827.

Хранится в музее ИРЛИ.

Исполнена, по памяти, Н. А. Бестужевым в Чите. На изображении справа внизу подпись художника: «N. Bestougeff».

На обороте на приклеенном листке бумаги — надпись чернилами рукою Михаила Бестужева: «Рисовал Николай Бестужев в Сибире ‹так в оригинале› в Чите, в 1827 г.».

В ИРЛИ поступил из собрания А. Ф. Онегина в марте 1928 года.

Публикуется впервые.

Стр. 279.

Вид Петровского завода.

Акварель Н. А. Бестужева. 1831—1839.

Хранится в музее ИРЛИ.

На переднем плане спиной к зрителю начальник Петровского завода, А. И. Арсеньев, вдали с протянутыми вперед руками декабрист А. П. Барятинский.

Под рисунком — надпись чернилами рукою А. Е. Розена: «Петровский железный завод за Байкалом»; карандашом — рукою М. А. Бестужева: «Молотович ‹в лодке›; Плотина. Домна. Барятинской. А. И. Арсеньев, начальник завода».

Стр. 291.

Владимир Иванович Штейнгейль.

С литографии Э. Эстеррейха. 1823.

Заимствовано из книги: «Общественные движения в России в первую половину XIX века», т. 1. Декабристы: М. А. Фон-Визин, Е. П. Оболенский и В. И. Штейнгейль (Статьи и материалы). Составили В. И. Семевский, В. Богучарский и П. Е. Щеголев. СПб., 1905.

Стр. 303.

Чита. Вид сада при комендантской квартире.

Акварель Н. А. Бестужева. 1828—1830.

Хранится в музее ИРЛИ.

На первом плане, слева, рисующий Н. А. Бестужев (автопортрет). Под рисунком в центре надпись чернилами: «Вид Саду при Комендантской квартире в С. Чите».

Слева и справа надписи карандашом рукою М. А. Бестужева: «Дьячковский каземат. Николай Бестужев. Дом и сад коменд‹анта›. Лепарского»; справа чернилами — рукою А. Е. Розена: «Рисовал Николай Бестужев».

Стр. 317.

Юрты по дороге из Читы в Петровский Завод.

Акварель Н. А. Бестужева (?) 1830.

Хранится в музее ИРЛИ.

Под изображением, чернилами, рукою М. А. Бестужева: «Братские юрты на дороге из Читы в Петровской». На обороте карандашом (позднейшая запись): «Надпись рукою М. А. Бестужева».

Стр. 327.

Петр Александрович Бестужев.

«Памятные записки». Титульный лист.

Автограф.

Хранится в рукописном отделе ИРЛИ.

Стр. 363.

Михаил Александрович Бестужев.

Фотография С. Л. Левицкого. 1860-е годы.

Хранится в музее ИРЛИ, в альбоме М. И. Семевского.

Под изображением надпись чернилами рукою А. Е. Розена: «Мих. Александр. Бестужев».

Стр. 392—393.

Елена Александровна Бестужева.

Литография В. Погонкина. 1829.

Хранится в музее ИРЛИ.

Внизу по овалу надпись: «Рис. с нат. на камне В. Погонкин. $18\frac{17}{}29$ года». Цифра в знаменателе, указывающая месяц, срезана.

Стр. 401.

Александр Александрович Бестужев-Марлинский.

Гравюра на стали неизвестного художника. 1830-е годы.

Восходит к акварельному портрету работы Н. Бестужева, находящемуся ныне в собрании И. С. Зильберштейна в Москве.

Хранится в музее ИРЛИ.

Гравюра была приложена к изданию Смирдина: «Сто русских литераторов», т. I, СПб., 1839.

Стр. 408—409.

Пропуск Е. А. Бестужевой в Петропавловскую крепость на свидание с братьями.

Заимствовано из книги «Воспоминания Бестужевых». М., 1931.

Стр. 415.

Михаил Александрович Бестужев.

Письмо М. И. Семевскому из Селенгинска от 21 ноября 1860 г. Автограф.

Хранится в рукописном отделе ИРЛИ.

Стр. 425.



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Арх. Бест.	— Архив Бестужевых (из собрания «Русской старины») — в рукоп. хран. ИРЛИ: №№ 5567, 5569, 5572—5592 (ф. 604, №№ 2—22), 5571 (ф. 604, № 30), 5598 (ф. 604, № 23)
Базанов	— см. указатель литературных источников.
Басаргин	— то же.
Беляев	— »
Б-ка поэта	— «Библиотека поэта».
Бороздин	— «Из писем и показаний декабристов». Под ред. А. К. Бороздина. СПб., 1906.
Бунт дек.	— Бунт декабристов. Юбил. сб. 1825—1925 гг., под ред. Ю. Г. Оксмана и П. Е. Щеголева, Л., 1926.
Волконская	— см. указатель литературных источников.
Волконский	— то же.
Восп. и расск., I	— Воспоминания и рассказы деятелей Тайных Обществ 1820-х годов, т. I. Общ. ред. Ю. Г. Оксмана и С. Н. Чернова. М., 1931.
Восп. и расск., II	— то же, т. II, М., 1933.
Восст. дек.	— Восстание декабристов. Материалы Центр-архива, т. I—VI, VIII, М.—Л., 1925—1926.
Гангеблов	— см. указатель литературных источников.
Герцен	— Полное собрание сочинений и писем А. И. Герцена, т. I—XXII, под ред. М. К. Лемке.

Горбачевский — см. указатель литературных источников.

ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

Грибоедов — см. указатель литературных источников.

Декабристы — Декабристы. Неизданные материалы и статьи. Тр. Пушкинского Дома при Росс. Акад. Наук, под ред. Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана. Л., 1925.

Дек. на кат. — Декабристы на каторге и в ссылке. Сб. новых материалов и статей. М., 1925.

Дружинин — см. указатель литературных источников.

Завалишин — то же.

Зап. Отд. рук. — Записки Отдела рукописей Всесоюзной Библиотеки им. В. И. Ленина, вып. III. Декабристы. Ред. Н. Л. Мещерякова. М., 1939.

Изд. 1931 — Воспоминания Бестужевых. Ред. М. К. Азадовского. М., 1931.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР.

Кюхельбекер — см. указатель литературных источников.

Лен. б-ка — Всесоюзная Библиотека им. В. И. Ленина.

Летописи — Летописи Государственного Литературного музея. Книга третья. Декабристы. Ред. Н. П. Чулкова. М., 1939.

ЛОЦГИА — Ленинградское отделение Центрального Государственного исторического архива.

Лорер — см. указатель литературных источников.

Лунин — то же.

Максимов — »

Междуцарствие — »

Нечкина — М. В. Нечкина. Грибоедов и декабристы. М., 1947.

Общ. движ.	— Общественное движение в России в первую половину XIX в., т. 1. Декабристы М. А. Фонвизин, Е. П. Оболенский и В. И. Штейнгейль. Составили В. Семевский, В. И. Богучарский и П. Е. Щеголев. СПб., 1905.
Окунь	— см. указатель литературных источников.
Пам. дек.	— Памяти декабристов, т. I—III. Изд. Ак. Наук, Л., 1926.
Письма Батенкова	— см. указатель литературных источников.
Письма из Сибири	— см. указатель литературных источников.
Пол. зв.	— «Полярная звезда», издававшаяся И. Искандером и Н. Огаревым. Лондон, 1861.
Попов	— см. указатель литературных источников.
Пушкин	— то же.
Пущин	— »
Рассказы и повести	— Н. Бестужев. Рассказы и повести старого моряка. СПб., 1860.
Розен	— см. указатель литературных источников.
Семевский	— то же.
Сиб. и декабристы	— Сибирь и декабристы. Статьи, материалы, письма. Ред. М. К. Азадовского, М. Е. Золотарева и Б. Г. Кубалова. Иркутск, 1925.
Статьи и письма	— Н. А. Бестужев, Статьи и письма, М.—Л., 1933.
Тайн. Общ.	— Тайные Общества в России в начале XIX столетия. М., 1926.
ЦГИА	— Центральный Государственный исторический архив.
Щук. сб.	— Сборник старинных бумаг, хранящихся в Музее П. И. Щукина (Щукинский сборник).
Якушкин	— см. указатель литературных источников.

УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ *

I

Ленин В. И. Аграрная программа русской социал-демократии. Соч., т. 6. *587*.

Ленин В. И. Доклад о революции 1905 г. Соч., т. 23. *586*.

Ленин В. И. «Крестьянская реформа» и пролетарски-крестьянская революция. Соч., т. 17. *677*.

Ленин В. И. О национальной гордости великороссов. Соч., т. 21. *589*.

Ленин В. И. Памяти Герцена. Соч., т. 18. *587*, *589*.

Ленин В. И. Политический кризис и провал оппортунистической тактики. Соч., т. 11. *636*.

Ленин В. И. Роль сословий и классов в освободительном движении. Соч., т. 19. *588*.

Сталин И. В. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом *13 декабря 1931 г*. Соч., т. 13. *586*.

II

А

Адмирал Нахимов, Сборник, под ред. Н. В. Новикова и П. Б. Софинова, с пред. ак. Е. В. Тарле, Военмориздат, М., 1945. *678*, *757*.

Азадовский М. К. Декабристская фольклористика. «Вестн. Ленингр. Гос. унив.», 1948, № 1. *686*.

Азадовский М. К. Новые материалы о декабристах. «Сиб. Огни», 1939, № 3. *784*.

Азадовский М. К. Странички краеведческой деятельности декабристов в Сибири (Сиб. и декабристы). *705*, *769*.

Алексеев М. П. Немецкая поэма о декабристе (Бунт дек.). *758*.

Алексеев М. П. Этюды о Марлинском. Ирк., 1927. *747*.

Аллер Самуил. Руководство к отысканию жилищ по С.-Петербургу. СПб., 1824. *694*.

Алфавит декабристов см. Модзалевский Б. Л. и Сиверс А. А.

* Курсивные цифры соответствуют страницам настоящей книги.

Алфеев А. Митрополит Серафим на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. «Ист. вестник», 1905, № 1. *663.*

(Анненкова), Воспоминания Полины Анненковой с приложением воспоминаний ее дочери О. И. Ивановой и материалов из архива Анненковых, под ред. Сергея Гессена и Ан. Предтеченского. М., 1929. *723, 725.*

Анучин Д. Н. Судьба первого издания «Путешествия» Радищева. М., 1918. *706.*

Архив братьев Тургеневых, вып. 6. Переписка А. И. Тургенева с кн. П. А. Вяземским, т. I, 1814—1833. Под ред. и с примеч. Н. К. Кульмана. СПб., 1821. *671, 699.*

Б

Багиров М. Д. К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля. «Большевик», 1950, № 13. *671.*

Базанов В. Г. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949 (Базанов). *680, 688, 694, 758, 768.*

Базанов В. Г. Владимир Федосеевич Раевский. Л., 1949. *702.*

Бакунин М. А., Собрание сочинений и писем, том четвертый, М., 1935. *795.*

Банзаров Д. О черной вере или шаманстве у монголов. СПб., 1846. *778.*

Барановская М. Художник-декабрист Н. Бестужев. Тр. Гос. Ист. музея, вып. 15, М., 1941, *742.*

Барсуков И. Граф Н. Н. Муравьев-Амурский и его время. М., 1891. *745.*

Басаргин Н. В., Записки ред. П. Е. Щеголева. П., 1917 (Басаргин). *626, 648, 687—688, 711, 712—714, 721, 722, 725, 738, 763, 777, 779.*

Безобразов В. П. Граф Ф. П. Литке, том первый. 1797—1832. СПб., 1888. *669—670.*

Белоголовый Н. А., Воспоминания и другие статьи, изд. 4-е, М., 1901. *796.*

Беляев А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. 1805—1850. СПб., 1882 (Беляев). *585, 597, 683, 710, 721, 732, 770, 777.*

(Бестужев А. А.), Письма А. А. Бестужева к Н. А. и К. А. Полевым, писанные в 1831—1837 гг. «Рус. вестник», 1861, № 3—4. *591, 668, 806.*

(Бестужев А. А.), Письма А. А. Бестужева (Марлинского) к братьям Полевым. С пред. и примеч. С. О. Долгова. «Рус. обозрение», 1894, № 10. *749.*

Бестужев Н. А. Рассказы и повести старого моряка. М. 1860 (Расск. и пов.). *667, 742, 743, 778.*

Бестужев Н. А., Статьи и письма, М., 1931 (Статьи и письма). *607, 682—683, 725, 736, 767, 777, 780.*

(Бестужевы). Декабристы М. и Н. Бестужевы. Письма из Сибири, вып. I. Селенгинский период. 1839—1841. Ирк., 1929 (Письма из Сибири). *617, 739,*

к П. И. Бартеневу (Летописи). *584*, *665*.

Г

Габаев Г. С. Гвардия в декабрьские дни. Военно-историческая справка (в кн.: А. Е. Пресняков. 14 декабря 1825 г. Центрархив, М.—Л., 1926). *661*, *707*.

Гангеблов А. С. Воспоминания декабриста. М., 1888. *585—586*, *616*, *709*, *713*, *780*.

Гернет М. История царской тюрьмы, т. II. М., 1946. *726*.

Герцен А. И. Былое и думы. Полн. собр. соч. и писем А. И. Герцена, под ред. М. К. Лемке (Герцен, XII). *622*.

Герцен А. И. Записки декабристов (Герцен, XV). *797*.

Герцен А. И. Концы и начала (Герцен, XV). *589*.

Герцен А. И. Кондратий Рылеев и Николай Бестужев (Герцен, XXI). *686*, *691*.

Герцен А. И. Письмо к М. К. Рейхель (Герцен, IX). *661*.

Гессен С. Я. Декабрист Завалишин о Пушкине. «Лит. Ленинград», 1934, 14 дек. *685*.

Гессен С. Я. Заговор декабриста Сухинова. М., 1930. *787*.

Гессен С. Я. Пушкин в Каменке. «Лит. современник», 1935, № 1. *685*.

Гессен С. Я. Судьба литературного наследия М. С. Лунина. «Кат. и Ссылка», 1930, № 11. *729*.

Гессен С. Я. Солдаты и матросы в восстании декабристов. Л., 1930. *707*.

Гессен С. Я. Студенческая демонстрация в Москве в 1861 г. «Кат. и Ссылка», 1930, № 5. *785*.

Гессен С. Я. и М. С. Коган. Декабрист Лунин и его время. Тр. Пушкинского Дома при Академии Наук. Л., 1926. *712*, *744*, *789*.

(Гиллер) Giller A. Opisanie Zabajkalskiej krajny w Syberyi. Lipsk., 1867. *746*.

Гирченко В. Декабристы бр. Бестужевы на поселении в Селенгинске. Сб. «Декабристы в Бурятии». Верхнеудинск, 1927. *741*.

Головачев П. М. см. Декабристы.

‹Головнин В. М.› Мичман Мореходов. О состоянии русского флота. С рукописи, найденной в неполном виде в бумагах вице-адмирала Головнина. СПб., 1861. *604*, *605*.

Горбачевский И. И., Записки и письма, ред. и вступ. ст. Б. Е. Сыроечковского, изд. 2-е, испр. и доп., М., 1925 (Горбачевский). *648*, *664*, *684*, *703*, *739*, *779*, *784*, *785*, *794*.

‹Греч Н. И.› Из записок одного недекабриста. Лейпциг, 1903. *612*.

Грибоедов А. С., Полное собрание сочинений, под ред. и с примеч. Н. К. Пиксанова, изд. разряда изящной словесности Академии Наук, П., 1917 (Грибоедов). *687*, *804—806*.

Григорович А. И. Из записок Н. А. Бестужева. «Ист. вестник», 1904, № 4. *577*, *679*.

Д

Е

Ж

З

Завалишин Д. И. Записки декабриста. СПб., 1906 (Завалишин). ***585, 634, 663, 664, 692, 715, 720—722, 737, 777, 787—788.***

Завалишин Д. И. Заметка относительно степени доверия, какое можно иметь к «Воспоминаниям». «Др. и новая Россия», 1876, № 10. ***696.***

Завалишин Д. И. Пребывание декабристов в Чите и Петровском Заводе. «Рус. старина», 1881, № 10. ***736.***

Завалишин Ипполит. Описание Западной Сибири, тт. I—III, М., 1863. ***731.***

Записки неизвестного о декабристах и о русских моряках прежнего времени (Щук. сб., IV). ***701.***

Звездочка 1826 года. Изд. А. А. Бестужева и К. Ф. Рылеева. «Рус. старина», 1883, № 7. ***752.***

Зильберштейн И. С. Портретная галлерея декабристов. «Огонек», 1950, № 51. ***768.***

И

Из архива Ф. В. Булгарина. Письма А. А. Бестужева к Булгарину. «Рус. старина», 1901, № 2. ***759, 760.***

Измайлов А. Е., Письма к И. И. Дмитриеву, «Рус. архив», 1871. ***747.***

Измайлов Н. В. А. А. Бестужев до 14 декабря 1825 г. (Пам. дек.). ***703, 747, 761, 766, 791.***

Из писем и показаний декабристов. Критика современного состояния России и планы будущего устройства. Под ред. А. К. Бороздина. СПб., 1906 (Бороздин). ***601, 681, 687, 705.***

Ирвинг В. Новеллы. Перевод с английского А. С. Бобовича. Л., 1950. ***793.***

К

Каллистов Н. Флот в царствование императора Александра I. «История русской армии и флота», т. IX, СПб., 1913. ***603, 700, 764.***

Каменская М. Ф., Воспоминания. «Ист. вестник», 1894, № 4. ***699.***

Каинист-Скалон С. В., Воспоминания (Восп. и расск., I). ***786.***

Карамзин Н. М. История государства Российского, т. IX. ***714.***

К истории русской литературы, III. Попытка братьев Бестужевых издавать журнал. «Рус. старина», 1900, № 8. ***761.***

Колесников В. П. Записки несчастного, содержащие путешествие в Сибирь по канату. Ред. и вступит. статья П. Е. Щеголева. П., 1917. ***730.***

Колюбакин Б. Император Николай I по характеристике современника его, эмигранта И. И. Головина. «Рус. старина», 1917, № 10—12. ***790—791.***

<Корнилович А.> Об

Максимов С. В. Н. А. Бестужев. «Наблюдатель», 1883, № 3. *765.*

Максимов С. В. Путешествие на Амур. СПб., 1863 (Полн. собр. соч., т. XI). *793.*

Максимов С. В. Ответ на статью П. Н. Свистунова. «Рус. архив», 1871. *798.*

Максимов С. В. Сибирь и каторга, ч. III, Политические и государственные преступники. СПб., 1876 (Максимов, III). *725, 726, 777, 793, 798.*

Манассеин В. Библиотека М. С. Лунина. М., 1929. *738.*

Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. Подготовил к печати Б. Е. Сыроечковский. М., 1926 (Междуцарствие). *692, 705, 708, 710, 720, 722, 732.*

Мейлах Б. С. Пушкин и русский романтизм. Л., 1937. *758.*

Михайлов М. И. Записки. М., 1922. *795.*

Михайловская А. И. Через бурятские степи. «Изв. Вост.-сиб. отд. Рус. географич. общ.», т. 51, Ирк., 1926. *778.*

Модзалевский Б. Л. Декабрист Батенков. «Рус. истор. журн.», 1918, № 5. *761.*

Модзалевский Б. Л. Декабристы на пути в Сибирь (Декабристы). *722, 723, 731.*

Модзалевский Б. Л. К истории «Зеленой Лампы» (Дек. и их время). *690.*

Модзалевский Б. Л. Переход декабристов из Читы в Петровский Завод. Дневник барона В. И. Штейнгейля (Декабристы). *777.*

Модзалевский Б. Л. Роман декабриста Каховского. Л., 1925. *690.*

Муравьев А. М. Мой журнал. Предисл. и примеч. П. А. Садикова (Восп. и расск., I). *688, 703, 709, 712, 721, 722, 800.*

Муравьев - Апостол М. И., Воспоминания и письма, предисл. и примеч. С. Я. Штрайха, П., 1922 (Муравьев-Апостол). *751—753.*

(Мысловский П. Н.). Из записной книжки протоиерея П. Н. Мысловского (Щук. сб., IV). *711.*

Н

Нечкина М. В. Грибоедов и декабристы. М., 1947 (Нечкина). *646, 680, 685, 688, 690, 691, 715, 782, 802, 803, 806.*

Нечкина М. В. Декабристы. М., 1949. *596.*

Нечкина М. В. Заговор в Зерентуйском руднике. «Кр. архив», т. XIII, М., 1925. *787.*

Нечкина М. В. О Пушкине, декабристах и их общих друзьях. «Кат. и Ссылка», 1930, № 4. *685.*

Нечкина М. В. см. Лорер Н. И.

Нечкина М. В. Общество соединенных славян. М., 1927. *594, 772, 775, 784.*

Нечкина М. В. План государственного переворота 14 декабря 1825 г. «Истор. записки», т. 27. М., 1948. *611*, *641*, *761*.

Нечкина М. В. Союз Спасения. «Истор. записки», т. 23, М., 1947. *727*.

Николай Михайлович ‹Романов Н. М.›. Казнь пяти декабристов 13 июля 1826 года и император Николай I. «Ист. вестник», 1916, № 7. *732*, *780*.

О

(Оболенский Е. П.). Воспоминания князя Е. П. Оболенского (Общ. движ.). *643*, *688*, *713*, *751*.

Овчинников М. Несколько слов о майоре Кучевском (декабристе). «Тр. Ирк. уч. арх. комиссии», вып. 2, Ирк., 1914. *730*.

Огарев Н. П. Кавказские воды. «Пол. зв.». *773*.

Огарев Н. П. Русская потаенная литература в кн.: Н. П. Огарев. Стихотворения и поэмы. Том второй. Ред. и примеч. С. А. Рейсера и Н. П. Суриной. «Библиотека поэта», Л., 1938. *687*.

Одоевский А. И., Полн. собр. стихотв. и писем. Подготовка текста, биографический очерк и комментарии И. А. Кубасова. М.—Л., 1934. *687*, *724*.

Оксман Ю. Г. Завалишин в борьбе за опубликование своих «Записок» (Декабристы). *663*.

Оксман Ю. Г. Последняя попытка «облегчения» участи А. А. Бестужева (Декабристы). *748*.

Окунь С. Б. История СССР. 1796—1825. Курс лекций. Л., 1947 (Окунь). *594*, *606*, *624*.

Окунь С. Б. Российско-американская компания. М.—Л., 1939. *695—697*.

(Оленина В. А.), Письма В. А. Олениной к П. И. Бартеневу (Летописи). *682*.

Ореус И. Г. С. Батенков. Историко-биографический очерк. «Рус. старина», 1893, № 8. *762*.

Орлов В. Н. Русские просветители 1790—1800-х годов. М., 1950. *598—600*.

Остафьевский архив князей Вяземских. Ред. и примеч. В. И. Саитова, тт. I—V. СПб., 1899—1913. *618*.

П

Пажитнов К. Экономические идеи декабристов. М., 1945. *607—608*.

Першин А. Воспоминания старожила. «Забайкалье», 1902. № 37. *726*.

Першин-Караксарский П. И. Воспоминания о декабристах. «Ист. вестник», 1908, № 11. *480*, *707*, *745*, *783*, *794*, *801*.

Пестриков Н. История Лейб-гвардии Московского полка, тт. I—II. *613*, *702*.

Петров А. В. Письма Д. И. Завалишина из Читы к Е. П. Оболенскому и И. И. Пущину (Пам. дек., III). *736*.

Петров В. Тайное Общество, открытое в Астрахани в 1822 г. (Тайн. Общ.). *730*.

Пигарев К. Жизнь Рылеева. М., 1947. *682*.

Пиксанов Н. К. Грибоедов. Исследования и характеристики. Л., 1935. *804*.

Пиксанов Н. К. Дворянская реакция на декабризм. «Звенья», т. II, М., 1935. *684*.

Пиксанов Н. К. Из архива В. Л. Давыдова. «Историк-марксист», 1926, № 1. *705*.

Писемский А. Ф., Письма. Подготовка текста и комментарии А. К. Клемана и А. П. Могилянского. М.—Л., 1936. *784*.

Письма Г. С. Батенкова, И. И. Пущина и Э. Толя Под общ. ред. Б. П. Козьмина. М., 1936 (Письма Батенкова). *762*, *795*.

Плеханов Г. В. 14 декабря 1825 г. П., 1921 (то же в кн.: Полн. собр. соч. Г. В. Плеханова, т. X, М.). *644*.

Пнин И., Сочинения. Подготовил к печати и комментировал В. Н. Орлов, Л., 1935. *598*.

Поджио А. В., Записки (Восп. и расск., I). *643*, *656*, *657*, *711*, *718*, *721*.

Покровский М. Н. Декабристы. Л., 1925. *626*.

Покровский Ф. Расходы государственного казначейства на декабристов. «Былое», 1925, № 5. *741*.

Полярная звезда. Карманная книжка для любительниц и любителей русской словесности, изданная А. А. Бестужевым и К. Ф. Рылеевым (1823—1825). *57*, *223*, *241—242*, *411*, *619*, *679*, *683*, *751—752*.

Попов А. Русские писатели на Кавказе, вып. 1. Баку, 1949. *748*.

Попов И. Минувшее и пережитое, т. II. Сибирь и эмиграция. М., 1924. *794*, *795*.

Попов М. М. Мелкие рассказы о декабристах. «Рус. старина», 1901, № 3. *744*.

Попов П. П. А. Муханов в Сибири (Дек. на кат.). *713*.

Попов П. М. Ф. Орлов и 14 декабря. «Кр. архив», т. XIII, М., 1925. *646*.

Потто В. А. Марлинский. «Кавказ», 1897, № 322. *748*.

Предтеченский А. В. Декабрист П. И. Фаленберг. (Восн. и расск., I). *708—709*.

Предтеченский А. В. Летопись Петропавловской крепости. Л., 1932. *762*

Пресняков А. Е. Этюды С. Н. Чернова по истории декабристов. «Былое», 1926, № 1. *624*.

Пресняков А. Е. 14 декабря 1825 г. Л., 1925. *645*, *660*, *661*, *707*.

Прохоров Г. В. Грибоедов и декабристы. «Кр. газета», веч. вып., 1929 г., 11 февр., № 38. *579*, *780*.

Прохоров Г. В. Три письма А. А. Бестужева из Якутии. «Былое», 1925, № 5. *807*.

Прохоров Г. В. Неопубликованные письма А. А. Бестужева. «Звезда», 1931, III. *748*.

П у ш к и н А. С., Письма, под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского, т. I, 1815—1825, М.—Л., 1925. *705*.

П у ш к и н А. С., Полное собрание сочинений, Изд. АН СССР, М., тт. I—XVI, 1937—1948 (П у ш к и н). *697*.

П у ш к и н Б. С. Арест декабристов (Д е к. и и х в р е м я, II). *721*.

(П у щ и н И. И.). Декабрист И. И. Пущин. Записки о Пушкине и письма из Сибири. Ред. и биографич. очерк С. Я. Штрайха. М., 1925. *681*, *722*.

П у щ и н М. И., Записки, «Рус. архив», 1908, №№ 10—12. *689*, *698*, *721*, *780*.

Р

Р а е в с к а я Е. Н. Раевские. Николай Николаевич Раевский и его участие в Тайном Обществе декабристов. «Рус. старина», 1873, № 7. *697*, *698*.

Р е й н е к е М. Ф. Атлас Белого моря и Лапландского берега. СПб., 1833. *802*.

Р е й н е к е М. Ф. Гидрографическое описание Северного берега России. СПб., 1843—1850. *802*.

Р о з е н А. Е. Николай Николаевич Раевский. «Рус. старина», 1873, № 3. *698*.

Р о з е н А. Е. Записки декабриста. СПб., 1907 (Р о з е н). *469*, *583*, *585*, *626*, *647*, *648*, *689*, *699*, *704*, *710*, *713*, *717*, *718*, *721*, *763*—*764*, *770*, *777*, *798*.

Р о з е н А. Е. см. Браиловский.

Р о м а н о в В. П. Предначертание путешествия от западных берегов Северной Америки до Ледовитого моря и до Чудского пролива. «Моск. телеграф», 1825, ч. 5, № 18. *696*.

Р ы л е е в К. Ф., Полное собрание сочинений, ред., вступит. статья и коммент. А. Г. Цейтлина, М.—Л., 1934. *687*.

Р ы л е е в К. Ф., Полное собрание стихотворений, ред., предисл. и примеч. Ю. Г. Оксмана. «Библиотека поэта», Л., 1934. *686*.

Р ы л е е в К. Ф., Сочинения, изданные под редакцией М. Н. Мазаева, СПб., 1893. *686*.

Р ы н д з ю н с к и й П. Декабристы — братья Борисовы в годы жизни на поселении. «Тр. Гос. Ист. музея», т. XV. *775*.

С

С в и с т у н о в П. Н. Несколько замечаний по поводу новейших книг и статей о событии 14 декабря и о декабристах (В о с п. и р а с с к., II). *645*, *729*, *764*, *798*.

С в и с т у н о в П. Н. Отповедь (В о с п. и р а с с к., II). *798*.

С е м е в с к и й В. И. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909 (С е м е в с к и й). *670*, *681*, *702*, *703*, *712*.

С е м е в с к и й М. И. А. А. Бестужев (Марлинский). «Отеч. записки», 1860, тт. 130—131, №№ 5—6. *684*, *759*, *801*, *806*.

С е м е в с к и й М. И. Александр Бестужев в Якутии. Неиз-

Т

Штрайх С. Я. Роман Медокс. Похождения русского авантюриста XIX века. М., 1930. *697*, *715*.

Шубинский С. Н. Исторические этюды. 6-е изд., СПб., 1911. *804*.

Шумилов В. П. А. Бестужев. «Рус. старина», 1886, № 9. *699*.

Щ

Щеголев П. Е. Декабристы. М., 1926 (Щеголев). *685*, *733*.

Щеголев П. Е. Император Николай I — тюремщик декабристов. «Былое», 1906, № 4. *711*.

Щеголев П. Е. Предисловие к «Воспоминаниям Бестужевых», изд. «Огни», П., 1917. *578*, *583*, *584*, *653*.

Щеголев П. Е. П. Г. Каховский. П., 1919. *689*.

Щепкина Е. Помещичье хозяйство декабриста. «Былое», 1925, № 3. *801*.

Я

Языков Н. М., Полное собрание стихотворений. Ред., вступ. статья и коммент. М. К. Азадовского. Л., 1934. *761*.

Якушкин В. Е. К литературной и общественной истории 1820—1830-х гг. «Рус. старина», 1888, №№ 10—12. *705*, *752*.

Якушкин Е. Е. Неизданная рукопись декабриста Н. В. Басаргина. «Кат. и Ссылка», 1925, № 5. *594*.

Якушкин Е. Е. Стихотворение декабриста. «Кр. архив», т. III, № 10, 1925. *772*.

Якушкин Е. Е. Четыре письма М. М. Спиридова к И. И. Пущину. Докл. Переславль-Залесского научно-просв. общ. Пер.-Залесск., 1925. *742—743*.

Якушкин Е. И. Воспоминания об И. И. Пущине. «Сев. край», 1899, № 158. *710*, *711*.

Якушкин Е. И. Заметки А. Н. Сутгофа о 14 декабря 1825 г. «Былое», 1927, № 4. *661*, *706—707*.

Якушкин Е. И. По поводу воспоминаний о Рылееве. Сб. «XIX век», ч. I, СПб., 1872. *594*, *679*.

Якушкин И. Д., Записки, изд. 7-е, М., 1925 (Якушкин). *631*, *642—643*, *648*, *702*, *721*, *722*, *724*, *726*, *734*, *753*, *777*.

Якушкин И. Д. 14 декабря (Восп. и расск., I). *704*.

(Яник) Janik M. Dzieje polakow na Syberyi. Krakow, 1929. *730*, *746*.

Яцевич А. Пушкинский Петербург. Л., 1935. *695*.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

* В настоящий указатель входят имена, встречающиеся в тексте воспоминаний, писем и дополнений; имена, упомянутые только в статье и примечаниях, в указатель не введены; опущены также имена библейские, мифологические и имена литературных и фольклорных персонажей. Общеизвестные имена русских деятелей (Герцен, Пушкин, Петр I и др.), а также имена наиболее известных западноевропейских писателей (Байрон, Гете и др.) приводятся без пояснений. Фамилии деятелей Тайных Обществ и участников восстания 1825 г. выделены курсивом. Биографические сведения, имеющиеся в примечаниях, в указателе не повторяются. Цифры, напечатанные курсивом, означают страницы, на которых о данном лице говорится более подробно. Чины, должности и звания указываются применительно к тому времени, к какому относятся упоминания о данном лице: по отношению к декабристам такой датой является 1825 г.; хронологические обозначения приводятся по старому стилю; географические и административные обозначения — в номенклатуре того времени.

Е

Ж

К

Л

О

Т

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ



СОДЕРЖАНИЕ

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии Наук СССР

*

Редактор издательства *Е. П. Понугаева*
Технический редактор *Р. А. Аронс*
Корректор *Л. А. Ратнер*

*

РИСО АН СССР 4643. М-40166.
Подписано к печати 17/IX 1951 г.
Бумага 70×92/16. Бум. л. $27^7/_8$.
Печ. л. 63.9+9 вкл. Уч.-изд. л. 46.6.
Тираж 7000. Зак. № 52. Цена в переплете 35 р. 50 к.

1-я тип. изд-ва Академии Наук СССР.
Ленинград, В. О., 9-я линия, д. 12.

Исправления и опечатки

Страница	*Строка*	*Напечатано*	*Должно быть*	*По чьей вине*
244	13 сверху	Вы	вы	Составителя
527	8 »	Вашего	вашего	»
	10 »	Вас	вас	»
	11 »	Вашей	вашей	»
	14 »	Вам	вам	»
	12 снизу	Вас	вас	»
528	2 сверху	Вас	вас	»
545	13 снизу	с фельегарь	а фельегарь	Типографии
837	Правый столбец, 8 снизу	на поселении	на каторге	Составителя

Воспоминание Бестужевых